

Джон Стейнбек

6

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

Джон Стейнбек

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ

Том 6

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1989

84. 7 США
С 79

Составление
и
общая редакция
С. С. И в а н ь к о

Иллюстрации художника
И. Н. П и н к и с е в и ч а

С $\frac{4703000000-1989}{080(02)-89}$ 1989—89

© Издательство «Правда». 1989.
(Составление. Историко-литературная справка.
Иллюстрации.)

ЗИМА ТРЕВОГИ НАШЕЙ

Роман

Читателям, которые станут доиски-
ваться, какие реальные люди и места
описаны здесь под вымышленными
именами и названиями, я бы посове-
товал посмотреть вокруг себя и загля-
нуть в собственную душу, так как в
этом романе рассказано о том, что
происходит сегодня почти во всей
Америке.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I

Когда золотое апрельское утро разбудило Мэри Хоули, она повернулась к мужу и увидела, что он растянул рот мизинцами, изображая лягушку.

— Дурачишься, Итен? — сказала она. — Опять проявляешь свой комический талант?

— Мышка-мышка, выходи за меня замуж.

— Только проснулся и сразу за свое — дурачиться?

— Новый день нам год приносит, вот уж утро настает!

— Так и есть — сразу за свое. А ты помнишь, что сегодня Великая Страстная пятница?

Он забубнил:

— Подлые римляне по команде выстраиваются у подножия Голгофы.

— Перестань кощунствовать. Марулло разрешит тебе закрыть лавку в одиннадцать?

— Милый цветочек, Марулло — католик, к тому же итальянка. Вернее всего, он туда и носу не покажет. Я закрою лавку на перерыв в двенадцать и не открою до тех пор, пока не кончится казнь.

— Пилигримы в тебе заговорили. Не хорошо так.

— Глупости, букашка. Это у тебя по материнской линии. Это во мне заговорили пираты. И казнь есть казнь, знаете ли.

— Никакие они не пираты. Ты сам рассказывал, что твои предки — китоловы и что у них были какие-то документы еще со времен Континентального конгресса.

— На судах, которые они обстреливали, их называли пиратами. А та римская солдатня называла казнь казнью.

— Ну вот, рассердился. Мне больше нравится, когда ты дурачишься.

— Да, я дурачок. Кто этого не знает?

— Вечно ты сбиваешь меня с толку. Тебе есть чем гордиться: пилигримы-колонисты и шкиперы китобойных судов — и всё в одной семье.

— А им есть чем?

— Что? Не понимаю.

— Могут мои знаменитые предки гордиться тем, что произвели на свет какого-то паршивого продавца в паршивой итальянской лавчонке в том самом городе, где они когда-то всем владели?

— Ты не просто продавец. Ты скорее вроде управляющего — ведешь всю бухгалтерию, сам сдаешь выручку в банк, сам все заказываешь.

— Верно. И сам подметаю, сам выношу мусор, пресмыкаюсь перед Марулло, и, будь я вдобавок паршивой кошкой, мне бы полагалось ловить у Марулло мышей.

Она обняла его.

— Давай лучше дурачиться, — сказала она. — Не надо так говорить в Страстную пятницу, это нехорошо. Я тебя очень люблю.

— Н-да, — сказал он через минуту. — Все вы посты одинаково. И не воображай, что это дает тебе право лежать в чем мать родила рядом с женатым мужчиной.

— Я хотела рассказать тебе про ребят.

— В тюрьму сели?

— Опять за свои дурачества? Нет, пусть они сами тебе расскажут.

— А что же ты...

— Марджи Янг-Хант сегодня опять будет гадать мне.

— На кофейной гуще? Марджи Янг-Хант, вот она какая, всем дарит улыбки, красотой пленяя...

— Знаешь, если бы я была ревнивая... Говорят, когда мужчина притворяется, будто он и не смотрит на хорошенькую девушку...

— Это она-то девушка? У нее двое мужей было.

— Второй умер.

— Мне пора завтракать. И ты веришь в эту чепуху?

— Но ведь про моего брата Марджи мне нагадала! Помнишь? «Кто-то из родственников, из самых близких...»

— Кто-то из моих родственников, из самых близких, получит хорошего пинка в зад, если сию же минуту не подаст на стол...

— Иду, иду. Яичницу?

— Ну, допустим. Почему называется Великая пятница? Что в ней великого?

— Эх, ты! — сказала она. — Тебе бы только паясничать.

Когда Итен Аллен Хоули проскользнул в уголок возле кухонного окна, кофе был уже готов и на столе стояла тарелка с яичницей и гренками.

— Самочувствие великолепное,— сказал он.— Так почему же все-таки Великая пятница?

— Весна,— отозвалась она от плиты.

— Всенняя пятница?

— Лихорадка весенняя. Вот она тебя и треплет. А что ребята, встали?

— Как же, дожидайся! Лежебоки несчастные. Давай разбудим их и выпорем.

— Когда на тебя находит, ты бог знает что нсешь. В перерыв придешь домой?

— Нет-с, не приду.

— Почему?

— Женщины. Назначаю им свидание на это время. Может, твоя Марджи заглянет.

— Перестань, Итен! Зачем ты так говоришь? Марджи настоящий друг. Она последнюю рубашку с себя снимет.

— Вот как? А есть ли на ней рубашка-то?

— Опять в тебе пилигримы заговорили.

— Держу пари, что мы с ней в родстве. Она тоже пиратских кровей.

— Ну перестань дурачиться. Вот тебе список.— Она сунула листок бумаги ему в нагрудный карман.— Тут очень всего много. Но не забудь, дело к Пасхе. И два десятка яиц тоже не забудь. Скорее, а то опоздаешь.

— Сам знаю. Чего доброго, упусти одного покупателя в лавку Марулло двадцати центов выручки. А зачем сразу два десятка?

— Красить. Аллен и Мэри-Эллен просили обязательно принести. Ну, тебе пора.

— Ухожу, ромашка... Только позволь, я поднимусь на минуточку наверх и спущу шкуру с Аллена и Эллен?

— Ты ужасно их балуешь, Итен! Так все-таки нельзя.

— Прощай, прощай, кормило власти,— сказал он, захлопнув за собой дверь с металлической сеткой, и вышел в золотисто-зеленое утро.

Он оглянулся на красивый старинный дом его отца и прадеда — дом, выкрашенный в белую краску, с полуциркульным окном над парадной дверью, с лепными карнизами в стиле Роберта Адама¹ и «вдовьей дорожкой» на крыше. Дом стоял в глубине зеленеющего сада среди столетней, набухшей почками сирени с могучими, чуть не в два обхвата, стволами. Вязы на Вязовой улице смыкали сею

¹ Известный английский архитектор XVIII века, испытавший в своем творчестве сильное влияние античной архитектуры. (Здесь и далее прим. ред.)

кроны через дорогу и отливали желтизной сквозь молодую листву. Солнце только что ушло со здания банка и засверкало на серебристой башне газового завода, гоня в город солено-йодистые запахи из Старой гавани.

На утренней Вязовой улице только одна живая душа — рыжий сеттер мистера Бейкера, банкирская собака, Рыжий Бейкер, который не спеша, с достоинством шествовал по тротуару, время от времени замирая и припохиваясь к визитным карточкам на стволах вязов.

— С добрым утром, сэр. Я Итен Аллен Хоули. Мы с вами как-то вместе справляли свои нужды.

Рыжий Бейкер остановился и ответил на приветствие размеренным помахиванием пушистого рыжего хвоста.

Итен сказал:

— А я вот стою и смотрю на свой дом. Умели строить в прежние времена.

Рыжий склонил голову набок и раза два небрежно поскреб задней лапой по ребрам.

— А хитрое ли это дело? С их-то денешками! Ворвань со всех морей и океанов и спермацет. Что такое спермацет — вам известно?

Рыжий протяжно вздохнул.

— Видимо, нет? Это прозрачное, чудесно пахнущее розой жироподобное вещество, содержащееся в черепных полостях кашалота. Читай «Моби Дика», пес. Мой тебе совет.

Сеттер задрал ногу на чугунную коновязь у обочины тротуара.

Уходя Итен бросил ему через плечо:

— Дашь отзыв об этой книге. Может, мой сын что-нибудь у тебя почерпнет. Он даже не сумеет правильно написать слово «спермацет»... и не только это слово.

Через два квартала от старинного дома Итена Аллена Хоули Вязовая улица под прямым углом впадает в Главную. Посредине первого квартала разбойничья банда воробьев дебоширила на едва начинающей зеленеть лужайке перед домом Элгаров. Воробьи не резвились, а налетали друг на друга, валяли друг друга в траве, норовили выклевать друг другу глаза, и все это с такой яростью, с таким шумом, что даже не заметили, как Итен подошел к ним посмотреть на их драку.

— Дружно в гнездышке живем, всем пример вам подаем, — сказал он. — Свет не слыхал подобного вранья. Вы, братцы, даже в такое прекрасное утро не можете поладить между собой. А святой Франциск носился с вами, стерве-

цами! Кш-ш!— Он ринулся на них, поддал ногой, и воробы взмыли вверх в шелестящем гуле крыльев, выражая свое крайнее недовольство скрипучим, как несмазанная дверь, чириканьем.— И разрешите мне поведать вам вот что,— сказал Итен им вслед.— Солнце померкнет в полдень, и тьма покроет землю, и страх обуяет вас. — Он ступил на тротуар и пошел дальше.

В старинном доме Филлипсов во втором квартале теперь открыли пансион. Из его парадной двери вышел кассир местного отделения Первого национального банка Джой Морфи. Он поковырял в зубах, одернул жилет и кивнул Итену.

— А я как раз собирался заглянуть к вам, мистер Хоули,— сказал он.

— Почему Страстную пятницу называют Великой?

— Это по-латыни,— сказал Джой.— Великус, великиус, великум, в смысле — «препаскудная».

Физиономия у Джоя была лошадиная, и улыбался он по-лошадиному, вздергивая длинную верхнюю губу и обнажая крупные квадратные зубы. Джозеф Патрик Морфи, Джой Морфи, Джой-бой, Морф — отнюдь не старожил Нью-Бэйтауна, но тем не менее личность весьма популярная в городе. Балагур, который отпускает шуточки с бесстрастным выражением лица, будто блефуя при игре в покер, зато прямо-таки скисает со смеху, слушая анекдоты других рассказчиков, даже если и не в первый раз. Чего он только не знал, этот Морф, решительно обо всех и обо всем, начиная с мафии и кончая Маунтбэттенем, но выдавал он свою информацию таким тоном, что она звучала почти как вопрос. Благодаря вопросительным ноткам в нем не чувствовалось самоуверенности всезнайки, и от этого слушателям казалось, будто они причастны к его рассказам, что позволяло им выдавать их потом за свои собственные. Джой был любопытнейший тип: по натуре азартный, а никто не слышал, чтобы он когда-нибудь заключил хоть одно пари; опытный бухгалтер, замечательный банковский кассир. Директор местного отделения Первого национального банка мистер Бейкер оказывал Джою такое доверие, что переложил на него почти всю свою работу. Морф был на дружеской ноге со всеми в городе, но никого не называл по имени. Итен был для него мистером Хоули, Марджи Янг-Хант — миссис Янг-Хант, хотя, по слухам, Джой спал с ней. У него не было ни семьи, ни родственных связей, жил он один в двух комнатах с отдельной ванной в старинном доме Филлипсов, столовался

большей частью в ресторане «Фок-мачта». Его послужной список — безупречный — был досконально известен мистеру Бейкеру и всем членам правления, но Джой-бой так рассказывал истории из жизни якобы других людей, что у слушателей невольно возникала мысль: а не произошло ли это с самим Джоем — и в таком случае он был третий калач. То, что Джой не выставлял себя напоказ, вызывало к нему еще большую симпатию. Ногти у него всегда были чистые, костюм хорошо и по моде сшитый, рубашка — свежая, башмаки — начищенные.

Оба не спеша зашагали по Вязовой улице к Главной.

— Я все хочу спросить вас. Адмирал Хоули вам кем-нибудь приходится?

— Может быть, адмирал Холси? — сказал Итен. — В нашей семье моряков было много, но про адмирала я впервые слышу.

— Я знаю, что дед у вас был шкипер китобойного судна, потому, вероятно, мне и втемяшился этот адмирал.

— Такие городишки, как наш, не обходятся без легенд, — сказал Итен. — Вот и говорят, будто мои прапрадеды по отцовской линии пиратствовали в давние времена, а материнские предки прибыли в Америку на «Мэйфлауэре».

— Итен Аллен? ¹ — сказал Джой. — Господи помилуй! Он тоже ваш родственник?

— Очень возможно. Даже наверное, — сказал Итен. — Какой сегодня денек! Лучше, кажется, и пожелать нельзя. Вы хотели зайти ко мне?

— А, да! У вас сегодня с двенадцати до трех перерыв? Приготовьте-ка мне два сандвича к половине двенадцатого, можно? Я тогда забегу за ними. И еще бутылку молока.

— А банк разве не закрывается?

— Банк закрывается. Я — нет. Маленький Джой так и будет торчать там, прикованный цепями к своим gross-бухам. В такие дни, накануне больших праздников, все, до последней собаки, лезут в банк, каждый со своим чеком.

— Вот не думал, — сказал Итен.

— Ну как же! Пасха, День памяти павших, День независимости, День труда... да перед любым большим праздником. Если бы я решился ограбить банк, то непременно приурочил бы это к кануну большого праздника. Денежки-то лежат готовенькие, ждут-дожидаются.

— А при вас, Джой, когда-нибудь грабили?

¹ Американский просветитель, живший в XVIII веке.

— Нет. Но с одним моим приятелем это стряслось дважды.

— Что же он рассказывал?

— Рассказывал, что здорово струхнул. Делал все, как ему было велено. Лег на пол и — пожалуйста, берите. Деньги, говорил, крепче застрахованы, чем я.

— Сандвичи я занесу, когда закрою лавку. Постучусь в боковую дверь. Вам с чем приготовить?

— Не беспокойтесь, мистер Хоули. Долго ли мне перебежать с угла на угол!.. Один с ветчиной, один с сыром. Хлеб ржаной, салат и майонез. И еще, пожалуй, бутылку молока и кока-колы, но это на потом.

— Есть хорошая салями — хозяин-то у меня итальянец.

— Нет, спасибо. Как он там, кстати, этот местный представитель мафии?

— По-моему, ничего.

— Ну что ж, если даже не любишь этих макаронщиков, все равно перед таким надо преклоняться. Торговал человек с тележки овощами, дальше — больше, а теперь чем только не обзавелся! Да, голова у него работает. Знал бы кто, какое он состояние накопил... Но напрасно я об этом говорю. Банковским служащим не полагается болтать.

— А вы ничего не разболтали.

Они вышли на угол, где Вязовая улица упирается в Главную. И оба машинально остановились и посмотрели на розово-белые руины старинной гостиницы, которую сносили, чтобы освободить место для нового магазина Вулворта. Выкрашенный в желтую краску бульдозер и выкопанный край с ударной шар-бабой молчали, точно хищники, затаившиеся в утренней тиши.

— Вот кому я всегда завидую, — сказал Джой. — Какое, наверно, наслаждение: ударил этой стальной штуковиной, и глядишь — целая стена рухнула.

— Я во Франции вдоволь этого насмотрелся, — сказал Итен.

— Да! Ведь ваше имя есть на обелиске у набережной.

— А тех, что совершили нападение на вашего приятеля, поймали? — Итен догадывался, что приятель этот был сам Джой. На его месте каждый бы догадался.

— Ну конечно! Попались, как мыши в мышеловку. Налетчики, слава богу, народ не хитрый. А вот если бы Джой-бой написал руководство по ограблению банков, полиция никогда бы никого не поймала.

Итен рассмеялся.

— А откуда вы все это знаете?

— Из первоисточника, мистер Итен. Читаю газеты, только и всего. Кроме того, один мой хороший знакомый работал в сыскной полиции. Желаете, прочитаю вам двух-долларовую лекцию на эту тему?

— Валяйте на семьдесят пять центов. Мне пора открывать.

— Леди и джентльмены,— сказал Джой.— Сегодня мы с вами приступим... Нет, стоп! Почему попадают после налета на банк? Пункт первый: рецидивисты, судимость в прошлом. Пункт второй: перегрызлись из-за добычи, и кто-нибудь накапал. Пункт третий: дамочки. Без дамочек не могут, а отсюда пункт четвертый: начинают сорить деньгами. Последживайте за такими, и ваше дело в шляпе.

— Так в чем же заключается ваш метод, господин профессор?

— Метод самый что ни на есть простой. Все наоборот. Никогда не совершайте налета на банк, если вы в чем-нибудь уже замешаны и за что-нибудь привлекались. Никаких сообщников — все в одиночку, и никому, ни единой душе ни слова. О дамочках и думать забудьте. Денег тех не трогать. Убрать подальше, и не на один год. Потом, когда сможете сочинить какое-нибудь объяснение, откуда у вас завелись деньжата, извлекайте их на свет божий небольшими суммами и вкладывайте в ценные бумаги хотя бы. Тратить просто так нельзя.

— Ну а вдруг палетчика узнают?

— Если он закроет лицо и не произнесет ни слова, как его узнаешь? Читали когда-нибудь показания очевидцев? Они же черт-те что несут. Мой приятель из полиции говорил, что, когда его подставляли среди других для опознания какого-нибудь преступника, потерпевшие то и дело на него показывали. Голову давали на отсечение, что это он самый и есть. Вот вам, извольте, на семьдесят пять центов.

Итен сунул руку в карман.

— За мной.

— Сандвичами будете погашать,— сказал Морфи.

Чтобы попасть в переулок, под прямым углом отходявший от Главной улицы, им пришлось перейти на противоположную сторону. Джой вошел через боковую дверь в здание Первого национального банка по правую сторону переулочка, а Итен отпер ключом тоже выходившую в переулок, но по левую его сторону, дверь лавки Марулло «Бакалея, Гастрономия, Консервы и Фрукты».

— Так с ветчиной и сыром? — крикнул он.

— На ржаном... Не забудьте салат и майонез.

Пыльное зарешеченное окно туманило и без того слабый свет, проникавший из узенького переулка в кладовую за лавкой. Итен на минуту задержался в полутьме этого помещения с полками до самого потолка, где впритык стояли картонные и деревянные ящики с консервированными фруктами, овощами, рыбой, плавленым сыром и колбасами. Он повел носом, стараясь уловить, не пахнет ли мышами сквозь злачный аромат муки, фасоли и сушеного горошка, канцелярский запах коробок с корнфлексом, тяжелый, сытный дух колбас и сыра, сквозь отдающие дымком окорока и бекон, зловоние капустных листьев, салата и свекольной ботвы, гниющих в серебристых мусорных урнах у боковой двери. Не обнаружив прогоркло-плесенного мышиного смрада, он снова отворил боковую дверь лавки и выкатил в переулок наглухо закрытые крышками мусорные урны. В лавку хотел было прошмыгнуть серый кот, но он прогнал его.

— Нет, шалшь,— было сказано ему.— Крысы и мышки — закуска для котинки, а этой киске подавай сосиски. Сгинь! Тебе говорят, сгинь! — Сидя на тротуаре, кот вылизывал розовый комочек лапки, но после второго «сгинь» он метнулся через переулок, высоко задрав хвост, и одним махом одолел дощатый забор позади банка.— А слово-то, видно, магическое,— вслух сказал Итен. Он вернулся в кладовую и затворил за собой дверь.

Два-три шага по запыленной кладовой к двери в лавку, но у крошечной уборной ему послышался шепоток струящейся воды. Он отворил фанерную дверцу и спустил воду. Потом толкнул широкую внутреннюю дверь с забраным сеткой окошечком и поскоком бабмака плотно вогнал деревянный клин под низ.

Сквозь шторы на двух больших витринах в лавку просачивался зеленоватый свет. И тут тоже полки до самого потолка с аккуратными рядами консервов в поблескивающих металлом и стеклом банках — настоящая библиотека для желудка. Справа — прилавок, кассовый аппарат, пакеты, моток бечёвки и это великолепие из нержавеющей металла и белой эмали — холодильник с витриной, в котором компрессор что-то тихонько нашептывает сам себе. Итен щелкнул выключателем, и холодная голубизна неоновых трубок залила нарезанные копчености, сыры, сосиски, отбивные, бифштексы и рыбу. Лавка засияла отраженным кафедральным светом, рассеянным кафедральным светом, как в Шартрском соборе. Итен, залюбовавшись, обвел

ее глазами — органичные трубы консервированных томатов, капеллы баночек с горчицей, с оливками, сотни овальных гробниц из сардинных коробок.

Он затянул гнусавым голосом:

— Одинокум и одинокум, — как с амвона. — Один одигосик во славу одинокуми домини... ами-ишь! — пропел он. И будто наяву услышал комментарий жены: «Перестань дурачиться, и кроме того, другим это может показаться оскорбительным. Нельзя так походя оскорблять людей в их лучших чувствах».

Продавец в бакалейной лавке — в бакалейной лавке Марулло, — человек, у которого есть жена и двое любимых деток. Когда он бывает один? Когда и где он может остаться один? Днем — покупатели, вечером — жена и ребятишки, ночью — жена, днем — покупатели, вечером — жена и ребятишки.

— В ванной, вот где, — вслух сказал Итен. — И сейчас, до того как я открою шлюз. — О, терпкий дух, мысли вслух, перьяливая дурашливость этих минут — чудных и чудных минут... — Сейчас я тоже кого-нибудь оскорбляю, прелесть моя? — спросил он жену. — Здесь никого нет — ни людей, ни их лучших чувств. Никого, кроме меня и моего одинокум одинокума, до тех пор пока... пока я не открою эту треклятую дверь.

Из ящика под прилавком справа от кассы он достал чистый фартук, расправил его, выпростал тесемки, обтянул им свои узкие бедра, провел тесемки наперед и снова за спину. Потом обеими руками на ощупь завязал сзади узел.

Фартук был длинный, чуть не до щиколоток. Итен воздел правую руку ладонью вверх и провозгласил:

— Вземлите мне, о вы, консервированные груши, маринованные и шикнули! «Когда же настало утро, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели Его в свой синедрион...» Когда настало утро... Рано принялись за дело, сукины дети! Ни минутки лишней не упустили. Как там дальше? «Было же около шестого часа дня...» По-нашему, это, наверно, полдень. «И сделалась тьма по всей земле до часа девятого. И померкло солнце». Как я все это помню? Боже милостивый! Долго же ему пришлось умирать — мучительно долго! — Он опустил руку и вопросительным взглядом обвел заставленные товаром полки, будто ожидая от них ответа. — Сейчас ты мне ничего не говоришь, Мэри, ласпешечка моя. Может быть, ты из дочерей иерусалимских? «Не плачьте обо мне, — рек Он. — Но

плачьте о себе и о детях ваших... Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» До сих пор не могу спокойно слушать. Тетюшка Дебора и не подозревала, как глубоко западет это мне в душу. Но шестой час еще не наступил... нет, еще рано, рано.

Он поднял зеленые шторы на обеих больших витринах, говоря:

— Входи, новый день! — Потом повернул ключ в дверях. — Прошу пожаловать, мир божий! — Обе зарсшеченные створки настезь, и на них — крюки, чтобы не захлопнулись. И навстречу — утреннее солнце, нежно пригревающее асфальт, как ему, солнцу, и полагалось в эти дни, потому что в апреле оно вставало в том месте, где Главная улица сбегала к заливу.

Итен прошел в уборную и взял там метлу подмести тротуар.

День — то, что называется день-деньской, — не един с утра до вечера. Его окрашивает не только воспарение света в зенит и обратный путь к закату, в нем меняется все — весь строй его, ткань, тон и смысл; его корежат тысячи факторов всех времен года: зной, стужа, затишье, ветер; он подвластен запахам сладости или горечи трав, листа, почки, холоду льдинки, черноте голых веток. И по мере того как меняется день, меняются и все его подданные: букашки и птицы, кошки, собаки, бабочки и люди.

Тихий, затуманенный, обращенный внутрь день Итена Аллена Хоули подошел к концу. У того человека, который размеренно, будто под метроном, подметал тротуар, не осталось ничего общего ни с проповедником, взывающим к консервным банкам, ни с «одиноким одиноким», ни даже с тем — перяшливо-дурашливым. Взмахами метлы он собирал окурки сигарет, обертку жевательной резинки, чешуйки почек с деревьев и просто пыль и ряд за рядом гнал этот нанос мусора ближе к канаве, где его подберут мусорщики с серебристого грузовика.

Мистер Бейкер степенно шествовал из своего дома на Каштановой улице к красно-кирпичной базилике Первого национального банка. Шаги у него были неодинаковой длины, но вряд ли кто-нибудь мог подумать, что, веря в древнюю примету, он боится наступить на тень своей матери.

— С добрым утром, мистер Бейкер, — сказал Итен и пропустил один взмах метлы, чтобы не запылить тщательно отутюженные темные брюки директора банка.

— С добрым утром, Итен. С прекрасным утром.

— Да, действительно,— сказал Итен.— Весна пришла, мистер Бейкер. Крот-то, хитрец, оказался прав.

— Да, хитрец, хитрец.— Мистер Бейкер помолчал.— Я все собираюсь поговорить с вами, Итен. Ваша жена получила по завещанию брата... э-э... больше пяти тысяч, кажется?

— За вычетом налогов шесть тысяч пятьсот,— сказал Итен.

— И они лежат в банке просто так. Вложить надо во что-нибудь. Давайте обсудим это. Ваши деньги должны работать на вас.

— Шесть с половиной тысяч много не парботают, сэр. Деньги небольшие, так, про черный день.

— Я не поклонник мертвых капиталов, Итен.

— Да, но... не меньше служит тот высокой воле, кто стоит и ждет.

В голосе у банкира появились ледяные нотки.

— Не понимаю.— Судя по интонации, он прекрасно все понял, но счел это замечание глухим, и его тон кольнул Итена, а укол самолюбия породил на свет ложь.

Метла прочертила чуть заметный полукруг на тротуаре.

— Дело в том, сэр, что эти деньги оставлены Мэри как временное обеспечение. На тот случай, если вдруг со мной что-нибудь случится.

— Тогда вам надо взять оттуда некоторую сумму и застраховать жизнь.

— Но ведь они даны ей во временное пользование, сэр. Это имущество брата Мэри. Ее мать все еще жива. И может прожить еще не один год.

— Так, понимаю. Старики частенько бывают в тягость.

— И частенько держат деньги под спудом.— Сказав неправду, Итен взглянул на мистера Бейкера и увидел, как из-под воротничка у банкира проступила краснота.— Ведь знаете, сэр, может так случиться: вложишь во что-нибудь эти деньги Мэри и вылетишь в трубу, как я и сам однажды вылетел со своими собственными и как мой отец умудрился вылететь.

— Все течет, все меняется, Итен. Все меняется. Я знаю, вы сильно обожглись. Но теперь совсем другие времена, другие возможности.

— Возможностей у меня и тогда было много, мистер Бейкер, гораздо больше, чем здравого смысла. Не забывайте, что я завел лавку сразу после войны. Продал полквартала недвижимости, чтобы закупить товар для нее. И это было последнее наше предприятие.

— Знаю, Итен. Ведь вы же держите деньги у меня в банке. Врач проверяет ваш пульс, а я — ваш текущий счет.

— Еще бы вам не знать. Мне и двух лет не понадобилось, чтобы прогореть почти дотла. Все продал, кроме дома, когда расплачивался с долгами.

— Не взваливайте всю вину на себя. Только что из армии, опыта в делах ни малейшего. Не забывайте еще, что вы угодили домой в самый разгар депрессии, которую мы почему-то именовали снадом. Закаленные дельцы и те уходили под воду.

— Я ушел под воду на самое дно. Первый случай в истории, чтобы член семьи Хоули служил продавцом в бакалейной лавке у какого-то итальянки.

— Вот тут я отказываюсь вас понимать, Итен. Крах может потерпеть каждый. Но как не преодолеть в себе этого вам, человеку из рода Хоули, из такой среды, с таким образованием! У вас, наверно, кровь стала жидкая, если вы решили, что это уже на веки вечные. Что вас подкосило, Итен? Подкосило и не даст выпрямиться?

Итен хотел было начать сердитую отповедь: ну конечно, где вам понять! Вы никогда ничего подобного не испытали... Но вместо этого он подровнял метлой кучку сигаретных окурков и оберток от жевательной резинки и двинул ее к канаве.

— Так не бывает, чтобы человека подкосило и ему сразу конец. Я хочу сказать, что с большой бедой как-то борются. Эрозия — вот что его разъедает и все ближе и ближе подталкивает к гибели. Постепенно он поддается чувству страха. Мне тоже странно. Электроосветительная компания Лонг-Айленда может выключить у нас свет. Моей жене нужно одеваться. Детям нужна обувь, нужны развлечения. А вдруг они не смогут кончить школу? А ежемесячные счета, врачи, дантисты, удаление миндалин, а представьте себе, вдруг я сам заболею и не смогу подметать этот тротуар, будь он проклят? Конечно, где вам понять! Процесс этот медленный. Он выедает человеку все нутро. Я не могу заглядывать вперед дальше очередного ежемесячного взноса за холодильник. Моя работа ненавистна мне, и в то же время я боюсь ее потерять. Разве вы в состоянии понять это?

— А мать Мэри?

— Я же вам говорил. Она держит деньги под спудом. Так и умрет с ними.

— Вот не подозревал! Мне казалось, что Мэри из не-богатой семьи. Но я прекрасно понимаю: если заболеешь, то нужны лекарства, может потребоваться операция или электрошок. Наши предки были смелый народ. Вы сами это знаете. Они не позволяли обглаживать себя до костей. Теперь времена изменились. Теперь повсюду открываются такие возможности, о каких они и мечтать не могли. А пользуются этими возможностями иностранцы. Иностранцы обгоняют нас. Проснитесь, Итен!

— А как быть с холодильником?

— Пусть забирают, раз так.

— А Мэри, а дети?

— Забудьте их на время. Вы станете им еще дороже, если выкарабкаетесь из этой ямы. От ваших забот и тревог толку мало.

— А деньги Мэри?

— Рискните, даже если придется потерять их. Действуйте осторожно и прислушивайтесь к добрым советам, тогда все будет хорошо. Риск — это не проигрыш. Наши с вами предки всегда рисковали с точным расчетом, и никто из них не оставался в проигрыше. Я не намерен щадить вас, Итен. Где ваша верность памяти старого шкипера Хоули? Вы в долгу перед его памятью. Ведь он и мой отец сообща владели «Прекрасной Адэр» — одним из самых лучших китобойных судов, построенных в наше время. Подхлестните себя, Итен! Перед «Прекрасной Адэр» вы тоже в долгу, и она с вас требует. Пошлите холодильник к черту!

Кончиком метлы Итен принудил упрямый обрывок целлофана свалиться в канаву. Он сказал вполголоса:

— «Прекрасная Адэр» сгорела по самую ватерлинию, сэр.

— Да, знаю. Но разве это хоть сколько-нибудь помешало нам? Отнюдь.

— Она была застрахована.

— Разумеется, была.

— А я нет. Мне удалось спасти только свой дом и больше ничего.

— Выкиньте такие мысли из головы. Это все дела давно минувшие, а вы до сих пор не можете с ними расстаться. Наберитесь мужества, дерзайте! Поэтому я и горю, что деньги Мэри надо пустить в оборот. Я хочу помочь вам, Итен.

— Спасибо, сэр.

— Мы снимем с вас этот фартук. Вот в чем ваш долг перед старым шкипером Хоули. Он не поверил бы собственным глазам, увидя вас в таком наряде.

— Да, наверно.

— Вот теперь вы говорите дело. Мы снимем с вас этот фартук.

— Если б не Мэри и не дети...

— Говорят вам: выкиньте семью из головы ради ее же блага. У нас в Нью-Бэйтауне скоро начнутся интересные дела. Вы могли бы принять в них участие.

— Благодарю вас, сэр.

— Я обо всем этом еще подумаю.

— Мистер Морфи сказал, что он останется работать, когда банк закроют до трех часов. Я обещал приготовить ему сандвичи. Могу и вам принести, хотите?

— Нет, благодарю. Джой за меня все делает. Прекрасный работник. Я хочу посмотреть кое-какие земельные участки. Разумеется, не на месте, а в Окружном управлении. От двенадцати до трех там тихо, спокойно. Может быть, и для вас что-нибудь подберу. Мы с вами скоро обо всем поговорим. Ну, всего доброго.— Мистер Бейкер сделал большой шаг, чтобы не наступить на трещину в тротуаре, и пошел к главному входу в Первый национальный банк, а Иттен улыбнулся, глядя на его удаляющуюся спину.

Иттен быстро кончила подметать, потому что люди струйками и ручейками текли на работу. У входа в лавку он поставил лотки со свежими фруктами. Потом, убедившись, что прохожих нет, снял с полки три банки консервированного собачьего корма, сунул руку в освободившееся пространство, вынул оттуда злоеде-серый мешочек с деньгами, поставил банку обратно и, нажав пустой клавиш кассы, разложил двадцатки, десятки, пятерки и однодолларовые бумажки по местам, под придерживающие их колесики. А в передней части выдвижного кассового ящика легли, каждая в свою дубовую чашечку, монеты по пятьдесят, двадцать пять, десять, пять центов и по одному пенни. Пуска что покупателей было немного: дети, посланные за кирпичиком хлеба, или картонкой молока, или фунтом не запасенного вовремя кофе,— большей частью девочки с не расчесанными со сна волосами.

Вошла Марджи Янг-Хант в свитере цвета сомон, вызывающе облегавшем бюст. Твидовая юбка любовно льнула к ее бедрам и подхватывала горделивый зад, но только в глазах Марджи, в ее карих близоруких глазах, видел

Итен то, чего не могла увидеть его жена, потому что в присутствии жен там ничего такого не было. Хищный зверек, Артемида, охотница за брюками. Старый шкипер Хоули называл такой взгляд «блудливым». И в голосе у нее это тоже слышалось — в его бархатистой тягучести, которую сменяло сладенькое доверительное верещанье в расчете на жен.

— Здравствуйте, Ит,— сказала Марджи.— Какой денек! Самый раз для пикника.

— Здравствуйте. Хотите пари? Остались без кофе.

— Если вы догадаетесь, что я осталась без таблеток для шипучки, тогда вас надо обходить за два квартала.

— Здорово кутнули?

— Не так чтобы очень, но... Разъездной торговый агент, порассказал всего с три короба. С нами, разводками, безопасно. Полный портфель бесплатных образцов. У вас такие, наверно, зовутся просто коммивояжерами. Вы, может, знаете его? Не то Биккер, не то Боккер. От фирмы «Б.Б.Д. и Д.». Почему я обо всем этом говорю? Потому что он собирался зайти к вам.

— Мы большей частью заказываем у Вэйландса.

— Этот мистер Бяккер, наверно, уже рыщет по городу, если, конечно, самочувствие у него чуточку приличнее, чем у меня. Дайте-ка стакан воды. Для начала я тут вышью.

Итен сходил в кладовую и принес бумажный стакан с водой из-под крана. Бросив туда три плоские таблетки, Марджи дождалась, когда вода зашипит.

— Будьте,— сказала она и выпила шипучку залпом.— Ну, черт, скорее действуй!

— Я слышал, вы собираетесь сегодня предсказать Мэри ее судьбу.

— О господи! Из головы вон! Всерьез, что ли, мне этим заняться? Тогда бы я и свою судьбу устроила.

— Мэри очень это нравится. А вы в самом деле умеете гадать?

— Тут особого умения не нужно. Наслушавшись, что люди, то есть женщины, говорят о себе, а потом им же все это и выложишь, а они считают тебя пророчицей.

— Ну а про высоких брюнетов?

— И про брюнетов, конечно. Но если бы я умела читать в мужских сердцах, не было бы у меня в жизни таких промахов. Ох-ох-ох! И влопалась же я разочка два!

— Ваш первый муж, кажется, умер?

— Нет, второй, мир праху его, сукину... Ладно, замнем. Мир праху его.

Итен участливо поздоровался с престарелой миссис Ежизински и, стараясь подольше растянуть отпуск четверти фунта масла, даже одобрительно отозвался о погоде, но Марджи Янг-Хаит не торопилась уходить, а с улыбкой разглядывала банки паштета с золотыми наклейками и миниатюрные, как футляры для драгоценностей, баночки черной икры на прилавке около самой кассы.

— Ну? — сказала Марджи, когда старуха, с трудом волочившая ноги, вышла из лавки, бормоча что-то себе под нос по-польски.

— Что — ну?

— Да так, вдруг в голову пришло... Если б я знала мужчины так же хорошо, как женщины, можно было бы гадать с вывеской. Поучили бы вы меня, Итен, что такое мужчины.

— Вы и так достаточно их знаете. Может быть, даже больше чем достаточно.

— Вот человек! Чувства юмора, что ли, у вас нет?

— Прикажете сейчас начать обучение?

— Нет, как-нибудь вечером.

— Хорошо, — сказал он. — Кружок. Мари, вы и двое детей. Тема занятий: мужчины, их слабые стороны, их глупость и как всем этим пользоваться.

Марджи не обратила внимания на его тон.

— Разве так не бывает, что вам приходится просиживать за работой целые вечера? Отчеты к первому числу и прочее тому подобное?

— Бывает. Работу беру на дом.

Она подняла руки над головой и запустила все десять пальцев в волосы.

— Почему? — спросила она.

— Потому что потому оканчивается на «у».

— А вы многому могли бы меня научить?

Итен сказал:

— «И когда насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу и одели Его в одежды Его, и повели Его на распятие. Выходя, они встретили одного Кириянеянина, по имени Симон, и заставили сего нести крест Его. И, пришедши на место, называемое Голгофа, что значит Лобное место...»

— А ну вас!

— Да-да, все так и было.

— Вам известно, что вы настоящий сукин сын?

— Известно, о дочь иерусалимская!

Она вдруг улыбнулась.

— Знаете, что я сделаю? Такого сегодня нагадаю одному человеку, любо-дорого! Вы у меня будете самой что ни на есть важной персоной. Поняли? Чего ни коснетесь, все превратится в золото. Народный глашатай! — Она быстро подошла к двери и, оглянувшись с порога, оскалила зубы в улыбке. — Ну-ка, попробуйте оправдать свою репутацию и попробуйте не оправдать! До свидания, Спаситель! — Как странно звучит цоканье каблуков по тротуару, когда ими отстукивают в ярости.

К десяти часам все изменилось. Распахнулись широкие стеклянные двери банка, и людская речка потекла туда за деньгами, а потом завернула к Марулло и вынесла оттуда разные деликатесы, без которых Пасха не Пасха. Итсен чувствовал себя как на водных лыжах — только держись, — и продолжалось это до «часа шестого».

Сердитый пожарный колокол на башне ратуши пробил начало часа шестого. Покупатели мало-помалу рассосались, унося с собой пакеты с праздничной снедью. Итсен вошел в лавку лотки с фруктами, запер входную дверь и без всякой на то причины, а лишь потому, что сделалась тьма по всей земле и в нем самом, спустил плотные зеленые шторы, после чего тьма сделалась и в лавке. Одни только неоновые трубки в холодильнике светили в этой тьме призрачной голубизной.

Зайдя за прилавок, он отрезал четыре толстых куска ржаного хлеба и щедро намазал их маслом. Потом двинул вбок стеклянную дверцу холодильника и взял с одного блюда два ломтика плавленого швейцарского сыра, а с другого — три куска ветчины.

— Сыр и салат, — сказал он. — Сыр и салат. Лезьте на дерево, кому дом маловат. — На верхние куски хлеба густым слоем положен майонез, они придавлены к нижним, выпирающие крошки ветчинного сала и зеленых салатных листьев подровнены. Теперь взять картонку молока и пергаментной бумаги на обертку. Он аккуратно подгибал пергамент с краев, когда во входной двери звякнул ключ и в магазине появился Марулло — широкий в плечах, как медведь, и такой тучный, что руки у него казались непропорционально короткими и не прилегали к бокам. Шляпа у Марулло сидела на самом затылке, а из-под нее торчала жесткая бахрома серо-стальных волос, точно он носил под шляпой еще какую-то шапочку. Глаза у него были со слезой, хитрые и сонные, но золотые коронки на передних зубах сразу блеснули в свете неоновых трубок. Две верхние пуговицы на брюках были расстегнуты, так что видне-

лись теплые серые кальсоны. Марулло стоял, запустив толстые культишки больших пальцев за брючный пояс, приходившийся как раз под животом, и щурился, привыкая к полутьме.

— С добрым утром, мистер Марулло. Хотя сейчас уже день.

— Здравствуй, мальчуган! Ты поспешил закрыться.

— Весь город закрылся. Я думал, вы слушаете мессу.

— Нет сегодня мессы. Единственный день в году, когда мессы не бывает.

— Вот как? Не знал. Чем могу служить?

Короткие толстые руки вытянулись вперед и несколько раз подряд согнулись в локтях.

— Болят, мальчуган. Артрит... Все хуже и хуже.

— Ничего не помогает?

— Все перепробовал — грелки, акулий жир, пилюли... болит и болит. Тихо, спокойно, дверь на замке. Может, поговорим? А, мальчуган? — Зубы у него снова сверкнули.

— Случилось что-нибудь?

— Случилось? Что случилось?

— Ладно, подождите минуту. Я схожу в банк. Отнесу сэндвичи мистеру Морфи.

— Правильно, мальчуган. Сервис — хорошее дело. Умница.

Итен вышел через кладовую в переулок и постучал в боковую дверь банка. Джой принял от него молоко и сэндвичи.

— Спасибо. Напрасно беспокоились. Я бы сам.

— Это сервис. Так Марулло сказал.

— Поставьте на холод две бутылки кока-колы, идет? У меня от цифр во рту пересохло.

Вернувшись, Итен застал Марулло склонившимся над мусорным баком.

— Где вам угодно говорить со мной, мистер Марулло?

— Начнем здесь, мальчуган. — Он вытащил из мусорного бака листья цветной капусты. — Слишком много срезаешь.

— Так аккуратнее.

— Цветная капуста продается на вес. Швыряешь деньги в мусорный ящик. Я знаю одного умного грека — у него, может, двадцать ресторанов. Так вот, он говорит: «Весь секрет в том, чтобы почаще заглядывать в мусорный ящик. Что выброшено, то не продано». Умный грек, хитрый.

— Да, мистер Марулло.— Еле сдерживая нетерпение, Итен вошел в лавку. Марулло следовал за ним по пятам, сгибая и разгибая руки в локтях.

— Овощи sprыскиваешь, как я велел?

— Sprыскиваю.

Хозяин взял с прилавка пучок сельдерея.

— Привял.

— Слушайте, Марулло! Какого черта? Замачивать их, что ли? И без того на треть воды.

— Если sprыскивать, они не вялые, а свеженькие. Думаешь, я ничего не знаю? Я с тележки начал — с одной тележки. И все знаю. Учись ловчить, мальчуган, не то прогоришь. Теперь мясо — слишком дорого платишь оптовикам.

— Мы же рекламируем, что говядина у нас высший сорт «А».

— А, Б, В — поди разбери. На ценнике написано, и дело с концом. А вот теперь о самом важном. Должники нас душат. Кто не уплатит к пятнадцатому — кредит закроешь.

— Нет, так нельзя. Ведь некоторые лет по двадцать сюда ходят.

— Слушай, мальчуган. Магазины Вулворта самому Джону Д. Рокфеллеру не отпустят в долг даже на пять центов.

— Да, но это надежные люди, почти все надежные.

— Что значит «надежные»? Если не уплатили, значит, деньги не пущены в оборот. Вулворт закупает целыми грузовиками. А мы так не можем. Надо учиться, мальчуган. Верно, хорошие люди. Но деньги тоже хорошая вещь. В баке слишком много обрезков.

— Это сало и кожа.

— Если сначала отвесить, а потом счистить, тогда можно. О себе не мешает подумать. Сам о себе не думаешь — кто будет о тебе думать? Учиться надо, мальчуган.— Золотые коронки уже не поблескивали, потому что губы над ними были плотно сжаты, как маленькие ловушки.

Злоба всколыхнулась в Итене так внезапно, что он сам себе удивился.

— Я не мошенник, Марулло.

— А где тут мошенники? Это правильная торговля, а если торговать, так только правильно, не то прогоришь. Ты что думаешь, мистер Бейкер, когда платит по чекам, что-нибудь в придачу дает?

Итена взорвало, как перегретый котел.

— Теперь слушайте, что я вам скажу! — крикнул он. — Хоули живут здесь с середины восемнадцатого века. Вы иностранец. Для вас это пустой звук. Мы всегда ладили с соседями, всегда были порядочными людьми. Вы приехали сюда из Сицилии и воображаете, что вам удастся повернуть здесь все на свой лад? Нет, ошибаетесь! Прикажете освободить место? Пожалуйста! Хоть сейчас, хоть сию минуту. И не смейте называть меня мальчуганом, не то получите по физиономии.

Теперь у Марулло засверкали все зубы.

— Ну, будет, будет. Вот взбесился. Я же добра тебе хочу.

— Не смейте называть меня мальчуганом. Наша семья живет здесь двести лет. — Эти слова ему самому показались ребячливыми, и его злость мгновенно выдохлась.

— Я не очень правильно говорю по-английски. Ты думаешь, Марулло просто итальянка, макаронщик, шарманщик. Мои *genitori*¹, мое имя, может быть, насчитывает две тысячи, три тысячи лет. Мы, Марулло, родом из Рима, о нас сказано у Валериуса Максимуса. Двести лет? Подумай!

— Вы нездешний.

— Двести лет назад твой тоже были нездешние.

И вдруг Итен, окончательно остыв, увидел нечто такое, что может заставить человека усомниться в постоянстве данностей внешнего мира. Он увидел, как иммигрант, итальяшка, разносчик фруктов вдруг преобразился точно по волшебству; увидел купол его лба, сухой крючковатый нос, свирепые и бесстрашные глаза в глубоких глазницах, голову, покоящуюся на мускулистой колонне шеи, увидел в нем гордость, такую глубинную и непоколебимую, что ей ничего не стоило играть в смирение. Это было поистине открытие — из тех, что сражают человека и будят в нем мысль: если я вижу это впервые, то сколько же всего прошло в жизни мимо меня!

— Бросьте вы эти разговоры, — тихо сказал он.

— Правильная торговля. Я учу тебя торговать. Мне шестьдесят восемь лет. Жена умерла. Артрит! Очень больно. Хочу научить тебя, как торгуют. Может, ты не научишься? Многие так и не могут научиться. И терпят крах.

— Незачем тыкать мне в нос моим собственным крахом.

— Нет. Ты не понял. Я хочу научить тебя, как правильно торговать, чтобы краха больше не было.

¹ Предки (итал.).

— И вряд ли будет. Своей торговли у меня нет.

— Ты еще мальчуган.

Итен сказал:

— Слушайте, Марулло. Если уж на то пошло, так я веду за вас все дело. На мне бухгалтерия, заказы, я вношу выручку в банк. Стараюсь сохранить клиентуру. От меня к другим не уходят. Разве правильная торговля заключается не в этом?

— Да, да! Кое-чему ты все-таки научился. Ты больше не мальчуган. Бесишься, когда я называю тебя мальчуганом. Как же мне тебя называть? Я всех так называю.

— Попробуйте по имени.

— По имени — не чувствуешь дружбы. Мальчуган — по-дружески.

— Несolidно.

— Где solidно, там нет дружбы.

Итен рассмеялся.

— Когда работася продавцом в лавке у макаронщика, надо соблюдать solidность — ради жены, ради детей. Согласны?

— Показное.

— Конечно, показное. Будь во мне хоть капля истинной solidности, я бы ни о чем таком не думал. Не мешало бы вспомнить, что говорил мой отец незадолго до смерти. Он говорил, что уязвимость находится в зависимости от интеллекта, от чувства уверенности в себе. Слова «сукины сын», говорил он, могут уязвить только того, кто не уверен в своей матери. А, скажем, Альберт Эйнштейн, — он был еще жив тогда, — чем и как его уязвишь? Так что, пожалуйста, можете называть меня мальчуганом, если желаете.

— Мальчуган. Сам видишь, это по-дружески.

— Ну ладно. Что вы там хотели мне сказать насчет торговли? Чего я такого не умею?

— Торговля — это деньги. Деньги и дружба — совсем разное. Слушай, мальчуган. Может, ты слишком по-дружески, слишком приветливый? Деньги и приветливость — это совсем разное. Деньгам нужна не дружба, а еще и еще деньги.

— Вздор, Марулло. Мало ли я знаю дельцов, которые и приветливы, и дружелюбны, и вообще достойные люди.

— Когда дело в стороне — да. Ты, мальчуган, сам узнаешь. А когда узнаешь, будет поздно. Сейчас ты справляешься, в лавке все хорошо, но если она будет твоя, ты по дружбе и прогоришь. Я тебя учу, как в школе. Прощай, мальчуган. — Марулло согнул руки в локтях и, быстро

выйдя из лавки, хлопнул дверью, и тогда Итен почувствовал всю тяжесть тьмы, сделавшейся по всей земле.

В дверь резко постучали чем-то металлическим. Итен отдернул штору и сказал:

— Перерыв до трех.

— Впустите меня. Я к вам по делу.

Незнакомец вошел в лавку — сухопарый, с виду вечно молодой человек, который никогда молодым не был; щеголеватый костюм, матово поблескивающие, гладко прилизанные волосы, взгляд веселый, беспокойный.

— Извините за вторжение. Но мне скоро уезжать. Хотел поговорить с вами наедине. Думал, старик никогда не уйдет.

— Марулло?

— Да. Я следил с улицы.

Итен взглянул на его белые руки. На среднем пальце левой он увидел крупный кошачий глаз в золотой оправе.

Незнакомец перехватил его взгляд.

— Не палетчик, — сказал он. — Я познакомился вчера с одним человеком, который хорошо вас знает.

— Да?

— Миссис Янг-Хант. Марджи Янг-Хант.

— А-а!

Итен чувствовал, как этот человек будто принохливается к нему, второпях ищет ход, точку соприкосновения, чтобы завязать какой-то узелок.

— Славная бабенка. Расхвалила мне вас — дальше некуда. Вот я и подумал... Моя фамилия Биггерс. Ваш город в моем участке. Я от «Б.Б.Д. и Д.».

— Мы закупаем у Вэйландса.

— Знаю, знаю. Поэтому я и зашел к вам. Думал, может, вы захотите несколько расширить свои связи. Мы в вашем городе новички. Но осваиваем его быстро. Приходится делать кое-какие поблажки, чтобы зацепиться. Вам тоже было бы небезынтересно.

— Поговорите с Марулло. Он всегда вел дела только с Вэйландсом.

Голос не стал тише, но в нем появились вкрадчивые нотки.

— Заказы — это ваша обязанность?

— Да, моя. Марулло страдает артритом, а кроме того, у него много других дел.

— Мы могли бы чуточку скостить цены.

— По-моему, Марулло и так скостили сколько можно. Да вы сами с ним поговорите.

— Как раз этого я и не хочу. Мне нужен тот, кто делает заказы, то есть вы.

— Я простой продавец.

— Но заказы делаете вы, мистер Хоули. А что, если вам удастся выгадать пять процентов? Я могу это устроить.

— Марулло вряд ли откажется от такой скидки, если она не отразится на качестве товара.

— Нет, вы меня не поняли. Марулло тут ни при чем. Эти пять процентов будут наличными — никаких чеков, никакой отчетности, никаких неприятностей из-за налогов. Самые что ни на есть свеженькие зеленые листики перейдут из моей руки в вашу, а из вашей руки к вам в карман.

— Почему же Марулло не может получить у вас скидку?

— Соглашение об оптовых ценах.

— Так. Ну, а предположим, я согласусь на эти пять процентов и буду отдавать их Марулло?

— Мало же вы их знаете, этих лавочников, а я знаю вдоль и поперек. Пять процентов он от вас примет и будет думать: а сколько вы прикарманили? И вполне естественно.

Итен понизил голос:

— Вы предлагаете мне надувать человека, у которого я работаю?

— Где же тут надувательство? Он ничего не теряет, а вы немножко подрабатываете. Подрабатывать каждый имеет право. Марджи мне говорила, что вы малый не промах.

— Тьма какая! — сказал Итен.

— Да нет. Просто у вас шторы спущены. — Пришохиванье донесло сигнал опасности — так суетитсямышь, чуя запах проволоки в мышеловке и аромат сыра. — Знаете что, — сказал Биггерс, — вы подумайте на досуге. Может, и подбросите нам кое-какие заказы. А я в следующий свой приезд к вам загляну. Я каждые две недели сюда езжу. Вот моя карточка.

Рука Итена не протянулась. Биггерс положил карточку на холодильник.

— А вот это скромный сувенир, который мы дарим нашим новым друзьям. — Он вынул из бокового кармана бумажник — дорогой, красивый, мягкой кожи. Бумажник лег на белую эмаль рядом с карточкой. — Недурная вещьца. С отделениями для водительских прав и для клубной карточки.

Итен молчал.

— Так я загляну недели через две, — сказал Биггерс. — Подумайте. А мне здесь непременно надо быть. Свидание с Марджи. Хороша бабенка. — И не дождавшись ответа: — Не провожайте меня. До скорого. — Потом вдруг подступил к Итену вплотную. — Не валяйте дурака. Все так делают, — сказал он. — Все! — И вышел быстрыми шагами, бесшумно притворив за собой дверь.

В темной тишине Итену была слышна глухая воркотня трансформатора для неоновых трубок в холодильнике. Он медленно повернулся к своей тесно сидящей, многоярусной аудитории.

— Я считал вас друзьями! А вы хоть бы пальцем шевельнули в мою защиту. Вероломные устрицы, вероломные пикулы, вероломная мука для оладий. Не слышать вам больше про одинокума. Интересно, что сказал бы Франциск Ассизский, если бы его укусила собака или птичка накакала бы ему на макушку? Поблагодарил бы: «Спасибо, уважаемый пес, grazie tanto¹, синьора птичка»? — Он повернул голову, услышав стук, грохот, барабанную дробь в дверь с переулка, и быстро прошел через кладовую, ворча на ходу: — Отбоя нет. Когда открыто, и то спокойнее.

Ввалился Джой Морфи, держа руку у горла.

— Ради господ бога! — простонал он. — На помощь!.. Или дайте хотя бы пепси-колы, ибо — ох! — весь пересох. Почему здесь такая темнотища? Или очи мои поразила слепота?

— Шторы спущены. Чтобы жаждущим банкирам было неповадно сюда бегать.

Итен подошел к холодильнику, достал оттуда заиндевевшую бутылку, сорвал с нее колпачок и полез за второй.

— Я, пожалуй, тоже выпью.

Джой-бой прислонился к освещенному стеклу и отпил сразу полбутылки.

— Эх! — сказал он. — Кто-то забыл свою казну. — И взял бумажник с прилавка.

— Это скромный подарочек от коммивояжера «Б.Б.Д. и Д.». Старался перехватить кое-что из наших заказов.

— Видно, есть из-за чего стараться. Он вас не орешками угостил. Эта вещь не из дешевеньких. Даже с вашей монограммой — золотом.

— Вот как?

— Вы разве не видели?

¹ Большое спасибо (итал.).

— Да он только что ушел.

Джой просунул пальцы между кожаными боками бумажника и стал перебирать прозрачные целлофановые отделения для документов.

— Скорей вступайте в какой-нибудь клуб,— сказал он. Потом открыл задний кармашек.— Вот это называется чуткий подход.— Он извлек оттуда зажатую между указательным и средним пальцем двадцатидолларовую бумажку.— Я чувствовал, что «Б.Б.Д. и Д.» ведут осаду нашего города, но чтобы сразу двинуть танки!.. Да! Такой сувенирчик не забудешь.

— Это в самом деле там лежало?

— Что же, я, что ли, подсунул?

— Джой, слушайте! Этот тип обещает мне пять процентов от каждого заказа, переданного их фирме.

— Шика-арио! Вот и разбогатеете, и давно пора! Если обещает, значит, сделает. Выставляйте кока-колу. Ради такого дня.

— Неужели вы считаете, что я должен пойти на...

— А что тут плохого? Ведь цены не повысятся? И кто от этого теряет?

— Он не велел говорить Марулло, не то Марулло подумает, будто я получаю больше.

— Ну, само собой. Хоули, да что с вами? Совсем рехнулись? Это, наверно, освещение такое. Физиономия у вас какая-то зеленая. А я тоже позеленел? Уж не собираетесь ли вы отказываться?

— Я сле удержался, чтобы не дать ему пинка в зад.

— Ну кто еще на такое способен? Только вы да динозавры.

— Он сказал, все так делают.

— Нет, не все. Потому что не всем удастся. Считайте, что вам здорово повезло.

— Это нечестно.

— Почему? Кому это во вред? Что тут противозаконного?

— Значит, вы бы согласились?

— Согласился? Да я стал бы на задние лапки, только дайте! В нашем деле все лазейки закрыты. В сущности говоря, если ты простой банковский служащий, а не директор, так для тебя любое ухищрение противозаконно. А вас я решительно не понимаю. Что вы тут мудрите? Если бы вы обирали вашего Альфио, я бы сказал, что это не совсем порядочно. Но ведь дело обстоит не так. Вы оказываете им любезность, они оказывают вам. А их любез-

ность эдакая хрустящая, зелененькая. Не будьте идиотом. У вас жена, дети — надо и о них подумать. Воспитание детей что-то не дешевет, и не предвидится, чтобы подешевело.

— Пожалуйста, уйдите отсюда.

Джой Морфи со стуком опустил на прилавок недопитую бутылку.

— Мистер Хоули... Нет!.. мистер Итен Аллен Хоули,— ледяным тоном сказал он.— Если вы думаете, что я способен совершить бесчестный поступок или вас на это подтолкнуть, идите вы знаете куда!

Джой с величественным видом зашагал к дверям кладовой.

— Да нет, я не то хотел сказать. Совсем не то. Джой! Честное слово! Просто у меня сегодня и без того тяжелый день, то одно, то другое. И потом — этот ужасный праздник. Ужасный праздник!

Морфи остановился.

— То есть как? А, да! Понимаю. Я все понимаю. Вы верите мне?

— И так каждый год, с раннего детства... только год от году мне все тяжелее, потому... наверно, потому, что понимаю. Я слышу эти слова, и в них звучит такое одиночество: «Lama sabach thani»¹.

— Знаю, Итен, знаю. Но теперь уже скоро, уже недолго осталось, Итен. Забудьте мою вспышку, ладно?

И железный пожарный колокол ударил на башне ратуши — один-единственный раз.

— Кончилось,— сказал Джой-бой.— Теперь все, до следующего года.— Он тихонько вышел в переулок, без стука притворив за собой дверь.

Итен поднял шторы и снова открыл лавку, но торговля в эти часы шла вяло,— несколько картонок молока и кирпичиков хлеба ребятишкам, маленькая баранья отбивная и банка зеленого горошка мисс Борчер к ужину. Люди просто не показывались на улице. За последние полчаса, пока Итен прибирал перед закрытием, к нему никто даже не заглянул. И он запер лавку и уже вышел на улицу, как вдруг вспомнил, что ничего не взял для дома. Пришлось вернуться, набрать две бумажные сумки всяких продуктов и снова все запереть. Ему хотелось спуститься к набережной, поглядеть, как серые волны колышутся там

¹ Господи, зачем Ты меня оставил! (древнеевр.)

среди свай пристани, вдохнуть запах морской воды, поговорить с чайкой, которая — клюв по ветру — стояла на буйке. Он вспомнил стихотворение одной поэтессы, когда-то давным-давно пришедшей в экстаз при виде скользкой спирали чайкиного полета. Стихотворение начиналось так: «В тоске иль в счастье крылами веешь, стихии дочь?» Вопросы этого поэтессы так и не выяснила, да, вероятно, и не стремилась выяснить.

С двумя тяжелыми сумками в руках, полными праздничных закупок, было не до прогулки. Итэн усталыми шагами прошел по Главной улице и свернул на свою Вязовую к старинному дому семьи Хоули.

ГЛАВА II

Мэри отошла от плиты и взяла у него одну сумку.

— Мне столько всего нужно тебе рассказать. Просто не терпится.

Он поцеловал ее, и она почувствовала, как у него сухие губы.

— Что с тобой? — спросила она.

— Устал немножко.

— Но у тебя же было три часа перерыва.

— Мало ли там дел.

— Надеюсь, ты не в миноре?

— Такой уж день — минорный.

— Нет, день сегодня замечательный. Подожди, ты еще ничего не знаешь...

— Где ребята?

— Наверху, слушают радио. У них тоже есть новости.

— Что-нибудь неприятное?

— Ну, почему ты так говоришь!

— Сам не знаю.

— Ты плохо себя чувствуешь?

— Да нет! Вот пристала!

— Такие радостные новости — нет, подожду до послеобеда. Ну, ты у меня и удивишься!

Аллен и Мэри-Эллен кубарем скатились вниз по лестнице в кухню.

— Пришел! — сказали они.

— Папа, у тебя в магазине есть «Пикс»?

— Корнфлекс? Конечно, есть, Аллен.

— Принесешь нам несколько коробок, а? Это те самые, где надо вырезать маску Микки-Мауса.

— Не великоват ли ты для Микки-Мауса?

Эллен сказала:

— Крышку с коробки срезают, потом надо приложить десять центов, и они пришлют такую штуку для чревоутождения и как сю пользоваться. Только что передавали по радио.

Мэри сказала:

— Расскажите напе, что вы собираетесь делать.

— Мы хотим участвовать во всеамериканском конкурсе на сочинение «Я люблю Америку». Первая премия — поездка в Вашингтон, встреча с президентом, и родители тоже. И вагон всяких других премий.

— Прекрасно! — сказал Итен. — Но о чем речь? Что от вас требуется?

— Это херстовские газеты! — крикнула Эллен. — Объявили по всей стране. Надо написать сочинение на тему «За что я люблю Америку». Кто получит премии, тех будут показывать по телевизору.

— Блеск! — крикнул Аллен. — Скажешь, плохо? Поездка в Вашингтон, гостиница, театры, к президенту и мало ли чего еще! Скажешь, не блеск?

— Скажу: а школа?

— Это летом. Премии объявят четвертого июля, в День независимости.

— Ну что ж, тогда пожалуйста. А на самом деле что вы любите — Америку или премии?

— Слушай, отец, — сказала Мэри. — Не порть им удовольствия.

— Я просто хочу отделить корифлекс от Микки-Мауса. А они все валят в одну кучу.

— Папа, а где это можно взять?

— Что где взять?

— Ну, вроде кто чего об этом писал.

— У твоего прадеда было много хороших книг. Они на чердаке.

— Какие? Про что там?

— Ну, например, речи Линкольна, и Дэниела Уэбстера, и Генри Клея. Можешь полистать Торо, или Уолта Уитмена, или Эмерсона. Да и Марка Твена. Они все там на чердаке.

— Папа, а ты сам их читал?

— Твой прадед был мой дед. Он читал мне вслух все когда.

— Ты pomoжешь нам писать сочинения?

— Тогда они будут не ваши.

— Ну ладно,— сказал Аллен.— Только не забудь принести «Пиксов». В них ведь железо и много всего полезного.

— Постараюсь не забыть.

— Можно, мы пойдем в кино?

Мэри сказала:

— Вы же собирались красить пасхальные яйца. Они уже варятся. После обеда можете заняться этим на южной террасе.

— А можно, мы пойдем на чердак посмотрим книги?

— Если не забудете погасить электричество. Однажды там целую неделю горел свет. Это ты не выключил, Итен.

Когда дети убежали, Мэри сказала:

— Ты рад, что они будут участвовать в конкурсе?

— Конечно, рад, пусть только займутся этим как следует.

— Мне просто не терпится рассказать тебе. Марджи сегодня гадала на меня. Три раза подряд, потому что у нее никогда в жизни так не было. Три раза! Я сама видела, какая шла карта!

— О господи!

— Сначала послушай, а потом будешь говорить. Вот ты вечно подшучиваешь насчет высоких брюнетов, а знаешь, что она мне нагадала? Никогда не догадасься! Ну попробуй!

Он сказал:

— Мэри, я тебя предупреждаю...

— Предупреждась? Да если бы ты знал! Мое богатство — это ты.

Он буркнул себе под нос короткое злое слово.

— Что ты сказал?

— Я сказал: невелико богатство.

— Это ты так думаешь, а карты думают совсем по-другому. Она три раза подряд раскладывала.

— Карты думают?

— Карты все знают,— сказала Мэри.— Она на меня гадала, а выходило все про тебя. Ты будешь одним из самых важных людей в городе. Слышишь, что я говорю? Одним из самых важных. И это скоро сбудется. Совсем скоро. Какую карту она ни выкладывала, всё деньги и деньги. Ты разбогатеешь.

— Мэри, дорогая,— сказал он.— Прошу тебя, остерегись!

— Ты выгодно поместишь деньги.

— Какие деньги?

— Деньги моего брата. Какие же еще!

— Нет! — крикнул он. — Я этих денег не трону. Они твои и так и останутся твоими. Ты сама это придумала или...

— Она ни словом о них не обмолвилась. И карты тоже ничего такого не говорили. В июле ты выгодно поместишь деньги, и с этого все и начнется — одна удача за другой, одна за другой. И как это хорошо получилось! Она так и сказала: «Ваше богатство — это Итен. Он будет очень богатый человек, может быть, самый важный во всем городе».

— Чтоб ей пусто было! Какое она имеет право?

— Итен!

— Отдаст она себе отчет в том, что делает? А ты отдаешь себе отчет?

— Я хорошая жена, а она мой хороший друг — вот в чем я отдаю себе отчет. И мне не хочется затевать с тобой ссору, когда нас слышат дети. Марджи самая моя близкая подруга. Я чувствую, она тебе неприятна. Значит, ты ревнуешь меня к моим друзьям — вот и все. Я весь день радовалась — так нет, надо все испортить! Это очень некрасиво с твоей стороны. — От разочарования и досады лицо у Мэри пошло пятнами, ей хотелось отомстить за эту помеху ее сну наяву. — Скажите какой умник нашелся! Сидит здесь и разносит людей на все корки. Ты воображаешь, что Марджи это подстроила? Вот и нет, потому что я все три раза сама снимала. Но если б даже она подстроила, так зачем? По-моему, только из добрых чувств к нам, по дружбе, из желания хоть как-то помочь. А по-твоему, умник? Ну, придумай какую-нибудь гадость, придумай!

— Придумал бы, если бы мог, — сказал он. — Вернее всего, она просто интриганка. Ничем не занята, мужа нет. Вот и взялась плести интриги.

Мэри понизила голос и заговорила презрительным тоном:

— Много ты смыслишь в интригах! Столкнешься с настоящей интригой вплотную — и то ничего не поймешь. Знал бы ты, что бедной Марджи приходится терпеть! У нас в городе есть мужчины, которые буквально не дают ей проходу. Известные люди, женатые, а навязываются, пристают. Отвратительно! Марджи иной раз просто не знает, куда от них деваться. Поэтому она так и нуждается во мне, вообще в женской дружбе. Чего только я от нее не наслушалась! Кто! Какие люди! Ты в жизни бы не поверил. Некоторые даже притворяются в обществе, будто она им не нравится, а сами тайком бегают к ней или звонят

по телефону, пытаются назначить свидание. Противные ханжи! На словах за высокую нравственность, а на деле... А ты говоришь — интриганка.

— Она называла тебе какие-нибудь имена?

— Нет, не называла, и это тоже в ее пользу. Марджи никому не хочет вредить, хотя сама ото всех терпит. Она только говорила, что про одного человека я бы в жизни не поверила. «Да вы,— говорит,— поседете, если вам сказать».

Итен набрал полную грудь воздуха, задержал его и шумно перевел дух.

— Интересно, кто бы это мог быть? — сказала Мэри.— Она прямо-таки намекнула, что это кто-то из наших знакомых, но мы бы про него никогда не поверили.

— И при соответствующих обстоятельствах от намесков перешла бы к фактам? — тихо сказал Итен.

— Только если бы ее вынудили. Она сама так говорит. Только если бы пришлось в защиту... э-э... ее чести и доброго имени... Как ты думаешь, кто это?

— По-моему, я знаю.

— Знаешь? Ну кто?

— Я.

Мэри разинула рот.

— Фу! Дурак! — сказала она.— Вечно ты меня на чем-нибудь подлаживаешь. Стоит мне зазеваться — и конец. Но лучше так, чем когда ты в миноре.

— Сенсация! Муж признается жене в преступной связи с ее лучшей подругой. Она поднимает его на смех.

— Нехорошо так говорить.

— Муж, вероятно, должен был бы от всего отпереться. Тогда по крайней мере жена удостоила бы его своими подозрениями. Родная моя, клянусь тебе всеми святыми: я ни словом, ни делом не повинен в заигрывании с Марджи Янг-Хант. Ну, теперь ты поверишь, что я тебе изменяю?

— Ты?

— Значит, по-твоему, я недостаточно хорош, недостаточно привлекателен? Другими словами — кишка тонка?

— Ты прекрасно знаешь, что я не прочь пошутить, но это совершенно неподходящая тема для шуток. Ах, господи, вдруг дети там начнут лазить по сундукам! Разбрасывают и не подумают убрать.

— Я сделаю еще одну попытку, моя прелестная жена. Некая женщина, ее инициалы М. Я.-Х., со всех сторон обставила меня ловушками по причинам, кроме нее никому

не известным. Мне грозит серьезная опасность попасть в одну из них, а может, не только в одну.

— Почему ты не подумаешь о будущем? Карты сказали — в июле, — и так вышло три раза подряд. Я сама видела. У тебя будут деньги, большие деньги. Подумай об этом.

— Неужели ты так любишь деньги, зайчонок?

— Люблю ли я деньги? Как это понимать?

— Неужели тебе так уж нужны деньги, что ради них можно заниматься черной магией, шаманством, колдовством и прочими темными делюшками?

— Ну, перестань на себя! Ты первый начал! Я не позволяю тебе прятаться за этими словесами. Люблю ли я деньги? Нет, деньги я не люблю. Но вечные заботы я тоже не люблю. Мне хочется высоко держать голову в нашем городе. Мне не хочется, чтобы мои дети чувствовали себя хуже других, потому что они не могут одеваться, как... ну, как некоторые. Мне хочется высоко держать голову.

— И деньги послужат подпоркой для твоей головы?

— Они сотрут презрительные усмешки с физиономий твоих спесивых друзей.

— Над Хоули никто не насмехается.

— Это только ты так думаешь. Ты просто ничего такого не видишь.

— Может быть, я просто ничего такого не жду, потому и не вижу.

— Ты что же, хочешь убить меня своими распрекрасными Хоули?

— Нет, родная. Теперь такое оружие несколько устарело.

— Слава богу, что хоть это ты усвоил. В нашем городе, да и не только в нашем, простой продавец из рода Хоули — это всего-навсего простой продавец.

— Ты попрекаешь меня моими неудачами?

— Нет. Конечно, нет. Но я попрекаю тебя тем, что ты погряз в своих неудачах. Ведь если бы не твои старомодные, выспренние понятия, ты давно бы выкарабкался на поверхность. Над тобой все потешаются. Благородный джентльмен без денег все равно что босяк. — Это слово будто вырвалось у нее само собой, и она пристыженно замолчала.

— Что ж поделаешь, — сказал Итен. — Но ты преподала мне урок, кроличий мой хвостик. И даже не один, а целых три. Есть, как видно, три вещи, которым никто не верит. Не верят в правду, не верят в то, что вполне

возможно, и в то, что вполне логично. Теперь я знаю, где достать деньги, те самые, что повернут мою судьбу.

— Где?

— Ограблю банк.

На плите начал отрывисто позванивать колокольчик регулятора.

Мэри сказала:

— Пойди позови детей. У меня все готово. И если им потушить там свет.

Она прислушалась к его удаляющимся шагам.

ГЛАВА III

Моя жена, моя Мэри засыпает сразу, как будто за ней захлопнулась дверь. Я часто смотрю на нее с завистью. С минуту она возится под одеялом, словно прилаживаясь к кокону, обвинившему ее грациозное тело. Потом глубоко вздыхает, и к концу вздоха глаза у нее уже закрыты, а на губах безмятежная и загадочная улыбка греческого божества. Так она и спит всю ночь, улыбаясь, и во сне мурлычет, не похрапывает, а именно мурлычет, как котенок. Вдруг ее бросает в жар, так что я даже ощущаю это, лежа рядом, но в следующее мгновение все прошло и она уже где-то далеко-далеко. Я не знаю где. Она уверяет, что никогда не видит снов. Этого не может быть, конечно. Просто сны не тревожат ее или тревожат так сильно, что она забывает их до того, как проснется. Она любит спать, и сон ей дается без усилий. Не то что я. Я всегда борюсь со сном, как бы отчаянно ни хотелось мне уснуть.

Я думаю, дело тут вот в чем: моя Мэри убеждена, что будет жить вечно, что ступит из этой жизни в другую так же легко и просто, как сейчас переходит от ночи к дню. Она верит в это подобно тому, как дышит,— естественно, не размышляя. И потому ей некуда спешить, можно и спать, и отдыхать, и вовсе выключиться на время из существования.

А я весь, до мозга костей, пропитан сознанием, что рано или поздно моей жизни придет конец, и потому я гоню от себя сон, хотя в то же время жажду его, пускаюсь даже на всякие уловки, чтобы уснуть. И засыпаю я всегда с болью, с мучением. Я знаю это, потому что мне случалось просыпаться через секунду, еще чувствуя себя оглушенным, как от удара. И даже во сне я не знаю покоя. Меня

одолевают все те же дневные заботы, только в искаженной форме — точно хоровод ряженных, в звериных масках и с рогами.

Я трачу на сон гораздо меньше времени, чем Мэри. Она говорит, что у нее потребность много спать, и я соглашаюсь, что у меня такой потребности нет, хотя на самом деле я в этом далеко не уверен. В каждом организме заложен известный запас жизненной энергии — конечно, пополняемый за счет пищи. Есть люди, которые свой запас расходуют быстро, вроде того как иной ребенок спешит разгрызть и проглотить леденец, а другие делают это не торопясь. И всегда находится какая-нибудь девчушка, которая еще только разворачивает леденец, когда торопыги о нем и думать забыли. Моя Мэри, вероятно, будет жить гораздо дольше меня. Она приберегает часть своей энергии на потом. Факт, что женщины живут дольше мужчины.

Мне всегда не по себе в Страстную пятницу. Еще в детские годы у меня сжималось сердце, когда я думал — не о крестных муках, нет, но о нестерпимом одиночестве Распятого. И до сих пор я не освободился от тоски, которую поселяли во мне слова Матфея, сухо отщелкиваемые голосом моей тетушки Десборы из Новой Англии.

Нынешний год тоска особенно сильна. Невольно ведь переносишь все на себя, и кажется, это о тебе идет речь. Сегодня Марулло раскрыл передо мной тайны бизнеса, и я только впервые понял многое. А вслед за тем мне впервые предложили взятку. Это даже смешно сказать, в моем-то возрасте, но я, право, не припомню другого такого случая. Потом еще Марджи Янг-Хант. Добро или зло у нее на уме? Что ей нужно от меня? Не зря ведь она посулила мне что-то и требует, чтобы я не отказывался от своей судьбы, иначе мне плохо будет. Может ли человек сам надумать свою жизнь или он должен просто жить, как живется?

Много ночей я провел не смыкая глаз, под сонное мурлыканье моей Мэри. Когда долго глядишь в темноту, перед глазами начинают расплываться красные пятна и время тянется бесконечно. Мэри так любит спать, что я всегда стараюсь оберегать ее сон, даже когда у меня словно электрический ток бежит по коже. Стоит мне спустить ноги с кровати, она тотчас же просыпается. Ее это пугает. Она знает только одно объяснение бессонницы — болезнь, и если я не сплю, ей кажется, что я болен.

Но в эту ночь меня так и тянуло встать и выйти из дому. Мэри тихо мурлыкала, и на ее губах, как всегда,

играла та архаическая улыбка. Может быть, ей снилась удача, снилось богатство, ожидавшее меня впереди. Мэри не чужда гордыни.

Странное дело, почему вдруг человек уговаривает себя, что в определенном месте ему думается лучше. У меня есть такое место. С давних времен есть, хотя, по правде сказать, я не так уж много думаю, когда бываю там, больше отдаюсь чувствам, переживаниям, воспоминаниям. Это мое тайное убежище — у каждого, верно, есть такое, только никто в этом не признается.

Осторожным, крадущимся движением скорей разбудишь спящего, чем нормальным и естественным. Кроме того, я убежден, что во сне люди могут проникать в чужие мысли. Я стал внушать себе, что мне нужно в уборную, и, когда это удалось, поднялся и вышел. А из уборной я потихоньку спустился вниз, захватив с собой одежду, и в кухне оделся.

Мэри часто винит меня в том, что я болею душой за несуществующие чужие беды. Может быть, она и права, но мне вдруг представилось, как она просыпается и, не найдя меня ни в спальне, ни в кухне, ходит в испуге по всему дому. Я взял карандаш и написал на листке из книги домашних расходов: «Родная, мне не спалось, и я решил пройтись. Скоро вернусь». Листок я положил на середину стола, так чтобы он сразу бросился ей в глаза, как только она включит свет в кухне.

Потом я отворил кухонную дверь и потянул носом воздух. Было холодно, пахло морозным инеем. Я поднял воротник пальто и надвинул на уши вязаную матросскую шапку. Электрические часы в кухне жужжали. Они показывали без четверти три. Значит, почти четыре часа я лежал и смотрел, как расплываются в темноте красные пятна.

Наш Нью-Бэйтаун — красивый город, старый город, один из первых в Америке, заслуживших название города. Его основатели, в том числе мои предки, были, наверно, сыновьями тех буйных, шальных, вероломных стяжателей-моряков, что при Елизавете смущали покой Европы, при Кромвеле хозяйничали в Вест-Индии и наконец, заручившись грамотами вернувшегося на престол Карла Стюарта, свили гнездо на северном побережье. Они с успехом сочетали в себе пиратов и пуритан, которые, если разобраться поглубже, не так уж сильно отличались друг от друга. И те и другие были нетерпимы к противникам, и те и другие зарились на чужое добро. Их союз породил выносливое, крепкое обезьянье племя. Обо всем этом я знаю из расска-

зов отца. Он был большой любитель семейной истории, а я замечал, что любители семейной истории редко обладают качествами предков, которыми они гордятся. Мой отец был добрый, мягкий человек, весьма начитанный и весьма непрактичный, простака с редкими проблесками мудрости. В одиночку он ухитрился растерять почти все, что за несколько столетий накопили Хоули и Аллены: землю, деньги, положение, перспективы,— все, за исключением имени; впрочем, только именем он и дорожил. Отец любил просвещать меня насчет того, что он называл «наследием поколений». Поэтому мне так много известно о наших предках. И поэтому же, должно быть, я теперь служу продавцом в лавке бакалейщика-сицилийца, в квартале, который некогда весь принадлежал семейству Хоули. Я хотел бы не принимать этого к сердцу, но не могу. Не кризис, не тяжелые времена сокрушили нас.

Все это не пришло бы мне сейчас в голову, не скажи я, что Нью-Бэйтаун красивый город. Я пошел по Вязовой не налево, а направо и очень скоро очутился на улице Порлок, которая тянется почти параллельно Главной. Крошка Вилли, наш толстяк полицейский, наверняка дремлет сейчас в полицейской машине где-нибудь посреди Главной улицы, а у меня нет ни малейшего желания вступать с ним в беседу. «Откуда так поздно, Ит? Уж не завели ли вы себе красотку?» Крошке Вилли скучно, и он любит поговорить с прохожим, а потом порассказать другим, о чем был разговор. Немало досадных сплетен пошло гулять по городу только из-за того, что Крошка Вилли скучает на ночном дежурстве. Полицейского, который дежурит днем, зовут Стопуолл Джексон Смит. Это не прозвище. Так его нарекли при крещении — Стопуолл Джексон¹, и теперь уж его не спутаешь с каким-нибудь другим Смитом. Не знаю почему, но если в городе двое полицейских, то они всегда полная противоположность один другому. Стопи Смит, если вы его спросите, какой сегодня день, ответит вам только разве на суде под присягой. Смит — главная полицейская власть в городе, он предан делу, в курсе всех новейших методов и прошел специальную школу ФБР в Вашингтоне. На мой взгляд, это образец полицейского: высокий, молчаливый, глаза посверкивают, точно кусочки металла. Всякому, кто замышляет преступление, я бы посоветовал держаться подальше от Стопи.

¹ «Твердокаменный Джексон» (англ.) — прозвище Томаса Джонатана Джексона, генерала армии южан в Гражданскую войну в США.

Все это не пришло бы мне в голову, не сверни я к Порлоку, чтобы избежать встречи с Крошкой Вилли. Порлок — улица, где стоят самые красивые дома в Нью-Бэйтауне. Дело в том, что в начале девятнадцатого столетия у нас тут было больше сотни китобойных судов. Проплавав год-два где-нибудь в Антарктиде или Южно-Китайском море, эти суда возвращались с ценнейшим грузом китового жира. А так как по дороге им случалось заходить в чужеземные гавани, то, кроме груза, они привозили заморские диковины и заморские идеи. Вот почему в домах на Порлоке так много китайских вещей. К тому же некоторые из этих старых шкиперов-судовладельцев обладали хорошим вкусом. Денег у них было много, и, собираясь строить дом, они выписывали архитекторов из Англии. Вот почему на улице Порлок так чувствуется влияние Роберта Адама и архитектуры классицизма. Такова была тогдашняя мода в Англии. Но наряду с полуциркульными окнами, каннелюрами и дорическими колоннами в каждом доме непременно имелась «вдовья дорожка» на крыше, откуда, по идее, верные жены могли всматриваться в даль, ожидая возвращения кораблей. Иногда, возможно, так и бывало. Но, Хоули, а также Филлипсы, Элгары и Бейкеры — более старые семьи. Все они как жили, так и живут на Вязовой, в домах так называемого раннего американского стиля, с островерхими крышами и обшивкой из корабельного теса. И наш дом, старый дом Хоули, тоже такой. А кругом растут исполинские вязы, которым столько же лет, сколько и домам.

На Порлоке сохранились газовые фонари, только в них теперь вставлены электрические лампочки. Летом сюда съезжаются туристы полюбоваться городской архитектурой, вдохнуть, как они выражаются, «аромат старины». А разве только старина обладает приятным ароматом?

Не помню уже, при каких обстоятельствах Хоули породнились с вермонтскими Алленами. Это произошло вскоре после революции 1776 года. При желании было бы нетрудно проверить. Среди бумаг на чердаке наверняка есть какие-нибудь свидетельства на этот счет. Когда умер мой отец, Мэри уже была по горло сыта историей семейства Хоули, и я вполне сочувственно отнесся к ее предложению снести все бумаги на чердак. Чужая семейная история не так уж занимательна. Мэри даже не уроженка Нью-Бэйтауна. Ее родные ирландского происхождения, но не католики. Последнее обстоятельство она всегда подчеркивает. Мы ольстерцы, говорит она. Сюда она приехала из Бостона.

Впрочем, нет. Я привез ее из Бостона — это будет вернее. Так ясно, будто это происходит сейчас, вижу нас обоих: пугливый, первничающий младший лейтенант Хоули в трехдневном отпуске и милая, трогательная, розовая и душистая девочка, вдвойне прелестная благодаря юности и войне. Как серьезные, как неумолимо серьезные мы были! Меня убьют, а она всю жизнь будет верна памяти павшего героя. Все точно так же, как еще у миллионов оливковых мундиров и пестрых ситцевых платьев. И все легко могло кончиться обычной отставкой: «Милый Джон...» — и так далее. Но Мэри и в самом деле оказалась верна своему герою. Ее письма — голубые конверты, синие чернила, круглый четкий почерк — с трогательной неизменностью следовали за мной всюду; вся моя рота узнавала их издали, и все почему-то радовалось за меня. Даже если бы я не собирался жениться на Мэри, ее постоянство заставило бы меня сделать это во славу вековой мечты о прекрасных и верных женщинах.

Она не изменилась и тогда, когда пришлось оторваться от родной ирландско-бостонской почвы ради старого дома Хоули на Вязовой улице. Ее ничто не могло изменить — ни постепенный упадок в моих делах, ни рождение детей, ни беспросветность нашего теперешнего существования, с тех пор как я тяну лямку продавца в бакалейной лавке. Она из тех, кто умест терпеливо ждать, я это знаю. Но сейчас, мне кажется, и ее долготерпение стало понемножку иссякать. Никогда прежде она ничем не выдавала своих сокровенных желаний, потому что моя Мэри по натуре не способна к насмешкам или презрительным упрёкам. Ни при каких житейских передрыгах она не опускала головы. И если в ней иногда прорывается горечь, это оттого и странно, что непривычно. Как быстро бегут ночью мысли под скрип шагов на заиндевевшей мостовой.

Совсем не нужно прятаться от людей, если бродишь по нью-бэйтаунским улицам в предраассветный час. Только Крешка Вилли не преминул бы отпустить шуточку на этот счет, всякий же другой, повстречавшись со мной в три часа утра неподалеку от залива, решит, что я иду к своим удочкам, и тут же про меня забудет. Известно, что у рыболовов свои секреты, оберегаемые порой не менее ревниво, чем домашние рецепты, и к таким вещам все относится с полным уважением.

При свете уличных фонарей газоны и тротуары, выбеленные изморозью, искрились, словно россыпь мелких алмазов. На таком тротуаре отпечатываются следы ног,

а впереди никаких следов не было видно. Я с детства испытываю своеобразное волнение перед свежим покровом снега или инея. Точно вступаешь в какой-то новый мир, и всего тебя пронизывает радость открытия, первого соприкосновения с чем-то чистым, нетронутым, неоскверненным. Всегдашние ночные бродяги кошки не любят ходить по дорогам, покрытым изморозью. Помню, я как-то на пари ступил на такую дорогу босиком, и мне точно обожгло подошвы ног. Но сейчас, в галошах и теплых носках, я смело пятнал сверкающую целину.

Там, где Порлок пересекает Торки, сразу за велосипедным заводом, что выходит на улицу Хикс, целина была исчерчена длинными заплетающимися следами. Дэнни Тейлор, беспокойный непоседливый дух, всегда влекущийся туда, где его нет, и снова туда, где его нет. Дэнни, городской пьянчуга. В каждом городе такой есть. Дэнни Тейлор — столько голов сокрушенно покачиваются ему вслед: из хорошей семьи, из старинной семьи, последний в роду, с образованием. Кажется, у него были какие-то неприятности в Военно-морском училище? Так пора б уже выправиться. Он себя загубит пьянством, и это недопустимо, ведь Дэнни — джептльмен. Подумать только, попрошайничает ради выпивки. Счастье, что его родители этого не видят. Позор свел бы их в могилу — впрочем, они давно уже в могиле. Но так говорят в Нью-Бэйтауне.

Дэнни — моя мука и боль; мало того, меня за него совесть мучает. Я должен был помочь ему. Я и пытался, да разве он дастся. Дэнни мне все равно что брат родной, мы с ним вместе выросли, одних лет, рост, сила — все у нас было одинаковое. Может быть, оттого меня и мучает совесть: ведь я сторож брату моему, а уберечь его не смог. Тут уж сколько ни оправдывайся перед собой, никакие доводы не помогут, даже самые резонные. Семья Тейлоров такая же старинная, как семья Хоули или Бейкеров. Во всех моих воспоминаниях о детстве, о пикниках, играх, посещениях цирка, рождественских праздниках Дэнни неотделим от меня, как моя собственная правая рука. Может быть, если бы мы и дальше учились вместе, с ним бы не стряслась беда. Но я уехал в Гарвард — преуспевал в языках, постигал всю прелесть гуманитарных наук, наслаждался древним, прекрасным, неизвестным, вбирал в себя книжную премудрость, которая оказалась мне вовсе ни к чему в бакалейной лавке. И всегда жалел, что на этом увлекательном, ярком пути со мной рядом нет Дэнни. Но Дэнни ждала карьера моряка. Вакансия в Во-

сно-морском училище была задумана, исхлопотана, закреплена и обеспечена ему, еще когда мы бегали в коротких штанишках. Его отец не забывал напоминать об этом каждому вновь избранному от нас конгрессмену.

Три года отличных успехов, а потом — исключение. Говорят, это убило его родителей, во всяком случае это почти убило самого Дэнни. Осталась лишь тень его — жалкий горемыка, полуночник-горемыка, выпрашивающий мелочь, чтобы прополоскать мозги. Так он и бродит всю ночь до рассвета по городским улицам, понурый, одинокий, едва передвигая ноги. Когда он просит у вас четвертак, чтобы прополоскать мозги, глаза его молят о прощении, которого он у самого себя не находит. Ночует он в хибарке на заброшенной судоверфи, когда-то принадлежавшей Уилбурам. Я нагнул, стараясь определить по следам, домой он шел или из дому. Похоже было, что он бродит где-то в городе и может в любую минуту попасться мне навстречу. Едва ли Крошка Вилли вздумает засадить его за решетку. Что толку?

Я шел не наудачу, а в определенное место. Об этом месте я думал, видел его, чувствовал его запах, еще лежа в постели. Старая гавань теперь в запустении. После того как построили городской мол и соорудили волнорез, старый рейд, защищенный острым клыком Тропцына рифа, занесло илом и песком, и он совсем обмелел. И нет больше ни стаселей, ни мостков, ни пакгаузов, где династии бондарей мастерили бочки для китового жира, нет и длинных причалов, над которыми высились бушприты китобойных судов, украшенные причудливыми резными фигурами. Это были по большей части трехмачтовики с прямыми парусами, устойчивые, крепкие корабли, рассчитанные на долгие годы плавания в любую погоду. На задней мачте крепилась и контра-бизань; бом-кливер был выносной, а двойной мартин-гик служил в то же время шпритовым гафелем.

У меня есть гравюра, изображающая Старую гавань, битком набитую кораблями, есть несколько выцветших дагерротипов, но они мне, в сущности, не нужны. Я хорошо знаю и гавань и корабли. Мой дед все это рисовал передо мной своей тростью, сделанной из бивня нарвала, и вдавливал мне терминологию, постукивая при каждом названии по обломку сваи, уцелевшему от того, что некогда было причалом Хоули. Мой дед, неистовый старик с седой шкиперской бородкой. Я любил его до боли.

— Ну, — командовал он голосом, который с мостика был слышен без рупора. — Отвечай парусное вооружение

корабля. Только отвечай так, чтобы слышно было. Терпеть не могу, когда бормочут себе под нос.

И я отвечал, стараясь гаркать как можно громче, а нарваловая трость припечатывала стуком каждый мой ответ.

— Бом-кливер,— гаркал я (стук!),— малый кливер (стук!), средний кливер, кливер (стук! стук!).

— Громче!

— Фор-трюмсель, фор-бом-брамсель, фор-брамсель, верхний брамсель, нижний брамсель! — И всякий раз: стук!

— Грот! Не бормотать!

— Грот-трюмсель! — (Стук!)

С годами он стал иногда утомляться.

— Стоп! — командовал он, прежде чем я успевал закончить с гротами.— Переходи к бизаням. Громче!

— Есть, сэр. Крюйс-трюмсель, крюйс-брамсель, крюйс-брамстаксель, бегин-рей!

— А еще?

— Контра-бизань.

— С какой оснасткой?

— Гик и гафель, сэр.

Нарваловая трость стук-стук-стук по сырому обломку свай.

Став к старости тугим на ухо, он сердился и всех обвинял, что они бормочут себе под нос.

— Если знаешь, что говоришь, или хотя бы думаешь, что знаешь, говори громче,— кричал он.

Но если слух изменил под конец жизни Старому шкиперу, то о его памяти этого никак нельзя было сказать. Он мог без запинки назвать вам тоннаж и скорость любого судна, когда-либо выходившего из нью-бэйтаунской гавани, мог сказать, с каким оно вернулось грузом и как этот груз был поделен, и это тем удивительнее, что золотых дней китобойного промысла он уже не застал. Керосин он называл жижей, а керосиновые лампы — вонючками. Но появление электричества оставило его равнодушным, а может быть, он уже тогда жил только воспоминаниями. Его смерть не была для меня ударом. Старик вымуштровал меня в этом вопросе так же, как в вопросе об оснастке кораблей. Я был готов к случившемуся внутренне и внешне.

У края занесенной илом и песком Старой гавани, на месте причала Хоули, еще сохранился каменный фундамент. Во время отлива он целиком обнажен, а когда набе-

гают волны, они плещутся о каменную кладку. Футах в десяти от угла там есть небольшой сводчатый проход — четыре фута в ширину, четыре в высоту, пять в глубину. Может быть, когда-то тут была дренажная труба, но отверстие со стороны суши плотно забито песком и обломками камня. Это и есть мое Убежище, место уединения, необходимое каждому человеку. Увидеть меня там нельзя, разве только с залива. Старая гавань теперь совсем заброшена, есть там только несколько ветхих лачуг, где ютятся собиратели венерок¹, но зимой пустуют и эти лачуги. К тому же собиратели венерок — тихие, нелюбопытные люди. Они бродят по берегу, согнувшись и опустив голову, и за целый день иногда не обмолвятся словом.

Туда-то я и направился теперь. Там я просидел ночь накануне ухода в армию, и ночь накануне свадьбы с Мэри, и часть той ночи, когда должна была родиться Эллиен и Мэри так плохо приходилось. Я чувствовал потребность пойти и поспать там, послушать, как бьется о камень мелкая волна, посмотреть на оскаленный клык Тронцына рифа. Лежа в постели, я видел все это сквозь красные пятна, плясавшие у меня перед глазами, и я знал, что мне нужно побывать там. Меня всегда тянет туда накануне перемен — больших перемен.

Дальше вдоль края бухты расположен Саутдевен, и на берег навесен свет фонарей: это добрые люди заботятся о влюбленных, хотят уберечь их от беды, так что им приходится искать себе другое место. По инструкции муниципалитета Крошка Вилли должен каждый час проезжать здесь во время своего дежурства. Сейчас на берегу никого не было видно — ни души, что даже казалось странным, так как тут во всякое время околачиваются рыболовы: одни идут на ловлю, другие с ловли, третьи с удочками торчат у воды. Я перелез через фундамент, нашел отверстие и забрался в тесную пещерку. И не успел я усесться, как послышался шум проезжающей машины. Второй уже раз в эту ночь я счастливо избежал встречи с Крошкой Вилли.

Казалось бы, довольно неудобно и глупо сидеть в каменной нише, скрестив ноги на манер Будды, но мне как-то не мешают камни или это я им не мешаю. Может быть, я так давно сюда хожу, что мой зад обмялся по форме этих камней. А насчет того, что оно глупо, так я не возражаю, пусть. Иногда чем глупее, тем веселее, недаром

¹ Вид съедобного моллюска.

дети хохочут до упаду, играя в статуи. А иногда глупость нарушает заведенный порядок и помогает начать что-то сызнова. Когда у меня тревожно на душе, я нарочно дурачусь, чтобы любимая не заразилась моей тревогой. До сих пор мне удавалось обманывать ее, а если нет, я этого никогда не узнаю. Я многого не знаю о своей Мэри, прежде всего — что она знает и чего не знает обо мне. Вряд ли она подозревает об Убежище. Откуда? Я никогда никому о нем не рассказывал. У меня нет для него никакого особенного названия, никаких ритуалов или заклинаний. Это просто местечко, где хорошо сидеть и думать. Что мы, в сущности, знаем о других людях? В лучшем случае можем предполагать, что они похожи на нас. И вот, сидя в Убежище, защищенный от ветра, глядя при свете бдительных фонарей, как накатывает на берег волна, черная от ночного неба, я задумываюсь о том, у каждого ли есть свое Убежище и каждому ли оно нужно, или, может быть, есть такие люди, кому оно нужно и у кого его нет. Мне иногда случалось ловить чужой взгляд, полный тоски, как у затравленного животного, и казалось, это тоска по тихому, недоступному для других уголку, где улеглось бы душевное смятение, где бы можно побыть наедине с собой и разобраться, что к чему. Я, конечно, слышал про всякие там теории насчет влечения к смерти или тяги назад, в материнскую утробу — может быть, они и приложимы кое к кому, но не ко мне, разве только в качестве упрощенного объяснения того, что на самом деле не так просто. Если бы меня спросили, что я делаю в Убежище, я бы сказал: разбираюсь, что к чему. Другой, может, назвал бы это молитвой и тоже по-своему был бы прав. Размышление тут неподходящее слово. Пожалуй, зрительно это можно бы представить так: полощется на ветру мокрое полотенце и постепенно просыхает, становясь гладким и белым. Мне всегда на пользу время, проведенное в Убежище, приятно это или нет.

На этот раз скопилось много вопросов, в которых нужно было разобраться, и все они выскакивали наперебой, требуя внимания, точно школьники, выучившие урок. Но тут я услышал мерный стрекот мотора. Люгер, рыбачий катер. Его клотиковый огонь двигался к югу за Троицыным рифом. Теперь надо было ждать, пока он благополучно обогнет риф и я увижу оба бортовых огня, зеленый и красный. Только местное судно могло так легко найти вход в бухту. Дойдя до отмели, катер стал на якорь, и к берегу отошла лодка с двумя гребцами. Зашелестел

под волной песок, потревоженные чайки взлетели и немного погодя снова расселись на буйках.

Пункт первый. Нужно подумать о Мэри, моей любимой, которая спит сейчас с загадочной улыбкой на губах. Я не хотел, чтобы она хватилась меня, проснувшись. А впрочем, если она и хватится, разве я об этом узнаю? Едва ли. Мне кажется, Мэри, которая словно бы рассказывает мне все, на самом деле рассказывает очень мало. И вот теперь вопрос о богатстве. Нужно ли Мэри это богатство или она хочет его только ради меня? То, что это всего лишь мнимое богатство, неизвестно зачем выдуманное Марджи Инг-Хант, роли не играет. Мнимое богатство ничуть не хуже настоящего, и, пожалуй, богатство всегда в какой-то степени бывает мнимым. Любой неглупый человек может нажить деньги, если это то, что ему нужно. Но чаще всего ему не деньги нужны, а женщины, или дорогие костюмы, или поклонение окружающих, и это сбивает его с толку. Великих финансистов, художников своего дела, таких, как Морган или Рокфеллер, с толку не собьешь. Им нужны деньги, именно деньги, денег они и добиваются. А что они потом делают с этими деньгами — это уже другой вопрос. Мне всегда казалось, что они сами напуганы вызванным ими духом и пробуют от него откупиться.

Пункт второй. Для Мэри деньги означают новые занавески и возможность дать детям образование, и чуть по выше держать голову, и — будем говорить прямо — не стыдиться меня немножко, а гордиться мной. Она сама в этом призналась со злостью, и это верно.

Пункт третий. Нужны ли деньги мне? Да нет, не нужны. Правда, мне не очень нравится быть продавцом в бакалейной лавке. В армии я имел чин капитана, но я знаю, чему я этим обязан. Не за красивые глаза меня направили в офицерскую школу, а благодаря имени и семейным связям. Но я был хорошим офицером, примерным офицером. Однако, если бы я по-настоящему любил командовать, навязывать другим свою волю и видеть, как передо мной ходят по струнке, я ведь мог остаться в армии и за это время дослужился бы до полковника. А я не пожелал. Мне хотелось как можно скорей покончить со всем этим. Говорят, хороший солдат думает о сражении, но не о войне. Это уже дело штатских.

Пункт четвертый. Марулло правильно объяснил мне, что значит делать дела. Это значит добывать деньги. И Джой Морфи тоже так прямо мне и сказал, и мистер

Бейкер, и коммивояжер. Все они так прямо и говорили. Почему же это вызвало во мне такое отвращение и оставило словно вкус тухлого яйца во рту? Что я, такой уж хороший, добрый, справедливый? Вряд ли. Может быть, я чересчур горд? Пожалуй, не без того. Или я просто ленив, слишком ленив, чтобы взяться за что-то? Многим свойственна такая бездеятельная доброта, которая есть попросту лень, боязнь беспокойства, усилий, волнений.

Бывает, до утра еще далеко, а оно уже угадывается, уже пахнет рассветом. Вот и сейчас в воздухе потянуло холодком, какая-то запоздалая звезда или планета показалась на востоке. Мне следовало бы знать, что это за звезда или планета, но я не знаю. В час ложной зари свежест и ветер крепчает. Это всегда так. И это значит, что скоро мне пора домой. Новой звезде недолго придется мерцать над горизонтом. Как это говорится — «звезды не приказывают, но склоняют»? Я слышал, между прочим, что многие серьезные финансисты консультируются с астрологами насчет своих биржевых операций. Склоняют ли звезды играть на повышение? Подчинен ли «Америкэн телеграф энд телефон» влиянию звезд? Моя судьба не зависит от таких далеких и смутных влияний. Колода потрепанных гадальных карт в руках пустой, коварной женщины, которая еще и плутует, раскладывая их! Может быть, и карты не приказывают, но склоняют? Разве не склонили меня карты поспешить среди ночи сюда, в Убежище, и разве они не склоняют меня думать о том, о чем я вовсе думать не хочу? Это ли не влияние? А вот могут ли они склонить меня к деловой сметке, которой я никогда не отличался, к стяжательству, чуждому моей природе? Возможно ли, чтобы под влиянием карт я захотел того, чего не хочу? Есть пожиратель и есть пожираемые. Вот истина, которую не мешает запомнить для начала. Что ж, пожиратели безнравственнее пожираемых? Все ведь мы в конце концов станем пожирасмыми — всех нас пожрет земля, даже самых жестоких и самых хитрых.

На Клам-хилл давно уже пели петухи, я и слышал это и не слышал. Мне хотелось еще побыть в Убежище, посмотреть оттуда на восход солнца.

Я сказал, что у меня нет никакого ритуала, связанного с Убежищем, но это не совсем верно. Всякий раз, бывая здесь, я тешу себя тем, что мысленно восстанавливаю Старую гавань — лес мачт, подлесок снастей, свернутых парусов. И я вижу своих предков, родную кровь: молодые — на шканцах, кто постарше — на спардеке, старики на мо-

стике. Кто тогда помышлял о Мэдисон-авеню¹ или беспокоился — не срезать бы лишний лист с цветной капусты? Тогда человек обладал достоинством, обладал осанкой. Дышал полной грудью.

Это голос моего отца, простака. Старый шкипер вспоминал другое — ссоры из-за доли в прибылях, махинации с грузами, придирчивые проверки каждой доски, каждого кильсона, судебные тяжбы, убийства — да, и убийства. Из-за женщин, славы, жажды приключений? Ничуть не бывало. Из-за денег. Редкие компаньоны не расходились после первого же плавания, и жгучие распри тянулись без конца уже после того, как и причин-то никто не помнил.

Была одна обида, которую старший шкипер Хоули запомнил навсегда, одно преступление, которого он не мог простить. Много, много раз он мне рассказывал об этом, когда мы с ним стояли или сидели на берегу в Старой гавани. Мы так провели вдвоем немало хороших часов. Помню, как он указывал вдаль своей парваловой тростью.

— Заметь себе третий выступ Троицына рифа, — говорил он. — Заметил? Теперь проведи от него черту до мыса Порти, до высшей точки прилива. Готово? А теперь отложи полкабельтова вдоль этой черты — вот там она и лежит, вернее сказать, ее киль.

— «Прекрасная Адэр»?

— Да, «Прекрасная Адэр».

— Наше судно.

— Наполовину наше. Она сгорела на рейде — вся сгорела, до самой ватерлинии. Никогда не поверю, что это было дело случая.

— Вы думаете, ее подожгли, сэр?

— Уверен.

— Но как же — как же можно пойти на такое?

— Я бы не мог.

— Кто же это сделал?

— Не знаю.

— А зачем?

— Страховая премия.

— Значит, и тогда было как теперь?

— Да.

— Но должна же быть разница?

— Разница только в людях — только в самих людях. В человеке вся сила. От него только все и зависит.

После пожара он, по словам отца, навсегда перестал разговаривать с капитаном Бейкером, но на сына послед-

¹ Одна из центральных деловых улиц в Нью-Йорке.

него, директора банка Бейкера, эта обида не распространилась. Старый шкипер был так же не способен на несправедливость, как и на поджог.

Господи, надо спешить домой. И я заспешил. Я почти бегом пробежал по Главной улице, ни о чем больше не думая. Еще не рассвело, но над самым горизонтом уже брезжила узкая полоска зари, и вода там была чугуниного цвета. Я обогнул обелиск у набережной и прошел мимо городской почты. Так я и знал: в подъезде одного из соседних домов стоял Дэнни Тейлор, руки в карманах, воротник обтрепанного пальто поднят, на голове старая охотничья каскетка со спущенными наушниками. Лицо у него было голубовато-серое, он казался иззябшим и больным.

— Ит,— сказал он.— Уж ты меня извини за беспокойство, пожалуйста, извини. Но мне необходимо прополоскать мозги. Сам знаешь, если бы не пужда, не сиротил бы.

— Знаю. То есть, может, и не знаю, но верю.— Я дал ему долларовую бумажку.— Хватит?

Губы у него задрожали, точно у ребенка, который вот-вот заплачет.

— Спасибо тебе, Ит,— сказал он.— Да, на это я смогу продержаться целый день, а может, еще и ночь.— Он заметно оживился от одного предвкушения.

— Дэнни, надо тебе бросить это. Думаешь, я забыл? Ты был мне братом, Дэнни. Ты и сейчас брат мне. Я бы все на свете сделал, чтобы тебе помочь.

Его впалые щеки чуть порозовели. Он смотрел на деньги, которые держал в руке, и словно бы уже сделал первый живительный глоток. Потом он поднял на меня глаза, холодные и злые.

— Во-первых, я не люблю, когда суют нос в мои личные дела. А во-вторых, у тебя у самого гроша за душой нет, Итен. Ты такой же калека, как и я, только увечье у нас разное.

— Выслушай меня, Дэнни.

— С какой стати? Да мне, если хочешь знать, лучше, чем тебе. У меня есть козырь на руках. Помнишь нашу загородную усадьбу?

— Там, где сгорел дом? Где мы играли в прятки в погребе?

— Вижу, ты не забыл. Так вот, эта земля и сейчас моя.

— Дэнни! Ведь ты бы мог продать ее и начать новую жизнь.

— А я не жслаю продавать. Каждый год у меня отрезают по кусочку — в счет налога. Но большой луг еще мой.

— Отчего же ты не хочешь продавать?

— Оттого что эта земля — это я сам. Я, Дэни Тейлор. Пока она у меня есть, никакая сволочь не посмеет командовать мною и никакая мразь не упрячет меня под замок. Понятно?

— Но послушай, Дэни...

— Не хочу ничего слушать. Если ты воображаешь, что купил за свой доллар право читать мне правоучения — на! Возьми его обратно!

— Нет, нет, оставь себе.

— Ладно, оставляю. Но не берись судить о том, чего не понимаешь. Ты никогда не... не был запоем. Ведь я не учу тебя резать ветчину. Ну, ступай себе, а я постучусь тут в одно местечко, где найдется, чем прополоскать мозги. И помни мои слова: мне лучше, чем тебе. Я по крайней мере не стою в фартуке за прилавком. — Он отвернулся и уткнул голову в косяк запертой двери, точно ребенок, которому достаточно зажмурить глаза, чтобы разделаться с внешним миром. И так он стоял, пока я не пошел прочь.

Крошка Вилли, дремавший в своем «несвроде» напротив гостиницы, встрепенулся и опустил оконное стекло.

— Доброе утро, Итен, — сказал он. — Вы что, уже встали или еще не ложились?

— И то и другое.

— Должно быть, недурно провели ночь.

— И не говорите, Вилли. Как в раю.

— Ну, ну, Ит, не вздумайте же вы уверять меня, что путаетесь с какой-нибудь шлюхой.

— Даю честное слово.

— Да будет вам. Сидели небось на берегу с удочкой. А как ваша хозяйка?

— Спит.

— Охотно последую ее примеру, вот только сменись с дежурства.

Я бы мог заметить на это, что он и на дежурстве не терял времени, но промолчал и пошел дальше.

Стараясь не шуметь, я вошел в дом с черного хода и включил в кухне свет. Моя записка лежала на столе чуть ближе к левому краю. Готов поклясться, что я положил ее как раз посередине.

Я поставил кофе на огонь и сел, ожидая, когда он вскипит, и только что в кофейнике забурлило, как вошла Мэри. Моя любимая выглядит совсем девочкой, встав поутру с постели. Никогда не скажешь, что это мать двух совсем больших ребят. И пахнет от нее так чудесно, похоже на свежее сено — самый ласковый и уютный запах на свете.

— Что это ты вскочил ни свет ни заря?

— Вот это мило. Да будет тебе известно, что я почти всю ночь провел на ногах. Видишь мои галоши вон там, у двери. Тронь их, убедишься, что они мокрые.

— Где же это ты был?

— Есть такая пещерка на самом берегу залива, утенок мой взъерошенный. Я туда забрался, чтобы следить за ночью.

— Да ну тебя.

— И я увидел, как из моря вышла звезда, и так как у нее не было хозяина, я решил, пусть это будет наша звезда. Я ее приручил и пустил пастись на воле.

— Не дурачься. Ты, наверно, только что встал, а я слышала и проснулась.

— Не веришь мне — спроси Крошку Вилли. Я с ним недавно беседовал. Спроси Дэни Тейлора. Я дал ему доллар.

— Напрасно. Он пойдет и пропьет его.

— Еще бы. Об этом он и мечтал. А где будет спать наша звезда, как ты думаешь, былинка?

— Кофе приятно пахнет, верно? Я рада, что ты опять дурачишься. Хуже нет, когда ты в миноре. Нелепый это был разговор насчет богатства. Я не хочу, чтобы ты думал, будто я несчастлива.

— А ты не беспокойся, карты все сказали.

— Что все?

— Правда, правда, без шуток. Я скоро разбогатею.

— С тобой никогда не знаешь, что у тебя на уме.

— Это всегда бывает, когда человек говорит правду. Можно мне немножко отлупить детей в честь Воскресения Господня? Обещаю, кости будут целы.

— Я еще даже не умывалась, — сказала она. — Не могла понять, кто там тарахтит посудой в кухне.

Пока она была в ванной, я взял со стола записку и спрятал в карман. Но я все-таки не знал. Неужели нам не дано даже мелочи знать о другом? Какая ты там, в себе, Мэри? Ты слышишь меня? Кто ты там, в себе?

ГЛАВА IV

Эта суббота была не похожа на другие. Может быть, в каждом дне есть что-то свое. Но это был совсем особенный день. Мне слышался ровный бесцветный шепоток тетушки Деборы: «Сегодня Христос мертв. Это бывает только один день в году, и вот сегодня такой день. И все люди на земле тоже мертвы. Христос сейчас терпит муки ада. Но завтра — дай срок, пусть только наступит завтра. Тогда увидишь, что будет».

Мне трудно представить себе тетушку Дебору, всегда ведь трудно представить себе тех, кого привык видеть не издали. Но помню, она читала мне Библию, как читают ежедневную газету, да, пожалуй, так она ее и воспринимала, как рассказ о событиях, извечно повторяющихся, но всегда полных увлекательной новизны. Каждую Пасху Христос в самом деле воскресал из мертвых, и это было как взрыв, все равно оглушительный, хоть его и ждешь. Для нее все происходило не две тысячи лет назад, а сейчас, сегодня. В какой-то мере она внушила это ощущение и мне.

Не помню, чтобы я когда-нибудь испытывал желание поскорей отпереть лавку. Утро, начало пудного, томительного дня, — мой личный враг. Но в это утро мне не терпелось уйти из дому. Я всей душой люблю мою Мэри, быть может, больше, чем самого себя, но, признаюсь, я не всегда слушаю ее с достаточным вниманием. Когда она заводит речь о платьях или о здоровье или пересказывает чьи-то слова, остроумные и поучительные, я попросту не слушаю вовсе. Иногда она возмущенно восклицает: «Да ты же это знаешь. Я тебе говорила. Я очень хорошо помню, я тебе рассказывала об этом в четверг утром». И можно не сомневаться — так оно и было. Она мне рассказывала. Она мне рассказывает все — о некоторых вещах.

В это утро мне не только не хотелось слушать. Мне хотелось освободиться от этой обязанности. Может быть, я сам чувствовал желание поговорить, а сказать было нечего — ведь нужно отдать ей должное: она тоже часто не слушает меня, и слава Богу. Она прислушивается к звукам моего голоса, стараясь по тону определить, как я себя чувствую и какое у меня настроение, устал ли я или мне весело. Что ж, это не так глупо. Она права, что не слушает меня, ведь я большей частью обращаюсь не к ней, а к некоему безмолвному слушателю, который сидит во мне самом. И она, в сущности, тоже не со мной говорит.

Но, конечно, если дело касается детей или каких-нибудь чрезвычайных домашних событий, тогда все по-другому.

Я часто замечал, как много в разговоре зависит от того, к кому обращены твои слова. Я чаще всего обращаюсь к людям, которых уже нет в живых, например к моему домашнему Плимут-року¹ тетушке Деборе или к Старому шкиперу. Я даже спорю с ними. Помню, один раз в пыльном, иссушающем бою я спросил Старого шкипера: «А надо ли?» И очень ясно услышал ответ: «Разумеется, надо. И не бормочи себе под нос». Он-то не спорил, он никогда не спорил. Только сказал: «Надо», — и я пошел вперед. Никакой мистики тут нет. Просто человек ищет совета или оправдания в самой глубине своего существа, недоступной сомненьям и колебаниям.

Для чистого монолога, очень удобной формы таких поисков, банки и бутылки в бакалейной лавке — самые лучшие слушатели, реальные и безответные. Кошки, собаки, птицы тоже годятся. Они не возражают и не судачат потом.

Мэри сказала:

— Ты уже идешь? Да ведь у тебя еще целых полчаса. Вот и незачем было вставать так рано.

— До открытия лавки нужно распаковать целую кучу ящиков, — сказал я. — Расставить товар на полках. Принять ряд важных решений. Гармонируют ли пикули с томатным соком? Терпит ли абрикосовый компот соседство персикового? Ты же знаешь, как важно сочетание цветов в наряде.

— Тебе все смех, — сказала Мэри. — Но это хорошо. Лучше смеяться, чем ворчать. Мужчины такие ворчуны.

Было и в самом деле рано. Рыжий Бейкер еще не показывался. По этой собаке, да и вообще по собакам можно ставить часы. Ровно через полчаса он величественно прошепчет мимо. И Джоя Морфи тоже не видно. Банк, правда, еще закрыт, но Джой, возможно, уже сидит там над своими книгами. В городе сегодня очень тихо, оно и понятно: много народу уехало до понедельника по случаю Пасхи. Пасха, Четвертое июля и День труда — самые большие праздники у нас. Люди уезжают отдыхать, даже если им этого вовсе не хочется. Воробьи на Вязовой улице и те, видно, отправились отдыхать.

¹ Скала в Плимуте, штат Массачусетс, где, по преданию, в 1620 году высадились «отцы пилигримы», прибывшие из Англии на корабле «Мэйфлауэр».

Стонуолл Джексон Смит уже вступил на дежурство. Я увидел его, когда он выходил из «Фок-мачты» после чашки утреннего кофе. Он такой поджарый и тощий, что револьвер и наручники кажутся для него слишком громоздкими. Его полицейская фуражка лихо заломлена набок, и он ковыряет в зубах отточенным гусиным перышком.

— Желаю удачного дня, Стони. С утра добра, а к вечеру чтобы денег гора.

— Мм? — отозвался он. — В городе сегодня никого не осталось. — Он явно сожалел, что сам должен был остаться.

— Не было ли убийств или других развлечений в этом роде?

— Да нет, в общем тихо, — сказал он. — На мосту ребяташки разбили машину, но она их собственная, так что им ни черта не будет. Присудят оплатить ремонт моста. Слыхали про ограбление банка во Фладхэмптоне?

— Нет.

— Передавали по телевидению.

— У нас пока нет телевизора. А что, много взяли?

— Тринадцать тысяч, говорят. Вчера, перед самым закрытием. Втроем работали. Тревога поднята по четырем штатам. Вилли теперь сломя голову рыщет вдоль шоссе.

— Ничего, он выспался.

— Зато я нет. Даже не ложился всю ночь.

— Думаєте, поймают?

— Наверняка поймают! Раз дело касается денег, тут уж берутся как следует. Страховые компании все равно не дадут покоя. Хочешь не хочешь, а доведи дело до конца.

— Неплохой был бы промысел, если бы не бояться, что поймают.

— Еще бы, — сказал он.

— Стони, вы бы зашли к Дэни Тейлору. Вид у него — смотреть страшно.

— Да, долго он не протянет, — сказал Стони. — Ладно, пройду мимо — загляну. Беда с ним. А ведь славный малый. И из хорошей семьи.

— Тяжело мне. Я его люблю.

— Так с ним же ничего не поделаешь. Кажется, будет дождь, Ит. Вилли промокнет, а он этого терпеть не может.

Впервые на моей памяти мне приятно было пройти по переулку, и я с удовольствием отпирал боковую дверь лавки. У двери в ожидании сидел кот. Не припомню такого

утра, когда этот тощий настырный кот не сидел бы там в надежде как-нибудь прошмыгнуть в отворившуюся дверь, но я неизменно прогонял его окриком или палкой. Насколько я могу судить, ему так ни разу и не удалось войти. Я считаю, что это кот, а не кошка, потому что у него оба уха рваные. Чудные животные кошки — а может быть, они кажутся нам смешными только потому, что похожи на нас, все равно как обезьяны? Семьсот или восемьсот раз этот кот пытался проникнуть в лавку, и ни разу ему это не удалось.

— Ну подожди, сейчас я тебя удивлю, — сказал я ко-ту. Он сидел, уложив вокруг себя хвост так, что кончик подрагивал между передними лапами. Я вошел в темную лавку, снял с полки картонку молока, проткнул дырку и вылил молоко в чашку. Потом я отнес чашку с молоком в кладовую, поставил у самой двери и дверь оставил отворенной. Кот сосредоточенно посмотрел на меня, посмотрел на молоко, потом медленно пошел прочь и исчез за оградой банка.

Только я потерял его из виду, как в переулке появился Джой Морфи с ключом от боковой двери банка в руке. Лицо у него было землистое, осунувшееся, словно после бессонной ночи.

— Привет, мистер Хоули.

— А я думал, у вас сегодня закрыто по случаю праздника.

— Праздники, видно, не для меня. Где-то вышла ошибка на тридцать шесть долларов. Я вчера за полночь сидел над книгами.

— Недостача?

— Нет, лишние.

— Это же хорошо.

— Как бы не так. Я должен найти ошибку.

— Не знал, что банки такие честные.

— Банки — да. Люди вот не все, к сожалению. Но я не могу думать о празднике, пока не найду ошибку.

— Жаль, я ничего не смыслю в финансовых делах.

— Могу изложить вам всю премудрость в одной фразе. Деньга деньгу делает.

— От этого мне не легче.

— Мне тоже. Но могу еще преподать несколько истин.

— Например?

— Например: кто спешит, тот всегда прогадывает. Или: не обманешь — не продашь. Или еще: каков покупатель, такова и цена.

— Это что, сокращенный курс?

— Именно. Но он ничего не стоит без первоосновы.

— Деньга деньгу делает?

— И, значит, все это не для нас с вами.

— А разве нельзя взять ссуду?

— Для ссуды нужно иметь кредит, а это те же деньги.

— Да, останусь-ка я лучше при своей бакалее.

— И то верно. Слыхали про ограбление Фладхэмптонского банка?

— Стои мне сказал. Забавно, мы как раз вчера с вами разговаривали на эту тему, помните?

— У меня там есть один знакомый. Грабителей было трое — один говорит с акцентом, один прихрамывает. Трое. Их поймают, это как пить дать. Может быть, через неделю. Может быть, через две.

— Рискованное дело!

— Да как вам сказать. Сработано было грубо. А грубая работа никогда себя не оправдывает, это закон.

— Вы меня извините за вчерашнее.

— Не стоит вспоминать. Я сам виноват. Еще одно золотое правило: держи язык за зубами. Никак не научусь его соблюдать. А вы отлично выглядите, мистер Хоули.

— Не знаю, с чего бы это. Я сегодня почти не спал.

— Болеи кто-нибудь?

— Нет. Просто такая выдалась ночь.

— Мне можете не объяснять...

Я подсел лавку и поднял шторы, не думая об этой работе и не чувствуя ненависти к ней. Правила Джоя на все лады звенели у меня в голове. И я рассуждал, обращаясь к своей аудитории на полках, — может быть, вслух, а может быть, и нет, не знаю.

— Дорогие коллеги, — говорил я. — Если это так просто, почему же это удастся только немногим людям? Почему почти всякий раз повторяются одни и те же, одни и те же ошибки? Что-то неизменно упускают из виду, что ли? Может быть, тут слабым местом является доброта? Марулло говорит, деньги не имеют души. Не следует ли из этого, что для человека, имеющего дело с деньгами, доброта всегда слабость? Каким образом удастся заставить простых славных малых убивать на войне себе подобных? Правда, если противник иначе выглядит или говорит на другом языке, это облегчает задачу. А как же гражданская война? Янки, скажем, ели детей, а мятежники марили пленных голодом. Это тоже облегчение задачи. Погодите, маринованная свекла и соленые грибки, дойдет оче-

редь и до вас. Вам, я знаю, хочется услышать что-нибудь о себе. Всякому хочется. Но я уже почти подошел к этому. В скобках, так сказать. Если духовный мир подчинен тем же законам, что и мир вещей, значит, все относительно в этой относительной вселенной — нравственность, нормы поведения, понятие греха. Иначе не может быть. От этого никуда не денешься. Хоть и в скобках.

А ты чего хочешь, коробка корнфлекса с маской Микки-Мауса на крышке с этикеткой, в обмен на которую, приплатив десять центов, можно получить чревовещательный аппарат? Тебя мне придется взять домой, но пока что сиди и слушай. То, что я говорил Мэри в шутку, — чистая правда. Мои предки, все эти высокопочтенные шкиперы и судовладельцы, несомненно с благословения правительства, занимались захватом торговых судов во время революции и потом в 1812 году. Это выглядело очень добродетельно и патриотично. Но в глазах англичан они были пиратами, присваивавшими чужое добро. Вот как было впервые нажито состояние семьи Хоули, которое не сумел сохранить мой отец. Вот откуда повелась денюга, делавшая денюгу. Мы можем гордиться этим.

Я принес ящик с томатной пастой, вскрыл его и начал выставлять хорошенькие баночки на почти порожнюю полку.

— Вам, может быть, неизвестно, потому что вы вроде как бы иностранцы. Деньги не имеют не только души, у них нет ни чести, ни памяти. Но они автоматически вызывают уважение, если сумеешь удержать их на какое-то время. Не думайте, что я осуждаю деньги. Напротив, я сам их очень люблю. Господа, позвольте представить вам новых членов нашего маленького общества. Вот я размещу их здесь, по соседству с бутылками кетчупа. Прошу любить и жаловать. Эти пикули для сандвичей прибыли из Нью-Йорка. Там выросли, там приготовлены и законсервированы. Мы тут беседовали в дружеском кругу на тему о деньгах. Я мог бы назвать вам одно из лучших наших семейств — все вы, наверно, слышали это имя. Во всем мире оно известно. Так вот, эти люди разбогатели на поставках мяса англичанам в то время, как наша страна воевала с Англией, и тем не менее пользуются всеобщим уважением — и сами они и их деньги. Или возьмем другую династию — банкиров, самых крупных в своем деле. Его основатель купил у военного ведомства три сотни винтовок. Они были забракованы как дефектные и опасные для употребления, а потому достались ему очень

дешево, центов по пятидесяти за штуку. А вскоре после того генералу Фремонту, готовившему свой героический поход на запад, понадобилось оружие, и он приобрел эти винтовки заглазно по цене двадцать долларов за штуку. Вероятно, они взрывались у солдат в руках... но история об этом умалчивает. Вот что значит «деньга деньги делает». Неважно, откуда у тебя деньги, важно их иметь и с их помощью наживать еще. Не считите это за цинизм. Наш с вами господин и повелитель, наследник славного римского имени Марулло, совершенно прав. Когда дело касается денег, для обычных правил поведения наступают каникулы. Почему я люблю разговаривать с вами, с бакалейным товаром? Может быть, потому, что я уверен в вашей скромности. Вы не станете сплетничать, пересказывать мои речи. Деньги — скучная материя только для тех, у кого они есть. Для бедняков это самая увлекательная тема на свете. Но согласитесь, если у человека появился активный интерес к деньгам, он хоть немного должен представлять себе их природу, свойства и особенности. Очень мало кто интересуется деньгами ради самих денег — для этого нужно быть или истинным художником в своем деле, или скрягой. Причем таких скряг, которые скряжничают из трусости, считать нечего.

На полу выросла целая куча пустых картонных коробок. Я убрал их в кладовую: подровняю потом края, пригодятся. Покупатели охотно пользуются ими как тарой для покупок, и Марулло говорит: «Экономия пакетов, мальчуган».

Я больше не обижаюсь на это слово «мальчуган». Пусть зовет меня мальчуганом, пусть даже думает обо мне так. Пока я возился с коробками, кто-то забарабанил в дверь. Я взглянул на свой старый массивный серебряный хронометр. Поверите ли — первый раз в жизни я опоздал с открытием лавки. Я всегда отпирал точно в девять, минута в минуту, а тут стрелки показывали уже четверть десятого. Разглагольствования перед консервными банками отвлекли меня от дела. За стеклом и решеткой двери маячила Марджи Янг-Хант. Я никогда не обращал на нее особого внимания, никогда не приглядывался к ней. Может, оттого сна и затеяла всю эту историю с гадаьем — просто чтобы вызвать интерес к своей особе. Не нужно показывать, что ей это удалось.

Я распахнул дверь.

— Извините, если побеспокоила.

— Да мне давно пора открывать.

— Разве?

— Конечно. Уже десятый час.

Она вошла в лавку. Ее зад, приятно круглившийся под платьем, слегка пружинил при каждом шаге: вверх — вниз. Спереди ее тоже бог не обидел, так что подчеркивать ничего не требовалось. Все было на своем месте. Про таких, как Марджи, Джой Морфи говорит «конфетка» — а может, и мой сын Аллен тоже. Я ее, пожалуй, первый раз видел как следует. Черты лица у нее правильные, нос чуть длинноватый, губы с помощью помады сделаны более пухлыми, чем они есть, особенно нижняя. Волосы выкрашены в красновато-каштановый цвет, какого в природе не бывает, но красивый. Подбородок хрупкий, хоть и с ямочкой, а щеки тугие и скулы очень широкие. Глазами своими Марджи, видно, занималась подолгу. Они у нее были того зелено-серо-голубого цвета, который меняется от освещения. В общем лицо такое, которое многое может выдержать и выдерживало, не дрогнув, даже грубость, даже пощечину. Марджи метнула взгляд на меня, потом на полки с товаром, потом снова на меня. Вероятно, она приметлива и умеет запоминать примеченное.

— Надеюсь, вы не по такому же делу, как вчера? Она засмеялась.

— Нет, нет. У меня не каждый день бывают коммивояжеры. На этот раз у меня и в самом деле вышел весь кофе.

— Обычная история.

— То есть как?

— Из десяти утренних покупателей девять приходят потому, что у них вышел весь кофе.

— Нет, в самом деле?

— В самом деле. Кстати, за коммивояжера спасибо.

— Это была его идея.

— Но вы ее подсказали. Вам какого кофе?

— Все равно. У меня всегда получается бурда, какой бы я ни заваривала.

— А вы по мерке сыплете?

— Конечно. Но все равно получается бурда. Кофе — не... я хотела сказать — не моя специальность.

— Вы так и сказали. Попробуйте вот эту смесь. — Я снял с полки жестяную банку, и когда Марджи потянулась, чтобы взять ее, — одно короткое движение, — каждая часть ее тела ожила, заиграла, заговорила о себе. Вот я — нога. Я — бедро. А лучше всего я — округлый живот. Все это было ново для меня, увидено впервые. Мэри го-

ворит, что у каждой женщины есть свои сигналы, которые она выкидывает, когда ей это нужно. Если так, то Марджи обладает сложной системой сигнализации, в которой участвует все, от острых носков лакированных туфель до каждого локона мягких каштановых волос.

— Ваша хандра как будто прошла?

— Вчера меня в самом деле одолевала хандра. Откуда только это берется?

— Кто знает! Сколько раз со мной бывало так, и без всякой причины!

— Здорово это у вас получилось, с гадашьем.

— Вы не сердитесь?

— Нет. Мне просто интересно, как вы это делаете.

— Но вы же не верите в такие вещи.

— Неважно, верю или не верю. Кое в чем вы попали в самую точку. Пасчет некоторых моих мыслей, некоторых поступков.

— Ну, например?

— Например — что настало время для перемен.

— Вы, верно, думаете, что я подтасовала карты?

— Неважно. Если и подтасовали, что вас заставило подтасовать так, а не иначе? Об этом вы не думали?

Она посмотрела мне прямо в глаза, пытливо, внимательно, с подозрением.

— Д-да,— сказала она вполголоса.— То есть я хочу сказать — нет, не думала. Что меня заставило подтасовать так, а не иначе? Выходит, и подтасовка не подтасовка.

В дверь заглянул мистер Бейкер.

— Привет, Марджи,— сказал он.— Итен, вы поразмыслили над моим предложением?

— Поразмыслил, сэр. И хотел бы поговорить с вами.

— Пожалуйста, Итен, когда угодно.

— В будни мне трудновато выбрать время. Вы же знаете, Марулло почти не появляется здесь. А вот завтра вы будете дома?

— После церкви, разумеется, буду. Отличная идея. Приходите часа в четыре, вместе с Мэри. Пока дамы будут обсуждать весенние шляпки, мы с вами уединимся и...

— У меня к вам целая куча вопросов. Пожалуй, я их заранее выпишу на бумажку.

— Сделайте милость. Что знаю, все охотно скажу. Так, значит, до завтра. Привет, Марджи.

Когда он ушел, Марджи сказала:

— Вы не теряете времени.

— А может, просто подчиняюсь судьбе. Слушайте, не сделать ли нам такой опыт? Раскиньте опять карты — вслепую, не глядя, и посмотрите, сойдется ли со вчерашним.

— Нет! — сказала она. — Так нельзя. Вы что, шутите или вас и вправду затронуло?

— По-моему, дело тут не в том, веришь или не веришь. Я, может быть, не верю в сверхчувственное восприятие, или в молнию, или в водородную бомбу, или даже в такие вещи, как фиалки или стая рыб, но я знаю, что все это существует. Я и в привидения не верю, а между тем я их видел.

— Ну, вы шутите.

— Нисколько.

— Вы перестали быть самим собой.

— Верно. Это с каждым случается время от времени.

— Но что послужило причиной, Ит?

— Не знаю. Может быть, мне надоело стоять за прилавком.

— Давно пора.

— Скажите, вам действительно по душе Мэри?

— Конечно. Почему вы спрашиваете?

— Казалось бы, вы совсем не... ну, в общем, вы с ней очень разные.

— Понятно, что вы хотите сказать. И все-таки она мне по душе. Я просто люблю ее.

— Я тоже.

— Везет же людям.

— Я знаю, что мне повезло.

— Не о вас речь, а о ней. Что ж, пойду варить свою бурду. А насчет карт я еще подумаю.

— Только не откладывайте, надо ковать железо, пока горячо.

Она вышла, постукивая каблуками, ее подбористый зад пружинил, точно резиновый. Я ее никогда не видел до этого дня. Сколько, наверно, есть людей, на которых я всю жизнь смотрю и не вижу. Даже подумать страшно. И опять — в скобках. Когда двое встречаются, каждый в чем-то изменяет другого, так что в конце концов перед вами два новых человека. Может быть, это значит... Нет, к черту, это слишком сложно. О таких вещах я решил думать только ночью, когда не спится. Меня напугало, что я не отпер лавку вовремя, забыл. Это все равно что оставить свой платок на месте преступления или, скажем, очки,

как в том знаменитом чикагском деле. Что кроется за этим? Какое преступление? Кто убийца и кто убитый?

В полдень я приготовил четыре сандвича с сыром и ветчиной, положил салат и майонез. Сыр и салат, сыр и салат, лезьте на дерево, кому дом маловат. Два сандвича я отнес вместе с бутылкой кока-колы к боковой двери банка и вручил Джою.

— Ну, нашли ошибку?

— Нет еще. Все глаза проглядел, честное слово.

— Отложили бы уж до понедельникка.

— Нельзя. Банковское дело любит точность.

— Иногда, если перестанешь ломать голову, тут тебя и озарит.

— Это я знаю. Спасибо за сандвичи.— Он приподнял верхний ломтик хлеба, проверяя, положил ли я салат и майонез.

Торговать бакалей в канун Пасхи — это, как сказал бы мой августейший и невежественный сын, «дохлое дело». Но произошли два события, которые, во всяком случае, доказывали, что где-то глубоко-глубоко во мне и в самом деле совершается перемена. Ни вчера, ни позавчера я бы, наверно, не вел себя так, как повел сегодня. Представьте себе, что вы перебираете образцы обоев и вдруг перед вами развернули совершенно новый узор.

Сперва в лавку заявился Марулло. Его жестоко мучил артрит. Он то и дело сгибал и разгибал руки, точно атлет-гиревик.

— Как дела?

— Так себе, Альфио.— Никогда раньше я его не называл по имени.

— В городе сегодня пусто...

— Что же вы не говорите «мальчуган»?

— Мне казалось, ты этого не любишь.

— Напротив, Альфио, очень даже люблю.

— Все разъехались.— Видно, плечи ему жгло, как будто в суставы был насыпан горячий песок.

— Когда вы перебрались из Сицилии сюда?

— Давно. Сорок лет назад.

— И с тех пор ни разу там не были?

— Ни разу.

— Почему бы вам не съездить туда в гости?

— Зачем? Все теперь там по-другому.

— И вам не интересно посмотреть?

— Да нет, не очень.

— А родные у вас есть?

— Как же, брат и его дети, и у детей уже тоже есть дети.

— Что ж, вам совсем не хочется повидать их?

Он посмотрел на меня так, как я, должно быть, смотрел на Марджи,— точно в первый раз увидел.

— С чего это ты вдруг, мальчуган?

— Тяжело смотреть, как этот артрит мучает вас. В Сицилии ведь тепло. Может, там у вас поутихнут боли. Он подозрительно покосился на меня.

— Что с тобой случилось?

— А что?

— Ты сегодня не такой, как всегда.

— А! Узнал одну приятную новость.

— Уж не собрался ли ты уходить от меня?

— Пока еще нет. Если бы вы надумали ехать в Италию, не беспокойтесь, я вас дождусь.

— А что за новость?

— Не хочу говорить до поры до времени. Это ведь дело такое...— Я покрутил рукой в воздухе.

— Деньги?

— Не исключено. А в самом деле, Альфио, человек вы богатый. Прокатились бы, пусть там в Сицилии поглядят, что такое богатый американец. И на солнышке бы погрелись. А лавку можете спокойно оставить на меня. Вы сами это знаете.

— Так ты не думаешь уходить?

— Да нет же, черт возьми. Вы меня достаточно знаете, разве я способен вас подвести?

— Тебя словно подменили, мальчуган. Что с тобой?

— Я же вам сказал. Поезжайте, поняните bambini¹.

— Я теперь там чужой,— сказал он, но я почувствовал, что посеял в его душе тень чего-то — посеял крепко. И уже не сомневался, что вечером он придет в лавку и станет проверять книги. Подозрительный, сволочь.

Не успел он уйти, явился —точь-в-точь как накануне — коммивояжер «Б. Б. Д. и Д.».

— Я не по делу,— сказал он.— Просто собрался до понедельника в Монток. Вот и решил зайти по дороге.

— Очень кстати,— сказал я.— Мне как раз нужно вам кое-что отдать.— И протянул ему бумажник, откуда торчали двадцать долларов.

— Это вы зря. Сказал же я вам, что пришел не по делу.

¹ Детишек (итал.).

- Возьмите!
- Как мне вас понимать?
- В наших местах так скрепляют договор.
- Но что случилось, вы обиделись?
- Ничуть не бывало.
- Так почему же?
- Возьмите! Торги еще не окончены.
- Господи, неужели Вэйландс предложил больше?
- Нет.
- Кто же, черт побери?

Я всунул двадцатидолларовую бумажку в его нагрудный карман, за уголок платка.

— Бумажник я оставляю себе,— сказал я,— он мне нравится.

— Послушайте, я не могу предложить другой цены, пока не спесусь с главной конторой. Подождите хотя бы до вторника. Я вам позвоню. Если вы услышите «Говорит Хью», знайте, что это я.

— Звоните, мне ваших денег не жаль.

— Но вы подождете, как я пропну?

— Подожду,— сказал я.— Увлечаетесь рыбной ловлей?

— Только в дамском обществе. Пробовал пригласить в Монток Марджи — конфетка, а не дамочка! Какое там! Напустилась на меня так, что я не знал, куда деваться. Не понимаю я женщин.

— Да, они все чудней и чудней становятся.

— Золотые ваши слова,— сказал он как-то по-старомодному. Он был явно озабочен.— Ничего не предпринимайте до моего звонка,— сказал он.— Господи, а я-то думал, что имею дело с наивным провинциалом.

— Я не намерен обманывать доверие хозяина.

— А, чушь. Вы просто хотели увеличить ставку.

— Я просто отказался от взятки, если вам так хочется называть вещи своими именами.

И вот вам доказательство, что во мне что-то изменилось. Я сразу вырос в глазах этого субъекта, и мне это понравилось. Даже очень понравилось. Прохвост решил, что мы с ним одного поля ягоды, но я покрупнее.

Перед самым закрытием лавки позвонила Мэри.

— Итен,— начала она,— ты только на меня не сердись...

— За что, моя былинка?

— Понимаешь, она такая одинокая, и мне... словом, я пригласила Марджи к обеду.

— Ну что же.

— Так ты не сердишься?
— Да нет же, черт возьми!
— Не чертыхайся. Завтра Пасха.
— Ах, кстати. Почисть свои перышки. Мы завтра в четыре часа идем к Бейкерам.
— К ним домой?
— Да, мы приглашены к чаю.
— Мне придется идти в костюме, который я сшила для пасхальной службы.
— Прекрасно, лопушок.
— Так ты не сердишься за Марджи?
— Я тебя люблю,— сказал я.
И я в самом деле люблю ее. Очень люблю. И, помню, я тут же подумал, каким сукиным сыном может иногда быть человек.

ГЛАВА V

С Вязовой улицы я свернул на дорожку, вымощенную щебнем, но посредине дорожки остановился и окинул взглядом старый дом. Я смотрел на него с особым чувством. Мой дом. Не Мэри, не отцовский, не Старого инкшера, а мой. Могу продать его, могу поджечь, а могу ничего с ним не делать.

Не успел я подняться на третью ступеньку, как дверь распахнулась и на меня обрушился Аллен с криком:

— А где «Пикс»? Ты принес «Пикс»?

— Нет,— сказал я. Но (чудо из чудес!) он не разразился воплями негодования и обиды и не стал призывать мать в свидетели, что я же ему обещал.

Он только горестно охнул и поплелся прочь.

— Добрый вечер,— сказал я его удаляющейся спине, и он остановился и повторил «Добрый вечер» так, как будто это было иностранное слово, которое он только что выучил.

Мэри вышла в кухню.

— Ты постригся,— сказала она. Любую перемену во мне она объясняет или температурой, или стрижкой.

— Нет, завитушка, я не стригся.

— А я тут совсем завертелась с приготовлениями.

— Приготовлениями?

— Я же тебе сказала, к обеду придет Марджи.

— Хорошо, но зачем такой тарарам?

— У нас уже сто лет не было гостей к обеду.

— Это верно. Что правда, то правда.

— Ты наденешь темный костюм?

— Нет, серый — Сивого мерина.

— А почему не темный?

— Помнится, а мне завтра идти в нем в церковь.

— Я утром могу отутюжить.

— Надену Сивого мерина, ни у кого в округе нет такого симпатичного костюма.

— Дети,— крикнула Мэри,— не смейте там ничего трогать! Я достала парадную посуду. Так не хочешь надеть темный?

— Не хочу.

— Марджи разрядится в пух и прах.

— Ей очень нравится Сивый мерин.

— Откуда ты знаешь?

— Она мне говорила.

— Выдумываешь.

— Она даже в газету писала об этом.

— Ну тебя. Смотри, будь с ней любезен.

— Я буду ухаживать за ней напропалую.

— Мне казалось, ты сам захочешь надеть темный — по случаю прихода Марджи.

— Послушай, травка, пять минут назад мне было совершенно все равно, какой костюм надевать — хоть вовсе никакого. Но ты устроила так, что я теперь просто должен надеть Сивого мерина.

— Назло мне?

— Вот именно.

Она горестно охнула, точно так же, как Аллен.

— Что у нас на обед? Я хочу подобрать галстук под цвет мясного блюда.

— Жареные цыплята. Не узнаешь по запаху?

— Узнаю, узнаю, Мэри, ты...— Но я не договорил. Стоит ли? Нельзя подавлять национальный инстинкт. Ее привлек день распродажи кур в гастрономическом магазине. Дешевле, чем у Марулло. Я не раз объяснял Мэри секрет этих распродаж в фирменных магазинах. Соблазнившись скидкой, вы входите в магазин, а там, глядишь, накупили кучу вещей уже без всякой скидки, просто так, заодно. Все это понимают, и все это делают.

Лекция, предназначенная для Мэри-медуницы, засохла на корню. Новый Итен Аллен Хоули идет в ногу с национальными увлечениями и по мере возможности обращает их себе на пользу.

Мэри сказала:

— Ты меня не обвинишь в вероломстве?

— Родная моя, какие доблести или прегрешения могут быть связаны с цыплятами?

— Понимаешь, уж очень у них дешево.

— Ты поступила мудро и хозяйственно.

— Тебе все шуточки.

У меня в комнате дожидался Аллен.

— Можно мне посмотреть твой меч храмовника?

— Пожалуйста. Он в стенном шкафу, в уголке.

Это он знал не хуже меня. Пока я разоблачался, он извлек кожаный футляр, вытащил меч из ножен, обнажив блестящий клинок, и в воинственной позе замер перед зеркалом.

— Как твоё сочинение?

— Чего?

— Ты, вероятно, хотел сказать: «Я не расслышал, папа»?

— Я не расслышал, папа.

— Я спрашиваю, как твоё сочинение?

— А, сочинение! Отлично!

— Значит, пишешь?

— Факт.

— Как ты сказал?

— Пишу, папа.

— Можешь и шляпу посмотреть. В круглой кожаной коробке, на полке. Перо что-то желтеет.

Я влез в большую старинную ванну на пожках в виде львиных лап. В те времена размерами не стеснялись, делали так, чтобы можно было разлечься с комфортом. Я тер тело щеткой, смывая с себя бакалейную лавку и все заботы дня, потом побрился в ванне, не глядя, пальцами ощупывая кожу. В этом, бесспорно, есть что-то римское и упадочное. Только причесываться я подошел к зеркалу. Давно уж я себя не видел. Можно каждый день бриться и при этом никогда себя не видеть, особенно если не очень к тому стремишься. Красота — она вся на поверхности, но есть и такая красота, которая идет изнутри. Я, если уж на то пошло, предпочитаю последнее. Не то чтобы у меня было очень уж некрасивое лицо, престо, по моему, в нем нет ничего интересного. Я попробовал придать своему лицу разные выражения, но из этого ничего не вышло. Вместо гордого, или просветленного, или грозного, или лукавого лица на меня смотрела все та же фибиония, только гримасничающая на разные лады.

Пока я был в ванной, Аллен уже успел напялить на голову украшенную страусовым пером шляпу храмовника. Если и у меня в этой шляпе такой же дурацкий вид, придется перестать ходить на собрания логи. Кожаная коробка валялась открытая на полу. Дно было обтянуто бархатом, с круглым горбом посередине, напоминавшим опрокинутую миску.

— Не знаю, можно ли отбелить пожелтевшее перо или придется покупать новое?

— Если купишь новое, это отдай мне, хорошо?

— Ну что ж. А где Эллен? Почему не слышно ее писклявогоголоска?

— Она пишет то сочинение.

— А ты?

— Я пока обдумываю план. Но ты все-таки прине-сешь «Пикс»?

— Если не забуду. Ты бы сам зашел как-нибудь в лавку и взял.

— Ладно. Можно мне задать один вопрос... папа?

— Сочту за честь ответить.

— Верно, что на Главной улице когда-то целых два квартала были наши?

— Верно.

— И что у нас были китобойные суда?

— И это верно.

— А где же они теперь?

— Мы их потеряли.

— Как так?

— Очень просто — взяли да и потеряли.

— Ты все шутишь.

— Это довольно серьезная шутка, если вскрыть ее смысл.

— А мы сегодня вскрывали лягушку в школе.

— Полезное занятие. Для вас, но не для лягушки. Какой из этих галстуков мне надеть?

— Синий, — сказал он без всякого интереса. — Скажи, когда ты оденешься, ты бы не мог... не нашлось бы у тебя минуты подняться на чердак.

— Если за делом, найдется и больше минуты.

— Нет, правда?

— Правда.

— Ладно. Я тогда пойду вперед, зажгу там свет.

— Я сейчас — вот только завяжу галстук.

Его шаги гулко зазвенели на голой чердачной лестнице.

Если, повязывая галстук, я сосредотечиваюсь на этом занятии, то концы скользят и у меня ничего не получается, но если мои пальцы действуют сами по себе, они отлично справляются со своим делом. Я препоручил галстук пальцам, а сам стал думать о чердаке старого дома Хоули, моем чердаке моего дома. Это вовсе не темный, паутиной увитый каземат для всякого хлама и завали. Окошки с частым переплетом пропускают достаточно света, но старинное толстое стекло придает этому свету лиловатый оттенок, и предметы в нем кажутся зыбкими, точно мир, видимый сквозь воду. Убранные на чердак книги не ждут, когда их выбросят вон или пожертвуют Мореходному училищу. Они чинно восседают на полках, дожидаясь вторичного открытия. Стоят там кресла, старомодные или с обветшалой обивкой, но глубокие и удобные. Пыли немного. Если в доме уборка — уборка и на чердаке, а так как он большей частью заперт, неоткуда попасть пыли.

Помню, как в детстве, устав вгрызаться в алмазны книги, или терзаясь непонятной тоской, или уйдя в полудремотный мир фантазии, который требует уединения, я вабирался на чердак и подолгу сидел там, свернувшись клубочком в длинном, по форме тела выгнутом кресле, в лиловатых сумерках, льющихся из окна. Оттуда хорошо были видны четырехугольные стропила, поддерживающие крышу, — можно было рассмотреть, как они плотно входят паз в паз и закрепляются дубовыми шпонками. Особенно там уютно в дождь, все равно — чуть-чуть ли моросит или льет как из ведра. А книги в мерцающих бликах света — детские книги с картинками, хозяева которых давно выросли, оторвались от родного корня и разбрелись по свету: «Пустомеля» и выпуски «Ролло»; богато иллюстрированные Божьи дела — «Наводнения», «Приливы и отливы», «Землетрясения»; «Ад» Гюстава Доре со строками Данте, забитыми, как кирпичи, между рисунками; щемящие душу сказки Ганса Христиана Андерсена; свирепая жестокость братьев Гримм, величие «Morte d'Arthur» с рисунками Обри Бердслея, болезненного, хилого человечка: сму ли иллюстрировать могучего великана Мэлори? ¹

Я не раз удивлялся мудрости Андерсена. Король поверял свои тайны колдуну и мог быть спокоен, что никто его тайн не узнает. Хранитель тайн или рассказчик должен

¹ «Смерть Артура» (франц.) — средневековые предания, обработанные в XV веке Томасом Мэлори.

думать о том, кто его слушает или читает, потому что сколько слушателей, столько и различных версий рассказа. Каждый берет в рассказе что может и тем самым подгоняет его к своей мерке. Одни выхватывают из него куски, отбрасывая остальное, другие пропускают его сквозь сито собственных предрассудков, третьи расцвечивают его своей радостью. Чтобы рассказ дошел, у рассказчика должны найтись точки соприкосновения с читателем. Без этого читатель не поверит в чудеса. Рассказ, предназначенный Аллену, должен быть совершенно иначе построен, чем если я вздумаю пересказать его Мэри, а для Маррулло пришлось бы искать новую подходящую форму. Но, пожалуй, идеал — андерсеновский колодез. Он только слушает, отголоски же, возникающие в нем, негромки и быстро замирают.

Все мы, или большинство из нас, вскормлены наукой девятнадцатого столетия, которая объявляла несуществующим все, чего не могла объяснить или измерить. От этого необъяснимое не перестало существовать, но без нашей, так сказать, санкции. Мы упорно не желаем замечать то, чему не можем найти объяснение, и таким образом многое в мире остается уделом детей, безумцев, дурачков и мистиков, больше заинтересованных в явлении, чем в его причинах. У мира есть свой чердак, куда убрано множество старинных и прелестных вещей, которые мы не хотим иметь перед глазами, но не решаемся выбросить.

Одинокая лампочка без абажура свисает с потолочной балки. Настил из сосновых, вытесанных вручную досок в два дюйма толщиной и в двадцать шириной достаточно прочен, чтобы выдержать пирамиды ящиков и сундуков, среди которых теснятся завернутые в бумагу лампы, вазы и прочие опальные предметы роскоши. А на открытых полках выстроились в неяром свете поколения книг. Ни грязи, ни пыли — моя Мэри не знает пощады в борьбе за чистоту и дотошна, как унтер-офицер. Книги все расставлены в строгом порядке — по величине и по цвету переплета.

Аллен стоял, прислонившись лбом к одной из верхних полок, и рассматривал книги на нижних. Правой рукой он опирался на рукоятку меча, как на набалдашник трости.

— Ты точно живая аллегория, сын мой. Что-нибудь вроде: Юность, Война и Знание.

— Я хотел спросить тебя — ты говорил, здесь, пожалуй, найдется подходящий материал.

— Какой материал?

— Ну, всякая там патриотическая музыка для сочинения.

— Ах, вот что. Патриотическая музыка. Хорошо. Нравится тебе такой мотив: «Как ни прекрасна жизнь и как ни дорог нашему сердцу мир, но оковы рабства не слишком ли дорогая цена за это? Помилуй бог! Не знаю, что решат другие, но для меня есть один только выбор: свобода или смерть»¹.

— Ух ты! Здорово запущено.

— Еще бы. В те времена были титаны на свете.

— Вот бы мне жить в те времена. Морские пираты. Ух и здорово! Пиф-паф, пиф-паф! На abordаж! Кубышки с золотом, красавицы в шелках и бриллиантах. Вот это жизнь! Папа, а ведь среди наших предков были пираты. Ты сам говорил.

— Это было пиратство особого рода — они назывались каперами. Пожалуй, им жилось не так сладко, как кажется издали. Сухари да солонина, солонина да сухари. И цинга тоже была не редкость в те времена.

— Ну и пусть, я бы не испугался. Я бы захватил золота побольше и привез домой. Теперь ведь так нельзя.

— Да, теперь масштабы крупнее и организация лучше. И называется это дипломатией.

— У нас в школе есть мальчик, который два раза получал приз на телевизионных конкурсах — раз пятьдесят долларов, а другой раз двести. Здорово, а?

— Должно быть, способный малый.

— Он-то? Ничего подобного. Он говорит, там это все на обмане. Главное — нужно изобрести подход.

— Подход?

— Ну да. Например, будто ты калека, или у тебя старенькая мама и ты разводишь лягушек, чтобы заработать ей на пропитание. Что-нибудь такое, что может пронять публику, — тогда наверняка выберут тебя. У него есть журнал, в котором напечатано про все-все конкурсы в Америке. Ты мне можешь достать такой журнал, папа?

— Гм, времена пиратства прошли, но дух, видно, жив и поныне.

— Какой дух?

— Получать так, задаром. Богатеть без всяких усилий.

— Ты мне достанешь журнал?

— Мне казалось, такие затеи не в ходу после всех скандалов со взятками.

¹ Из знаменитой речи Патрика Генри, американского оратора и государственного деятеля XVIII века.

— Черта с два! То есть я хотел сказать: ошибаешься, папа. Просто теперь это делается немного по-другому. А хорошо бы мне отхватить какой-нибудь приз!

— Вот именно — не выиграть, а отхватить.

— Ну и что? Деньги — все равно деньги, как бы они ни попали в руки.

— Не могу с этим согласиться. Все равно для денег, но не для того, кому они, как ты говоришь, попали в руки.

— А что тут плохого? Законом это не запрещено. Даже самые выдающиеся люди Америки...

— О Карл, сын мой, сын мой.

— Почему Карл?

— Тебе хочется быть богатым, Аллен? Очень хочется?

— А что, думаешь, приятно жить без мотоцикла? Когда, может, двадцать мальчишек раскатывают на мотоциклах. А думаешь, приятно, если дома не то что машины, телевизора даже нет.

— Просто ужасно.

— Да, тебе хорошо говорить. Я вот раз писал в школе сочинение «Мои предки» и написал, что мой прадедущка был шкипером китобойного судна.

— Что ж, это правда.

— А весь класс так и загоготал. И знаешь, как меня прозвали после этого Хоули-Китолоули. Думаешь, приятно?

— Должно быть, не очень.

— И если бы еще ты был хоть адвокатом или хоть служил в банке, что ли. Вот отхвачу приз, знаешь, что я первым делом сделаю?

— Ну что, например?

— Куплю тебе машину, чтобы у тебя кошки на душе не скребли, когда другие катят мимо.

Я сказал:

— Спасибо тебе, Аллен.— В горле у меня пересохло.

— Не за что, пустяки. Мне-то ведь все равно еще прав не дадут.

— Вот на этих полках, Аллен, ты найдешь речи всех выдающихся деятелей нашей родины. Очень советую тебе почитать их.

— Непременно почитаю. Мне это пригодится.

— Еще бы. Ну, желаю удачи.— Я тихонько спустился с лестницы, облизывая на ходу губы. Аллен был прав. На душе у меня скребли-таки кошки.

Как только я уселся в свое большое кресло с лампочкой на спинке, Мэри принесла мне газету.

— Ах ты, моя добрая.

— Знаешь, тебе идет этот костюм.

— А ты не только хорошая хозяйка — ты еще и хороший стратег.

— Мне нравится этот галстук, он под цвет твоих глаз.

— Я вижу, ты что-то скрываешь от меня. Ладно, ладно. Хочешь сделку: секрет за секрет?

— Да нет у меня никакого секрета, — сказала она.

— Нет — так выдумай!

— Не умею. Говори, Итен, что случилось?

— А не торчат поблизости любопытные ушки?

— Нет.

— Ну, слушай. Приходила сегодня Марджи Янг-Хант. Будто бы за кофе. А я думаю, она просто в меня влюблена.

— Да ну тебя, говори дело.

— Разговор у нас зашел о вчерашнем гаданье, и я сказал, что любопытно бы раскинуть карты еще раз и посмотреть, выйдет ли опять то же самое.

— Ты так сказал? Неправда.

— Правда. И она со мной согласилась.

— Но ты ведь не одобряешь такие вещи.

— Когда все складывается благоприятно — одобряю.

— И ты думаешь, она сегодня повторит гаданье?

— Если тебя интересует, что я думаю, так, по-моему, она только за тем и придет.

— Ну что ты! Ведь это я ее пригласила.

— Да, когда она тебя навела на это.

— Ты не любишь Марджи.

— Напротив, я чувствую, что начинаю ее очень любить и даже уважать.

— У тебя никогда не поймешь, что в шутку, а что всерьез.

Тут вошла Эллен, тихонечко, так что неизвестно было, подслушивала она или нет. Впрочем, наверно, подслушивала. Эллен тринадцать лет, и она девчонка во всем, по-девчоночьи нежная и грустная, веселая и чувствительная, даже сентиментальная, когда ей это зачем-нибудь нужно. Она сейчас как тесто, которое только-только начинает подходить. Может, будет хорошенькой, а может, и не очень. Она любит прислониться к чему-нибудь, часто прислоняется ко мне, дышит мне в лицо, а дыхание у нее нежное, как у теленка. И ластиться она любит.

Элен облокотилась на ручку кресла, в котором я сидел, и прислонилась худеньким плечиком к моему плечу. Провела розовым пальцем по моему рукаву, погладила волосы у запястья, так что мне даже щекотно стало. Светлый пушок у нее на руке блестел под лампочкой, как золотая пыль. Хитрушка она, да, верно, все они, девчонки, такие.

— Маникюр? — сказал я.

— Светлым лаком мама не позволяет. А у тебя ногти корявые.

— Да ну?

— Но чистые.

— Я их вычистил щеткой.

— Терпеть не могу, у кого грязные ногти, как у Аллена.

— Может быть, ты вообще Аллена терпеть не можешь?

— Ненавижу.

— Вот даже как. Что же ты смотришь — убей его, и дело с концом.

— Глупый папка. — Она тихонько почесала у меня за ухом. Подозреваю, что уже не один малец из-за нее лишился покоя.

— Ты, говорят, всю работу над сочинением?

— А, наябедничал уже!

— Ну и как, успешно?

— Очень! Вот увидишь. Я тебе дам прочесть, когда кончу.

— Польщен. Я вижу, ты принарядилась по случаю гостей.

— Ты про это старьё? Вот завтра я надену новое платье.

— Правильно. В церкви будут мальчики.

— Подумаешь, мальчики. Я ненавижу мальчиков.

— Это мне известно. Непримируемая вражда — твой лозунг. Я и сам их не очень люблю. Ну а теперь отодвинься немножко. Я хочу почитать газету.

Она взвилась, как кинозвезда двадцатых годов, и отомстила мне тут же, без промедлений:

— Когда ты разбогатеешь?

Да, плохо придется с ней кому-то. Первым моим побуждением было схватить ее и отшлепать, но ведь именно этого она и добивалась. Мне показалось, что у нее и глаза подведены. Сострадания в ее взгляде было не больше, чем во взгляде пантеры.

— В следующую пятницу,— сказал я.

— А нельзя ли поскорее? Надоела мне бедность.— И она проворно выскользнула из комнаты. Подслушивать у дверей тоже в ее духе. Я люблю ее, и это странно, ведь в ней все то, что мне ненавистно в других, но тем не менее я души в ней не чаю.

Не суждено мне было прочесть газету. Не успел я развернуть ее, явилась Марджи Янг-Хант. Она была причесана как-то по-особенному, по-парикмахерски. Мэри, верно, знает, как такие прически делаются, я — нет.

Утренняя Марджи, приходившая в лавку за кофе, подстерегала меня, точно капкан — медведя. Вечерняя вся была нацелена на Мэри. Если ее зад и пружинил на ходу, это было незаметно. Если ее строгий костюм и скрывал что-нибудь, он это скрывал надежно. Приятнейшая гостья для любой хозяйки — всегда готовая помочь, любезная, обходительная, тактичная, скромная. Со мной она держалась так, как будто мне с утра прибавилось лет сорок. Что за удивительные создания женщины! Не могу ими не восхищаться, даже если не совсем понимаю их.

Марджи и Мэри затянули обычную светскую литанию: «Что вы сделали со своими волосами?»... «Мне нравится»... «Это ваш цвет. Ни в коем случае не меняйте его»... — безобидные вымпелы женской опознавательной системы, и мне вспомнился лучший из всех слышанных мной анекдотов о женщинах. Встречаются две приятельницы: «Что вы сделали со своими волосами? Как будто парик». — «А это и есть парик». — «Неужели? Никогда бы не подумала».

Быть может, тут кроются такие тонкости, которых нам не дано понять.

За обедом восторги по поводу жареных цыплят перемежались с сомнениями в их съедобности. Эллиен не спускала с гостыи пытливого взгляда, изучая все детали ее прически и грима. Тут я понял, как рано начинаются те скрупулезные наблюдения, на которых основана так называемая женская интуиция. На меня Эллиен старалась не смотреть. Она знала, что выстрелила наверняка, и ожидала мести. Отлично, злая моя дочка. Я тебе отомщу самым жестоким для тебя образом. Я забуду твои слова.

Обед был отменный, все сытно, всего слишком много, как и полагается на званых обедах, и целая гора посуды, не употребляемой в обычные дни. А после обеда кофе, чего у нас тоже не бывает в обычные дни.

— А кофе не отобьет у вас сон?

— Ничто не может отбить у меня сон.

— Даже я?

— Итен!

А после — тихая упорная борьба из-за посуды.

— Позвольте мне помочь.

— Нет, нет, ни в коем случае. Вы гостья.

— Ну, хоть убрать со стола.

Мэри нашла глазами детей и приготовилась к штыковой атаке. Они поняли, что им грозит, но податься было некуда.

Мэри сказала:

— У нас это всегда делают дети. Они любят мыть посуду. И так прекрасно моют, я просто горжусь ими.

— Подумайте, какие молодцы! Редкость по нашим временам.

— Вы правы. Нам в этом смысле повезло с детьми.

Я словно бы видел, как заметались их коварные умишки в поисках спасения. Поднять кутерьму, прикинуться больными, уронить две-три чудесные старинные тарелки. Мэри, должно быть, видела их насквозь. Она сказала:

— И что самое замечательное, у них никогда ничего не разбивается. Даже рюмки все целы.

— Ну, вы просто счастливая мать,— сказала Марджи.— Как вам удалось этого достигнуть?

— Я тут ни при чем. Такие уж они от природы. Есть, знаете, люди, у которых все из рук валится, а у Эллен и Аллена всегда были золотые руки.

Я взглянул на ребят — как они проглотят это? Им уже ясно было, что они попались. Неясно было только, поняла ли это Марджи. Но они все еще надеялись найти путь к спасению. Я окончательно отрезал им этот путь.

— Приятно, конечно, слушать, как тебя хвалят,— сказал я,— но не будем их задерживать. Пусть принимаются за дело, а то опоздают в кино.

Марджи великодушно сдержала улыбку, а Мэри взглянула на меня с изумлением и восторгом. О кино даже речи не было.

Где есть дети в возрасте от десяти до пятнадцати, тишины быть не может, даже когда их не слышно. Самый воздух вокруг них кипит. После ухода Эллен и Аллена весь дом словно вздохнул с облегчением. Недаром нечистая сила поселяется только там, где в семье есть подростки.

Оставшись втроем, мы стали осторожно петлять вокруг темы, которая неизбежно должна была возникнуть. Я до-

стал из стеклянной горки три высоких бокала в форме лилии, привезенных из Англии бог знает сколько лет назад. И наполнил их из оплетенной галлоновой фляги, потускневшей от времени.

— Ямайский ром,— сказал я.— Когда-то Хоули были моряками.

— Видно, очень старый,— сказала Марджи Янг-Хант.

— Старше нас с вами и даже моего отца.

— Он как ударит в голову, только держись,— сказала Мэри.— Сегодня у нас особенный вечер. Итен угощает этим ромом лишь по случаю свадьбы или похорон. Милый, а это ничего, как ты думаешь? В самый канун Пасхи?

— Причастие тоже не кока-кола, родная моя.

— Мэри, я никогда не видела вашего мужа таким веселым.

— Это все ваше гаданье,— сказала Мэри.— Он словно переродился со вчерашнего дня.

Что за устрашающая штука человек, что за сложная система шкал, индикаторов, счетчиков, а мы умеем читать показания лишь немногих из них, да и то, может быть, неверно. Где-то в глубине моих внутренностей вспыхнула жгучая, слепящая боль и хлынула вверх и острым клином вонзилась под ребра. Буйный ветер заревел у меня в ушах и понес меня, как утлое суденышко, лишившееся мачт, прежде чем успели убрать паруса. Рот наполнился горечью, перед глазами все закачалось и поплыло. Сигналы тревоги, сигналы опасности, сигналы бедствия. Это схватило меня, когда я проходил за спиной моих дам, согнуло пополам в нестерпимой муке и так же мгновенно отпустило. Я выпрямился и пошел дальше, и они даже ничего не заметили. Могу понять, почему в старину верили, что человек бывает одержим дьяволом. Я сам, кажется, готов в это поверить. Одержимость! Стремительное вторжение чего-то инородного и отчаянные попытки отпора, и поражение, и жалкие старанья умиловить захватчика и сжиться с ним. Насилие — вот верное слово, если можешь увидеть его в синеватом ореоле, точно пламя паяльной лампы.

Послышался голос моей любимой.

— Когда тебе говорят приятное, это только на пользу. Я попробовал свой голос, он звучал ясно и твердо.

— Немного надежды, пусть даже безнадёжной надежды, никому не может повредить,— сказал я и, убрав флягу в буфет, вернулся на свое место, и выпил полбокала

душистого старого рома, и удобно уселся в кресле, и заложил ногу на ногу, и обхватил колени руками.

— Я не понимаю Итена,— сказала Мэри.— Всегда он презирал гаданье, смеялся над такими вещами. Я просто не понимаю.

Кончики моих перстов шуршали, как сухая зимняя трава под ветром, переплетенные пальцы были сжаты так сильно, что даже побелели.

— Попытаюсь объяснить миссис Янг... Марджи,— сказал я.— Мэри происходит из родовой, но бедной ирландской семьи.

— Не такие уж мы были бедные.

— Разве вы не слышите по ее речи?

— Пожалуй, теперь, когда вы сказали.

— Так вот, была у Мэри бабка, добрая христианка, только по ошибке не причисленная к лику святых.

Мне почудилась тень враждебности в моей любимой. Я продолжал:

— Но это не мешало ей верить во всяких там фэй и духов, хотя официальная христианская теология их не признает.

— Это совсем другое дело.

— Не спорю, маленькая. Во всем можно найти различие. Но как я могу не верить в то, чего не знаю?

— Вы с ним поосторожнее,— сказала Мэри.— Он вам подстроит какую-нибудь словесную ловушку.

— Ну зачем же. Просто я ведь ничего не знаю о гаданьях и на чем они основаны. Как же я могу в это не верить? Я верю, что гадать можно, потому что я видел, как гадают.

— Но ты не веришь, что в гаданье может быть правда.

— Миллионы людей верят и даже платят за это деньги. Уж это одно вызывает интерес.

— Но ты не...

— погоди! Я не не верю, а не знаю. Это не одно и то же. Я не знаю, что чему предшествует — гаданье правде или правда гаданью.

— Я, кажется, понимаю, что он хочет сказать.

— В самом деле? — Мэри явно была недовольна.

— Гадалке чутье может подсказать то, что неизбежно должно случиться. Вы это хотели сказать?

— Так то гадалка. А карты откуда знают?

Я сказал:

— Карты сами не ложатся, их кто-то раскладывает.

Марджи не смотрела на меня, но я знал, что она чувствует растущее беспокойство Мэри и ждет указаний.

— А давайте проверим,— предложил я.

— Понимаете, смешно сказать, но эти силы словно бы обижаются, если их проверяют, и из проверки ничего не выходит. Но попробовать можно. А как?

— Вы совсем не пьете.

Они обе взяли свои бокалы, пригубили и поставили на стол. Я допил до дна и опять пошел за флягой.

— Итен, а не довольно тебе?

— Нет, маленькая.— Я наполнил свой бокал.— Что, если разложить карты втемную?

— А как же тогда читать по ним?

— Ну, тогда разложу я или Мэри, а вы прочтете.

— Считается, что карты отвечают только тому, кто их раскладывает, а впрочем, не знаю — попробуем.

Мэри сказала:

— А по-моему, если уж вообще делать, надо делать все как полагается.— Вполне в духе Мэри. Она не любит перемен — мелких перемен. С крупными она справляется на удивление,— может раскричаться из-за порезанного пальца, но при виде перерезанного горла сохранит хладнокровие и деловитость. Меня кольнуло беспокойство: я ведь сказал Мэри, что у меня был с Марджи разговор насчет проверки, а тут выходило, будто мы только что надумали это.

— Мы ведь уже сегодня говорили, помните?

— Да, когда я приходила за кофе. У меня это целый день не шло из головы. Я и карты захватила.

Мэри склонна путать упорство со злостью и злость с проявлением силы, а силы она боится. Ее дядюшки — забулдыги и пьяницы — внушили ей этот страх, и, стыдно сказать, она никогда от него не избавится. Я почувствовал, что она испугалась.

— Не надо шутить с этим,— сказал я.— Сыграем лучше в казино¹.

Марджи поняла мой маневр и воспользовалась им, должно быть, не в первый раз.

— Давайте сыграем.

— Судьба моя предсказана. Меня ждет богатство. Чего же еще надо?

— Вот видите, я вам говорила, что он не верит. Это его манера — обведет, заморочит, а сам в кусты. Он меня подчас просто до бешенства доводит.

¹ Карточная игра.

— Я — тебя? Ни разу не замечал. Ты у меня всегда такая ласковая, милая женушка.

Бывает, вдруг словно почувствуешь токи, возникающие между людьми, встречные или противоположные. Не всегда, но бывает. Мэри не утруждает свой мозг упорядоченным мышлением, может быть, поэтому она более восприимчива. Атмосфера в комнате сделалась напряженной. Я подумал, что дружбе Мэри с Марджи пришел конец. Мэри теперь никогда не будет легко с нею.

— Мне правда хотелось бы просветиться насчет гаданья на картах, — сказал я. — Ведь я тут полный профан. Мне казалось всегда, что этим занимаются цыганки. Вы разве цыганка, Марджи? У меня не было ни одной знакомой цыганки.

Мэри сказала:

— Девичья фамилия у нее русская, она с Аляски. Вот откуда эти широкие скулы.

Марджи сказала:

— У меня есть преступная тайна, которую я от вас скрыла, Мэри, — о том, как я попала на Аляску.

— Аляска раньше принадлежала русским, — сказал я. — Мы ее купили у России.

— Да, но известно ли вам, что это было место ссылки, как Сибирь, только для более опасных преступников?

— Для каких же?

— Самых опасных. Мою прабабку сослали туда по суду за колдовство.

— А что она делала?

— Накликала бурю.

Я засмеялся.

— Так это у вас наследственная способность.

— Накликать бурю?

— Нет, предсказывать судьбу — пожалуй, это одно и то же.

Мэри сказала:

— Вы шутите. Это неправда.

— Я, может быть, и шучу, Мэри, но это чистая правда. Колдовство считалось самым тяжким преступлением, хуже убийства. У меня сохранились прабабкины бумаги — только там, конечно, все по-русски.

— А вы знаете русский язык?

— Знала, но почти все забыла.

Я сказал:

— Может быть, и в наши дни колдовство — самое тяжкое преступление.

— Ну, не права я была? — сказала Мэри. — То он в одну сторону вильнет, то в другую. И никогда не узнаешь, что у него на уме. Вчера — да нет, это уже сегодня — встал до зари и ушел из дому. Пройтись ему захотелось.

— Я негодай, — сказал я. — Отъявленный закоренелый мерзавец.

— Мне все-таки хочется, чтобы Марджи погадала, но только ты, пожалуйста, не вмешивайся. А то за разговором мы упустим время, пока детей нет дома.

— Одну минутку, — сказал я. Я поднялся наверх, в спальню. Меч храмовника все еще лежал на постели, а коробка со шляпой стояла открытая на полу. Я прошел в ванную и спустил в унитазе воду. У нас, когда спускаешь воду, по всему дому слышно, как она льется. Я намочил полотенце холодной водой и приложил ко лбу и к глазам. В голове у меня давило так, что глаза, казалось, вылезают из орбит. От холодной воды стало легче. Я присел на унитаз и уткнулся лицом в мокрую ткань, а когда она согрелась, намочил ее еще раз. Проходя опять через спальню, я выхватил из коробки шляпу храмовника и, надев ее на голову, спустился вниз.

— Фу, глупый, — сказала Мэри. Она улыбнулась и повеселела. Болезненная напряженность исчезла.

— Можно ли отбелить страусовое перо? — спросил я. — Оно стало совсем желтое.

— Наверно, можно. Надо спросить мистера Шульца.

— Зайду к нему в понедельник.

— Мне хочется, чтобы Марджи погадала, — сказала Мэри. — Мне очень-очень хочется.

Я водрузил шляпу на столбик лестничных перил, и он сделался очень похож на подвыпившего адмирала — если такое явление возможно.

— Достань ломберный столик, Ит. Нужно много места.

Я принес столик из чулана, раскрыл его и укрепил ножки.

— Марджи не любит сидеть в кресле.

Я пододвинул стул

— А нам что делать?

— Сосредоточиться, — сказала Марджи.

— На чем?

— По возможности ни на чем. Карты у меня в сумке, вон там на диване.

Я всегда представлял себе гадальные карты засаленными, пухлыми и мятыми, но эти были чистенькие и блестящие, словно пластмассовые. Они были длиннее и уже иг-

ральных карт, и в колоде их было гораздо больше, чем пятьдесят две. Марджи сидела за столом очень прямая и разбирала колоду — ярко раскрашенные фигуры со сложной иерархией мастей. Названия были все французские: *l'empereur*, *l'ermite*, *le chariot*, *la justice*, *le mat*, *le diable*;¹ земля, солнце, луна, звезды, а мастей тоже четыре: мечи, чаши, дубинки и деньги — я так думаю, что *denier*о должно означать деньги, хотя рисунок напоминал геральдическую розу, — и в каждой масти свои король, королева и валет. Потом еще какие-то странные, жутковатые карты — башня, расколота молнией, колесо фортуны, виселица с человеком, подвешенным за ноги, — *le pendu*, и смерть — *la mort*, скелет с косой.

— Довольно мрачные картинки, — сказал я. — Они и обозначают то, что на них изображено?

— Смотря по тому, как лягут. Если карта легла вверх ногами — значение будет обратное.

— А вообще значение может меняться?

— Может. Это уже вопрос толкования.

За картами Марджи сразу сделалась официально сдержанной. Под ярким светом ее руки выдавали то, что я уже однажды заметил: что она старше, чем кажется.

— Где вы научились этому? — спросил я.

— Девочкой я часто смотрела, как гадает бабушка, а потом стала брать с собой карты, когда шла в гости, — вероятно, как способ привлечь внимание.

— А вы сами верите?

— Не знаю. Иногда происходят страшные вещи. Не знаю.

— Может быть, все дело в том, что карты заставляют сосредоточиться — психическая тренировка своего рода?

— Мне иногда самой так кажется. Бывает, я даю карте значение, которое ей вообще не свойственно, и в этих случаях почти никогда не ошибаюсь. — Ее руки двигались, точно живые существа, тасуя и снимая, тасуя и снимая, и наконец пододвинули ко мне колоду, чтобы я снял.

— На кого будем гадать?

— На Итена! — вскричала Мэри. — Посмотрим, сойдется ли со вчерашним.

Марджи взглянула на меня.

— Светлые волосы, — сказала она, — голубые глаза. Вам еще нет сорока?

— Сорок.

¹ Император, отшельник, повозка, правосудие, мачта, дьявол (франц.).

— Король дубинок.— Она достала карту из колоды.— Вот это вы.— Король в мантии и в короне, с увесистым красно-синим скипетром и внизу надпись: *Roi de Bâton*. Она положила карту на стол лицом кверху и снова перетасовала колоду. Потом стала быстро раскладывать остальные карты, приговаривая нараспев. Одна карта легла над моим королем.— Это вам для покров.— Вторая — поперец первой.— Это вам для креста.— Третья — сверху.— Это вам для венца.— Четвертая — снизу.— Это вам для опоры. Это — что было, это — что будет.— Карты ложились одна за другой, образуя на столе большой крест. Наконец она быстро выложила четыре карты в ряд слева от креста, говоря: «Для вас, для дома, что ожидается, как сбудется».— Последняя карта оказалась человек, повешенный за ноги, но я, сидя по другую сторону стола, видел его в нормальном положении.

— Неплохо сбудется.

— Это может означать спасение,— сказала она, кончиком указательного пальца обводя нижнюю губу.

Мэри спросила:

— А про деньги тут есть?

— Да, есть,— сказала она рассеянно. И вдруг смешала все карты, тщательно перетасовала их и снова принялась раскладывать, бормоча свои заклинания. Казалось, она не всматривается в каждую отдельную карту, но воспринимает всю картину в целом, и взгляд у нее был задумчивый и туманный.

Отличный номер, думал я, гвоздь программы для вечера в дамском клубе, да и где угодно. Так, верно, выглядела пифия — холодная, непроницаемая, загадочная. Сумею долго продержатъ людей в напряженном, тревожном, захватывающем дух ожидании, и они поверят чему угодно — важны не действия, важна техника, расчет времени. Эта женщина зря растрчивает талант на коммивояжеров. Но что ей пужно от нас, от меня? Вдруг она снова смешала все карты, собрала их в колоду и вложила в красный футляр, на котором значилось: «*I. Müller et Cie, Fabrique de Cartes*»¹.

— Не могу,— сказала она.— Бывает иногда.

Мэри спросила, едва дыша:

— Вы что-то увидели в картах, о чем не хотите говорить?

— Да нет, я скажу, пожалуйста! Однажды, совсем еще девочкой, я увидела, как змея меняет кожу, гремучая

¹ «И. Мюллер и компания. Фабрика игральнх карт» (франц.).

змея Скалистых гор. И вот сейчас, когда я смотрела в карты, они вдруг куда-то исчезли и вместо них я увидела ту самую змею, частью в старой коже, пыльной и стертой, частью в новой и блестящей. Вот и понимайте, как хотите.

Я сказал:

— Это похоже на транс. С вами такое уже бывало?

— Да. Три раза.

— И так же непонятно к чему?

— Мне непонятно.

— И всегда змея?

— О нет! Другие вещи, но такие же нелепые.

Мэри сказала с увлечением:

— Может быть, это означает ту самую перемену в судьбе Итена?

— Разве Итен — змея?

— А! Понимаю, понимаю, — сказал я.

— У меня даже муренки по телу пошли, — сказала Марджи. — Когда-то мне не были противны змеи, но с годами я их возненавидела. Меня в дрожь бросает от одной мысли о змее. И вообще мне пора домой.

— Итен вас проводит.

— Пусть и не думает.

— Отчего же, я с удовольствием.

Марджи улыбнулась, глядя на Мэри.

— Держите его при себе, да покрепче, — сказала она. — Не знаете вы, каково жить одной.

— Что за вздор, — сказала Мэри. — Вам достаточно пальцем пошевелинуть, и у вас будет муж.

— Раньше я так и делала. Да толку мало. Кого так легко заполучить, тот немного стоит. Держите, держите своего. А то как бы его не увели. — Она уже успела надеть пальто — она не из тех, что прощаются по часу. — Чудесный был обед. Буду ждать, когда вы меня еще позовете. Не сердитесь за гаданье, Итен.

— Увидимся завтра в церкви?

— Нет. Я еду в Монток до понедельника.

— В такую сырость и холод?

— Я люблю утренний морской воздух. Спокойной ночи. — Она исчезла прежде, чем я успел распахнуть перед нею дверь, точно спасалась от погони.

Мэри сказала:

— Я даже не знала, что она собирается за город. Не мог же я ответить: «Она и сама этого не знала».

— Итен, что ты думаешь о ее гаданье?

— Так ведь она ничего не нагадала.

— Нет, ты забыл, она сказала про деньги. Но я не об этом. Тебе не кажется, она прочла в картах что-то, чего не захотела говорить? Что-то, что ее испугало.

— Просто эта змея, должно быть, запала ей в память.

— А ты не думаешь, что тут есть... какой-то другой смысл?

— Коврижка медовая, это ты у нас специалист по гаданьям. Откуда мне знать.

— Во всяком случае, я рада, что ты так дружелюбен с ней. Мне казалось, ты ее не выносишь.

— Я хитрый,— сказал я.— Умею скрывать свои чувства.

— Только не от меня. Они, наверно, останутся на второй сеанс.

— Кто останется?

— Дети. Они всегда смотрят два сеанса. Как это ты ловко придумал с посудой.

— Я коварный,— сказал я.— И в свое время я намерен посягнуть на твою честь.

ГЛАВА VI

Мне часто приходилось откладывать решение какого-нибудь вопроса на будущее. Потом, выкроив в один прекрасный день время для раздумий, я вдруг обнаруживал, что у меня уже все продумано, выход найден и решение вынесено. Так, вероятно, бывает со всеми, просто мне не дано это знать. Будто в темных, необитаемых пещерах сознания сошлись на совет какие-то безликие судьи и приговор готов. Эта бессонная, тайная область всегда представляется мне как черные, непроницаемые стоячие воды — глубокий омут, откуда редко что всплывает на поверхность. А может быть, это огромная библиотека, где собирается все, что когда-либо произошло с живой материей с того первого мига, когда она начала жить.

Некоторые люди, по-моему, имеют более свободный доступ в этот тайник — например, поэты. Однажды, когда мне пришлось работать разносчиком газет, а будильника у меня не было, я выработал систему подачи сигнала и получения на него ответа. Ложась вечером в постель, я представлял себе, будто стою у края черной воды. В руке у меня белый камень, совершенно круглый белый камень. Я пишу на нем угольно-черными буквами «4 часа», потом

бросаю его в воду и слежу, как он крутится, крутится, уходя вниз, и наконец исчезает. Это действовало безотказно. Я просыпался ровно в четыре часа. В дальнейшем я заставлял себя просыпаться и без десяти минут четыре и четверть пятого. И ни разу не проспал.

А иногда бывает и так, что нечто странное, нечто мерзкое высовывается над гладью этих вод, будто морская змея или какое-то чудище, возникающее из бездонных глубин.

Прошел только год, с тех пор как Деннис, брат Мэри, умер у нас в доме, умер в ужасных муках от базедовой болезни. Общая интоксикация разогнала микробы страха по всему его организму, и он потерял всякую власть над собой, метался, буйствовал. На этой по-ирландски добродушной лошадиной физиономии проступило что-то звериное. Я помогал держать его, успокаивал, старался рассеять предсмертный бред, и так продолжалось неделю, до тех пор пока у него не начался отек легких. Я не хотел, чтобы Мэри видела, как он умирает. Она никогда не видела умирающих, а я знал, что такая смерть может убить в ней светлую память о хорошем, добром человеке, который был ее братом. И вот однажды, когда я дежурил у его постели, из глубин тех черных вод выплыло чудовище. Я возненавидел Денниса. Мне хотелось убить его, перегрызть ему горло. У меня сводило челюсти и, кажется, даже губы вздрагивали, обнажая клыки, как у волка, рвущего добычу.

Когда все было кончено, я, придавленный чувством вины, со страху признался в этом старенькому доктору Пилу, который подписывал свидетельство о смерти.

— То, о чем вы говорите, по-моему, не такое уж редкое явление,— сказал он.— Мне приходилось подмечать это в людях, но мало кто в таких вещах признается.

— Но откуда это во мне? Я к нему очень хорошо относился.

— Может быть, атавистическая память,— сказал он.— Может быть, возврат к тем временам, когда больные и раненые в стае представляли собой опасность. Некоторые животные и многие рыбы рвут на части и пожирают своих обессиленных собратьев.

— Но я не животное и не рыба.

— Да, вы не то и не другое. И, вероятно, поэтому такие ощущения кажутся чуждыми вашей натуре. Но они сидят в вас. Сидят крепко.

Доктор Пил хороший человек — старенький, усталый. Вот уже пятьдесят лет он встречает нас на этом свете и провожает на тот.

Но вернусь назад, к совету судей во тьме — там, видно, работают, не считаясь с временем. Иной раз кажется, будто человека подменили, и мы говорим: «Нет, он на такое не способен. Это не похоже на него». Но, может быть, мы ошибаемся? Вернее всего, он предстал перед нами под другим углом, или же давление сверху или снизу изменило его форму. На войне сплошь и рядом так: трус становится героем, а у храбреца душа уходит в пятки. А то вдруг читаешь в утренней газете — добрый человек, хороший семьянин зарубил топором жену и детей. Поэтому, человек меняется непрерывно. Но бывают минуты, когда перемены в нем становятся явными. Копнуть бы поглубже, и, может быть, я добрался бы до корней, откуда с самого моего рождения и даже еще раньше произрастала теперешняя перемена во мне. С недавних пор мелочи стали складываться одна за другой, образуя какой-то крупный узор. То или иное событие, те или иные наблюдения подзуживали меня и толкали на путь, противоположный моему естественному пути или тому, который я считал естественным, — путь продавца из бакалейной лавки, неудачника, человека без инициативы, без надежд на будущее, связанного по рукам и ногам необходимостью накормить и одеть-обуть свое семейство, отгороженного со всех сторон привычками и устоями, которые кажутся ему высокоморальными и даже добродетельными. А возможно, еще и так, что во мне развилось самодовольство, ибо я считал себя тем, кого принято называть «хорошим человеком».

И, конечно, я знал, что творится вокруг. Марулло из-за чем было вдаваться в объяснения. Трудно жить в маленьком городке — таком, как наш Нью-Бэйтаун, — и ничего не знать о его делах. Правда, я над ними не очень задумывался. Судья Доркас по знакомству любезно освобождал от штрафов за нарушение правил уличного движения. Это даже не считалось нужным держать в тайне. Но любезность требует ответной любезности. Мэр города, он же фирма «Бадд — Строительные материалы», по высоким ценам продавал городу различное оборудование, подчас совершенно ненужное. Когда должны были асфальтировать новую улицу, вдруг выяснялось, что участки по обе ее стороны скуплены мистером Бейкером, Марулло и пятью-шестью другими финансовыми воротилами еще до

того, как очередной план городского благоустройства стал официально известен. Все это было как бы в порядке вещей, но мне-то казалось, что я живу, руководясь какими-то иными законами. Марулло, и мистер Бейкер, и коммивояжер, и Марджи Янг-Хант, и Джой Морфи каждый по-своему подзуживали меня, а их старания, слитые воедино, превращались в весьма ощутимые толчки — и вот пожалуйста: «Надо выбрать время и обдумать это как следует».

Моя ненаглядная с архаической улыбкой на губах мурлыкала во сне, и чувствовалось, что спать с ней особенно удобно и уютно, как это всегда бывает с ней после нашей любви, после того как в ней все утихнет и успокоится.

Меня должен бы сморить сон после вчерашних ночных скитаний, но не тут-то было. Я давно заметил, что, когда не надо рано вставать, мне не сразу удастся заснуть с вечера. Красные пятна плавали у меня перед глазами, уличный фонарь отбрасывал на потолок тени голых веток, и их сплетение медленно и величаво раскачивалось там, потому что на улице дул весенний ветер. Окно было наполовину открыто, и белые занавески вздувались на нем, точно паруса лодки, отдавшей якорь. Мэри всегда стоит за белые занавески и чтобы их почаще стирать. Ей кажется, будто с белыми занавесками прилично, солидно. Она немного сердится для виду, когда я говорю, что в ней сказывается ее ирландская душа, обожающая всякие кружева и оборочки.

Мне тоже было спокойно и хорошо. Но моя Мэри обычно сразу ныряет в сон, а у меня его не было ни в одном глазу. Мне хотелось как следует насладиться своим хорошим самочувствием. Хотелось думать о конкурсе на тему «Я люблю Америку», в котором примут участие мои отпрыски. Но за этими и некоторыми другими мыслями стояло еще нечто: надо было обдумать, что такое со мной происходит и как мне с этим быть, и, разумеется, последнее вышло на первое место, и я убедился, что судьи темных глубин уже все за меня решили. Решение лежало готовенькое, непреложное. Так бывает, когда тренируешься, готовишься к состязанию и вот наконец ты на старте и шипы твоих ботинок уперлись в колодку. Тут уж выбора не остается. Выстрел — и рывок вперед. Я понял, что шипы мои упрутся в колодку и я жду только выстрела. И, вероятно, мне пришлось узнать об этом последним. Весь день мне говорили, что я хорошо выгляжу, понимай: не такой, как всегда, а более уверенный в себе. У комми-

вояжера физиономия днем была явно растерянная. Марулло поглядывал на меня как-то беспокойно. А Морфи вдруг почувствовал необходимость извиниться передо мной за мою же провинность. Потом — Марджи Янг-Хант с ее гремучей змеей. Может, она оказалась пронзительнее всех? Так или иначе, Марджи нащупала и открыла во мне нечто такое, в чем я сам еще не был уверен. И символ этого — гремучая змея. Я почувствовал, что улыбаюсь в темноте. А потом сбита с толку, она воспользовалась испытаннейшим средством — угрозой неверности, и это было как привада, брошенная в реку, чтобы узнать, какая рыба там кормится. Я не запомнил чуть слышного шепота ее тела, скрытого одеждой. Передо мной маячил другой образ: узловатые руки, выдающие возраст, беспокойство и ту жестокость, которая рождается в человеке, когда он перестает быть хозяином положения.

Мне иногда хочется вникнуть в природу ночных раздумий. Они в тесном родстве со снами. Иногда я могу сам управлять ими, но бывает и так, что они проносятся по мне, точно могучие, закусившие удила кони.

Пришел Дэнни Тейлор. Я не хотел думать о нем свои грустные думы, но он взял и пришел. Тогда я вспомнил об одной уловке, которой меня научил наш сержант, бывалый старый вояка. Уловка эта здорово помогает. Выдались однажды на фронте день и ночь, и еще один день, и они слились воедино, в одно целое, а части целого вместили в себя весь ужас и всю мерзость того грязного дела. Пока все это длилось, я вряд ли чувствовал что-либо сквозь невыразимую усталость, да и некогда мне было заниматься своими чувствами, но потом этот день-ночь-день повалился посещать меня во время моих ночных раздумий, и под конец эти посещения превратились в нечто вроде той болезни, которую называют теперь шоковым состоянием, а раньше именовали контузией. Как только я ни ухищрялся, чтобы не думать об этом, но это возвращалось ко мне, несмотря ни на что. Днем оно затаивалось, а дождавшись ночи, бросалось на меня в темноте. Однажды, размякнув во хмелю, я заговорил об этом со своим сержантом, кадровиком, участником войн, о которых мы и думать забыли. Если бы он носил все свои орденские ленточки и планки, на гимнастерке у него не осталось бы места для пуговиц. Майк Пуласки — поляк из Чикаго (не путать с прославленным генералом). По счастью, он был навеселе, не то надулся бы и промолчал, повинувшись закоренелому предубеждению относительно братания с офицерами.

Майк выслушал меня, уставясь мне прямо в переносицу.

— Как же, знаю! — сказал он. — Бывает. Только не вздумайте гнать это из головы. Не поможет. Надо наоборот.

— Как это, наоборот?

— Это ведь надолго, сразу не отвяжется. Надо вспоминать все подряд с самого начала и доводить до конца. Как только накатит, так и начинайте — с первой и до последней минуты. Потом глядишь, ему надоест, и оно начнет будто отваливаться по кускам, а там и вовсе уйдет.

Я попробовал — и помогло. Не знаю, известно ли такое пользование нашим лекарям, и если нет, то не мешало бы им поинтересоваться.

Когда мою ночь навестил Дэни Тейлор, я применил к нему метод сержанта Майка.

Помню нас мальчишками — одних лет, одного роста, одного веса — и как мы с ним ходили в фуражную лавку на Главной улице и становились на весы. Одну неделю я тянул на полфунта больше, следующую — Дэни сравнивался со мной. Мы вместе удилы рыбу, вместе охотились, купались, ухаживали за одними и теми же девочками. Родители у Дэни были люди состоятельные, как большинство старых семейств Нью-Бэйтауна. Дом Тейлоров — тот белый особняк на Порлоке, с высокими дорическими колоннами. Когда-то у Тейлоров был и загородный дом в трех милях от города.

Местность у нас холмистая — куда ни глянь, всё холмы, поросшие деревьями, где низкорослой сосной и мелким дубняком, а где орешником и кедром. Когда-то давным-давно, еще до моего рождения, дубы у нас были настоящие великаны — такие великаны, что, пока их не свели окончательно, кили, шпангоуты и обшивка для судов местной постройки готовились в двух шагах от верфи. Среди этих уютных холмов и увалов, на большом лугу — единственном ровном месте на много миль вокруг, — у Тейлоров когда-то стоял дом. В давние времена это, вероятно, было дно озера, потому что луговина тянулась ровная, как стол, а вокруг нее шли невысокие холмы. Лет шестьдесят назад Тейлоры сгорели и так и не отстроились. Мальчишками мы с Дэни, бывало, ездили туда на велосипедах. Играли в каменном погребе, строили охотничий домик из кирпичей старого фундамента. Парк здесь, судя по всему, был великолепный. Среди порослей вернувшегося сюда леса еще угадывались аллеи, сохранился намек на строгие линии живых изгородей и бордюров. Там и сям виднелись

остатки каменной балюстрады, а однажды мы нашли бюст Пана на сужающемся кверху пьедестале. Пан валялся лицом в траве, зарыв в землю свои рожки и бороду. Мы подняли его, обмыли и первое время отдавали ему всяческие почести, но потом жадность и интерес к девушкам взяли в нас верх. Пан был вывезен на тачке во Фладхэмтон и продан старьевщику за пять долларов. Это, наверно, была неплохая скульптура, может, даже какая-нибудь древность.

Мальчишки не могут жить без друзей, вот так дружили и мы с Дэнни. Потом он псгал в Военно-морское училище. В форме я видел его только раз, а после этого мы не встречались несколько лет. Нью-Бэйтаун — город маленький, тайн у нас нет. Все знали, что Дэнни выгнали из училища, но вслух это не обсуждалось. Тейлоры вымерли — собственно говоря, так же, как и мы, Хоули. Из нашей семьи в живых остался один я, ну и, разумеется, мой сын Аллен. Дэнни вернулся в Нью-Бэйтаун только после смерти всех своих родичей, и вернулся он запойным пьяницей. Первое время я старался помочь ему, но он не нуждался в моей помощи. Он ни в ком не нуждался. И все-таки, несмотря ни на что, мы с ним были близки, очень близки.

Я перебрал все, что мог вспомнить о нас, вплоть до того утра, когда он взял у меня доллар, чтобы напиться в каком-нибудь притоне.

Происходившую во мне перемену подготавливали мои собственные чувствования и давления извне — желания Мэри, требования Аллена, вспышки Эллен, советы мистера Бейкера. Только в последнюю минуту, когда все готово и смонтировано, мысль крост крышей возведенную тобой постройку и подсказывает тебе слова для всяческих объяснений. А что, если мое скромное служение бакалсе, которому не видно конца, отнюдь не добродетель, а следствие душевной лености? Успех требует отваги. Может, я просто робею, опасаюсь, как бы чего не вышло, словом, ленюсь? В успешных операциях моих сограждан нет никакой особой премудрости, никаких особых тайн, и не столь уж они успешны — именно потому, что эти люди ставят искусственные преграды на своем пути. Преступления их мелкотравчатые, и так же мелкотравчат их успех. Если бы расследовать с пристрастием деятельность наших городских властей и весь финансовый комплекс Нью-Бэйтауна, то обнаружились бы нарушения сотен деловых и несметного множества моральных устоев, но все это были бы мелкие

провинности — не серьезнее карманных краж. Отмене подвергалась только часть заповедей, прочие оставались в силе. И когда кто-нибудь из наших преуспевающих дельцов достигал поставленных перед собой целей, ему ничего не стоило вернуться к своим прежним добродетелям, все равно что сменить рубашку, и, насколько можно было судить, он не терпел никакого морального ущерба, нарушив долг,— разумеется, при условии, что его не ловили за руку. Задумывался ли над этим кто-нибудь из них? Не знаю. Итак, мелкие грешки прощительны, но почему же тогда не отпустить самому себе преступления, совершенного одним махом, смело, без сантиментов? Несужели медленное, постепенное выжимание соков из человека лучше, чем быстрый благодетельный взмах ножа? Я совсем не чувствовал за собой вины, когда убивал немцев. А если мне отменить, но только на время, все законы до одного, не ограничиваясь двумя-тремя? Разве их нельзя восстановить после того, как цель будет достигнута? Ведь бизнес — та же война, это факт неоспоримый. Почему же тогда не объявить тотальную войну ради достижения мира? Мистер Бейкер и его дружки не застрелили моего отца, но помогли ему советом и когда возводимая им постройка рухнула, они оказались в выигрыше. Разве это не убийство? И разве миллионные состояния, перед которыми мы благоговеем, можно было скопить, не проявляя жестокости? Вряд ли.

Если я отменю на время все законы и правила, без шрамов мне не обойтись, но чем они будут хуже тех, что остались у меня после всех моих неудач? Ведь жить — это значит покрываться шрамами.

Все мои раздумья были флюгерами на крыше здания, возведенного из тревог и сомнений. Не мы первые, не мы последние. Но если я отворю эту дверь, удастся ли мне снова захлопнуть ее? Не знаю. И не смогу узнать, пока не попробую. А мистер Бейкер знал? Да приходила ли ему в голову такая мысль? Старый шкипер думал, что Бейкеры сожгли «Прекрасную Адэр» ради страховки. Может быть, это обстоятельство да еще заложенность моего отца и подвигли мистера Бейкера на то, чтобы помочь мне? Не это ли его шрамы?

То, что происходило со мной, можно сравнить с маневрами большого судна, которое тянут, подталкивают, вертят и так и сяк множество мелких буксиров. Послушное им и волнам, оно должно лечь на новый курс и развести пары. Стоя на капитанском мостике, откуда ведется

командование, надо сказать самому себе: «Теперь я знаю, куда мне плыть. Так вот — как туда добраться, где там подводные камни и будет ли погода благоприятствовать плаванию?»

Один из самых опасных рифов — это болтовня. В тоске по славе — по любой славе, даже если ее принесет поражение, — столько людей предали сами себя до того, как их предали другие. Колодец Андерсена, вот кому единственному можно довериться — колодцу из сказки Андерсена.

Я окликнул Старого шкипера: «Прикажете лечь на курс? А верен ли этот курс, сэр? Приведет ли он меня, куда нужно?»

И впервые Старый шкипер отказался дать мне команду. «Сам все решай. Что одному на пользу, другому во вред, а наперед не угадаешь».

Старый хрыч мог бы подсказать мне что-нибудь, но, кто знает, может, это ничего бы не изменило? Советов мы не любим — нам нужно поддакивание.

ГЛАВА VII

Когда я проснулся, моя сонливая старушка Мэри уже встала и ушла, а в кухне закипал кофе и жарился бекон. До меня доносился их аромат. И какой день для воскресения из мертвых! Весь зеленый, голубой, золотистый. Лучшего, пожалуй, и не подберешь. Из окна спальни было видно, как все воскресает — трава, деревья. Подходящее время года отвели для этого праздника. Я надел халат, подаренный мне к рождеству, и домашние туфли — подарок ко дню рождения. Потом отыскал в ванной какую-то страшно клейкую помаду, которую употребляет Аллен, и так насандалил ею волосы, что после щетки и гребня кожу у меня на голове стянуло, точно резиновой шапочкой.

Пасхальный завтрак — настоящая оргия, когда стол ломится от оладий, яиц и бекона, завывающего на сковороде своими прожаренными краешками. Я подкрался к Мэри, шлепнул ее по обтянутому шелком задку и сказал:

— *Kyrie eleison!*¹

— Ой! — сказала она. — Я не слышала, как ты подошел. — Потом оглядела мой узорчатый, турецкими огурца-

¹ Господи, помилуй! (греч.)

ми, жалат.— Тебе идет,— сказала она.— Почему ты его редко носишь?

— Когда же мне его носить? До сих пор все как-то некогда было.

— Правда, очень хорошо,— сказала она.

— И неудивительно. Ведь ты сама его выбирала. Неужели ребята спят и не чувствуют этих восхитительных запахов?

— Нет, нет. Они во дворе, прячут крашеные яйца. Интересно, что там мистер Бейкер задумал?

Такие резкие переходы всегда застигают меня врасплох.

— Мистер Бейкер, мистер Бейкер!.. А, да! Он, вероятно, задумал устроить мое будущее.

— Ты ему говорил? Про гаданье?

— Конечно, нет, дорогая. Но, может, он сам догадался.— Потом я перешел на серьезный тон: — Слушай, ватрушка, ты ведь не сомневаешься в моих недюжинных финансовых способностях?

— Почему ты вдруг об этом спрашиваешь? — Она переворачивала оладьи на сковороде и, поддев одну ножом, так и застыла с вытянутой рукой.

— Мистер Бейкер считает, что я должен пустить в оборот деньги твоего брата.

— Ну, если мистер Бейкер...

— Стой, подожди. Я не хочу этого делать. Деньги твои, это твое обеспечение.

— Все-таки, милый, мистеру Бейкеру лучше знать.

— Я в этом не уверен. Мне известно только, что мой отец тоже так считал. И поэтому я работаю на Марулло.

— И все-таки мистер Бейкер...

— Ты положишься на мое суждение, родная?

— Да, конечно...

— Во всем?

— Ты опять дурачишься?

— Я совершенно серьезно — как никогда.

— Ну, допустим. Но сомневаться в мистере Бейкере?.. Ведь он... он...

— Он — мистер Бейкер. Мы послушаем, что нам предложат, а потом... Пусть эти деньги как лежали в банке, так и лежат.

Аллен ворвался в кухню, будто им выстрелили из рогатки.

— Марулло,— сказал он.— Мистер Марулло пришел. Он к тебе.

— Это еще зачем? — удивилась Мэри.

— Ну, пригласи его войти.

— Я приглашал. Он хочет поговорить с тобой во дворе.

— Итен, что это значит? Не выйдешь же ты в халате. Сегодня первый день Пасхи.

— Аллен, скажи мистеру Марулло, что я не одет. Пусть зайдет попозже. Но если что-нибудь срочное и он хочет поговорить со мной с глазу на глаз, я впущу его с парадного хода.

Аллен исчез.

— Не представляю, что ему понадобилось? Может, лавку ограбили?

Аллен снова влетел в кухню.

— Пошел к парадному.

— Только чтобы он не вздумал портить тебе завтрак. Слышишь, милый?

Я прошел через весь дом и отпер парадную дверь. На крыльце стоял Марулло, нарядившийся к пасхальной мессе во все самое лучшее, а лучшее у него было: черный шевинотовый костюм и жилетка с пропущенной по ней массивной золотой цепочкой от часов. Черную шляпу он держал в руке, а сам улыбался вымученной улыбкой, точно собака, когда на нее прикрикнут.

— Входите.

— Нет,— сказал он.— Я только одно слово. Я слышал, что этот тип предлагал тебе заработать?

— Да?

— Я слышал, что ты выгнал его вон.

— Кто это вам доложил?

— Не скажу. Нельзя.— Он снова улыбнулся.

— Ну, так, собственно, что же? Вы намекаете, что зря я отказался?

Он шагнул вперед, взял мою руку и весьма церемонно потряхнул ее — вверх и вниз, вверх и вниз.

— Ты молодец,— сказал он.

— Может, просто он мне мало посулил?

— Шутишь? Ты молодец. Вот и все. Молодец.— Он полез в свой оттопыренный боковой карман и вытащил оттуда кулечек.— Вот, возьми.— Потом похлопал меня по плечу и, сам не свой от смущения, повернулся и быстро зашагал прочь. Его короткие ноги так и мелькали, из-под тугого крахмального воротничка выпирала багровая складка загривка.

— Ну, что он?

Я заглянул в кулек — разноцветная карамель в виде пасхальных яиц. У нас в лавке ее была целая стеклянная банка.

- Принес гостинец ребятам,— сказал я.
- Марулло? Принес гостинец? Быть не может.
- Тем не менее.
- С чего это он? Никогда с ним раньше этого не бывало.
- Наверно, от любви ко мне.
- Может быть, я не все знаю?
- Гусиная травка, на свете восемь миллионов вещей, которых мы оба с тобой не знаем.— Дети смотрели на нас во все глаза, стоя в дверях кухни. Я протянул им кулек.— Это вам от одного вашего поклонника. Только не набрасывайтесь до завтрака.

Когда мы одевались, чтобы идти в церковь, Мэри сказала:

- Хотела бы я все-таки знать, в чем тут дело.
- Ты про Марулло? Должен тебе признаться, дорогая, что я тоже хотел бы это знать.
- Кулек дешевых карамелек...
- Это он, наверно, в простоте душевной.
- Не понимаю.
- Жена у него умерла. Родных — никого, один как перст. Надвигается старость. Может — ну, может, ему вдруг стало одиноко.
- Никогда он к нам не заходил. Попроси у него прибавки, пока ему одиноко. Мистера Бейкера ведь он не навещает. Мне даже как-то не по себе стало.

Я принарядился, как цвет полевой: строгая черная пара — мой черный похоронный костюм, белая рубашка, так сильно накрахмаленная, что она отбрасывала солнечные лучи солнцу прямо в лицо, и небесной синевы галстук-бабочка в скромный горошек.

Что она там затеяла, эта миссис Марджи Янг-Хант? Колдует на манер своей бабки? Откуда Марулло все узнал? Вернее всего так: мистер Биггерс — миссис Янг-Хант, а миссис Янг-Хант — мистеру Марулло. Я вам не верю, миссис Хант, я вас всегда подозревал. Не знаю сам я почему, но миссис Хант я не пойму. С этой белибердой в голове я прошелся по нашему саду в поисках каких-нибудь белых цветочков себе в петлицу по случаю Пасхи. В закутке между углом фундамента и покатою дверью погребка есть у нас заветное местечко, где земля прогревается от соседства с котельной и доступна каждому лучику зимнего солнца. Там растут белые фиалки, пересаженные

с кладбища, где они бурно разрослись на могилах моих предков. Я выбрал три крохотные львиные мордочки себе в петличку, нарвал ровно дюжину для моей любимой, обложил их бледно-зелеными листочками и туго перетянул букетик понизу серебряной бумажкой от конфеты.

— Какая прелесть! — сказала Мэри. — Подожди, сейчас я приколю их и так пойду в церковь.

— Это первые, самые первые, белая моя птица. Я твой верный раб. Христос восстал из мертвых. Все прекрасно в божьем мире.

— Перестань, милый. Это ведь святое, не над чем тут потешаться.

— Что ты такое сделала со своими волосами?

— Нравится?

— Чудо, чудо! Всегда так причесывайся.

— А я боялась, тебе не понравится. Марджи сказала, что ты даже внимания не обратишь, а ты обратил! Ну, теперь я ей задам! — Она водрузила на голову настоящую вазу с цветами — ежегодное весеннее приношение Эостре¹. — Нравится?

— Чудо, чудо!

Затем начался осмотр младшего поколения — уши, носы, обувь. Все до мельчайших подробностей вопреки их бурным протестам. Аллен так намазал волосы, что даже моргать не мог. Задники башмаков остались у него не начищенными, зато прядь волос он вымуштровал, не пожалев трудов, и она волной вздымалась над его лбом.

Наша Эллен самая что ни на есть девчонская девчонка. Все, что на виду, было у нее в полном порядке. Я решил повторить удачный ход.

— Эллен, — сказал я. — Ты как-то по-новому причесалась. Тебе очень к лицу. Мэри, дорогая, ты одобряешь?

— Она у нас начнет следить за своей наружностью, — сказала Мэри.

Семейная процессия двинулась по садовой дорожке к Вязовой улице. С Вязовой мы повернули на Порлок, где стоит наша церковь, наша старинная церковь с белой колокольней, целиком спертая у Кристофера Рена. Мы влились в полноводную реку, и теперь каждая женщина наслаждалась возможностью разглядывать шляпки других женщин.

— Я придумал модель пасхальной шляпки, — сказал я. — Простенький, открывающий лоб золотой терновый венец с настоящими рубиновыми капельками спереди.

¹ Богиня весны у древних тевтонов.

— Итен! — строго сказала Мэри. — А вдруг тебя услышат!

— Н-да, пожалуй, этот фасон не будет иметь успеха.

— Ты просто ужасен! — сказала Мэри, и я сам был о себе не лучшего мнения. Ужасен — это еще мягко сказано. И все же у меня мелькнула мысль: а если сделать мистеру Бейкеру комплимент по поводу его стрижки, как он к этому отнесется?

Наш семейный ручеек присоединился к другим ручьям и обменивался со всеми чинными приветствиями, а потом все эти ручьи в едином потоке стали вливаться в епископальную церковь св. Фомы.

Когда придет пора посвятить моего сына в тайны жизни (которые ему, несомненно, известны), не забыть бы проинформировать его о том, что такое женская прическа. Вооружившись добрым словечком о ней, он достигнет всего, чего только ни пожелает его блудливое маленькое сердечко. Впрочем, не мешает и предостеречь. Их можно толкать, колотить, валять, тормозить — все что угодно, только не портить им прическу. Усвоив этот урок, он будет кум королю.

Бейкеры поднимались по ступенькам как раз перед нами, и мы обменялись учтивыми приветствиями.

— Ждем вас к чаю.

— Да, непременно. Счастливых праздников.

— Неужели это Аллен? Какой он большой стал! И Мэри-Эллен тоже. Так вытянулись, что их просто не узнаешь.

В церкви, куда ты ходил ребенком, всегда есть что-то дорогое твоему сердцу. Я знаю все сокровенные уголки, мне знакомы все сокровенные запахи церкви св. Фомы. В этой купели я был окрещен, у этой ограды подошел к первому причастию, а сколько лет Хоули занимают свою скамью — одному Богу известно, и это не просто риторическая фигура. Меня, видимо, как следует пропитали благочестием, потому что я помню каждое свое нечестивое деяние, а их было много. И, вероятно, я смог бы показать все те места, где выцарапаны гвоздем мои инициалы. Когда мы с Дэнни Тейлором прокалывали булавками буквы в молитвеннике, из которых слагалось одно самое что ни на есть непристойное слово, мистер Уилер поймал нас за этим занятием, и нам воздали по заслугам, но ему пришлось просмотреть все молитвенники и все сборники гимнов, чтобы убедиться, что ничего такого больше нигде нет.

Вот на этом сиденье возле аналая однажды произошло нечто ужасное. В тот год я был служкой, ходил с крестом за священником и пел сочным дискантом. Как-то раз богослужение в нашей церкви совершал епископ — добродушный старичок с голой, точно вареная луковица, головой, но в моих глазах озаренный ореолом святости. И вот, когда пение смолкло, я водрузил крест на место и, одурманенный экстазом, забыл защелкнуть медную перемычку, которая закрепляла его в гнезде. После второго поучения, к ужасу моему, тяжелый медный крест покачнулся и хрястнул по благостной лысой голове. Епископ повалился наземь, как прирезанная корова, а мне пришлось уступить свою должность мальчишке по фамилии Хилл, а по прозвищу Вошючка, который пел несравненно хуже. Он теперь антрополог, работает где-то в западных штатах. Этот случай убедил меня, что одних намерений — благих или дурных — недостаточно. Все зависит от везения или невезения, от судьбы или как там это называется.

Мы прослушали всю службу, и в конце ее нам возвестили, что Христос на самом деле воскрес из мертвых. Всякий раз мурашки бегут у меня по спине от этих слов. Я с открытой душой подошел к причастию. Аллен и Мэри-Эллен у нас еще не подтвердились, и под конец они начали вертеться во все стороны, так что пришлось смирить их железным взглядом, чтобы прекратить ерзанье. Когда в глазах у Мэри появляется суровость, она способна пробить даже броню юношеского зазнайства.

Потом мы вышли на солнце, и тут снова начались рукопожатия, приветствия и снова рукопожатия и поздравления с праздником. Те, с кем мы заговаривали при входе в церковь, еще раз выслушивали наши приветствия, и это было продолжением того же обряда, нескончаемого обряда подчеркнутой благовоспитанности, таящей безмолвную мольбу, чтобы тебя заметили и почтили.

— Добрый день. Как поживаете, как здоровье?

— Хорошо, благодарю вас. А как ваша матушка?

— Старее, старее. Ничего не поделаешь, где годы, там и болезни. Я ей передам, что вы о ней справлялись.

Сами по себе слова эти ничего не значат, они только проводники чувств. Что определяет наши действия — мысль? Или же они — результат чувств, а мысль только кое-когда помогает их осуществлению? Наше маленькое шествие по солнечной улице возглавлял мистер Бейкер, старавшийся не ступать на трещины в тротуаре; его мать, которая скончалась двадцать лет назад, могла спокойно

лежать в могиле. А рядом с ним, принаравливая свою походку к его неровным шагам, мелко перебирала ножками Амелия, миссис Бейкер,— эдакая птичка, маленькая, востроглазая, но ручная, питающаяся из кормушки.

Мой сын Аллен шел рядом со своей сестрой, и оба старательно делали вид, что не имеют друг к другу никакого отношения. По-моему, она его презирает, а он ее не выносит. Это может остаться у них на всю жизнь, но они научатся скрывать свои чувства в розовом облачке нежных слов. Дай им — каждому отдельно — их завтрак, моя сестра, жена моя: яйца вкрутую, огурчики, сэндвичи с джемом и ореховой пастой, красные, пахнущие бочкой яблоки, и пусть идут в мир плодиться и размножаться.

Так Мэри и сделала. И, получив по свертку, они ушли каждый в свой обособленный тайный мирок.

— Ты довольна службой, дорогая?

— Да, очень. Мне в церкви всегда нравится. А ты... признаться, я часто теряюсь — верующий ты или нет. Правда, правда! Твои шуточки иной раз...

— Подвинь стул поближе, родная моя родинка.

— Надо обед разогревать.

— К чертовой бабушке твой обед.

— Вот, вот они, твои шуточки. Об этом я и говорю.

— Обед не святыня. Будь на улице потеплее, посадил бы я тебя в лодку, выехали бы мы с тобой за волнорез и половили бы там рыбку.

— Сегодня нас ждут Бейкеры. Слушай, Итен, все-таки верующий ты или нет? Тебе самому-то это ясно? И почему ты даешь мне какие-то дурацкие прозвища? Хоть бы изредка называл по имени.

— Не хочу повторяться и надоедать тебе. Но в душе у меня твое имя гудит, как колокол. Верующий ли я? Что за вопрос! Разве так бывало, чтобы мне хотелось придирааться к каждому блистательному слову в Никейском символе и разглядывать его со всех сторон, точно мину замедленного действия? Нет. Мне этого не нужно. Но удивительное дело, Мэри! Если бы душа и тело мое иссохли в неверии, как горох в стручке, стоило бы мне услышать слова: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он возрастил меня на злчных пажитях», — и в желудке бы у меня похолодело, сердце в груди забилося, в голове вспыхнуло бы жаркое пламя.

— Ничего не понимаю.

— Умница. Я тоже не понимаю. Хорошо, скажем так: в младенчестве, когда косточки у человека еще мягкие

и податливые, меня уложили в маленький епископальный крестообразный ящичек, и там тело мое сформировалось. Так удивительно ли, что я выключнулся из этого ящичка, как цыпленок из скорлупы, приняв форму креста? Ты разве не замечала — ведь у цыплят тельце тоже в какой-то степени яйцевидное.

— Ты говоришь ужасные вещи — и даже детям.

— А они — мне. Эллиен только вчера вечером спросила меня: «Папа, когда мы разбогатеем?» Но я не сказал того, что знаю: «Разбогатеем мы очень скоро, и ты, не умеющая сносить бедность, не сумеешь снести и богатство». Это истина. В бедности ее терзает зависть. В богатстве она, того и гляди, задерет нос. Деньги не излечивают болезни как таковой, а только изменяют ее симптомы.

— И так ты отзываешься о своих собственных детях! Что же ты обо мне скажешь?

— Скажу, что ты моя радость, моя прелесть, огонек в тумане жизни.

— Ты как пьяный. Будто и в самом деле выпил.

— Так оно и есть.

— Неправда. Я бы учуяла.

— Ты и чуешь, моя дорогая.

— Да что с тобой происходит?

— Ага! Значит, заметно! Да, происходит. Перелом, такой перелом, что все во мне разбушевалось к чертовой матери! До тебя докатывают только те валы, которые дальше всего от центра бури.

— Итен, я начинаю беспокоиться за тебя. Самым серьезным образом. Ты стал какой-то дикий.

— Помнишь, сколько у меня наград?

— Медалей? С войны?

— Их давали за дикость, за одичание. Не было на свете человека менее склонного к смертоубийству, чем я. Но на фронте меня втиснули в новый ящик. Время — каждая данная минута — требовало, чтобы я убивал человеческие существа, и я выполнял это требование.

— Тогда было военное время, и так было надо — за родину.

— Время всегда бывает какое-то особое. Ему служишь, а свое упускаешь. Солдат я был что надо — решительный, находчивый, беспощадный. Словом, нечто весьма приспособленное к условиям военного времени. Но, может быть, мне удастся выказать не меньшую приспособленность и теперь, в наши дни.

— Ты меня к чему-то подготавливаешь?

— Да! Как это ни прискорбно. И мне самому слышится извиняющиеся нотки в моих словах. Надеюсь, впрочем, что это обман слуха.

— Пойду накрывать на стол.

— После такого сокрушительного завтрака о еде и думать не хочется.

— Ну, хорошо, тогда перекуси тут чего-нибудь. Ты заметил, какая на миссис Бейкер была шляпа? Должно быть привезена из Нью-Йорка.

— А что она сделала со своими волосами?

— Ты тоже обратил внимание? Они у нее почти лиловые.

— «Свет во просвещение языков и во славу народа израаилева».

— Что это Марджи вздумалось уехать в Монток в такое время года?

— Она же любит утренний воздух.

— Нет, рано вставать она не привыкла. Я ее всегда поддразниваю на этот счет. И все-таки очень странно, почему Марулло принес детям карамельные яйца?

— Ты связываешь эти два события? Марджи поднялась ни свет ни заря, а Марулло принес гостинец детям.

— Перестань дурачиться.

— Я не дурачусь. На сей раз я не дурачусь. Если рассказать тебе по секрету одну вещь, обещаешь молчать?

— Опять шуточки!

— Нет.

— Тогда обещаю.

— По-моему, Марулло собирается в Италию.

— Откуда ты знаешь? Он сам тебе говорил?

— Нет, не совсем. Но я сопоставляю кое-какие факты. Со-по-ставляю.

— Значит, ты останешься в лавке один! Тебе надо кого-то в помощники.

— Сам справлюсь.

— Ты и так все сам делаешь. Придется взять помощника.

— Помни, это еще не наверняка, и пока надо все держать в секрете.

— Я не нарушаю своих обещаний.

— Но намекать будешь.

— Не буду, Итен. Честное слово!

— Знаешь, кто ты? Милый маленький зайчик с цветочками на голове.

— Ну, похозяйничай на кухне сам. Я пойду приведу себя в порядок.

Когда она ушла, я развалился в кресле, и в ушах у меня слышался тайный голос: «Отпусти, господи, раба-а твоего с ми-и-ром!» И вот, клянусь вам, заснул! Сорвался с крутизны в темноту прямо здесь, в гостиной. Со мной это не часто случается. И так как я думал о Дэнни Тейлоре, Дэнни Тейлор мне и приснился. Мы с ним были будто не маленькие и не большие, но уже взрослые, и мы бродили по ровному высохшему дну озера, где еще виднелся фундамент их старого дома и зияла яма погреба. Стояло, наверно, лето, самое его начало, потому что листва на деревьях была тучная, а травы сгибались под собственной тяжестью. В такой день сам себя чувствуешь тучным и каким-то ошалелым. Дэнни зашел за деревцо можжевельника, высокое, стройное, как колонна. Его голос звучал в моих ушах глухо и странно, будто из-под воды. Потом я очутился рядом с ним, а он вдруг начал таять и весь потек. Я пытался подхватить его обеими руками, затирать кверху, как жидкий цемент, когда он переливается через край, и ничего не мог сделать. Самая суть Дэнни уходила у меня между пальцами. Говорят, будто сны наши длятся мгновение. Этот сон снился, снился мне без конца, и чем больше я хлопотал около Дэнни, тем быстрее и быстрее он таял.

Когда Мэри разбудила меня, я тяжело дышал от усталости.

— Весенняя лихорадка,—сказала она.— Это ее первый признак. В годы, когда девочки начинают формироваться, я столько спала, что мама наконец вызвала доктора Грейди. Она думала, это сонная болезнь, а я просто росла весной.

— У меня был кошмар среди бела дня. Врагу не пожелаю, чтобы ему такое снилось.

— Это предпраздничная суeta всему виной. Вставай. Пойди причешись и умойся. У тебя усталый вид, милый. Ты здоров ли? Нам скоро выходить. Ты два часа спал. Наверно, организм этого потребовал. Как бы я хотела знать, что мистер Бейкер там задумал.

— Узнаешь, родная. И обещай мне, что ты будешь слушать внимательно, не пропустишь ни слова.

— А вдруг он захочет поговорить с тобой наедине? Деловым людям присутствие женщин только мешает.

— Ничего, пусть терпит. Я хочу, чтобы ты была при этом.

— Ты же знаешь, что у меня нет никакого опыта в делах.

— Знаю, но ведь речь пойдет о твоих деньгах.

Таких людей, как Бейкеры, знаешь только в том случае, если это дано тебе с колыбели. Приятельские и даже дружеские связи не то — они завязываются совсем по-другому. Я знаю Бейкеров потому, что Бейкеры и Хоули родом из одних мест, равны по крови, по жизненному опыту и прошлое у обеих семей схожее. Это сплачивает нас в нечто вроде клана, крепостной стеной и рвом отгороженного от чужаков. Когда мой отец потерял все свое состояние, меня не вытеснили совсем за пределы этого клана. Как член семьи Хоули, я все еще личность приемлемая и, вероятно, останусь таким в глазах Бейкеров до конца дней своих, потому что они чувствуют наше родство. Но я бедный родственник. Патриции без денег мало-помалу перестают быть патрициями. Без денег мой сын Аллен потеряет связь с Бейкерами, а его сын будет для них чужаком, несмотря на свое имя, на своих предков. Мы теперь землевладельцы без земельных угодий, полководцы без войск, всадники на своих на двоих. Нам не уцелеть. Может быть, оттого со мной и произошла такая перемена? Я не гонюсь и никогда не гнался за деньгами ради денег. Но без них разве удержишься в той категории, существовать в которой мне привычно и удобно? Все это, вероятно, образовалось в тех темных глубинах моего сознания и поднялось оттуда на поверхность не как мысль, а как твердое убеждение.

— Милости просим! — сказала миссис Бейкер. — Очень рада вас обоих видеть. Вы нас совсем забыли, Мэри. Какой сегодня чудесный день, правда? Вам понравилась служба? По-моему, среди священников не часто встречаются такие интересные мужчины.

— Редко мы с вами стали видеться, — сказал мистер Бейкер. — А я ведь помню, как ваш дед, сидя вот в этом самом кресле, рассказывал, что подлые испанцы потопили «Мэн»¹. Он даже расплескал тогда свой чай, который, собственно, только назывался чаем. Старый шкипер Хоули если и подливал его в ром, то самую малость. Крутой был человек, многие даже считали его самодуром.

Как я заметил, такой прием сначала ошеломил Мэри, а потом она расцвела. Ведь ей было невдомек, что я про-

¹ Эпизод из испано-американской войны 1898 года.

извел ее в богатые наследницы. Репутация денежного человека котируется высоко, почти так же, как и сами деньги.

Подергивая головой, миссис Бейкер разливала чай по чашкам — прозрачным и хрупким, точно лепестки магнолии, и единственной частью ее тела, не подверженной тикку, была рука с чайником.

Мистер Бейкер задумчиво помешивал ложечкой.

— Сам не знаю, что я больше люблю — чай или церемонию чаепития, — сказал он. — Мне доставляют удовольствие любые церемонии, даже нелепые.

— Я вас понимаю, — сказал я. — Сегодня утром меня охватило такое чувство покоя в церкви, потому что служба не грозила никакими неожиданностями. Знаешь каждое слово заранее, до того, как его произнесут.

— Во время войны, Итен... Послушайте и вы, сударыни, вряд ли вам приходилось наблюдать что-либо подобное. Во время войны я был направлен в военное министерство, советником министра. Мы довольно долго прожили в Вашингтоне.

— Мне там ужасно не нравилось! — сказала миссис Бейкер.

— Так вот, министерство созвало гостей на чай, устроило пышный прием, человек на пятьсот. Первой дамой была жена генерала с пятью звездочками, а следующая за ней — жена генерал-лейтенанта. Хозяйка — супруга министра — попросила даму с пятью звездочками разливать чай, а трехзвездную — кофе. И представьте, первая отказалась, ибо — привожу ее доподлинные слова: «Каждому известно, что у кофе все преимущества перед чаем». Слыхали что-нибудь подобное? — Он усмехнулся. — А кончилось тем, что все преимущества оказались на стороне виски.

— Такой суматошный город! — сказала миссис Бейкер. — Люди приезжают, не успеют осмотреться, создать какой-то жизненный уклад, а уже надо ехать в другое место.

Мэри рассказала, как ее пригласили однажды в один ирландский дом в Бостоне, где воду грели в круглых бочонках на открытом очаге и разливали по чашкам оловянными половниками.

— И ведь они его не заваривают, а кипятят, — сказала она. — От такого чая лак на столе сойдет!

Каждому серьезному разговору или предприятию предшествует ритуал говорения, и чем щекотливее вопрос, тем

длиннее и легчевеснее эти обрядовые бормотанья. Каждый из собеседников должен добавить от себя перышко или цветной лоскуток. Если б Мэри и миссис Бейкер не готовились принять участие в серьезном деле, они давно нашли бы общий язык. Мистер Бейкер уже удобрил вином землю нашей беседы, то же самое сделала моя Мэри, и она была так оживлена, ее так радовала любезность наших хозяев. Теперь надлежало внести свою лепту и нам с миссис Бейкер, и я почувствовал, что приличия ради мне следует выступить последним.

Дождавшись своей очереди, миссис Бейкер, так же как и другие, почерпнула вдохновение в чайнике.

— А помните, сколько раньше было всяких сортов чая? — с живостью проговорила она. — И в каждом доме свой рецепт. Кажется, не было на свете такой былинки, листочка и цветка, который не пускали бы на чай. А теперь остались только два сорта — индийский да китайский, и китайский не всегда найдешь. Помните? Пили и рябину, и настой из ромашки, из апельсинового цвета и листа, и... и кэмбрик.

— А что такое кэмбрик? — спросила Мэри.

— Пополам — кипяток и горячее молоко. Дети его очень любят. И совсем другой вкус, чем просто у разбавленного молока. — Миссис Бейкер отделалась.

Пришла моя очередь, и я рассчитывал обойтись двумя-тремя обдуманно бессмысленными фразами о так называемом «Бостонском чаепитии»¹, но не всегда у нас получается так, как мы предполагаем. Неожиданности выскакивают, не спрашивая нашего разрешения.

— Я заснул после церкви, — донесся до меня мой собственный голос, — и увидел во сне Дэнни Тейлора. Сон был ужасный. Вы помните Дэнни?

— Бедняга, — сказал мистер Бейкер.

— Когда-то он был мне ближе, чем брат. В семье я рос один, без братьев. Да, в некотором отношении наша близость была поистине братской. Я, конечно, так не поступлю, но мне бы следовало стать сторожем брату моему Дэнни.

Мэри была явно недовольна, что я нарушил рисунок застольной беседы. И отомстила мне, как могла.

— Итен дает ему деньги. По-моему, этого не следует делать. Он все равно их пропивает.

¹ Исторический эпизод, относящийся к декабрю 1773 года, когда в знак протеста против налоговых обложений бostonцы потопили в море большую партию чая, привезенного английскими кораблями.

— Помилуйте! — сказал мистер Бейкер.

— Следует — не следует... как знать. Но этот сон был настоящий кошмар. И много ли я ему даю? Кое-когда по доллару. А что сделаешь на доллар? Только напьешься и больше ничего. Если бы дать ему сразу крупную сумму, может, он и вылечился бы.

— А кто на такое решится? — воскликнула Мэри. — Это все равно, что убить его. Как вы считаете, мистер Бейкер?

— Бедняга, — сказал мистер Бейкер. — И ведь из такой хорошей семьи! У меня душа болит, когда я вижу, до чего он дошел. Но Мэри права. С деньгами он совсем сопьется и вгонит себя в гроб.

— Он и без того спивается. Но я для него не опасен. У меня крупных сумм нет.

— Тут важен принцип, — сказал мистер Бейкер.

Миссис Бейкер добавила с чисто женской кровожадностью:

— Самое подходящее ему место — в лечебнице, где за ним был бы надлежащий уход.

Все трое остались недовольны мной. Нечего мне было отклоняться от «Бостонского чаепития».

Странно, почему это человеческий мозг вдруг затевает возню, игру в жмурки, в прятки, когда ему следовало бы засекать каждую мелочь, отыскивая проход в минном поле тайных замыслов и скрытых препятствий. Я понимал, что такое дом Бейкеров и дом Хоули, мне были понятны их темные стены и портьеры, траурные фикусы, не выдавшие солнца портреты, гравюры и напоминания о прежних временах в виде морских раковин, фарфора и резьбы по дереву, в виде штофных тканей — всего того, что навязывает этим домам чувство реальности и незыблемости существования. Форма стульев меняется в зависимости от моды и понятий об удобстве, но гардеробы и книжные шкафы, столы обеденные и письменные — это связь с добротным прошлым. Хоули — больше чем семья. Хоули — это дом. Потому-то бедняга Дэнни так цеплялся за тот луг, где когда-то стоял дом Тейлоров. Без этого луга нет семьи, а скоро не останется даже имени. Тон, голоса, скрытая в них воля тех троих, что сидели рядом со мной, поставили крест на Дэнни Тейлоре. Некоторым людям, видимо, нужен дом, нужна семейная история, чтобы они уверовали в собственное существование, хотя, даже в самом лучшем случае, это не Бог весть какая заручка. В ба-

калейной лавке я неудачник, простой продавец, дома я — Хоули. Значит, мне тоже не хватает уверенности в себе. Бейкер может протянуть руку помощи Хоули. Если ж у меня не будет дома, на мне тоже поставят крест. Человек с человеком? Нет! Дом с домом. Я возмутился, что они вычеркнули Дэнни Тейлора из списка живых, но ничего не мог тут поделать. И эта мысль подстегнула меня и закалила в моем решении. Бейкер решил подремонтировать Хоули для того, чтобы ему, Бейкеру, можно было примазаться к несуществующему наследству Мэри. Вот теперь я ступил на самый край минного поля. Сердце мое ожесточилось против столь бескорыстного благодетеля. Я чувствовал, что оно черствеет, настораживается и ярится. И по его приказу пришло ощущение фронта, выстроились законы обузданного бешенства, а первый из них таков: даже если ты в обороне, придай ей видимость нападения.

Я сказал:

— Мистер Бейкер, не стоит нам углубляться в историю. Вы видели, как мой отец медленно, но верно шел к потере того, чем мы, Хоули, были сильны. Я ничего не знаю, я был тогда на войне. Как это случилось?

— О его намерениях ничего плохого не скажешь, но разбираться в обстановке он...

— Мой отец был человек непрактичный, что верно, то верно, но как это случилось?

— Да, знаете, времена были такие. Времена рискованнейших биржевых операций. Вот он и рисковал.

— Кто-нибудь руководил им в этих операциях?

— Он поместил деньги в устаревшие виды вооружений. Заказы были аннулированы, и у него все пропало.

— Вы жили тогда в Вашингтоне. Вы имели представление об этих заказах?

— Так, в общих чертах.

— Но все же имели и сами этих акций не покупали.

— Да, у меня их не было.

— А отец с вами советовался?

— Я был в Вашингтоне.

— Но вы знали, что он делает займы под владения Хоули и покупает на эти деньги акции.

— Да, знал.

— И не отговорили его?

— Я был в Вашингтоне.

— Но ваш банк не дал ему отсрочки по платежам.

— Банк иначе не может, Итен. Вы сами это знаете.

— Да, знаю. Но все-таки очень жаль, что он с вами не посоветовался.

— Не обвиняйте его, Итен.

— Не буду. Теперь мне все понятно. Да я, собственно, никогда его не обвинял, только не мог понять, как это произошло.

Вступительная часть, видимо, была заготовлена у мистера Бейкера заранее. Сбитый с позиции, он стал нащупывать возможность для нового хода. Он кашлянул, высморкался и утер нос бумажным платком, вытянутым из плоской карманной пачки, вторым вытер глаза, третьим — очки. У каждого человека свой способ оттягивать время. Я знал одного, который тратил пять минут на то, чтобы набить и раскурить трубку.

Выждав, когда он снова приведет себя в полную готовность, я сказал:

— Я, кажется, не имею права просить вас о помощи от своего имени. Но вы сами заговорили о давних деловых связях между нашими семьями.

— Замечательные были люди, — сказал он. — И, как правило, умели великолепно разбираться в обстановке, консерваторы по духу...

— Но не слепые упрямы, сэр! Просто, ступив на избранный путь, они с него не сворачивали ни при каких обстоятельствах.

— Это верно.

— Даже если надо было потопить судно противника или... поджечь?

— У них, разумеется, были соответствующие полномочия.

— Но, насколько мне известно, сэр, в тысяча восемьсот первом году им пришлось держать ответ перед специальной комиссией, кого считать противником?

— После войны всегда происходит некоторое изменение установок.

— Да, конечно. Впрочем, я вспомнил все это не просто так, лишь бы поговорить. Сказать вам откровенно, мистер Бейкер, мне бы хотелось наверстать потерянное.

— Браво, Итен! Одно время я уже начинал подумывать, что вы утратили боевой дух семьи Хоули.

— Признаться, утратил. А может быть, просто не дал ему ходу в себе. Вы предлагали свою помощь. С чего мне начинать?

— Беда в том, что начинать надо с капитала.

— Это я знаю. Но если капитал будет, тогда что?

— Дамам это вряд ли интересно,— сказал он.— Может быть, мы с вами перейдем ко мне в кабинет? Дела — скучная материя.

Миссис Бейкер встала.

— А я как раз собиралась попросить Мэри, чтобы она помогла мне выбрать обои для нашей спальни. Образчики у меня наверху, Мэри.

— Я бы хотел, чтобы она...

Но, как и следовало ожидать, Мэри переметнулась на их сторону.

— В делах я профан,— сказала она,— а в обоях кое-что смыслю.

— Но ведь это касается тебя, дорогая.

— Я всегда все путаю, Итен. Ты что, не знаешь меня?

— А я без тебя, дорогая, пожалуй, еще больше запутаюсь.

Трюк с обоями, вероятно, придумал мистер Бейкер. Вряд ли его жена на самом деле их выбирает. Во всяком случае, ни одной женщине не могли бы понравиться те мрачные, с геометрическим рисунком, которыми была оклеена комната, где мы сидели.

— Итак,— сказал мистер Бейкер, когда они вышли,— где достать капитал? Вот ваша задача, Итен. Дом у вас не заложен. Возьмите ссуду под него.

— Ни в коем случае.

— Ну что ж, уважаю такую твердость, но ведь другого обеспечения у вас нет. Есть еще деньги Мэри. Сумма небольшая, но, как известно, деньга деньгу делает.

— Мне не хочется их трогать. Это гарантия ее благополучия.

— Они у вас на общем счету, лежат без пользы.

— Ну а если, скажем, я решусь? Что вы имеете в виду?

— Вам известно, хотя бы приблизительно, какое состояние у ее матери?

— Нет, но, кажется, солидное.

Он старательно протер очки.

— То, что я скажу вам, должно остаться между нами.

— Ну конечно.

— Вы, слава богу, не из разговорчивых, это я знаю. Среди Хоули говорунов не было, разве только ваш отец. Так вот, мне, финансисту, известно, что Нью-Бэйтаун будет расти. У него есть все, что способствует росту: гавань, взморье, внутренние воды. Стоит только начать,

потом не остановишь. Добропорядочный делец обязан помогать развитию своего города.

— А также извлекать из этого выгоду.

— Это само собой.

— Почему же Нью-Бэйтаун до сих пор не развивался?

— Я думаю, вы сами это знаете. Замшели там, в муниципалитете. Живут в прошлом. Задерживают прогресс.

Мне всегда любопытно слушать, когда извлечение прибыли подают под филантропическим соусом. Если бы сорвать с позиции мистера Бейкера ее одежды — дальновидно благотворительное «все для общества», — она предстала бы в своем натуральном виде. Он и еще несколько человек — буквально наперечет — будут поддерживать теперешние городские власти до тех пор, пока не скупят или не возьмут под свой контроль все будущие мероприятия по благоустройству Нью-Бэйтауна. Потом они вышвырнут вон весь муниципалитет вместе с мэром, возведут на трон прогресс, и вот тогда-то станет явным, что им принадлежат все пути, которыми этот прогресс шествует к нам в город. Из чисто сентиментальных побуждений Бейкер решил одарить меня небольшим кусочком общего пирога. Не знаю, входило ли в его намерения сообщить мне, как у них там все пойдет дальше, или же его «подхватило и занесло», но намеченный график вдруг мелькнул среди каких-то пустых фраз. Выборы в муниципалитет назначены на седьмое июля. К этому времени группа дальновидных граждан должна будет взять штурвал прогресса в свои руки.

Вряд ли найдется на свете человек, который не любит давать советы. Поскольку я все-таки продолжал оказывать некоторое сопротивление, наставник мой начинал все больше и больше горячиться и вдаваться в подробности.

— Хорошо, сэр, подумаю, — сказал я. — То, что для вас проще простого, для меня головоломка. И, конечно, мне надо посоветоваться с Мэри.

— Вот это, по-моему, зря, — сказал он. — Женский пол стал у нас слишком уж деятельный.

— Но ведь наследство-то ее.

— Вы скорее угодите ей, если преподнесете сюрпризом солидный куш. Им так больше нравится.

— Боюсь показаться вам неблагодарным, мистер Бейкер. Но я тяжелодум. Мне надо как следует все обмозговать. Вы слышали, что Марулло собирается в Италию?

Взгляд у него сразу стал настороженный.

— Совсем?

— Нет, на время.

— Надо думать, он позаботится, чтобы место осталось за вами, на случай если с ним что-нибудь приключится. Годы его не молодые. Завещание есть?

— Не знаю.

— Смотрите! Нагрянет свора итальянской родни, и вы окажетесь без работы.

Пришлось уйти под прикрытия спасительной неопределенности.

— Я столько от вас узнал, что всего сразу не прожужеешь,— сказал я.— Но все-таки не согласитесь ли вы дать мне хотя бы общее представление о том, с чего все начинается?

— Могу сказать вам только одно: развитие города во многом зависит от транспорта.

— Ну что ж, трансконтинентальную линию дотянут и до нас.

— И все-таки это слишком долгий путь! Те, кто нам нужен, крупные дельцы с крупными капиталами, предпочитают путешествовать по воздуху.

— А у нас нет аэропорта?

— Вот именно.

— И мало того — нет и места, где его выстроить, разве только срыть холмы вокруг города.

— Слишком дорогая затея. Не окупит себя.

— Тогда что же вы думаете предпринять?

— Итен, не обижайтесь и положитесь на меня во всем. Сейчас я ничего не могу вам сказать. Но обещаю: если деньги у вас будут, вы не прогадаете. Я имею в виду нечто совершенно конкретное, хотя тут еще требуются кое-какие уточнения.

— Я, может, этого и не заслуживаю.

— Старинные семьи должны держаться вместе.

— Марулло тоже входит в вашу группу?

— Нет, что вы! У них там своя компания, они действуют самостоятельно.

— И, кажется, весьма успешно?

— Слишком успешно. Не нравится мне, что эти иностранцы пролезают буквально во все щели.

— Значит, ждать седьмого июля?

— Разве я это сказал?

— Нет, мне, наверно, так слышалось.

— Наверно.

И тут, покончив с обоями, вернулась Мэри. Мы сказали и проделали все, что положено по ритуалу, и медленно пошли домой.

— Как они мило нас приняли, лучшего и желать нельзя. Что он тебе говорил?

— Все то же самое. Чтобы я для начала пустил в оборот твои деньги, а я этого не хочу.

— Я знаю, милый, ты беспокоишься обо мне. Но, по моему, будет очень глупо, если мы не воспользуемся его советом.

— Не лежит у меня к этому душа, Мэри. А вдруг он ошибается? Ты же останешься ни с чем.

— Слушай, Итен, если ты этого не сделаешь, так и знай, я сама к нему пойду со своими деньгами. Вот увидишь!

— Дай мне подумать. Я ни во что не хочу впутывать тебя.

— И не надо. Ведь счет в банке у нас общий. Помнишь, что вышло на картах?

— О господи! Опять эти карты!

— Да! Я им верю.

— Если я потеряю твои деньги, ты же меня возненавидишь.

— Нет. Мое богатство в тебе. Так Марджи нагадала.

— То, что Марджи нагадала, так мне в голову запало, что, покуда буду жить, буду в памяти хранить.

— Оставь свои шуточки.

— Может, это и не шуточки. Как бы богатство не повредило тихим радостям нашей нескладной жизни.

— Не понимаю, каким образом небольшие деньги могут чему-то повредить. Я не говорю о больших деньгах, а так... Чтобы хватало.

Я молчал.

— Ну, Итен!

Я сказал:

— О прекрасная принцесса! Не бывает так, чтобы денег хватало. Одно из двух: денег нет совсем или денег не хватает.

— Неправда.

— Нет, правда. Помнишь техасского миллиардера, который недавно умер? Он жил в гостиничном номере с одним чемоданчиком. Не оставил после себя ни завещания, ни наследников, но при жизни денег ему не хватало. Чем человек богаче, тем ему больше и больше нужно.

Она сказала ироническим тоном:

— Да, это, наверно, великий грех, но мне хочется купить новые занавески в гостиную и поставить котел по-

больше, так чтобы четыре человека могли принять ванну в один и тот же день, а я вдобавок — и вымыть посуду.

— Я не о твоих грехах сокрушаюсь, дуручка, а отмечаю факт, закон природы.

— Мало же в тебе уважения к человеческой природе.

— Не к человеческой, дорогая моя Мэри, а к природе вообще. Белки запасают орехов в десять раз больше, чем им потребуется. У хомяка брюхо того и гляди лопнет, а он все сует и сует за щеки, будто в мешок. А сколько умные пчелки съедают меда и сколько они, умницы, его выделяют?

Когда Мэри теряется, чувствуя себя сбитой с толку, она брызжет гневом, как спрут — чернильной жидкостью, и прячется в этом темном облаке.

— Противно слушать, — сказала она. — Хочется хоть немного порадоваться, так где там, разве ты позволишь!

— Нет, родная, не радость меня страшит, а горечь неудовлетворенности, сумятица, чванство, зависть — все, что несут с собой деньги.

Бессознательно она, вероятно, боялась того же. Она так вся и ошетибилась; поискала, где у меня больное место, нашла и с вывертом всадила туда колючки слов!

— Вот, полюбуйтесь! Продавец из бакалейной лавки, ни гроша за душой, а разглагольствует о вреде богатства. Можно подумать, ты в любую минуту способен добыть кучу денег, стоит тебе только захотеть.

— И добуду.

— Каким образом?

— Вот в том-то и вся загвоздка.

— Ничего ты не можешь, а если бы мог, давно бы у тебя все было. Хвастовство — и больше ничего. Обычная твоя манера.

Желание причинить другому боль рождает в нас злобу. Лихорадка уже овладела мной. Свинские, исступленно яростные слова поднимались во мне, как яд. Я ненавидел угрюмой ненавистью.

Мэри сказала:

— Смотри! Вон, вон там! Видел?

— Где? Что?

— Вон, мелькнуло под деревом — и прямо к нам во двор.

— Кто мелькнул? Мэри! Ну, говори! Что ты там увидела?

Я почувствовал, как она улыбнулась в темноте уму непостижимой женской улыбкой. Это называют мудростью,

но тут дело, пожалуй, не в мудрости, а в том даре всепо-
нимания, при котором и мудрость не нужна.

— Ничего ты не видела.

— Нет, видела — ссору... но она убежала.

Я обнял ее и повернул назад.

— Давай обойдем квартал, прежде чем домой.

Мы пошли туннелем ночи и больше ни о чем не гово-
рили, да нам это и не требовалось.

ГЛАВА VIII

В детстве я с наслаждением преследовал и убивал мел-
кую живность, когда только мог. Кролики, белки, мелкие
пташки, а позднее дикие утки и гуси валились наземь
окровавленными комочками из костей, шерстки и перьев.
В этом было какое-то остервенелое самоутверждение без
примеси злобы, ненависти или чувства вины. Война отби-
ла у меня аппетит к смертоубийству; так ребенок, объев-
шийся сладким, отворачивается от еды. Ружейный выстрел
уже не исторгал из моей груди вопля неистового счастья.

В эту первую весну к нам в сад повадилась пара кро-
ликов. Больше всего им пришлись по вкусу красные гвоз-
дики моей Мэри, и они начисто обглаживали их лепестки.

— Тебе придется покончить с ними,— сказала Мэри.

Я достал свою мелкокалиберную, всю жирную от смаз-
ки, нашел старые завалявшиеся патроны с дробью № 5,
сел вечером на ступеньки заднего крыльца и, дождавшись,
когда оба кролика оказались рядом, уложил их обоих
с одного выстрела. Потом я похоронил пушистые останки
под старой сиренью и почувствовал тоску где-то в же-
лудке.

Я просто-напросто отвык от кровопролития. Привык-
нуть человек может ко всему. К убийству, к ремеслу баль-
замировщика и даже заплочных дел мастера. Привык-
нешь — и дыба и клещи станут для тебя просто рабочим
инструментом.

Когда дети легли спать, я сказал:

— Пойду погуляю немного.

Еще несколько дней назад Мэри стала бы допытывать-
ся — куда, зачем? — а сейчас только спросила:

— Поздно вернешься?

— Нет, не поздно.

— Я ждать не буду, мне спать хочется,— сказала она.
Став на некий путь, моя Мэри, видимо, ушла по этому

пути дальше меня. А я все еще терзался из-за кроликов. Может быть, это вполне естественно, когда человек, уничтоживший что-то, старается что-то создать и тем самым восстановить в себе равновесие? Не это ли послужило для меня толчком?

Я ошупью пробрался в зловонную конуру, где жил Дэнни Тейлор. Рядом с его койкой горела на блюдечке свеча.

Дэнни был совсем плох — лицо изможденное, какое-то синее со свинцовым отливом. Меня чуть не стошнило — так дурно пахло в этой грязной комнате, где под грязным одеялом лежал давно не мывшийся человек. Глаза у него были открыты и тускло поблескивали. Я приготовился услышать горячечный бред. И меня потрясло, когда он заговорил внятно, голосом и тоном прежнего Дэнни Тейлора.

— Зачем ты пришел, Ит?

— Я хочу помочь тебе.

— Будто ты не знаешь, что это бесполезно.

— Ты совсем болен.

— Думаешь, я сам этого не знаю? Еще как знаю, лучше вас всех.— Он потянулся за койку и достал оттуда бутылку «Старого лесничего», на две трети пустую.— Хочешь?

— Нет, Дэнни. А ведь это виски из дорогих.

— У меня есть друзья.

— Кто тебе его поднес?

— Не твоё дело, Ит.— Он хлебнул из горлышка и сдержал отрыжку, хотя это далось ему нелегко. Лицо у него сразу порозовело. Он засмеялся.— Мой друг завел со мной деловой разговор, но я его околпачил. Он только-только собирался начать, а я уже скис. Ему, видно, невдомек было, как мне мало надо. А ты тоже с деловым разговором, Ит? Тогда я быстренько напьюсь до бесчувствия.

— Дэнни, ты меня любишь? Веришь мне? Ну, хоть сколько-нибудь, любишь?

— Конечно, люблю, но если уж говорить начистоту, так я пьянчуга, а пьянчуги больше всего любят виски.

— Если я достану тебе денег, ты будешь лечиться?

Больше всего меня испугало то, как быстро он пришел в себя, стал держаться свободно, просто — по-прежнему.

— Я мог бы сказать да, Итен. Но ты не знаешь, какой они народ, эти пьяницы. Деньги я возьму и пропью.

— Ну а если я внесу их прямо в лечебницу?

— Тебе же объясняют. Отправляюсь я туда с самыми благими намерениями, а через несколько дней сбегу. На пьяниц полагаться нельзя, Ит. Никак ты этого не поймешь! Я и соглашусь и сделаю, как надо, а потом все равно сбегу.

— Дэнни, неужели тебе не хотелось бы избавиться от этого?

— Да кажется, нет. И ты, конечно, знаешь, чего мне хотелось бы.— Он снова поднес бутылку ко рту, и меня снова поразила быстрота действия алкоголя. Мало того что он превратился в прежнего Дэнни, его восприятие, все его чувства так обострились, такая в них была ясность, что он читал у меня в мыслях.— Не обольщайся,— сказал он.— Это ненадолго. Алкоголь сначала взбадривает, а потом действует угнетающе. Надеюсь, ты уйдешь и второй стадии не увидишь. Сейчас мне не верится, что так все и будет. Пока ты на взводе, ты в это не веришь.— И тут его глаза, влажные, блестящие при свете свечи, посмотрели мне в душу.— Итен,— сказал он.— Ты предлагаешь заплатить за меня в лечебнице. У тебя же нет таких денег, Итен.

— Достану. Мэри получила наследство после брата.

— И эти деньги ты дашь мне?

— Да.

— Даже если я говорю тебе: не верь пьяницам? Даже если я заранее предупрежу тебя, что деньги я соглашусь взять, но сердце тебе разобью?

— Ты и так разбиваешь мне сердце, Дэнни. Ты мне снился. Мы с тобой были как раньше — там, в вашей усадьбе. Помнишь?

Он поднял бутылку и сразу опустил ее со словами:

— Нет, нет, потом — не сейчас. Итен, не верь, не верь пьянице. Когда он... когда я страшен, когда я как труп, мой хитрый умишко втихомолку продолжает свою работу и работает против тебя. Вот сейчас, сию минуту, я тот самый, кто был твоим другом. Я тебе наврал, что скис. Скис-то я скис, но про бутылку все помню.

— Стой, я тебя перебую,— сказал я.— А не то тебе покажется... ты меня заподозришь. Кто принес тебе эту бутылку? Бейкер?

— Да.

— И хотел, чтобы ты подписал что-то.

— Да, но тут я скис.— Он хмыкнул и снова поднес бутылку ко рту, и при свете свечи я увидел в горлышке у нее совсем крохотный пузырек. Он глотнул одну каплю.

— Вот и об этом я хотел поговорить с тобой, Дэнни. Что ему понадобилось — ваш луг?

— Да.

— Почему ты до сих пор его не продал?

— По-моему, я говорил тебе. С ним я все еще джентльмен, хотя джентльменским мое поведение теперь не назовешь.

— Не продавай его, Дэнни. Не поступайся им.

— А тебе-то что? Почему не продавать?

— Из чувства гордости.

— Нет во мне прежней гордости, только чванство осталось прежнее.

— Нет, есть. Когда ты попросил у меня денег, тебе было стыдно. Разве это не гордость?

— Да нет. Я просто ловчил. Тебе же говорят, пьяницы — они хитрые. Ты сам был смущен, и ты сам решил, что я стыжусь просить. А я не стыдился. Просто захотелось выпить.

— Не продавай его, Дэнни. Это ценнейший участок. Бейкер все знает. Иначе он не стал бы торговать его.

— А что в нем ценного?

— Это единственная ровная площадка вблизи города, где можно построить аэродром.

— Понятно.

— Если ты придержишься, Дэнни, вот тебе и начало новой жизни. Не поступайся им. Вылечишься, вернешься обратно, а в гнездышке у тебя яичко.

— Яичко без гнездышка. Может, лучше продать луг, деньги пропить, а когда... «подыметесь ветер и ветку пригнет, птенец желторотый в траву упадет», — сиплым голосом пропел он и засмеялся. — Тебе тоже понадобился наш луг, Итен? Ты за этим сюда пришел?

— Я хочу, чтобы ты выздоровел.

— Я и так здоров.

— Выслушай меня, Дэнни. Какой-нибудь голодранец волен поступать как ему угодно. Но ты не голодранец, у тебя есть нечто такое, чем весьма интересуется группа дальновидных граждан нашего города.

— Поместье Тейлоров. Нет, я им не поступлюсь. Я тоже дальновидный. — Он с нежностью посмотрел на бутылку.

— Дэнни! Говорят тебе, это единственное место для аэропорта! Оно для них своего рода ключевая позиция. Им без него зарез! Или строить там, или срывать холмы, а это обойдется чересчур дорого.

— Значит, они у меня в руках, и я их еще поманежу.

— Ты забываешь, Дэнни. Имущий человек — драгоценный сосуд. Я уже слышал разговоры, что гуманнее всего было бы поместить тебя в соответствующее заведение, где ты будешь под присмотром.

— Не посмеют.

— Посмеют! Да еще возведут это в добродетель. Ты же знаешь, как в таких случаях поступают. Судья — человек тебе известный — вынесет решение о твоей неправомерности. Назначит опекуна, и я догадываюсь, кого именно. Все это обойдется недешево, твой земельный участок, разумеется, будет продан для покрытия расходов, а теперь догадайся, кто его купит.

Глаза у Дэнни блеснули, и он слушал меня, раскрыв рот. Потом отвернулся.

— Ты хочешь взять меня на испуг, Итен, но время выбрал неподходящее. Приходи с утра, когда я лежу пластом и весь мир как зеленая блевотина. А сейчас тройную силу придал мне сей штоф в моей руке. — Он взмахнул бутылкой, точно мечом, и глаза у него превратились в щелочки, блестящие при свете свечи. — Я тебе разве не говорил, Ит? По-моему, говорил. У пьяниц совсем особенный ум — хитрый, злой.

— Но я же предупредил тебя, как все будет.

— Да, ты прав. Я с тобой согласен. Очень убедительно у тебя получилось. Но вместо того, чтобы напугать меня, ты разбудил во мне дьявола. Кто думает, что пьяница — существо беспомощное, тот болван. Пьяница — это существо особенное, и возможности у него тоже особенные. Я могу постоять за себя, и сейчас у меня просто руки чешутся схватиться с кем-нибудь.

— Молодец! Давно я хотел это услышать!

Он навел на меня бутылку и прицелился, будто на горлышке у нее была мушка.

— Дашь мне займы деньги Мэри?

— Да.

— Без гарантий?

— Да.

— Зная, что шансов получить их обратно — один против тысячи?

— Да.

— Пьяница способен на любую подлость, Ит. Не верю я тебе. — Он облизнул свои пересохшие губы. — И дашь деньги мне в руки?

— Когда прикажешь.

— Я же тебе говорил — нельзя давать.

— А я дам.

На этот раз он запрокинул голову, и со дна бутылки поднялся большой пузырек. Когда он отнял ее ото рта, глаза у него блеснули еще ярче, но они были холодные и бесстрастные, как у змеи. — На этой неделе принесешь?

— Да.

— В среду?

— Да.

— А сейчас у тебя не найдется двух долларов?

Как раз столько при мне и было — долларовая бумажка и монеты в пятьдесят, двадцать пять центов, две по десять, пятицентовик и три пенни. Я ссыпал все это в его протянутую руку.

Он допил виски и швырнул бутылку на пол.

— Ты у меня в умных никогда не числился, Ит. Тебе известно, что даже первоначальный курс лечения обойдется около тысячи долларов?

— Ну и пусть.

— Игра интересная! Но это не шахматы, Ит, а покер. Я когда-то был хорошим покеристом... пожалуй, слишком хорошим. Ты делаешь ставку на то, что мой луг пойдет в обеспечение займа. И вторая твоя ставка, что такое количество виски — на тысячу-то долларов — убьет меня, а тебе свалится в руки аэропорт.

— Как тебе не стыдно, Дэнни!

— А мне ничего не стыдно. Я ведь тебя предупреждал.

— Неужели ты не веришь, что я действительно хочу тебе добра?

— Нет. Но я... я не могу сделать так, чтобы все вышло, как ты хочешь. Ты помнишь меня мальчишкой, Ит. А я тебя разве не помню? В тебе судья еще в детские годы сидел. Ну ладно. Я уже весь высох. Бутылка пустая. Ухожу. Так, значит, тысяча долларов.

— Хорошо.

— В среду, наличными.

— Принесу.

— Никаких обязательств, никаких расписок — ничего. И не воображай, Ит, что я такой, как прежде. Вот эта моя подружка ведь камня на камне во мне не оставила. Ничего теперь нет — ни чести, ни совести. Посмеюсь я над тобой от всей души, и на большее не рассчитывай.

— Я об одном тебя прошу — начни, попробуй.

— Пообещать я могу, Ит. Но, надо думать, ты уже понял, чего стоят обещания пьяницы. Приноси деньги, приноси. Можешь остаться здесь, сколько пожелаешь. Мой дом — твой дом. А я уйду. Итак, до среды, Ит.— Он встал с койки, сбросил одеяло на пол к стене и, пошатываясь, вышел из своей конуры. Молния у него на брюках была спущена.

Я посидел несколько минут один, глядя, как растет стеариновый наплыв на блюде. Он говорил правду — все было верно, кроме одной вещи, на которую я и делал ставку. Не настолько же он изменился! Где-то среди этих обломков был Дэнни. Я не допускал мысли, чтобы он отрубил от себя этого Дэнни Тейлора. Я любил Дэнни и был готов... на то, о чем он говорил. Был готов. Издали до меня донесся его резкий, пронзительный фальцет:

Лети же, корабль, быстрокрылою птицей
На всех парусах вперед!
Наш принц на борту — он душой веселится,
К родным берегам плывет.

Побыв так в полном одиночестве, я задул свечу и пошел домой. Вилли сидел в своей полицейской машине на Главной улице и еще не спал.

— Что-то вы повадились гулять, Ит,— сказал он.

— Да знаете, как бывает.

— Еще бы! Весна! И в сердце молодом волнение.

Мэри спала с улыбкой на губах, но, когда я тихонько лег рядом с ней, она шевельнулась, просыпаясь. Тоска где-то внутри по-прежнему терзала меня — холодная, сосущая тоска. Мэри повернулась на бок, прижала меня всего к своему пахнущему травой телу, и она стала нужна мне. Я знал, что мало-помалу тоска утихнет сама собой, но сейчас Мэри была нужна мне. Не знаю, проснулась ли она окончательно, может, и нет, но ей, даже сонной, было понятно, что мне нужно.

А потом сон у нее прошел, и она сказала:

— Ты, наверно, проголодался.

— Да, Елена Прекрасная.

— Чего тебе дать?

— Сандвич с луком — нет, два! Ржаной хлеб и с луком.

— Тогда мне тоже надо, не то задохнусь.

— Будто тебе самой не хочется!

— Конечно, хочется.

Она сошла вниз и вскоре вернулась с сандвичами, картонкой молока и двумя стаканами.

Лук был свирепый.

— Мэри, краса,— начал я.

— Прожуй сначала.

— Ты правду тогда говорила, что не хочешь знать о моих делах?

— Д-да...

— Так вот. Я решил предпринять кое-что. Мне нужно тысячу долларов.

— Это по совету мистера Бейкера?

— До некоторой степени. Но там есть и моя идея.

— Ну что ж, выпиши чек.

— Нет, родная. Я хочу, чтобы ты взяла сама, причем наличными. И можешь обронить словечко в банке, что собираешься купить новую мебель, или ковры, или там не знаю что.

— Но я и не думала ничего покупать.

— Все равно.

— Секрет?

— Ты же сама так хотела.

— Да... правда. Так будет лучше. Да. Ой, какой лук едучий! А мистер Бейкер одобряет это?

— Он бы сам так действовал, если бы мог.

— Когда понадобятся деньги?

— Завтра.

— Не буду я есть этот лук. От меня и так, паверно, разит.

— Ты моя дорогая.

— Просто не дает мне покоя твой Марулло.

— Это почему же?

— Явился к нам в дом. Принес конфет.

— Неисповедимы пути господни.

— Перестань богохульствовать. Пасха еще не кончилась.

— Кончилась. Уже четверть второго.

— Ой-ой-ой! Спать, спать!

— Успнуть... а если сновиденья посетят?.. Это Шекспир.

— Тебе только бы шутить.

Но я не шутил. Тоска не проходила и все терзала меня, хоть я и не думал о ее причинах и иногда даже спрашивал себя: почему я так терзаюсь? Человек привыкает ко всему, но на это нужно время. Когда-то давным-давно я работал на пороховом заводе, развозил нитроглицерин по цехам. Платили там очень хорошо, потому что нитроглицерин — коварная штука. Сначала я боялся шаг сту-

пить, а через неделю, через две привык — работа как работа. Да чего уж больше, к должности продавца бакалейной лавки я и то притерпелся! Привычное всегда тебя тянет, а новизна, наоборот, отпугивает.

В темноте, вглядываясь в красные пятна, плывущие у меня перед глазами, я проверил в самом себе то, что было принято называть совестью, и не обнаружил в ней больного места. Потом меня заинтересовало, смог ли бы я уклониться от намеченного курса или повернуть на девяносто градусов по компасу, и выяснилось, что при желании смог бы, но желания такого не было.

Я существовал в каком-то новом измерении, в том-то и была вся прелесть. Точно у тебя вдруг заработали бездействовавшие до сих пор мускулы или ты паришь над землей, как в своих детских снах. Я часто переигрываю заново разные случаи, сцены, разговоры и каждый раз подмечаю все новые и новые подробности, ускользнувшие от меня на первом представлении.

Мэри находит странным приход Марулло к нам в дом с кулечком карамелек, а на ее чутье можно положиться. Я расценил этот визит как подношение мне — в уплату за мою неподкупность. Но вопрос Мэри заставил меня вдуматься в то, что раньше я оставил без внимания. Марулло выдал мне награду не за прошлое, он одаривал меня наперед. Я интересую Марулло постольку, поскольку могу быть полезен ему. Я перебрал в памяти его деловые наставления и наш разговор о Сицилии. Где-то, в какой-то момент он потерял веру в себя. Что-то ему от меня понадобилось, чего-то он от меня ждет. Есть способ проверить это. Попросить что-нибудь такое, в чем раньше было бы отказано, и если на сей раз отказа не будет, значит, он чем-то сильно встревожен и лишился покоя. Отставим Марулло в сторону и займемся Марджи. Марджи — по этому модному когда-то имени можно судить о ее возрасте. «Марджи! Царица снов моих! Марджи! Тебе весь мир...»

Я переиграл сцены с Марджи на фоне красных пятен, плывущих по потолку, стараясь вспомнить все как было, ничего не присочиняя. Долгое время, может года два, была такая миссис Янг-Хант, приятельница моей жены, к болтовне которой я не особенно прислушивался. Потом вдруг возникла Марджи Янг-Хант, а потом просто Марджи. Она, вероятно, заходила ко мне в лавку и до Страстной пятницы, но я этого не помню. А в тот день она будто доложила о себе. До тех пор мы с ней, по всей ве-

роятности, не замечали друг друга. Но с той самой пятницы она словно все время здесь — подталкивает, тербит. Что ей нужно? Неужели это всего лишь интрига женщины, не знающей, чем себя занять? Или она действует по какому-то плану? Впечатление такое, что она именно доложила мне о своей персоне, заставила опознать, приметить себя. Второе гаданье она, вероятно, задумала без всякой задней мысли и рассчитывала обойтись набором профессионально гладких фраз. А потом что-то произошло, и все перевернулось. Мэри ничего такого ей не говорила, что могло бы настолько взвинтить ее, я тоже. Неужели про змею не выдуманно? Если нет, тогда это самое простое и, пожалуй, самое правдоподобное объяснение. Может быть, она действительно наделена тонкой интуицией и способна проникать в чужие мысли? Тот факт, что она застигла меня в процессе моей метаморфозы, как будто и подтверждает это, но, может, тут было простое совпадение? Но что вдруг ни с того ни с сего погнало ее в Монток, почему она стакинулась с коммивояжером, выболтала все Марулло? Как-то не верится, что эта женщина способна нечаянно о чем-то проболтаться. В одном из книжных шкафов у нас на чердаке есть биография... как его, Беринга? Нет, Баранова, Александра Баранова, русского губернатора Аляски в начале 1800-х годов. Может быть, там говорится где-нибудь, что на Аляску ссылали за колдовство. Слишком уж невероятная история, такой не придумаешь. Надо полистать книжку. А не пробраться ли мне на чердак сейчас, подумал я, только бы не разбудить Мэри.

И тут я услышал, как скрипнули ступеньки нашей старой дубовой лестницы — одна, другая, третья... значит, это не осадка дома от перемены температуры. Наверно, Эллен опять ходит во сне.

Я, конечно, люблю свою дочь, но она у нас чересчур уж смышленная, будто такой на свет родилась, смышленная и завистливая, но привязчивая. Всегда в ней зависть к брату, а бывает так, что и ко мне. Я считаю, что сексуальные вопросы стали занимать ее слишком рано. Отцы, вероятно, всегда это чувствуют. Еще совсем малышкой она так интересовалась мужскими половыми органами, что нам становилось неловко. Потом она всем существом углубилась в тайну созревания. Ангельской девичьей кротости, о которой толкуют на страницах журналов, в ней не было и в помине. Дома у нас все кипело от ее нервозности, стены были пропитаны непокоем. Мне приходилось читать,

что в средние века верили, будто в созревающих девушках вселяется нечистая сила, и я не берусь отрицать это. Одно время мы в шутку говорили, что у нас завелся домовый. Картины вдруг начинали срываться со стен, посуда разбивалась вдребезги. На чердаке слышался глухой стук, в подвале что-то громыхало. В чем было дело — неизвестно, но эти странности настолько меня интересовали, что я все время слеживал за Эллен, за ее таинственными появлениями и исчезновениями. Она была как ночной зверек, как кошка. Я убедился, что все эти шумы, стуки, грохот не имеют к ней никакого отношения, но все же в ее отсутствие ничего такого не случалось. Она могла сидеть неподвижно, вперив взгляд в пространство, когда домовый давал о себе знать, но без нее дело не обходилось.

В детстве я слышал, что давным-давно в старом доме Хоули жило привидение — дух одного из наших пуританско-пиратских предков, но, судя по отзывам, это было вполне порядочное привидение, ходило-бродило по всему дому и издавало стоны, как ему и полагалось. Ступеньки поскрипывали под его невидимой тяжестью, оно стучало в стены, предвещая чью-нибудь неминуемую смерть, — и все это с большим достоинством, по законам хорошего тона. У домового нрав был совсем другой — вредный, злобный, коварный и мстительный. Дешевые вещи ему под руку не попадались — только те, что подороже. Потом он вдруг исчез. Я, собственно, не очень-то в него верил. Он был предметом наших семейных шуток, но шутки шутками, а домовый домовым, и вот вам, пожалуйста, — картины с разбитым стеклом и черепки фарфоровой посуды.

Когда он перестал нас тревожить, Эллен начала ходить во сне — вот как сейчас. Я слышал ее медленные, но уверенные шаги вниз по лестнице. И в ту же минуту моя Мэри глубоко вздохнула и пробормотала что-то, и внезапно поднявшийся ветерок качнул тени листьев и веток на потолке.

Я тихонько встал с кровати и так же тихонько надел халат, ибо мне, как и всем, известно, что лунатиков пугать нельзя.

Из моих слов можно вывести, будто я плохо отношусь к своей дочери, а это неверно. Я люблю ее, но в то же время побаиваюсь, потому что многое в ней мне непонятно.

Если по нашей лестнице идти с краю, у самой стены, то ступеньки не скрипят. Я открыл это еще юнцом, когда возвращался домой после ночных гуляний, точно блудливый кот. И до сих пор пользуюсь своим открытием, если



«ЗИМА ТРЕВОГИ НАШЕЙ»



«ЗИМА ТРЕВОГИ НАШЕЙ»

не хочу будить Мэри. Я вспомнил о нем и сейчас — бесшумно спустился по лестнице, ведя пальцами по стене, чтобы не оступиться. С той стороны, где улица, в окно проникал тусклый узорчатый свет фонаря, сливающийся с полутьмой в глубине комнаты. Но Эллен я видел. От нее словно исходило сияние — может, потому, что на ней была белая ночная рубашка. Лицо ее оставалось в тени, но плечи и руки излучали свет. Она стояла перед застекленной горкой, где у нас хранятся семейные реликвии, сами по себе пустяковые: резные, нарваловой кости киты и вельботы с веслами и гарпунами, со всей командой и с гарпуником на носу; изогнутые моржовые клыки и бивни; маленькая модель «Прекрасной Адэр», корпус поблескивает лаком, а свернутые паруса и снасти потемнели от времени, запылились. Есть там китайские вещицы, которые привозили с Востока старые шкиперы, опустошавшие китайские воды на своих китобойных судах: фигурки и безделушки черного дерева, слоновой кости — смеющиеся и серьезные божки, безмятежные и давно не мытые будды, цветы, вырезанные из розового кварца, мыльного камня и даже из нефрита — да, да, из настоящего нефрита, — и прелестные, совершенно прозрачные фарфоровые чашечки. Среди этих вещей, вероятно, есть и ценные — например, маленькие лошадки, хоть и грубо отесанные, а удивительно живые, — но это чистая случайность, не иначе. Мореходы, охотники за китами — где им было отличать хорошее от плохого? А может, я не прав? Может, все-таки отличали?

Эта горка всегда была для меня святыней, точно маски предков у римлян, точно лары и пенаты, а если заглянуть еще дальше — точно камни, упавшие с луны. У нас есть даже корень мандрагоры — ни дать ни взять человек, плод семени удушенника, есть и самая настоящая русалка, сшитая из двух половинок — туловище обезьяны, а хвост рыбий. С годами она довольно сильно облезла, вся сморщилась и на ней стали видны швы, но ее мелкие зубки по-прежнему поблескивают в оскале свирепой ухмылки.

Вероятно, в каждой семье есть свой талисман, символ преемственности, который вдохновляет, и утешает, и подбадривает поколение за поколением. Наш талисман это — как бы сказать? — такой опалового цвета холмик то ли из кварца, то ли из яшмы или даже мыльного камня, четырех дюймов в диаметре, полутора — в высоту. И по нему идет бесконечно переплетающаяся извилина, и она

будто непрерывно струится, бежит куда-то. Извилина живет, но у нее нет ни головы, ни хвоста, ни конца, ни начала. На ощупь камень не скользкий, а чуть шероховатый, как человеческая кожа, и всегда теплый. В него можно глубоко заглянуть, но насквозь он не просвечивает. Какой-нибудь старый моряк одной крови со мной привез этот камень из Китая. Он волшебный — его так приятно рассматривать, трогать, поглаживать пальцами, водить им по щеке. Этот странный талисман живет у нас за стеклом горки. В детстве, в юности и даже когда я стал взрослым мужчиной, мне разрешалось трогать его, брать в руки, но только не выносить из дому. И его цвет, его прожилки и фактура менялись вместе с переменами во мне самом. Однажды я представил себе, что это женская грудь, и она томила меня, жгла меня, мальчика. Потом он превратился в человеческий мозг и стал загадкой: что-то движется, плывет, но без истока, без устья — словно вопрос, замкнутый в самом себе, не требующий ответа, который исчерпал бы его, не знающий ни конца, ни начала обозримых границ.

В горку был вделан старинный медный замок, и в замке всегда торчал медный ключ.

Моя спящая дочка обеими руками держала волшебный камень, водила по нему пальцами, ласкала, как живое существо. Потом она прижала его к своей несформировавшейся груди, поднесла к щеке, пониже уха, пощенила, ткнулась в него носом и чуть слышно замурлыкала что-то похожее не столько на песенку, сколько на стоны удовольствия и сладость томления. В ней чувствовалась какая-то губительная сила. Я было испугался, — а вдруг она бросит его и разобьет или спрячет куда-нибудь, но тут же понял — в ее руках это мать, возлюбленный, ребенок.

Как же разбудить, не испугав? И вообще зачем будят лунатиков? Из страха, как бы они сами не причинили себе вреда? Но я не слыхал, чтобы в таком состоянии с ними что-нибудь случилось, а вот когда их будят, это дело другое. Так зачем же нарушать ее сон? Ведь это не кошмар, мучительный, страшный; скорее всего, она испытывает приятное чувство, и наяву таких ощущений у нее не будет. Кто дал мне право портить все это? Я тихонько отошел и сел в свое глубокое кресло — ждать, что будет дальше.

Полутьма комнаты искрилась блесками ослепительного света, и они порхали и кружились, точно комариный рой. На самом деле ничего такого, вероятно, не было, просто

у меня рябило в глазах от усталости, но отделаться от этого впечатления мне не удалось. А моя дочь Эллен действительно излучала сияние, и оно шло не только от белизны ее ночной рубашки, но и от самой кожи. В темной комнате нельзя было видеть ее лицо, а я его видел. И мне казалось, что оно у нее не как у маленькой девочки и не старообразное, а зрелое, с четкими, определившимися чертами. Даже губы ее, против обыкновения, были твердо сжаты.

Но вот Эллен твердой рукой положила талисман на прежнее место, затворила стеклянную дверцу и щелкнула медным ключом в замке. Потом она повернулась и, пройдя мимо моего кресла, стала подниматься по лестнице. Две вещи могли мне почудиться: первое — что поступь у нее была не как у девочки, а как у женщины, познавшей удовлетворение, и второе — что с каждым шагом сияние убывало в ней. Допустим, что это все домыслы, плод моей фантазии, но за третье я ручаюсь: под ее ногами ступеньки не скрипели. Она, вероятно, шла у самой стены, там, где старая лестница молчит, не жалуется.

Выждав несколько минут, я пошел следом за ней и увидел, что она лежит в постели и спит, уютно укрывшись одеялом. Она дышала ртом, и лицо ее было лицо сияющего ребенка.

Что-то выпудило меня снова сойти вниз и открыть горку. Я взял волшебный камень в руки. Он еще хранил тепло тела моей дочери. Как в детстве, я стал водить кончиками пальцев по бесконечно струящейся извилине и успокоился. Я почувствовал, что Эллен близка мне.

И вот не знаю, талисман ли связал ее со мной, с родом Хоули, или что другое.

ГЛАВА IX

В понедельник весна предательски вильнула назад, к зиме, разразившись холодным дождем и сырым, резким ветром, который сек молодую листву чересчур легковерных деревьев. Нахальных распутников воробьев, предававшихся блуду на газонах, ветер разгонял куда попало, и они сердитым чириканьем выражали неудовольствие по поводу капризов природы.

Я приветствовал мистера Рыжего Бейкера, который совершал свою утреннюю прогулку, как флажком помахи-

вая хвостом на ветру. Старый мой знакомец, он жмурился от дождя. Я сказал:

— Мы можем казаться добрыми друзьями, но считаю своим долгом заметить вам, что отныне за нашими улыбками скрывается борьба, непримиримое столкновение интересов.— Я сказал бы еще больше, но он спешил кончить свои дела и убраться под надежный кров.

Морфи появился минута в минуту. Может быть, он поджидал меня, наверно даже так.

— Ну и погодка,— сказал он; его дождевик из прорезиненного шелка то вздувался пузырем, то облеплял ему колени.— Вы, говорят, были вчера у моего хозяина с визитом?

— Мне понадобился его совет. Но меня и чаем угостили.

— Не сомневаюсь.

— Знаете, как бывает с советами. Они вас устраивают лишь в том случае, если совпадают с вашими собственными намерениями.

— Ищите, куда бы поместить капитал?

— Моей Мэри захотелось новую мебель. А когда женщине чего-нибудь хочется, она первым делом изображает свою затею как выгодное помещение капитала.

— Это не только женская черта,— сказал Морфи.— Я и сам такой. Деньги-то ее. Вот она и хочет поискать что-нибудь подходящее.

На углу Главной улицы, у входа в игрушечный магазин Раппа ветер сорвал жестяной рекламный щиток и гнал его по мостовой с таким грохотом и звоном, как будто произошла автомобильная катастрофа.

— Скажите, верно я слыхал, будто ваш хозяин собирается в Италию?

— Не знаю. Странно, что он до сих пор ни разу туда не съездил. Итальянцы такие горячие родственники.

— Зайдем, выпьем кофе?

— Мне еще нужно прибрать в лавке. После праздника с утра всегда много народу.

— Ладно уж, ладно. Не будьте мелочным. Личный друг мистера Бейкера может позволить себе не торопясь выпить чашку кофе.

Он это сказал не так ехидно, как оно выглядит на бумаге. Он умел говорить любые слова самым невинным и дружеским тоном.

За все эти годы я ни разу не пил утром кофе в «Фок-мачте» — вероятно, я один из всего города. Пить

кофе в «Фок-мачте» — обычай, традиция, это все равно что клуб. Мы взгромоздились на табуреты у стойки, и мисс Линч — я вместе с ней ходил когда-то в школу — пододвинула нам чашки с кофе, ничего не расплескав. Рядом с каждой чашкой стоял крохотный сливочник, а два куска сахара в бумажных обертках она бросила вдогонку, словно игральные кости.

Мисс Линч, мисс Линч. «Мисс» уже стало частицей ее имени, частицей ее самой. Пожалуй, ей уже так и не удастся отделаться от этой частицы. Ее красный носик с каждым годом все красней, но это не алкоголизм, а хронический насморк.

— Доброе утро, Итен,— сказала она.— Что, сегодня какое-нибудь торжество?

— Это он меня затащил,— сказал я и, желая быть добрым, прибавил: — Анни.

Она дернула головой, как от револьверного выстрела, но потом, поняв, в чем дело, улыбнулась и, поверите ли, стала совершенно такой же, как в пятом классе,— и красный носик и все прочее.

— Приятно повидать тебя, Итен,— сказала она и высморкалась в бумажную салфетку.

— А я удивился, когда узнал,— сказал Морфи. Он снимал с сахара обертку. Его ногти блестели лаком.— Вот так, втемяшится тебе что-нибудь в голову, а там выкинешь к этой мысли, и кажется, иначе и быть не может. Потом трудно поверить, что ты неправ.

— Не понимаю, о чем это вы.

— Я, пожалуй, и сам не понимаю. Черт бы побрал эти обертки. Почему не насыпать просто в сахарницу?

— Из экономии, должно быть, чтобы не брали слишком много.

— Разве что так. Я знал одного типа, он некоторое время только сахаром и питался. Пойдет в «Автомат», возьмет за десять центов чашку кофе, половину выпьет, а потом доверху добавляет сахаром. Все-таки хоть с голоду не умрешь.

И я, как всегда, подумал: не был ли этим типом сам Морфи — странный колючий человек без возраста, с на-маникюренными ногтями. Он был как будто интеллигентным, об этом говорила его логика, ход его мыслей. Но язык у него был грубый, простецкий, с налетом вульгарности — язык человека из низов.

— Не потому ли вы пьете кофе с одним куском сахара? — спросил я.

Он ухмыльнулся.

— У каждого есть своя теория,— сказал он.— Самый распоследний голодранец разведет вам теорию, почему он попал в голодранцы. Едешь по дороге и вдруг упрешься в тупик, потому что считался с теорией, а не с дорожными знаками. Из-за этого самого и я, верно, дал маху насчет вашего хозяина.

Давно уж мне не случалось пить кофе не дома. Кофе был неважный. У него даже и вкуса кофе не было, разве что горячий и черный — в последнем я убедился, пролив немножко на свою сорочку.

— Честное слово, не понимаю, о чем вы.

— Хочу сообразить, с чего это мне вообще втемяшилось в голову. Верно, вот с чего: ведь он говорит, что приехал сорок лет назад. Тридцать пять или тридцать семь — это может быть, но не сорок, нет.

— Я, должно быть, очень туп.

— Если сорок, это выходит тысяча девятьсот двадцатый год. Все еще не дошло? Знаете, когда работаешь в банке, нужно уметь сразу раскусить человека, он протянул чек, а ты уже знаешь, что это за птица. Вот и вырабатывается сноровка. Не приходится даже думать. Все само встает на место, но бывает, что и ошибаешься. Может, он и в самом деле приехал в двадцатом. Может, я ошибся.

Я допил кофе.

— Пора, а то не успею прибраться в лавке,— сказал я.

— Вы меня перехитрили,— сказал Морфи.— Стали бы допытываться — ничего бы я вам не сказал. Но вы молчите, придется, значит, сказать. В двадцать первом году прошел первый чрезвычайный закон об иммиграции.

— Ну и что?

— В двадцатом он мог сюда приехать. В двадцать первом — едва ли.

— Ну и что?

— Значит — так подсказывает мне смекалка,— он приехал сюда после двадцать первого, но с черного хода. И, значит, он не ездит на родину потому, что не может получить документа на обратный въезд.

— Слава богу, что я не работаю в банке.

— А от вас бы там было больше проку, чем от меня. Я слишком много болтаю. Словом, если он едет, значит, я ошибся. Погодите, выйдем вместе. За кофе я плачу.

— Привет, Анни,— сказал я.

— Заходи, Ит. Ты никогда не заходишь.

— Зайду.

Когда мы пересекали улицу, Морфи сказал:

— Вы не рассказывайте его макаронному святейшеству, что я прохаживался насчет его отношений с иммиграционными властями, ладно?

— Зачем я стану ему рассказывать?

— А зачем я вам рассказал? Что за драгоценности в этом футляре?

— Шляпа рыцаря-храмовника. Перо пожелтело. Хочу узнать, не возьмут ли его в отбелку.

— Вы масон?

— Семейная традиция. Хоули были масонами еще до того, как Джордж Вашингтон стал Великим магистром.

— Вот не знал этого про Вашингтона. А мистер Бейкер тоже масон?

— У Бейкеров это тоже традиция.

Мы уже вошли в переулок. Морфи полез в карман за ключом от боковой двери банка.

— Может, потому мы и отпираем сейф с такими церемониями, будто это заседание масонской ложи. Только что свечей нет. А так — форменное священнодействие.

— Морфи, — сказал я, — вы что-то сегодня ко всему придираетесь. Пасха не внесла мира в вашу душу.

— Увидим через неделю, — сказал он. — Нет, правда. Когда стрелка подходит к девяти, мы уже все стоим, обнажив голову, перед святой святынь. А ровно в девять отец Бейкер преклонит колена, отперет сейф, и мы все бьем земные поклоны Великому Богу Чистогана.

— Вы псих, Морфи.

— Может, я и псих. А, черт бы побрал этот замок! Его можно открыть чем угодно, только не ключом. — Он долго боролся ключом в замке и пинал дверь ногами, пока она наконец не отворилась. Потом вытащил из кармана листок туалетной бумаги и затолкал его в замок.

Я едва удержался, чтобы не спросить: а это не рискованно?

Он ответил без моего вопроса:

— А то эта пакость захлопнется, когда не нужно. Понятно, после того, как открою сейф, Бейкер сам проверяет все замки. Смотрите же, не проболтайтесь Марулло о моих подозрениях. С такими клиентами шутить не приходится.

— Ладно, Морфи, — сказал я и пошел через дорогу к своей двери и оглянулся, ища кота, который всегда норовил прощмыгнуть в лавку, но кота не было.

Внутри лавки все как будто изменилось, все было новым для меня. Я видел то, чего никогда не замечал рань-

ше, и не видел того, что меня всегда огорчало и раздражало. Ничего удивительного. Взглянешь на мир другими глазами или даже сквозь другие очки — и сразу перед тобой другой, новый мир.

В уборной из-за неисправного вентиля все время подтекала вода. Марулло не спешил сменить вентиль: расход воды не контролировался, и ему было наплевать. Я прошел в передний угол лавки, где стояли старомодные весы с чашками, и взял оттуда двухфунтовую гирю. Эту гирю я подвесил к цепочке в уборной, поверх деревянной ручки. Вода полилась и стала литься не переставая. Я снова вышел в помещение лавки и прислушался: было слышно, как вода бурлит и клокочет в унитазе. Этот звук не спутаешь ни с чем другим. Я отвязал гирю, положил на место и вернулся за прилавок. Моя паства на полках замерла в ожидании. Бедняги, им некуда было податься. Мне бросилась в глаза маска Микки-Мауса, скалившая зубы с коробки в приделе, отведенном провизии для завтраков. Это мне напомнило про обещание, данное Аллену. Я нашел рогающую палку, которой достают товар с верхних полок, подцепил одну коробку, снес ее в кладовую и поставил там, где висел мой плащ. Вернувшись, я посмотрел на полку: оттуда точно так же скалил на меня зубы следующий Микки-Маус.

Я пошарил за батареей консервных банок и вытащил серый холщовый мешочек с мелочью, потом, вспомнив что-то, стал шарить дальше, пока не нащупал старый замасленный револьвер, валявшийся там с незапамятных времен. Это был «айвер-джонсон» 38-го калибра, когда-то посеребренный, но серебро почти все стерлось. Я открыл барабан и увидел позеленевшие от времени патроны. Барабан, перемазанный загустевшим маслом, вращался туго. Я сунул предательскую и, вероятно, опасную игрушку в ящик под кассой, достал чистый фартук и подвязал его, обведя тесемками вокруг пояса и аккуратно заправив их под отогнутый край.

Кому не случалось задумываться над решениями, поступками и замыслами сильных мира сего? Рождены ли они разумными побуждениями и добрыми намерениями или же в них повинны порой случай, мечта, разыгравшаяся фантазия, сказки, которые мы все любим рассказывать себе? Я хорошо знаю, сколько времени длится игра, которую я веду в своем воображении, — она началась с того дня, когда Морфи перечислял мне условия успешного ограбления банка. Я долго обдумывал его слова с ребяче-

ским удовольствием, в каком взрослые обычно не сознаются. Так началась игра, которая шла параллельно действительной жизни лавки, и все, что происходило на самом деле, словно бы естественно укладывалось в эту игру. Неисправный вентиль в уборной, маска Микки-Мауса, которую просил Аллен, рассказ об отпирании сейфа. Возникали новые подробности и тоже легко находили себе место — например, туалетная бумага, засунутая в дверной замок. Игра постепенно расширялась, усложнялась, но до этого дня в ней участвовало только воображение. Гиря, привязанная к цепочке в уборной, была первой реальностью этого мысленного дивертисмента. Второй реальностью был старый револьвер. А теперь я занялся расчетом времени. Игра обретала точность.

Я до сих пор ношу при себе отцовский серебряный хронометр с толстыми стрелками и большими черными цифрами — вещь редкостная если не по красоте, то по верности хода. Утром, прежде чем взяться за метлу, я сунул его в кармашек сорочки. И измерил время так, что без пяти девять уже успел распахнуть двери и чиркал метлой по тротуару. Удивительно, сколько пыли скапливается за субботу и воскресенье, а от дождя пыль намокла и превратилась в грязь.

До чего же точный механизм — наш банк, под стать отцовскому хронометру! Ровно без пяти девять со стороны Вязовой улицы показался мистер Бейкер. Гарри Роббит и Эдит Олден, вероятно, подстерегали его приход. Они сразу вынырнули из «Фок-мачты» и догнали его на полдороге.

— Доброе утро, мистер Бейкер, — окликнул я. — Доброе утро, Эдит. Доброе утро, Гарри.

— Доброе утро, Итен. Вам сегодня без шланга не управиться. — Они вошли в банк.

Я поставил метлу у входа, взял гирию с весов, подошел к кассе, выдвинул ящик и начал быструю, но методичную пантомиму. Прошел в уборную и подвесил гирию к цепочке. Подобрал фартук, заткнул полы за пояс, надел свой плащ, подошел к боковой двери и осторожно приотворил ее. Когда минутная стрелка хронометра коснулась двенадцати, на башне ратуши начали бить часы. Я отсчитал в уме восемь шагов через дорогу, потом еще двадцать. Я сделал движение рукой — не шевеля губами, — выждал десять секунд, сделал еще движение рукой. Все это я видел мысленно — руки мои делали определенные движения, а я считал двадцать шагов, быстрых, но размеренных, потом еще во-

семь шагов. Я затворил дверь, снял плащ, опустил фартук, прошел в уборную, снял гирю с цепочки, прекратив этим спуск воды, подошел к кассе, выдвинул ящик, открыл шляпную коробку, потом опять закрыл и застегнул на ней ремень, вернулся к входной двери, взял метлу и посмотрел на часы. Было девять часов две минуты и двадцать секунд; неплохо, но можно напрактиковаться так, чтобы все занимало меньше двух минут.

Я еще не кончил подметать тротуар, когда из «Фокмачты» вышел Стони, начальник полиции, и, перейдя улицу, направился ко мне.

— Доброе утро, Ит. Отпустите-ка мне поскорей полфунта масла, фунт бекону, бутылку молока и десяток яиц. У моей супружницы подобрались все припасы.

— Сию минуту, начальник. Как вообще жизнь? — Я раскрыл бумажный пакет и стал складывать туда нужные продукты.

— Спасибо, ничего,— сказал он.— Я заходил минут пять назад, да услышал, что вы в уборной.

— Наешься крутых яиц, вот и сидишь без конца.

— Что верно, то верно,— сказал Стони.— Это уж такое дело.

Сработало, значит.

Уже собравшись уходить, он спросил:

— Что с вашим дружком, Дэнни Тейлором?

— Ничего не знаю. Опять он за свое?

— Да нет, вроде бы он в порядке, почистился даже. Я сижу в машине, а он подходит и просит засвидетельствовать его подпись.

— Для чего?

— Не имею понятия. На двух бумагах, но он держал их сложенными, так что я ничего не мог разглядеть.

— На двух бумагах?

— Точно. Он дважды расписался, и я дважды засвидетельствовал его подпись.

— Он не был пьян?

— По-моему, нет. Подстриженный, при галстуке.

— Хорошо, если так, начальник.

— Да, конечно. Бедняга. Все ведь они надеются на что-то. Ну, мне пора.— И он с места припустил галопом. У Стони жена на двадцать лет его моложе. Я снова взялся за метлу и стал сбрасывать комки грязи в водосточную канаву.

На душе у меня было погано. Может быть, всегда трудно в первый раз.

Я был прав насчет послепраздничного утра. Казалось, все в городе остались без провизии. А нам овощи и фрукты подвозят только после полудня, так что в лавке пожить было почти нечем. Но и с наличным товаром я только успевал поворачиваться.

Марулло явился около десяти и — удивительное дело! — стал мне помогать, взвешивать, завертывать, выбивать чеки в кассе. Давно уже он не прикладывал рук к торговле. С ним чаще всего бывало так: зайдет, посмотрит и скроется — точно лендлорд, мимоходом заглянувший в свое поместье. Но на этот раз он исправно трудился, помогая мне вскрывать коробки и ящики с вновь полученным товаром. Мне казалось, он чем-то встревожен и внимательно следит за мной, когда я отвернусь. У нас не было времени на разговоры, но я чувствовал на себе его взгляд. Я решил, что его смущает история со взяткой, от которой я отказался. Может быть, Морфи и прав. Есть такие люди — услышав, что кто-то поступил честно, они ищут бесчестных мотивов, заставивших его так поступить. «А какая ему от этого выгода?» — излюбленное рассуждение тех, кто привык собственную жизнь разыгрывать, как партию в покер. Мне стало смешно от этой мысли, но я запрятал смешок поглубже, чтоб даже пузырька не поднялось на поверхность.

Около одиннадцати в лавку заглянула Мэри, прехорошенькая в новом платье из набивного ситца. Вид у нее был радостный и немножко взволнованный, как будто она только что совершила нечто приятное, но опасное, — так оно и было на самом деле. Она подала мне конверт из плотной желтоватой бумаги.

— Я думала, может, тебе это понадобится, — сказала она. И улыbnулась Марулло, по-птичьи склонив набок голову, как она всегда улыбается людям, которые ей не симпатичны. А Марулло с самого начала не внушал ей симпатии, и доверия тоже. Я это объяснял инстинктивной неприязнью, которую всякая жена питает к хозяину мужа и к его секретарше.

Я сказал:

— Спасибо, родная. Ты очень внимательна. Жаль, я не могу сразу же пригласить тебя покататься на яхте по Нилу.

— Я вижу, что тебе некогда, — сказала она.

— Наверно, и у тебя в хозяйстве все подобралось.

— Конечно. Вот список. Захвати, когда пойдешь домой, ладно? Сейчас тебе некогда возиться с этим.

— Только не корми меня больше крутыми яйцами.
— Не буду, милый. Целый год не буду.
— Пасхальная сдоба тоже дает себя знать.
— Марджи просит, чтобы мы сегодня пообедали с ней в «Фок-мачте». Она огорчается, что ей никогда не удастся угостить нас.

— Что ж, отлично,— сказал я.

— Она говорит, дома у нее слишком тесно.

— Разве?

— Я тебя отвлекаю от дела,— сказала она.

Глаза Марулло были прикованы к желтоватому конверту, который я держал в руке. Я сунул его под фартук и спрятал в карман брюк. Марулло сразу узнал банковский конверт. И я почувствовал, что он весь насторожился, точно терьер, учуявший крысу на городской свалке.

Мэри сказала:

— Я еще не поблагодарила вас за конфеты, мистер Марулло. Дети были в восторге.

— Я просто хотел поздравить с праздником,— сказал он.— А вы совсем по-весеннему.

— Да, и очень некстати. Видите, промокла. Я думала, дождя больше не будет, а он опять пошел.

— Возьми мой плащ, Мэри.

— Еще чего не хватало. Такой дождь ненадолго. А ты занимайся своими покупателями.

Народу в лавке все прибавлялось. Заглянул мистер Бейкер, но, увидев длинную очередь, не стал входить.

— Зайду попозже! — крикнул он мне.

А народ все шел и шел вплоть до полудня, когда, как это обычно бывает, торговля сразу замерла. Люди завтракали. Движение на улице почти прекратилось. Впервые за это утро настала минута, когда никому ничего не было нужно. Я допил молоко из картонки, которую открыл раньше. Все, что я брал в лавке, я записывал, и потом это вычиталось из моего жалованья. Марулло считал мне по оптовым центам. Так выходило гораздо дешевле. Иначе мы не могли бы прожить на мое жалованье.

Марулло прислонился к прилавку и скрестил руки на груди, но ему стало больно; тогда он заложил руки в карманы, но и это не спасло его от боли.

Я сказал:

— Спасибо, что помогли мне. Такого столпотворения никогда еще не бывало. Впрочем, это понятно — на одних остатках картофельного салата не проживешь.

— Ты хорошо работаешь, мальчуган.

— Я работаю, вот и все.

— Нет, не все. Ты умеешь привлечь покупателей. Они тебя любят.

— Они просто привыкли ко мне. Я ведь здесь спокон веку.— И тут мне пришло в голову пустить маленький, совсем крошечный пробный шарик: — Вы, наверно, ждете не дождетесь жаркого сицилийского солнца. Оно там очень жаркое. Я был в Сицилии во время войны.

Марулло отвел глаза в сторону.

— Я еще не решил окончательно.

— А почему?

— Уж очень много времени прошло — целых сорок лет. Я теперь там и не знаю никого.

— У вас же есть родные.

— Они меня не знают.

— С каким бы удовольствием я провел месяц в Италии без винтовки и вещевого мешка. Правда, сорок лет — долгий срок. Вы в каком году приехали сюда?

— В тысяча девятьсот двадцатом. Давно, очень давно.

Кажется, Морфи попал в точку. Чутье у них, что ли, особое, у банковских служащих, таможенников и полицейских? Я решил пустить еще шар, чуть побольше. Я выдвинул ящик, достал револьвер и бросил его на прилавок. Марулло поспешно убрал руки за спину.

— Что это такое, мальчуган?

— Я хотел вам посоветовать — если у вас нет разрешения, выправьте, не откладывая. С актом Салливэна шутить не стоит.

— Откуда взялся этот револьвер?

— Все время здесь лежит.

— Я его никогда не видел. У меня не было револьвера. Это твой.

— Нет, не мой. Я его тоже никогда не видел раньше. Но принадлежит же он кому-то. А раз уж он есть, не мешало бы все-таки выправить разрешение. Вы уверены, что он не ваш?

— Говорят тебе, я его первый раз вижу. Я вообще не люблю оружия.

— Как странно. Мне казалось, члены мафии непременно должны любить оружие.

— При чем тут мафия? Ты что, хочешь сказать, что я член мафии?

Я прикинулся наивным.

— А разве не все сицилийцы состоят в мафии?

— Что за чушь! Я даже не знаю никого, кто бы там состоял!

Я бросил револьвер в ящик.

— Век живи, век учись! — сказал я. — Ну, мне он, во всяком случае, ни к чему. Отдать его разве Стони? Скажу, что случайно наткнулся на него на полке за товаром — так оно, кстати, и было.

— Делай с ним, что хочешь, — сказал Марулло. — Я его никогда в жизни не видел. Он мне не нужен. Он не мой.

— Ладно, — сказал я. — Отдам, и дело с концом.

Требуется целая куча бумаг, чтобы выправить разрешение по акту Салливэна, — немногим меньше, чем для получения паспорта.

Моему хозяину стало явно не по себе. Все это были мелочи, но слишком уж много их накопилось за последнее время.

В лавку, идя в крутой бейдевинд с поставленными клиперами, всплыла престарелая мисс Эльгар, наследная принцесса Нью-Бэйтауна. Мисс Эльгар жила, отделенная от мира двойной стеклянной стеной с воздушной прослойкой. Ее привела в лавку необходимость купить десяток яиц. Она помнила меня маленьким мальчиком и, должно быть, не подозревала, что я за это время успел подрасти. Я видел, что она приятно удивлена моим умением считать и давать сдачу.

— Спасибо, Итен, — сказала она. Ее взгляд скользнул по кофейной мельнице и по Марулло с совершенно одинаковым интересом. — Как здоровье твоего батюшки, Итен?

— Хорошо, мисс Эльгар.

— Будь умницей, не забудь поклониться ему от меня.

— Слушаю, мэм. Непременно, мэм. — Я не собирался корректировать ее чувство времени. Говорят, она до сих пор каждое воскресенье аккуратно заводит стенные часы, хотя они давным-давно электрифицированы. А совсем не плохо жить вот так, вне времени, в бесконечном сегодня, которое никогда не станет вчера. Выходя, она благосклонно кивнула кофейной мельнице.

— Немножко того, — сказал Марулло, покрутив пальцем у виска.

— Для нее никто не меняется. Ни с кем ничего не происходит.

— Ведь твой отец умер. Почему ты не объяснишь ей, что он умер?

— Если ей даже объяснить, она тут же забудет. Она всегда справляется о здоровье отца. Только недавно перестала справляться о здоровье деда. Говорят, она с ним крутила, старая коза.

— Немножко того,— повторил Марулло. Но каким-то образом мисс Эльгар с ее смещенными представлениями о времени помогла ему восстановить свое душевное равновесие. Человек и проще и сложнее, чем кажется. И когда мы уверены, что правы, тут-то мы обычно и ошибаемся. Исходя из опыта и привычки, Марулло усвоил три подхода к людям: начальственный, льстивый и деловой. Вероятно, все три большей частью себя оправдывали в жизни и потому вполне устраивали его. Но на каком-то этапе своих отношений со мной он от первого отказался.

— Ты славный мальчуган,— сказал он.— И ты настоящий друг.

— Старый шкипер — это мой дед — любил говорить: если хочешь сохранить друга, никогда не испытывай его.

— Умно сказано.

— Он был умный человек.

— Так вот, мальчуган: я раздумывал весь воскресный день, даже в церкви я раздумывал.

Я знал — или догадывался,— что у него нейдет из ума не принятая мной взятка, и я решил избавить его от долгих предисловий.

— Наверно, все о том щедром подарке.

— Ага.— Он восхищенно взглянул на меня.— А ты и сам умен.

— Видно, не очень, а то работал бы на себя, а не на хозяина.

— Ты здесь сколько времени — двенадцать лет?

— То-то и есть, что целых двенадцать лет. Не слишком ли долго, как вам кажется?

— И ты ни разу ни цента не положил в карман, ни разу не унес ничего домой, не записав в книжку.

— Честность — мой рэкет.

— Ты не шути. Я верно говорю. Я проверяю. Я знаю.

— Что ж, прицепите мне медаль на грудь.

— Все воруют — кто больше, кто меньше, а ты нет. Я знаю!

— Может, я просто жду случая украсть уж все сразу.

— Брось свои шутки. Я верно говорю.

— Альфио, вам попался бриллиант. Не трите его слишком сильно, а то как бы не обнаружилась подделка.

— Хочешь, я возьму тебя в дело компаньоном?

— А капитал? Мое жалованье?

— Что-нибудь придумаем.

— Тогда я ничего не смогу украсть у вас, не обворовав самого себя.

Он весело засмеялся.

— Ты умен, мальчуган. Но ведь ты и так не крадешь.

— Вы не слыхали, что я сказал. Может, я задумал украсть все сразу.

— Ты честен, мальчуган.

— Вот и я говорю. Чем ты честней, тем меньше тебе верят. Знаете, Альфио, лучший способ скрыть свои настоящие побуждения — это говорить правду.

— Что ты там мелешь?

— *Ars est celare artem*¹.

Он пошевелил губами, повторяя, и вдруг расхохотался.

— Ха-ха-ха! *Hic erat demonstrandum*².

— Хотите выпить холодной кока-колы?

— Мне вредно — вот тут! — Он хлопнул себя по животу.

— Не так вы еще стары, чтоб возиться с больным желудком, ведь вам еще нет пятидесяти?

— Пятьдесят два, и желудок у меня в самом деле больной.

— Допустим, — сказал я. — Вы, значит, приехали сюда двенадцатилетним, если это было в двадцатом году. Рано же в Сицилии начинают учить латынь.

— Я был певчим в церкви.

— Я сам участвовал в церковном хоре — носил крест во время богослужения. Ну, как хотите, а я выпью. Альфио, — сказал я, — вы придумайте для меня способ вступить в дело, а тогда я погляжу. Но предупреждаю вас, денег у меня нет.

— Придумаем, придумаем.

— Но у меня будут деньги.

Он смотрел на меня в упор, как будто что-то притягивало его взгляд. И наконец сказал тихо:

— *Io lo credo*³.

Чувство силы, если не славы, всколыхнулось во мне. Я открыл бутылку кока-колы и, поднося ее к губам, посмотрел поверх стеклянного ствола прямо в глаза Марулло.

— Ты славный мальчуган, — сказал он и, пожав мне руку, направился к выходу.

Что-то вдруг толкнуло меня его окликнуть:

— Альфио, а как ваше плечо?

Он удивленно оглянулся.

¹ Главное в искусстве — скрывать искусство (лат.).

² Что и требовалось доказать (лат.).

³ Я тебе верю (итал.).

— Теперь не болит,— сказал он. И пошел дальше, повторяя самому себе: — Теперь не болит.

Вдруг он вернулся взволнованный.

— Надо тебе взять эти деньги.

— Какие деньги?

— Эти пять процентов.

— Зачем?

— Надо взять. Будешь мне выплачивать свой пай постепенно — сейчас немножко, потом еще немножко. Только требуй не пять, а шесть.

— Нет.

— Как это нет, если я говорю да?

— Мне это не нужно, Альфио. Я бы взял, если бы мне нужно было, но мне не нужно.

Он глубоко вздохнул.

Днем в лавку не так валил народ, как с утра, но все-таки дела было много. Не знаю отчего, но между тремя и четырьмя часами всегда наступает затишье минут на двадцать или на полчаса. Потом идет новая волна покупателей — трудовой люд по дороге с работы или хозяйки, спохватившиеся, что у них ничего нет на обед.

В час затишья явился мистер Бейкер. Он долго разглядывал сыры и колбасы за стеклом холодильника, дожидаясь, когда уйдут два замешкавшихся покупателя, оба из породы нерешительных, таких, которые сами не знают, чего хотят, — возьмут одно, положат, возьмут другое, положат — и точно надеются, что нужная вещь сама вскочит им в руки и попросит купить ее.

Наконец они все-таки что-то купили и ушли.

— Итен,— сказал мистер Бейкер.— Вам известно, что Мэри взяла тысячу долларов?

— Да, сэр. Она меня предупредила об этом.

— А вам известно, зачем ей понадобились деньги?

— Еще бы, сэр. Она уже полгода толкует об этом. Вы же знаете женщин. На мебели разве что немного пообтерлась обивка, но с того дня, как она задумала купить новую, это уже старый хлам, на котором сидеть нельзя.

— А вы не считаете, что сейчас глупо тратить деньги на такие вещи? Я ведь вам вчера говорил, какие намечаются перспективы.

— Это ее деньги, сэр.

— Речь идет не о каких-нибудь рискованных спекуляциях, Итен. Речь идет об абсолютно надежном помещении капитала. С этой тысячей она бы через год и мебель купила и еще бы тысяча у нее осталась.

— Мистер Бейкер, я не могу запретить ей тратить ее собственные деньги.

— Но вы бы могли объяснить ей, вы бы могли ее урезонить.

— Мне как-то не пришло в голову.

— Это ответ в духе вашего отца. Это ответ слюнтяя. Я берусь помочь вам стать на ноги, но только в том случае, если вы не будете слюнтяем.

— Постараюсь, сэр.

— Вдобавок она еще, кажется, не хочет иметь дело с местными фирмами. Польстится на скидку где-нибудь на распродаже и уплатит все наличными. Да еще неизвестно, что ей там всучат. Здесь, может быть, обошлось бы и дороже, но по крайней мере есть с кого спросить, если что не так. Вы должны вмешаться, Итен. Заставьте ее положить деньги обратно. Или пусть доверит их лично мне. Она не прогадает.

— Эти деньги — ее наследство после брата, сэр.

— Знаю. Я попытался ее образумить, когда она пришла за ними. Она сделала голубые глаза и сказала, что хочет поехать посмотреть. Как будто нельзя ездить и смотреть без тысячи долларов в кармане! Если у нее соображения не хватает, так вы-то должны соображать!

— Не разбираюсь я в этих делах, мистер Бейкер, привычки нет. Ведь у нас, с тех пор как мы поженились, никогда не было денег.

— Ну так советую вам разобраться, и как можно скорее, а то у вас их и не будет. У некоторых женщин пристрастие к мотовству все равно что наркомания.

— У Мэри нет такого пристрастия, сэр. Откуда?

— Нет, так будет. Стоит ей раз отведать крови — и она почувствует вкус к убийству.

— Мистер Бейкер, вы это не серьезно.

— Совершенно серьезно.

— Мэри — самая бережливая жена на свете, да ей и нельзя иначе.

Тут он неизвестно почему разбушевался.

— От вас я этого не ожидал, Итен. Если вы хотите чего-то добиться, прежде всего сумейте быть хозяином в собственном доме. Можете повременить с новой мебелью еще немного.

— Я-то могу, она не может. — Мне вдруг пришла в голову мысль, что у банкиров особое зрение на деньги, вроде рентгеновских лучей, и он сейчас видит конверт, лежащий в моем кармане. — Попробую ее уговорить, мистер Бейкер.

— Если она уже все не истратила. Где она сейчас, дома?

— Собиралась поехать автобусом в Риджхэмптон.

— Боже мой! Ну конечно, тысячи долларов как не бывало.

— Это ведь не весь ее капитал, сэр.

— Не в том дело. Без денег вам никуда нет хода.

— Дсньга деньгу делает,— вполголоса сказал я.

— Именно. Зарубите это себе на носу, иначе вы пропащий человек, так и будете всю жизнь торчать за прилавком.

— Мне очень жаль, что так случилось.

— Чем жалеть, лучше заставьте ее слушаться.

— Женщины чудной народ, сэр. Вы вчера говорили о том, как наживают деньги, и, может быть, ей показалось, что это очень легко.

— Так рассейте ее заблуждение: ведь, если у вас не с чего будет начинать, вам ни о каких деньгах и думать не придется.

— Не хотите ли выпить холодной кока-колы, сэр?

— Да, хочу.

Пить из бутылки он не умел, пришлось открыть пачку бумажных стаканчиков. Зато он сразу поостыл и теперь только глухо ворчал, как гром, замирающий в отдалении.

Вошли две негритянки из дома на перекрестке, и ему оставалось только залпом проглотить свою кока-колу и свое негодование.

— Так не забудьте поговорить с ней! — сердито рявкнул он и пошел из лавки. Я подумал, не оттого ли он так злится, что заподозрил подвох, но тут же откинул эту мысль. Нет, просто он чувствует, что вышло не по его, а он к этому не привык, оттого и злится. Нетрудно прийти в ярость, когда ты советуешь, а твоих советов не слушают.

Эти негритянки — приятные покупательницы. На перекрестке живет целая колония цветных, очень славные люди. Они сюда ходят редко, потому что у них есть своя лавка, но иногда делают у нас кое-какие покупки для сравнения, чтобы выяснить, не слишком ли дорого обходится им расовая солидарность. Эти две не столько покупали, сколько приценивались, но я понимал, в чем дело, и потом на них приятно было смотреть: красивые женщины, с такими длинными, стройными, прямыми ногами. Удивительно, как много значит для человеческого тела относительно сытое детство — да и для духа тоже.

Перед самым закрытием я позвонил Мэри по телефону.

— Я сегодня приду немного позже, пушинка.

— Не забудь, что мы обедаем с Марджи в «Фок-мачте».

— Я помню.

— На сколько ты запоздаешь?

— Минут на десять — пятнадцать. Хочу сходить посмотреть, как работает землечерпалка в гавани.

— Зачем это?

— Я подумываю, не купить ли ее.

— Фу!

— Принести тебе рыбки?

— Разве если попадется хорошая камбала. Больше теперь ничего не найдешь.

— Ладно. Ну, я пошел.

— Только не копайся, пожалуйста. Тебе еще нужно мыться, переодеваться. Все-таки ведь «Фок-мачта».

— Будь спокойна, моя прелесть, моя красавица. И влетело же мне от мистера Бейкера за то, что я позволил тебе истратить тысячу долларов.

— Ах он старый козел!

— Мэри, Мэри! У стен есть уши.

— Скажи ему, пусть он... сам знаешь что.

— Ну, где ему! Кроме того, он тебя считает дурочкой.

— Что-о?

— А меня — слюнтяем, размазней и еще чем-то в этом роде.

Она засмеялась своим переливчатым смехом, от которого у меня сладкие мурашки по сердцу бегут.

— Жду тебя, милый, — сказала она. — Жду-жду-жду...

А каково мужчине слышать такие слова! Повесив трубку, я стоял у телефона весь обмякший, раскисший от счастья — если так бывает. Я пробовал вспомнить, как я жил до Мэри, но память ничего не подсказывала, пробовал вообразить, как бы я жил без нее, но воображение рисовало только какую-то серую неопределенность в траурной рамке.

Солнце уже зашло за кромку холмов на западе, но большое пухлое облако вобрало его лучи и отбрасывало их на гавань, на волнорез, на морскую даль, и от этого гребешки волн заалели, как розы. У самого мола торчат из воды причальные сваи — тройные связки бревен, стянутые наверху железным обручем и стесанные в форме пилонов, чтобы лучше сдерживать зимой напор льда. И на всех неподвижно стояли чайки, большей частью самцы, с ослепительно белой грудью и аккуратными серыми

крыльями. Интересно, может, у каждого из них свое место, которое он может продавать или сдавать внаймы.

Несколько рыбачьих лодок были вытащены на берег. Я знаю всех рыбаков, знаю их с тех пор, как помню себя. Мэри оказалась права. Ничего у них не было, кроме камбалы. Я купил четыре штуки получше у Джо Логана и постоял возле него, покуда он разделывал их ножом, входившим в рыбу тушку легко, как в воду. Весной есть одна дежурная тема для беседы: скоро ли пойдет кумжа? Существует поговорка: «Сирень цветет — кумжа идет», но на эту примету положиться нельзя. Сколько я себя помню, всегда бывало так: или кумжа еще не пошла, или она уже прошла. А какая красивая эта рыбка, ладная, как форель, чистенькая, серебристая, как... как серебро. И пахнет хорошо. Так вот кумжа не шла. Джо Логану не удалось поймать ни одной штуки.

— Что до меня, так я люблю морского окуня, — сказал Джо. — Смешно! Когда говоришь «морской окунь», никто на него и смотреть не хочет, а назови его «морской курочкой» — покупатели прямо рвут из рук.

— Как ваша дочка, Джо?

— Да то вроде получше, а то опять словно тает. Горю мне с ней.

— Тяжело, конечно. Сочувствую вам.

— Если б хоть чем-нибудь можно было помочь...

— Я понимаю — бедная девочка. Вот бумажный мешок, Джо. Просто бросьте в него рыбку. Вы передайте дочке привет от меня, Джо.

Он впился в меня взглядом, точно надеялся выжать из меня что-то, какое-то лекарство.

— Ладно, Ит, — сказал он. — Передам.

За волнорезом работала землечерпалка, ее гигантский насос втягивал со дна ил и раковины и по трубе, уложенной на понтонах, гнал все на берег, за просмоленную черную загородку. На землечерпалке зажжены были и ходовые и якорные огни, и два красных шара на высоком шесте указывали, что работа производится. На палубе, опершись голыми локтями на поручни, стоял бледнолицый кок в белом колпаке и переднике, смотрел вниз, в растревоженную воду, и время от времени сплевывал за борт. Ветер дул с моря. Он доносил вонь ила, и мертвых моллюсков, и полусгнивших водорослей, смешанную со сладким запахом яблочного пирога с корицей, который пекли на землечерпалке.

Маленькая яхта сверкнула парусами в последних отсветах зари, но розовую вспышку тотчас же погасила тень берега. Я повернул назад и, минуя старый яхт-клуб и здание Американского легиона с выкрашенными в темную краску пулеметами у входа, пошел налево.

На лодочной пристани, несмотря на поздний час, еще работали — смолили и красили лодки, готовя их к летнему сезону. Несбычно поздняя весна задержала эту работу, а теперь нужно было спешно наверстывать упущенное.

Я обогнул лодочную пристань и через заросший сорняком пустырь дошел до конца гавани, а оттуда осторожным шагом направился к хибарке Дэнни. Я шел и насвистывал старую песенку на тот случай, если Дэнни не расположен со мной встречаться.

Так оно, по-видимому, и было. Хибарка была пуста, но я мог бы дать голову на отсечение, что Дэнни где-то рядом — лежит в зарослях сорняков или прячется за одним из валяющихся кругом толстенных бревен. Не сомневаясь, что он вылезет, как только я уйду, я достал из кармана желтый конверт, стоймя пристроил его на грязной койке около стены и вышел из хибарки, только на минуту прервав свой свист, чтобы сказать вполголоса: «До свидания, Дэнни. Желаю удачи». Так, насвистывая, я и вернулся в город, прошел мимо парадных особняков Порлока, вышел на Вязовую и наконец очутился у своего дома — старого дома Хоули.

Я застал мою Мэри храбро сражающейся с бурей. Вокруг нее свирепствовали ветры, плыли по волнам обломки крушений, а она, в туфельках и белой нейлоновой комбинации, управляла разбушевавшейся стихией, сохраняя выдержку и мужество. Только что вымытая голова, вся в накрученных на бигуди локонах, очень напоминала большой выводок колбасок-сосунков. Я не упомяну, когда мы с ней последний раз обедали в ресторане. Нам это не по карману, и мы давно отстали от этой привычки. Вихрь, закруживший Мэри, прихватил стороной и детей. Она кормила их, умывала, отдавала распоряжения, заменяла эти распоряжения другими. Посреди кухни стояла гладильная доска, и весь мой драгоценный гардероб, тщательно отутюженный, был развешан на спинках стульев. Мэри делала все дела сразу, поминутно подбегала к доске, чтобы провести утюгом по разложенному на ней платью. Дети от возбуждения почти не могли есть, но не смели ослушаться.

У меня пять так называемых выходных костюмов — совсем недурно для продавца бакалейной лавки. Я по оче-

реди потрогал пиджаки на спинках стульев. Каждый костюм имел у нас свое название: синий — Старый, коричневый — Джордж Браун, серый — Дориан Грей, черный — Похоронный и темно-серый — Сивый мерин.

— Какой мне надеть, мой ночничок?

— Ночничок? О-о!.. погоди, обед не парадный, и сегодня понедельник. По-моему, Джорджа Брауна или Дориана, да, пожалуй, Дориана, это будет не парадно и в то же время достаточно парадно.

— И бабочку в горошек, да?

— Конечно.

Вмешалась Эллен:

— Папа! Нельзя тебе надевать бабочку! Ты слишком старый.

— Вовсе нет. Я молодой, веселый и легкомысленный.

— Над тобой будут смеяться. Очень рада, что я с вами не иду.

— Я тоже очень рад. С чего это тебе вздумалось записать меня в старики?

— В старики не в старики, но для бабочки ты стар.

— Ты противная маленькая доктринерка.

— Ну, если тебе хочется, чтобы все смеялись, пожалуйста.

— Да, мне именно этого хочется. Мэри, тебе разве не хочется, чтобы все смеялись?

— Не приставай к папе, ему нужно еще принять душ. Сорочку я приготовила, лежит на кровати.

Аллен сказал:

— Я уже написал половину сочинения.

— Тем лучше, потому что летом я тебя приставлю к делу.

— К какому делу?

— Будешь работать со мной в лавке.

— Ну-у! — Его явно не воодушевляла эта перспектива.

Эллен открыла было рот, но хотя мы повернулись к ней, так ничего и не сказала. Мэри в сто восемьдесят пятый раз стала объяснять детям, что они должны и чего не должны делать в наше отсутствие, а я пошел наверх, в ванную.

Когда я надевал перед зеркалом свою любимую синюю бабочку в горошек, вошла Эллен и прислонилась к двери.

— Все было бы ничего, если бы ты был помоложе, — сказала она до ужаса по-женски.

— Не завидую я твоему будущему счастливому супругу, моя дорогая.

— Даже мальчики в старших классах не носят бабочек.

— А премьер Макмиллан носит.

— Это другое дело. Папа, списывать из книжки — жульничество?

— Не понимаю.

— Ну, если кто-то — например, если я буду писать сочинение и возьму чего-нибудь из книжки, это как?

— Ты хотела сказать — что-нибудь?

— Ну, что-нибудь.

— Зависит от того, как ты это сделаешь.

— Теперь я не понимаю.

— Если ты поставишь кавычки и сделаешь сноску с указанием, кто автор, это только придаст твоей работе солидность и значительность. Пожалуй, половина американской литературы состоит из цитат или подборок. Ну, нравится тебе мой галстук?

— А если без этих самых... кавычек?

— Тогда это все равно что воровство, самое настоящее воровство. Надеюсь, ты не сделала ничего подобного?

— Нет.

— Тогда что же тебя смущает?

— А за это могут посадить в тюрьму?

— Могут — если ты таким образом получишь деньги. Так что лучше ты этого не делай, дочка. Но что ты все-таки скажешь о моем галстуке?

— Я скажу, что с тобой невозможно разговаривать.

— Если ты намерена сейчас спуститься вниз, передай своему милейшему братцу, что я ему принес его дурацкого Микки-Мауса, хоть он этого вовсе не заслужил.

— Никогда ты не выслушаешь серьезно, по-настоящему.

— Я очень внимательно слушал.

— Нет, не слушал. Потом сам пожалеешь.

— До свиданья, Леда. Попрощайся с Лебедем.

Она побрела вниз — олицетворенный соблазн с необсохшим молоком на губах. Девочки ставят меня в тупик. Они оказываются — девочками.

Моя Мэри была просто прекрасна, просто блистала красотой. Сияние струилось из всех пор ее существа. Она взяла меня под руку, и когда мы шли по Вязовой улице под сенью деревьев, пронизанной светом уличных фонарей, честное слово, наши ноги несли нас с величавой и легкой резвостью чистокровок, приближающихся к барьеру.

— Мы с тобой поедem в Рим! Египет слишком тесен для тебя. Большой мир зовет.

Она фыркнула. Честное слово, она фыркнула с непосредственностью, которая сделала бы честь нашей дочери.

- Мы чаще будем выезжать в свет, родная моя.
- Когда?
- Когда разбогатеем.
- А когда это будет?
- Скоро. Я научу тебя носить бальные туфли.
- А ты будешь раскуривать сигары десятидолларовыми бумажками?
- Двадцатидолларовыми.
- Ты мне правишься.
- Эх, мам. Постыдились бы говорить такое. В краску меня вогнали.

Не так давно хозяин «Фок-мачты» вставил в окна, выходящие на улицу, рамы с частым переплетом, застекленные квадратиками толстого бутылочного стекла. Это должно было придать и придавало ресторану сходство со стариной харчевней, зато тем, кто смотрел с улицы, лица сидящих за столиками виделись чудовищно искаженными. На одном все заслоняла выпяченная челюсть, от другого оставался только один огромный глаз, но, впрочем, это, как и ящики с геранью и лобелиями на подоконниках, лишь способствовало впечатлению подлинной старины.

Марджи уже ждала нас, вся — воплощение гостеприимства. Она представила нам своего кавалера, некоего мистера Хартога из Нью-Йорка, у которого лицо было покрыто загаром, приобретенным под кварцевой лампой, а рот так тесно усажен зубами, что напоминал кукурузный початок. Мистер Хартог казался хорошо упакованным и завернутым в целлофан и на любое замечание отвечал одобрительным смехом. Это была его форма участия в разговоре, на мой взгляд довольно удачная.

— Очень приятно познакомиться, — приветливо сказала Мэри.

Мистер Хартог засмеялся.

Я сказал:

— Вы, вероятно, знаете, что ваша дама — колдунья.

Мистер Хартог засмеялся. Мы все чувствовали себя непринужденно.

Марджи сказала:

— Для нас оставлен столик у окна. Вон тот.

— Я вижу, вы и цветы заказали, Марджи.

— Должна же я как-то отблагодарить вас, Мэри, за вашу постоянную любезность.

Они продолжали в этом роде, покуда мы рассаживались за столиком и потом, когда все уже заняли свои места по указанию Марджи. А мистер Хартог после каждой фразы

смеялся. Как видно, выдающегося ума человек. Я решил, что все-таки вытяну из него хоть слово, но попозже.

Стол выглядел очень нарядно — ослепительно белая скатерть и серебро, которое не было серебром, но казалось более серебряным, чем серебро.

Марджи сказала:

— Вы мои гости, а значит, распоряжаюсь я, вот я и заказала без спроса для всех мартини.

Мистер Хартог засмеялся.

Мартини подали не в рюмках, а в бокалах с птичьей ванночкой величиной, и в каждом плавал кусочек лимонной корки. Первый глоток обжигал, как укус вампира, и на миг притуплял все ощущения, но потом внутри разливалось приятное тепло и было уже по-настоящему вкусно.

— Сейчас повторим,— сказала Марджи.— Кормят здесь недурно, а после двух мартини покажется совсем хорошо.

Я сказал, что давно мечтаю открыть такой бар, где можно было бы начинать сразу со второго мартини. Верный способ нажить состояние.

Мистер Хартог засмеялся, и не успел я дожевать свою лимонную корку, как на столе появились еще четыре птичьи ванночки.

С первым глотком второго мартини мистер Хартог обрел дар речи. У него оказался низкий, рокошующий баритон, каким говорят актеры, певцы и коммивояжеры, занятые сбытом товара, который никто не хочет покупать. Такой баритон еще называют докторским.

— Я слышал от миссис Янг-Хант, что вы принадлежите к коммерческим кругам Нью-Бэйтауна,— сказал он.— Прелестный, кстати, городок. Такая патриархальная чистота нравов.

Я было вознамерился разъяснить ему, в каком качестве я подвизаюсь на ниве коммерции, но Марджи предупредила меня.

— Мистер Хоули — представитель растущих сил нашего края,— сказала она.

— Вот как? А чем вы занимаетесь, мистер Хоули?

— Всем,— сказала Марджи.— Решительно всем, но, как вы понимаете, не всегда открыто.— В глазах у нее играл хмельной огонек. Я посмотрел на Мэри — у нее еще только чуть затуманился взгляд, и я сделал вывод, что наши компаньоны успели пропустить рюмку-другую до нас, Марджи — во всяком случае.

— Мне остается только промолчать,— сказал я.

Мистер Хартог опять засмеялся.

— У вас очаровательная жена. Такая жена — это уже пятьдесят процентов победы в любой драке.

— Даже сто процентов.

— Итен, мистер Хартог подумает, что у нас с тобой бывают драки.

— А разве нет? — Я сразу отхлебнул полбокала, и теплая волна застала мне глаза. Бутылочное стекло в одном из квадратиков оконного переплета вспыхнуло отражением свечи и медленно закружилось передо мной. Может, это было самовнушение, потому что я продолжал слышать собственный голос, звучащий как будто откуда-то извне:

— Миссис Янг-Хант — Колдунья с Востока. Ее мартини не мартини. Это отравленное питье. — Сверкающее стекло по-прежнему притягивало мой взгляд.

— А я-то всегда воображала себя Озмой. Ведь Колдунья с Востока была злая колдунья?

— Очень злая.

— Но под конец она, кажется, подобрела?

Мимо окна шел по улице человек. Кривое стекло искажало очертания его фигуры, но я видел, что голова у него немного наклонена влево и ноги он ставит, как-то странно выворачивая их внутрь. Так ходит Дэнни. Я мысленно вскочил и бросился за ним вдогонку. Добежал до угла Вязовой, но он уже исчез, может быть юркнув в боковую калитку соседнего дома. Я закричал: «Дэнни! Дэнни! Отдай мне деньги обратно. Отдай, Дэнни, прошу тебя. Не бери их. Они отравлены. Я их отравил!»

Я услышал смех. Знакомый смех мистера Хартога. Потом Марджи сказала:

— Нет уж, предпочитаю быть Озмой.

Я вытер салфеткой слезы, выступившие у меня на глазах, и сказал:

— Это можно пить, но промывать этим глаза ни к чему. Оно жжется.

— У тебя правда глаза красные, — сказала Мэри.

Но я не мог уже вернуться к ним, хотя слышал свой голос, рассказывавший анекдот, и слышал золотистый, лучезарный смех моей Мэри, так что, должно быть, я рассказывал смешно и даже остроумно, но вернуться к ним я все-таки не мог. И, кажется, Марджи понимала это. Она смотрела на меня с невысказанным вопросом в глазах, черт бы ее побрал. Она и в самом деле колдунья.

Что мы ели за обедом, я не знаю. Наверно, была рыба, потому что мне запомнилось белое вино. Стекло в окне

вращалось, точно пропеллер. Потом был коньяк, так что, вероятно, мы пили кофе,—и потом обед пришел к концу.

Когда мы вышли на улицу и Мэри с мистером Хартогом ушли немного вперед, Марджи спросила меня:

— Где вы были?

— Не понимаю, о чем вы?

— Вас не было с нами. Вы только сидели за столом.

— Сгинь, нечистая сила!

— Ладно, приятель,— сказала она.

По дороге к дому я старался все время идти в тени деревьев. Мэри висела у меня на руке, шаг у нее был слегка неровный.

— Какой чудесный вечер,— сказала она.— Я никогда так чудесно не проводила время.

— Да, было очень мило.

— Марджи такая гостеприимная. Просто не знаю, чем и ответить на этот обед.

— Да, она очень любезна.

— А уж ты, Итен! Я всегда знала, что ты умешь быть остроумным, но сегодня ты просто превзошел самого себя. Мы так смеялись! Мистер Хартог сказал, что у него все болит от смеха, после того как ты рассказал про мистера Рыжего Бейкера.

Я и про это рассказывал? Что именно? Надо же было. О Дэни, отдай деньги обратно! Прощу тебя!

— С тобой никакого мюзик-холла не нужно,— сказала Мэри. В дверях нашего дома я так крепко прижал ее к себе, что она пискнула: — Ой, милый, ты пьян. Мне больно. Тише, не разбуди детей.

Я думал дождаться, когда она уснет, а потом выскользнуть из дома, пойти к нему в хибарку, разыскать его, натравить на него полицию, если понадобится. Но потом я понял, что это бесполезно. Дэни уже нет здесь. Я знал, что Дэни уже нет. И я лежал в темноте и вглядывался в желтые и красные пятна, расплывавшиеся перед моими мокрыми глазами. Я знал, что сделал, и Дэни тоже это знал. Я вспоминал об убитых кроликах. Может быть, это только первый раз трудно. Но нужно пройти через это. В бизнесе и в политике человек должен силой и жестокостью прокладывать себе путь через гущу людскую, если он хочет, как в детской игре, стать Владыкой Горы. Потом он может быть милостивым и великодушным, но прежде надо добраться до вершины.

ГЛАВА X

Темплтонский аэродром расположен всего в сорока милях от Нью-Бэйтауна — от силы пять минут лету для реактивной авиации. А ее становится все больше на регулярных линиях, то и дело гудят над головой тучи смертоносных комаров. Жаль, я не могу восхищаться реактивными самолетами, а тем более любить их, как мой сын Аллен. Будь у них другое назначение, может, я и мог бы, но они созданы, чтобы сеять смерть, а этим я сыт по горло. Аллен умсет находить их глазами, глядя не туда, откуда гул, а дальше, но мне это не удастся. Они преодолевают звуковой барьер с таким громом, что я всякий раз пугаюсь, не взорвался ли котел отопления. Пролетая ночью, они врываются в мои сны, и я просыпаюсь с сосущим, томительным чувством, словно у меня язва души.

На рассвете целая стая таких самолетов прошла в небе, и я очнулся, дрожа мелкой дрожью. Должно быть, увидел во сне немецкие 88-миллиметровки, великолепное оружие, которого мы так боялись.

Весь взмокший от страха, я лежал в сером предутреннем сумраке и слушал, как затихает вдали мерное жужжание веретей зла. Мне кажется, нет теперь человека, у которого не гнездился бы в теле этот страх — не в душе, а именно в теле, глубоко под кожей. Дело тут не в самолетах, дело в том, чему они призваны служить.

Когда какое-то положение, какая-то задача становится слишком трудной и неразрешимой, человеку дана спасительная возможность не думать о ней. Но тогда это уходит в подсознание и смешивается со многим другим, что там живет, и так рождается смутная тревога, и недовольство, и чувство вины, и потребность ухватить хоть что-то — все равно что, — прежде чем все исчезнет. Может быть, мастера психоанализа имеют дело вовсе не с какими-то комплексами, а с теми боеголовками, что в один прекрасный день могут грибовидными облаками встать над землей. Почти во всех знакомых мне людях я чувствую нервозность, и беспокойство, и преувеличенное бесшабашное веселье, похожее на пьяный угар новогодней ночи. Забудьте дружбы долг святой, натешьтесь ближнего женой.

Я повернулся лицом к своей жене. Она спала без обычной улыбки. Углы ее губ были оттянуты книзу, и под дугами опущенных век лежали усталые тени — верно, заболела, у нее всегда такой вид, когда она больна. Она редко

болеет, можно позавидовать мужу такой жены, но уж если заболевает, тут ему не позавидуешь.

Опять взорвалась тишина — прилетела новая стая. Сотни веков понадобилось, чтобы человек привык к огню, а к этой силе, неизмеримо более сокрушительной, чем огонь, мы должны были привыкнуть за полтора десятка лет. Удастся ли нам когда-нибудь приручить эту силу? Если духовный мир подчинен тем же законам, что и мир вещей, может ли быть, что в душе происходит расщепление ядра? Это ли происходит со мной, со всеми нами?

Вспоминаю историю, рассказанную мне когда-то тетушкой Деборой. В середине прошлого столетия кое-кто из моих предков вступил в секту «Ученики Христа». Тетушка Дебора была тогда маленькой девочкой, но она хорошо помнила, как ее родители ждали конца мира, который был уже возвещен. Они раздали все, что имели, оставив себе только несколько простынь. В назначенный день они завернулись в эти простыни и ушли в горы, чтобы вместе со своими единомышленниками встретить там конец мира. Сотни людей, все в саванах из простынь, молились и пели. Когда стемнело, они запели еще громче, а некоторые пустились в пляс. Вдруг, когда до назначенного времени осталось лишь несколько минут, с неба скатилась звезда, и в толпе поднялся страшный крик. Нельзя забыть это, говорила тетушка Дебора. Люди выли, как волки, как гиены, говорила она, хотя ей никогда не приходилось слышать вой гиен. И вот наступило великое мгновение. Закутанные в белое мужчины, женщины, дети, затаив дыхание, ждали. А мгновение длилось. У детей посинели лица — но мгновение миновало, и ничего не произошло. Люди почувствовали себя обманутыми, оттого что обещанная им гибель не состоялась. На рассвете они побрели вниз и попытались вернуть свое розданное добро — одежду и утварь, и волов своих, и ослов своих. Помню, я им очень сочувствовал, слушая рассказ тетушки Деборы.

Вероятно, эту историю мне напомнили реактивные самолеты, эти орудия смерти, накопленные ценой стольких усилий, времени, денег. Почувствуем ли мы себя обманутыми, если нам не придется использовать их по назначению? Мы запускаем ракеты в космос, но с тревогой, недовольством и злобой мы не можем справиться.

Мэри вдруг открыла глаза.

— Итен,— сказала она,— ты думаешь вслух. Я не знаю, о чем твои мысли, но я их слышу. Перестань думать, Итен.

Я было хотел посоветовать ей бросить пить, но уж очень жалкий у нее был вид. Бывает, что я шучу, когда шутки неуместны, но на этот раз я только спросил:

— Голова?

— Да.

— Желудок?

— Да.

— Вообще не по себе?

— Вообще не по себе.

— Я могу чем-нибудь помочь?

— Вырой мне могилу.

— Ты сегодня не вставай.

— Не могу. Нужно отправить детей в школу.

— Я сам все сделаю.

— Тебе надо идти на работу.

— Я все сделаю, не беспокойся.

Минуту спустя она сказала:

— Итеп, я правда, кажется, не могу встать. Мне очень скверно.

— Доктора?

— Не надо.

— Как же я тебя оставляю одну? Может, Эллен не ходить в школу?

— Что ты, у нее сегодня экзамен.

— Может, позвонить Марджи, чтобы она пришла?

— У Марджи телефон выключен. Что-то там такое меняют.

— Я могу по дороге зайти к ней.

— Она убить способна, если ее разбудить так рано.

— Ну, подсуну ей записку под дверь.

— Нет, нет, я не хочу.

— А что тут особенного?

— Я не хочу. Слышишь? Я не хочу!

— Но как же я тебя оставляю одну?

— Знаешь, смешно сказать, но мне уже лучше. Должно быть, оттого, что я покричала на тебя. Честное слово, лучше.— В доказательство она поднялась и накинула халат. Вид у нее и в самом деле был немного лучше.

— Родная, ты просто чудо.

Я порезался во время бритья и сошел к завтраку с платкой из туалетной бумаги на подбородке.

Когда я проходил мимо дома Филлипсов, Морфи с его неизменной зубочисткой не было на крыльце. Тем лучше. Мне не хотелось с ним встречаться. На всякий случай я ускорил шаг, чтобы он не нагнал меня по дороге.

Отпирая боковую дверь, я увидел подсунутый под нее желтоватый банковский конверт. Он был запечатан, а бумага, которая идет на банковские конверты, плотная, не разорвешь. Пришлось достать ножик из кармана.

Три листка из пятицентовой школьной тетрадки в линейку, исписанные простым мягким карандашом. Завещание: «Находясь в здравом уме и твердой памяти... Принимая во внимание изложенное, я...» Долговая расписка: «Обязуюсь уплатить в возмещение своего...» Обе бумаги подписаны, почерк твердый и четкий. «Дорогой Ит, вот то, чего ты хочешь».

Мне показалось, что кожа у меня на лице твердая, как панцирь краба. Я затворил боковую дверь медленным движением, каким затворяют двери склепа. Первые два листка бумаги я тщательно сложил и спрятал в бумажник, а третий — третий я смял в комок, бросил в унитаз и спустил воду. Унитаз у нас старинный, с уступом на дне. Бумажный комок долго вертелся на краю уступа, но в конце концов соскользнул и исчез в трубе.

Выйдя из уборной, я заметил, что наружная дверь чуть-чуть приоткрыта. Мне помнилось, войдя, я плотно затворил ее за собой. Я подошел поближе, но тут надо мной что-то зашуршало, и я поднял голову. Проклятый серый кот забрался на одну из верхних полок и пробовал зацепить лапой подвешенный к потолку окорок. Пришлось мне погоняться за ним с метлой, чтобы выставить его из лавки. Когда он наконец юркнул в дверь, я хотел наподдать ему вслед, но промахнулся и сломал метлу о дверной косяк.

Проповедь консервным банкам в этот день не состоялась. Я не мог подобрать текст. Но зато я принес шланг и тщательно вымыл не только тротуар перед входом, но даже часть канавы. Потом я навел чистоту в лавке, добрался даже до самых дальних закоулков, где пыль и грязь копились месяцами. Я работал и пел:

Зима тревоги нашей позади,
К нам с солнцем Йорка лето возвратилось¹.

Я знаю, что это не песня, но все-таки я ее пел.

¹ Шекспир. Ричард III.



«ЗИМА ТРЕВОГИ НАШЕЙ»



«ЗИМА ТРЕВОГИ НАШЕЙ»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА XI

Нью-Бэйтаун — живописное местечко. Его обширная когда-то гавань защищена от резких северо-восточных ветров островом, который тянется параллельно суше. Сам городок раскинулся по берегам сети узких заливов, куда течение гонит из гавани морскую волну. Здесь не знают скученности и суеты большого города. За исключением особняков, некогда принадлежавших богатым китоловам, дома здесь невысокие, хотя и ладные, а вокруг них пышно разрослись вековые деревья, дубы разных пород, клены, вязы, орешник, изредка попадаются кипарисы, но если не считать вязов, посаженных в свое время вдоль первых городских улиц, пресоблаждает все-таки дуб. Когда-то огромные дубы росли в этих краях так вольно и в таком изобилии, что у местных судостроителей всегда был под рукой отличный материал для плавширов, килей, кильсонов и книц.

Людские сообщества, как и отдельные люди, знают периоды здоровья и периоды болезни — знают даже молодость и старость, время надежд и время уныния. Была пора, когда несколько таких городков, как Нью-Бэйтаун, доставляли китовый жир для освещения всему западному миру. Студенты Оксфорда и Кембриджа учились при свете ламп, заправленных горючим, полученным из далеких заокеанских поселений. Потом в Пенсильвании забили нефтяные фонтаны, дешевый керосин — жидкий уголь, как его называли, — вытеснил из обихода китовый жир, и большинству китоловов пришлось удалиться от дел. Нью-Бэйтаун захирел, пал духом — да так и не оправился до сих пор. Соседние города нашли себе новые дела и занятия, но Нью-Бэйтаун, не знавший других источников жизни, кроме китов и китобойного промысла, словно погрузился в оцепенение. Людской поток, змеившийся из Нью-Йорка, обходил Нью-Бэйтаун стороной, предоставляя ему жить воспоминаниями о прошлом. И как водится в таких случа-

ях, обитатели Нью-Бэйтауна внушили себе, что они этим очень довольны. Летом город не наводняли приезжие, от которых только шум и разор, глаза не слепили неоновые вывески, не сыпались всюду туристские денежки, не вертелась пестрая туристская карусель. Лишь немного новых домов прибавлялось на живописных берегах заливов. Но людской поток эмеился неумоно, каждому было ясно, что рано или поздно он захлестнет Нью-Бэйтаун. Местные жители и мечтали об этом и в то же время боялись этого. Соседние города богатели, без счета и меры наживались на туристах, чуть не лопались от своей добычи, их украшали роскошные резиденции новоявленных богачей. В Олд-Бэйтауне процветали художества, керамика и однополая любовь; плоскостопные исчадия Лесбоса плели кустарные коврики и мелкие домашние интриги. В Нью-Бэйтауне говорили о былых временах, о камбале и о том, когда пойдет кумжа.

В зарослях тростника гнездились утки, выводя там целые флотилии утят, рыли свои норы ондатры, ранним утром проворно шнырявшие в воду. Скопа неподвижно парила в воздухе, высматривая добычу, а высмотрев, камнем бросалась на нее; чайки взмывали вверх, держа в когтях раковину венерки или гребешка, и кидали ее с высоты, чтобы разбить створки и съесть содержимое. Иногда пушистой тенью ныряла в воду выдра; кролики браконьерствовали на ближних грядках, и серые белки мелкой зыбью пробегали по улицам городка. Фазаны хлопали крыльями, подавая свой хриплый голос. Голубые цапли замирали у отмелей, похожие на двуногие рапиры, а по ночам слышался тоскливый крик выпи, точно стон нераскаянной души.

Весна в Нью-Бэйтауне поздняя, и лето наступает тоже поздно, принося с собой совсем особенные звуки, запахи и веяния, диковатые и нежные. В начале июня, когда распахнется зеленый мир листьев, трав и цветов, сегодняшний закат не похож на вчерашний. По вечерам перепелки выкликают свое «пить-пора, пить-пора», а ночная темнота вся наполнена жалобами козодоя. Дубы разбухают от листвы и роняют в траву длинные кисточки соцветий. Городские собаки стаями совершают экскурсии в лес и по нескольку дней пропадают там, одурев от восторга.

В июне мужчина, повинувшись инстинкту, косит траву, бросает семена в землю и ведет нескончаемую войну с кротами и кроликами, с муравьями, жучками и птицами, со всеми, кто посягает на плоды его трудов. А женщина смо-

трет на кудрявые лепестки розы и вздыхает, оттаивая душой, и кожа у нее становится как лепесток, а глаза — как тычинки.

Июнь — веселый месяц, прохладный и теплый, влажный и звонкий, месяц, когда все идет в рост и все старее повторяется в новом, сладость и отравы, созидание и пагуба. По Главной улице бродят, взявшись за руки, девушки в узких брючках, и крохотный радиоприемник, прижатый к плечу, напевает им на ухо любовные песни. В кафе-мороженом Тэнджера сидят на высоких табуретках юноши, полные сил, потягивая через соломинки залог будущих прыщей. Они смотрят на девушек козлиным взглядом и отпускают пренебрежительные шуточки на их счет, а у самих скулит нутро от любовного томления.

В июне почтенный делец завернет к «Элу и Сьюзен» или в «Фок-мачту» выпить кружку холодного пива, заодно соблазнится стаканчиком виски, и там, глядишь, и напьется среди бела дня. И так же среди бела дня то одна, то другая запыленная машина воровато пробирается к неказистому дому с наглухо закрытыми ставнями, что стоит на отшибе в конце Мельничной улицы: там Элис, городская шлюха, разрешает послеполуденные сомнения ужаленных июнем мужчин. А за волнорезом весь день покачиваются стоящие на якоре лодки, и повеселевшие люди выпрашивают себе у моря пропитание.

Июнь — месяц ремонта и стройки, планов и замыслов. Редко кто не тащит к себе в дом цементные блоки и всякую строительную мелочь и не рисует на старых конвертах нечто, напоминающее Тадж-Махал. Десятки лодок лежат на берегу кверху килем, блестя свежей краской, а хозяева их, распрямив спину, любят свою работу. Правда, школа еще крепко держит в узде непокорных ребятишек, но бунт накипает, и когда подходит время экзаменов, вспыхивает эпидемия простуды, свирепствующая вплоть до первого дня каникул.

В июне прорастает сладостное семя лета. «Куда мы поедим на Четвертое июля?.. Пора уж нам подумать, как мы проведем каникулы». Июнь — мать сокрытых возможностей и опасностей: храбро плывут утята, не видя под водой разинувшей пасть черепахи, салат зеленеет, подстерегаемый засухой, помидоры тянутся вверх, пока не добралась до них гусеница совки, отцы и матери семейств, размечтавшись о горячем песке и загаре, забывают бессонные ночи, звенящие музыкой комаров. «Уж в этом-то году я отдохну. Не измотаюсь, как в прошлом. Не дам ребятишкам устро-

ить мне вместо отпуска двухнедельный ад на колесах. Я весь год тружусь. Эти две недели мои. Я весь год тружусь». Перед радужными перспективами отдыха бледнеют воспоминания, и кажется, что все к лучшему в этом лучшем из миров.

Нью-Бэйтаун долгое время пребывал в спячке. Те, что правили им — его политикой, моралью, экономикой, — правили так давно, что заведенный ими порядок успел окостенеть. Мэр, муниципалитет, судьи, полицейские — все были бессменны. Мэр продавал городу ненужное оборудование, судьи отменяли штрафы за нарушение уличного движения и за столько лет успели даже забыть, что это противоречит закону — его букве, во всяком случае. Будучи нормальными людьми, они не видели в своих действиях ничего безнравственного. Люди все нравственны. Безнравственны только их ближние.

Яркие дни веяли уже теплым дыханием лета. На улицах появились приезжие — из тех, у кого нет детей и кто может рано начать свой летний отдых, не дожидаясь школьных каникул. Они ехали на машинах с прицепами, погрузив туда лодки и навесные моторы. Они заходили в лавку, и Итен не глядя мог определить в них отпускников по их покупкам — антрекоты, плавленый сыр, крэкеры и сардины в банках.

Джой Морфи зашел выпить холодной кока-колы, он теперь делал это каждый день, с тех пор как установилась теплая погода.

— Вам бы надо завести сатуратор, — сказал он, махнув бутылкой в сторону холодильника.

— А заодно отрастить еще две пары рук или раздвоиться, как гороховый стручок. Вы забываете, кум Джой, что не я тут хозяин.

— И очень плохо, что не вы.

— Желаете выслушать печальную повесть об упадке королевского рода?

— Знаю я вашу повесть. Не умели отличить дебет от кредита в счетной книге. Пришлось в поте лица постигать премудрости двойной бухгалтерии. Но ведь постигли же в конце концов.

— Много мне от этого пользы.

— Будь лавка ваша, вы наживали бы большие деньги.

— Но она не моя.

— Если б вы открыли свою по соседству, все покупатели перешли бы к вам.

— Почему вы так думаете?

— Люди охотнее покупают у того, кого знают. Это называется репутация фирмы, и она всегда помогает делу.

— Как видно, не всегда. Меня и раньше знал весь город, что не помешало мне обанкротиться.

— Это совсем другой вопрос. Вы не умели обращаться с поставщиками.

— Может, я и сейчас не умею.

— Нет, умеете. Вы даже сами не заметили, как научились. Но беда в том, что вы и сейчас смотрите на жизнь глазами банкрота. Нельзя так, мистер Хоули. Нельзя так, Итен.

— Спасибо.

— Я вам желаю добра. Когда Марулло уезжает в Италию?

— Еще не знаю. Скажите мне, Джой, он очень богат? Впрочем, нет, не говорите. Вам не полагается рассказывать о делах клиентов.

— Для друга можно сделать исключение из правила. Я не все его дела знаю, но, судя по его банковскому счету, он безусловно человек богатый. А кроме того — во что только у него не вложены деньги! И недвижимость в разных местах, и свободные земельные участки, и дачи на взморье, и солидная пачка закладных, такая, что одной рукой не удержишь.

— Это-то вам откуда известно?

— Он у нас абонирует сейф — из тех, что побольше. Один ключ у него, а другой у меня. Каюсь, я нет-нет да и загляну одним глазком. Природное любопытство, что поделаешь.

— Но он не замешан в каких-нибудь темных делах? Ну там торговля наркотиками или вымогательство — знаете, о чем постоянно пишут в газетах.

— Не могу сказать наверняка. Он ведь нам не докладывает. Какие-то суммы берет, какие-то вносит время от времени. И потом, я же не знаю, где он еще держит деньги. Заметьте, я вам не называл никаких цифр.

— А я вас и не просил об этом.

— Хочется пива. У вас пива нет, Итен?

— Только в консервах — навынос. Но я могу открыть и дать вам бумажный стакан.

— Я не хочу, чтобы вы из-за меня нарушали закон.

— Ерунда. — Итен проткнул крышку консервной банки. — Если кто войдет, спрячьте за спину, вот и все.

— Спасибо. Я о вас часто думаю, Итен.

— Почему?

— Может быть, потому, что вообще люблю совать нос в чужие дела. Неудача действует на психику. Это как те ямки-ловушки, что выкапывает в песке муравьиный лев. Скользишь и скользишь вниз, и нужно большое усилие, чтобы выбраться. Но вы должны сделать это усилие, Ит. Раз выбравшись, вы почувствуете, что успех тоже действует на психику.

— И это тоже ловушка?

— Может быть, но приятная.

— А что если человек выберется из ямки, а другой в нее угодит?

— Без Божьей воли и малая пташка не упадет на землю.

— Никак не пойму, что вы мне, собственно говоря, советуете.

— Я и сам не пойму. Понимал бы, так, может, самому бы пригодилось. Банковские кассиры не выходят в президенты. А вот тот, у кого хоть грош капитала, может выйти. В общем, вот мой совет: есть случай — не упускайте его. Другой может не подвернуться.

— Вы философ, Джой. Философ-финансист.

— А вы не смейтесь. Чего не имеешь, о том и думаешь. Одиночество располагает к раздумьям. Говорят, большинство людей на девяносто процентов живет в прошлом, на семь в настоящем, и, значит, для будущего остается только три процента. Умней всех об этом сказал старый Сэтчел Пейдж: «Не оглядывайтесь назад. Может быть, за вами погоня». Ну, мне пора. Мистер Бейкер завтра едет в Нью-Йорк на несколько дней. У него хлопот полон рот.

— Каких таких хлопот?

— Не могу знать. Но я разбираю почту. Последнее время он получает много писем из Олбани.

— Политика?

— Я только разбираю почту. Я ее не читаю. Что, у вас всегда так тихо?

— В это время дня всегда. Минут через десять за-тишье окончится.

— Ага, видите! Вот что значит опыт. Пари держу, до своего банкротства вы этого не знали. Ну, до скорого. Помните же: на Бога надейся, а сам не плошай.

От пяти до шести торговля, по обыкновению, шла бойко. Город жил уже по летнему времени, переведя стрелки на час вперед, и когда Итен, внеся с улицы лотки с фруктами, запер дверь и опустил зеленые шторы, солнце

еще стояло высоко над горизонтом и было совсем светло. Он собрал по списку продукты для дома и уложил их в большую бумажную сумку. Потом снял фартук, надел плащ и шляпу и, взгромоздясь на прилавок, оглядел свою паству, безмолвствовавшую на полках.

— Никаких проповедей! — сказал он. — Просто запомните слова Сэтчела Пейджа. Надо, видно, и мне взять себе за правило: не оглядываться назад.

Он достал из бумажника линованные странички и вложил их в пакетик из воощеной бумаги. Потом, открыв белую эмалированную дверцу холодильника, засунул скользкий пакетик в глубину, за компрессор, и снова захлопнул дверцу.

В ящике под кассой он разыскал пыльную, захватанную телефонную книгу Манхэттена, хранившуюся там на случай каких-нибудь срочных заказов поставщикам. Буква «С», Соединенные Штаты, департамент юстиции... Он вел пальцами вниз — вдоль длинного столбца названий, пока не дошел до Службы иммиграции и натурализации — БА 7-0300, веч. суб. вскр. праздн. ОЛ 6-5888.

Он сказал вслух:

— ОЛ 6-5888 — ОЛ 6-5888, звонить вечером просим. — И добавил, обращаясь к консервным банкам, но не глядя на них: — Если все честно и в открытую, никому вреда не будет.

Итен вышел из лавки через боковую дверь и запер ее за собой. Держа в руке сумку с продуктами, он направился через улицу к подъезду, над которым красовалась вывеска: «Отель и ресторан «Фок-мачта». В ресторане толпились любители коктейлей, но в маленьком вестибюле, где стояла телефонная будка, не было никого, даже портье. Он затворил за собой стеклянную дверь, поставил сумку на пол, высыпал на полочку всю свою мелочь, нашел десятицентовую монетку и, опустив ее в щель, набрал 0.

— Вас слушают.

— Коммутатор? Мне нужно поговорить с Нью-Йорком.

— Пожалуйста. Наберите номер.

И он набрал номер.

Итен пришел домой с полной сумкой продуктов. Хорошо, когда вечер такой длинный! Он шел, приминая подошвами пышно разросшуюся траву газона. Войдя, он смачно поцеловал Мэри.

— Лапка,— сказал он,— газон в невозможном виде. Что, если послать Аллена подстричь его?

— Право, не знаю. Уж очень сейчас горячее время — конец года, экзамены.

— А что это за отвратительное карканье несется из гостиной?

— Аллен упражняется в чревовещании. Он будет выступать на заключительном вечере в школе.

— Да, придется мне, видно, самому подстригать газон.

— Не сердись, милый. Ты же знаешь детей.

— Начинаю узнавать понемножку.

— Ты не в духе? Был трудный день?

— Как тебе сказать. Пожалуй, нет. Но я с утра на ногах, и перспектива топтаться по газону с косилкой не приводит меня в восторг.

— Хорошо бы нам иметь мотокосилку. Вот как у Джонсонов — садишься и едешь.

— Хорошо бы нам иметь садовника или еще лучше двух. Как у моего деда. Садишься и едешь! Да, с такой косилкой Аллен, может, и согласился бы подстригать газон.

— Не придирайся к мальчику. Ему всего четырнадцать лет. Они все такие.

— Кто это придумал, что дети — радость родителей?

— Конечно же, ты не в духе.

— Как тебе сказать. Может быть. А это карканье меня приводит в бешенство.

— Аллен упражняется.

— Это я уже слышал.

— Пожалуйста, не вымещай на нем свое дурное настроение.

— Постараюсь. Хотя это, в общем, было бы невредно.

Итен толкнул дверь в гостиную, где Аллен выкрикивал какие-то искаженные до неузнаваемости слова, держа во рту маленькую трубочку вроде свистульки.

— Что это такое?

Аллен выплюнул трубочку на ладонь.

— Это чревовещание. Помнишь, ты мне принес коробку «Пикса»?

— А ты его уже съел?

— Нет. Я не люблю корнфлекс. Ну, папа, мне надо упражняться.

— Успеешь.— Итен сел в кресло.— Что ты думаешь о своем будущем?

— О чем?

— О будущем. Разве вам в школе не говорят о таких вещах? Что будущее в ваших руках?

Эллен успела проскользнуть в комнату и клубочком, по-кошачьи свернувшись на диване. Она тотчас же отозвалась журчащим смешком, в котором было спрятано стальное лезвие.

— Он хочет попасть на телевидение,— сказала она.

— А что, один мальчишка, ему всего тринадцать лет, выиграл в телевикторину сто тридцать тысяч долларов.

— А потом оказалось, что это все было подстроено,— заметила Эллен.

— А все равно сто тридцать тысяч у него остались. Итен спросил негромко:

— Моральная сторона дела тебя не беспокоит?

— Чего там, когда столько денег.

— Ты, значит, не считаешь это нечестным?

— Подумаешь, все так делают.

— А ты слыхал о тех, кто предлагает себя на серебряном блюде и не находит охотников? Это значит — ни чести, ни денег.

— Что ж, риск всегда есть. Когда режут пирог, хорошо тому, с чьей стороны он крошится.

— Ах вот как,— сказал Итен.— Чем философствовать, ты бы лучше последил за своими манерами. Как ты сидишь? Сядь прямо!

Мальчик вздрогнул, посмотрел на отца, как бы желая удостовериться, что он не шутит, потом выпрямился с обиженным видом.

— Как у тебя дела в школе?

— Нормально.

— Я не понимаю, что это значит. Хорошо или плохо?

— Ну, хорошо.

— А нельзя ли без «ну»?

— Хорошо.

— Ты собирался писать сочинение на тему о своей любви к Америке. Судя по твоей готовности погубить Америку, ты, видно, передумал.

— Как это — погубить?

— Разве можно любить по-честному, поступая нечестно?

— Да ну, папа, все так делают.

— По-твоему, это меняет суть дела?

— Ничего тут такого нет. А сочинение я уже написал.

— Отлично, дашь мне прочесть.

— Я его уже отправил.

— Но копия у тебя, вероятно, осталась?

— Нет.

— А если оно пропадет?

— Я как-то не подумал. Папа, все мальчики летом едут в лагерь, я тоже хочу.

— Это нам не по карману. И далеко не все мальчики едут.

— Эх, были бы у нас деньги.— Он посмотрел на свои руки, лежавшие на коленях, и облизнул губы.

У Эллен, не отводившей от него взгляда, сузились глазки.

Итен внимательно наблюдал за сыном.

— Это можно устроить,— сказал он.

— Что, папа?

— Можешь летом поработать в лавке.

— Как так — поработать?

— То есть ты хочешь знать, что тебе придется делать? Носить товар, расставлять его на полках, подметать пол, а может быть, если я увижу, что ты справляешься,— и с покупателями заниматься.

— Но я хочу ехать в лагерь.

— Ты и сто тысяч выиграть хочешь.

— Может, я получу премию за сочинение. Хоть в Вашингтон тогда поеду. Все-таки разнообразие после целого года учебы.

— Аллен! Существуют неизменные правила поведения, чести, вежливости — вообще всякого проявления себя во вне. Пора научить тебя считаться с ними хотя бы на словах. Возьму тебя в лавку, и будешь работать.

Мальчик поднял голову.

— Не имеешь права.

— Что, что такое?

— Закон о детском труде. До шестнадцати лет даже специального разрешения нельзя получить. Что ж, ты хочешь, чтобы я нарушал закон?

— По-твоему, значит, все дети, которые помогают родителям, наполовину рабы, наполовину преступники? — Гнев Итена был неприкрытым и беспощадным, как любовь. Аллен отвел глаза.

— Я этого не хотел сказать, папа.

— Надеюсь, что не хотел. И другой раз не скажешь. Тебе должно быть стыдно перед двадцатью поколениями Хоули и Алленов. Они все были достойными людьми. Когда-нибудь, может, и ты таким будешь.

— Да, папа. Можно, я пойду к себе, папа?

— Ступай.

Аллен медленно побрел к лестнице.

Как только за ним закрылась дверь, Эллен задрогала ногами в воздухе. Но тут же выпрямилась и чинно, благонаправно одернула юбку.

— Я читала речи Генри Клея¹. Вот умел говорить.

— Еще бы.

— Ты помнишь эти речи?

— Не так уж хорошо, пожалуй. Я ведь их читал давно.

— Мне понравилось.

— Я бы сказал, это все же чтение не для школьников.

— А мне очень понравилось.

Итен поднялся с кресла, преодолевая тяжесть долгого, утомительного дня.

В кухне он застал Мэри, сердитую и заплаканную.

— Я все слышала,— сказала она.— Ты просто сам не знаешь, что говоришь. Ведь он еще ребенок.

— Вот и хорошо, а то потом поздно будет, голубка моя.

— Пожалуйста, без голубок. Я не позволю тебе тиранить детей.

— Тиранить? О господи!

— Он еще ребенок. Что ты вдруг напал на него?

— Ничего, ему это на пользу.

— Не знаю, о какой пользе ты говоришь. Раздавил мальчика, как козявку.

— Ты не права, родная. Я просто хочу, чтобы он увидел жизнь, как она есть. А то у него складывается ложное представление о ней.

— А кто ты такой, чтобы судить о жизни?

Итен молча пошел к выходу.

— Куда ты?

— Подстригать газон.

— Но ведь ты же устал.

— Я уже отдохнул.— Он через плечо оглянулся на Мэри, стоявшую у двери в гостиную.— Трудно людям понять друг друга,— сказал он и на мгновение улыбнулся ей уже с порога.

Через минуту со двора донесся стрекот косилки, врезающейся в мягкую, густую траву.

Звук приблизился к двери и затих.

— Мэри,— позвал Итен,— Мэри, голубка, я люблю тебя.— И косилка снова застрекотала, энергично выравнивая разросшийся газон.

¹ Известный американский политический деятель и оратор (1777—1852).

ГЛАВА XII

Марджи Янг-Хант была привлекательная женщина, начитанная, умная, настолько умная, что знала, когда и как маскировать свой ум. Ей не повезло с мужьями: один оказался слаб, второй еще слабее — умер. Романы давались ей не легко. Она их создавала сама, укрепляла шаткие позиции частыми телефонными звонками, письмами, поздравительными открытками, тщательно подстроенными случайными встречами. Она варила бульон больным и помнила все дни рождения. Этим она не давала людям забыть о себе.

Ни одна женщина в городе не заботилась так об отсутствии живота, о чистоте и гладкости кожи, белизне зубов, округлой линии подбородка. Львиную долю ее средств поглощал уход за ногтями и волосами, массаж, кремы и притирания. Женщины говорили: «Она гораздо старше, чем кажется».

Когда, несмотря на кремы, массаж и гимнастику, ее груди потеряли упругость, она заковала их в гибкую броню, и они торчали высоко и задорно, как прежде. Ее грим отнимал все больше времени и труда. Ее волосы обладали тем блеском, отливом и волнистой пышностью, которую обещает телевизионная реклама косметических фирм. Гуляя, обедая, танцуя с очередным кавалером, она была весела, остроумна, опутывала кавалера тонкой, но прочной сетью — и кто бы мог догадаться, как скучно ей в который уже раз пускать в ход испытанные приемы. После затраты некоторого времени и денег дело обычно кончалось постелью — если обстоятельства позволяли. А потом снова следовало закрепление позиций. Рано или поздно постель должна была послужить капканом, который, захлопнувшись, гарантировал бы ей покой и благополучие в будущем. Но намеченная добыча всякий раз ускользала из стеганой шелковой ловушки. Кавалеры все больше попадались женатые, хворые или чересчур осмотрительные. И никто лучше самой Марджи не знал, что время ее уже на исходе. Ей самой ее старинные карты не могли посулить ничего утешительного.

Марджи знала многих мужчин, и среди них были люди, угнетенные чувством вины, уязвленные в своем честолюбии или просто отчаявшиеся; оттого у нее постепенно выработалось чувство презрения к объекту, как у профессиональных истребителей паразитов. Таких людей нетрудно было пронять, действуя на их трусость или честолюбие.

Они сами напрашивались на обман, и потому с ними она не испытывала торжества, а лишь нечто вроде брезгливой жалости. Это были ее друзья, ее сообщники. Из сострадания она даже не позволяла им обнаружить, что они для нее друзья. Она давала им лучшее, что в ней было, потому что они не требовали от нее ничего. И она держала в тайне свои отношения с ними, в глубине души сама себя не одобряя. Так было у нее с Дэнни Тейлором, так было с Альфио Марулло, с начальником полиции Стонуоллом Джексон Смитом и с некоторыми другими. Они доверяли ей, а она — им, и тайный факт их существования был тем уголком, где она могла иногда отогреться и отдохнуть от притворства. Эти друзья разговаривали с ней откровенно и без страха, для них она была чем-то вроде андерсеновского колодца — слушателем внимательным, неосуждающим и безмолвным. У большинства людей есть скрытые пороки, у Марджи Янг-Хант была тщательно скрываемая добродетель. Может быть, именно в силу этого обстоятельства ей было известно больше, чем кому-либо о делах Нью-Бэйтауна и даже Уэссекского округа, и то, что она знала, так при ней и оставалось — должно было оставаться, ибо никакой выгоды для себя она из этого извлечь не могла. В других случаях у Марджи ничего даром не пропадало.

Замысел относительно Итена Аллена Хоули возник у нее случайно, от нечего делать. Отчасти Итен был прав, подозревая ее в коварном желании испытать на нем свою женскую силу. Из тех унылых мужчин, что искали у нее поддержки и утешения, многие были стреножены чувством неполноценности, не могли освободиться от сексуальных травм, омрачавших и прочие стороны их жизни. С ними ей было легко: немножко лести, вовремя сказанное ободряющее слово — и они уже готовы были к новому бунту против супружеского ярма. Дружба с Мэри Хоули — кстати, вполне чистосердечная — постепенно привлекла ее внимание к Итену, человеку, страдавшему от травмы иного рода, жертве социально-экономической неудачи, подорвавшей его силы и уверенность в себе. В ее пустой жизни, без дела, без любви, без детей, явился вдруг интерес: вылечить душевное увечье этого человека, поставить перед ним новую цель. Это была игра, нечто вроде головоломки, задача, которую ей захотелось решить не столько из добрых чувств, сколько из любопытства и от скуки. Итен был головой выше всех ее мужчин. Взяв его под свое начало, она возвысилась бы в собственных глазах, а это ей было очень и очень нужно.

Вероятно, только она одна видела всю глубину совершившейся в Итене перемены, и ей было страшно, потому что виновницей этой перемены она считала себя. У мыши отрастала львиная грива. Марджи видела, как твердеют мускулы под тканью рукавов, как в глазах откладывается беспощадность. Так, должно быть, чувствовал себя кроткий Эйнштейн, когда выношенная им мысль о природе материи огненной шапкой накрыла Хиросиму.

При всем своем расположении к Мэри Хоули Марджи не испытывала к ней ни сочувствия, ни жалости. Женщины легко мирятся с невзгодами, особенно если они выпадают на долю других женщин.

Крохотный чистенький домик близ Старой гавани белел в оправе большого запущенного сада. Там Марджи Янг-Хант, склонившись к туалетному зеркалу, проверяла свое оружие и сквозь крем, пудру, цветные тени на веках и тушь ресниц видела замаскированные морщинки, одряблевшую кожу. Годы подступали, как волны прилива, даже в тихую погоду захлестывающие прибрежные скалы. У зрелости есть свой арсенал, свои средства обороны, но их применение требует особых знаний и навыков, которыми она еще не успела овладеть. Надо поторопиться с этим, пока не обрушилась декорация жизнерадостной молодости, выставив ее всем напоказ, голую, жалкую и смешную. Секрет ее успеха был в том, что она никогда не позволяла себе распускаться, даже наедине с собой. Сейчас, сидя перед зеркалом, она в виде опыта дала на миг обвиснуть углам рта, приспустила веки. Слегка пригнула голову, и под обычно вздернутым подбородком обозначилась мятая складочка, похожая на след от веревки. Сразу изображение в зеркале постарело на двадцать лет, и она содрогнулась от леденящего предчувствия. Слишком долго она оттягивала срок. Женщине требуется специально оформленная витрина, где бы она могла стариться, свет, бутафория, черный бархат, на фоне которого можно спокойно сесть и толстеть, хихикать и жадничать, ей нужны дети, любовь, забота, солидный, нетребовательный муж или еще более нетребовательная и солидная вдовья часть в банке. Женщина, старящаяся в одиночестве, — никому не нужная ветошь, жалкая развалина, если нет хотя бы дряхлых домочадцев, которые бы клохтали и охали над ней, растирая больные места.

К горлу вдруг подкатил горячий комок страха. С первым мужем ей посчастливилось в одном. Он был слаб, и она научилась играть на его слабости. Его безответное обожа-

ние было так велико, что, когда она захотела с ним развестись, он не оговорил себе права прекратить выплату алиментов в случае ее вторичного замужества.

Второй муж думал, что у нее есть свой капитал, да так оно, в сущности, и было. Умирая, он не оставил ей почти ничего, но благодаря алиментам от первого мужа она жила без нужды, хорошо одевалась и делала, что хотела. Но что, если первый муж умрет! Вот откуда был этот комок страха. Вот откуда брался кошмар, преследовавший ее днем и ночью: ведь каждый месячный чек мог оказаться последним.

В январе она повстречала его на просторном перекрестке Мэдисон-авеню и Пятьдесят седьмой улицы. Он постарел и похудел. Мысль о бренности его существования не давала ей покоя. Если старый хрыч умрет, перестанут поступать деньги. Пожалуй, она была единственным человеком на свете, который от всей души молился о его здравии.

И вот сейчас это изможденное, немое лицо с потухшими глазами всплыло на экране ее памяти и подтолкнуло горячий комок к горлу. Если эта скотина умрет...

Марджи на мгновение замерла у зеркала и, собрав всю волю, метнула ее, как дротик. Подбородок вздернулся, складки как не бывало, глаза заблестели, кожа плотно прилегла к черепу, плечи распрямились. Она вскочила и стремительно вальсом прошла по ворсистому красному ковру. На босых ногах ногти алели лаком. Спешить, спешить, торопиться, пока не поздно.

Она распахнула дверцы стенного шкафа, схватила платье из мягкой, соблазнительной ткани, припасенное для праздника Четвертого июля, туфли на каблуках-гвоздиках, незаметные глазу чулки-паутинки. От вялости не осталось и следа. Она одевалась с деловитой быстротой мясника, оттачивающего нож перед началом работы, для проверки порой оглядывая себя в зеркало, как мясник пробует пальцем остроту лезвия. Поскорей, но не наспех, поскорей — ведь мужчины не любят ждать, — а потом перейти на размеренную небрежность эlegantной, шикарной, уверенной в себе светской дамы со стройными ножками, в безукоризненных белых перчатках. Ни один мужчина не проходил мимо, не оглянувшись на нее. Шофер фирмы «Миллер и братья» даже присвистнул, проезжая на трехтонке, груженной досками, а два юнца-старшекласника сощурили узкие, как у Родольфо Валентино, глаза и, разинув рот, судорожно глотнули слюну.

— Ничего, а? — спросил один.

А другой только выдохнул:

— Йэхх!

— Хотел бы ты...

— Йэхх!

Даме просто так по улице расхаживать не положено — в Нью-Бэйтауне по крайней мере. Дама должна куда-то направляться, иметь перед собой цель, пусть хоть самую пустяковую. Отмечая пунктиром шагов тротуар Главной улицы и раскланиваясь со знакомыми, Марджи почти машинально давала каждому оценку в уме.

Мистер Холл — живет в кредит, и уже не первый год.

Стони — крепкий мужчина, без оговорок, но какая женщина может прожить на оклад или пенсию полицейского? К тому же он из числа друзей.

Гарольд Бек — у этого собственный дом и даже еще кое-какая недвижимость, но он тронутый, это все знают, кроме разве его самого.

Макдоуэлл — «Давно вас не видела, сэр. Как Милли?» Нет, невозможно — шотландец, скуп, ни на шаг от больной жены, а она из тех больных, что живут вечно. При том скрытен. Его финансовые дела — тайна для всех.

Дональд Рэндолф со своим томным взором — незаменимый партнер для коктейля, джентльмен до мозга костей, даже в пьяном виде, но в мужья не годится, разве если мечтаешь о семейном уюте за стойкой бара.

Гарольд Люс — говорят, он в родстве с издателем журнала «Тайм», но ведь кто это говорит? Он сам. Угрюмый человек с репутацией умницы, основанной на его неумении связать два слова.

Эд Уонтонер — враль, плут и на руку нечист. По слухам, ухитрился сколотить капиталец, и жена у него одной ногой в могиле, но Эд никому не доверяет. Даже пса своего держит на цепи — из недоверия, чтобы не убежал.

Пол Стрэйт — главарь местных республиканцев. Жену его зовут Беттерфляй, и это не прозвище. Беттерфляй, так она и наречена при крещении. Пол тогда в силе, когда в штате Нью-Йорк губернатор — республиканец. Он владелец городской свалки и берет за вывозку мусора по двадцать пять центов с бака. Говорят, когда на свалке развелось столько крыс, что это грозило бедствием городу, Пол выдавал желающим платные разрешения на отстрел, а также предоставлял напрокат карманные фонари и винтовки с патронами. Он до того похож на нынешнего президента, что многие называли его Айком. Но Дэнни Тейлор как-то

под пьяную руку окрестил его Непрекрасным Полом, так оно и пошло. Теперь за глаза его и не зовут иначе.

Марулло — что-то он совсем плох последнее время. В лице ни кровинки. А глаза — как у человека, получившего крупнокалиберную пулю в живот. Прошел мимо собственной лавки и не оглянулся. Марджи круто свернула и вошла в лавку, пружиня подбористым задом.

Итен разговаривал с каким-то моложавым брюнетом в модных брюках и шляпе с узкими полями. Лет под сорок, подтянутый, крепкий, деловито сосредоточенный. Он стоял, далеко перегнувшись через прилавок, словно хотел посмотреть, нет ли у Итена налетов в горле.

Марджи сказала:

— Привет! Я вижу, вы заняты. Зайду попозже.

Если женщине некуда девать время, проще всего зайти в банк: там всегда найдутся дела, пустые, но вполне оправданные. Марджи перешла на другую сторону и вступила под своды из мрамора и нержавеющей стали.

Джой Морфи, увидя ее, засиял во всю решетку кассового окошка. Сплошная улыбка, сплошное добродушие, сколько угодно развлечений и никаких матримониальных перспектив. Марджи правильно считала его прирожденным холостяком, который умрет, но своей природе не изменит. Двухспальная могила не для Джоя.

— Скажите, сэр, есть у вас парные, свежие деньги?

— Прошу прощения, мэм, сейчас взглянем. Вроде бы где-то были. Сколько прикажете отпустить?

— Шесть унций, если можно.— Она достала чековую книжку из белой лайковой сумочки и выписала чек на двадцать долларов.

Джой рассмеялся. Марджи ему нравилась. Время от времени, не слишком часто, он приглашал ее пообедать, а потом спал с ней. Но он ценил в ней и собеседницу, понимающую шутку.

Он сказал:

— Миссис Янг-Хант, вы мне напомнили одного знакомого, который в Мексике был сподвижником Панчо Вильи¹. Знаете такого?

— Понятия не имею.

— Ну, неважно. Он мне рассказывал такой анекдот. Когда Панчо попал на север, он завел станок и печатал сам деньги, бумажки по двадцать песо. Напечатал такую

¹ Один из популярных руководителей партизанского движения мексиканских крестьян начала XX века.

тму, что его люди их считать перестали. Тем более что в счете были не слишком сильны. Брали их на вес.

Марджи сказала:

— Джой, вы никак не можете без личных воспоминаний.

— Что вы, миссис Янг-Хант, побойтесь Бога. Я тогда еще под стол пешком ходил. Это просто анекдот. Так вот является раз к нему аппетитная такая дамочка, хоть из краснокожих, но аппетитная, является и говорит: «Мой генерал, вы казнили моего мужа и оставили меня вдовой с пятью детьми, разве ж так делают народную революцию?» Панчо ей подвел баланс, вот как я сейчас.

— У вас нет закладных, Джой.

— Знаю. Но ведь это анекдот. Панчо, значит, говорит адъютанту: «Отвесить ей пять кило денег!» Вышла целая кипа бумаги. Перевязали ей эту кипу проволокой, и дамочка потащила ее домой. Вдруг подходит к Панчо лейтенант, руку под козырек и докладывает: «Мой генерал («ми грал» по-ихнему), а ведь мы ее мужа не расстреляли. Он был пьян. Мы его пока посадили в каталажку». А Панчо все глядел дамочке вслед. Услышал он это и говорит: «Сейчас же ставьте его к стенке. Нельзя обманывать бедную вдову».

— Джой, вы невозможный человек.

— А между прочим, анекдот основан на истинном происшествии. Я в это верю.— Он повертел в руках ее чек.— Вам какими купюрами — по двадцать, по пятьдесят, по сто?

— Четвертаками, если можно.

Им было весело друг с другом.

Из-за двери с матовым стеклом выглянул мистер Бейкер.

Тут тоже таилась возможность. В свое время мистер Бейкер делал ей авансы в виде невинных по форме, но многозначительных по содержанию любезностей. А мистер Бейкер — это мистер Доллар. Он, правда, был женат, но Марджи хорошо знала Бейкеров этого грешного мира. Если им чего-нибудь хочется, за моральным оправданием дело не станет. Очень хорошо, что она его тогда отшила. Таким образом, он еще не скинут со счетов.

Она спрятала в сумочку четыре пятидолларовые бумажки, полученные от Джоя, и уже двинулась было навстречу седовласому банкиру, но в это время давешний собеседник Итена вошел в банк, не спеша прошел мимо нее, предъявил

карточку и был приглашен в кабинет министра Бейкера. Дверь за ним затворилась.

— Ну, прощайте,— сказала Марджи.

— Грустно слышать такие слова, тем более из самых прелестных уст в Уэссексе,— ответил Джой.— А может быть, встретимся сегодня вечером? Пообедаем, потанцуем и так далее?

— Сегодня я занята,— возразила она.— Что это за тип?

— Первый раз его вижу. Похож на банковского ревизора. Когда я смотрю на такую физиономию, я всегда думаю: хорошо, что я честный человек, и еще лучше — что я усвоил четыре правила арифметики.

— Знаете, Джой, от такого мужа, как вы, даже ангел сбежал бы.

— На том стоим, сударыня.

— Ну, пока.

Она вышла, вернулась к лавке Марулло и заглянула в дверь.

— Привет, Итен.

— Здравствуйте, Марджи.

— Кто был этот прекрасный незнакомец?

— А где же ваш магический кристалл?

— Тайный агент?

— Хуже. Интересно, почему все так боятся полиции? Даже если за тобой никакой вины нет, все равно, увидишь полицейского, и сразу тебе делается неуютно.

— А что, разве этот кучерявый херувимчик шпик?

— Не совсем, но около того. Из Федерального бюро, говорит.

— Что вы натворили, Итен?

— Натворил? Я? Почему «натворил»?

— А что ему нужно?

— Я знаю только, о чем он меня спрашивал, а что ему нужно, я не знаю.

— А о чем он спрашивал?

— Давно ли я знаю Марулло. Кто здесь еще его знает. С какого времени он живет в Нью-Бэйтауне.

— Что же вы отвечали?

— Когда я уходил на фронт, его здесь не было. Когда я вернулся, я его встретил здесь. Когда я обанкротился, он стал хозяином лавки и взял меня к себе на службу.

— Как вы думаете, что бы это значило?

— Бог его знает.

Марджи старалась не смотреть ему в глаза. Она думала: прикидывается простачком. Любопытно, зачем, в самом деле, приходил этот тип.

Он вдруг сказал так просто, что она даже испугалась:

— Вы мне не верите, Марджи. Странное дело, когда говоришь правду, тебе никто не верит.

— Правда бывает разная, Ит. Если у вас курица на обед, все едят курятину, но одним достается белое мясо, а другим темное.

— Пожалуй, верно. Честно говоря, Марджи, меня это встревожило. Я дорожу своим местом. Если что-нибудь стрясется с Альфио, я лишусь работы.

— У вас ведь скоро будет много денег, забыли?

— Как-то трудно держать это в уме, пока их нет.

— Итен, я вам хочу кое-что напомнить. Дело было весной, перед самой Пасхой. Я заходила в лавку, и вы меня называли дочерью иерусалимской.

— Да, это было в Страстную пятницу.

— Значит, не забыли. Так вот я теперь знаю. Это от Матфея. Красиво — и жутковато.

— Да.

— А с чего это вы вдруг?

— Тетушка Дебора виновата. Она меня регулярно раз в год распинала. Так оно и продолжается до сих пор.

— Вы шутите. А тогда вы не шутили.

— Не шутил. И сейчас не шучу.

Она сказала весело:

— А знаете, мои предсказания, кажется, начинают сбываться.

— Да, кажется.

— Выходит, вы передо мной в долгу.

— Согласен.

— Когда же думаете расплачиваться?

— Не угодно ли пройти со мной в кладовую?

— Не думаю, чтобы из этого что-нибудь вышло.

— Вот как?

— Да, Итен, и вы сами этого не думаете. Вы ни разу в жизни не сходили с прямой дорожки.

— Можно попробовать.

— Вы блудить не умеете, даже если бы захотели.

— Можно научиться.

— Научить вас могла бы или любовь, или ненависть. И в том и в другом случае это долго и сложно.

— Может быть, вы и правы. Но откуда вы знаете?

— Так, просто знаю — и все.

Он отворил дверцу холодильника, достал две бутылки кока-колы, открыл и протянул Марджи мгновенно запотевшую бутылку, а сам стал открывать вторую для себя.

— Что же вам от меня нужно?

— У меня еще не было таких мужчин, как вы. Может быть, я хочу испытать, как это, когда тебя так любят или так ненавидят.

— Вы же колдунья. Свистните — и поднимется буря.

— Свистеть я не умею. С другими мужчинами мне довольно поднять брови, чтобы вызвать бурю — маленькую, в стакане воды. А вот как вас зажечь, не знаю.

— Может быть, вы уже зажгли.

Он бесцеремонно разглядывал ее со всех сторон.

— Постройка на совесть, — сказал он. — Гладко, мягко, крепко и приятно.

— Откуда вам это известно? Вы меня никогда руками не трогали.

— А если трону — спасайтесь, пока целы.

— Любовь моя!

— Ладно, бросьте. Что-то тут не то. Я достаточно тщеславен, чтобы знать цену своим чарам. Что вам нужно? Вы славная женщина, но вы себе на уме. Что вам нужно?

— Я предсказала вам удачу, и мое предсказание сбывается.

— И вы желаете получить свою долю?

— Хотя бы.

— Вот это уже похоже на правду. — Он возвел глаза к потолку. — Мэри, владычица души моей, — сказал он. — Взгляни на меня, твоего мужа, твоего возлюбленного, верного твоего друга. Сохрани меня от зла, что во мне самом, и от напасти извне. Я взываю к твоей помощи, Мэри, ибо сильны и непостижимы алкания мужчины и ему от века предначертано всюду сеять свое семя. Ога рго те¹.

— Ох, и плут же вы, Итен.

— Допустим. Но бывают смиренные плуты.

— Я вас стала бояться. Раньше этого не было.

— А почему, собственно?

У нее вдруг появилось в глазах то, гадальное выражение, и он это заметил.

— Марулло.

— Что Марулло?

— Я вас спрашиваю.

— Одну минуточку. Пяток яиц и пачку масла, так? А кофе не нужно?

¹ Молись за меня (лат.).

— Пожалуй, дайте банку. Пусть будет в запасе. А что, хорошие эти мясные консервы — «Ам-ам»?

— Не пробовал. Но многие хвалят. Одну минуточку, мистер Бейкер. Кажется, миссис Бейкер брала эти консервы, как они?

— Не знаю, Итен. Я ем то, что мне подают. Миссис Янг-Хант, вы хорошеете с каждым днем.

— Благодарю за комплимент.

— Это не комплимент, это чистая правда. И потом — вы всегда так элегантны.

— Я как раз то же самое подумала о вас. Вы не какой-нибудь там красавчик, но портной у вас первоклассный.

— Вероятно, судя по его ценам.

— Кто это сказал: «Манеры создают человека»? Теперь надо говорить иначе: «Портной создает человека, и по любому образцу и подобию».

— У хорошо сшитых костюмов есть один недостаток: их невозможно сносить. Этот я ношу уже десять лет.

— Да не может быть, мистер Бейкер! А как здоровье миссис Бейкер?

— Достаточно хорошо, чтобы она могла жаловаться. Отчего вы никогда не навестите ее, миссис Янг-Хант? Она скучает без общества. В нашем поколении мало людей, способных вести культурный разговор. А насчет манер — это слова Уикхэма¹. Они служат девизом Винчестерского колледжа.

Она повернулась к Итену.

— Найдите мне в Америке еще одного банкира, который бы знал такие вещи.

Мистер Бейкер покраснел.

— Жена выписывает «Великие творения». Она большая любительница книг. Так вы ее непременно навестите.

— С удовольствием. Сложите, пожалуйста, мои покупки в сумку, мистер Хоули. Я за ними зайду на обратном пути.

— Хорошо, мэм.

— В высшей степени привлекательная женщина, — сказал мистер Бейкер.

— Она с моей Мэри приятельницы.

— Итен, был у вас этот приезжий чиновник?

— Да.

— Что ему нужно?

¹ Епископ Винчестера, основавший в XIV веке известный английский колледж, где он осуществил на практике свою систему обучения.

— Не знаю. Задавал мне вопросы относительно Марулло. Я не знал, как на них отвечать.

Мистер Бейкер наконец отпустил от себя видение Марджи — так актиния выпускает из щупалец скорлупу высосанного ею краба.

— Итен, вы не видели Дэнни Тейлора?

— Нет, не видел.

— И не знаете, где он?

— Нет, не знаю.

— Мне необходимо найти его. Вы не догадываетесь, где он может быть?

— Я его последний раз видел... позвольте, когда это... еще в мае. Он собирался ехать лечиться.

— А куда, не знаете?

— Он не говорил куда. Сказал только, что хочет еще раз попробовать.

— В каком-нибудь государственном заведении?

— Нет, не думаю, сэр. Он занял у меня деньги.

— Что-о?

— Я ему дал взаймы немного денег.

— Сколько?

— Я не понимаю вас, сэр...

— Да, простите, Итен. Вы ведь с ним старые друзья. Простите. А кроме тех, что вы ему дали, у него еще были деньги?

— По-видимому, да.

— Сколько, вы не знаете?

— Нет, сэр. Но у меня сложилось впечатление, что у него деньги есть.

— Если вы случайно узнаете, где он, пожалуйста, скажите мне.

— Да я бы с удовольствием, мистер Бейкер. Может быть, узнать телефоны всех таких лечебниц и навести справки?

— Он у вас взял наличными?

— Да.

— Тогда всякие справки бесполезны. Он наверняка изменил имя.

— Почему?

— Люди из хороших семейств всегда так поступают. Итен, а те деньги вы забрали у Мэри?

— Да.

— Она не сердится?

— Она не знает.

— А вы, я вижу, поумнели.

— Учусь у вас, сэр.

— Учитесь, учитесь.

— Я таким образом много выясняю для себя. Главным образом — как мало я знаю.

— Что ж, и это полезно. Мэри здорова?

— Она у меня всегда молодцом. Как бы мне хотелось прокатиться с ней куда-нибудь. Мы ведь уже много лет за городом не были.

— У вас еще все впереди, Итен. А я вот думаю на Четвертое июля уехать в Мэн. Праздничный шум уже не по мне.

— Вам, банкирам, в этом смысле вольготно. Ведь вы, кажется, недавно ездили в Олбани?

— Откуда вы взяли?

— Сам не знаю — слышал от кого-то. Может быть, миссис Бейкер говорила Мэри.

— Не могла она сказать. Она не знает. Постарайтесь вспомнить, от кого вы слышали.

— А может, мне просто показалось.

— Итен, меня это очень беспокоит. Напрягите свою память и постарайтесь вспомнить.

— Право, не могу, сэр. Да не все ли равно, раз это неправда?

— Я вам скажу по секрету, почему я так встревожился. Дело в том, что это правда. Губернатор вызывал меня. Вопрос очень серьезный. Не представляю себе, как это стало известно.

— Никто вас там не видел?

— Как будто нет. Я летел туда и обратно. Очень серьезный вопрос. Я вам сейчас кое-что расскажу. Если и об этом станет известно, я хоть буду знать, от кого.

— Тогда лучше не говорите.

— Нет уж, раз вы знаете насчет Олбани, я вам должен сказать. Власти штата заинтересовались делами нашего округа, и в частности нашего города.

— А почему?

— Думаю, в Олбани кое-что учуяли.

— Политика?

— То, что делает губернатор, всегда политика.

— Мистер Бейкер, а почему об этом нельзя говорить открыто?

— А вот почему. Где-то что-то просочилось, и, когда началась ревизия, ревизоры уже почти ничего не могли обнаружить.

— Понятно. Очень жаль, что вы мне сказали. Я не из болтливых, но все-таки предпочел бы ничего не знать.

— Если на то пошло, я и сам бы предпочел не знать, Итен.

— Выборы назначены на седьмое июля. Вы думаете, все может раскрыться раньше?

— Не знаю. Будет зависеть от Олбани.

— А не может быть, что и Марулло тут замешан? Я боюсь потерять работу.

— Да нет, едва ли. Тот чиновник был из Нью-Йорка. Из министерства юстиции. А вы не проверяли его полномочий?

— Признаться, не подумал. Он мне показывал какую-то бумажку, но я не стал смотреть.

— Напрасно. Всегда нужно проверять.

— А ничего, что вы теперь хотите уехать?

— Ну, это пустяки. В такой день, как Четвертое июля, ничего случиться не может. Недаром японцы выбрали праздничный день для нападения на Перл-Харбор. Они знали, что в городе никого не будет.

— Как бы мне хотелось поехать куда-нибудь с Мэри.

— Придет время — поедете. А сейчас я вас очень прошу, пошевелите мозгами и найдите мне Тейлора.

— А зачем? Разве это так важно?

— Очень важно. Я вам пока не могу сказать почему.

— В таком случае мне очень жаль, что я не знаю, где он.

— Может быть, если вы его разыщете, вам не нужно будет цепляться за эту вашу работу.

— Ну, раз так, уж я приложу все старания, сэр.

— Вот и хорошо, Итен. Я на вас надеюсь. И как только он найдется, сейчас же дайте мне знать — будь то днем или ночью.

ГЛАВА XIII

Удивляюсь я людям, которые говорят, что им некогда думать. Я, например, могу думать сколько угодно. Взвешиваешь товар, здороваешься с покупателями, споришь или спишь с Мэри, стараешься обуздать детей — это совершенно не мешает в то же время думать, рассуждать, соображать. И, наверно, у всех так. Если человеку некогда думать, значит, он не хочет думать, вот и все.

Вступив в чуждый для меня, неизведанный мир, я просто не мог не думать. Вопросы накапливались беспрестанно, настойчиво и требовательно. Новичок в этом мире, я становился в тупик даже перед тем, что для старожилов было решено раз навсегда еще в детском возрасте.

Я воображал, что могу завертеть колесо и контролировать каждый его оборот — могу даже остановить его, когда заблагорассудится. Но все больше росла во мне пугающая уверенность, что оно может стать обособленным, почти живым существом со своими целями и планами и вполне независимым от того, кто дал ему первый толчок. Смущало меня еще и другое. Я ли, в самом деле, завертел колесо, или это оно вовлекло меня в свое движение? Пусть я сам сделал первый шаг, но по своей ли воле я шагаю дальше? Казалось, на длинной дороге, куда я вышел теперь, нет ни перекрестков, ни развилок, путь только один — вперед.

Рассуждать можно было раньше, при выборе пути. Что есть нравственность, честность? Пустые слова или за словами что-то стоит? Честно ли было воспользоваться слабостью моего отца — природным его великодушием, его наивной иллюзией, будто все другие так же великодушны? Нет, просто в интересах бизнеса выгодно было вырыть ему яму. Ведь он сам в нее свалился. Никто его не толкал. А раздеть его донага, когда он уже лежал на дне, — это что, безнравственно? По-видимому, нет.

И вот сейчас на Нью-Бэйтаун накинута петля, и те, кто затягивает ее медленно и осторожно, — честные люди. Если им удастся затянуть петлю до конца, их назовут не жуликами, а умными дельцами. И если возникнет новое обстоятельство, которое они не предусмотрели, будет ли это безнравственным или нечестным? Зависит, я думаю, от результатов. Для большинства людей кто преуспел, тот всегда и прав. Я помню, когда Гитлер без помех и препятствий победно шествовал по Европе, немало честных людей искали и находили в нем всяческие достоинства. А у Муссолини поезда стали ходить по расписанию, а коллаборационизм Виши служил на благо Франции. Сила и успех выше критики и выше морали. Выходит, важно не то, что делаешь, а то, как делаешь, как это называешь. Есть ли в человеке такие внутренние силы, которые могут чем-то помешать, что-то осудить? Непохоже. Судят только за неудачу. Преступление, в сущности, лишь тогда становится преступлением, когда преступник попался. В этом нью-бэйтаунском деле кто-то страдает, кто-то даже погибнет, но дело все равно будет сделано.

Не могу сказать, что мне пришлось выдержать борьбу со своей совестью. С той минуты, как я осознал положение вещей и принял его, мне был ясен путь и хорошо видны все опасности. Самым удивительным тут было то, что все как бы складывалось само собой, одно вырастало из другого и сразу приходилось к месту. А я только наблюдал за ходом событий и легким прикосновением направлял его.

Задумав то, что я задумал и частью уже осуществил, я вполне понимал, что все это чуждо мне, но необходимо, как необходимо стремя, чтобы вскочить на высокого коня. А когда я буду в седле, стремя мне больше не понадобится. Может быть, мне не остановить вертящегося колеса, но другого я не заверчу. Я не хочу и мне незачем оставаться в этом сумрачном и полном опасностей мире. К трагедии, намеченной на седьмое июля, я непричастен. Это колесо вертится помимо меня, но ничто не мешает мне воспользоваться его вращением.

Есть такой старый, много раз опровергнутый предрассудок, будто мысли человека отражаются на его лице, или, как говорят, глаза — зеркало души. Неправда это. На лице отражается только болезнь, или неудача, или отчаяние — тоже своего рода болезни. Но бывают люди, одаренные особым чутьем, они видят насквозь, замечают скрытые перемены, ловят знаки, непонятные для других. Моя Мэри уловила перемену во мне, но неверно ее истолковала, а Марджи Янг-Хант, мне кажется, поняла все, но Марджи — колдунья, что осложняет дело. Впрочем, она, кроме того, умная женщина, а это еще сложнее.

Я предвидел, что мистер Бейкер позаботится уехать из города загодя, не позднее пятницы, с тем чтобы вернуться уже после Четвертого июля, то есть во вторник. Гром должен грянуть в пятницу или в субботу, чтобы последствия успели сказаться до выборов, и, разумеется, мистер Бейкер предпочтет в критический момент оказаться подальше. Для меня это мало что меняло. Но кое-что нужно было предпринять в четверг, на случай, если он вздумает уехать с вечера. Субботняя операция была у меня так детально продумана, что я мог бы проделать все даже во сне. Может быть, я и волновался немного, но только так, как волнуется актер перед выходом на сцену.

В понедельник, двадцать седьмого июня, не успел я открыть лавку, явился Марулло. Он долго ходил из угла в угол, смотрел как-то странно на полки, на кассу, на холодильник, зашел и в кладовую, там тоже все оглядел. Можно было подумать, что он все это видит в первый раз.

Я сказал:

— Едете куда-нибудь на Четвертое июля?

— С чего ты взял?

— Да все едут, у кого только есть деньги.

— Гм! Куда ж бы это я поехал?

— Мало ли куда. В Кэтскилз, например, или даже в Монток, половить рыбку. Сейчас тунец идет.

От одной мысли о единоборстве с верткой рыбиной весом фунтов в тридцать у него заломило руки до самого плеча, так что он даже сморщился от боли.

Я чуть было не спросил, когда он собирается в Италию, но решил, что это будет уж слишком. Вместо того я подошел к нему и тихонько взял его за правый локоть.

— Альфио,— сказал я,— вы все-таки чудак. Надо поехать в Нью-Йорк, посоветоваться с хорошим специалистом. Наверно, есть какое-нибудь лекарство от этой боли.

— Не верю я в лекарства.

— Да ведь терять вам нечего. Попробуйте. А вдруг!

— Тебе-то какая печаль?

— Никакой. Но я уже много лет работаю здесь у глупого, упрямого итальяшки. Если б даже распоследний подлец мучился так на твоих глазах, и то бы жалко стало. Вы как придете да как начнете тут руками крутить, у меня у самого потом полчаса все болит.

— Ты меня жалеешь?

— Очень нужно! Просто подлизываюсь в расчете на прибавку.

Он посмотрел на меня из-под покрасневших век собачьими глазами, такими темными, что в них не видно было зрачка. Он как будто хотел о чем-то заговорить, но передумал.

— Ты славный мальчуган,— сказал он только.

— Напрасно вы так думаете.

— Славный мальчуган! — повторил он запальчиво и, точно устыдившись своего порыва, поспешно вышел из лавки.

Я отвечивал миссис Дэвидсон два фунта стручковой фасоли, вдруг вижу — Марулло бежит обратно. Остановился в дверях и крикнул мне:

— Возьми мою машину!

— Что такое?

— Возьми и поезжай куда-нибудь на воскресенье и понедельник.

— Это мне не по карману.

— И ребятишекхвати. Я сказал в гараже, что ты придешь за моим «понтиаком». Бензину полный бак.

— Погодите минутку.

— Нечего мне годить. Захвати ребятишек.— Что-то похожее на комок табачной жвачки полетело в меня и шлепнулось прямо в фасоль. Миссис Дэвидсон удивленно посмотрела вслед Марулло, уже бежавшему по улице. Я подобрал зеленый квадратик, валявшийся среди стручков фасоли,— три двадцатидолларовые бумажки, сложенные в несколько раз.

— Что это с ним?

— Итальянец, знаете,— все они неуравновешенные.

— Оно и видно. Швыряется деньгами!

Больше он всю неделю не показывался, и это было к лучшему. До сих пор он никогда не уезжал, не предупредив меня. Все было так, как бывает, когда в праздник смотришь на уличную процессию, стоишь, и смотришь, и знаешь наперед, что будет дальше, а все-таки не уходишь.

Вот только «понтиака» я не ожидал. Марулло никогда никому не одалживает свою машину. Происходило что-то странное. словно какая-то посторонняя сила или воля взялась управлять событиями и так их нагнетала, что они теснились, как скот на погрузочных мостках. Я знаю, бывает и наоборот. Иногда вмешательство этой посторонней силы или воли портит и разрушает даже самые продуманные планы. Вероятно, именно это мы называем «везет» или «не везет».

В четверг тридцатого июня я, как всегда, проснулся с первым, жемчужно-серым светом зари. Сейчас, в летнее время, светает рано. Стол и стулья казались темными кляксами, картины были пятнами чуть посветлее. Белые занавески на окнах колыхались, как будто дышали,— ведь на заре с моря почти всегда тянет ветерком.

Просыпаясь, я несколько секунд пребывал в двух мирах: облачную мглу сновидений не сразу развеяла земная четкость бодрствующего разума. Я сладостно потянулся — ни с чем не сравнимое ощущение. Как будто вся кожа съжилась за ночь, и нужно вновь расправить ее, натягивая на выпяченные округлости мускулов, от чего так приятно пощипывает тело.

Сперва я бегло припомнил виденное во сне — так мельком просматриваешь газету, чтобы установить, есть ли в ней что-нибудь достойное внимания. Потом перебрал мысленно то, что еще не случилось, но может случиться се-

годня. И наконец предался занятию, которое перенял от лучшего моего боевого командира. Его звали Чарли Эдвардс, это был пожилой майор, пожалуй даже слишком пожилой для строевой службы, однако офицер очень хороший. У него была большая семья, жена и четверо ребят-шек-погодков, и, когда он позволял себе о них думать, сердце у него исходило любовью и тоской. Но, занятый страшным делом войны, он не мог допустить, чтобы мысли о семье отвлекали и рассеивали его внимание. И вот он придумал выход, о котором рассказывал мне. Утром — если, конечно, в его сон не врывался до времени сигнал тревоги — он все свои помыслы и чувства сосредоточивал на своих близких. Он думал с любовью о каждом по очереди, какой он, как выглядит, что́ говорит, он ласкал их и обращался к ним со словами нежности. Он как будто стоял у раскрытого ларца с драгоценностями и перебирал его содержимое: возьмет одну вещицу, осмотрит внимательно со всех сторон, погладит, поцелует, положит на место и возьмет другую, а под конец оглянет их все на прощанье и замкнет ларец. Все это занимало у него с полчаса — когда удавалось выкроить эти полчаса, — и потом уже весь день можно было не думать о близких. Можно было всем существом сосредоточиться на работе, которой он был занят и которая состояла в том, чтобы убивать людей. Он был превосходный офицер, я не встречал лучшего. Я просил разрешения воспользоваться его методом, и он разрешил. Потом, когда он погиб в бою, я всегда вспоминал о нем с уважением, как о человеке разумной и плодотворной жизни. Он умел наслаждаться, умел любить и платил долги — многие ли могут похвастать тем же?

Я не часто прибегал к методу майора Чарли, но в этот четверг, зная, что мне понадобится вся моя способность сосредоточиться, я проснулся, как только ночная тьма дала первую трещину, и по примеру майора стал думать о своей семье.

Я шел по порядку и начал с тетушки Деборы. Она была наречена так в честь Деборы, судии народа израильского, а я читал, что в те времена судьи были также и полководцами. Пожалуй, имя было выбрано удачно. Тетушка Дебора вполне могла командовать армиями. Воинством разума она повелевала весьма успешно. Именно ей я обязан своей бескорыстной любовью к знанию. При суровом нраве она была полна любознательности и не жаловала тех, кто не отличался этой чертой. Первую дань почтения я отдал в своих мыслях ей. Потом я почтил память Старого

шкипера и мысленно склонил голову перед своим отцом. Я даже не забыл того пустого места в прошлом, которое по праву должно было принадлежать матери. Свою мать я не помню. Она умерла, когда я еще не мог ничего запомнить, и ее место навсегда осталось в моей памяти пустым.

Одно смущало меня. Образы тетушки Деборы, Старого шкипера и отца вырисовывались передо мной недостаточно четко. Вместо контрастных фигур я видел зыбкие, расплывающиеся силуэты. Быть может, воспоминания выцветают от времени, как старые дагерротипы, и фигуры мало-помалу сливаются с фоном. Нельзя сохранить их навсегда.

Следующей по порядку шла Мэри, но я намеренно отодвинул ее на конец.

Я вызвал образ Аллена. Но я не мог вспомнить его маленьким мальчиком, полным непосредственной радости, внушавшей мне веру в способность человека совершенствоваться. Я увидел его таким, каков он теперь, — хмурый, тщеславный, обидчивый, замкнутый в тайнах трудной поры полового созревания, когда хочется, оскалив зубы, бросаться на всех, даже на самого себя, как собака, попавшая в капкан. Даже в мыслях я не мог увидеть его свободным от обуревавших его тревог, и я не стал больше думать о нем, сказав только: я тебя понимаю. Я сам прошел через это, и я не могу тебе помочь. Помочь и нельзя. Я бы мог только сказать тебе, что это пройдет. Но ты бы мне все равно не поверил. Ступай же с миром — и пусть моя любовь будет с тобой и теперь, когда мы едва выносим друг друга.

Мысль об Эллен обдала меня радостью. Она будет хорошенькой, даже лучше матери, потому что, когда ее личико совсем сформируется, в нем будет что-то от властной значительности облика тетушки Деборы. Ее капризы, ее злые выходки, ее нервозность — все это обещает сложиться в прекрасное и гармоническое целое. Я в этом уверен, потому что я видел, как она во сне прижимала талисман к своей детской груди, а на лице у нее был покой женщины, познавшей удовлетворение. И этот талисман так же полон значения для нее, как и для меня. Быть может, именно Эллен сохранит и понесет дальше то, что во мне есть бессмертного. И, прощаясь с мыслью о ней, я ее обнял, а она, как живая, пощекотала меня за ухом и тихонько засмеялась. Моя Эллен. Дочка моя.

Я повернул голову к Мэри, спавшей справа от меня с улыбкой на губах. Она всегда ложится справа, и когда все хорошо и все так, как надо, она кладет мне голову на

правое плечо, оставляя мою левую руку свободной для ласк.

Несколько дней назад я порезал указательный палец кривым ножом для бананов, и на кончике пальца был теперь жесткий рубец. Поэтому я стал обводить средним пальцем милый изгиб шеи от уха к плечу, тихо-тихо, чтобы не испугать мою любимую, но достаточно твердо, чтобы ей не было щекотно. Она, как всегда, вздохнула сладко и глубоко, точно медля расстаться с приятной истомой. Некоторые люди просыпаются неохотно, про Мэри этого сказать нельзя. Она встречает день в надежде, что он будет хорошим. Зная это, я стараюсь приготовить ей какой-нибудь маленький сюрприз, чтобы она не обманулась в своих ожиданиях. И я всегда держу что-нибудь про запас на этот случай, какую-нибудь приятную новость вроде той, которую я сейчас собирался ей преподнести.

Она открыла глаза, совсем еще сонная.

— Уже пора? — спросила она и повернулась к окну посмотреть, близок ли день. Над письменным столиком висит картина — деревья и озеро и в воде у берега стоит корова. Мне с кровати уже нетрудно было различить хвост коровы, и это был признак, что день наступил.

— У меня для тебя есть радостное известие, белка-попрыгунья.

— Болтун.

— Я разве тебе когда-нибудь лгал?

— Кто тебя знает.

— Ты уже совсем проснулась? Можешь воспринять радостное известие?

— Нет.

— Тогда подожду говорить.

Она пригнула голову к левому плечу, так что нежную шею перерезала глубокая складка.

— Опять твои шуточки. Наверно, скажешь, что решил залить газон асфальтом...

— Ничего подобного.

— Или заняться разведением сверчков...

— Вовсе нет. Однако ты все помнишь.

— Значит, это все-таки шутка?

— Нет, но это так замечательно и невероятно, что тебе придется сделать усилие, чтобы поверить.

Ее глаза смотрели пылливо и ясно, а углы губ подрагивали — вот-вот рассмеется.

— Ну, говори.

— Известен тебе джентльмэн итальянского происхождения, по фамилии Марулло?

— Да ну тебя, опять дурачишься.

— Не торопись с выводами. Так вот означенный Марулло на время выбыл из нашего города.

— Куда?

— Он не сказал.

— А когда вернется?

— погоди, не сбивай. Этого он тоже не сказал. Но зато он сказал и даже настаивал — когда я попробовал спорить, — чтобы мы взяли его машину и куда-нибудь поехали на праздники.

— Ты меня разыгрываешь!

— Ты считаешь меня способным на такую недобрую шутку?

— Но с чего это он?

— Не могу сказать. Но могу заверить тебя, начиная от честного бойскаутского и кончая священной папской присягой, что роскошный «понтиак» с полным баком чистейшего бензина готов к услугам вашей светлости.

— Но куда же мы поедем?

— Куда моя козявка пожелает. У тебя есть сегодняшней, завтрашний и послезавтрашний день на решение этого вопроса.

— Ведь понедельник — Четвертое июля. Значит, целых два дня праздника?

— Совершенно точно.

— А это не слишком дорого? Мотель и другие расходы.

— Дорого или нет, а мы себе это позволим. У меня есть секретные фонды.

— Знаю я твои фонды, дурачок. Но как же он решился дать нам машину? Я себе просто представить не могу.

— Я тоже представить не могу, но тем не менее он ее дал.

— А помнишь, он принес детям конфеты на Пасху?

— Может быть, это старческое слабоумие.

— Интересно, что ему от нас нужно.

— Фи, что за недостойное предположение. Может быть, ему просто хочется, чтобы мы его любили.

— Мне нужно успеть сделать тысячу вещей.

— Я в этом не сомневаюсь. — Я уже видел, как ее мысль бульдозером взрезает пласты неожиданно открывшихся перспектив. Для меня ее внимание было явно и безвозвратно потеряно. Что ж, тем лучше.

За завтраком, прежде чем я дсшел до второй чашки кофе, она успела перебрать и отвергнуть половину увсслительных маршрутов Восточной Америки. Бедная моя девочка, для нее последние годы были не слишком богаты развлечениями.

Я сказал:

— Хлоя, прошу твоего внимания, хоть и знаю, что добиться его будет сейчас нелегко. Мне предлагают одно очень выгодное помещение капитала. Я хочу взять еще часть твоих денег. В тот раз вышло удачно.

— А мистер Бейкер знает про это?

— Он и предложил мне.

— Тогда бери. Подписывай чек на сколько нужно.

— Ты даже не хочешь знать, сколько нужно?

— А зачем?

— И тебя не интересуют подробности? Сроки, проценты, ориентировочный размер дивиденда и тому подобное?

— Я в этом все равно ничего не пойму.

— Поймешь, если захочешь.

— А я и не хочу понимать.

— Не мудрено, что таких, как ты, называют демонами Уолл-стрита. Этот холодный, острый, беспощадный деловой ум просто внушает страх.

— Мы поедем путешествовать,— сказала она.— Мы поедем путешествовать на целых два дня.

Ну как, черт возьми, не любить ее, как ее не боготворить? «Кто она, Мэри, какая она?» — напевал я, собирая пустые молочные бутылки, чтобы захватить с собой в лавку.

Мне хотелось повидать Джоя, просто как-то соприкоснуться с ним, но, должно быть, я на одну минуту опоздал или он на одну минуту поторопился. Поворачивая на Главную улицу, я увидел, как он входит в кафе. Я тоже туда вошел и уселся на соседний с ним табурет у стойки.

— Из-за вас я прирастился, Джой.

— Привет, мистер Хоули. Кофе очень вкусный.

Я поздоровался со своей бывшей одноклассницей:

— Доброе утро, Анни.

— Ты становишься нашим завсегдатаем, Ит.

— Вроде того. Одну чашку черного.

— Чернее быть не может.

— Черного, как отчаяние.

— Что, что?

— Я говорю — черного.

— Если ты углядишь в этой чашке хоть малейший просвет, я тебе налью другую.

— Как дела, Морф?
— Так же, если не хуже.
— Хотите поменяться местами?
— Охотно бы поменялся, особенно сейчас, накануне двухдневного праздника.

— Не думайте, что только вам трудно. Людям ведь и продукты приходится запасать.

— Да, пожалуй. Об этом я не подумал.

— Всякую снедь, которую можно взять в дорогу,— копчености, маринады и, уж конечно, пастилу. А у вас, значит, горячие денечки?

— И не говорите. Накануне Четвертого июля, да еще когда погода так хороша. А в довершение всего сам господь всемогущий тоже, изволите видеть, почувствовал потребность отдохнуть на свежем воздухе.

— Вы о мистере Бейкере?

— Не о Джеймсе же Блейне¹.

— Мне, кстати, нужно повидать его. Очень нужно.

— Что ж, попробуйте его поймать. Но предупреждаю, это не так просто. Он скачет, как монета в бубне цыганки.

— Может, доставить вам сэндвичи на ваш боевой пост, Джой?

— Ну что ж.

— За кофе сегодня плачу я,— сказал я.

— Ладно.

Мы вместе перешли улицу и свернули в переулок.

— Вы что-то вроде не в духе, Джой.

— Даже очень не в духе. Надоело мне считать чужие деньги. У меня на праздник назначено любовное свидание, а я буду так измочален, что хоть не являйся.— Он всунул в замок обертку от жевательной резинки, вошел, махнув мне рукой на прощанье, и затворил за собой дверь. Но я тотчас же толкнул ее, и она снова отворилась.

— Джой! Так сегодня-то вам нужны сэндвичи?

— Нет, спасибо,— послышалось из пахнущей мастикой темноты.— Вот в пятницу, пожалуй. А в субботу наверняка.

— Разве у вас не будет обеденного перерыва?

— Я вам уже говорил. Перерыв бывает в банке, но не у Морфи.

— Ну, все равно, заходите, когда сможете.

— Спасибо, мистер Хоули, спасибо.

В это утро мне нечего было сказать моим войскам на полках. Я только поздоровался с ними и тут же скомандо-

¹ Американский государственный деятель XIX века.

вал: «Вольно!» За несколько минут до девяти, при фартуке и метле, я уже подметал тротуар перед входом.

Мистер Бейкер до того пунктуален, что кажется, слышно, как он тикает, а уж в том, что внутри у него часовой механизм, я не сомневаюсь. Восемь пятьдесят шесть, восемь пятьдесят семь — вот он появился со стороны Вязовой; восемь пятьдесят восемь — переходит улицу; восемь пятьдесят девять — подошел к стеклянной двери, но тут я, с метлой наперевес, загородил ему дорогу.

— Мистер Бейкер, мне надо поговорить с вами.

— Доброе утро, Итен. Минутку подождать можете? Идемте со мной.

Я вошел, и все было точно так, как рассказывал Джой,— настоящий церковный обряд. Когда стрелка часов коснулась цифры девять, весь персонал банка уже стоял навывтяжку перед сейфом. В массивной стальной двери что-то щелкнуло и загудело. Потом Джой набрал на диске мистическую комбинацию цифр и повернул ручку. Святая святых с торжественной медлительностью раскрылась, и мистер Бейкер принял молчаливый салют денежных мешков. Я стоял за оградой, точно причастник, смиренно ожидающий приобщения святых тайн.

Мистер Бейкер повернулся ко мне:

— Ну-с, Итен, чем могу быть полезен?

Я ответил вполголоса:

— Я хотел бы поговорить с вами без свидетелей, а мне никак нельзя оставить лавку.

— А что, дело срочное?

— Боюсь, что да.

— Вам давно пора иметь в лаеке помощника.

— Это я и сам знаю.

— Если мне удастся выбрать время, я к вам зайду.

О Тейлоре ничего не узнали?

— Пока нет. Но я кое-где забросил удочки.

— Постараюсь зайти к вам.

— Спасибо, сэр.— Я не сомневался, что он придет.

И действительно, не прошло и часа, как он явился и терпеливо стал ждать, когда я отпущу покупателей.

— Ну, Итен, в чем дело?

— Мистер Бейкер, для врача, адвоката, священника существует профессиональная тайна. А как для банкира?

Он улыбнулся.

— Слыхали вы когда-нибудь, чтобы банкир обсуждал с посторонними дела своих клиентов?

— Нет..

— Ну, попробуйте спросить, увидите. А кроме всего прочего, я же ваш друг, Итен.

— Знаю. Я, правда, что-то не в себе. Но мне так давно уже не представлялся верный шанс.

— Шанс?

— Я вам выложу все начистоту, мистер Бейкер. У Марулло неприятности.

Он придвинулся ко мне ближе.

— Неприятности? Какие неприятности?

— Я сам точно не знаю, сэр. Но мне кажется, речь идет о нелегальном въезде.

— Откуда вы знаете?

— Он мне сам сказал — во всяком случае, дал понять. Ну, вы же знаете Марулло.

Я почти видел, как заработал его мозг, лихорадочно подхватывая обрывки фактов и связывая их вместе.

— Дальше,— сказал он.— Если так, то это высылка.

— Боюсь, что да. Он ко мне очень хорошо относился, мистер Бейкер. Я не хочу ничего делать во вред ему.

— Нужно и о себе подумать, Итен. Что он предлагает?

— Да, собственно, это даже не предложение. Это то, что мне удалось выудить из кучи бессвязных, сказанных в волнении фраз. Но, по-видимому, если б я мог дать пять тысяч наличными, лавка была бы моя.

— Так он что, думает исчезнуть, или вы точно не знаете?

— Точно я ничего не знаю.

— Значит, не рискуете, что вас обвинят в пособничестве. Вы говорите, конкретно он вам ничего не предлагал?

— Нет, сэр.

— А откуда же вы взяли цифру пять тысяч?

— Это нетрудно, сэр. Такова стоимость всего имущества.

— Но, может быть, он пошел бы и на меньшую сумму?

— Может быть.

Мистер Бейкер оглядел всю лавку быстрым, оценивающим взглядом.

— Если вы не ошиблись в своих догадках, ваше положение очень выгодно.

— Я как-то не умею делать такие дела.

— Вы же знаете, я не сторонник обходных маневров. Может быть, мне поговорить с ним?

— Его сейчас нет в городе.

— А когда он вернется?

— Не знаю, сэр. Но не забудьте, у меня ведь нет ни-

какой уверенности. Просто мне показалось, что, если бы у меня были наличные деньги, он пошел бы на это. Он ко мне хорошо относится, вот почему.

— Знаю.

— Но мне бы не хотелось злоупотреблять этим.

— Он, конечно, может сторговаться с кем-нибудь другим. Ему и десять тысяч могут дать.

— Тогда, может быть, я напрасно надеюсь?

— А вы не спешите отступать. Вам нужно в первую очередь думать о себе.

— Во вторую очередь. Ведь это деньги Мэри.

— Предположим. Так чего же вы хотите?

— У меня была такая мысль: может быть, вы подготовите документ, только не проставите число и сумму. А деньги я, пожалуй, возьму в пятницу.

— Почему в пятницу?

— Тоже только догадка с моей стороны, но он что-то такое говорил насчет того, что на праздники все разъезжаются из города. Вот я и думаю — может, он тогда зайдет? Он у вас денег не держит?

— Теперь нет. Недавно он оголил свой счет. Сказал, что хочет купить какие-то акции. Я этому не придал значения, потому что это бывало и раньше, и всякий раз он потом вкладывал больше, чем вынул. — Он посмотрел прямо в глаза ярко размазанной красотке на холодильнике, но оставил ее зовущую улыбку без ответа. — Вы отдаете себе отчет, что можете крепко погореть на этом деле?

— Как это?

— Во-первых, у него может найтись еще десяток покупателей, а во-вторых, лавка может быть заложена-перезаложена. Никаких гарантий на этот счет нет.

— А если попробовать узнать в окружном управлении? Вы меня простите, мистер Бейкер, что я отнимаю у вас время. Но я знаю ваше доброе отношение к моей семье и бессовестно пользуюсь им. И потом в таких вещах мне ведь просто не с кем больше посоветоваться.

— Я постараюсь узнать насчет закладных через Тома Уотсона. Черт возьми, Итен, очень все это не ко времени. Я сам хочу завтра уехать отдохнуть до вторника. А если Марулло и в самом деле жулик, вы можете крепко влипнуть.

— Так, может, мне сразу отступить и не путаться в это дело? Но если бы вы знали, мистер Бейкер, как мне надоело стоять за прилавком!

— Я вам не давал совет отступаться. Я только предупреждал вас о возможном риске.

— Мэри была бы так счастлива, если бы я стал владельцем лавки. Но вы, пожалуй, правы. Нельзя рисковать ее деньгами. Я думаю, самое правильное будет обратиться к федеральным властям.

— Тогда вы потеряете все выгоды своего положения.

— Почему?

— Если его приговорят к высылке, он получит право произвести ликвидацию через специального агента, и цена за лавку может быть назначена такая, которую вы не в состоянии уплатить. Ведь вы же не знаете наверняка, что он думает смыться. А раз не знаете, то о чем вы будете говорить федеральным властям? Вы даже не знаете, попал ли он в списки.

— Это верно.

— Вы, в сущности, ничего решительно о нем не знаете. Все, что вы мне говорили, всего лишь смутные подозрения. Ведь так?

— Так.

— И лучше вы их оставьте в стороне.

— И не будет это выглядеть странно — крупная сумма наличными без указания назначения?

— А вы поставьте на чеке что-нибудь вроде «Для финансирования бакалейной торговли мистера Марулло». Это в случае чего послужит оправдательным документом.

— А если вообще ничего не выйдет?

— Вы положите деньги обратно в банк, вот и все.

— Так вы думаете, не нужно бояться риска?

— Риск во всем, Итен. Носить при себе такую большую сумму наличными — уже риск.

— Я буду осторожен.

— В общем, жаль, что я должен уехать на эти дни.

Мои расчеты времени совершенно верны. Пока мы разговаривали, в лавку не заходил ни один покупатель, но под конец сразу явилось шестеро: три женщины, старик и двое мальчуганов. Мистер Бейкер наклонился ко мне и шепотом сказал:

— Я готовлю всю сумму сотенными купюрами и замечу номера. Тогда, если его поймают, вы сможете получить их обратно. — Он солидно кивнул женщинам, сказал старику: «Добрый день, Джордж» — и на ходу взъерсшил чубы мальчуганам. Мистер Бейкер — очень умный человек.

ГЛАВА XIV

Первое июля. Этот день делит год пополам, как прямой пробор — волосы. Я знал, что для меня он станет пограничной вехой — вчера я был одним человеком, завтра буду совсем другим. Я сделал ряд ходов, которые уже нельзя взять обратно. Время и события играли мне на руку, словно хотели быть моими сообщниками. Я даже не пытался надевать перед самим собой добродетельную личину. Я сам выбрал свой образ действий, никто меня не заставлял. Я временно поступился привычными взглядами и нормами поведения, чтобы взамен обрести благополучие, чувство собственного достоинства и уверенность в будущем. Нетрудно было бы убедить себя, что я пошел на это ради своих близких, ведь и в самом деле мое чувство собственного достоинства зависело от их благополучия и уверенности в будущем. Но передо мной была лишь одна, вполне определенная цель, и я знал, что, достигнув ее, я вновь вернусь к прежним нормам поведения. Я не сомневался, что это возможно. Ведь не сделала же война из меня убийцу, хотя какое-то время я убивал людей. Отправляя солдат в разведку, зная, что не все они вернутся живыми, я не чувствовал жертвенного экстаза, как бывало с другими офицерами, я никогда не радовался своим делам на войне, не оправдывал их и не прощал. Главное было знать ту одну, определенную цель, ради которой они совершались, и по достижении этой цели поставить точку. Но для этого надо не обманывать себя, а точно знать, чего добиваешься: уверенность в будущем, чувство собственного достоинства — и точка, конец. Из опыта войны я знаю, что убитые на поле боя — жертвы стремления к определенной цели, а не чьей-то злобы, ненависти или жестокости. И я верю в любовь, которая в критический миг связывает победителя с побежденным, убийцу с убитым.

Но от листков, покрытых каракулями Дэнни, и от благодарного взгляда Марулло сердце щемило тоской.

Говорят, накануне решающей битвы люди не могут уснуть. Со мной этого не было. Сон сморил меня быстро, крепко и основательно и так же легко отпустил в предрассветный час. Но на этот раз я не лежал, размышляя, впотьмах. Прошлое властно призывало меня. Я тихонько выскользнул из постели, оделся в ванной и спустился с лестницы, стараясь держаться поближе к стене. Странное дело — ноги как бы сами привели меня к горке в гостиной, я отпер ее и ощупью нашел розоватый камешек. Я сунул

его в карман, потом закрыл горку и запер ее на ключ. Ни разу в жизни я не уносил камешек из дому и еще вчера не знал, что возьму его с собой на этот раз. Я без труда пробрался знакомой дорогой через темную кухню и вышел во двор, где уже редела ночная тьма. Вязы сплетались толстыми от листвы ветвями, образуя сплошной черный свод. Если бы «понтиак» Марулло был уже у меня, я уехал бы из Нью-Бэйтауна в пробуждающийся мир моих первых воспоминаний. Держа руку в кармане, я вел пальцем по бесконечной извилине, прорезающей мой теплый от близости тела заветный камешек — мой талисман. Талисман?

Тетушка Дебора, ребенком посылавшая меня на Голгофу, была точна как машина во всем, что касалось слов. Она не терпела тут ни малейшей расплывчатости, неясности и требовала того же от меня. Сколько силы было в этой старой женщине! Если она жаждала бессмертия, она его обрела — в моей памяти. Когда она первый раз увидела у меня в руке камешек с причудливой извилиной, по которой я водил пальцем, она сказала:

— Итен, эта заморская диковина может стать твоим талисманом.

— А что это такое — талисман?

— Если я тебе скажу, у тебя в одно ухо войдет, в другое выйдет. Посмотри в словаре.

Сколько слов укоренилось в моем обиходе благодаря тетушке Деборе, которая всегда сперва старалась заинтересовать меня непонятным словом, а потом заставляла самостоятельно доискиваться до его значения. Я, конечно, ответил:

— Очень нужно!

Но она хорошо знала, что я полезу в словарь, и еще раз произнесла — с расстановкой, чтобы мне легче было запомнить:

— Та-лис-ман.

Она с глубоким уважением относилась к словам, и небрежное обращение с ними раздражало ее так же, как небрежное обращение с любой хорошей вещью. И сейчас, столько лет спустя, я словно вижу перед собой страницу словаря со словом «талисман». Арабское написание было для меня просто извилистой линией с кружком на конце. Греческое я мог прочитать благодаря той же неутомимой тетушке Деборе. «Камень или другой предмет с выгравированными на нем буквами или рисунками, которому приписывается оккультная сила, связываемая с влиянием планет или знаков зодиака, часто носит как амулет, могу-

щий, по поверью; оградить от зла или принести удачу». После этого мне пришлось искать в словаре «оккультный», «планеты», «зодиак», «амулет». Так бывало всегда. Одно слово поджигало десяток других, как шутихи, нанизанные на нитку.

Когда я после спросил ее:

— А вы верите в талисманы? — она возразила:

— А при чем это тут, верю я или не верю?

Я сунул ей в руки камешек.

— Что означает этот рисунок?

— Талисман твой, не мой. Он означает то, чего ты от него ждешь. Положи его на место. Придет время — он тебе пригодится.

Сейчас, шагая под вязовым сводом, я видел ее перед собой как живую, а это и есть истинное бессмертие. Вилась, кружилась по камню резвая извилинка, петляла и снова кружилась и вилась, точно змея без головы, без хвоста, без конца, без начала. Первый раз я взял талисман с собой, уходя из дома — зачем? Чтобы он ограждал меня от зла? Или принес мне удачу? Но я не верю в оккультную силу, а бессмертие всегда казалось мне жалким утешением, выдуманным для отчаявшихся.

Светлая полоса на востоке — это уже был июль, потому что июнь ночью кончился. Июньское золото в июле становится медью. Июньское серебро — свинцом. Листва в июле тяжелая, тучная, густая. Птицы поют в июле однообразно, крикливо, без страсти, потому что гнезда уже опустели и оперившиеся птенцы делают первые неуклюжие попытки летать. Да, июль — уже не пора надежд и еще не пора свершений. Плоды хоть и зреют, но пока безвкусны и бесцветны. Кукуруза похожа на бесформенный зеленый сверток с желтой кисточкой на конце. На тыкве, как неотпавшая пуповина, торчит засохший венчик цветка.

Я вышел на Порлок, сытый, упитанный Порлок. Медные отсветы зари окрасили кусты роз, гнущиеся под тяжестью перезрелых цветов, точно женщины, у которых живот уже не стянут корсетом, хотя ноги еще стройны и красивы.

Я медленно брел по тротуару и мысленно говорил «прощай» — не «до свидания», а «прощай». «До свидания» звучит нежной грустью и надеждой. «Прощай» — коротко и безвозвратно, в этом слове слышен лязг зубов, достаточно острых, чтобы перекусить тонкую связку между прошлым и будущим.

Вот и Старая гавань. Чему же я говорил «прощай»? Не знаю. Не могу припомнить. Кажется, я хотел пойти

в Убежище, но всякий, кто вырос на море, знает, что сейчас время прилива и Убежище залито водой. Прошлой ночью я видел луну, ей всего четыре дня от роду, и она похожа на выгнутую хирургическую иглу, но в ней уже достаточно силы, чтобы притянуть темные волны прилива к устью моей пещеры.

И в хижину Дэнни Тейлора незачем идти. Уже рассвело настолько, что видно, как высоко поднялась трава в том месте, где раньше была тропка, протоптанная ногами Дэнни.

В водах Старой гавани темнели пятнами летние суденышки, стройные корпуса, снасти, прикрытые брезентом. Кое-где любители раннего вставанья уже готовились к выходу в море, ставили кливера и гроты, и паруса, освобожденные от чехлов, лежали кучей на палубе, точно большое взъерошенное белое гнездо.

В новой гавани было оживленней. У причалов наемные лодки ожидали пассажиров, одержимых рыболовов-отпускников, которые денег не жалеют, а к концу дня растерянно озираются, не зная, что делать с массой рыбы, завалившей лодку. Полны все мешки, все корзины, громоздятся на дне кучи триглы, морского леща и морского окуня, и даже мелкой акулы-колючки, и все это задыхается и гибнет и будет выброшено обратно в море, чайкам на съедение. А чайки уже слетелись и ждут, они знают эту породу рыболовов, жертв собственной жадности. Кому охота чистить и потрошить целый мешок рыбы? А отдать рыбу даром — трудней, чем наловить ее.

По маслянистой глади залива уже разлилось медное сияние. У входа в канал словно замерли буйки разной формы и под каждым стоял в зеркале воды его близнец.

Я дошел до флагштока и остановился у памятника в честь героев войны. Там среди выбитых серебром имен уцелевших я прочел и свое имя: *Капитан И.-А. Хоули*, а ниже золотом были выбиты имена восемнадцати ньюбэйтаунцев, которые так и не вернулись домой. Большинство имен было мне знакомо — когда-то я знал и самих людей, и они тогда ничем не отличались от нас, а теперь отличаются тем, что их имена написаны золотом, а не серебром. На мгновение я подумал, что хорошо бы и мне числиться среди них «*Капитан И.-А. Хоули*» — золотом внизу списка, там, где трусы и симулянты, размазни и герои — все уравнены золотой вязью букв. Ведь не только храбрые погибают в бою, но храбрые погибают чаще.

Подъехал толстяк Вилли, остановил машину у памятника, вылез и достал с заднего сиденья свернутый флаг.

— Здорово, Ит.— Он вдел стержни в медные скобки и медленно поднял флаг на вершину флагштока, где он поник безжизненно и уныло, точно висельник в петле.— Доживает свой век,— сказал Вилли, слегка отдуваясь.— Уже и вида никакого нет. Ну, еще два дня, а там поднимем новый.

— С пятьюдесятью звездами?

— Именно. И хорош же — нейлоновый, огромный, в два раза больше этого, а весит вдвое меньше.

— Как дела, Вилли?

— Да жаловаться вроде не на что, но я все-таки пожалуюсь. С этим Четвертым июля всегда не оберешься хлопот. Да еще когда оно после воскресенья — это, значит, вдвое больше несчастных случаев, катастроф, пьяных драк, особенно за городом. Садитесь, подвезу до лавки.

— Нет, спасибо. Мне еще нужно на почту, а кроме того, хочу зайти выпить чашку кофе.

— Ладно. Подвезу до почты. Я бы и покофейничал с вами, да Стони теперь злой, как собака, лучше с ним не связываться.

— С чего это он?

— Черт его знает. Куда-то уезжал на несколько дней и вернулся злее злющего.

— Где же это он был?

— Понятия не имею. Знаю только, что теперь к нему и не подступись. Ну идите, получайте свою почту. Я подожду.

— Не стоит, Вилли. Мне еще и отправлять письма надо.

— Ну, как хотите.— Он развернулся и поехал по Главной улице в обратную сторону.

На почте было еще полутемно, пол только что натерли, и при входе висел плакатик: «Осторожно, не поскользнитесь».

Наш абонементный ящик — № 7, мы им пользуемся с тех пор, как построено здание почты. Я набрал на диске

1

Г — Р и вынул из ящика целую кучу проспектов и завле-

2

кательных рекламных листовок, адресованных «Абоненту». Больше ничего не было — только этот материал для мусорной корзины. Я пошел вдоль Главной, по направлению к «Фок-мачте», но в последнюю минуту передумал — захотелось пить кофе или не захотелось разговаривать, сам

не знаю что. Просто у меня вдруг пропало желание идти в кафе. Что за клубок противоречивых побуждений человек — все равно, мужчина или женщина.

Я подметал тротуар, когда из-за угла Вязовой показался мистер Бейкер и, готовый к священнодействию, затакал в банк. А пока я почти машинально укладывал дыни на лоток у дверей, к банку подъехал старомодный зеленый бронированный автомобиль. Двое сопровождающих, вооруженные, как коммандосы, вышли из кузова и потащили в банк серые мешки с деньгами. Минут через десять они вышли, уселись в свою крепость на колесах и отбыли. Вероятно, им полагалось ждать, пока Морфи пересчитает деньги, а мистер Бейкер проверит подсчет и выдаст им расписку.хлопотливое это дело — возиться с деньгами. Не мудрено, если, как говорит Морфи, начинаешь чувствовать отвращение к чужим деньгам. Судя по величине мешков, банк готовился к крупным предпраздничным выдачам. Будь я рядовым грабителем, я бы счел этот день самым подходящим. Но я не был рядовым грабителем. Я прошел высшую школу у моего приятеля Джоя. Вот кто мог бы ставить рекорды, если бы захотел. Меня даже удивляло, что он не хочет, хотя бы ради проверки своей теории.

В лавке с утра толпился народ. Мне пришлось даже трудней, чем я ожидал. Солнце палило немилосердно, ни дуновения ветерка — словом, погода стояла такая, когда каждый, не раздумывая, рвется за город отдохнуть. У прилавка образовалась целая очередь. Будь что будет, а одно я решил твердо. Мне нужен помощник. Если из Аллена не получится толк, я его выставлю и возьму другого.

Около одиннадцати в лавку вошел мистер Бейкер. Он очень торопился, и мне пришлось извиниться перед покупателями и пройти с ним в помещение кладовой.

Он сунул мне в руки два конверта — один большой, другой маленький — и от спешки заговорил со стенографической краткостью:

— Том Уотсон говорит, дело чистое. Насчет закладных не знает. Думает, что нет. Вот документы. Подпишите там, где я отметил. Номера купюр переписаны. Вот заполненный чек. Поставьте только подпись. Простите, что тороплюсь, Итен. Не в моем духе делать так дела.

— Значит, вы все-таки советуете мне попытаться?

— Черт возьми, Итен, после всего, что я...

— Простите, сэр. Простите. Вы совершенно празы.— Я положил чек на ящик сгущенного молока и расписался на нем химическим карандашом.

Как мистер Бейкер ни торопился, он не забыл проверить, правильно ли подписан чек.

— Попробуйте для начала предложить две тысячи. И повышайте постепенно, сотни по две за раз. Вам, конечно, известно, что у вас на счету осталось всего пятьсот долларов? Не дай бог, чтобы вам опять понадобились деньги.

— Если все будет в порядке, разве нельзя взять ссуду под лавку?

— Конечно, можно, только проценты вас съедят.

— Не знаю, как мне благодарить вас, сэр.

— Лишь бы вы не растаяли при разговоре, Итен. Не давайте ему разжалобить себя. Он будет петь сладко. Все итальянцы на это мастера. Помните: нужно думать о себе.

— Спасибо вам за все.

— Ну, мне пора,— сказал он.— Хочу выехать на шоссе раньше, чем хлынет весь поток машин.— И он выбежал вон, едва не сбив с ног миссис Уиллоу, которая уже по второму разу ощупывала каждую дыню на лотке.

Время шло, а толчея в лавке не прекращалась. Зной, паливший улицы, словно действовал на людей, делая их сварливыми и раздражительными. Можно было подумать, что они готовятся не к праздничному отдыху, а к какому-то стихийному бедствию. Я бы не мог улучшить минутку, чтобы снести Морфи сэндвичи, даже если бы захотел.

Приходилось не только отпускать товар и получать деньги, но при этом смотреть в оба. Среди покупателей было много случайных людей, приезжих, которые так и норовят стащить что-нибудь. Будто бы даже помимо собственной воли. Причем вовсе не то, что им в самом деле необходимо. Больше всего у них разгораются глаза на баночки деликатесов — паштет из гусиной печени, икру, маринованные грибки. Оттого Марулло и наказывал мне держать этот товар позади прилавка, куда покупателям заходить не полагается. Поймать вора с поличным — плохо для торговли, учил он меня. Скандал, все волнуются, может быть от того, что никто не безгрешен — по крайней мере в мыслях. Уж лучше наверстать убыток на других покупателях. Но если я замечал, что кто-нибудь явно жметя поближе к некоторым полкам, я говорил вслух: «Вот эти пикули — отличная недорогая закуска для коктейля». И не раз покупателя сразу передергивало, словно я угадал его мысли. Самое противное во всем этом деле — подозрительность. Ненавижу подозревать всех и каждого. Это все равно что одному человеку оскорблять многих.

День тянулся все труднее и все медленнее. После пяти в лавку явился начальник полиции Стони, тощий, мрачный и желтый, как язвенник. Он купил набор для обеда, из тех, что рекламируются телевидением: бифштекс по-деревенски, тушеная морковь, картофельное пюре — все готовое, замороженное и упакованное в алюминиевый ящичек.

Я сказал:

— Что с вами, начальник? У вас такой вид, словно вас хватил солнечный удар.

— Нет, почему. Я себя хорошо чувствую.— Вид у него был отвратительный.

— Вам два набора?

— Нет, один. Жена уехала в гости. А полицейскому праздников не положено.

— Обидно.

— А может, оно даже лучше. При такой кутерьме кругом все равно дома сидеть не придется.

— Я слышал, вы куда-то уезжали?

— Кто вам сказал?

— Вилли.

— Держал бы он лучше свой толстый язык за зубами.

— Он ничего дурного не думал.

— У него ума не хватит думать. Хватило бы хоть на то, чтобы не угодить за решетку.

— От этого никто не застрахован,— сказал я нарочно. Эффект превзошел мои ожидания.

— Что вы хотите сказать, Итен?

— Просто у нас развелось столько законов, что, кажется, чихнуть нельзя, чтобы не оказаться правонарушителем.

— Да, это верно. Всего не упомнишь.

— Я, кстати, хотел спросить вас, начальник... я тут наводил порядок на полках и нашел револьвер, старый, заряженный револьвер. Марулло его своим не признает, а уж я-то и подавно первый раз вижу. Что мне с ним делать?

— Если не хотите выправлять разрешение, сдайте мне.

— Ладно, завтра захвачу его с собой. Он у меня дома, в жестянке с керосином. А как вы в таких случаях поступаете, Стони?

— Проверяем, не тянется ли за ним какое-нибудь дело, а если нет, выбрасываем в океан, и все.— Он как будто немного повеселел, чего я никак не мог себе позволить — слишком долгим и мучительным был этот жаркий день.

— А помните, года два назад был процесс где-то в нашем штате? Судили полицейских за торговлю конфискованным оружием.

Стони улыбнулся ласковой улыбкой крокодила и с крокодилей же непосредственностью.

— У меня была трудная неделя, Ит. Ужасная неделя. Вам, я вижу, хочется подразнить меня, так лучше не надо. Мне и без вас досталось за эту неделю.

— Ладно, начальник, не буду. А не может ли добропорядочный гражданин чем-нибудь помочь вам, например выпить с вами?

— Эх, если б можно было! Я бы сейчас ничего так не хотел, как напиться пьяным.

— За чем же дело стало?

— Вы ничего не знаете? Да нет, откуда вам знать. Если бы я хоть сам знал, откуда это все и для чего.

— О чем это вы?

— Ни о чем, и забудьте, что я говорил. Впрочем, нет— не забывайте. Вы ведь в дружбе с мистером Бейкером, Ит. Что он, не задумал чего-либо новенького?

— Не такой уж я ему близкий друг, чтобы это знать, начальник.

— А Марулло? Где он сейчас, Марулло?

— Поехал в Нью-Йорк. Хочет посоветоваться насчет своего артрита.

— Господи Боже мой! Не понимаю. Ничего не понимаю. Если бы хоть какой-нибудь след, я бы знал, куда кидаться.

— Что-то вы городите несуразное, Стони.

— Да, вы правы. И вообще я тут слишком много наговорил.

— Не хочу себя хвалить, но если у вас есть потребность поделиться...

— Нет, нет. Ни за что. Им не удастся обвинить меня в том, что я разболтал, никому не удастся. Забудьте все, Ит, я просто очень устал и измучен.

— Меня вам нечего бояться, Стони. Что там было — суд присяжных?

— Так вы знаете?

— Немножко.

— Что же за этим кроется?

— Забота о прогрессе.

Стони подошел ко мне совсем близко и так схватил меня выше локтя своей железной рукой, что мне стало больно.

— Итен,— сказал он свирепо,—по-вашему, я хороший полицейский?

— Превосходный.

— Стараюсь, как могу. От всей души стараюсь. Ит, по-вашему, это хорошо — заставлять человека выдавать своих друзей, чтобы спасти себя?

— По-моему, нет.

— И по-моему, нет. Не могу я уважать власти, которые так действуют. И ведь вот что меня пугает, Ит,— я уже не смогу быть хорошим полицейским, раз у меня не будет уважения к своему делу.

— Вас на чем-нибудь подловили, начальник?

— Помните ваши собственные слова? Так много законов, что стоит чихнуть, и ты уже нарушил один из них. Ах, черт меня побери! Ведь это же все мои друзья. Но вы никому не расскажете, Ит?

— Нет, нет, не расскажу. Вы забыли свой обеденный набор, шеф.

— Да,— сказал он.— Приду домой, сниму ботинок и буду смотреть телевизор — учиться у полицейских из телефильма. Знаете, иногда лучше отдыхать, когда дома никого нет. Ну, всего, Итен.

Стоит славный малый. И он хороший полицейский. Интересно, куда поведет след.

Я собирался запереть и только что внес лотки с улицы, как вдруг пожаловал Джой Морфи.

— Скорей! — сказал я, запер обе двери и спустил зеленые шторы.— Говорите шепотом.

— А что случилось?

— Вдруг кто-нибудь захочет еще что-то купить.

— А! Я вас понимаю. Господи, до чего я ненавижу праздники! В людях проявляется все самое скверное. С утра точно с цепи сорвались, а когда доберутся до дому, так и язык на сторону.

— Хотите выпить холодненького, пока я тут все уберу?

— Не возражаю. Пиво есть?

— Только навынос.

— Не беспокойтесь, я его вынесу. Откройте баночку.

Я проткнул в крышке два треугольных отверстия, и он, запрокинув голову, вылил все до капли себе в рот.

— Уфф! — сказал он и поставил пустую банку на прилавок.

— Мы тоже уезжаем до вторника.

— Бедняга! А куда?

— Еще не знаю. Мы еще не успели поссориться из-за этого.

— Что-то происходит в городе. Не знаете, что?

— Подскажите.

— Я сам не знаю. Но чую, что-то происходит. У меня затылок чешется. Это верный признак. Всё словно не в себе.

— Может быть, вам только кажется?

— Может быть. Но мистер Бейкер никогда не уезжает на праздники. А тут у него прямо земля под ногами горела, так он спешил убраться из города.

Я засмеялся:

— А вы бы проверили свои книги.

— Знаете что? Проверял.

— Шутите?

— Знал я одного почтмейстера в маленьком городишке. У него работал помощником сопляк мальчишка, по имени Ральф,— соломенные волосы, очки, крошечный подбородок, аденоиды величиной с зоб. Так вот, этот Ральф попался на краже марок — и на большую сумму, что-то около двух тысяч долларов. И ничего он не мог поделать. Одно слово — сопляк.

— Вы хотите сказать, что он не крал этих марок?

— А какая разница? Крал, не крал — главное, что попался. Я вот всегда начеку. И никогда не попадусь, будьте спокойны, разве что не по своей вине.

— Не потому ли вы и не женились?

— А что, черт возьми, может, отчасти и потому.

Я снял фартук, свернул его и убрал в ящик под кассой.

—хлопотное дело подозревать всех и каждого, Джой. У меня на это и времени бы не нашлось.

— В банке нельзя иначе. Один раз оплошал — конечно. Достаточно кому-нибудь шепнуть.

— Неужели вы ко всем относитесь с подозрением?

— Тут уж инстинкт действует. Если что хоть чуть-чуть не так — у меня сейчас тревожный звонок.

— Да как же так можно жить! Вы, верно, шутите?

— Шучу, шучу. Я только хотел вас просить: если услышите что-нибудь, скажите мне, то есть, конечно, если это меня касается.

— Да я вообще каждому готов рассказать все, что знаю. Оттого, должно быть, мне никто ничего и не рассказывает. Вы домой?

— Нет. Зайду, пожалуй, в «Фок-мачту» пообедать.

Я выключил наружное освещение.

— Мы выйдем через переулок, не возражаете? Я вам завтра приготовлю сэндвичи с утра, до того как начнется

столпотворение. Один с сыром, один с ветчиной, ржаной хлеб, салат и майонез, верно? И кварту молока.

— Вам бы в банке работать,— сказал он.

Пожалуй, живя один, он был не более одинок, чем многие, у кого есть семья. Мы простились у входа в ресторан, и на мгновение я ему даже позавидовал. Я легко мог представить себе, что творится у меня дома.

И я не ошибся. Мэри уже обдумала всю программу. Неподалеку от мыса Монток есть такой приют для бездельников — небольшое ранчо, совсем во вкусе современного ковбойского фильма для взрослых. Пикантность в том, что это самое настоящее ранчо, одна из старейших скотоводческих ферм в Америке. Там разводили скот на продажу, когда еще Техаса и в помине не было. Грамота на землю была пожалована владельцам Карлом Вторым. На этой земле пасся скот, который шел на прокорм Нью-Йорку, и пастухов туда брали на срок, по жребию, как присяжных. Теперь, конечно, все это чистая бутафория, но все-таки на пастбищах и по сей день пощипывают травку упитанные коровы. Мэри очень нравилась идея заночевать там, в одном из домиков для приезжающих.

Эллен хотела ехать прямо в Нью-Йорк, остановиться в отеле и провести два дня на Таймс-сквер. Аллен вообще не хотел ехать. Это один из его излюбленных способов заявить о себе и привлечь к своей персоне внимание.

Самый воздух в доме был наэлектризован волнением. Эллен проливала тяжелые, медленные, смачные слезы. Мэри была вся красная от негодования и усталости. Аллен, надувшись, демонстративно сидел в стороне от всех со своим карманным приемничком и слушал голос певицы, заунывно, с надрывом повторяющей слова любовной жалобы: «Ты в любви мне поклялся, а потом надругался, мое бедное верное сердце грубо ты растоптал».

— Я, кажется, сейчас брошу все,— сказала Мэри.

— Они думают, что помогают тебе.

— Они нарочно стараются быть как можно несноснее.

— Никогда мне ничего нельзя,— хныкала Эллен.

Аллен в гостиной запустил на полную мощность: «...мое бедное верное сердце грубо ты растоптал».

— Милая моя каротелька, а что, если нам запереть их в погреб и уехать отдыхать вдвоем?

— Я бы, кажется, ничего против не имела.— Ей пришлось прокричать эти слова, чтобы я их расслышал в грохоте бедного верного сердца.

На меня вдруг нахлынуло бешенство. Я решительным шагом пошел в гостиную с твердым намерением схватить своего сына за шиворот, швырнуть на пол и грубо растоптать вместе с его бедным верным сердцем. Но когда я уже был на пороге, музыка вдруг смолкла: «Прерываем нашу передачу, чтобы сделать специальное сообщение. Сегодня днем ряд крупных должностных лиц Нью-Бэйтауна и округа Уэссекс получили предписание явиться в суд присяжных по обвинению в разного рода злоупотреблениях, как то: махинации со штрафами за нарушение уличного движения, взятки, спекуляция подрядами на строительство и благоустройство...»

Вот оно, обрушилось: мэр, муниципалитет, судьи — все тут. Я слушал с тяжелым чувством, слушал и не слушал. Может быть, они и делали все то, в чем их обвиняли, но они делали это так давно, что уже не видели в этом ничего дурного. А если они невиновны, им уже не успеть оправдаться до выборов, да и потом обвинение, даже недоказанное, всегда кладет тень на человека. Их песенка спета. Вероятно, они это сами понимали. Я прислушался, ожидая услышать имя Стони, но оно не было названо. Очевидно, он предал их, чтобы самому остаться в стороне. Не мудрено, что у него было так скверно на душе.

Мэри слушала, стоя в дверях.

— Ну и ну! — сказала она. — Давно уже у нас не случилось ничего подобного. Ты думаешь, это все правда, Итен?

— Не важно, — сказал я. — Тут не в том дело, правда или неправда.

— Интересно, что об этом думает мистер Бейкер.

— Он уехал отдыхать. Да, хотел бы я знать, каково ему сейчас.

Аллен сердито ерзал на месте, недовольный, что ему помешали.

Радио, обед, а потом мытье посуды отвлекли нас от разговоров о поездке, а потом оказалось, что уже слишком поздно, чтобы решать что-нибудь или продолжать ссоры и слезы.

Когда мы легли в постель, меня вдруг бросило в дрожь. От холодной, обдуманной беспощадности нанесенного удара мне стало зябко, несмотря на теплоту летней ночи.

Мэри сказала:

— У тебя гусиная кожа, милый. Уж не подхватил ли ты вирусный грипп?

— Нет, родная, просто я думаю, каково сейчас этим людям. Пожалуй, им не позавидуешь.

— Перестань, Итен. Нельзя вваливать себе на плечи чужую беду.

— Как видишь, можно.

— Едва ли из тебя когда-нибудь получится бизнесмен. Ты слишком чувствителен, Итен. Ты-то не виноват в этих преступлениях.

— Как знать. Может быть... может быть, мы все виноваты.

— Не понимаю.

— Я и сам не очень понимаю, радость моя.

— Если бы было на кого их оставить.

— Повтори, Коломбина, что ты сказала.

— Как бы я хотела провести праздники вдвоем с тобой. Давно уже так не бывало.

— Да, плохо, когда нет какой-нибудь одинокой пожилой родственницы. Но, может быть, ты что-нибудь придумаешь? Жаль, что нельзя их засолить или замариновать на время. Мэри, мадонна моя, ну постарайся придумать что-нибудь. До смерти хочется побыть с тобой вдвоем в незнакомом месте. Мы гуляли бы в дюнах и купались бы ночью голые, и я бы тормозил тебя на ложе из папоротников.

— Милый мой, хороший, я все понимаю. Я знаю, как тебе трудно. Не думай, что я не знаю.

— Ладно, прижмись ко мне крепче. Давай думать вместе.

— Ты все еще дрожишь. Тебе холодно?

— Мне и жарко и холодно, я и полон и пуст... и я очень устал.

— Я придумаю что-нибудь. Непременно придумаю. Конечно, я их люблю, но все-таки...

— Да, а я бы спокойно надел галстук-бабочку...

— Если их посадят в тюрьму...

— Это, пожалуй, был бы выход.

— Нет, я о тех людях. Их посадят, как ты думаешь?

— Нет. В этом нет надёжности. Суд присяжных будет не раньше того вторника, а в четверг выборы. На это и расчет.

— Итен, что за цинизм. Тебе это не свойственно. Мы обязательно должны уехать, раз уж ты становишься циником, а ты не шутил, я по твоему тону слышу. Я знаю, когда ты шутишь. Сейчас ты говорил всерьез.

Я испугался. Неужели по мне заметно что-то? Этого ни в коем случае нельзя допустить.

— Мышка-мышка, выходи за меня замуж!

И Мэри отвечала:

— Хо-хо! Хо-хо!

Меня мучил страх: вдруг по мне что-то заметно. Я давно уже не верил, будто глаза — зеркало души. Не раз мне встречались в жизни отъявленнейшие стервы с ангельским личиком и глазками. Есть, конечно, люди, от природы наделенные способностью видеть человека насквозь, но таких очень мало. А вообще люди редко интересуются чем-нибудь, кроме самих себя. Мне врезалась в память история, которую я как-то слышал от одной канадки шотландского происхождения. Когда она была девочкой-подростком, ей, как и всякому подростку, постоянно казалось, что все на нее смотрят, причем неодобрительно, и от смущения она то и дело краснела и ударялась в слезы. Однажды ее дед, старый шотландец, видя ее мучения, сказал сердито: «И чего ты расстраиваешься, что, мол, люди думают о тебе плохо? Да они о тебе вовсе не думают!» Это ее сразу излечило, а я после ее рассказа тоже стал как-то увереннее в себе, потому что старик был совершенно прав. Но вот Мэри, которая обычно живет за завесой из цветов, ею самой выращенных, услышала же что-то, чем-то на нее повеяло. Здесь крылась опасность — ведь завтрашний день еще впереди.

Если бы мой план возник сразу и во всех подробностях, я счел бы его нелепицей и выбросил из головы. Взрослые люди так не поступают, но взрослые люди часто играют в тайные игры. У меня это началось с того дня, когда Джой изложил мне правила ограбления банка. Игра скрашивала скуку моей работы, а дальше все так удивительно хорошо в ней укладывалось — Аллен со своей маской, неисправный бачок в уборной, заржавленный револьвер, приближающийся праздник, бумага, которую Джой заталкивал в дверной замок. Играя, я рассчитывал время, репетировал, примерялся. Но ведь и бандит, отстреливающийся от полиции, был когда-то мальчишкой и стрелял из пугача, да так набил себе руку, что обидно было бы не приложить потом это искусство к делу.

Мне трудно сказать, когда именно моя игра перестала быть игрой. Может быть, когда я понял, что могу стать владельцем лавки и что для ведения дела понадобятся деньги. И потом — соблазн испытать на практике так безупречно разработанный план. А что до преступности это-

го плана, так ведь это преступление против денег, не против людей. Никто не пострадает. Деньги застрахованы. Преступно было бы, что касалось людей — Дэнни, Марулло. Если я это мог сделать, то кража — пустяки. К тому же все это на один раз. Больше это никогда не повторится. А вся подготовка, аксессуары, расчет времени — все было разработано до мельчайших деталей прежде, чем это перестало быть игрой. Мальчишка с пугачом вдруг ощутил в руке настоящее оружие.

Конечно, известный риск тут был, но ведь рискуешь и тогда, когда переходишь улицу или даже просто прогуливаешься под деревьями. Мне кажется, страха я не испытывал. Я его изжил в многочисленных репетициях, осталось только легкое волнение, похожее на то, что чувствует актер, стоя за кулисами в день премьеры. И как в настоящей, серьезной игре, все возможные осложнения были заранее учтены и предупреждены.

Против ожиданий, я спал очень крепко, без снов и даже проспал. Я рассчитывал провести предрассветный час в успокаивающем нервы раздумье. Однако, когда я раскрыл глаза, хвост коровы у озера был виден так ясно, что, должно быть, уже с полчаса как рассвело. Меня вдруг подбросило на кровати, словно взрывной волной. При таком пробуждении, бывает, все тело сводит судорога. Даже Мэри проснулась от толчка и спросила:

— Что случилось?

— Я проспал.

— Глупости. Еще рано.

— Нет, мой плюсквамперфектум. У меня сегодня гала-день. Страсть к бакалее овладела миром. А ты не вставай, пожалуйста.

— Тебе надо поплотнее позавтракать.

— А я знаю что сделаю? Возьму в «Фок-мачте» кофе на вынос и, как голодный волк, наброшусь на запасы Марулло.

— Обещаешь?

— Обещаю, мышка-норушка, а ты лежи и думай, как бы нам все-таки избавиться на эти два дня от наших обожаемых деток. Нам это просто необходимо. Серьезно.

— Я и сама знаю. Попробую еще подумать.

Я быстро оделся и ушел, не дав ей времени наградить меня еще какими-нибудь полезными советами насчет моего здоровья и благополучия.

Джой сидел в кафе и, увидев меня, приглашающим жестом хлопнул по соседнему табурету.

— Не могу, Морфи. Поздно. Анни, можешь отпустить мне кварту кофе в картонной посуде?

— Кварту — нет. Две пинты, если хочешь.

— Ничего. Это даже лучше.

Она налила кофе в два картонных стаканчика, закрыла их крышками и поставила в бумажный мешочек.

Джой допил свой кофе и вышел вместе со мной.

— Вам сегодня придется служить обедню без епископа?

— Да, видно, так. Что вы скажете о вчерашних новостях?

— Все никак не переварю их.

— Говорил я вам, что чую неладное.

— Да, я об этом вспомнил, когда слушал радио. У вас тонкий нюх.

— Это профессиональное. Теперь Бейкер мог бы спокойно вернуться. Не знаю только, вернется ли.

— Бейкер?

— А вам ничего не приходит в голову?

Я беспомощно поглядел на него.

— Чего-то я, видно, не додумываю, а чего, сам не знаю.

— Господи боже мой!

— Удивляетесь моей недогадливости?

— Вот именно. Закон клыков еще не отменен.

— Ах ты, господи! Видно, я очень многого не могу додумать. Между прочим, я забыл, вы, кажется, любите, чтоб и салат был и майонез?

— Да, и то и другое.— Он сорвал целлофановую обертку с пачки сигарет «Кэмел» и, скомкав ее, сунул в дверной замок.

— Ну, я пошел,— сказал я.— У нас сегодня объявлена распродажа чая. Предъявивший крышку от ящика получает в премию ребенка. Нет ли у вас знакомых дам?

— Есть, конечно, но едва ли они соблазнятся подобной премией. Не трудитесь приносить сандвичи, я сам зайду.

Он затворил дверь за собой, и я не услышал щелканья замка. Надеюсь, Джой никогда не узнает, что он был моим учителем, и превосходным учителем. Он не только изложил мне теорию, он подкрепил ее наглядным уроком и, сам того не ведая, расчистил мне путь.

Все специалисты, все, кто разбирается в таких вещах, утверждают, что только деньги делают деньги. Самый простой путь — всегда самый лучший. Вся сила моего пла-

на заключается в его необыкновенной простоте. Но, наверно, он так и остался бы навсегда в моем воображении, если бы случайно Марулло не шагнул сослепу на край пропасти. Когда мне сделалось ясно, что я, может быть, стану владельцем лавки,— вот тогда и только тогда все мои фантазии обрели почву. У непосвященного мог бы возникнуть вопрос: если лавка будет моя, зачем же мне тогда деньги? Мистер Бейкер бы такого вопроса не задал, и Джой тоже, не говоря уже о Марулло. Иметь лавку, не имея капитала,— хуже, чем совсем не иметь лавки. Аппиева дорога банкротства окаймлена могилами необеспеченных предприятий. У меня там уже одна могилка есть. Самый глупый военачальник не бросит все свои силы на прорыв, зная, что у него нет ни резервов, ни минометов, ни подкреплений, а вот некоторые незадачливые дельцы именно так поступают. Правда, задний карман моих брюк оттопыривала объемистая пачка переписанных купюр — денег Мэри, но большая часть из них должна перейти в карман Марулло. И вот подойдет первое число следующего месяца. Оптовые фирмы не так уж рвутся предоставлять кредит предпринимателям, еще не успевшим себя зарекомендовать. Вот почему мне нужны будут деньги, те самые деньги, что сейчас дожидаются меня за тикающей стальной дверью. Как их добыть — задача, которая до сих пор решалась только в моих снах наяву,— казалась теперь вполне разрешимой. Что грабеж — это преступление, смущало меня очень мало. Насчет Марулло моя совесть тоже была спокойна. Сейчас он жертва, но при других обстоятельствах сам не задумался бы так поступить. Только мысль о Дэнни тревожила меня, хоть я и знал наверняка, что песенка Дэнни все равно спета. Разве не служила мне полным оправданием неудавшаяся попытка мистера Бейкера сделать с ним то, что сделал я? И все-таки мысль о Дэнни была как открытая рана — открытая рана, боль которой превозмогаешь, когда победа близка. С этой раной мне теперь придется жить, но, может быть, со временем она зарубцуется или обрастет забвением, подобно тому как осколок снаряда обрастает хрящом.

Сейчас главное — деньги, а тут все подготовлено и выверено, как самый точный механизм.

Наука Морфи пошла мне впрок, я усвоил его правила и даже прибавил еще одно от себя. Первое: не иметь ничего порочащего в прошлом. За мной ничего и нет. Второе: никаких сообщников или доверенных. Об этом и речи быть не может. Третье: никаких дамочек. Из моих знако-

мых разве только Марджи Янг-Хант подходит под эту категорию, а я отнюдь не собираюсь пить шампанское из ее туфли. Четвертое: не козырять деньгами. Я и не намерен. Я буду тратить деньги понемногу, оплачивая ими счета поставщиков. Место для хранения я уже придумал. На дне коробки, где лежит моя шляпа храмовника, сделано возвышение из папье-маше, обтянутое бархатом, по размеру и форме моей головы. Я уже отделил его от дна и намазал края цементной пастой, чтобы потом мгновенно приклеить на прежнее место.

Затем — маска Микки-Мауса. Она закрывает все лицо, так меня не узнают. Старый прорезиненный плащ Маруло — все эти бежевые плащи выглядят одинаково — и пара целлофановых перчаток, которые одним движением снимаются с руки. Маска была вырезана еще несколько дней назад, а коробка вместе с корнфлексом спущена в канализацию, куда впоследствии отправится и маска с перчатками. Старый «айвер-джонсон» с серебряной насечкой вычернен ламповой сажой, и в уборной стоит наготове банка со смазочным маслом, куда он будет засунут, а затем при удобном случае передан Стони.

Я прибавил еще одно заключительное правило: не жадничай. Не хватай слишком много и остерегайся крупных купюр. Шесть — десять тысяч, предпочтительно десятками и двадцатками, — вполне достаточно, и удобно хранить и тратить. Коробка от торта, что стоит на холодильнике, послужит подменной тарой; как только все будет закончено, она вернется на свое место и в ней опять будет торт. Я пробовал изменять свой голос с помощью чревовещательной трубки Аллена, но потом решил, что лучше обойтись без слов, одними жестами. Все наготове, ничего не забыто.

Я даже пожалел, что мистера Бейкера нет в городе. Будут только Морфи, Гарри Роббит и Эдит Олсен. Время было у меня рассчитано до долей секунды. Без пяти девять я поставлю метлу у входа. Дальше все репетировалось уже множество раз. Подвернуть полы фартука, подвесить гирю к цепочке в уборной, чтобы вода все время лилась. Всякий, кто войдет в лавку, услышит шум воды и сделает соответствующее заключение. Плащ, маска, коробка от торта, револьвер, перчатки. Как только начнет бить девять — перейти переулок, толкнуть дверь, надеть маску и войти в ту секунду, как загудит часовой механизм и Джой распахнет дверцу сейфа. Наставить револьвер, жестом приказать всем троим лечь на пол. Сопротив-

ления не будет. Джой ведь говорил: деньги застрахованы, а он нет. Взять деньги, положить в коробку от торта, вернуться к себе, спустить в унитаз маску и перчатки, бросить револьвер в банку со смазочным маслом, повесить плащ. Фартук вниз, деньги в шляпную коробку, торт на место, метлу в руки, и когда поднимется шум — как ни в чем не бывало подметать тротуар у всех на глазах. Все за одну минуту и сорок секунд — рассчитано, выверено и проверено. Но, как ни тщательно я все обдумал и рассчитал, у меня немножко захватывало дух, когда я подметал лавку перед тем, как отпереть двойную уличную дверь. Фартук я надел вчерашний, мятый, чтобы не бросались в глаза новые сгибы.

И вот, поверите ли, воемя перестало двигаться, как будто новый Иисус Навин остановил-таки солнце. Минутная стрелка отцовского хронометра застряла на месте.

Давно уже я не обращался вслух к своей пастве, но в это утро обратился — должно быть, от волнения.

— Друзья мои,—сказал я,—то, чему вы сейчас станете свидетелями, должно остаться в тайне. Я знаю, что могу рассчитывать на ваше молчание. Если у кого-нибудь есть сомнения нравственного порядка, прошу сомневающегося покинуть собрание.— Я помолчал.— Нет таких? Тем лучше. Но если я вдруг узнаю, что какая-то банка устриц или кочан капусты позволили себе обсуждать это происшествие с посторонними, виновного ждет казнь через посредство столовой вилки. Так и знайте. А теперь я желаю выразить вам свою признательность. Много лет мы с вами смиренно возделывали этот чужой виноградник, где я был таким же слугой, как и вы. Теперь положение изменится. Отныне я становлюсь здесь хозяином, но обещаю быть хозяином добрым, снисходительным и чутким. Срок подходит, друзья мои, занавес поднимается, прощайте.— И когда я с метлой в руках шел к дверям, я услышал свой собственный голос, взывавший: «Дэнни, Дэнни! Оставь меня, не терзай!» И такая сильная судорога передернула все мое тело, что мне пришлось постоять секунду, опершись на метлу, прежде чем отпереть дверь.

На отцовском хронометре короткая, толстая часовая стрелка указывала на девять, а длинная, тонкая минутная не дошла до двенадцати ровно на шесть минут. Я слышал, как сердце хронометра стучит у меня на ладони.

ГЛАВА XV

Этот день был не похож на другие дни, как собаки не похожи на кошек, а те и другие вместе — на хризантемы, или на морской прибой, или на скарлатину. Во многих штатах, в нашем-то во всяком случае, существует закон, по которому в праздничные дни должен лить дождь — специально, чтобы промочить людей до нитки и вконец испортить им настроение. Июльское солнце отбилося от орды маленьких перистых облачков и обратило их в бегство, но с запада, из долины Гудзона, надвигались воинственные полчища темных грозовых туч, вооруженных молниями и уже глухо бормочущих что-то на ходу. Если все пойдет строго по закону, то ливни не прольются до тех пор, пока на шоссе и на пляжах не скопится максимальное количество людишек-муравьишек, одетых по-летнему и по-летнему доверчивых.

Большинство магазинов у нас в городе открывалось в половине десятого. Но Марулло, стараясь урвать хоть на грош побольше, заставлял меня делать фальстарт полчаса раньше. От этого, пожалуй, надо будет отказаться. Ничтожной выгодой не окупятся враждебные чувства, которые питают к нам другие торговцы. Марулло об этом не знает, а если и знает, так ему плевать на это. Он иностранец, итальяшка, тиран, бандит, кровосос, ублюдок и восемь разновидностей сукиного сына. После того как я загубил своего хозяина, его недостатки и грехи, естественно, так и бросились мне в глаза.

Длинная стрелка отцовского хронометра медленно ползла по кругу, и я поймал себя на том, что мету ожесточенно, напрягая мускулы, в ожидании той минуты, когда моя задача потребует от меня быстроты и слаженности всех движений. Я дышал ртом, желудок поджимало к самым легким, как бывало на фронте перед боем.

Для субботнего утра да еще перед Четвертым июля народу на улице было маловато. Вот появился какой-то неизвестный мне старик с удочкой и зеленым пластмассовым ящичком для рыболовных принадлежностей. Идет к городской пристани и просидит там весь день, закинув в воду леску с несвежей наживкой на крючке. Он даже не взглянул на меня, но я заставил его обратить на себя внимание:

- Желаю удачи. Ловись рыбка большая.
- У меня никогда ничего не ловится.
- Иной раз окуня вытянешь.

— Сомневаюсь.

Ярый оптимист, но по крайней мере я запустил крючок в его память.

А вот и Дженни Сингл плывет по тротуару. Походка у Дженни такая, будто у нее ролики вместо ног. Во всем Нью-Бэйтауне не найти, пожалуй, менее надежного свидетеля. Как-то раз Дженни открыла кран духовки, а газ не зажгла. Не миновать бы ей взорваться и взлететь на воздух, да только она никак не могла вспомнить, где у нее спички.

— С добрым утром, мисс Дженни.

— С добрым утром, Дэнни.

— Я — Итен.

— Ну да, конечно. Хочу испечь пирог.

Я попытался оставить зарубку у нее в мозгу:

— Какой?

— Да сама не знаю, потому что ярлычок с пакета отклеился.

Если мне потребуется свидетель, лучше и не придумаешь! Но почему она сказала «Дэнни»?

Обрывок фольги никак не поддавался моей метле. Пришлось нагнуться и подцепить его ногтем. А банковские мышки осмелели — рады, что кота Бейкера нету. Вот их-то мне и нужно. Было без нескольких секунд девять, когда они выскочили из кафе и что есть духу побежали через дорогу.

— Ходу, ходу! — крикнул я, и они смущенно улыбнулись, атакуя двери банка.

Теперь пора. Не надо думать обо всем сразу — шаг за шагом, и каждый шаг — в отведенную ему секунду, как было рассчитано. Я заставил свой нервический желудок опуститься туда, где ему и надлежит быть. Теперь — поставить метлу у дверного косяка, на самом виду. Движения у меня были размеренно-быстрые, но не суетливые.

Уголком глаза я увидел на улице машину и остановился, пропуская ее мимо.

— Мистер Хоули!

Я повернулся назад всем телом, как это делают в кино загнанные в угол гангстеры. Запыленный темно-зеленый «шевроле» скользнул к тротуару, и из него — силы небесные! — вылез тот франтоватый чиновник из Нью-Йорка. Твердая земля дрогнула подо мной, точно отражение в воде. Остолбенев, я смотрел, как он идет прямо на меня. Мне казалось, что на это понадобилась вечность, а на самом деле — миг, и все было кончено. Возведенное мной со-

вершенное здание рассыпалось прахом у меня на глазах, точно давно похороненный труп при соприкосновении с воздухом. Я хотел кинуться в уборную и проделать все остальное, как было задумано. Нет! Ничего не выйдет. Закон Морфи не подлежал отмене. В такую минуту думаешь, вероятно, со скоростью света. Трудно отказаться от плана, который долго вынашивал, проверяя на себе раз за разом, так что выполнение его казалось только очередной проверкой, но я его отверг, отбросил, поставил на нем крест. Выбора у меня не было. И в голове со скоростью света пронеслась мысль: «Слава богу, что он не пришел минутой позже. Это была бы та самая роковая случайность, о которой пишут в детективных романах».

А тем временем молодой человек деревянной походкой вышагивал по тротуару — раз, два, три, четыре шага.

Что-то, наверно, было по мне заметно.

— Что с вами, мистер Хоули? Вы больны?

— Живот схватило, — сказал я.

— Это с каждым может случиться. Бегите, бегите. Я подожду.

Я кинулся в уборную, закрыл за собой дверь и дернул цепочку, чтобы зашумела вода. Света я не зажег. Я сидел в темноте. Мой судорожно трепыхающийся желудок не подвел меня. Не прошло и минуты, как мне действительно понадобилось, и я опростался, и мало-помалу тугая пульсация внутри утихла. К своду законов Морфи добавился еще один подпункт: в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств менять план — немедленно.

Со мной и раньше так бывало, что в критических положениях или в минуты большой опасности я словно вылезал из собственной шкуры, становился поодаль и с интересом стороннего наблюдателя следил за самим собой, за каждым своим жестом, за ходом своих мыслей, оставаясь совершенно спокойным. Сидя в темноте, я видел, как тот — другой — сложил вчетверо свой идеальный план, сунул в ящик, захлопнул крышку и убрал его не только с глаз долой, но и из памяти вон. Другими словами, когда я встал в темноте, застегнулся, opravил фартук и взялся за ручку тонкой фанерной двери, я был просто продавец в бакалейной лавке, которому предстоял хлопотливый день. И это не для конспирации. Так было на самом деле. Я недоумевал, что ему от меня нужно, этому молодому человеку, но при этом испытывал легкое беспокойство — тень застарелого чувства страха перед полицией.

— Вам пришлось ждать, простите,— сказал я.— Сам не знаю, отчего это меня так скрутило.

— Сейчас поветрие, такой вирус ходит,— сказал он.— То же самое было с моей женой на прошлой неделе.

— Ну, этот вирус, наверно, с дубинкой. Я еле добежал. Чем могу служить?

Вид у него сразу стал смущенный, извиняющийся, чуть ли не пристыженный.

— Странное дело, на что иной раз способен человек,— начал он.

Я преодолел в себе желание сказать «Всякое бывает», и слава богу, что не сказал, потому что следующие его слова были:

— На нашей работе чего только не бывает.

Я зашел за прилавок и ногой закрыл крышку кожаной коробки от шляпы и облокотился на прилавок.

Как странно! Пять минут назад я смотрел на себя глазами других людей. Так было надо. Мне было важно знать, что они видят. И пока этот человек шел по тротуару, он казался мне огромной, мрачной, беспросветной судьбой, врагом, людоедом. Но сейчас, когда затея моя была запрятана в дальний угол и уже не существовала как часть меня самого, я увидел в этом человеке нечто иное — уже не связанное со мной ни к добру, ни к худу. Он был, пожалуй, моих лет, но какого-то особого склада, особой выучки, может быть, даже особых убеждений. Впалые щеки, волосы подстрижены ежиком, сорочка из белой рогожки, уголки воротничка на пуговицах, галстук — по выбору жены, и она, конечно, поправила узел и подтянула концы, перед тем как супруг ее вышел из дому. Костюм у него был темно-серый, ударяющий в черноту, ногти без маникюра, но аккуратно подстриженные, на левой руке золотое обручальное кольцо, в петлице узенькая ленточка — намек на орден, который он не носит. Рот и темно-голубые глаза приучены выражать твердость, и тем более странно, что твердости в них сейчас ни на йоту. Будто в нем проткнули дыру. Это был совсем не тот человек, который несколько месяцев назад выкладывал передо мной свои вопросы, словно квадратные стальные брусья на равном расстоянии один под другим.

— Вы здесь уже были,— сказал я.— Вы откуда?

— Из министерства юстиции.

— Правосудие творите?

Он улыбнулся.

— Да, по крайней мере льщу себя такой надеждой. Но сегодня я здесь неофициально... и даже не уверен, что в отделе одобрили бы эту мою поездку. Но у меня сегодня свободный день.

— Чем могу служить?

— Дело довольно сложное. Просто не придумаю, с чего начать. Уж очень непривычно. Знаете, Хоули! Я служу двенадцать лет и первый раз встречаюсь с чем-либо подобным.

— Если вы скажете, в чем все-таки дело, может, я помогу вам.

Он опять улыбнулся.

— И слов не подберу. Я три часа просидел за рулем, а мне ведь обратно в Нью-Йорк ехать, да еще вечером, когда на шоссе бог знает что творится.

— Да, это не шутки.

— Вот именно.

— Ваша фамилия, если не ошибаюсь, Уолдер?

— Ричард Уолдер.

— Мистер Уолдер, меня, того и гляди, начнут осаждать покупатели. Не понимаю, почему до сих пор их нет. Огромный спрос на сосиски и горчицу. Так что выкладывайте поскорее. Мне что-нибудь грозит, какие-нибудь неприятности?

— На моей работе с какими только типами не встречаешься. Бандиты, лгуны, жулики, хапуги, глупые, умные. Иной раз терпение вот-вот лопнет, пока найдешь верный тон. Понятно?

— Ничего не понятно. Слушайте, Уолдер, что вы мне-тесь? Я не такой уж дурак. У меня был разговор с Бейкером в банке. Вы стараетесь изловить моего хозяина, Марулло?

— Уже изловили,— тихо сказал он.

— За что?

— Нелегальный въезд. Мое дело маленькое. Мне дают досье, и я выполняю все, что от меня требуется. А судят, решают его участь другие.

— Его вышлют?

— Да.

— А он собирается протестовать? Может, я могу помочь?

— Нет. Протестовать он не хочет. Признал себя виновным. Уедет, и дело с концом.

— Подумать только!

Вошли покупатели, сразу человек семь-восемь.

— Я вас предупреждал! — крикнул я и стал помогать им выбрать, что нужно или что им казалось нужным. К счастью, сосисок и булочек у меня были запасены горы.

Уолдер спросил через головы:

— Сколько стоят пикули?

— Цена на ярлыке.

— Тридцать девять центов, мэм, — сказал он. И пошел взвешивать, завертывать, упаковывать, подсчитывать. Его рука потянулась мимо меня к кассе, выбила чек. Когда он отошел, я взял кулек из стопки, выдвинул ящик прилавка, прихватил кульком старый револьвер, отнес его в уборную и опустил в банку со смазочным маслом, давно его дожидавшуюся.

— Вы молодцом, справляетесь, — сказал я, вернувшись.

— Рабстал помощником продавца сразу после школы.

— Оно и видно.

— А разве у вас нет подручного?

— Хочу сына взять, пусть помогает.

Покупатели всегда налетают стайками, а не поодиночке. В промежутках продавец переводит дух в ожидании следующего прилета. И еще одно: если люди работают вместе, острые углы между ними стираются. В армии выяснилось, что, когда белые и черные сражаются рядом против общего врага, они перестают враждовать друг с другом. Мой подсознательный страх перед полицией рассеялся окончательно, как только Уолдер взвесил фунт помидоров и, выписав на пакете столбик цифр, подсчитал сумму.

Наша первая стайка улетела.

— Ну, говорите скорей, что вам от меня нужно, — сказал я.

— Я обещал Марулло съездить сюда. Он хочет передать вам лавку.

— Вы с ума сошли. Простите, мэм. Это я своему приятелю.

— Да? Ну понятно. Так вот, нас пятеро. Трое ребят. Сколько мне взять сосисок?

— Ребятам по пять штук, вашему мужу — три, вам — две. Итого двадцать.

— Вам кажется, что они способны съесть по пять сосисок?

— Не мне, а им так кажется. Вы на пикник?

— Угу.

— Тогда возьмите пять лишних, потому что несколько штук обязательно упадут в костер.

— Где у вас затычки для раковин?

— Там сзади, где нашатырь и стиральные порошки.

Так у нас все и шло вперебивку, да иначе и быть не могло. Если отредактировать наш разговор, вычеркнув покупателей, то он был примерно такой:

— Я до сих пор не могу прийти в себя. Делаешь свое дело и большей частью с кем сталкиваешься? С разной сволочью. А если привык возиться с жульем, лгунами и разными прохвостами, то порядочный человек тебя просто наповал уложит.

— Вы говорите, порядочный? Ну, знаете, нашли благо-теорителя! Мой хозяин такой кремешок, только держись.

— Да, знаю. Мы сами в этом виноваты. Он мне много чего порассказал, и я ему верю. Он выучил, что написано на постаменте статуи Свободы, еще до приезда сюда. Вызубрил наизусть Декларацию независимости. В билле о правах каждое слово горело для него огнем. А потом вдруг — не пускают. Но он все-таки пробрался. Помог ему один добрый человек. Ободрал его как липку и высадил, не доезжая до берега, — добирайся в прибой сам, как хочешь. Он не сразу уразумел, что такое Америка, но потом разобрался, постиг что к чему. «Сколачивай деньгу. О себе думай в первую очередь». Постиг, все постиг. Он малый неглупый. О себе в первую очередь и думал.

Все это было пересыпано репликами покупателей, так что связного рассказа не получилось, а так, одни обрывки.

— Вот почему он не очень и огорчился, когда на него донесли.

— Донесли?

— Ну конечно. Долго ли? Звонок по телефону, только и всего.

— А кто же это?

— Поди узнай. Наш отдел — это точный механизм. Нажали кнопку, а дальше уж само собой заработало, как стиральная машина.

— Почему же он не скрылся?

— Устал, так устал, что сил больше нет. И опротивело ему все. Деньги у него есть. Решил вернуться в Сицилию.

— И все-таки я не понимаю, что вы там сказали про лавку?

— Он вроде меня. Я умею обращаться с разным жульем. Такая у меня работа. А порядочный человек портит мне всю механику, и я заношусь невесть куда. Вот так и с ним. Один только человек не пробовал его обсчи-

тивать, надувать, не воровал, не канючил. Марулло пытался научить его, дурня, как надо блюсти свои интересы в нашей свободной стране, но этому простофиле уроки впрок не пошли. Он долго вас побаивался. Все старался понять, в чем ваш рэкет, и наконец понял в чем — в честности.

— А что, если это ошибка?

— Говорит нет, все так и есть. Ему хочется превратить вас в своего рода памятник тому, во что он когда-то верил. Документ о передаче лавки у меня в машине. Вам остается только одно — зарегистрировать его.

— Ничего не понимаю.

— Да я не уверен, что сам понимаю. Вы же знаете, как он говорит, с пятого на десятое. Вот я и попытаюсь перевести вам то, что он пытался мне втолковать. Человек вроде устроен так, чтобы действовать в одном определенном направлении. Если он вдруг меняет его, что-то там портится — и нарезка с винта долой. Словом, плохо дело. Или, говорит, это вроде расчетов за электричество, когда сам себе квитанцию выписываешь. Напутаешь что-нибудь — расплачивайся потом. А вы, так сказать, его взнос авансом, чтобы свет не выключили, чтобы огонь не погас.

— А вы-то зачем сюда приехали?

— Сам не знаю. Что-то меня погнало... может, тоже, чтобы огонь не погас.

— О господи!

Лавку забило крикливой детворой и потными женщинами. Теперь, пожалуй, до самого полудня не будет ни единой свободной минуты.

Уолдер сходил к машине, вернулся и, разделив надвое волну по-летнему суматошных женщин, добрался до прилавка. Он положил передо мной толстый пакет, перевязанный шнурком.

— Мне пора. Шоссе так будет запружено, что и за четыре часа не доберусь. Моя жена просто в ярости была. Говорила — подождут. А по-моему, с таким делом ждать нельзя.

— Мистер, я уже десять минут жду, когда вы мной займетесь.

— Сю минуту, мэм.

— Я его спросил, что передать, и он сказал: «Пожелайте ему всего хорошего». А от вас что?

— Пожелайте ему всего хорошего.

Волна животов, обтянутых платьями, снова сомкнулась у прилавка. Что же, тем лучше. Я бросил конверт в ящик под кассой и туда же спрятал свою тоску.

ГЛАВА XVI

Время шло быстро, и все-таки день казался бесконечным. Лавку надо закрывать, а когда я открывал ее, даже не помню — так давно это было. Только я собрался запереть дверь на улицу, как появился Джой, и, не спрашивая его, я вскрыл банку с пивом и подал ему, а вторую взял себе, чего раньше никогда не делал. Я хотел рассказать Джою о Марулло и о лавке, но не мог, даже тем не мог поделиться, что принял взамен истины.

— Какой у вас усталый вид,— сказал Джой.

— Еще бы! Взгляните на полки — хоть шаром покати. Надо, не надо — все скупили.— Я высыпал выручку в серый холщовый мешок, добавил туда деньги, принесенные мистером Бейкером, сверху положил пухлый пакет и перевязал мешок бечевкой.

— Напрасно вы оставляете это здесь.

— Да, пожалуй. Но я его прячу. Хотите еще пива?

— Хочу.

— Я тоже выпью.

— Вы слишком уж благодарный слушатель,— сказал он.— Я начинаю сам верить в свои рассказы.

— О чем это вы?

— Да о моем сверхъестественном чутье. Вот как раз сегодня оно и проявилось, с самого утра. Наверно, я просто видел сон, но уж очень все было явственно, даже волосы на загривке стали дыбом. Я не то чтобы думал, что на банк совершат налет. Я знал это наверняка. Лежу в постели и знаю — вот так все и будет. Мы затыкаем маленькие клинышки под сигнальные звонки в полу, чтобы не наступить на них нечаянно. И сегодня утром я прежде всего эти клинышки вынул. Такая во мне была уверенность, так я к этому был готов. Ну, как это объяснить?

— Может, кто-нибудь собирался вас ограбить, и вы успели прочесть его мысли, а он взял и раздумал.

— С вами не пропадешь! Человек ошибся, а вы даете ему с честью выйти из положения.

— Ну, а как вы сами все объясняете?

— Ничего не знаю. Наверно, слишком уж я выставлялся перед вами эдаким всезнайкой, пришлось самому в себя уверовать. Но, доложу я вам, здорово меня это взбаламутило.

— Знаете, Морфи, я так устал, что и подметать не могу.

— Не оставляйте здесь выручку. Возьмите ее домой.

— Ладно, будь по-вашему.

— Мне все еще кажется, что где-то что-то неладно.

Я открыл кожаную коробку, в которой лежала моя шляпа с пером, сунул туда мешок с деньгами и затянул на ней ремень. Глядя, как я все это делаю, Джой сказал:

— Съезжу-ка я в Нью-Йорк, возьму номер в гостинице, разуюсь и два дня с утра до вечера буду любоваться из окна водоворотом на Таймс-сквер.

— С той самой?

— Нет, ту я оставил, закажу в номер бутылку виски и девицу. И с девицей и с бутылкой можно не разговаривать.

— Я вам, кажется, рассказывал... мы с Мэри, может быть, уедем на эти дни.

— И правильно. Вам это необходимо. Все у вас готово?

— Нет, кое-что надо еще сделать. А вы поезжайте, Джой. Разуьтесь, побудьте там в одних носках.

Прежде всего надо было позвонить Мэри и сказать ей, что я немного задержусь.

— Хорошо, но все-таки скорее домой, домой, домой. Тебя ждет сюрприз, сюрприз, сюрприз!

— Скажи мне сейчас, прелесть моя.

— Нет. Хочу видеть, какое у тебя будет лицо.

Я повесил маску Микки-Мауса на кассу, так что она закрыла собой маленькое окошечко, где выскакивают цифры. Потом надел плащ и шляпу, выключил везде свет и сел на прилавок, свесив ноги. Справа меня подталкивал в бок оголенный черный банановый стебель, а слева, вроде подпорки для книг, к моему плечу пристроился кассовый аппарат. Шторы на витринах были подняты, позднее летнее солнце силилось проникнуть внутрь сквозь переплет решетки, в лавке стояла тишина — тишина ровного гула, а мне ничего другого и не требовалось. Я пощупал в левом кармане, что там вдавилось мне в бок. Талисман. Я взял свой талисман обеими руками и всмотрелся в него. Он был нужен мне вчера. Значит, я забыл положить его на место. Может быть, то, что он все еще со мной, не случайно? Не знаю.

И как всегда, стоило мне только повести пальцем по извилине, и я почувствовал себя в его власти. В полдень он бывал розовый, а к вечеру темнел, наливался багряным румянцем, точно в него проникала струйка крови.

Не раздумывать мне было нужно сейчас, а перестроиться, изменить все свои планы, точно я пришел в сад,

где за ночь снесли дом. Пока не отстройшься заново, надо найти какое-нибудь более или менее сносное пристанище. Я отвлекался работой, давая всему новому время войти не спеша, чтобы можно было взять это на учет и хорошенько усвоить. Полки, весь день подвергавшиеся нападению, зияли пустотами там, где их оборону взломала голодная орда, — точно у них были выбиты зубы, точно на меня смотрел обнесенный стеной город, выдержавший артиллерийский обстрел.

— Помолимся о тех, кто ушел от нас, — сказал я. — Помолимся о банках кетчупа — боже, как поредели ряды мундиров красных! О храбрых пикулях и обо всех приправах, вплоть до маленьких флакончиков с уксусом. Не в нашей власти воздать им почести... нет, не то. Это мы, живые...¹ тоже не то, Альфио! Желаю вам счастья и избавления от боли. Вы, конечно, ошиблись, но ошибка ваша да послужит вам согревающим компрессом. Вы пошли на жертву после того, как сами стали жертвой.

В лавке то и дело мелькали тени людей, проходивших по улице. Я копнул поглубже среди обломков этого дня, отыскивая там слова Уолдера и его лицо, когда он сказал: «Вроде расчетов за электричество. Напутаеть — расплачивайся потом. А вы, так сказать, его взнос авансом, чтобы свет не выключили, чтобы огонь не погас». Вот что он сказал, этот Уолдер с его устоявшимся жульническим миром, растревоженный узким лучиком света, который проник туда.

Чтобы огонь не погас. Так ли сказал сам Альфио? Уолдер не запомнил, но он твердо знал, что Марулло хотел сказать именно это.

Я провел пальцем по змейке на моем талисмане и вернулся к ее началу, которое было и ее концом. Какой это древний огонь — три тысячи лет назад предки Марулло поднялись на Палатинский холм в день Луперкуса, чтобы ублажить жертвой римского Пана, защитника стад от волков. И этот огонь не погас. Марулло, итальяшка, макаронщик, принес жертву тому же божеству, прося о том же. Я снова увидел его голову над жирными складками шеи, над плечами, сведенными болью, увидел эту благородную голову, горящие глаза — и не погасший огонь. И подумал, какой же взнос потребуете с меня и когда его потребуют? Если отнести мой талисман в Старую гавань и бросить в море — достаточно ли будет такого дара?

¹ Из речи Линкольна.

Я не опустил штор на витринах. В праздничные дни мы так и оставляли их, чтобы полицейский мог заглядывать в лавку. В кладовой было темно. Я запер дверь в переулок и уже вышел на мостовую, как вдруг вспомнил про шляпную коробку на полу за прилавком. Вспомнил, но не вернулся за ней. Пусть остается: что будет, то будет. К концу этого дня, как и следовало ожидать, с юго-востока подул резкий ветер и нагнал тучи, чтобы до костей промочить всех, кто выехал за город. Я решил, что во вторник надо поставить тому серому коту молока и пригласить его к себе в лавку.

ГЛАВА XVII

Не знаю, что делается в душе у других людей: ведь мы все разные, хотя в то же время и одинаковые. Могу только догадываться. Но про себя знаю наверняка, что я извиваюсь и корчусь, пытаюсь увильнуть от ранящей истины, а когда наконец деваться от нее некуда, откладываю попечение о ней на время, в надежде, что она сама от меня отстанет. А другие? Может быть, говорят сухим тоном: «Я подумаю об этом завтра, когда отдохну», — а потом погружаются мыслью в вожащенное будущее или отредактированное прошлое, точно дети, уже через силу играющие в какую-то игру, лишь бы оттянуть неизбежное «спать пора».

Я тащился домой через минное поле истины. Будущее было засеяно всхожими зубами дракона. И удивительно ли, что мне захотелось причалить к прошлому. Но на моем пути стала тетушка Дебора — бьющий влет стрелок по всякого рода лжи, и глаза у нее были как два горящих вопросительных знака.

Я простоял у ювелирного магазина, разглядывая в витрине оправы для очков и эластичные часовые браслеты до тех пор, пока это было в границах приличий. В недрах сырого ветреного вечера зарождались грозные ливни.

В начале прошлого столетия было много островков любознательности и премудрости, как моя тетушка Дебора. Отчего они становились книголюбцами? Оттого ли, что жили в стороне от сильных мира сего, или оттого, что им приходилось подолгу ждать, когда придут домой китобойные суда, ждать иной раз три года, иной раз до конца дней своих, и они обращались к тем книгам, которыми был те-

перь забит наш чердак. Но лучшей из лучших была моя тетушка Дебора — сивилла, пифия, учившая меня магическим, бессмысленным словам. И, вложив потом в эти слова какой-то смысл, я не перестал ощущать их власть над собой.

«Ма бесвак фор орм тра фэгир вур», — говорила она, и что-то роковое слышалось в этом. И еще: «Сео лео гиф хо плай онбирит авит эрест айр лэдтоу». Слова эти были какие-то волшебные, иначе я не помнил бы их до сих пор.

Мимо меня бочком-бочком, опустив голову, быстро прошел мэр Нью-Бэйтауна, и, поздоровавшись с ним, я услышал отрывистое «добрый вечер» в ответ.

Я почувствовал свой дом, старинный дом Хоули, за полквартала. Вчера вечером он был окутан паутиной уныния, но в этот окаймленный грозой вечер все в нем излучало радостное волнение. Дома, точно опалы, меняют окраску в течение дня. Старушка Мэри слышала мои шаги на дорожке и мелькнула в дверях, как язычок огня.

— А вот не догадаешься! — сказала она и вытянула руки ладонями внутрь, точно придерживая большой сверток.

Те слова все еще были со мной, и я сказал:

— Сео лео гиф хо плай онбирит авит эрест айр лэдтоу.

— Близко, но не совсем.

— Какой-то неизвестный поклонник преподнес нам динозавра.

— Нет, не отгадал, но моя новость ничуть не хуже. А скажу я тебе только тогда, когда ты умоешься, потому что такие вещи надо выслушивать чистеньким.

— Пока что я слушаю любовную песнь краснозадого павиана. — И это была чистая правда — песнь неслась из гостиной, где Аллен терзал свою душу бунтарством: «Мурашки, мурашки от взглядов милашки, а ты не веришь в мою любовь». — Знаешь что, ангел мой небесный, я сейчас его подожгу.

— Нет, не посмеешь. Особенно когда тебе все будет сказано.

— А нельзя сказать, пока я еще грязный?

— Нет.

Я вошел в гостиную. Мой сын ответил на мое приветствие с тем осмысленным выражением лица, какое бывает у человека, когда он жует резинку.

— Надеюсь, твое бедное вернсе сердце подобрали с полу?

— Чего?

— Не чего, а что. Последний раз я слышал, что его грубо растоптали.

— Боевик! — сказал он. — Первым номером по всей Америке. За две недели распродано два миллиона пластинок.

— Прекрасно! Значит, твое будущее обеспечено. — Поднимаясь по лестнице, я подхватил припев: — «Мурашки, мурашки от взглядов милашки, а ты не веришь в мою любовь».

Эллен подкралась ко мне с книжкой в руках, заложенной между страницами пальцем. Я знаю ее повадку. Она задаст мне какой-нибудь вопрос, по ее мнению интересный для меня, а потом как бы невзначай выпалил то, что хотела сказать Мэри. Эллен торжествует, когда ей удастся забежать вперед. Не назову ее сплетницей, но есть за ней такой грех. Я показал ей скрещенные пальцы:

— Чур, молчать!

— Но, папа...

— Чур! Сказано чур, значит, молчать, тепличная гвоздичка. — Я захлопнул за собой дверь и крикнул: — Моя ванная — моя крепость! — И услышал ее смех. Не верю детям, когда они хохочут над моими шутками. Я докрасна натер себе лицо и так яростно чистил зубы, что из десен выступила кровь. Потом побрился, надел чистую рубашку и ненавистный моей дочери галстук-бабочку, как бы подняв знамя восстания.

Моя Мэри вся дрожала от нетерпения.

— Ты просто не согласишься.

— Сео лео гиф хо плай онбирит. Говори.

— Марджи самый верный друг на свете.

— Цитирую: «...Человек, который изобрел часы с кушковой, умер. Это не ново, но слышать приятно...»

— Ни за что не догадаешься... Она возьмет детей на свое попечение, чтобы мы с тобой могли уехать.

— Опять какой-нибудь трюк?

— Я ее не просила. Она сама.

— Да эти детки съедят ее заживо.

— Они ее обожают. В воскресенье она повезет их поездом в Нью-Йорк, переночует с ними у одной своей знакомой, а в понедельник поведет их в Рокфеллер-центр смотреть подъем нового флага с пятьюдесятью звездочками, потом будет парад и... и все прочее.

— Не верю своим ушам.

— Как это мило, правда?

— Очень мило. А мы с тобой убежим в Монток, мышка?

— Я уже звонила туда и просила оставить нам номер.

— Все как в бреду. Меня сейчас разорвет на части. Чувствую, как пухну, пухну.

Я хотел рассказать ей про лавку, но слишком большое количество новостей может вызвать несварение. Лучше подождать и выложить ей все это в Монтоке.

В кухню прошмыгнула Эллен.

— Папа, а розового камешка нет в горке.

— Он у меня. Вот здесь, в кармане. Возьми, положи его на место.

— Ты же не велел выносить его из дому.

— И не велю, под страхом смертной казни.

Она чуть ли не с жадностью вырвала у меня талисман и, держа его обеими руками, понесла в гостиную.

Мэри устремила на меня какой-то странный хмурый взгляд.

— Зачем ты его брал, Итен?

— На счастье, родная. И подействовало.

ГЛАВА XVIII

Третьего июля, в воскресенье, дождь лил весь день, как и полагалось, и его жирные капли были какие-то особенно мокрые. Мы пробирались по шоссе в извивающемся, точно червяк, потоке машин, немножко важничая и в то же время чувствуя себя беспомощными и потерянными, словно птицы, выпущенные из клетки на волю и испугавшиеся, когда эта воля вдруг показала им свои зубы. Мэри сидела очень прямо, и от нее пахло только что выглаженным полотном.

— Ты довольна? Тебе весело?

— Я все время прислушиваюсь, как там дети?

— Знаю. Моя тетушка Дебора называла это тоской в веселье. Лети, птица моя! Вот эти оборочки у тебя на плечах — это твои крылья, дурочка.

Она улыбнулась и прижалась ко мне.

— Приятно, а все-таки я прислушиваюсь — как там дети? Интересно, что они сейчас делают?

— Все что угодно, только не думают о том, что делаем мы.

— Да, верно. Им это не интересно.

— Так давай перецегаляем их. Я увидел твою трирему, о нильская змейка, и понял: наш день настал. Сегодня вечером Октавиан будет просить хлеба у какого-нибудь греческого пастуха.

— Бог знает что ты болтаешь. Аллен никогда не смотрит, куда идет. Может побежать прямо на красный свет.

— Да, да! А бедная наша хромоножка Эллен. Правда, сердце у нее золотое, и личиком она недурна. Может, кто-нибудь и полюбит ее, а ногу ей ампутируют.

— Ну, дай мне поволноваться немножко. Мне так лучше.

— Блестяще сформулировано. Ну что ж, давай вдвоем представим себе все ужасы, которые могут случиться.

— Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю.

— Понимаю. Но вы сами, ваше высочество, принесли в нашу семью гемофилию. Она передается по женской линии. В результате у нас с вами двое гемофиликов.

— Ты самый нежный отец на свете.

— Виновен я! Таких скотов не сыщешь, брат, нигде.

— Я тебя люблю.

— Вот такие волнения я одобряю. Посмотри направо. Видишь, как песок маленькими твердыми волнами набегает на дорогу из-под вереска и дрока? Дождевые капли ударяются о землю и отскакивают от нее мельчайшими брызгами, как туман. Мне всегда казалось, что здесь похоже на Дартмур или Эксмур, хотя и то и другое я видел только на картинках. Знаешь, первый девонский человек, вероятно, почувствовал бы себя в этих местах как дома. Интересно, призраки здесь бродят?

— Если не бродят, так ты их вполне заменишь.

— Compliments хороши, когда они от всего сердца.

— Сейчас не до этого. Справа должен быть поворот. Смотри, когда будет указатель с надписью «Муркрофт».

И указатель появился. Эта длинная, узкая, точно веретено, оконечность Лонг-Айленда хороша тем, что почва здесь впитывает в себя дождь и слякоти после этого не бывает.

Нам отвели целый кукольный домик, чистенький, весь в ситчике, с прославленными рекламой супружескими кроватями, пухлыми, точно булочки.

— Это мне не нравится.

— Вот глупый! Они же рядом стоят — дотянуться можно.

— Еще дотягиваться? Это меня не устраивает, непотребная девица!

Обедали мы изысканно — ели мэнские лангусты и пили белое вино — много белого вина, так что у моей Мэри заблестели глаза. А я еще коварно подливал ей коньяку, пока у меня у самого не зашумело в голове. Не я, а она вспомнила номер нашего кукольного домика, и не мне, а ей удалось попасть ключом в замочную скважину. В дальнейшем выпитый коньяк не помешал мне — впрочем, если бы ей не хотелось, ничего бы и не было.

Потом, удовлетворенно потягиваясь, она положила голову мне на правую руку и улыбнулась и негромко протяжно зевнула.

— Тебя что-то тревожит?

— Глупости какие. Ты не успела заснуть, а уже видишь сны.

— Ты так стараешься, чтобы мне было хорошо. Я не пойму, что с тобой? Тебя что-то беспокоит.

Странные, прозорливые минуты — первые ступеньки сна.

— Да, беспокоит. Ну, теперь довольна? Ты никому не рассказывай, но небо обрушилось на землю и кусочек его попал мне на хвост.

Она сладко уснула со своей языческой улыбкой на губах. Я высвободил руку, встал и постоял в проходе между кроватями. Дождь кончился, только с крыш все еще капало, и четвертушка луны поблескивала в миллионах капелек. *Beaux rêves*¹, дорогая моя радость. Только смотри, чтобы небо не упало на нас!

Моя постель была прохладна, но чересчур мягкая, и мне было видно, как четкий месяц бежит сквозь тянущиеся к морю облака. Зловеще закричала где-то выпь. Я скрестил пальцы на обеих руках. Чур меня, хотя бы ненадолго. Двойное чур меня. Ведь на хвост мне упала всего лишь маленькая горошина.

Даже если рассвет пришел в раскатах грома, я ничего этого не слышал. Когда я проснулся, за окном уже золотилось утро, и в нем была бледная зелень папоротника, был темный вереск и красноватая желтизна мокрого песка дюн, а неподалеку, точно листовое серебро, поблескивал Атлантический. Покореженный ствол дуба возле нашего домика приютил у корней лишайник величиной с подушку, весь из ребристых наплывов серовато-жемчужного цвета. Извилистая, усыпанная гравием тропинка вела по кукольному городку к крытому черепицей бунгало, породив-

¹ Прекрасных сновидений (франц.).

шему все эти домики. Там была контора, киоски, где продавались почтовые открытки, сувениры, марки, а также ресторан со столиками, покрытыми скатертями в синюю клетку, за которыми нам, куклам, полагалось обедать.

Управляющий сидел у себя в конторе и проверял какие-то счета. Я заметил его, когда он записывал нас внизу, — лысоватый, не нуждающийся в ежедневном бритье. Взгляд у него был одновременно и бегающий и пристальный, и, глядя на наши веселые физиономии, он, видимо, надеялся, что мы приехали сюда наслаждаться любовью, и из желания угодить ему я чуть было не написал в регистрационной книге: «Мистер Джон Смит с супругой». Его длинный мясистый нос вынюхивал грех, даже, кажется, высматривал, служа, как у крота, органом зрения.

— С добрым утром, — сказал я.

Он повел в мою сторону носом.

— Как спали?

— Прекрасно. Можно мне отнести жене завтрак в номер?

— Мы подаем только в ресторане. С половины восьмого до половины десятого.

— А если я сам понесу?

— Не полагается.

— Нарушим правила разок. Ведь вы сами понимаете... — Последнюю фразу я добавил только для того, чтобы не обмануть его надежд. Я был вознагражден за это. Глаза у него увлажнились, нос дрогнул.

— Смущается, что ли?

— Да ведь вы понимаете?

— Не знаю, как повар к этому отнесется.

— Поговорите с ним и наметьте, что родился доллар и тянется на цыпочках к вершинам.

Повар оказался греком и счел доллар вещь весьма соблазнительной. Через несколько минут я вышел на дорожку с огромным подносом, покрытым салфеткой, опустил его на деревянную скамью, а сам стал собирать в букетик микроскопические полевые цветочки, чтобы украсить ими королевскую трапезу моей любимой.

Она, может быть, уже не спала, во всяком случае, веки ее приоткрылись, и она сказала:

— Пахнет кофе! О-о! Какой у меня заботливый муж!.. Да еще цветы! — Милые пустячки, которые никогда не теряют своей прелести.

Мы ели, и пили кофе, и снова пили кофе. Моя Мэри сидела в постели, подложив подушку за спину, и вид у

нее был куда более юный и невинный, чем у ее дочери. И мы оба в почтительных тонах говорили о том, как нам хорошо спалось здесь.

Час мой пробил.

— Устройся поудобней. У меня есть новости, они и грустные и радостные.

— Прекрасно! Ты купил океан?

— У Марулло беда.

— Что случилось?

— Много лет назад он приехал в Америку, не имея на то разрешения.

— Ну и что?

— Теперь ему велено уехать.

— Высылают?

— Да.

— Но это ужасно.

— Да, хорошего мало.

— Что же мы будем делать? Что ты будешь делать?

— Кончились наши забавы. Он продал мне лавку — вернее, не мне, а тебе. Деньги ведь твои. Ему надо реализовать свое имущество, а я всегда пользовался его благоволением. В сущности говоря, он мне ее почти подарил — всего три тысячи долларов.

— Боже мой! Значит... ты теперь хозяин лавки?

— Да.

— Не продавец? Ты больше не продавец?!

Она уткнулась лицом в подушки и зарыдала. Навзрыд, громко, точно рабыня, с которой сбили ярмо.

Я вышел и сел на кукольное крылечко, дожидаясь, когда она будет готова, и, умывшись, причесав волосы, надев халат, она отворила дверь и позвала меня. Она стала совсем другая и прежней больше никогда не будет. Это и без слов было ясно. Об этом говорила посадка ее головы. Теперь она могла высоко держать голову. Мы снова стали «приличными людьми».

— А мистеру Марулло ничем нельзя помочь?

— Вряд ли.

— Как же это случилось? Кто это обнаружил?

— Не знаю.

— Он хороший человек. Это несправедливо. Как он держится?

— С достоинством. С честью.

Мы гуляли по берегу, как нам мечталось, сидели на песке, подбирали маленькие пестрые раковинки и, конечно, показывали их друг другу, дивились чудесам природы —

морю, воздуху, свету, охлажденному ветерком солнцу, точно творец всего этого ожидал наших комплиментов.

Мэри была рассеянна. По-моему, ей хотелось домой — насладиться своим новым положением, увидеть, как женщины будут совсем по-другому смотреть на нее, услышать новые нотки в приветствиях знакомых на Главной улице. В ней, кажется, уже ничего не осталось от «бедной Мэри Хоули, которой так трудно живется». Она стала миссис Итен Аллен Хоули — навсегда. И я должен сохранить ее такой. Она отбывала этот день, потому что мы решили провести его здесь, потому что за него было заплачено, но, перебирая пальцами ракушки, она уже видела перед собой не их, а те яркие дни, что ожидали нас впереди.

Обедали мы в клетчатой столовой, где манеры моей Мэри, ее уверенность в себе разочаровали господина Крота. Его мясистый нос, который так радостно вздрагивал, учуяв греховную связь, теперь свернулся на сторону. И он совсем в нас разочаровался, когда ему пришлось подойти к нашему столику и сказать, что миссис Хоули требуют к телефону.

— Кто может знать, куда мы поехали?

— Как кто? Марджи, конечно! Мне пришлось ей сказать, ведь с ней дети. Ой! Надеюсь, ничего не... Он же не смотрит, куда идет!

Назад она вернулась, вся дрожа, как звездочка.

— Ты никогда не догадаешься. Никогда!

— Уже догадался, что случилось что-то хорошее.

— Она сказала: «Вы слышали новости? Радио слышали?» И я по ее голосу поняла, что новости приятные.

— Да ты скажи, в чем дело, а потом уж будешь о ее голосе.

— Нет, я просто поверить не могу.

— Может, я поверю? Давай попробуем.

— Аллен получил похвальный отзыв.

— Кто? Аллен? Ну, знаешь!

— За конкурсное сочинение... там написывали со всей Америки... похвальный отзыв!

— Не может быть!

— Да, да! Всего пять похвальных отзывов... приз — часы и выступление по телевидению. Представляешь себе? У нас в семье знаменитость!

— Нет, не представляю. Значит, его хандра — это одно притворство? Какой актер! Выходит, никто не топтал его бедное верное сердце?

— Перестань насмешничать. Подумай только! Наш сын — один из пяти мальчиков на все Соединенные Штаты — получил похвальный отзыв... и по телевидению!

— И часы! А он время умест узнавать?

— Итен, если ты не перестанешь насмешничать, люди подумают, что ты завидуешь собственному сыну.

— Я просто поражен. Я считал, что у него слог не лучше, чем у генерала Эйзенхауэра. Ведь за Аллена невидимки не пишут.

— Знаю, знаю, Ит. У тебя такая игра — травить их. А на самом деле именно ты их и балуешь. Теперь скажи мне — ты помогал ему писать это сочинение?

— Я? Помогал? Он мне его даже не показывал.

— Ну, слава богу. А то я боялась, что ты станешь задирать нос, потому что сочинение на самом деле твое.

— Нет! Уму непостижимо! Доказывает только, как мало мы знаем собственных детей. А как отнеслась к этому Эллен?

— Себя не помнит от гордости. Марджи так волновалась, что говорить не могла. У него будут брать интервью для газет... и телевидение, он выступит по телевидению! А телевизора у нас нет, и мы даже не сможем посмотреть его. Марджи говорит, чтобы мы пришли к ней. В нашей семье знаменитость! Итен, нужно купить телевизор.

— Купим. Завтра с утра побегу в магазин. Да ведь можно заказать — пришлют.

— Позволить себе такую... Ох, Итен, я забыла, что лавка теперь твоя, совершенно забыла. Нет, ты не понимаешь! Знаменитость!

— Надеюсь, мы сможем жить с ним под одной крышей.

— Дай ему порадоваться. Надо ехать домой. Они возвращаются поездом семь восемнадцать. Мы должны быть дома, надо же встретить его.

— И испечь пирог.

— Обязательно испеку.

— И развесить гирлянды из гофрированной бумаги.

— Ты это не от зависти?

— Нет. Я потрясен. Гирлянды из гофрированной бумаги — очень красиво. По всему дому.

— Но не снаружи. Это будет уж чересчур. Марджи говорит — может, нам лучше притвориться, будто мы ничего не знаем. Пусть он сам все расскажет.

— Не согласен. Он может обидеться. Выйдет так, будто мы не придаем этому никакого значения. Нет, пусть его ждет парадная встреча — приветственные крики, поздрав-

ления и пирог. Вот беда! Все закрыто, а то я купил бы фейерверк.

— А может, где-нибудь в киосках?

— Да, конечно. По дороге домой. Если еще не все распродано...

Мэри вдруг опустила голову, будто читая молитву.

— Ты — хозяин лавки, Аллен — знаменитость. Кто бы мог подумать, что это все случится сразу? Итен, надо скорей ехать. Мы должны быть дома к их возвращению. Почему ты так странно смотришь?

— Меня вдруг ошеломила мысль — как мало мы знаем о других. Даже под ложечкой засосало. Помню, в детстве, на Рождество, надо бы веселиться, а у меня «съешь перца».

— Что-о?

— Это я придумал рифму, когда тетушка Дебора говорила, что у меня приступ *Weltschmerz*'а¹.

— А что это такое?

— Это когда по твоей могиле гуси ходят.

— Ах, вот что! Нет, боже избави. Ведь такого дня у нас за всю нашу жизнь не было. Если мы не отметим его как следует, это будет свинство с нашей стороны. Теперь улыбнись и, пожалуйста, не ешь перца. А это смешно. Съешь перца. Поди расплатись. Я буду укладываться.

Я заплатил по счету из тех самых денег, которые были сложены в тугой квадратик, и спросил господина Крота:

— У вас в киоске не осталось шутих?

— Кажется, есть. Посмотрю... Вот, пожалуйста. Сколько вам?

— Все, сколько есть, — сказал я. — Наш сын стал знаменитостью.

— Да? Как это понимать?

— Только в одном определенном смысле.

— Вроде Дика Кларка?²

— Или Чессмена³.

— Вы шутите.

— Он выступит по телевидению.

— По какой станции? Когда?

¹ Мировой скорби (нем.).

² Влиятельный американский комментатор музыкальных радиопередач, обвинявшийся в получении взяток от фирм грамзаписи, нотных издательств и т. п.

³ Казненный за преступления против нравственности американский гангстер; за 12 лет пребывания в тюрьме написал четыре автобиографические книги, одна из которых прославилась как бестселлер.

— Я еще сам не знаю.

— Обязательно послежу. Как его зовут?

— Так же, как меня. Итен Аллен Хоули. Мы его зовем Аллен.

— Для нас это большая честь, что вы и миссис Аллен были у нас.

— Миссис Хоули.

— Да, простите. Надеюсь, вы к нам еще присдете. Здесь перебивало много всяких знаменитостей. Ищут у нас... гм!.. тишины.

Когда мы ехали по золотой дороге домой, медленно двигаясь в переливчатом, извивающемся, как змея, потоке машин, Мэри сидела прямая, гордая.

— Я купил целую коробку шутих. Больше сотни.

— Вот теперь я тебя узнаю, милый. Интересно, Бейкеры вернулись или нет?

ГЛАВА XIX

Мой сын держался самым достойным образом. Он не казнил, а миловал нас, у него не было никаких намерений мстить. Награды и почести, а также наши поздравления он принял как нечто должное, не выказав ни тщеславия, ни чрезмерной скромности. Потом, не дождавшись, когда моя сотня шутих догорит до черноты, подошел к своему креслу в гостиной и включил свой приемник. Было ясно, что все наши прегрешения прощены. Я впервые видел, чтобы мальчик его лет с таким тактом принимал обрушившуюся на него славу.

Это был поистине вечер чудес. Если Аллен поразила меня своим неожиданным вознесением на небеса, то не меньше поразила меня Эллен! На основе многолетнего пристального наблюдения я ожидал, что мисс Эллен будет кипеть и бушевать от зависти и подыскивать способы как-нибудь умалить величие брата. Но она обманула меня. Она взяла на себя прославление Аллена. Это она, Эллен, рассказала, как они, проведя упоительный вечер в городе, сидели потом в обставленной с большим вкусом квартире на Шестьдесят седьмой улице и от нечего делать слушали последние известия по телевизору, и вдруг диктор объявил о триумфе Аллена. Это она, Эллен, поведала нам, кто что тогда сказал, и какой у кого был вид, и как они чуть в сбморок не упали. Аллен сидел в сторонке и спо-

койно слушал рассказ сестры о том, что вместе с четырьмя остальными лауреатами он выступит по телевидению и на глазах у миллионов зрителей и слушателей прочтет свое сочинение. В паузах раздавались счастливые охи и ахи Мэри. Я взглянул на Марджи Янг-Хант. Она казалась непроницаемой, как тогда, во время гаданья. И сумрачная тишина вползла к нам в гостиную.

— Ничего не попишешь,— сказал я.— Тут требуется крем-сода со льда на всю компанию.

— Эллен принесет. Где Эллен? Опять она исчезла, как молодой месяц.

Марджи Янг-Хант, явно нервничая, встала с кресла.

— У вас семейное торжество. Я уйду.

— Марджи! Вы тоже в нем участвуете. Куда девалась Эллен?

— Мэри, не заставляйте меня признаваться, что я немножко выдохлась.

— Ну понятно, дорогая. Как это я вабыла! А мы так хорошо отдохнули! И все благодаря вам.

— Я сама очень довольна. И рада, что все так получилось.

Ей хотелось уйти, и как можно скорее. Она выслушала благодарность от нас и от Аллена и убегала.

Мэри проговорила вполголоса:

— Мы ничего не сказали Марджи про лавку.

— Ладно, ладно. Зачем обкрадывать Его Румяное Сиятельство? Сегодня он на первом месте. Куда девалась Эллен?

— Она пошла спать,— сказала Мэри.— Это очень тактично с твоей стороны, ты прав, милый. Аллен, сегодня у тебя столько волнений. Пойди ляг.

— Нет, я еще посижу здесь немножко,— милостиво сказал Аллен.

— Но тебе надо отдохнуть.

— Я и так отдыхаю.

Мэри взглянула на меня, ища поддержки.

— Крепись, крепись, час испытанья пробил! Отлупить его? Или же дадим ему возможность восторжествовать и над нами?

— Да ведь он ребенок. Ему надо отдохнуть.

— Ему многое что надо, только не отдых.

— Всем известно, что детям необходим хороший отдых.

— То, что всем известно, большей частью неправильно. Ты когда-нибудь слышала, чтобы дети умирали от пе-

реутомления? Нет! Но со взрослыми это случается. Дети народ хитрый. Когда отдых им необходим, тогда они и отдыхают.

— Но уже первый час ночи.

— Правильно, дорогая, и завтра он будет дрыхнуть до двенадцати, а мы с тобой встанем в шесть.

— Что же, ты уйдешь и оставишь его здесь?

— Ему надо отомстить нам за то, что мы произвели его на свет.

— Не понимаю, что ты там несешь. Отомстить?

— Давай заключим пари, а то ты уже сердишься.

— Да, сержусь. Потому что ты говоришь глупости.

— Если через полчаса после того, как мы с тобой ляжем спать, он не проберется тайком к себе в гнездышко, я обязуюсь заплатить тебе сорок семь миллионов восемьсот двадцать шесть долларов и восемьдесят центов.

И, представьте себе, я проиграл, придется мне платить. Ступеньки скрипнули под ногами нашей знаменитости через тридцать пять минут после того, как мы попрощались с ним на ночь.

— Ненавижу, когда ты оказываешься прав,— сказала моя Мэри. Она собиралась всю ночь не спать, прислушиваясь.

— Да я и не был прав, дорогая. Я ошибся на пять минут. Но я помню себя в его возрасте.

Она тут же заснула. Она не слышала, как Эллен осторожно спустилась по лестнице, а я слышал. Я лежал и всматривался в красные пятнышки, плавающие в темноте. Но я не пошел за ней, так как услышал легкое звяканье медного ключа в замке горки и понял, что моя дочь заряжает свою батарею.

Красные пятнышки что-то уж очень разыгрались. Они шныряли из стороны в сторону и, когда я пытался сосредоточиться на них, исчезали без следа. Старый шкипер избегал меня. Он не являлся мне, с тех пор как... да, с самой Пасхи. Он не то что тетушка Гарриэт — «иже еси на небесех», — Старый шкипер никогда не является мне, если я не в ладах с самим собой. Это служит своего рода мерилем моих взаимоотношений с собственной персоной.

В ту ночь я силой заставил его прийти. Я лег на самый краешек кровати и вытянулся во весь рост. Я напряг все мускулы, особенно мускулы шеи и подбородка, крепко сжал кулаки, вдавил их в живот, и он пришел — я увидел холодные маленькие глазки, седые торчащие усы и наклон плеч вперед, свидетельствующий о том, что ког-

да-то он был очень сильным и нередко пускал в ход свою силу. Я даже заставил его надеть синюю фуражку с маленьким лакированным козырьком и золотой буквой «Х», составленной из двух якорей,— фуражку, которую он почти никогда не носил. Старик сопротивлялся, но я силой привел его и усадил на полуразрушенный парапет у Старой гавани возле Убежища. Я велел ему сесть на груды балластных камней и положил его руки на набалдашник нарваловой трости. Этой тростью можно было сбить с ног слона.

— Мне нужно возненавидеть что-то. Жалость и понимать — это все срунда. Я хочу возненавидеть, чтобы избавиться от того, что меня жжет.

Память плодит воспоминание за воспоминанием. Стоит начать с какой-нибудь одной детали, и все оживает, а дальше и пошло, точно кинолента, которую можно крутить как угодно — и вперед и назад.

Старый шкипер ожил. Он протянул вперед свою трость.

— Проведи черту от третьего выступа за волнорезом до мыса Порти, до высшей точки прилива. На полкабельтова вдоль этой черты лежит она — или то, что от нее осталось.

— А сколько это — полкабельтова, сэр?

— Как сколько? Триста футов. Она стояла на якоре, начинался прилив. Два неудачных года. Китового жира мало — половина бочек пустые. Когда она загорелась около полуночи, я был на берегу. Жир вспыхнул так, что весь город осветило будто днем. Пламя достигло чуть ли не мыса Оспри. Подогнать к берегу побоялись — доки займутся. За какой-нибудь час она сгорела до ватерлинии. А ее киль и фальшкиль и теперь там лежат — целые, крепкие. Они были дубовые, и кницы тоже дубовые, а дуб — с Шелтер-Айленда.

— Как начался пожар?

— Не знаю, я был на берегу.

— Кому это понадобилось, чтобы она сгорела?

— Как кому? Хозяевам.

— Вы сами были ее хозяином.

— Только наполовину. Я бы не мог поджечь судно. Посмотреть бы мне сейчас на те шпангоуты... посмотреть бы, в каком они состоянии.

— Теперь ступайте с Богом, сэр.

— Ненависть на этом не вскормишь — мало.

— Все лучше, чем ничего. Дайте мне только разбогатеть, и я подниму ее киль. Сделаю это ради вас. Проведу черту от третьего выступа до мыса Порти в прилив, отложу триста футов вдоль этой черты.— Я не спал. Руки у меня были напряжены. Кулаки стиснуты и прижаты к животу, чтобы Старый шкипер не растаял, но, отпустив его, я сразу уснул.

Когда фараону снился сон, он призывал толкователей и они толковали ему, что случилось и что случится в его царство, и все было правильно, ибо царство его — это был он сам. Когда сны снятся кому-нибудь из нас, мы тоже идем к психоаналитикам, и они объясняют нам, что происходит в стране, которая есть мы сами. Мне психоаналитики не требовались. Как и большинство современных людей, я не верю ни в пророчества, ни в магию, но чуть не полжизни отдаю тому и другому.

Весной Аллен у нас вдруг затосковал и объявил себя атеистом в отместку Господу Богу и нам, родителям. Я посоветовал ему не хватать через край, потому что, став атеистом, он не сможет плевать через левое плечо при виде черных кошек, бояться ходить под лестницами и загадывать желания при виде молодого месяца.

Люди, которые страшатся своих снов, убеждают себя, что им вообще никогда ничего не снится. Мой сон объяснить нетрудно, но от этого он не станет менее страшным.

Каким-то образом, через кого-то мне передали просьбу Дэнии. Он улетел самолетом и требовал кос-какие вещи, которые я должен был сделать сам. Ему понадобилась шапочка, чтобы подарить Мэри,— темно-коричневая, на меху, из овчины под замшу, как мои старые домашние туфли, с длинным козырьком, как бейсбольная каскетка. И еще ветромер, только не металлический, с маленькими вращающимися чашечками, а самодельный, из тонкого картона, какой идет на почтовые отрывки, и чтобы этот ветромер был насажен на бамбуковые палки. Кроме того, он хотел встретиться со мной перед отъездом. Я захватил нарваловую трость Старого шкипера. Она стоит у нас в холле в слоновой ноге, куда ставят зонтики.

Когда нам подарили эту слоновую ногу, я посмотрел на ее большие желтоватые ногти и сказал детям:

— Тот, кто вздумает сделать ей педикюр, получит хорошую порку. Поняли?

Они вняли моей угрозе, и поэтому мне пришлось самому покрасить слоновые ногти ярко-красным лаком, взятым у Мэри с ее гаремного туалетного столика.

Я поехал к Дэнни в «пontiаке» Марулло, и аэропорт оказался нью-бэйтаунским почтамтом. Поставив «пontiак», я положил нарваловую трость на заднее сиденье, и тогда ко мне подъехала полицейская машина с двумя отвратительными полисменами. Они сказали:

— На сиденье класть нельзя.

— Это что, противозаконно?

— Умничать вздумали?

— Нет, просто спрашиваю.

— Так вот, вам говорят: нельзя туда класть.

Дэнни я нашел в задней комнате почтамта. Он разбирал там посылки. На голове у Дэнни сидела замшевая шапка, и он крутил картонный ветромер. Лицо у него было осунувшееся, губы запеклись, а кисти рук толстые, как грелки, точно от пчелиных укусов.

Он встал, протянул мне руку, и моя правая рука погрузилась в теплую резинистую массу. Он дал мне что-то — маленькое, тяжелое и холодноватое, вроде ключа, но это был не ключ, а какая-то металлическая штучка, гладко отполированная и острая по краям. Не знаю, что это было, я не посмотрел, только ощутил на ладони. Я потянулся к нему и поцеловал его в губы и губами почувствовал, какие они у него сухие и запекшиеся. Тут я проснулся, в ознобе, сам не свой. Начинался рассвет. Озеро на картине уже было видно, а корова по колена в воде — еще нет, и я все еще чувствовал у себя на губах сухость его запекшихся губ. Я встал сразу, потому что не хотел лежать и думать об этом. Кофе я не стал заваривать, а пошел прямо к слоновой ноге и увидел, что грозная дубинка, именуемая тростью, стоит на месте.

В этот трепетный час рассвета было жарко и душно, потому что утренний ветер еще не поднялся. Серая улица отливала серебром, на тротуаре валялся разный мусор — отходы прожитого людьми дня. «Фок-мачта» была еще закрыта, но мне не хотелось кофе. Я прошел по переулку, отпер боковую дверь, заглянул в лавку и увидел там за холодильником кожаную шляпную коробку. Тогда я вскрыл жестянку с кофе и вылил ее содержимое в мусорную урну. Потом провертел две дырки в банке сгущенного молока, налил немного в порожнюю жестянку, отворил боковую дверь, заклинил ее, чтобы не захлопнулась, и поставил банку на порог. Кот, конечно, торчал в переулке, но к молоку он приблизился только тогда, когда я ушел в лавку. Оттуда мне было видно, как серый кот в сером переулке лакает молоко. Когда он поднял голову от бан-

ки, у него были белые молочные усы. Он сел и стал вылизывать себе мордочку и лапки.

Я открыл шляпную коробку и достал оттуда субботные чеки, подколотые один к другому. Потом вынул из желтого банковского пакета три тысячи долларов. Эти три тысячи останутся у меня на всякий случай, до тех пор пока приход и расход в лавке не сбалансируется. Остальные две тысячи долларов надо снова внести на счет Мэри, а в дальнейшем при первой же возможности вернуть эти три тысячи. Тридцать бумажек я положил в мой новый бумажник, и он оттопырил мне задний карман. Потом я стал выносить из кладовой ящики и коробки, вскрывать их и заполнять товаром опустевшие полки, записывал на листке оберточной бумаги то, что надо заказать. Опорожненную тару я выставил в переулок, откуда ее заберет грузовик, и налил еще молока в кофейную банку, но кот больше не пришел. То ли он наелся, то ли ему нравилось есть только краденое.

Год на год не похож, так же как и день на день: разная погода, разные пути, разные настроения. 1960 год был годом перемен. В такие годы подспудные страхи выползают на поверхность, тревога нарастает и глухое недовольство постепенно переходит в гнев. Так было не только со мной и не только в Нью-Бэйтауне. Нам предстояли президентские выборы, и тревога, носившаяся в воздухе, постепенно сменялась гневом, а гнев поднимал, будоражил. И так было не только в нашей стране — во всем мире зрела тревога, зрело недовольство, и гнев закипал, искал выхода в действии, и чем оно неистовее, тем лучше. Африка, Куба, Южная Америка, Европа, Азия, Ближний Восток — все дрожало от беспокойства, точно скаковая лошадь перед тем, как взять барьер.

Я знал, что вторник пятого июля будет большой день — больше всех других дней в году. Я будто даже знал наперед, как все сложится, но, поскольку все так и сложилось, проверить меня трудно.

Я будто знал, что амортизированный, на семнадцати камнях мистер Бейкер, который тиканьем отсчитывал время, забарабанит в дверь лавки за час до открытия банка. Так он и сделал еще до того, как я открыл торговлю. Я впустил его и запер за ним дверь.

— Какой ужас! — сказал он. — Я был в отъезде, понятия не имел, что тут происходит, но как только узнал, так сразу приехал.

— О чем это вы, сэр?

— Как о чем? О том, что разыгралось у нас в городе. Ведь это всё мои друзья, мои старые друзья... Надо что-то предпринять.

— До выборов следствия не начнут, только предъявят обвинение.

— Знаю. Но, может быть, нам следует заявить, что мы убеждены в их невинности. Если понадобится, даже дать платное объявление в газете.

— В какой, сэр? «Бэй-харбор мессенджер» выйдет только в четверг.

— Но что-то надо сделать.

— Да.

Вот такими казенными фразами мы с ним и обменивались. Он, вероятно, знал, что я знаю. И все-таки смотрел мне в глаза и как будто на самом деле был искренне взволнован.

— Если мы ничего не сделаем, на выборах все пойдет вкривь и вкось. Надо выдвинуть новых кандидатов. Ничего другого нам не останется. Тяжело поступать так со старыми друзьями, но кому, как не им, знать, что мы не можем дать волю всякой шпунере.

— А вы бы поговорили с ними.

— Они потрясены, они вне себя. У них не было времени обдумать все, что случилось. Марулло вернулся?

— Он прислал человека вместо себя. Я купил лавку за три тысячи долларов.

— Прекрасно. Это очень дешево. А бумаги у вас?

— Да.

— Если он что-нибудь выкинет, номера купюр у меня записаны.

— Ничего он не выкинет. Он сам хочет уехать. Ему надоело все это.

— Я никогда не доверял вашему Марулло. Никогда не знал, где и как он орудует.

— По-вашему, он жулик, сэр?

— Он большой хитрец и всегда двурушничал. Если ему удастся реализовать все свое имущество, он богач. Но три тысячи за лавку — это просто даром.

— Он благоволил ко мне.

— Да, видимо. Кого он прислал, кого-нибудь из мафии?

— Нет, государственного чиновника. Марулло, знаете ли, доверял мне.

Мистер Бейкер схватился за голову — жест совсем не в его духе.

— Как же я сразу не сообразил! Вы, вот кто! Из хорошей семьи, человек положительный, владелец лавки, бизнесмен, всеми уважаемый. Врагов у вас здесь нет. Конечно, вы!

— Что я?

— Кандидат в мэры.

— Бизнесменом я стал только с субботы.

— Вы меня прекрасно понимаете. Вокруг вас мы можем создать новую солидную группировку. Да, это самый лучший выход.

— От продавца бакалейной лавки до мэра?

— Никто никогда не считал Хоули всего лишь продавцом.

— Я сам себя считал. Мэри меня считала.

— Но теперь все по-другому. Мы можем заявить об этом до того, как шушера вылезет вперед.

— Мне надо обдумать это, как следует обдумать, сверху донизу.

— Некогда.

— А кого вы прочили раньше?

— Когда это раньше?

— До того, как муниципалитет погорел. Хорошо, мы с вами потом поговорим. Суббота у меня такая выдалась, что все раскупили. Впору было весы продавать.

— Вы можете хорошо обернуться с этой лавкой, Итен. Советую вам поставить торговлю на более широкую ногу, а потом продать. Вы будете важным человеком в городе, такому неудобно обслуживать покупателей. А как там Дэнни? Слышно о нем что-нибудь?

— Нет. Пока ничего не слышно.

— Напрасно вы дали ему денег.

— Да, пожалуй. Я думал, что делаю доброе дело.

— Конечно, конечно!

— Мистер Бейкер, сэр... Скажите мне, что случилось с «Прекрасной Адэр»?

— Как что случилось? Она сгорела.

— В гавани. Отчего возник пожар, сэр?

— Нашли время спрашивать! Я знаю обо всем этом с чужих слов. Сам был мальчишкой — не помню. Старые корабли насквозь пропитаны китовым жиром. Наверно, кто-нибудь из матросов бросил спичку. Шкипером был ваш дед. Кажется, он находился на берегу. Только что пришел из плавания.

— Плавание было неудачное.

— Да, так рассказывали.

— Страховку трудно было получить?

— Обследование всегда производится. Да, насколько я помню, выдали ее не сразу, но мы, Хоули и Бейкеры, все-таки получили сколько следовало.

— Мой дед считал, что «Прекрасную Адэр» подожгли.

— Господи помилуй, зачем?

— Чтобы получить деньги. Китобойный промысел шел на убыль.

— Никогда не слышал, чтобы он так говорил.

— Не слышали?

— Итен! К чему вы клоните? Почему вы вдруг извлекли на свет божий такую давнюю историю?

— Сжечь корабль — страшное дело. Это убийство. Когда-нибудь я все-таки подниму со дна ее киль.

— Ее киль?

— Я знаю, где он лежит. В полукабельтове от берега.

— Зачем это вам?

— Хочу посмотреть, прогнило дерево или нет. Ведь на «Прекрасную Адэр» пошел дуб с Шелтер-Айленда. Если киль еще жив, значит, она не совсем умерла. Вам, пожалуй, пора идти, если вы хотите благословить открытие сейфа. И мне тоже пора открывать.

Тут колесики у него внутри заработали, и он — тик-так, тик-так — проследовал к себе в банк.

Появления Биггера я, надо думать, тоже ожидал. Ему, бедняге, наверно, то и дело приходилось караулить у дверей. Должно быть, и сейчас сторожил где-нибудь за углом и едва дождался, когда мистер Бейкер уйдет.

— Надеюсь, сегодня вы не будете затыкать мне рот?

— Какая в этом нужда?

— Я понимаю, почему вы тогда обиделись. Я был недостаточно... дипломатичен.

— Может быть.

— Ну как, обмозговали мое предложение?

— Да.

— И что решили?

— Решил, что шесть процентов лучше, чем пять.

— Боюсь, что фирма на это не пойдет.

— Их дело.

— Пять с половиной еще куда ни шло.

— А вторую половину вы от себя добавите.

— Ой-ой-ой! А я-то думал, что имею дело с простаком! Ну и хватка у вас!

— Вот так и не иначе.

— Ну, а какие будут заказы?

— Вон у кассы лежит список, но это еще не все.

Он взял обрывок бумаги, на котором я писал.

— Кажется, подцепили вы меня на крючок. Боюсь, не-сдобровать мне. А нельзя ли получить сегодня полный список?

— Лучше завтра, и завтра будет полнее.

— Понимай так, что все заказы перейдут к нам?

— Если поладим.

— Да вы, приятель, своего хозяина за горло держите! Сойдет вам это с рук?

— Там видно будет.

— Ну, что ж, до завтра я, может быть, успею заглянуть — к усладе коммивояжеров. А вы, братец, видать, не мужчина, глыба льда. Такая, скажу вам, дамочка!

— Подруга моей жены.

— Вот оно что! Понятно. Слишком близко к дому — не разгуляешься. Хитрец вы. Теперь-то уж я это понял. Шесть процентов. Ай-ай-ай! Значит, завтра утром.

— Если успею, может быть, сегодня к концу дня.

— Нет, давайте уж завтра утром.

В субботу покупатели шли пачками. Сегодня, во вторник, темп торговли был совсем другой. Люди не торопились. Им хотелось поговорить о событиях, разыгравшихся в городе. Они восклицали: как это прискорбно, отвратительно, ужасно, позорно, — но вместе с тем упивались всем этим. У нас в городе давно такого не случалось. И хоть бы кто-нибудь обмолвился словом о предстоящем съезде демократической партии в Лос-Анджелесе! Правда, Нью-Бэйтаун республиканский город, но у нас вообще больше интересуются тем, что нам ближе. Тех людей, на могилах которых мы сейчас плясали, каждый из нас хорошо знал.

Часов в двенадцать в лавку вошел Стонуолл Джексон, какой-то усталый, грустный.

Я поставил на прилавок банку с маслом и куском проволоки выудил оттуда револьвер.

— Вот, начальник. Избавьте меня от этой улики. Она мне покоя не дает.

— Протрите его чем-нибудь. Глядите-ка. Ведь это «айвер-джонсон», старого образца. У вас есть кто-нибудь, кто может побыть в лавке?

— Нет.

— А где Марулло?

— Он уехал.

— Придется вам ненадолго закрыть торговлю.

— Что случилось, начальник?

— Да такое дело... сынишка Чарли Прайора убежал сегодня утром из дому. Чего-нибудь выпить похолоднее у вас не найдется?

— Все что угодно. Оранжад, крем-сода, лимонад, кока-кола?

— Ну, лимонаду. Чарли у нас чудной какой-то. Его сынишке Тому восемь лет. Он решил, что весь мир против него, надо убегать из дому и податься в пираты. Другой на месте Чарли всыпал бы ему горячих, а Чарли — нет. Ну что же вы, откройте лимонад.

— Простите. Вот, пожалуйста. Чарли славный малый, но причем тут я?

— Да ведь у него не как у людей. Он решил, что лучший способ вылечить Тома от его фантазий — это помочь ему... И вот они позавтракали, закатали подушку в одеяло и наготовили гору всякой еды. Том хотел взять с собой японский меч, на случай если понадобится обороняться, но он длинный, волочит. Помирился на штыке. Чарли сажает его в машину и отвозит за город, чтобы стартовал оттуда. А высадил он его у тейлоровского луга, — там, где раньше была усадьба Тейлоров... вы ведь знаете. Случилось это сегодня часов в девять утра. Чарли не сразу уехал, последил издали за своим сынком. Первое, что тот сделал, это сел и за один присест умял шесть сандвичей и два крутых яйца. Потом пошел через тейлоровский луг со своим узелком, штык в руке, а Чарли уехал.

Вот оно. Я знал, о чем он, я знал. И вздохнул чуть ли не с облегчением, что наконец одолею это.

— Часов около одиннадцати мальчишка с ревом выбежал на дорогу, остановил какую-то машину, и его подвезли домой.

— Стони, я догадываюсь. Дэнни?

— Что поделаешь... да. В погребе старого дома. Ящик виски, пустых бутылок только две, и склянка со снотворными таблетками. Я сам не рад обращаться к вам с такой просьбой, Ит. Он долго там пролежал, и что-то у него с лицом. Кошки, наверно, потрудились. Вы не припомните, какие-нибудь рубцы или отметины у него были?

— Я не хочу на него смотреть, начальник.

— Кто захочет? Так как же, рубцы были?

— На левой ноге повыше колена должен быть шрам... он напоролся на колючую проволоку. И еще... — Я засучил рукав. — Еще вот такая же татуировка — сердце. Мы

с ним вместе это сделали, когда были совсем мальчишками. Нацарапали рисунок бритвенным лезвием, а потом втерли туда чернила. До сих пор осталось. Видите?

— Да... это годится. А еще что?

— Еще большой шрам на левом боку после удаления части ребра. Он болел плевритом, теперешних средств тогда не было, и ему вставляли дренажную трубку.

— Ну, если удалена часть ребра, тогда этого достаточно. Я даже не пойду туда. Пусть следовательно сам побеспокоится, оторвет зад от стула. Вам придется присягнуть насчет этих отметин.

— Хорошо. Только не заставляйте меня смотреть на него. Он... вы же знаете, Стони, мы с ним были друзьями.

— Знаю, Ит. Слушайте, что это говорят, будто вас прочат в мэры?

— Первый раз слышу. Начальник... побудьте здесь минуты две.

— Мне надо идти.

— Две минуты, пока я сбегаю напротив и выпью чего-нибудь.

— А! Понимаю! Ну конечно! Бегите, бегите! С новым мэром надо ладить.

Я выпил там и еще прихватил бутылку с собой. Когда Стони ушел, я написал на куске картонки печатными буквами: «Вернусь в два», — запер дверь и спустил шторы.

Я сел на кожаную коробку из-под шляпы, стоявшую за холодильником, и долго сидел в своей лавке — в своей собственной лавке, окутанной зеленоватым сумраком.

ГЛАВА XX

Без десяти минут три я вышел через боковую дверь, завернул за угол и поднялся в банк. Морфи, сидевший в своей металлической клетке, принял в окошечко пачку денег, чеки, желтый пакет и заполненные ордера. Потом, придерживая рогаткой пальцев раскрытые банковские книжки и шурша стальным пером, стал вписывать туда мелкие квадратики цифр. Пододвинув книжки ко мне, он посмотрел на меня, казалось бы, затуманенным, но пристальным взглядом.

— Я не хочу об этом говорить, Итен. Я знаю, что он был вашим другом.

— Спасибо.

— Торопитесь, а то не миновать вам встречи с мозговым трестом.

Но было уже поздно. Кто знает, может, Морфи успел дать сигнал. Дверь с матовым стеклом распахнулась, и мистер Бейкер, аккуратный, поджарый, седенький, спокойно сказал:

— Вы не зайдете ко мне, Итен?

Стоит ли откладывать? Я вошел в его матовый приют, и он так тихо притворил за мной дверь, что даже замок не щелкнул. Стол в кабинете был накрыт стеклом, под которым лежал листок с телефонными номерами. Возле его кресла с высокой спинкой, точно двойняшки-телята, стояли два кресла для посетителей. Они были удобные, но приземистые, немного ниже, чем директорское кресло. Когда я сел, мне пришлось смотреть на мистера Бейкера снизу вверх, и это придало мне просительный вид.

— Печально.

— Да.

— Но не вините одного себя. Вероятно, дело к тому и шло.

— Вероятно.

— Не сомневаюсь, что вы желали добра своему другу.

— Я считал, что это ему поможет.

— Да, конечно.

Ненависть подступала мне к горлу, как желчь, и я чувствовал не столько злобу, сколько отвращение.

— Не гоня о том, что эта гибель трагична и бессмысленна, она влечет за собой некоторые осложнения. Вы не знаете, у него родственники есть?

— По-моему, нет.

— У тех, кто с деньгами, родственники всегда находятся.

— У него денег не было.

— Но был тейлоровский луг, не заложенный в банке.

— Вот как? Н-да, луг и нора в погребе.

— Итен, я вам говорил, что мы хотим построить аэропорт, который будет обслуживать весь наш округ. Тейлоровский луг совершенно ровный. Если мы не получим его, придется срывать холмы, а эта работа станет в миллионы долларов. Теперь даже если не объявятся наследники, надо будет действовать через суд. На это уйдут месяцы.

— Понятно.

Его прорвало.

— Ничего вам не понятно. Из-за ваших благодеяний этот участок подскочит в цене, к нему и не подступишься. Мне иной раз кажется, что благодетели самые опасные люди на свете.

— Вы, вероятно, правы. Мне пора в лавку.

— Лавка теперь ваша.

— Да, в самом деле! Никак к этому не привыкну. Все забываю.

— Вы не только это забываете. Деньги, которые он от вас получил, принадлежали Мэри. Теперь ей надо проститься с ними. Вы их просто выбросили вон.

— Дэнни любил мою Мэри. Он знал, что деньги ее.

— Слабое утешение.

— Я думаю, что он решил подшутить надо мной. Он дал мне вот это.— Я вынул два листка линованной бумаги из внутреннего кармана пиджака, куда положил их несколько недель назад, зная, что именно при таких обстоятельствах они и будут предъявлены.

Мистер Бейкер расправил листки на стекле, покрывавшем его стол. Он стал читать их, и мускул под правым ухом так у него задрожал, что ухо задергалось. Потом он снова пробсжал эти листки, ища, к чему бы придраться.

Когда он, сукин сын, поднял на меня глаза, в них был страх. Перед ним сидел человек, о существовании которого он и не подозревал. Ему понадобилась минута, чтобы приспособиться к этому незнакомцу, но он оказался на высоте. И приспособился.

— Сколько вы хотите?

— Пятьдесят один процент.

— Чего?

— Паев в корпорации, или в компании, или что там у вас будет?

— Это смехотворно.

— Вам нужен аэропорт. Единственная подходящая площадка принадлежит мне.

Он тщательно протер очки бумажным носовым платком и снова надел их, но на меня не взглянул. Его глаза ходили по кругу, в котором мне места не было. Наконец он спросил:

— Вы знали, что делали, Итен?

— Да.

— Ну и как вы себя теперь чувствуете?

— Да, вероятно, так же, как чувствовал себя тот, кто явился к нему с бутылкой виски и заставлял его подписать одну бумагу.

— Это он вам сказал?

— Да.

— Он лжец.

— Он и сам этого не отрицал. Он предупреждал меня, чтобы я ему не верил. Может, эти бумаги с каким-нибудь подвохом? — Я легким движением взял со стола две исписанные карандашом помятые страницы и сложил их вдвое.

— Насчет подвоха вы правы, Итен. Эти документы в полном порядке, датированы, засвидетельствованы. Может, он вас ненавидел? Может, подвох в том и состоит, чтобы растлить вас морально?

— Мистер Бейкер, никто из моих родных не поджигал корабля.

— Мы с вами еще поговорим, Итен, мы с вами будем делать дела, делать деньги. На холмах вокруг луга скоро вырастет небольшой городок. Теперь вам непременно придется стать мэром.

— Нет, сэр, не смогу. Столкновение интересов — вещь предосудительная. Несколько человек на своем печальном опыте убеждаются сейчас в этом.

Он вздохнул — вздохнул осторожно, точно боясь потревожить что-то в горле.

Я встал и положил руку на изогнутую кожаную спинку мягкого просительского кресла.

— Вам полегчает, сэр, когда вы притерпитесь к факту, что я не тот симпатичный болван, за которого меня принимают.

— Почему вы не посвятили меня в свои дела?

— Сообщники опасны.

— Значит, вы сознаете, что совершили преступление?

— Нет. Преступление — это то, что совершает кто-то другой. Мне пора открывать лавку, хоть я и хозяин в ней.

Когда мои пальцы коснулись дверной ручки, он негромко сказал:

— Кто донес на Марулло?

— Полагаю, что вы, сэр. — Он взвился с места, но я затворил за собой дверь и вернулся в свою лавку.

ГЛАВА XXI

Никто в мире не способен так блеснуть, как моя Мэри, когда надо принять гостей или отпраздновать какое-нибудь торжество. Она переливается всеми огнями, точно брилли-

ант, и не столько дает что-то празднику от себя, сколько сама от него получает. Глаза у нее искрятся, а улыбающийся рот, готовность рассмеяться подчеркивают, подкрепляют любую, самую убогую шутку. Когда на пороге вечеринки стоит Мэри, все ее участники чувствуют себя и милее и умнее, да так оно и есть на самом деле. И это все, что Мэри дает, а большего от нее и не требуется.

Когда я вернулся из лавки, весь дом Хоули празднично сиял. Гирлянды разноцветных пластмассовых флажков тянулись от люстры к лепному карнизу, опоясывающему стены; маленькие яркие стяги свисали с лестничных перил.

— Ты не поверишь! — крикнула Мэри. — Эллен достала флажки на заправочной станции Стандарт-ойл. Джордж Сэндоу одолжил их нам.

— В честь чего это?

— В честь всего. Все чудно.

Не знаю, слышала она про Дэнни Тейлора или нет. Может быть, слышала и велела ему уйти. Я-то уж, конечно, не приглашал его на наше торжество, но он ходил взад и вперед около дома. Я знал, что позднее мне придется выйти к нему, но в дом его не позвал.

— Можно подумать, что это Эллен получила награду за сочинение, — сказала Мэри. — Вряд ли она так гордилась бы, если бы сама стала знаменитостью. Полюбуйся, какой она торт испекла. — Торт был высокий, белый, и на нем разноцветными буквами — красная, зеленая, желтая, голубая и розовая — было написано «Герой». — К обеду будет жареная курица с подливкой, соус из потрохов и картофельное пюре.

— Прекрасно, дорогая, прекрасно. А где наша юная знаменитость?

— Знаешь, его тоже будто подменили. Он принимает ванну и к обеду переоденется.

— Какой знаменательный день, сивилла! Того и жди, что мул ожеребится или в небе сверкнет новая комета. Ванна перед обедом. Подумать только.

— А ты не переоденешься? У меня есть бутылка вина, и я думала, может, мы разопьем ее как-то поторжественнее, со спичем, с тостом, хотя мы всего-навсего своей семьей. — Она весь дом взбаламутила своим праздничным настроением. Не успел я оглянуться, как уже сам бежал наверх принять ванну и включиться в общее торжество.

Проходя мимо комнаты Аллена, я постучал в дверь, услышал в ответ мычание и вошел.

Аллен стоял перед зеркалом, ловя там свой профиль с помощью ручного зеркальца. Чем-то черным, может быть, тушью для ресниц, взятой у Мэри, он навел себе чёрненькие усики, подмазал брови, удлинив их к вискам эдаким сатанинским изломом. Когда я вошел, он улыбался в зеркало цинично-многоопытной, обольстительной улыбкой. И на нем был мой синий галстук-бабочка в горошек. Он ни капельки не смутился, что его застали за таким занятием.

— Репетирую,— сказал он, положив зеркало на стол.

— Сынок, в этой суматохе я, кажется, не успел сказать, что горжусь тобой.

— Н-ну... это только начало.

— Откровенно говоря, я думал, что как писатель ты даже слабее президента. Я и удивлен и рад. Когда ты собираешься прочесть миру свой труд?

— В воскресенье, в четыре тридцать, будут передавать по всем станциям. Придется вылететь в Нью-Йорк. Специальным самолетом.

— А ты хорошо подготовился?

— А-а, справлюсь! Это только начало.

— Всего пятеро на всю страну — и ты один из них!

— Будут работать все станции,— сказал он и кусочком ваты стал удалять усы, причем я с удивлением убедился, что у него полный набор косметики — тушь для ресниц, и кольдкрем, и губная помада.

— У нас в семье столько неожиданного, и все сразу. Ты слышал, что я купил лавку?

— Да. Слышал.

— Когда флаги и знамена уберут, мне понадобится твоя помощь.

— То есть как?

— Я тебе уже говорил — будешь помогать в лавке.

— Нет, не смогу,— сказал он и стал разглядывать свои зубы в ручное зеркальце.

— Не сможешь?

— Я буду участвовать в передачах «У нас в студии», «Моя специальность» и «Таинственный гость». Потом скоро начнут викторину «Пошевели мозгами». Может, даже пустят эту передачу на границу. Так что, сам видишь, времени у меня не остается.— Он смазал волосы какой-то клейкой жидкостью из пластмассового флакона.

— Значит, твоя карьера обеспечена?

— Да вроде так. Это только начало.

— Сегодня я не стану выходить на военную тропу. Мы поговорим об этом в другой раз.

— Тут до тебя все дозванивался какой-то тип из НРК¹. Может, они хотят заключить контракт, а я несовершеннолетний.

— А о школе ты подумал, сын мой?

— Нужна она, если заключат контракт!

Я быстро вышел из комнаты и затворил за собой дверь, а в ванной пустил холодной воды и дождался, когда холод проникнет мне глубоко под кожу и остудит сотрясающую меня ярость. И когда я вышел оттуда чистенький, гладенький и благоухающий Мэриными духами, самобладание вернулось ко мне. За несколько минут до обеда Эллен села на подлокотник моего кресла, перевалилась оттуда ко мне на колени и обняла меня.

— Я тебя люблю,— сказала она.— Правда, как интересно? И правда, Аллен молодец? Он будто родился знаменитостью.— И это говорила дсвочка, которую я считал завистливой и немножко подленькой.

Перед десертом я провозгласил тост за нашего юного героя, пожелал ему счастья и закончил так:

— Зима тревоги нашей позади. К нам с сыном Йорка лето возвратилось!

— Это Шекспир,— сказала Эллен.

— Правильно, дурашка, а из какой вещи, кто это говорит и когда?

— Понятия не имею,— сказал Аллен.— Это одни зубрилы знают.

Я помог Мэри отнести посуду в кухню. Она сияла по-прежнему.

— Не сердись,— сказала она.— Он еще найдет себя. Все наладится. Будь терпелив с ним.

— Хорошо, моя чаша Грааля.

— Звонил какой-то человек из Нью-Йорка. Наверно, относительно Аллена. За ним пришлют самолет, подумай только! Никак не привыкну, что лавка теперь твоя. И— это уже разнеслось по всему городу — ты будешь мэром?

— Нет, не буду.

— Я об этом со всех сторон слышу.

— У меня будут дела, которые исключают такую возможность. А сейчас я уйду. Я отлучусь, родная, ненадолго. Мне надо встретиться кое с кем.

— Я, наверно, пожалею, что ты уже не продавец. До сих пор ты вечерами сидел дома. А что, если тот человек опять будет звонить?

¹ Национальная радиовещательная компания.

— Подождет.

— Он не хочет ждать. Ты поздно вернешься?

— Не знаю. Все зависит от того, как там обернутся дела.

— Как это грустно — с Дэнни Тейлором. Возьми дождевик.

— Да, грустно.

В холле я надел шляпу и, сам не знаю почему, вынул из слоновой ноги нарваловую трость Старого шкипера. Возле меня вдруг возникла Эллен.

— Можно, я с тобой?

— Нет, сегодня нельзя.

— Я тебя очень люблю.

Я глубоко заглянул в глаза моей дочери.

— Я тоже тебя люблю. И принесу тебе драгоценностей — какие у тебя самые любимые?

Она фыркнула.

— С тростью пойдешь?

— Да, для самозащиты. — Я сделал выпад витой дубинкой, как палашом.

— Ты надолго?

— Нет, ненадолго.

— А зачем тебе трость?

— Для красоты, со страху, из щегольства, угрозы ради. Архаическая потребность в оружии.

— Я буду тебя дожидаться. А можно мне взять розовый камешек?

— Дождаться меня незачем, мое жемчужное зернышко. Розовый камешек? То есть талисман? Конечно, можно.

— Что такое талисман?

— Посмотри в словаре. Как пишется, знаешь?

— Та-лес-ман.

— Нет. Та-лис-ман.

— А ты сам скажи, что это такое.

— Посмотришь в словаре — крепче запомнишь.

Она обхватила меня руками, стиснула и тут же отпустила.

Поздний вечер приник ко мне своей сыростью, влажным воздухом, густым, как куриный бульон. Фонари, прячущиеся среди тучной листвы Вязовой улицы, отбрасывали вокруг себя дымчатые, пушистые ореолы.

Мужчина, занятый на работе, так мало видит мир в его естественном дневном свете. Поэтому и багаж новостей и оценки тех или иных событий он получает от жены. Она знает, где что случилось и кто что сказал по этому поводу,

но все это преломляется сквозь ее призму, оттого выходит, что работающий мужчина видит дневной мир глазами женщины. Но вечером, когда его лавка, его контора закрыты, он живет в своем, мужском мире — хотя и недолго.

Мне было приятно держать в руке витую нарваловую трость, чувствовать гладкость ее массивного серебряного набалдашника, отполированного ладонью Старого шкипера.

Давным-давно, когда моя жизнь протекала в дневном мире, я временами пресыщался суетой и уходил в гости к травам. Лежа ничком, близко-близко к зеленым стеблям, бывший великан сливался воедино с муравьями, тлями, букашками. И в свирепых джунглях трав я забывался, а забвение — это тот же душевный покой.

Сегодня поздно вечером меня тянуло в Старую гавань, в Убежище, где круговорот жизни, времени, приливов и отливов мог бы сгладить мою взъерошенность.

Я быстро вышел на Главную улицу и, пройдя мимо «Фок-мачты», лишь мельком глянул через дорогу на зеленые шторы моей лавки. У пожарной части в полицейской машине сидел весь красный, взмокший как свинья, толстяк Вилли.

— Опять на охоту, Ит?

— Ага.

— Как жалко Дэнни Тейлора. Хороший был человек.

— Да, ужасно, — сказал я и прибавил шагу.

Две-три машины, поднимая легкий ветерок, обогнали меня, но гуляющих на улицах не было. Кому охота обливаться потом, шагая по жаре.

У обелиска я свернул к Старой гавани и увидел издали якорные огни нескольких яхт и рыбачьих судов. Кто-то вышел с Порлока и двинулся мне навстречу, и по походке, по фигуре я узнал Марджи Янг-Хант.

Она остановилась передо мной, загораживая путь. Есть женщины, от которых и в жаркий вечер веет прохладой. Может быть, мне так показалось, потому что ее легкая ситцевая юбка чуть развевалась на ходу.

Она сказала:

— Вы, верно, меня ищете. — И поправила прядь волос, не нуждавшуюся в этом.

— Почему вы так думаете?

Она повернулась, взяла меня под руку и движением пальцев заставила пойти рядом с ней.

— Только такие мне и достаются. Я сидела в «Фок-мачте», видела, как вы прошли, и решила, что вы ищете меня. Обогнула квартал и перехватила вас.

— Откуда вы знали, в какую сторону я пойду?

— Понятия не имею. Знала, и все. Слышите? Цикады. Это к жаре и безветрию. Не бойтесь, Итен, сейчас мы с вами очутимся в тени. Если хотите, пойдем ко мне. Я дам вам выпить — высокий холодный бокал из рук высокой горячей женщины.

Я позволил ее пальцам увести меня под шатер раскидистых кустов жимолости. Какие-то цветочки, невысоко поднявшиеся над эсмлей, желтыми огоньками горели в темноте.

— Вот мой дом — гараж с увеселительным чертогом наверху.

— Почему вы все-таки решили, что я вас искал?

— Меня или кого-нибудь вроде. Вы видели бой быков, Итен?

— Один раз в Арле после войны.

— Меня водил на это зрелище мой второй муж. Он обожал его. А я считаю, что бой быков создан для мужчин, которые трусоваты, а хотят быть храбрецами. Если вы видели бой быков, тогда вам это понятно. Помните, как после работы матадора с плащом бык пытается убить то, чего перед ним нет?

— Да.

— Помните, как он трясется, не знает, что делать, а иной раз просто стоит и будто ждет ответа? Тогда ему надо подсунуть лошадь, не то у него сердце разорвется. Он хочет всадить рога во что-то плотное, чтобы не пасть духом. Вот я и есть такая лошадка. И вот такие мужчины — растерянные, сбитые с толку — мне и достаются. Если они могут всадить в меня рог, все-таки это небольшая победа. Потом можно снова отбиваться от мулеты и шпаги.

— Марджи!

— Стойте! Я ищу ключ. А вы пока нюхайте жимолость.

— Но я только что после победы.

— Вот как? Разорвали плащ в клочья? Затаптали его в песок?

— Откуда вы знаете?

— Я знаю, когда мужчины ищут меня или другую такую Марджи. Осторожнее, лестница узкая. Не стукнитесь о притолоку. Выключатель вот здесь. Увеселительный чертог, мягкое освещение, запах мускуса... и глубь морей, где солнца нет!

— Вы и впрямь колдунья.

— Будто вам это неизвестно! Несчастливая, жалкая захолустная колдунья. Садитесь здесь, у окна. Я включу ве-

терок, сама пойду и, как говорится, накину на себя что-нибудь легонькое, а потом поднесу вам высокий холодный бокал, чтобы вы прополоскали себе мозги.

— От кого вы слышали это выражение?

— Не догадываетесь?

— Вы хорошо его знали?

— Некую его часть знала. Ту часть мужчины, которую может знать женщина. Иногда эта часть — лучшее, что в нем есть, но только иногда. У Дэнни так оно и было. Он доверял мне.

Эта комната была словно альбом воспоминаний о других комнатах — и там и сям кусочки, обрывки других жизней, как подстрочные примечания. Вентилятор в окне урчал чуть слышным шепотком.

Она вскоре вернулась в чем-то голубом — длинном, свободном, будто пенящемся, и принесла с собой облако духов. Когда я вдохнул этот запах, она сказала:

— Не бойтесь. Мэри не знает, что у меня есть такой одеколон. Вот, пейте — джин и хинная. Хинной я только сполоснула бокал. Это джин, чистый джин. Если лед поболтать в бокале, будет казаться, что вы пьете холодное.

Я выпил бокал сразу, как пиво, и почувствовал, что сухой жар джина разлился у меня по плечам и побежал вниз, к пальцам, будто покалывая кожу.

— Вот что вам было надо, — сказала она.

— Да, видимо.

— Я сделаю из вас хорошего храброго быка. Немного сопротивления — так, самую малость, чтобы вы вообразили себя победителем. Быку это необходимо.

Я взглянул на свои руки, все исчерченные царапинами и маленькими порезами — следы вскрывания ящиков, — взглянул на ногти, не слишком чистые.

Она взяла мою трость с кушетки, куда я положил ее, войдя в комнату.

— Надеюсь, вам не понадобится подхлестывать себя?

— Вы мой враг?

— Это я-то, нью-бэйтаунская резвушка, ваш враг?

Я так долго молчал, что ей стало не по себе.

— Спешить некуда, — сказала она. — Времени для ответа у вас достаточно — вся жизнь. Пейте еще.

Я принял у нее из рук налитый доверху бокал, но губы и язык у меня так пересохли, что пришлось отпить немного, прежде чем заговорить, и заговорил я с трудом, будто сквозь какую-то шелуху в горле:

— Что вам от меня нужно?

— А вдруг я настроилась на роман?

— С человеком, который любит свою жену?

— Мэри? Да вы ее совсем не знаете.

— Я знаю, что она нежная, милая и в чем-то беспомощная.

— Беспомощная? Она кремень. Ее еще надолго хватит после того, как ваш моторчик совсем сработается. Она, как чайка, пользуется ветром, чтобы парить в небе и не махать без нужды крыльями.

— Это неправда.

— Грянет большая беда, и ее пронесет сквозь эту беду, а вы сгорите заживо.

— Что вам от меня нужно?

— Неужели вы не сделаете ни малейшей попытки соблазнить меня? Неужели вам не хочется выместить свою ненависть на старушке Марджи?

Я опустил недопитый бокал на столик, но она с быстротой змеи приподняла его, поставила на пепельницу и рукой вытерла мокрый кружок от донышка.

— Марджи! Я хочу узнать, какая вы.

— Не обманете! Вы хотите узнать, что я думаю о ваших подвигах.

— Я только тогда пойму, что вам от меня нужно, когда узнаю, какая вы.

— Надо думать, что вы это всерьез? Всего один доллар за тур. Путешествие по Марджи Янг-Хант с ружьем и фотоаппаратом. Я была милая славенькая девочка, умненькая девочка и довольно никудышная танцовщица. Встретилась с человеком, как говорится, в летах и вышла за него замуж. Он не то что любил меня — он был от меня без памяти. Для умненькой девочки это золотая жила. Танцевать мне не очень хотелось, а работать и вовсе — нож острый. Когда я дала ему отставку, это его так сразило, что он даже не потребовал от судьи включения пункта о вторичном замужестве. Вышла за другого, и мы с ним так прожигали жизнь, что он не выдержал — умер. Но уже двадцать лет каждое первое число приходит чек. Уже двадцать лет я палец о палец не ударила, только принимала подарки от обожателей. Двадцать лет! Трудно поверить, но так оно и есть. И я уже не та славенькая девочка.

Она сходила в свою крошечную кухню, прямо в руке принесла три кубика льда, опустила их в свой бокал и залила сверху джином. Бормочущий вентилятор внес в комнату запах морских отмелей, обнажившихся с отливом. Она тихо сказала:

— У вас будут большие деньги, Итен.

— Вы все знаете?

— Самые благородные патриции и те подлецы.

— Продолжайте.

Она широко повела рукой, и ее бокал отлетел к стене, кубики льда покатались по столу, как игральные кости.

— На той неделе моего верного воздыхателя хватил удар. Как только он сыграет в ящик, чеков больше не будет. Я старая, ленивая, и мне страшно. Вы у меня в резерве, но я вам не доверяю. Вы можете сыграть против правил. Можете вдруг стать честным-пречестным. Говорю вам, мне страшно.

Я встал и почувствовал, что ноги у меня отяжелели, не подкашиваются, а просто отяжелели, и будто они не подо мной, а где-то далеко.

— На что вы рассчитываете?

— Марулло тоже был моим другом.

— Понимаю.

— Вы не хотите лечь со мной? Я хороша в постели. По крайней мере, так мне говорят.

— Нет, не хочу, для этого вас надо ненавидеть.

— Вот потому-то я вам и не доверяю.

— Мы с вами что-нибудь придумаем. Я ненавижу Бейкера. Может, вы его с собой уложите?

— Как вам не стыдно! Джин на вас не действует?

— Действует, когда спокойно на душе.

— Бейкер знает, что вы сделали с Дэнни?

— Да.

— Как он это принял?

— Ничего, спокойно. Но повернуться к нему спиной я бы не рискнул.

— Альфио — вот кто должен был повернуться к вам спиной.

— Что это значит?

— Только то, о чем я догадываюсь. И на чем я могла бы сыграть. Не бойтесь, я ему не скажу. Он мой друг.

— Кажется, я вас понимаю. Вы разжигаете в себе ненависть, чтобы взмахнуть мечом. А меч-то у вас картонный, Марджи.

— Будто мне это не известно! Но я полагаюсь на свое чутье, Ит.

— Ну, поделитесь со мной, что оно вам подсказывает?

— Пожалуйста. Бьюсь об заклад, что десять поколений Хоули будут мордовать вас почему зря, а когда они устанут, вы сами возьметесь стегать себя мокрой веревкой и растравлять раны солью.

— Если это все так, при чем здесь вы?

— Вам понадобится друг, чтобы было перед кем изливаться, а я — единственная, кто пригоден на эту роль. Тайна тяготит, Итен. И вам это не так уж дорого обойдется — какой-нибудь небольшой процент.

— Ну, вот что: я пойду.

— Допейте свой джин.

— Нет, не хочется.

— Не стукнитесь о притолоку, когда станете спускаться, Итен.

На половине лестницы она догнала меня.

— Палку свою вы нарочно оставили?

— Нет, упаси боже!

— Вот она. А я подумала, может быть, это своего рода жертвоприношение?

На улице моросило, а к ночи в дождь жимолость пахнет еще сильнее. Ноги у меня подкашивались, так что нарваловая трость оказалась весьма кстати.

У толстяка Вилли на сиденье автомобиля лежала пачка бумажных полотенец, и он вытирал ими пот с шеи и с лица.

— А я ее знаю! Хотите пари?

— Не хочу проигрывать.

— Слушайте, Ит, тут вас разыскивает какой-то тип в «Крайслере», с шофером.

— Что ему надо?

— Не знаю. Спрашивал, не попадались ли вы мне. Я не проболтался.

— Ждите от меня подарок к Рождеству, Вилли.

— Что у вас такое с ногами, Ит?

— Играл в покер. Пересидел.

— А-а, мурашки? Так если он опять мне встретится, сказать ему, что вы пошли домой?

— Пусть приходит в лавку завтра утром.

— «Крайслер-империал». Огромный, собака, длиной с товарный вагон.

На тротуаре у «Фок-мачты» стоял Джой — какой-то вялый, размякший.

— А я-то думал, вы укатили в Нью-Йорк за бутылочкой прохладительного.

— Слишком жарко. Духу не хватило. Пойдемте выпьем, Итен. Что-то я совсем раскис.

— Жарко, не хочется, Морфи.

— А пива?

— Пиво меня еще больше горячит.

— Что это за жизнь! Отбарабанил в банке — и податься некуда. И поговорить не с кем.

— Жениться бы вам.

— Тогда уж и вовсе не с кем говорить.

— Может, вы и правы.

— Еще бы не прав. Женатый, да особенно крепко женатый, — самый одинокий человек в мире.

— Откуда вы это знаете?

— А я их вижу. И сейчас на такого смотрю. Возьму несколько бутылок холодного пива и пойду посмотрю, не захочет ли Марджи Янг-Хант поразвлечься со мной. Она поздно ложится.

— По-моему, ее нет в городе, Морфи. Она говорила моей жене, если не ошибаюсь, что хочет побыть в Мэне до тех пор, пока жара не спадет.

— Будь она проклята, эта Марджи! Ну ладно, ее убыток — бармену прибыль. Пойду поведаю ему печальные эпизоды из одной загубленной жизни. Он тоже не будет слушать. Ну, всего, Ит. Идите с Господом Богом. Так напутствуют в Мексике.

Нарваловая трость постукивала по тротуару, подчеркивая мое недоумение, зачем я солгал Джою. Она не будет болтать. Это испортит ей всю игру. Она хочет все время держать палец на предохранителе гранаты. А почему — не знаю.

Я свернул с Главной улицы на Вязовую и увидел у старинного дома Хоули «крайслер», похожий не столько на товарный вагон, сколько на катафалк, — черный, но не блестящий, потому что он был весь в дождевых капельках и маслянистых брызгах расплеснутой на шоссе грязи. Свет его фар смягчали матовые стекла.

Наверно, было очень поздно. В спящих домах на Вязовой не светило ни одно окно. Я весь промок и вдобавок ступил где-то в лужу. Башмаки у меня жирно чавкали при каждом моем шаге.

Сквозь затуманенное ветровое стекло виднелся человек в шоферской фуражке. Я подошел к этой машине-монстру, постучал по стеклу, и оно сразу с электрическим подвыванием поползло вниз. В лицо мне пахло ненатуральной свежестью кондиционированного воздуха.

— Я Итен Хоули. Вы меня ищете? — И я увидел зубы — блестящие зубы, выхваченные из сумрака автомобильной кабины нашим уличным фонарем.

Дверца отворилась сама собой, и из «крайслера» вышел худощавый, хорошо одетый мужчина.

— Я от телевизионной студии «Данскам, Брок и Швин». Мне надо поговорить с вами.— Он посмотрел на шофера.— Только не здесь. К вам можно зайти?

— Что ж, зайдемте. У нас, наверно, все спят. Если вы будете говорить тихо...

Он пошел следом за мной по мощеной дорожке, проложенной через топкий газон. В холле горел ночник. Когда мы вошли, я поставил нарваловую трость в слоновую ногу.

Потом включил лампочку для чтения на спинке моего большого кресла с продавленными пружинами.

В доме стояла тишина — но какая-то не та тишина, что-то в ней чувствовалось беспокойное. Я посмотрел вверх, на двери спален, выходившие на площадку второго этажа.

— Наверно, что-нибудь серьезное, раз вы так поздно.

— Да.

Теперь я разглядел его. В этом лице представляли зубы, не получая никакой поддержки от усталых, но настороженных глаз.

— Мы не хотим гласности. Год выдался тяжелый, вы сами знаете. Скандал с викториной выбил у нас почву из-под ног, а тут еще эта история с комиссиями конгресса. Приходится быть осторожным. Сейчас очень опасное время.

— Может, вы мне все-таки скажете, в чем дело.

— Вы читали сочинение вашего сына «Я люблю Америку»?

— Нет, не читал. Он хотел преподнести мне сюрприз.

— И преподнес. Я не понимаю, как мы сразу этого не обнаружили, но факт остается фактом.— Он протянул мне голубую папку.— Прочтите, где отчеркнуто.

Я сел в кресло и открыл ее. Текст был напечатан то ли на пишущей машинке, то ли на одной из новых типографских машин с таким же шрифтом, но поля были все исчерканы жирным черным карандашом.

ИТЕН АЛЛЕН ХОУЛИ ВТОРОЙ

Я ЛЮБЛЮ АМЕРИКУ

Что такое человеческий индивидуум? Атом, почти невидимый без увеличительного стекла, пятнышко на поверхности Вселенной; ничтожная доля секунды, несоизме-

римая с безначальной, бесконечной вечностью; капля воды в бездонных глубинах, которая, испарившись, улетает вместе с ветром; песчинка, которой не долго ждать возврата к праху, породившему ее. Неужто же существо, столь малое, столь мелкое, столь преходящее, столь недолговечное, противопоставит себя поступательному движению великой нации, что пребудет в веках, противопоставит себя последующим порожденным нами поколениям, которые будут жить, доколе существует мир? Обратим же взоры к своей стране, возвысим себя чистым, бескорыстным патриотизмом и убережем отечество наше от всех грозящих ему опасностей. Чего мы стоим, чего стоит тот из нас, кто не готов принести себя в жертву на благо родной страны?

Я перелистал всю тетрадку и везде увидел следы черного карандаша.

— Узнаете?

— Нет. Ужасно знакомо... это что-то прошлого века.

— Правильно. Генри Клей. Речь, произнесенная в тысяча восемьсот пятидесятом году.

— А остальное? Тоже Клей?

— Нет. Надергано отовсюду. Тут и Дэниел Уэбстер, и Джефферсон, и даже — Господи, прости! — кусочек из второй вступительной речи Линкольна. Я просто не понимаю, как это проскочило. Наверно, потому, что сочинений были сотни. Слава богу, что мы все-таки вовремя спохватились. Представляете себе? После всей этой истории с Ван Дореном¹.

— Сразу видно, что не детская рука.

— Не понимаю, как это случилось. И ведь если бы не открытка, так бы все и прошло.

— Открытка?

— Открытка с видом Эмпайр-стейт-билдинг.

— Кто же ее прислал?

— Анонимная.

— Откуда она послана?

— Из Нью-Йорка.

— Покажите ее мне.

¹ Широко разрекламированный победитель телевикторин в США, разоблаченный впоследствии как подставное лицо телевизионной компании.

— Она у нас в сейфе на случай каких-нибудь неприятностей. Но ведь вы не пойдете на это?

— Что вам от меня нужно?

— Мне нужно, чтобы вы все забыли — будто ничего и не было. И если вы согласны, мы тоже так сделаем — будто ничего и не было.

— Забыть это нелегко.

— Да слушайте, я просто говорю, чтобы вы держали язык за зубами и не причиняли бы нам никаких неприятностей. Год был тяжелый. Перед президентскими выборами к чему угодно придерутся.

Я захлопнул красивую голубую папку и отдал ему.

— Никаких неприятностей не будет.

Его зубы блеснули, как двойная нитка жемчуга.

— Я так и знал. Я так и говорил там, у нас. Я поинтересовался вами. У вас хорошее досье. Вы из почтенной семьи.

— Теперь, может быть, вы уйдете?

— Смеем вас уверить, я понимаю ваши чувства.

— Благодарю вас. А я понимаю ваши. Что можно похоронить, того будто и не было?

— Мне бы не хотелось оставлять вас в таком настроении. Не надо сердиться. Я работаю в отделе информации и связи. Мы что-нибудь придумаем. Стипендию... или что-нибудь в этом роде. Что-нибудь вполне приемлемое.

— Неужели порок объявил забастовку и требует повышения заработной платы? Нет, прошу вас, уходите.

— Мы что-нибудь придумаем.

— Не сомневаюсь.

Я проводил его, снова сел в кресло и, потушив лампочку, стал прислушиваться к своему дому. Он пульсировал, как сердце, а может, это и было мое сердце и шорохи в старом доме. Мне захотелось подойти к горке и взять в руки талисман. Я уже встал и шагнул вперед.

Я услышал какой-то хруст и словно короткое ржание испуганного жеребенка, и кто-то пробежал в темноте, а потом все стихло. Мои мокрые башмаки чавкнули на ступеньках. Я вошел в комнату Эллен и включил свет. Она лежала, свернувшись, под простыней, голова — под подушкой. Когда я попробовал поднять подушку, она вцепилась в нее, и мне пришлось дернуть сильнее. Из уголка рта у нее текла струйка крови.

— Я поскользнулась в ванной.

— Вижу. Сильно ушиблась?

— Нет, не очень.

— Другими словами, это не мое дело?

— Я не хотела, чтобы его посадили в тюрьму.

Аллен сидел у себя, на краю кровати, в одних трусиках. Его глаза... Я невольно представил себе мышь, загнанную в угол и готовую отбиваться от щетки.

— Ябеда поганая!

— Ты все слышал?

— Я слышал, что эта гадина сделала.

— А ты слышал, что ты сам сделал?

Мышь, загнанная в угол, перешла в нападение.

— Подумаешь! Все так делают. Кому повезет, а кому нет.

— Ты в этом уверен?

— Ты что, газет не читаешь? Все до одного — до самой верхушки. Почитай газеты. Как начнешь витать в облаках, так читай газеты. Все это делают, и ты сам, наверно, когда-нибудь делал. Нечего на мне отыгрываться. Плевал я на всех. Мне бы только с этой гадиной рассчитаться.

Мэри разбудить нелегко, но тут она проснулась. А может быть, и вовсе не засыпала. Она была в комнате Эллен, сидела на краешке ее кровати. Уличный фонарь освещал ее, играл тенями листьев на ее лице. Она была как скала, огромная скала, противостоящая волнам прилива. Да, верно. Она — кремень, она — твердыня, несокрушимая и надежная.

— Ты ляжешь спать, Итен?

Значит, она тоже все слышала.

— Нет еще, радость моя.

— Опять куда-нибудь пойдешь?

— Да... погуляю.

— Пора спать. На улице дождик. Тебе непременно надо уходить?

— Да. Есть одно место, мне надо побывать там.

— Возьми дождевик. А то опять забудешь.

— Да, милая.

Я не поцеловал ее. Не мог поцеловать, когда рядом с ней лежал, укрывшись с головой, этот комочек. Но я положил ей руку на плечо, коснулся ее лица, а она была как кремень.

Я зашел на минутку в ванную за пачкой бритвенных лезвий.

Я стоял в холле, послушно отыскивая в шкафу свой дождевик, и вдруг услышал какую-то возню, какой-то шум, и топот, и Эллен, всхлипывая, шмыгая носом, кинулась ко мне. Она уткнулась кровоточащим носом мне в грудь

и обхватила меня руками, прижав мне локти к бокам. И все ее детское тельце дрожало мелкой дрожью.

Я взял ее за чубчик и оттянул ей голову назад.

— Я с тобой.

— Нельзя, глупышка. Пойдем лучше в кухню, я тебя умою.

— Возьми меня с собой. Ты больше не вернешься.

— Что ты выдумываешь, чучело? Конечно, вернусь. Я всегда возвращаюсь. Пойди ляг и усни. Самой же лучше будет.

— Так не возьмешь?

— Тебя туда не пустят. Что же ты хочешь, стоять на улице в ночной рубашке?

— Не смей!

Она опять обняла меня и стала гладить мне руки, бока, засунула кулачки в карманы, так что я испугался, как бы она не нащупала там пачку бритвенных лезвий. Она у нас всегда такая ласкушка, обнималка, и всегда жди от нее каких-нибудь неожиданностей. И вдруг она отпустила меня и шагнула назад, подняв голову, и глаза у нее были сухие. Я поцеловал ее в перемазанную щеку и почувствовал на губах вкус подсыхающей крови. И пошел к дверям.

— Без палки пойдешь?

— Да, Эллен. Сегодня без палки. Иди спать, родная. Иди спать.

Я побежал. Мне кажется, я убежал от нее и от Мэри. Я услышал, как Мэри не спеша спускается по лестнице.

ГЛАВА XXII

Был час прилива. Я вошел в тепловатую воду и пробрался в Убежище. Медлительная волна то и дело заливала вход в него, брюки у меня сразу намокли. Толстый бумажник в заднем кармане разбух, а потом сплюснулся под моей тяжестью. Летнее море кипело медузами размером с крыжовник, которые распускали по воде свои щупальца; касаясь моих ног и живота, они обжигали меня, будто маленькими огоньками, а вода мерно, как дыхание, входила и выходила из Убежища. Дождь превратился в легкую туманную завесу, и она вобрала в себя все звезды и все городские огни и размазала их ровным, тускло мерцающим слоем. Мне был виден третий выступ за волнорезом, но из Убежища казалось, что он не на одной линии с тем местом, где покоился затонувший киль «Прекрасной

Адэр». Волна более сильная подняла мои ноги, и мне почудилось, будто они у меня сами по себе, отдельно от туловища, и настойчивый ветерок, возникший неведь откуда, погнал перед собой туман, как стадо овец. Потом я увидел звезду — поздно, слишком поздно зажегшуюся. Какое-то судно, пофыркивая, прошло мимо — парусник, судя по неторопливому, торжественному стуку мотора. Над зубцами искрешенного волнореза показался его клотик, но красный и зеленый бортовые огни не были видны мне.

Кожа у меня горела от ожогов медуз. Я услышал всплеск якоря, и клотик потух.

Огонь Марулло все еще горел, так же как огонь Старого шкипера и огонь тетушки Деборы.

Это неправда, что есть содружество огней, единый мировой костер. Всяк из нас несет свой огонек, свой собственный одинокий огонек.

Стайка крохотных рыбешек метнулась вдоль берега.

Мой огонь погас. Нет на свете ничего темнее, чем обгоревший фитиль.

И где-то в глубине себя я сказал: хочу домой, нет, не домой, а по ту сторону дома, где загораются огни.

Когда огонь гаснет, становится так темно, что лучше бы он совсем не горел. Мир полон темных обломков крушения. Есть лучший способ, известный тем Марулло, которые жили в старом Риме: приходит час, когда надо тихо, достойным образом уйти, без драм, никого не наказуя — ни себя, ни своих близких. Простился, сел в теплую ванну и отворил вены — или теплое море и бритвенное лезвие.

Мертвая зыбь растущего прилива шарахнулась в Убежище, приподняла мне ноги и отвела их в сторону, а мокрый свернутый дождевик унесла с собой.

Я лег на бок, сунул руку в карман за лезвиями и нащупал там что-то тяжелое. И тут я с изумлением вспомнил гладящие, ласкающие руки той, что несет огонь. Я не сразу вытащил его из мокрого кармана. И у меня на ладони он вобрал в себя весь свет, все огни и стал темно-темно-красный.

Новый вал прибоя притиснул меня к задней стене Убежища. Темп моря убыстрялся. Для того чтобы выйти из Убежища, мне пришлось бороться с волнами, но я должен был выйти. Меня перекатывало с боку на бок, я пробивался вперед по грудь в воде, а быстрые волны старались оттолкнуть меня назад.

Мне надо было выйти отсюда — надо было отдать талисман его новой владелице.

Чтобы не погас еще один огонек.

ПУТЕШЕСТВИЕ
С ЧАРЛИ
В ПОИСКАХ
АМЕРИКИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Когда я был еще совсем молодой и мне не давала покоя тяга закатиться куда-нибудь туда, где нас нет, люди зрелые уверяли меня, будто в зрелости от этого зуда излечиваются. Когда мой возраст подошел под эту мерку, в качестве целебного средства мне пообещали пожилые годы. В пожилые годы я услышал заверения, что со временем моя лихорадка все-таки пройдет, а теперь, когда мне стукнуло пятьдесят восемь, остается, видимо, уповать на глубокую старость. До сих пор ничего не помогало. От четырех хриплых паровозных гудков шерсть у меня на загривке встает дыбом, ноги сами собой начинают притоптывать. Услышу рев реактивного самолета, прогревание мотора, даже цоканье копыт по мостовой, и сразу — извечная дрожь во всем теле, сухость во рту, блуждающий взор, жар в ладонях и желудок подкатывает куда-то под самые ребра. Иначе говоря, выздоровления не наблюдается; проще говоря — бродягу могила исправит. Боюсь, что болезнь моя неизлечима. Я толкую об этом не в назидание другим, а себе самому для сведения.

Когда вирус непоседливости проникает в беспокойную человеческую душу и дорога Прочь Отсюда кажется такой прямой, широкой и заманчивой, жертве этого вируса надлежит прежде всего найти у самой себя веские основания для отъезда. Бродягу-практика это не затруднит. Таких оснований у него целый вагон — выбирай любое. Далее ему надо спланировать свою поездку во времени и в пространстве, наметить ее маршрут и конечную цель. И наконец — внести полную ясность в вопрос: как ехать, на какой срок, что с собой брать. Эта часть процесса неизменна и пребудет во веки веков. Упоминаю о ней только для того, чтобы новобранцы в бродяжьем войске не вообразили, подобно молокососам, впервые ступившим на стезю греха, будто они сами тут все изобрели.

Как только маршрут обдуман, снаряжение готово и вы двинулись в путь, обретает силу некий новый фактор.

Всякая поездка, экспедиция, вылазка на охоту существует сама по себе, отличная от всех прочих. У каждой свое лицо, свой нрав, темперамент, они неповторимы. Путешествие — это индивидуальность, двух одинаковых не бывает. И все наши расчеты, меры предосторожности, ухищрения, уловки ни к чему не приводят. После долголетней борьбы каждому становится ясно, что не мы командуем путешествиями, а они — нами. Специалисты по составлению маршрутов, предварительные заказы билетов и гостиничных номеров, график, железный, нерушимый... все и вся разбивается вдребезги, столкнувшись с индивидуальностью вашей поездки. И чистокровный бродяга только тогда сможет поладить с ней и вздохнуть свободно, когда твердо это усвоит. И только тогда ему не будет угрожать крушение надежд. В этом смысле путешествие похоже на семейную жизнь. Вы непременно попадете впросак, если будете думать, что тут все зависит от вас.

Ну вот, я высказался до конца, и мне сразу полегчало, хотя поймут меня только те, кто испытал все это на собственной шкуре.

Мой план был как будто ясен, четок и вполне разумен. За долгие годы жизни я побывал во многих странах. В Америке я живу в Нью-Йорке, бываю наездами в Чикаго и Сан-Франциско. Но Нью-Йорк не Америка, так же как Париж не Франция и Лондон не Англия. И вот я вдруг обнаружил, что не знаю своей собственной страны. Я — американский писатель, пишущий об Америке, — работаю, полагаясь только на память, а память и в лучшем-то случае источник ненадежный, того и гляди получится перекося. Я давно не слышал говора Америки, не вдыхал запаха ее трав, деревьев, ее сточных вод, не видел ее холмов, рек и озер, ее красок, ее теней и света. О переменах, которые произошли в ней, мне известно только из книг и газет. Но мало того, за последние двадцать пять лет у меня исчезло ощущение, какая она, эта страна. Короче говоря, я писал о том, о чем не имел понятия, а, по моему, для так называемых писателей в подобной практике есть нечто преступное. Разрыв в двадцать пять лет сделал свое дело — воспоминания мои порядком оскудели.

Когда-то я путешествовал в хлебном фургоне — допотопном рыдване с двустворчатой дверью, с матрасом на полу. Я останавливался там, где останавливались или собирались люди, слушал, смотрел, старался все почувствовать, и в результате у меня возникла картина нашей

страны — картина, точности которой могли помешать только мои собственные несовершенства.

И я задумал снова все увидеть своими глазами и попытаться открыть заново эту огромную страну. Только так, казалось мне, можно нащупать истину в каждом отдельном случае и поставить диагнозы, которые лягут в основу истины большего охвата. Но тут возникало одно серьезное затруднение. За последние двадцать пять лет мое имя приобрело более или менее широкую известность. А я на собственном опыте убедился, что, если люди знают вас с хорошей ли, с дурной ли стороны, их словно подменяют. Робая или испытывая иные ощущения в присутствии известной личности, они становятся сами на себя не похожи. А поскольку это так, мое имя и мою известность лучше было забыть дома. Я решил превратиться в странствующее глаза и уши, стать чем-то вроде чувствительной фотопластинки. Мне нельзя было оставлять свою подпись в гостиничных регистрационных книгах, встречаться со знакомыми, брать интервью у кого бы то ни было и даже о чем-нибудь дотошно расспрашивать. Мало того, когда вас двое-трое, нарушаются ваши личные взаимоотношения с окружающей средой. Ехать мне надо было одному и только на самого себя и полагаться. Словом, я превращался в черепаху, которая слоняется с места на место и несет на спине собственный дом.

Уяснив себе все это, я написал письмо в дирекцию одной крупной фирмы, выпускающей грузовики. В письме были подробно изложены мои намерения и надобности. Мне требовался пикап грузоподъемностью в три четверти тонны, повышенной проходимости в расчете на плохие дороги, и на этом грузовичке я просил сделать домик — нечто вроде кабины моторного катера. Прицеп затрудняет маневренность в горах, на стоянке его не оставишь, тем более что это в большинстве случаев противозаконно, и вообще на прицепы распространяется слишком много всяких запретов. В свой срок пришел проект машины со спецификацией оборудования. Мне предлагали выносливый, удобный, быстроходный грузовик с высоким крытым кузовом — с домиком, где было все: широкая кровать, плита на четыре конфорки, отопительный прибор, холодильник и освещение на бутане, химизированная уборная, чуланчик, помещение для продуктов и сетка на окнах от насекомых — словом, то, что мне и требовалось. К концу лета машину пригнали в Сэг-Харбор на самой оконечности острова Лонг-Айленд, где стоит мой рыбачий коттедж.

Я думал выехать только после Дня труда¹, когда жизнь в нашей стране входит в обычную колею, а пока что к моему черепашьему панцирю надо было привыкать, его надо было снарядить и изучить как следует. Пикап прибыл в августе — красавица машина, мощная и в то же время приемистая. Управлять ею было почти так же просто, как легковой. И поскольку затейное мисю путешествие вызвало ряд саркастических замечаний со стороны моих друзей, я назвал ее Росинантом, а вы, разумеется, помните, что так звали лошадь Дон Кихота.

Я не считал нужным держать свой замысел в тайне, и между моими друзьями и советчиками разгорелись споры. (Советчики в таких случаях плодятся косяками.) Меня предупреждали, что, поскольку издательства постарались как можно шире распространить мою фотографию, я и шагу не смогу ступить, не будучи узнанным. Скажу наперед, что я проехал десять тысяч миль, побывал в тридцати четырех штатах, и меня ни разу никто не узнал. По всей вероятности, вещи воспринимаются только в определенном контексте. Люди, которые могли бы догадаться, кто я такой, в моем обычном, по их понятиям, окружении, за рулем Росинанта меня не узнавали.

Мне указывали, что слово «Росинант», выведенное на борту моего пикапа испанским шрифтом шестнадцатого века, привлечет к себе внимание в некоторых местах и вызовет расспросы. Не знаю, многим ли имя Росинант что-то говорило, но меня об этом никто не спрашивал.

Далее, мне было сказано, что разъезды по стране какой-то неизвестной личности да еще с неизвестными целями могут показаться подозрительными и, чего доброго, приведут к расследованию. Тогда я развесил по стенам моего пикапа две винтовки, охотничье ружье и несколько удочек, зная по опыту, что, если человек едет на охоту или рыбную ловлю, такие поездки ни у кого не вызывают сомнений и даже всячески приветствуются. На самом же деле моим охотничьим подвигам давно пришел конец. Если я теперь кого-нибудь убиваю или ловлю, то лишь затем, чтобы положить свою добычу на сковородку. Годы мои не те, чтобы превращать убийство в спорт. Вся эта бутафория оказалась совершенно излишней.

Говорили мне, что нью-йоркский номерной знак на машине вызовет интерес, а может, и вопросы, за неимением

¹ День труда празднуется в США в первый понедельник сентября.

у меня других опознавательных примет. И так оно и было раз двадцать — тридцать за всю поездку. Но эти беседы протекали все на один лад. Примерно в таком роде:

Местный житель. Из Нью-Йорка, хм?

Я. Точно.

Местный житель. Я там был в тысяча девятьсот тридцать восьмом году... Или в тридцать девятом? Элис, когда мы ездили в Нью-Йорк — в тридцать восьмом или тридцать девятом?

Элис. В тридцать шестом. Я прекрасно помню, потому что в том году Альфред умер.

Местный житель. Ну, все равно — мерзостный город. Приплати мне — не согласился бы там жить.

Немало всех беспокоило и то обстоятельство, что еду я один — нападут, ограбят, изобьют. На дорогах у нас, как все знают, небезопасно. Должен сознаться, что признаки малодушия ни с того ни с сего появились и у меня. Давно уж мне не приходилось испытывать чувство одиночества, оставлять где-то позади и свое имя, и друзей, и ту надежную опору, которую ощущаешь в семье, в близких людях, в единомышленниках. Опасность трудно представить как нечто реальное. Просто на первых порах чувствуешь себя таким сиротливым, беспомощным — словом, одному бывает тоскливо. Поэтому я решил, что мне нужен спутник, и взял с собой одного пожилого господничка французской национальности — пуделя по имени Чарли. Полностью его зовут Charles le chien¹. Он родился в Берси, на окраине Парижа, обучался во Франции, знает немного пуделиный английский, но быстро реагирует только на те приказания, которые отдают по-французски. С английского ему приходится переводить, и это замедляет реакцию.

Чарли очень крупный пес, мастью bleu², и, когда его вымоют, он действительно голубой. Он прирожденный дипломат. Переговоры всегда предпочитает дракам и правильно делает, ибо драки — не его призвание. За десять лет своей жизни он только раз попал впросак, наткнувшись на пса, который отказался вступить в переговоры. Чарли потерял тогда кусочек правого уха. Но как сторож он вполне на высоте — у него львиный рык, рассчитанный на то, чтобы сокрыть от ночных бродяг тот факт, что ему и бумажного пакетика не прокусить! Чарли — добрый

¹ Пес Шарль (франц.).

² Голубой (франц.).

друг и отличный дорожный товарищ, путешествия для него самое разлюбозное дело, лучше которого ничего и не придумаешь. Упоминания о Чарли будут часто попадаться на этих страницах, потому что он способствовал успеху моей поездки. Собака, особенно такая экзотическая на вид, служит связующим звеном между незнакомыми людьми. Мало ли разговоров в пути начиналось с вопроса: «А что это за порода такая?»

Техника завязывания бесед повсеместно одна и та же. Я и раньше знал, а теперь открыл заново, что наивернейший способ завладеть чьим-нибудь вниманием, получить помощь, заставить собеседника развязать язык — это признаться, что ты не знаешь дороги. Человек, который способен пнуть ногой в живот умирающую с голоду родную мать, потому что она мешает ему пройти, часами с величайшей охотой будет давать указания первому встречному (причем совершенно неправильные), когда тот признается, что сбился с пути.

Под могучими дубами Сэг-Харбора, возле моего рыбацкого коттеджа, с независимым видом возвышался красавец Росинант, и соседи (некоторых мы и знать не знали) приходили полюбоваться им. В их глазах я читал нечто такое, что потом мне пришлось замечать повсюду, во всех уголках нашей страны: это было жгучее желание уехать, сдвинуться с места, пуститься в путь-дорогу, куда — неважно, лишь бы прочь отсюда. Они сдержанно говорили, что хорошо бы когда-нибудь сняться с якоря, уехать и разъезжать себе, куда захочется, и не в погоне за чем-нибудь, а просто так, лишь бы подальше от того, что здесь. Такое я подмечал и такое слышал везде, в каждом штате, где мне пришлось побывать. Чуть ли не каждый американец стремится куда-то вдаль. Один мальчик лет тринадцати приходил к нам ежедневно. Он робко стоял в сторонке и глазел на Росинанта; он заглядывал внутрь фургона и даже ложился на землю, чтобы лучше рассмотреть его мощные рессоры. Мальчик этот был маленький, молчаливый и неотступный. Он приходил любоваться Росинантом даже по вечерам. Выдержки ему хватило только на неделю. Мужество отчаяния (была не была!) одолело робость. Он сказал:

— Возьмите меня с собой, я... я все буду делать. Стряпать буду, посуду мыть — любую работу. И за вами буду ухаживать.

Увы, его томление было так понятно мне.

— Кабы можно, я бы тебя взял,— ответил я ему.— А школьный совет? А твои родители и мало ли кто еще? Они известно что скажут: «Нельзя!»

— Я все буду делать,— повторил он.

И сомневаться в этом не приходилось. По-моему, он только тогда сдался, когда я двинулся в путь, так и не взяв его с собой. Этот мальчик лелеял ту же мечту, что сопровождала всей моей жизни, а исцеления от нее нет.

Хлопоты по снаряжению Росинанта заняли немало времени и были очень приятны. Я брал с собой чересчур много всего, но как знать, что тебя ждет в дороге? Инструменты и орудия на все случаи жизни; буксирный трос, небольшую лебедку, лопату и ломик — вдруг понадобится починить, наладить, наскоро соорудить что-нибудь. Затем — аварийный запас провианта. На северо-запад я попаду к концу года, в снежные заносы. Надо быть готовым к тому, что застрянешь где-нибудь по крайней мере на неделю. С водой дело обстояло просто: у Росинанта имелся бачок на тридцать галлонов.

Не исключено, что дорогой я буду писать. Очерки? Может быть. Путевые заметки? Наверное. Письма? Безусловно. Поэтому были взяты запасы бумаги, копирка, пишущая машинка, карандаши, блокноты, а в придачу еще и словари, краткая энциклопедия и с десяток других справочников, весьма увесистых. Наши возможности по части самообольщения поистине безграничны. Мне ли не знать, что записи я веду редко, а если веду, то потом все равно все теряю или ничего не могу в них разобрать. Кроме того, за тридцать лет писательской работы пора было убедиться, что писать о чем-нибудь по горячим следам я не умею. Материал должен пересбродить во мне. По выражению одного моего приятеля, я долго «жую жвачку», прежде чем взяться за перо. И вот, несмотря на столь доскональное знание самого себя, я погрузил в Росинанта такое количество всяких письменных принадлежностей, какого хватило бы, чтобы написать десять томов. Туда же пошло фунтов полтораста книг из тех, что все как-то недосуг прочитать, и это были, конечно, такие книги, на которые досуга никогда не хватит. Консервы, патроны для дробовика, пули, наборы инструментов, кипы всякой одежды, подушек, одеял и несусветное количество башмаков, сапог, теплого нейлонового белья для минусовой температуры, пластмассовые тарелки и чашки, пластмассовый таз для мытья посуды, запасной баллон с газом. Рессоры перегру-

женной машины охали и садились все ниже и ниже. Словом, теперь я знаю, что поклажи у меня было раза в четыре больше, чем требовалось.

Что касается Чарли, то этот пес — специалист по чтению чужих мыслей. Ему приходилось много путешествовать в жизни, а когда надо, и сидеть дома. Он догадывается, что мы собираемся в путь, задолго до того, как выносят чемоданы, и начинает слоняться из комнаты в комнату, и места себе не находит, и скулит, и то и дело закатывает легкие истерики, даром что старик. Все эти недели, пока шла подготовка к моему отъезду, Чарли только и знал, что путался у нас под ногами, и надоел нам хуже горькой редьки. Потом завел моду прятаться в грузовике — шмыгнет туда и прикинется маленьким-маленьким.

Приближался День труда, тот славный день, после которого миллионы ребят снова засядут за парты, а десятки миллионов родителей разгрузят от своих машин шоссе-ные дороги. Я собирался выехать после этого праздника, и по возможности скорее. И тут вдруг выяснилось, что с Карибского моря прямо на нас прет ураган «Донна». Живя на самом кончике Лонг-Айленда, мы отнеслись к этой вести с величайшей почтительностью, так как знаем по опыту, что это такое. В ожидании приближающихся штормов у нас все бывает готово к осаде. Наш маленький залив защищен не плохо, но и не очень хорошо. «Донна» подкрадывалась к нам, а я тем временем заправил все керосиновые лампы, подготовил колодезный ручной насос и привязал все, что имеет способность двигаться. У меня есть моторная лодка в двадцать два фута длиной, с кабиной, по имени «Прекрасная Элейн». Я задраил на ней иллюминатор и дверь, вывел на середину залива, сбросил за борт тяжелый старинный якорь, а цепь в полдюйма диаметром отпустил подлиннее, чтобы обеспечить лодке свободу циркуляции. Так она сможет выстоять против штормового ветра в сто пятьдесят миль в минуту, если только ей не повредит носовую часть.

«Донна» подползала все ближе и ближе. Чтобы слушать о ней сообщения по радио, мы поставили в коттедже приемник с батарейным питанием, предвидя, что, как только она к нам нагрянет, электричество сразу погаснет. Но теперь ко всем этим заботам добавилась еще одна: Росинант, расположившийся под деревьями. В кошмарах наяву я видел, как на мой грузовик рушится дуб и давит его, точно букашку. Я вывел Росинанта из-под возможных прямых попаданий, но ведь его могло разнести в щепы и верхушкой

какого-нибудь дерева, если ее пронесет по воздуху футов пятьдесят.

Рано утром мы слышали по радио, что циклон нас не минует, около десяти часов — что его центр пройдет над нами, если не ошибаюсь, в 1 час 07 минут — время указали точно. В нашем заливе было тихо, ни ряби, ни волн, но вода так и не посветлела с ночи, и «Прекрасная Элейн» грациозно покачивалась на свободно висящей якорной цепи.

Наш заливчик защищен от ветра лучше других, и вскоре в нем появилось много всяких мелких суденышек. Я с ужасом увидел, что некоторые из их владельцев понятия не имеют, как становятся на якорь. Вот вошли два моторных катера — оба красавцы, один вел другого на буксире. С борта первого сбросили в воду небольшой якорь, и катера — задний был привязан за нос к корме переднего — остались посреди залива, оба в непосредственной близости от «Прекрасной Элейн». Я подошел с рупором к самому краю моего причала и попробовал возразить против такого безрассудства, но владельцы катеров либо ничего не слышали, либо не поняли меня, либо им было на все наплевать.

Штормовой ветер налетел на нас в точно предсказанное время и вспорол воду, как черную ткань. Казалось, он крушит все кулаками. У одного из дубов сломало верхушку, и, падая, она чуть-чуть задела коттедж, откуда мы наблюдали за тем, что делается вокруг. Следующий порыв вмятил в комнату большую оконную раму. Я водворил ее обратно и топориком забил клинья вверху и внизу. Как мы и ожидали, электричество сразу же потухло, телефон замолчал. По радио предупредили, что волны достигнут высоты в восемь футов. Мы видели, как ветер рыщет по земле и по морю, точно свора терьеров, спущенных с привязи. Деревья кланялись и гнулись — ни дать ни взять травинки; исхлестанная ветром вода вспенилась. Чья-то лодка, оборвав якорную цепь, с разгона въехала на берег, следом за ней другая. Дома, выстроенные благодатной весенней порой и ранним летом, принимали волны в окна вторых этажей. Наш коттедж стоит на небольшом холме на тридцать футов выше уровня моря. Но волны уже перекатывали через мой высокий причал. Когда ветер менял направление, я переводил Росинанта на новое место, чтобы он стоял с наветренной стороны от высоких дубов. «Прекрасная Элейн» доблестно выдерживала шторм и, точно флюгер, поворачивалась и вправо и влево под напором то и дело меняющегося ветра.

К этому времени катера уже сцепились, лезли друг на друга, терлись бортами; буксирный конец попал переднему под гребной винт и руль. Еще одна лодка вырвала якорь из грунта, и ее с силой швырнуло на тинистый берег.

Нашему Чарли неизвестно, что такое нервы. Ему все ни-почем — и пушечная пальба, и гром, и взрывы, и свист ветра. Под ураганное завыванье он нашел себе теплое местечко под столом и уснул.

Ураган стих так же внезапно, как и возник, и хотя волны еще не вернулись к мерному ритму, ветер уже не терзал их. Уровень воды поднимался выше и выше. Все причалы по берегам нашего Сэг-Харбора залило, из-под воды виднелись где стойки перил, где только поручни. В наступившей тишине словно что-то шелестело. Радио оповестило нас, что мы находимся в самом центре «Донны» — в застывшем страшном покое посреди кружения шторма. Я не знаю, сколько длился этот покой. Нам, выжидающим, показалось, что долго. И вот «Донна» ударила нас другим боком, ветер налетел с противоположной стороны. «Прекрасная Элейн» легко развернулась и стала носом по ветру. Но связанные катера, волоча якоря по дну, начали надвигаться на мою лодку и наконец стиснули ее с обоих бортов. Как она ни отбивалась, ни воевала с ними, они потащили ее к берегу, прижали к одному из причалов, и мы услышали горестный скрип ее корпуса о дубовые сваи. К этому времени скорость ветра превысила девяносто пять миль в минуту.

Себя не помня, я бросился навстречу вихрю к причалу, где гибли все три лодки. Кажется, моя жена, в честь которой наша моторка и названа «Прекрасная Элейн», бежала за мной, приказывая мне остановиться. Дощатый настил причала был на четыре фута под водой, но стойки перил еще не залило, и мне удалось ухватиться за них. Я медленно передвигал ноги, пока не погрузился по грудные карманы, а ветер с залива плескал мне водой в рот. Моя лодка стенала и плакала, ударяясь о сваи, и прыдала, как испуганная телка. Одним прыжком я перемахнул к ней на палубу и ощупью двинулся к корме. Впервые за всю мою жизнь в нужную минуту при мне оказался нож. Беспутные катера с двух сторон теснили «Элейн». Я перерезал их буксирный конец и якорную веревку, дал им пинка, и они понеслись прямо к заболоченному берегу. Якорная цепь «Элейн» оказалась цела, а ее старинный якорь — стофунтовая громадина — по-прежнему забирал за дно своими разлатыми, широкими, как заступ, лапами.

Мотор «Элейн» не всегда слушался с первого раза, но тут он заработал от одного моего прикосновения. Стоя на палубе и держась правой рукой, чтобы не снесло, я дотянулся левой до штурвала, дроссельного клапана и пусковой рукоятки. И лодочка моя пыталась помочь мне — вот до чего перетрусила! Я бочком вывел ее подальше от причала и стал выбирать якорную цепь правой рукой. В обычное, спокойное время мне едва удастся поднять этот якорь обеими руками. Но сейчас все шло как по маслу. Якорь перевернулся, высвободив лапы из грунта. Тогда я подтянул его, осторожно продвинул лодку вперед, приглушил мотор и вышел на этот проклятый ветер. У меня было такое ощущение, будто мы пробиваемся сквозь клеклую кашу. В ста ярдах от берега я отпустил якорь. Он плюхнулся в воду и забрал за дно, и «Прекрасная Элейн» выровнялась, приподняла нос и как бы вздохнула с облегчением.

Теперь представьте себе, в каком положении оказался я: до берега сто ярдов, а надо мной, точно свора седомордых псов, которых науськали на зверя, беснуется «Донна». Ялик и минуты не удержался бы на такой волне. Я увидел, что мимо несет большую ветку, и буквально кинулся за ней. Риска тут особенного не было. Если удержу голову над водой, то меня прибьет к берегу. Но должен признаться, что резиновые сапоги, которые были на мне, вдруг стали вещью довольно-таки весомой. Прошло, наверное, минуты три, прежде чем я почувствовал дно под ногами, и Прекрасная Элейн — не та, а другая — вдвоем с нашим соседом выволокла меня на берег. Вот тут-то я и начал трястись всем телом, но посмотрел на залив, увидел, что наша лодочка в полной безопасности стоит на якоре, и умилился, глядя на нее. Я, наверное, растянул себе какое-то сухожилие, когда выбирал якорь одной рукой, потому что двигаться без посторонней помощи мне было трудновато. стакан виски в таких случаях тоже неплохой помощник, а он как раз стоял в кухне на столе. С тех пор я не раз пробовал поднять тот якорь одной рукой, и ничего у меня не получалось.

Ветер скоро утих, оставив нас в бедственном положении: электрические провода оборваны, телефон заговорит через неделю, не раньше. Зато Росинант стоял целехонек, без единой царапины.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В заблаговременной подготовке к путешествию всегда, по-моему, кроется тайная уверенность в том, что оно не состоится. По мере того как день отъезда приближался, моя теплая кровать и мое удобное жилище становились для меня все милее, а моя дорогая жена казалась сокровищем и вовсе уж бесценным. Пожертвовать всем этим ради того, чтобы обречь себя на трехмесячную пытку всяческими неудобствами и неизвестно чем еще, было чистейшим безумием. Мне не хотелось уезжать. Может, случится что-нибудь, что помешает моему отъезду? Но ничего такого не случилось. Может, захвораю? Но как раз хвори-то и были тайной и чуть ли не главной причиной, побудившей меня затеять это путешествие. Прошлой зимой я серьезно болел, со мной приключилась одна из тех мудрено поименованных неприятностей, которые шепотком напоминают нам о приближении старости. Выздоровев, я выслушал обычную в таких случаях лекцию о том, что надо жить спокойно, не торопясь, скинуть лишний вес, избегать пищи, богатой холестерином. Такое случается со многими людьми, и, по-моему, врачи вызубрили эту проповедь наизусть. Случалось такое и со многими из моих друзей. Проповедь заканчивается словами: «Не торопитесь. Помните, что вы уже не молоды». И сколько раз мне приходилось наблюдать, как люди начинают кутать свою жизнь в вату, обуздывают свои порывы, глушат свои страсти и, распроставшись с духовной и физической возмужалостью зрелых лет, мало-помалу переходят на полуинвалидное положение. В этом их всячески поощряют жены и родственники, а такая ловушка уж больно заманчива.

Кому не лестно стать предметом всеобщих забот? И ведь сколько людей впадает во второе детство! Они выменивают неумную силу на посулы коротенького продления жизни. В результате глава семьи превращается в самое младшее ее чадо. И я почти с ужасом прислушивался к самому себе: нет ли и у меня таких поползновений? Ибо

я жил неумеренно, пил вволю, объедался или вовсе ничего не ел, спал двадцать четыре часа подряд или по двое суток вовсе не ложился, работал слишком подолгу и со слишком большой отдачей или погрязал в лени. Я ворочал тяжелые грузы, рубил, колол, лазил по горам, всласть предавался любви и считал похмелье не воздаянием за грехи, а последствием содеянного. Мне не хотелось поступаться своим лютым жизнелюбием ради небольшого припека к жизни. Моя жена вышла за мужчину; с какой стати ей возиться с беспомощным младенцем? Я знал, что отмахать одному, без подручного, десять — двенадцать тысяч миль за рулем грузовика, да еще по всяким дорогам, будет делом не легким, но именно в этом мне виделось противоядие от опасности превратиться в человека, для которого болезнь становится его основным занятием. Я не желаю строить свою жизнь так, чтобы гнаться за количеством в ущерб качеству. А если путешествие окажется для меня непосильным, тогда вообще пора кончать. Слишком много видишь таких, кто неохотно покидает сцену и слишком долго и нудно тянет с уходом. Тут все на низком уровне — и в режиссуре и в жизни. Мне посчастливилось найти жену, которой приятно ощущать в себе женщину, откуда следует, что мужчины ей приятнее, чем пожилые младенцы. И хотя этот последний довод в пользу моего путешествия у нас не обсуждался, я уверен, что моя жена все понимала.

Наступило утро — ясное, с рыжеватыми отсветами осени в солнечных бликах. Мое расставание с женой не затянулось, так как мы оба терпеть не можем эти прощальные минуты, да к тому же ни мне, ни ей не хотелось оставаться в одиночестве после проводов. Она тотчас рванула с места, дала полный газ и умчалась в Нью-Йорк, а я, посадив Чарли рядом с собой, повел Росинанта сначала к парому, который идет на Шелтер-Айленд, потом к следующему — на Гринпорт, а оттуда к третьему — с Восточного мыса через залив Лонг-Айленд прямо в Коннектикут, чтобы не попадать в нью-йоркское уличное движение и сразу сделать большой перегон. И должен признаться, что на меня тут же навалилась зеленая тоска.

Палубу парома заливало яркое солнце, до материка был какой-нибудь час пути. Нам уступила дорогу стройная яхта с косым генуэзским стакселем, похожим на развивающийся шарф, каботажные суда тащились либо вверх по проливу, либо, тяжело покачиваясь на волне, шли к Нью-Йорку. Потом в полумиле от нас поднялась подвод-

ная лодка, и яркий день сразу померк в моих глазах. Чуть подалее воду вспорола еще одна такая же темная тварь, за ней — третья. Ну понятно: ведь они базируются в Нью-Лондоне, здесь их дом. И может статься, своим ядом они и вправду сохраняют мир во всем мире. Если бы я мог проникнуться симпатией к подводным лодкам, мне открылась бы их красота, но ведь им положено разрушать, и хотя они могут исследовать и наносить на карту морское дно, могут прокладывать новые торговые пути подо льдами Арктики, все же основное их назначение — служить угрозой. А я еще слишком хорошо помню, как мы пересекали Атлантический на транспортном судне и знали, что эти чудища прячутся где-то на нашем пути и высматривают нас своими циклопскими глазами. Мне свет не мил, когда я вижу их и вспоминаю обгорелые трупы, которые вылавливали в войну с маслянистой поверхности моря. Теперь на вооружении у подводных лодок средство массового уничтожения — бессмысленное и единственное имеющееся у нас средство предотвратить массовое уничтожение.

На верхней палубе лязгающего железом парома, где гулял ветер, пассажиров было немного. Молодой человек в спортивной куртке, светловолосый и с голубыми, как дельфиниум, глазами, обведенными красным ободком от упорного ветра, посмотрел на меня, потом показал, протянув руку:

— Это новая. На три месяца может погружаться.

— Как вы их различаете?

— Знаю. Сам служу.

— На атомной?

— Пока нет, но у меня дядя на такой. Может, скоро и я...

— Почему же вы не в форме?

— По увольнительной гуляю.

— И нравится вам ваша служба?

— Еще бы не нравилась! Платят хорошо, и виды на... на будущее неплохие.

— А приятно разве вот так три месяца под водой?

— Привыкнем. Кормят хорошо и кино показывают. Вот бы побывать под Северным полюсом! А?

— Да, недурно бы.

— Кино показывают, и... виды на будущее неплохие.

— Вы из каких мест сами?

— Вон оттуда — из Нью-Лондона. Моя родина. У ме-

ня дядя на флоте и оба двоюродных брата. Можно сказать, вся семейка подводная.

— А мне как-то тревожно от одного их вида.

— Это, сэр, проходит. Вы и думать забудете, что лодка в погружении, — конечно, если у вас со здоровьем порядок. Клаустрофобией¹ никогда не страдали?

— Нет.

— Тогда скоро привыкнете. Может, сходим вниз, кофе выпьем? Времени хватит.

— С удовольствием.

Весьма возможно, что прав он, а не я. Этот мир принадлежит ему, я в нем уже не хозяин. Во взгляде его голубых, как дельфиниум, глаз не чувствуется ни злобы, ни страха и ненависти тоже нет. И, может быть, так и надо: работа как работа, за нее хорошо платят, и виды на будущее неплохие. Стоит ли мне навязывать ему мои собственные воспоминания и страхи? Может, ничего такого больше и не будет? Но это уж его забота. Мир принадлежит теперь ему. И, вероятно, многое из того, что он знает, будет просто недоступно моему пониманию.

Мы выпили кофе из бумажных стаканчиков, и он показал мне в квадратный иллюминатор сухие доки и остовы строящихся подводных лодок.

— Знаете, чем они хороши? На море шторм, а такая вот ушла под воду — и тишина полная. Спишь, как младенец, когда там наверху будто всех дьяволов с цепи спустили.

Он рассказал мне, как выехать из города, и это было одно из самых толковых объяснений за всю мою поездку.

— Ну, до свиданья. Надеюсь, что ваши надежды на... на будущее оправдаются, — сказал ему я.

— Да служба правда неплохая. Всего хорошего, сэр.

И, ведя машину по малоезжей коннектикутской дороге, среди деревьев и садов, я чувствовал, что после разговора с ним на душе у меня стало легче и спокойнее.

За несколько недель до отъезда я засел за изучение карт, и крупного масштаба и мелкого, но ведь карты не дают никакого представления о действительности — они только тиранят нас. Некоторые люди буквально впиваются в путеводители и не видят мест, по которым проезжают, а другие, выбрав маршрут, придерживаются его с такой неукоснительностью, точно их поставили ободками колес на рельсы и пустили по прямой. Я подвел Росинанта к не-

¹ Патологический страх перед замкнутым пространством.

большому кемпингу в зеленой зоне, принадлежащей штату Коннектикут, и взялся за свои карты. И сразу Соединенные Штаты выросли в моих глазах до таких необъятных размеров, что о том, чтобы пересечь их, нечего было и думать. Я сам себе удивился: попутает же бес взяться за такое, чего просто нельзя выполнить. Будто приступаешь к работе над романом. Когда во мне нарастает горестная уверенность в невозможности написать пятьсот страниц, томительное ощущение неудачи наваливается на меня, и я знаю, что ничего из этой затеи не выйдет. И так каждый раз. Потом, глядишь, строка за строкой написал страничку, за ней вторую. Работа в пределах одного дня — вот все, что я разрешаю себе держать в уме, а возможность закончить книгу просто-напросто исключается из моих расчетов. Так было и теперь, когда я смотрел на контуры этой ярко расцвеченной исполинской Америки. Листья на деревьях вокруг автомобильной стоянки были тяжелые и словно лубяные — они уже не росли, а никли в ожидании того дня, когда первый заморозок охлестнет их колером, а второй — свет на землю и положит конец их веку.

Чарли у нас рослый пес. Когда он сидел в кабине, его голова была почти вровень с моей. Он потянулся носом к самому моему уху и сказал: «Фтт». Чарли — единственная из всех известных мне собак, которая произносит согласную «ф». Это объясняется тем, что у него неправильный прикус — трагедия, мешающая ему участвовать в собачьих выставках. Верхние зубы у Чарли слегка прихватывают нижнюю губу, и поэтому он умеет произносить букву «ф». Слово «фтт» чаще всего значит, что ему хочется отдать честь какому-нибудь кусту или дереву. Я отворил дверцу и выпустил его, и он приступил к выполнению обычного в таких случаях церемониала. Прodelывается все это наизусть и на самом высоком уровне. Мне не раз приходилось убеждаться, что в некоторых отношениях Чарли умнее меня, а в иных — круглый невежда. Читать не умеет, машину не водит, в математике ничего не смыслит. Но на том поприще, на котором он сейчас подвизался — а именно с величавой медлительностью все окрест обнюхивал и все кропил, — ему нет равных. Конечно, кругозор у него ограниченный, но мой-то разве так уж широк?

В тот осенний день мы двинулись дальше, держа курс на север. Так как я ехал своим домиком, мне пришла в голову мысль, что недурно было бы зазывать к себе в гости, на стаканчик того-сего, людей, которые будут по-

падаться по пути, а запастись спиртным я не подумал. Впрочем, на боковых дорогах этого штата встречаются хорошие винные погребки. Я знал, что мне придется проезжать штаты, где сухой закон, не помнил только, какие именно, и поэтому решил произвести закупки сейчас. Одна такая винная лавка стояла в стороне от дороги среди серебристых кленов. При ней был ухоженный садик, повсюду виднелись цветы в ящиках. Хозяин — молодой старичок с серым лицом, судя по виду, член общества трезвости. Он раскрыл свою книгу заказов и с терпеливым тщанием подравнял листки копирки. Чего людям захочется выпить, никогда не угадаешь. Я взял шотландское и пшеничное виски, джин, вермут, водку, коньяк не лучшей марки, выдержанную яблочную настойку и ящик пива. Этого, пожалуй, хватит на все случаи жизни, подумал я. Для такой маленькой лавочки закупка была солидная. Хозяин проникся уважением ко мне.

— Видно, большой прием?

— Нет, запасаюсь... в дорогу.

Он помог мне вынести коробки, и я отворил дверцу Росинанта.

— Вот в этой и поедете?

— В этой самой.

— Куда?

— Везде побываю.

И тогда я увидел то, что потом мне приходилось видеть много-много раз за эту поездку, — вождеденно горящие глаза.

— Ах, господи! Вот бы уехать!

— А что, вам не по душе здесь?

— Нет, почему? Тут неплохо. Но все равно бы уехал!

— Вы даже не знаете, куда я еду.

— А какая разница! Я бы куда угодно махнул.

Вскоре мне пришлось оставить затененные деревьями дороги и думать о том, как бы посредством всяческих ухищрений объезжать города стороной. Хартфорд, Провиденс и другие им подобные — это шумные промышленные центры, кипящие машинами. За то время, пока проползешь по городским улицам, можно было бы просхать несколько сот миль. А кроме того, когда прокладываешь себе путь в замысловатом узоре уличного движения, нет никакой возможности хоть что-нибудь увидеть. Мне случалось проезжать сотни городов, больших и маленьких, во всяком климате, во всяких контурах местности, и они, понятно, все разные, и люди там тоже чем-то отличаются

друг от друга, но есть у них и общие черты. Американские города похожи на барсучьи норы в кольце всякой дряни, они — все до единого — окружены свалками покоренных, ржавеющих автомобилей и почти задушены нагромождением всевозможных отбросов. Все, что мы потребляем, попадает к нам в пакетах, в коробках, в ящиках — в той самой таре, которая так мила нашему сердцу. Горы того, что у нас выбрасывается, превышают то, что мы используем. В этом, если не в чем-то ином, сказывается безудержный, неистовый размах нашего производства, а индексом его объема, по-видимому, служит расточительство. Проезжая мимо таких свалок, я думал, что во Франции или в Италии любую из этих выброшенных на помойку вещей сохранили бы и пустили в дело. Говорю это не в осуждение тех или иных порядков, а в предвидении того времени, когда мы не сможем позволить себе такое расточительство — отходы химического производства спускать в реки, металлолом валить где попало, атомные отходы хоронить глубоко под землей или топить в море. Когда индейские поселки слишком уж погрязали в собственной пакости, их обитатели перебирались на другое место. А нам перебираться некуда.

Я обещал моему младшему сыну попрощаться с ним, когда буду проезжать мимо его школы в Дирфилде, штат Массачусетс, но время было позднее, мне не захотелось поднимать его с постели, и я проехал в горы, нашел там молочную ферму, купил молока и попросил разрешения поставить машину под яблоней. Хозяин фермы оказался доктором математических наук и, судя по всему, изучал и философию. Ему нравилось это занятие, никуда он отсюда не стремился — словом, это был один из немногих довольных жизнью людей, которых я встретил за всю поездку.

Мое посещение школы «Иглбрук» пусть пройдет при закрытых дверях. Нетрудно себе представить, как отнеслись к Росинанту двести юных узников просвещения, только что приступивших к отбыванию своего зимнего срока. Они шли к грузовику стадами, по пятнадцати человек сразу вваливались в мой маленький домик и вежливо ненавидели меня, потому что мне можно было ехать, а им нельзя. Мой собственный сын, наверно, никогда мне этого не простит. Отъехав на некоторое расстояние от школы, я остановился проверить, не увожу ли с собой зайцев.

Путь мой лежал вверх по штату Вермонт, а потом на восток — в Нью-Гэмпшир, к Белым горам. Придорожные

ларьки были завалены желтыми тыквами, грудями красноватых кабачков и румяными яблоками в корзинах, до того сочными и сладкими, что они будто лопались, когда я запускал в них зубы. Я купил таких яблок и кувшин молодого сидра. У меня создалось впечатление, будто все, кто живет вдоль шоссе, только и делают, что продают мокасины и перчатки оленьей кожи. А не это, так тянучки из козьего молока. До сих пор мне не приходилось видеть на автомобильных трассах магазины с уцененными товарами — одеждой и обувью. Городки в этих местах, пожалуй, самые красивые во всей Америке. Они чистенькие, белые и (если не считать мотелей и туристских кемпингов) какими были сотни лет назад, такими и остались, только движение в них стало больше и улицы мощеные.

Климат быстро менялся. Заметно холодало, и деревья расцветали такой пестротой — красным, желтым, — что глазам не верилось. Это не только цвет, это пыланье, точно листва наглоталась осеннего солнца и теперь медленно отдавала его. Огнем пышут эти краски. Я успел подняться высоко в горы до наступления сумерек. На дощечке у ручья было написано, что поблизости продаются свежие яйца, и я свернул к этой ферме, купил там яиц, попросил разрешения поставить машину на берегу ручья и предложил заплатить за стоянку.

Фермер был сухопарый, по виду настоящий янки, какими их себе почему-то представляют, и говор у него тоже соответствовал нашим понятиям о их речи.

— Не за что тут платить, — сказал он. — Это пустырь. А вот нельзя ли мне осмотреть вашу колымагу?

Я сказал:

— Сейчас отыщу местечко поровнее, наведу там у себя порядок, тогда прошу пожаловать. Выпьем кофе... или чего-нибудь другого.

Я дал задний ход, потом стал выруливать и наконец нашел ровное место, где можно было слышать болтовню проворного ручья. Почти стемнело, Чарли уже не раз сказал «фтт», что означало в данном случае: проголодался. Я отворил дверцу Росинанта, зажег свет и обнаружил внутри полнейший хаос. Мне часто приходилось грузить лодку с расчетом на бортовую и килевую качку, но в грузовике, когда резко тормозишь и резко берешь с места, возникают осложнения, которых я не предусмотрел. Пол фургона был завален бумагой и книгами. Моя пишущая машинка пристроилась в неудобной позе на горке пластмассовых тарелок, одно из ружей сорвалось со стены и уперлось ду-

лом в плиту, а пачка бумаги в пятьсот листов точно снегом запорошила все вокруг. Я зажег верхний газовый свет, затолкал обломки крушения в чулан и поставил кипятить воду для кофе. Утром придется разместить мой груз как-то по-другому. Как именно — никто мне не скажет. Технику этого дела надо постигать вот так, на собственных ошибках. С наступлением темноты сразу сильно похолодало, но газовый рожок в калильной сетке и зажженные конфорки уютно согрели мой маленький домик. Чарли поужинал, отдал дань естеству и уединился на коврике под столом, в уголке, отведенном ему на ближайшие три месяца.

В наше время так много всяческих приспособлений, облегчающих нам жизнь. В плаваниях на моторной лодке я открыл для себя удобства алюминиевой кухонной посуды разового употребления — сковородок, кастрюль, тазиков. Поджарил рыбу, а сковородку за борт. У меня был большой запас этого добра. Я открыл банку колбасного фарша, выложил его в такую посудину, обровнял со всех сторон и, подложив под низ асбестовый кружок, поставил разогреть на небольшом огне. Кофе только начал закипать, как вдруг Чарли издал львиный рык. Не могу передать, до чего это ободряет, когда тебе дают знать, что к твоему жилью кто-то приближается в темноте. А если у приближающегося дурное на уме, этот мощный голос заставит его помедлить, разве только ему известно, что по натуре своей Чарли миротворец и дипломат.

Хозяин фермы постучал в дверь, и я пригласил его войти.

— Хорошо у вас, — сказал он. — Да-а, сэр, очень хорошо.

Он протиснулся к диванчику за столом. На ночь этот стол опускается, на него кладутся подушки с диванчика, и двуспальная кровать готова.

— Хорошо, — снова сказал он.

Я налил ему чашку кофе. По-моему, когда на улице холодно, кофе пахнет в два раза лучше.

— Чего-нибудь покрепче? — спросил я. — Для большей солидности.

— Нет, и так хорошо. Очень хорошо.

— А яблочной настойки? Я устал, сидя за рулем, хотелось бы немного подкрепиться.

Он посмотрел на меня со сдержанной усмешкой. Те, кто сами не янки, ошибочно приписывают такую сдержанность необщительному характеру северян.

— Если я откажусь, вы один будете?

— Вряд ли.

— Тогда не стану лишать вас удовольствия. Только мне самую малость.

И я налил себе и ему по хорошей порции двадцатилетней яблочной настойки и примостился к столу с другой стороны. Чарли подвинулся и положил голову мне на ноги.

При встречах в пути обхождение бывает самое деликатное. Вопросы прямо в лоб или на личные темы считаются недопустимыми. Впрочем, ведь это повсюду в мире служит признаком воспитанности. Фермер не спросил, как меня зовут, я его — тоже, но он скользнул взглядом сначала по моим ружьям в резиновых чехлах, потом по удочкам, прикрепленным к стене.

— Вы слушали сегодня радио?

— Последние известия — в пять часов.

— Ну что там в ООН? Я забыл включить.

Он потягивал яблочную настойку, проникновенно смакуя каждый глоток.

— Хорошая штука.

— Как у вас здесь смотрят на то, что мы все огрызаемся на русских?

— За других не скажу. А по-моему, это похоже на арьергардные бои. Лучше бы мы сами заставили их огрызаться.

— Неплохо сказано.

— А то мы ведь только и делаем, что обороняемся от них.

Я налил и ему и себе по второй чашке кофе и добавил яблочной настойки в стаканы.

— По-вашему, нам самим следует перейти в наступление?

— По-моему, мы должны хоть кое-когда задавать тон.

— Я не с целью опроса, но скажите, как у вас здесь проходит предвыборная кампания?

— А кто это знает? — ответил он. — Молчат люди. Из всех тайных выборов эти самые что ни на есть тайные. Своего мнения никто не высказывает.

— А может, и мнений-то нет?

— Может, и так, а может, не хотят говорить. Но я-то ведь помню — раньше как, бывало, схватывались! А сейчас что-то споров не слышно.

И действительно, мне пришлось наблюдать это по всей стране — никаких споров, никаких обсуждений.

— А в других... местах тоже так? — Он, несомненно, видел мой номерной знак, но умолчал об этом.

— Да, пожалуй. Значит, люди боятся высказывать свое мнение?

— Некоторые, может, и боятся. Но я знаю и небоязливых, а они тоже молчат.

— Вот и у меня такое впечатление,— сказал я.— Впрочем, не берусь судить.

— Я тоже. Может, все одно к одному? Нет, хватит, спасибо. Судя по запаху, ваш ужин готов. А я пойду.

— Что одно к одному?

— Ну, возьмем моего деда и его отца — мне было двенадцать лет, когда прадедущка умер. Уж они что знали, то знали твердо. Если чуть отпустят вожжи, так им наперед было известно, чем это кончится. А нам — для нас чем кончится?

— Не знаю.

— Этого никто не знает. И кому нужно чье-то мнение, если мы ничего не знаем? Мой дед мог сказать, сколько у Господа Бога волосков в бороде. А я понятия не имею о том, что было вчера, а что будет завтра — и подавно. Он знал, из чего сделан стол, что такое камень. А я не могу осилить формулу, согласно которой никто ничего не знает. Нам не за что уцепиться, мерил у нас нет никакого. Ну, я пойду. Завтра увидимся?

— Вряд ли. Я хочу пораньше выехать. У меня намечено пересечь штат Мэн и добраться до Оленьего острова.

— Красивый островок, верно?

— Не знаю. Никогда там не был.

— Там очень хорошо. Вам понравится. Спасибо за... м... кофе. Спокойной ночи!

Чарли посмотрел ему вслед, вздохнул и снова задремал. Я поел колбасного фарша, потом соорудил себе ложе из стола и откопал среди книг «Величие и падение Третьего рейха» Ширера. Но оказалось, что читать я не могу. Потушил свет — и заснуть не удалось. Слушать дробный бег ручья по камням было приятно и успокоительно, но у меня не выходил из головы разговор с фермером — человеком мыслящим и умеющим выражать свои мысли. Вряд ли такие будут часто попадаться мне. И, может быть, он угодил в самую точку? Человечество привыкло к огню и к самой идее огня, наверно, миллион лет. Кто-то обжег себе руки о спаленное молнией дерево, а потом кто-то внес горящую ветку в свою пещеру и почувствовал, что от нее тепло и между этими двумя событиями прошло, может быть, сто тысяч лет, а с той поры и до детройтских доменных печей еще сколько?

Теперь в руках у нас сила куда более могущественная, но мы еще не успели развить в себе способность осмыслить ее, ибо у человека возникает сначала ощущение, потом слово, и только тогда он выходит на подступы к мысли, а на это — по крайней мере так было раньше — уходит много времени.

Пропели петухи, прежде чем я заснул. И вдруг у меня появился чувство, что мое путешествие началось. Кажется, до сих пор я в это просто не верил.

Чарли любил вставать рано и чтобы я тоже вставал. А что ему? Позавтракал и опять завалился. За годы нашей совместной жизни он разработал несколько способов будить меня, по виду совершенно невинных. Встряхнется и так гроыхнет ошейником, что мертвого подымет. Если это не действует, на него нападает чих. Но, пожалуй, противнее всего, когда он сядет тихонечко у моей кровати и с выражением всепрощающей кротости начнет буравить взглядом мое лицо. Просыпаешься среди глубокого сна с ощущением, что на тебя кто-то смотрит. В таких случаях лучше всего лежать с плотно закрытыми глазами. Стоит мне хотя бы моргнуть, как он начинает чихать и потягиваться, и кончен мой сон. Такие поединки (чья возьмет!) длятся иной раз довольно долго — я жмурюсь, он прощает меня за это, но победа большей частью остается за ним. Чарли так любит путешествовать, что ему хочется в дорогу пораньше, а пораньше для него — это когда рассвет только чуть-чуть тронет темноту.

Я вскоре же обнаружил, что если путнику захочется посоглядатайствовать за людьми в тех местах, где его никто не знает, пусть прошмыгнет в бар или в церковь и там посидит тихо и спокойно. Но не во всех городах Новой Англии есть бары, а церковная служба бывает только по воскресным дням. И то и другое вполне заменяют придорожные рестораны, куда люди приходят позавтракать по дороге на работу или собравшись поохотиться. Обитаемыми эти заведения бывают только в ранние часы. Но и тут есть одна заковыка. Те, кто рано встает, и со знакомыми-то почти не разговаривают, не то что с чужаками. За завтраком люди обычно изъясняются при помощи лаконичных хмыканий. Немногословность, свойственная жителям Новой Англии, достигает в эти минуты своих блистательных вершин.

Я накормил Чарли, совершил с ним непродолжительный променад и выехал на шоссе. Холодный туман затя-

гивал взгорья, подмерзал на ветровом стекле моей машины. Я не любитель ранних завтраков, но тут надо было забыть о своих привычках, иначе никого не увидишь, пока не остановишься лишний раз для заправки. Я подъехал к первому же освещенному ресторану и нашел себе место у стойки. Посетители сидели, распластавшись над своими чашками с кофе, точно ветки папоротника. Вот самый обычный разговор:

Официантка. Повторить?

Клиент. Угу.

Официантка. Холодно на улице?

Клиент. Угу.

Через десять минут:

Официантка. Еще?

Клиент. Угу.

Этот еще из разговорчивых. Другие ограничиваются одним «хм!», а есть и такие, которые вовсе не отвечают. У официанток, работающих в ресторанах Новой Англии, в утренние часы существование довольно унылое, но, как я вскоре убедился, в ответ на любую мою попытку вдохнуть жизнь и веселье в их работу каким-нибудь шутливым словом они опускали глаза и буркали «да» или «угу». И все же общение между нами было, хотя в чем оно заключалось, не берусь уточнять.

Но больше всего сведений мне удалось почерпнуть из утренних радиопередач, к которым я за эти дни пристрастился. У каждого городка с населением в несколько тысяч человек есть своя радиостанция, и она занимает теперь в его жизни место прежней городской газеты. По радио передаются сведения о распродажах, торговых сделках, светская хроника, розничные цены на товары, частные сообщения. Пластинки проигрывают одни и те же по всей стране. Если «Ты ангел в восемнадцать лет» идет первым номером в штате Мэн, первым же номером она будет и в штате Монтана. За день «Ты ангел в восемнадцать лет» можно услышать раз тридцать — сорок. Но в программу местного вещания то и дело вкрапливается и реклама со стороны. По мере того как я продвигался к северу и становилось заметно холоднее, по радио все чаще и чаще передавали объявления о продаже земельных участков во Флориде, а близость долгой и суровой зимы поясняла мне, почему само слово Флорида сверкает, как золото. Чем дальше я проникал на север, тем больше убеждался, что люди вождедеют к Флориде, что тысячи их уже уехали туда, а тысячи хотят уехать и уедут. Побаваясь федеральных законов о рекла-

ме, агенты по продаже не очень-то расписывали свой товар, напирая больше на то, что это Флорида. Некоторые шли несколько дальше и гарантировали, что их участки не затопляет во время приливов. Но не это было важно: в самом слове Флорида слышалась весть о тепле, привольной жизни, комфорте. Устоять тут было невозможно.

Я жил в хорошем климате и сыт им по горло. Для меня погода важнее климата. В Куэрनावаке, в Мексике, где мне пришлось жить, климат, насколько это мыслимо, близок к совершенству, но я замечал, что если кто уезжает оттуда, так на Аляску. Хотелось бы мне посмотреть, долго ли житель Арустукского округа сможет терпеть Флориду. Вся беда в том, что если он перевел туда свои сбережения и вложил их в недвижимость, ему не так-то просто вернуться назад. Кости брошены, и обратно в стаканчик их уже не соберешь. Но когда такой вот переселенец в один прекрасный октябрьский вечер сядет там во Флориде в нейлоново-алюминиевое кресло на неизменно зеленой лужайке и будет хлопать москитов у себя на шее, неужели же воспоминания не ударят его ножом в подвздошную область, где всего больнее? И пусть он попробует сказать, что в насыщенное влажностью вечное флоридское лето его живое воображение не подсовывает ему ликующей пестроты листьев, щипков чистого морозного воздуха, запаха горящих сосновых поленьев и ласкового кухонного тепла. Ибо кто оценит палитру красок, когда вокруг одна лишь вечная зелень, и что хорошего в тепле, если холод не подчеркнет всей его прелести?

Я ехал медленно, насколько это позволяли сердитые дорожные законы и дорожная практика. Только так и можно что-нибудь увидеть. Через каждые несколько миль таблички указывали путникам на зоны отдыха в стороне от магистрали — оборудованные властями штата участки, иной раз возле какой-нибудь темноводной речушки. Там стоят покрашенные баки из-под смазочного масла — для мусора, легкие обеденные столики прямо под открытым небом, а кое-где увидишь и очаг и яму, где можно поджарить целую мясную тушу. Время от времени я уводил своего Росинанта с шоссе и выпускал Чарли на волю обнюхивать визитные карточки предыдущих посетителей здешних мест. Потом кипятил кофе, удобно усаживался на ступеньку своего домика, сидел и смотрел, смотрел на лес и речку и на стремительно взмывающие к небу горные вершины в коронах из сосен и елей, припорошенных снегом. Много лет назад мне подарили на пасху стеклянное яйцо. В маленький

глазок на узком его конце была видна чудесная крошечная ферма, такая только во сне может присниться, и на дымовой трубе ее домика сидел в гнезде аист. Я был уверен, что эта ферма невсамделишная, сказочная, как гномы, которые ютятся под поганками. А потом в Дании вдруг увидел: вот она — та самая, что в пасхальном яйце, или ее родная сестрица. В Калифорнии, в городе Салинасе, где я вырос, кое-когда бывали и заморозки, но дни зимой большей частью стояли прохладные и туманные. Когда мы видели на цветных картинках вермонтские осенние леса, нам казалось, что это из сказки, что на самом деле такого быть не может. В школе нас заставляли учить наизусть «Погребенные в снегах»¹ и разные стишки про деда-мороза, вооруженного малярной кистью, но единственное, что дед-мороз дарил нам, — это тоненькую корочку льда в поильной колоде, да и то в кои веки раз. А потом я сделал открытие, буквально потрясшее меня: оказалось, этот хаос красок не только соответствовал действительности, но те картинки лгали, как лжет бледный, неточный перевод. Мне даже трудно бывает представить себе, какой он, осенний лес, когда я его не вижу. Но если такие краски всегда перед глазами, может, люди перестают замечать их, подумал я, и спросил об этом одну постоянную жительницу Нью-Гэмпшира. Она сказала, что осень не перестает восторгать ее, не перестает вызывать душевный подъем.

— Это же такое великолеpie! — говорила она. — Его раз и навсегда не запомнишь, оно каждый год ошеломляет заново.

Я увидел, как со дна глубокой запруды в речке поднялась форель, и по воде, один другого шире, пошли серебряные круги. Чарли тоже ее углядел и полез за ней и весь вымок, дурачина. Не дано ему дара предвидения! Я вошел в домик за мусором и собрал свою посильную лепту для крашеного бака — две пустые консервные банки. Содержимое одной съел я, содержимое другой — Чарли. И среди книг, взятых в дорогу, увидел одну в хорошо знакомом мне переплете и вынес ее на солнце: золотая рука держит змею и зеркальце с крылышками, а внизу — рукописным шрифтом: «Спектэйтор», редакция текста Генри Морли»².

¹ Стихотворение американского поэта Джона Уиттьера (1807—1892).

² Сатирический журнал «Спектэйтор» («Зритель») был основан в Англии в 1711 г. В его создании большое участие принимал видный политический деятель и писатель Джозеф Аддисон (1672—1719); Генри Морли (1822—1894) — историк английской литературы и один из последующих редакторов журнала.

Мне, как писателю, видимо, посчастливилось в детстве. Мой дед Самюэл Гамильтон любил книгу и умел отличать хорошую от плохой. Кроме того, у него было несколько дочерей из породы синих чулков — среди них моя мать. Вот почему в Салинасе за стеклянными дверцами большого темного шкафа орехового дерева можно было найти немало всяких чудес и соблазнов. Мои родители никогда сами не давали мне что-нибудь почитать оттуда, стеклянные дверцы зорко охраняли свои сокровища, и я был вынужден потаскивать их. Ни запрещений, ни острастки на этот счет не было. Теперь мне кажется, что если бы мы запретили нашим неграмотным деткам касаться тех богатств, которыми славится наша литература, они стали бы воровать их и находить в чтении тайную прелесть. Я полюбил Джозефа Аддисона в ранние годы и храню эту любовь по сию пору. Он играет на инструменте нашего языка, точно знаменитый Пабло Казальс на виолончели. Не знаю, повалил ли Аддисон на мой стиль, но хотелось бы думать, что не без этого. В 1960 году, сидя на солнышке в Белых горах, я открыл так хорошо знакомый мне первый том сочинений Аддисона, год издания 1883. Нашел воспроизведенный там первый номер «Спектейтора» от четверга, марта первого дня, год 1711. В начале стоял эпитафия:

*Non fumum ex fulgore, sed ex fumo dare lucem
Cogitat, et speciosa dehinc miracula promat*¹.

Гораций

Помню, как мне всегда правилось, что существенные у Аддисона все с прописных букв. Под этой датой идет следующее:

«Мне случалось наблюдать, что Читатель редко вкушает Удовольствие от Книги, покуда не узнает, каков собой Написавший ее — темные ли у него Волосы или белокурые, кроткого ли он Нрава или желчного, женат или холост, и прочие тому подобные Сведения, кои способствуют Знакомству с Сочинителем. В Угождение такой Любознательности, вполне, однако, простительной, я положил и в этом и в следующем Выпуске вступить с Читателем в Беседу, предварив ею дальнейшие мои Писания и дав ему Отчет о тех, кто принимает Участие в наших совместных Трудах. Поскольку же и Составление, и Приведение в Порядок, и Сверка Рукописей падет на меня, я полагаю, что имею Право открыть сию Тетрадь с Рассказа о самом себе».

¹ Он не хотел, чтобы пламя сделалось дымом. Из дыма пламя извлечь он хотел, чтоб чудесное взору предстало (лат.).

Суббота, Января двадцать девятого Дня, Год 1961. Да, Джозеф Аддисон, я внимаю тебе и постараюсь выполнить твое Наставление в разумных Пределах, ибо Любознательность, тобою подмеченная, нисколько не уменьшилась со Временем. Как мне известно, многие Читатели интересуются не столько моими Мыслями, сколько тем, что я ношу из Одежды, и тщатся узнать, не над чем я тружусь, а как это у нас, у Сочинителей, делается. Что же до моих Писаний, то некоторых Читателей больше волнует не Работа моя, а мои Заработки. И поскольку Заветы Мастера есть Закон, подобно Слову Божьему, я подчиняюсь им и в то же Время позволю себе отступить от своего Повествования.

В общей массе мужчин меня можно назвать высоким — шесть футов ровно, однако среди моих родственников мужского пола я считаюсь карликом. Ростом они кто шести футов двух дюймов, кто еще дюйма на два, на три выше, а оба моих сына, когда окончательно вырастут, безусловно, отца перегонят. Я широкоплечий и при теперешних моих габаритах узкий в бедрах. Ноги у меня длинные, вполне пропорционально туловищу и, по имеющимся отзывам, стройные. Волосы с проседью, глаза голубые, а щеки красные — цвет лица я унаследовал от матери-ирландки. Ход времени не прошел незаметно для моей физиономии, и оно отметило его шрамами, сеткой морщин, глубокими бороздами и щербинками. Я ношу бороду и усы, но щеки брею; вышеуказанная борода с красв седая, а посерединке темная, как скунсовый мех, — отпущена в память кос-кого из моих предков. Лелея бороду, я не ссылаюсь, как это принято в ряде случаев, на болезнь кожи или неприятные ощущения при ежедневном бритье, не стараюсь спрятать под ней безвольный подбородок, а не краснея признаюсь, что считаю ее украшением своей физиономии, подобно павлину, который гордится своим хвостом. И, наконец, борода в наши дни — это единственное, в чем женщина не может перещеголять мужчине, а если и перещеголяет, то успех ей обеспечен только в цирке.

Мой костюм наилучшим образом подходил для дороги, хотя и отличался некоторым своеобразием. Невысокие резиновые сапоги с пробковой стелькой позволяли мне держать ноги в тепле и в сухе. Бумажные штаны цвета хаки, купленные на распродаже военного обмундирования, прикрывали мои бедра и голени, а туловище нежилось в охотничьей куртке с вельветовыми обшлагами и воротником и на задку с карманом для дичи — такой глубины, что в нем мож-



«ЗИМА ТРЕВОГИ НАШЕЙ»



«ЗИМА ТРЕВОГИ НАШЕЙ»

но было бы протащить контрабандой индийскую принцессу в общежитие ХАМЛ¹. Фуражку свою я ношу уже много лет — это синяя английская капитанка с маленьким козырьком и с кокардой, на которой королевский лев и единорог все еще дерутся из-за английской короны. Фуражка эта весьма непрезентабельна на вид и вся пропитана морской солью, но мне подарил ее командир того самого миноносца, на котором я отплыл из Дувра во время войны, — кроткий был человек, всем джентльменам джентльмен и убийца. Уже после того, как я вышел из-под его начала, он атаковал немецкий торпедный катер, но огня по нему не стал открывать, чтобы не повредить, потому что такие в плен еще не попадались, а кончилось это тем, что его самого пустили на дно. С тех пор я и ношу эту фуражку в его честь и в память о нем. Кроме того, она мне нравится. Мне в ней хорошо. В восточных штатах этой фуражкой никто не интересовался, зато в Висконсине, Северной Дакоте и Монтане, когда море осталось у нас далеко позади, на нее, по-моему, стали поглядывать, и тогда я купил ковбойскую шляпу, так называемый стетсон, — не очень широкополая, добротный, хоть и несколько старомодный головной убор вроде тех, что носили на Западе мои дядюшки-скотоводы. К морской фуражке я вернулся только в Сиэтле, когда выехал к другому океану.

Поелику наказ Аддисона исполнен, Читатель мой вновь находит меня на стоянке в Нью-Гэмпшире. Я сидел на приступочке, листал страницы «Спектэйтора» и думал, что человеческий мозг обычно делает сразу два дела вполне осознанно и, может быть, еще несколько дел — бессознательно. В это время на лужайку въехала роскошная машина, и весьма тучная, претенциозного вида дама выпустила из нее весьма тучного и претенциозного вида шпица дамского сословия. Последнее обстоятельство осталось для меня незамеченным, но до Чарли оно дошло моментально. Выскочив из-за мусорного бака, он пленился этой красоткой, французская кровь в нем взыграла, и тут пошли такие амуры, что цель их не замедлили распознать даже далеко не зоркие глаза ее хозяйки. Миледи возопила, как подстреленный заяц, вывалилась из машины и бросилась было укрыть свое сокровище у себя на груди, да не смогла так низко нагнуться. Единственное, что ей удалось сделать, это шлепнуть по голове моего рослого Чарли. Реакция на шлепок была у Чарли совершенно естественная: он тяпнул ее

¹ Христианская ассоциация молодых людей.

мимоходом за руку и снова закружился в вихре страстей. До сей минуты мне как-то не приходилось вникать в смысл выражения «и небеса разверзлись от крика». Прежде всего я не знал, что значит «разверзаться». Потом отыскал этот глагол в словаре. И что правда, то правда — от воплей этой коровищи небеса действительно разверзлись. Я схватил ее за руку и увидел, что на коже даже царапинки нет, тогда я схватил собачонку, и она тут же меня укусила, да как следует, до крови, прежде чем мне удалось слегка придушить ее, подлую.

Чарли воспринял всю эту сцену как чистейший нонсенс. Он в двадцатый раз полил мусорный бак и поставил на этом точку.

Дама успокоилась не скоро. Бутылкой коньяка, которую я ей вынес, ее можно было уложить на месте, а она отпила прямо из горлышка смертельную дозу — и ничего, не окочурилась.

Казалось бы, после всего, что я для Чарли сделал, ему следовало бы прийти ко мне на помощь, но неврастеники его раздражают, а пьяницы выводят из себя. Он забрался в наш домик, залез под стол и уснул. *Sic semper sum*¹ эти французики. Наконец миледи рванула на себя ручной тормоз и укатила, и от этого дня, которым я так наслаждался, остались одни обломки. Аддисон рухнул наземь, объятый пламенем, форель уже не выписывала кругов по воде, на солнце надвинулась туча и сразу остудила воздух. Я поймал себя на том, что гоню машину быстрее, чем мне самому хотелось, потом пошел дождь, холодный, будто стальной. Я не уделял очаровательным попутным деревушкам того внимания, какого они заслуживали, и вскоре мы пересекли границу и поехали по штату Мэн дальше на восток.

Почему это любые два соседних штата не могут установить у себя одинаковую скорость движения? Только успеешь привыкнуть к пятидесяти милям в час, как граница — и там шестьдесят пять. Удивляюсь, неужели нельзя сесть за стол и договориться? Впрочем, в одном между всеми штатами достигнуто полное единодушие — каждый уверен, что он из всех самый лучший, и сообщает вам об этом огромными буквами, когда вы пересекаете его границу. Почти сорок штатов было на моем пути, и среди них не нашлось ни одного, который не замолвил бы за себя доброго словечка. Это даже немножко нескромно с их стороны. Пре-

¹ Таковы всегда (лат.).

доставили бы путешественникам самим судить. Но, может быть, так и надо? А то не подскажешь нам — мы и не догадаемся?

Подготовка к зиме в Новой Англии — дело нешуточное. Летом ее народонаселение, вероятно, сильно возрастает, дороги бывают забиты беженцами — теми, кто спасается от липкой жары Бостона и Нью-Йорка. Теперь же все ларьки, торгующие сосисками, все «кафе-мороженое», антикварные лавки и киоски с продажей мокасин и перчаток оленьей кожи — все стояло закрытое, со спущенными шторами, и повсюду виднелись объявления: «Откроемся летом». Я никак не мог привыкнуть к тому, что вдоль шоссе дорог теперь то и дело попадаются разные антикварные магазинчики, заваленные и настоящим и «подлинным» старьем прошлых времен. В наших тринадцати колониях не насчитывалось в те времена даже четырех миллионов человек, и, судя по всему, каждый из них лихорадочно мастерил столы, стулья, изготавливал фарфоровую и стеклянную посуду, формочки для литья свеч, всякие железные и медные штучки самых причудливых очертаний — и все это впрок, на потребу туристам двадцатого века! Вдоль дорог Новой Англии продается столько всякой старинной рухляди, что ею одной можно обставить жилища пятидесятимиллионного населения. Будь я оборотистым дельцом и заботься хоть чуточку о своих еще не родившихся правнуках, чем не могу похвалиться, надо бы мне собрать побольше всякого хлама и поломанных автомобилей, прочесать городские свалки, свезти свою добычу в одно место и опрыскать ее той жидкостью, которую применяют от моли на кораблях нашего флота. Лет через сто мои потомки получили бы разрешение открыть этот тайник и стали бы королями антиквариата, первейшими в мире. Если уж побитый, потрескавшийся, покореженный хлам, от которого пытались отделаться наши предки, приносит теперь такие доходы, вообразите ценность «олдсмобилей» модели 1954 года или тостера выпуска 1960 года. А миксеры устарелого образца? Господи боже! Да тут возможности неограниченные! Вещи, за вывоз которых на свалку нам приходится платить, принесут в будущем целые состояния.

Если мой интерес ко всякой рухляди покажется кому-нибудь чрезмерным, что поделаешь: так оно и есть на самом деле, и у нас дома ее предостаточно — полгаража завалено всякими обломками и барахлом. Эти вещи идут

у меня на починку других вещей. Не так давно я остановил машину недалеко от Сэг-Харбора, у складского двора одного торговца ломом. Уважительно разглядывая его запасы, я вдруг подумал, что у меня этого добра еще больше. Но мне на самом деле свойственно искреннее и почти скупердяйское пристрастие к ненужным вещам. В свое оправдание скажу, что в наш век, когда всему у нас положено мгновенно устаревать, в моей коллекции почти всегда найдется чем починить и сломавшийся унитаз, и мотор, и газонокосилку. Но, положив руку на сердце, я просто-напросто люблю всякое барахло.

Еще до того, как двинуться в путь, я предвидел, что через каждые два-три дня мне придется заезжать в мотель или на автомобильную стоянку не столько ради ночевки, сколько ради того, чтобы принять роскошную горячую ванну. В Росинанте я грел воду в чайнике и обтирался губкой, но когда моешься, стоя в бадейке, особой чистоты не наведешь, а удовольствия и вовсе не получишь. Купаться в глубокой ванне, налитой обжигающе горячей водой,— истинное наслаждение. А вот для стирки белья я изобрел новый способ еще в самом начале своего путешествия, и попробуйте-ка превзойти его! Получилось это таким образом: у меня было с собой большое пластмассовое ведро для мусора с крышкой и ручкой. Так как на ходу ведро это опрокидывалось, я привязал его крепким эластичным шнурком с матерчатой обмоткой к перекладине в маленьком платяном шкафчике Росинанта, где оно могло болтаться, не проливаясь, сколько влезет. Прошел день; я хотел опростать его в придорожный мусорный бак, и (представьте себе!) столь тщательно перемешанного и умятого мусора мне в жизни не приходилось видеть! Должно быть, все великие открытия делаются на основе жизненного опыта такого вот рода. На следующее утро я это ведро вымыл, бросил туда две рубашки, нижнее белье и носки, всыпал стирального порошка, залил все это горячей водой и привязал его эластичным шнурком к перекладине в платяном шкафу, где оно проболталось и проплясало у меня весь день. Вечером белье было выполоскано в ручье — и верите ли, такого чистого еще никто не видывал. В Росинанте я протянул у окна нейлоновую бечевочку, развесил на ней всю свою постирушку, и с тех пор один день у меня уходил на стирку, другой — на сушку белья. Я даже превзошел самого себя и стирал таким способом простыни и наволочки. Словом, с бельем дело обстояло отлично, а вот проблема горячей ванны не была решена.

Недалеко от Бангора я заехал в мотель и снял там номер. Плата оказалась недорогая. У входа висело объявление: «На зимний сезон цены значительно снижены». Чистота в этом мотеле была ослепительная: все синтетическое — линолеум, занавески, пластмассовые столешницы, на которых не остается ни мокрых пятен, ни прожогов от сигарет, пластмассовые абажуры. Только постельное белье и полотенца были из натурального полотна. Я зашел в маленький ресторанчик при мотеле. Там тоже все было из пластика — столовое белье, масленка. Сахар и печенье — в целлофановых обертках, желе — в маленьком пластмассовом гробике, упакованном в целлофан. Для ужина время еще не пришло, и, кроме меня, там никого не оказалось. Передник на официантке и тот был синтетический, из тех, что не стирают, а моют губкой. Сама она была не веселая, но и не грустная. Так, ни то ни се. Но я не верю, что человек может быть просто пустым местом. Должно же в нем обнаружиться какое-то нутро, хотя бы для того, чтобы шкуре было на чем держаться. Этот пустой взгляд, эта вялая рука, эти алые щечки, присыпанные, как пончики, пластиковой пудрой, должны были жить каким-нибудь воспоминанием, какой-нибудь мечтой.

Я спросил наугад:

— Когда во Флориду?

— На той неделе, — вяло проговорила она. Потом что-то шевельнулось в этой томящей пустоте. — А вы почему знаете, что я уезжаю?

— Может, мысли ваши прочитал.

Она посмотрела на мою бороду.

— Вы с цирком, что ли?

— Нет.

— Тогда как это понимать — мысли прочитал?

— Ну, может, я просто догадался. А вам нравится во Флориде?

— Еще бы! Я каждый год туда езжу. Зимой там большой спрос на официанток.

— А как вы там время проводите — в смысле развлечений?

— Да никак. Дурака валяешь, и больше ничего.

— Увлекаетесь рыбной ловлей, плаваете?

— Да не очень. Так просто, дурака валяешь. Этот песок тамошний — у меня от него зуд.

— Хорошо зарабатываете?

— Нет, публика ерундовая.

— Ерундовая?

— Они лучше на выпивку потратятся.

— Чем на что?

— Чем на чаевые. Такие же, как тут летом. Ерундовые.

Странное дело: иной человек войдет и всю комнату заполнит своей бодростью, своим хорошим настроением. А другие, и в том числе и эта особа, выпускают из вас, как воздух, и жизнелюбие и энергию и способны высосать до дна любое удовольствие без всякой радости для себя. Воздух сереет вокруг таких людей. Я долго просидел за рулем в тот день, и, может быть, бодрости во мне поубавилось и сопротивляемость несколько упала. Эта девица доконала меня. На душе была такая тоска, такая безнадежность, что, кажется, залез бы под какой-нибудь пластмассовый колпак и помер. Такой назначать свиданья, с такой крутить роман! Мои попытки представить ее в роли любовницы не увенчались успехом. Дать ей, что ли, пять долларов на чай, подумал я, и тут же отказался от своего намерения, зная, к чему это приведет. Она не обрадуется. Она примет меня за сумасшедшего, только и всего.

Я вернулся в свой чистенький, маленький номерок. В одиночку мне не пьется. Это как-то неинтересно. И надеюсь, что один я никогда не буду пить, разве что стану алкоголиком. Но в тот вечер я достал бутылку водки из имеющихся у меня запасов и принес ее в свою келью. В ванной стояли два стакана для питьевой воды, каждый в целлофановом мешочке с надписью: «Эти стаканы подвергнуты предохранительной стерилизации». Поперек стульчака была наклеена бумажная полоска, сообщающая вам: «Этот унитаз подвергнут предохранительной стерилизации ультрафиолетовыми лучами». Все меня от чего-то предохраняли, и это было ужасно. Я содрал обертки с обоих стаканов. Я надругался над девственностью унитаза, прорвав бумажную полоску ногой. Я налил себе полстакана водки, выпил и налил еще столько же. Потом залег в глубокую ванну с горячей водой и лежал там, полный уныния и тоски, чувствуя, что в мире вообще нет ничего хорошего.

Мое настроение передалось Чарли, но Чарли — благородный пес. Он влез в ванную комнату, старый дурак, и, точно щенок, затеял игру с пенопластовым ковриком. Вот это сила характера, вот это друг! Потом кинулся к двери и поднял такой лай, будто мне грозило чье-то вторжение. И если бы не вся эта синтетика, возможно, что его потуги оказались бы небезуспешными.

Я вспомнил одного старого араба в Северной Африке — человека, руки которого не знали воды. Он угостил меня мятным чаем в стакане, покрытом таким слоем грязи, что стенки его были совершенно мутные, но вместе со стаканом мне предлагалась дружба, и чай от этого стал только вкуснее. И хотя мое здоровье там никто не охранял, вубы у меня не выпали, гноящиеся язвы не появились. Я стал формулировать новый закон, устанавливающий взаимосвязь между предохранительной стерилизацией и упадком духа. Сердечная тоска убьет вас скорее, гораздо скорее, чем бацилла.

Если бы Чарли не начал встряхиваться всем телом, и прыгать, и повторять «фтт», мне бы нипочем не вспомнить, что на ночь ему полагается две собачьи галеты и прогулка для проветривания мозгов. Я надел на себя все чистое и вышел с ним в клейменную звездами ночь. И увидел северное сияние в небе. За всю мою жизнь мне удавалось полюбоваться им считанные разы. Оно величаво парило над землей и сплошными наплывами восходило все выше и выше, точно путник, бесконечно странствующий в глубине бесконечной сцены. Переливы розовых, бледно-лиловых и пурпурных тонов плыли, пульсируя в ночном небе, и колючие в мороз звезды просвечивали сквозь них. Посчастливится же человеку увидеть такое в минуты, когда это ему всего нужнее! У меня промелькнуло в мыслях: а не схватить ли мне эту официантку и не вытолкать ли пинком в зад из ресторана под открытое небо — пусть полюбуется. Но я убоился. С такой рядом, пожалуй, и вечность и безбрежность растают и утекут между пальцами. В воздухе сладостно припекало морозцем. Чарли, трусивший впереди, подробно обследовал подстриженные кусты бирючины, отдавая честь каждому кусту, и от него валил пар. На обратном пути он подбежал ко мне и обрадовался за меня. Я дал ему три собачьи галеты, разворошил свою стерильную постель и ушел ночевать в домик Росинанта.

Это вполне в моем духе — взять курс на запад, а двигаться к востоку. Со мной всегда так. Впрочем, я ехал на Олений остров по весьма уважительным причинам. Давняя моя приятельница и коллега, Элизабет Отис, бывает на Оленьем острове каждый год. Когда она заговаривает о нем, взгляд у нее становится потусторонним, речь — нечленораздельной. Узнав о моих сборах, она сказала:

— Вы, конечно, заедете на Олений остров.

— Это нам не по дороге.

— Вздор, — отрезала Элизабет знакомым мне тоном.

И голос и все ее поведение ясно говорили о том, что, если я не побываю на Оленьем острове, мне лучше не показываться в Нью-Йорке. Она, не откладывая, созвонилась с мисс Элеонорой Брейс, у которой всегда останавливается там. Вот и вся недолга — отступить было некуда. Словами об Оленьем острове не расскажешь, но не поехать и не осмотреть его — чистое безумие. Это единственное, что мне о нем сообщили. Кроме того, мисс Брейс была уже предупреждена о моем приезде.

В Бангоре я совершенно потерялся в потоке легковых и грузовых машин, среди орущих сирен и мелькания светофоров. Мне смутно помнилось, что ехать надо по федеральному шоссе № 1. Я отыскал его и прокатил по нему десять миль, назад к Нью-Йорку. Дорожные указания — подробнейшие! — были даны мне в письменном виде, но вам, наверно, самим случалось замечать, что, когда дорогу объясняют люди, хорошо знающие те или иные места, и объясняют правильно, вы и вовсе теряете ориентацию. Я запутался и в Элсворте, хотя меня уверяют, будто это при всем желании невозможно. Чем дальше, тем дороги становились все уже, и мимо меня начали с ревом проноситься машины, груженные лесом. Я проплутал почти весь день, но Блю-Хилл и Седжуик все-таки нашел. Отчаявшись, к вечеру я остановил свой грузовичок и обратился к величественному представителю власти штата Мэн. Что это была за фигура — точно высеченная из гранита, что добывают в окрестностях Портленда! Какой великолепный натурщик для конной статуи грядущих дней! Интересно, как станут ваять героев будущего — в мраморных виллисах или в мраморных полицейских машинах?

— Я что-то совсем заблудился, начальник. Может быть, вы мне поможете?

— Куда вам надо?

— Я пытаюсь попасть на Олений остров.

Он посмотрел на меня в упор и, убедившись, что я не шучу, повернулся в седле боком, показал на ту сторону проливчика и не счел нужным добавить больше ни слова.

— Это и есть Олений остров?

Полицейский склонил голову и так и оставил ее склоненной.

— А как туда попасть?

Мне часто приходилось слышать, будто жители Мэна — народ неразговорчивый, но этот кандидат в монументы

ты на Маунт-Рашморе¹, видимо, считал, что протянуть указательный перст дважды в течение одного дня равнозначно невыносимой болтливости. Он описал подбородком небольшую дугу в том направлении, куда я ехал. Если бы время позволило, я бы попытался вырвать у него еще хоть слово, даже зная заранее, что мои попытки обречены на провал.

— Благодарю вас,— проговорил я и сам себе показался отчаянной балаболкой.

Сначала мы проехали по железному мосту, выгнутому, как радуга, высокой аркой, потом, вскоре же, по низкому каменному в форме буквы «S», и наконец Росинант очутился на Оленьем острове. В письменных указаниях говорилось, что мне надо сворачивать на каждую боковую дорогу вправо, и слово «каждую» было подчеркнуто. Я одолел подъем и по более узкой дороге свернул направо, в сосновый бор, потом свернул направо по совсем узенькой и опять свернул направо по колеям, усыпанным сосновыми иглами. Когда едешь не в первый раз, все кажется проще простого. Мне не верилось, что я доберусь до места, но ярдов через сто впереди показался большой старинный дом мисс Элеоноры Брейс, и она сама вышла приветствовать меня. Я выпустил Чарли, и вдруг какая-то яростная серая лента сверкнула на просеке среди сосен и опрометью ворвалась в дом. Это был Джордж. Он не пожелал приветствовать ни меня, ни тем более Чарли. Мне так и не удалось разглядеть Джорджа как следует, но присутствие этого мрачного существа чувствовалось повсюду. Ибо Джордж — это старый серый кот, в котором накопилось столько ненависти ко всему живому и неживому, что, даже сидя на чердаке, он дает вам почувствовать свое страстное желание, чтобы вы поскорее убрались отсюда. И если бы на нас упала бомба и смела с лица земли все и вся, кроме мисс Брейс, Джордж был бы счастлив. Таким он создал бы мир, если бы это зависело от него. Он так никогда и не узнает, что Чарли интересовался им только из вежливости, а если бы узнал, то был бы уязвлен в своих мизантропических чувствах, ибо Чарли не питает ни малейшего интереса к кошкам даже как к объектам гона.

Мы не причинили Джорджу никаких хлопот, так как провели обе ночи в Росинанте, но мне рассказывали, что, когда гости ночуют в комнатах, Джордж удаляется в лес и ведет издали наблюдение за домом, ворчаньем выражая

¹ Гранитная скала-памятник в Южной Дакоте: в ней высечены гигантские скульптурные портреты четырех американских президентов.

свое недовольство и неприязнь к чужакам. По словам мисс Брейс, как домашний кот Джордж не отвечает своему назначению (каковы кошачьи назначения, мне неизвестно). Он не отличается ни общительностью, ни чуткостью, да и с эстетической точки зрения не представляет собой ценности.

— Наверно, он ловит крыс и мышей? — угодливо подсказал я.

— Никогда не ловил, — ответила мисс Брейс. — Ему это и в голову не приходит. И знаете, что самое интересное? Джордж — кошка.

Мне приходилось все время сдерживать Чарли, потому что незримое присутствие Джорджа чувствовалось повсюду. Во времена более просвещенные, когда в ведьмах и их приспешниках разбирались лучше, его, или, вернее, ее, ждала бы смерть на костре, ибо если существует на свете всякая нечисть, дьявольское отродье и та шатия, что хорождается со злыми духами, то Джордж из их числа.

Не надо было обладать сверхчувствительностью, чтобы понять своеобразие Оленьего острова. И если те, кто ездит туда из года в год, не могут описать его, чего же тогда ждать от моего двухдневного пребывания там? Этот остров, точно сосунок, припал к груди Мэна, но таких островков много. Его глубокие, затененные воды словно вбирают в себя свет, но и это мне приходилось видеть. Сосны шумят в здешних лесах, и ветер завывает на здешних равнинах, ничем не отличающихся от Дартмурских в Англии. Стоунингтон, главный город Оленьего острова, не похож на другие американские города ни своей планировкой, ни архитектурой. Его дома террасами спускаются к спокойной воде залива. Этот городок сильно напоминает Лайм-Регис на дорсетском побережье, и я готов поспорить, что его основатели и первые поселенцы — выходцы из Дорсета, или Сомерсета, или Корнуэлла. В штате Мэн повсюду говорят как в западной Англии, двойные гласные произносятся на англосаксонский манер, а на Оленьем острове это сходство еще сильнее. Жители побережья ниже Бристольского залива — люди тоже по натуре замкнутые, и, может статься, там тоже не обходится без чертовщинки. В глубине их глазниц таится нечто такое, о чем они сами вряд ли догадываются. То же подмечаешь и у жителей Оленьего острова. Короче говоря, Олений остров — своего рода Авалон:¹ когда нас нет на нем, он, вероятно, исчезает. Или

¹ В средневековых рыцарских романах — сказочный остров, который возникал лишь в тех случаях, когда фее Моргане нужно было спасти короля Артура.

взять хотя бы такие загадочные существа, как здешние огромные енотовые кошки — бесхвостые, серые в черную полосу, почему их и называют енотовыми. Они дикие; они живут в лесной чаще и известны своей свирепостью. Случается, кто-нибудь принесет из лесу такого котенка, вырастит его дома, радуется и чуть ли не гордится своей победой, но енотовая кошка редко когда становится хотя бы в какой-то степени ручной. С ними держи ухо востро — того и гляди искусают, издерут когтями. Происходят они, безусловно, с острова Мэн в Англии, и даже если их скрещивать с домашними, потомство все равно получается бесхвостое. Существует предание, будто прародителей енотовой кошки завез на Олений остров капитан одного корабля и они скоро здесь одичали. Откуда же у них такие размеры? Мне приходилось видеть кошек с острова Мэн, но здешние в два раза больше любой из них. Может быть, они породнились с рысью? Не знаю. И никто этого не знает.

В гавани Стоунингтона вытаскивали из воды на зимнее хранение моторки и лодки. И не только здесь, но и в соседних бухточках есть большие садки, где копошатся темно-панцирные омары из здешних темных вод, считающиеся лучшими в мире. Мисс Брейс заказала три штуки — не больше чем на полтора фунта, пояснила она, и в тот же вечер их качество не оставило во мне ни малейших сомнений. Таких омаров больше нигде не найдешь: вареные, без всяких изысканных приправ, кроме растопленного сливочного масла и лимонного сока, они не знают себе равных. Но вдали от своих темных нор эти омары уже не такие вкусные, даже если их перевозят живыми по морю или на самолете.

В одной совершенно замечательной лавке в Стоунингтоне, торгующей скобяным товаром и судовым инвентарем, я купил для Росинанта керосиновую лампу с жестяным отражателем. Меня все мучили опасения — а вдруг бутан выйдет, как тогда читать лежа в постели? Новую лампу я привинтил над диваном, подровнял фитиль, чтобы он горел золотой бабочкой. И в поездке часто зажигал ее не только для освещения, но и ради тепла и цвета ее огонька. Это была точно такая лампа, какие горели в каждой комнате того ранчо, где прошло мое детство. Более приятного освещения еще никто не придумал, хотя старики утверждают, будто китовый жир горит красивее.

Я доказал свою неспособность описать Олений остров. Есть в нем нечто такое, что отгораживается от слова. Но

это «нечто» остается с вами, и мало того, когда вы уедете оттуда, к вам вдруг начнет возвращаться многое, чего вы как будто и не замечали раньше. Одно мне запомнилось особенно ясно. Может быть, дело тут в причудах освещения, в осенней прозрачности воздуха? Все на этом острове вырисовывалось рельефом, не сливаясь с остальным, будь то скала, или оглаженное прибоем бревно на отмели, или линия крыши. Каждая сосна стояла сама по себе, особенно, хотя она была частью леса. А если натянуть сравнение до предела, нельзя ли сказать то же самое и о людях? Могу засвидетельствовать: столь ярких индивидуалистов я больше никогда не встречал. Не дай бог, если б пришлось заставить их сделать что-нибудь такое, что им не по нутру. Я наслушался много всяких рассказов об Оленьем острове и получил много лаконичных советов. Приведу здесь только одно напутствие, выслушанное от коренного обитателя штата Мэн, имя которого я не назову во избежание неприятностей для него.

— Никогда не спрашивайте дорогу у жителей Мэна,— было сказано мне.

— Это почему?

— А нам кажется, что направить человека в обратную сторону очень смешно. Мы это делаем на полном серьезе, а внутренне хохочем. Такой уж у нас характер.

Не знаю, правду ли он говорил. И проверить это не смогу, потому что я хоть и много плутаю, но по собственной милости, без всякой помощи со стороны.

До сих пор я все похваливал своего Росинанта и отзывался о нем даже с нежностью, а о самом пикапе, на котором установлен крытый кузов, не сказал ни слова. Это была новая модель с V-образным шестицилиндровым мотором, автоматической трансмиссией и мощным генератором для освещения кабины, если понадобится. Охладительная система была так заполнена антифризом, что могла бы выдержать полярную стужу. По-моему, американские легковые машины выпускаются с расчетом на быстрый износ, чтобы их поскорее заменяли новыми. О грузовых этого не скажешь. Водителям грузовиков важнее, чем владельцам лимузинов, чтобы их машины, с гораздо большей дальностью пробега, служили им хорошую службу. Их не ослепишь отделкой, всякими финтифлюшками и штучками-дрючками, и, кроме того, им не требуется каждый год покупать новую модель, чтобы поддержать свой престиж в обществе. В моем пикапе все было сделано в расчете на долгую службу. Рама была прочная, из отличной стали,

мотор большой, сильный. Я, конечно, хорошо обращался со своим пикапом, не забывал менять масло в агрегате, вовремя смазывал детали, не гнал его на предельных скоростях и не заставлял выделывать всякие акробатические трюки, которые требуются от спортивных машин. Кабина у меня была с двойной стенкой и с хорошим нагревательным прибором. Когда я вернулся домой, проделав на этой машине больше десяти тысяч миль, ее мотор только-только успел приработаться. И за все путешествие он ни разу у меня не отказал, карбюратор ни разу не вышел из строя.

Я ехал вдоль побережья штата Мэн, через Миллбридж и Аддисон, Макиас, и Перри, и Саут-Роббинстон, пока побережье не кончилось. Я не знал, а может, знал да забыл, как далеко на север, словно утыкаясь пальцем в Канаду, вдается штат Мэн. Плохо мы знаем географию нашей страны. Ведь Мэн поднимается к провинции Нью-Брансуик, почти до устья реки Святого Лаврентия, а его верхняя граница проходит миль на сто севернее Квебека.

И еще одно обстоятельство благополучно вылетело у меня из памяти — необъятность Америки. По мере того как я двигался на север через маленькие городки и леса, тянувшиеся здесь до самого горизонта, осень с непомерной быстротой перешла в следующее время года. Может быть, это объяснялось тем, что я отдалялся от направляющей руки океана или забирал уж слишком далеко на север. У домишек, попадавшихся мне навстречу, был такой вид, будто они сдались на милость снегам и стоят раздавленные ими, согбенные под тяжестью многих зим, покинутые людьми. Все говорило о том, что когда-то эти сельские места были заселены, люди жили здесь, обрабатывали землю, а потом их что-то вытеснило отсюда. Леса снова надвигались на здешний край, и там, где раньше проезжали только фермерские фургоны, теперь грохотали огромные машины, груженные бревнами. И зверье тоже возвращалось на свои прежние места; олени забредали на шоссе, попадались здесь и следы медведя.

Есть у нас порядки, обычаи, мифы, новшества и перемены, которые входят составными частями в структуру Америки. И я намерен обсуждать их здесь в той последовательности, в какой они попадали в сферу моего внимания. А от вас требуется, чтобы вы тем временем рисовали себе мысленно, как я ковыляю в своем Росинанте по какой-нибудь узкой лесной дороге или останавливаюсь на ночь у моста, или варю в кастрюле большую порцию солонины с бобами лима. И первую нашу беседу придется посвятить

охотничьим делам. Я не мог бы избежать этой темы даже при самом большом желании, потому что открытие охотничьего сезона дырявит здесь вспышками выстрелов всю осень. Мы унаследовали немало всяких понятий от наших не таких уж дальних предков-пионеров, которые вступали в единоборство с этим континентом, точно Иаков с ангелом, и выходили победителями из борьбы. От них нам досталось убеждение, будто американцы, все как один, прирожденные охотники. И вот каждую осень множество людей берется доказывать, что, не имея ни таланта, ни навыков, ни знаний, ни практики, можно без промаха палить из ружья и винтовки. Последствия этого ужасны. С той минуты, как я выехал из Сэг-Харбора, перелетных уток били напропалую, а в лесах Мэна шла такая винтовочная стрельба, что в былое время она обратила бы в бегство любые отряды английских солдат, если б, конечно, они не знали, что происходит. После таких моих высказываний меня, чего доброго, обзовут горе-спортсменом, но позвольте мне сразу же уточнить: я вовсе не против убоя зверей. Ведь от чего-то они должны погибать. В юности я, бывало, мог проползти на животе несколько миль, не боясь ледящего ветра, только ради того, чтобы с наслаждением всадить заряд дроби в болотную курочку, которая, даже вымоченная в соленой воде, почти несъедобна. Оленина, медвежатина, лосятина — этим меня особенно не соблазнишь, у них хороша только печенька. Для приготовления вкусных блюд из оленины существует столько всяких рецептов, в нее столько всего добавляют — и вина и разных трав, что с такой приправой и старый башмак покажется лакомством. Если меня замучает голод, я с превеликим удовольствием пойду охотиться на все бегающее, ползающее и летающее, не исключая и близких родственников, и буду рвать свою добычу зубами. Но не голод гонит каждую осень миллионы американцев в леса и горы, как показывают частые случаи инфарктов у охотников. Принято думать, неизвестно почему, будто охота как-то связана с проявлением мужского начала в человеке. Я знаю, что у нас есть довольно много хороших, опытных охотников, понимающих свое дело, но кроме них — и таких большинство, — на охоту ездят тучные джентльмены, пропитанные виски и вооруженные огнестрельным оружием большой убойной силы. Они стреляют по всему, что движется или вот-вот двинется, и их успехи в убийении друг друга служат прекрасной гарантией против перенаселенности нашей страны. Если бы несчастные случаи ограничивались попадани-

ями в себе подобных, это еще было бы полбеды, но истреблению подвергаются коровы, свиньи, фермеры, собаки, дорожные указатели, и поэтому осень становится опасным временем года для путешественников. Один фермер из северной части штата Нью-Йорк большими черными буквами намалевал на боках своей белой скотинки «Корова», и тем не менее охотники ее подстрелили. Когда я проезжал штат Висконсин, один охотничек всадил своему собственному проводнику пулю между лопатками. Следовательно, допрашивавший этого Нимврода¹, задавал ему такие вопросы:

— Вам показалось, что это олень?

— Вот именно, сэр.

— Но вы не были уверены, что это олень?

— Да как сказать... Пожалуй, нет, сэр.

Огневой вал, бушующий в Мэне, не мог не внушать мне опасений за мою жизнь. В день открытия охотничьего сезона от пуль пострадали четыре автомобиля, но больше всего я боялся за Чарли. Такие охотнички легко могли принять пуделя за оленя, значит, надо было придумать какой-то способ, чтобы обезопасить его. В Росинанте нашлась пачка красных бумажных салфеток «Клинекс», подаренных мне кем-то в дорогу. Я обернул красным хвост Чарли; а поверху закрепил круглой резинкой. Каждое утро этот флажок обновлялся, и пока мы не очутились на Западе, Чарли так и бегал с ним среди свиста и жужжания пуль. Я рассказываю об этом не для смеху. По радио предупреждали, что пользоваться белыми носовыми платками небезопасно. Слишком часто охотники, увидев мелькание чего-то белого, принимали это за хвост скачущего оленя и с одного выстрела навсегда излечивали человека от насморка.

Впрочем, в таком наследии, полученном нами от первых поселенцев, нет ничего нового. Когда я мальчишкой жил на ранчо под Салинасом в Калифорнии, у нас был повар-китаец Ли, который хоть и скромно, но все же подрабатывал каждый охотничий сезон. На пригорке недалеко от нашего дома лежала поваленная сикомора, опиравшаяся на две сломанные ветки. Ли заинтересовался этой колодой, когда обнаружил на ее желтоватой пятнистой коре дырки от пуль. Он прибил к ней с одной стороны оленьи рога и удалился в свой домишко до конца охоты. А потом собрал со старой сикоморы урожай свинца. Бывали сезоны,

¹ Библейский персонаж, занимавшийся звероловством.

когда ему удавалось пожинать фунтов по пятьдесят—шестьдесят. Не бог весть какое было богатство, но все-таки заработок. Года через два, после того как сикомору окончательно изрешетили пулями, Ли положил на то место четыре кулька с песком и к ним приделал те же рога. Собирать урожай свинца стало еще легче. Если бы кульков было не четыре, а все пятьдесят, Ли нажил бы целое состояние, но, как человек скромный, он не стремился к массовому производству.

Штату Мэн, казалось, не будет конца. Такое же чувство, вероятно, было у нашего полярного исследователя Пирри, когда он шел и шел, думая, что приближается к Северному полюсу. Но мне хотелось повидать Арустукский округ, большой округ в северной части Мэна. В Америке есть три обширных района, где выращивают картофель,—Айдахо, Саффолкский округ на Лонг-Айленде и Арустук в штате Мэн. Я много всего слышал об Арустукском округе, но таких, кто бы побывал там, никогда не встречал. Мне говорили, что картофель в Арустук собирают после копки французы — жители Канады и что они толпами пересекают границу во время уборки урожая. Мой путь лежал сквозь бесконечные леса, мимо множества еще не замерзших озер. Я старался по мере возможности выбирать узкие лесные дороги, а на них особенной скорости не разовьешь. Температура поднималась, зарядили дожди, и леса горько плакали. Чарли у меня не успевал просохнуть, и от него так несло, будто он заплесневел. Небеса были цвета мокрого алюминия, и солнце даже не проглядывало сквозь этот полупрозрачный щит, так что я почти не мог ориентироваться. Извилистая дорога могла увести меня и на восток, и на запад, и на юг вместо севера. Эти старые басни насчет того, что мох будто бы растет на деревьях с северной стороны ствола, подводили меня, когда я был еще бойскаутом. Мох растет там, где тень, а затененной может быть любая сторона. Я решил купить компас в ближайшем же городе, но никаких «ближайших» городов на этих дорогах и в помине не было. На землю спускалась темнота, дождь барабанил по стальной крыше кабины, и скребки на ветровом стекле обливались слезами, описывая полукруг за полукругом. Высокие темные деревья с двух сторон надвигались на щебенку. Казалось, прошли долгие часы с тех пор, как мне встретилась последняя машина или хоть придорожная лавка, хоть дом,

ибо эти места снова отдались во власть лесов. Чувство одиночества охватило меня — одиночества такого безысходного, что оно нагоняло страх. Чарли, мокрый, дрожащий, свернулся в своем уголке рядом со мной, предоставив меня самому себе. Я остановил Росинанта, не доезжая бетонного моста, но так и не мог выровнять его на покато́й обочине.

Даже в домике у меня было неуютно и сыро. Я вывернул газовую горелку до отказа, зажег керосиновую лампу и две конфорки на плите, чтобы хоть как-нибудь рассеять чувство одиночества. По металлической крыше Росинанта стучал дождь. Что я ни доставал из своих припасов, все казалось мне несъедобным. Стало совсем темно, и деревья еще ближе подступили к машине. Сквозь drobный стук дождя мне слышались какие-то голоса, точно где-то за сценой гудели и глухо роптали людские толпы. Чарли было явно не по себе. Он не влаивал, но то и дело принимался ворчать и тревожно поскуливать, что на него совсем не похоже, и отказался от ужина и не притронулся к воде — это он-то, который должен ежедневно выпивать количество жидкости, равное его весу, чтобы восполнить ее расход! Я окончательно покорился тоске, сделал себе два сэндвича с арахисовым маслом, лег в постель и принялся за письма, оделяя своим одиночеством всех, к кому адресовался.

Вскоре дождь кончился, стала слышна капель с деревьев, и я сам наплодил вокруг себя целое племя тайно грозящих мне опасностей. Да, населять тьму всякими ужасами — это мы умеем! Мы — такие просвещенные, уверенные в себе и признающие только то, что можно измерить и взвесить. Я знал совершенно твердо: темное, наседающее на меня, либо не существует, либо не представляет никакой опасности, и все-таки мне было жутко. Какими же страшными казались ночи в те времена, когда люди верили, что темные силы есть на самом деле и что от них не спасешься. Впрочем, нет, это не так. Если б я знал, что такие силы существуют, у меня были бы против них и оружие, и заклятия, и молитвы, и сговор с силами, столь же могущественными и готовыми принять мою сторону. А когда знаешь, что ничего такого нет, то чувствуешь себя беззащитным и боишься еще больше.

Много лет назад я купил маленькую ферму в горах Санта-Крус, в Калифорнии. И там в лесу было настоящее заколдованное озеро с темной родниковой водой, над которым смыкали вершины гигантские земляничные деревья. Если есть где на свете заколдованное место, то вот тут-то оно и было: сумеречный свет, едва пробивающийся

сквозь листву, обманчивая перспектива... У меня тогда работал один горец с Филиппин, небольшого роста, смуглый, молчаливый, по национальности, вероятно, маори. Как-то раз, подумав, что слуга мой того племени, которое считает невидимое частью действительности, я спросил его, не боится ли он проходить мимо заколдованного места в лесу, особенно по ночам. Он сказал, что нет, не боится, потому что один знахарь давным-давно дал ему средство от злых духов.

— Покажи, какое,— попросил я.

— Это заклятье,— ответил он.— Надо говорить слова.

— А мне ты можешь их сказать?

— Могу.— И он затянул нараспев: — *In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti*¹.

— А что эти слова значат? — спросил я.

Он пожал плечами.

— Не знаю. Это от злых духов, и я их больше не боюсь.

Я отсеял смысл нашей беседы от путаницы ломаных испанских фраз, но про заговор это все точно, и действовал он у него исправно.

Лежа в постели той плачущей ночью, я изо всех сил старался читать, чтобы отвлечься от тоскливых мыслей, но в то время как глаза мои скользили по строчкам, мозг прислушивался к ночи. На грани сна я вдруг вздрогнул от нового звука — звука крадущихся, как мне показалось, шагов по щебенке. На кровати, у меня под рукой, лежал двухфутовый электрический фонарь, с каким охотятся на енота. Его ослепительного луча хватает по крайней мере на целую милю. Я встал, снял со стены ружье и, стоя в дверях Росинанта, снова прислушался. Шаги приближались. Тут Чарли издал свой предостерегающий рык, я распахнул дверь и залил всю дорогу светом. В нескольких шагах от меня стоял человек в резиновых сапогах и желтом дождевике. Мой фонарь пригвоздил его к месту.

— Что вам надо? — крикнул я.

У него, наверно,хватило дух с перепугу, потому что ответил он не сразу.

— Я иду к себе домой. Я живу здесь неподалеку.

И тут я почувствовал всю глупость, всю нелепость того, что наворотило мое воображение за последние часы.

— Не зайдете ли выпить чашку кофе или чего-нибудь покрепче?

¹ Во имя Отца и Сына и Святого духа (лат.).

— Нет, время позднее. Если вы перестанете слепить мне глаза, я пойду дальше.

Я тут же щелкнул выключателем, и человек исчез в темноте, до меня донесся только его голос:

— А собственно говоря, вы-то сами что здесь делаете?

— Ночую,— ответил я.— Остановился на ночевку.— И, едва добравшись до постели, уснул.

Когда я проснулся, солнце уже взошло и мир сверкал, будто переделанный заново. Мир бывает столько же, сколько обликов у дня, и как у опала сегодня совсем другой цвет и другой огонек, чем вчера, ибо день дню рознь, так меняюсь и я. Ночные страхи и чувство одиночества ушли куда-то далеко и почти не вспоминались.

Даже Росинант, грязный, засыпанный сосновыми иглами, на радостях весело прядал по щебенке. Теперь леса и озера вдоль дороги перемежались полями с рыхлой, рассыпчатой почвой, которую так любит картошка. Навстречу то и дело попадались грузовые платформы, уставленные пустыми бочками под картофель, а механическая картофелекопалка выворачивала из земли длинные ряды бледно-желтых клубней.

В испанском языке есть слово, которое я затрудняюсь точно перевести на английский. Это глагол «*vacilar*», существительное «*vacilador*». *Vacilar* — значит идти куда-то, не очень заботясь о том, дойдешь ли до намеченной цели, хотя путь твой лежит в том направлении. В такого *vacilador*'а часто превращался мой друг Джек Вагнер. Скажем, вздумается ему погулять по улицам Мехико-Сити, но не просто так, лишь бы пошляться, а как бы по делу, и мы придумывали какую-нибудь вещь, зная заранее, что ее в магазинах почти наверняка не сыщешь, и рыскали за ней по всему городу.

Мне хотелось для начала забраться под самый конец кровли штата Мэн, а оттуда повернуть на запад. Это придавало видимость плана моему путешествию, а в жизни все должно строиться по плану, ибо иного построения разум человеческий не приемлет. Кроме плана должна быть и цель, ибо бесцельных действий совесть человеческая страшится. Штат Мэн входил в план моей поездки, а целью ее был картофель. Если б я не увидел там ни одной картофелины, это не поколебало бы моего статуса *vacilador*'а. Но вышло так, что я столько ее повидал, этой картошки, что больше некуда. Передо мной предстали горы, океаны картофеля — такое его количество, что, казалось, населению земного шара не съесть этого и за сотню лет.

Я за свою жизнь много встречал по стране разного кочевого люда — индейцев, филиппинцев, мексиканцев, оки,— выезжающего из своих штатов на уборку урожая. Здесь, в Мэне, больше всего было французских канадцев, пересекших границу на время копки картофеля. Мне пришло в голову сравнение: Карфаген вел свои войны руками наемных солдат, а мы, американцы, призываем наемников на тяжелую и черную работу. Надеюсь, не настанет такой день, когда нас возьмут в полон народы, не настолько спесивые, или обленившиеся, или изнеженные, чтобы склоняться к земле и подбирать с нее то, что мы едим.

Французские канадцы были народ кряжистый. Они разъезжали и разбивали лагеря семьями, а то и по нескольку семей сразу — может быть, целыми кланами: мужчины, женщины, юноши, девушки и даже ребятишки. Единственные, кто не собирал картофеля и не укладывал его в тару,— это грудные младенцы. Американцы же подкатывали на машинах и грузили на них набитые доверху бочки, орудуя лебедками и чем-то вроде кранов-укосин. Потом развозили урожай по овощехранилищам, до самого верху засыпанным снаружи землей, чтобы картофель не промерзал.

Знанием канадско-французского языка я обязан кинофильмам, чаще всего с участием популярных актеров Нелсона Эдди и Дженетт Макдональд, и оно сводится главным образом к употреблению восклицания: «Клянусь честью!» Как ни странно, но мне ни разу не пришлось слышать, чтобы кто-нибудь из этих сборщиков картофеля воскликнул: «Клянусь честью!», а ведь они, наверно, тоже видели те фильмы и, следовательно, знают, как надо говорить. Женщины и девушки ходили в брюках, большей частью вельветовых, и толстых свитерах, а голову повязывали пестрыми платками, защищая волосы от пыли, поднимающейся с полей при малейшем ветерке. Чаще всего эти люди ездили на больших грузовиках с брезентовым верхом, но попадались и прицепы, и автофургоны вроде моего Росинанта. На ночь кто устраивался спать в грузовиках и прицепах, кто разбивал палатки в живописных местах, и ароматы, исходившие от их костров, на которых они готовили ужин, свидетельствовали о том, что эти люди не утратили присущего французскому гению искусства варить суп.

К счастью, несколько таких палаток и грузовиков и два прицепа расположились на берегу прелестного чистого озера. Я остановил своего Росинанта в девяносто пяти ярдах от них, но тоже у самой воды. Потом поставил кофей-

ник на огонь, вынес белье, которое тряслось в мусорном ведре уже два дня, и выполоскал его в озере. Неисповедимы пути, коими зарождается в нас то или иное отношение к незнакомцам! Я стоял с подветренной стороны от лагеря канадцев, и до меня доносился запах их супа. Кто мог знать, что это была за публика — может, убийцы, садисты, изверги, обезьяноподобные выродки, — но я ловил себя на мысли: «Какие симпатичные люди! Как великолепно держатся! Все красавцы, как на подбор! Вот бы с кем подружиться!» И все это лишь потому, что очень уж вкусно пахло супом.

Когда мне надо войти в общение с незнакомыми людьми, роль моего посла возлагается на Чарли. Я даю ему свободу, и его сразу же несет к нужному объекту, вернее, к тому, что этот объект готовит себе на ужин. Затем я иду за ним, чтобы он не надоедал моим соседям — *et voilà!*¹ Ребенок в таких случаях тоже годится, но собака надежнее.

Все и тут сошло как нельзя глаже, что неудивительно, когда сценарий хорошо отработан и прорепетирован. Я выпустил своего посла, а сам сел кофейничать, давая ему время выполнить все, что от него требовалось. Потом не спеша отправился к канадцам, чтобы избавить их от своей злосчастной собачонки. В лагере было двенадцать человек, не считая детей, на вид народ славный. Три девушки — хорошенькие и смешливые; две беременные матроны, а третья и вовсе на сносях; старик патриархальной внешности, два зятя и несколько молодцов, которые явно метили в зятя. Но делами их, при всем уважении к патриарху, ведал курчавый брюнет лет тридцати пяти, статный, широкоплечий, легкий в движениях, с девичьим цветом лица — кровь с молоком.

Собака никому не помешала, сказал их вожак. Они даже говорили между собой: какая красавица! Я, хозяин, разумеется, отношусь к своей собаке с пристрастием, несмотря на некоторые присущие ей недостатки, но у нее есть одно преимущество по сравнению со многими другими псами: она родилась и выросла во Франции.

Меня обступили со всех сторон. Красотки тут же прыгнули, но их немедленно привел в чувство взгляд темно-голубых глаз вожака, поддержанный шипением патриарха.

Да не может быть! И где именно во Франции?

В Берси, на окраине Парижа. Им известно это местечко?

¹ Здесь: «И вот, пожалуйста!» (франц.).

Увы! Они никогда не были в стране отцов.

Ну, еще побывают, это дело поправимое.

Как же они сами не догадались, что Чарли — француз: это по его манерам видно! А мой *goulotte*¹ им очень понравился.

Да он не бог весть что, но очень удобный. Если кто пожелает, я буду рад показать его.

Как это любезно с моей стороны! Они с удовольствием воспользуются приглашением.

Если возвышенный тон нашей беседы натолкнет вас на мысль, что она велась по-французски, вы ошибаетесь. Вожак говорил на чистом, правильном английском языке. Единственное французское слово в его речи было «*goulotte*». Реплики в сторону подавались на канадско-французском диалекте. Что же касается моего французского, то он вообще немыслим. Нет, возвышенный тон беседы был неотъемлемой частью той перемены, которая сопутствует завязыванию знакомства. Я подозревал Чарли. Итак, можно ли ждать гостей к себе после ужина, который, судя по запахам, готовится у них на костре?

Они сочтут за честь.

Я навел порядок у себя в фургоне, разогрел и съел банку мяса по-чилийски с фасолью и перцем, проверил, холодное ли пиво, даже нарвал осенних листьев и поставил букет на стол в бутылке из-под молока. Рулон бумажных стаканчиков, взятый специально для таких okazji, в первый же день расплющило в Росинанте словарем, слетевшим с полки, но я заготовил некое подобие подстаканников из бумажных полотенец. Удивительное дело: сколько труда человек готов положить, чтобы получше принять гостей! Но вот Чарли рявкнул вместо приветствия, и я почувствовал себя хозяином в собственном доме. За мой столик могут кое-как сесть шесть человек, и шестеро их и село. Двое, кроме меня, остались на ногах, а открытую дверь украсила гирлянда из детских лиц. Гости мои были славный народ, но держались они несколько чопорно. Для взрослых я откупорил пиво, для аутсайдеров — лимонад.

Слово за слово эти люди кое-что порассказали о себе. Они ежегодно переезжают границу на время копки картофеля. Когда трудятся все поголовно, можно неплохо подработать к зиме. А иммиграционные власти не чинят им препятствий при въезде? Да нет, ничего. На время уборки, наверно, разрешаются кое-какие послабления, а кроме то-

¹ Крытый фургон (франц.).

го, многое зависит от подрядчика, который все улаживает за небольшой процент с их заработка. Собственно, получает он не с них. Ему платят сами фермеры.

Я много повидал сезонных рабочих — разных оки, переселенцев из Мексики и негров. И где бы они мне ни попадались, в Нью-Джерси или на Лонг-Айленде, всюду за ними стоял подрядчик, который все улаживал за известную мзду. Было время, когда фермеры норовили привлечь гораздо больше рабочих рук, чем требовалось, чтобы снизить заработную плату. Теперь с этим как будто покончено, ибо правительственные агентства по найму пропускают ровно столько сельскохозяйственных рабочих, сколько нужно, и это обеспечивает им какой-то минимум заработной платы. А раньше бывало и так, что на кочевую жизнь и сезонную работу людей гнала нищета и жестокая нужда в заработке.

Моими гостями, конечно, никто не помыкал, и не нужда пригнала их сюда. Они обрекли на зимнюю спячку свою собственную маленькую ферму в провинции Квебек и всем кланом перебрались через границу в расчете на то, что заработают денег за прожитый день. У них даже настроение было праздничное, как у английских сезонников, которые выезжают из Лондона и из городов центральной Англии на сбор хмеля и земляники. Они производили впечатление людей выносливых, независимых, людей, которые умеют постоять за себя.

Я откупорил еще несколько бутылок пива. После ночных приступов тоски было приятно чувствовать теплое отношение этих дружелюбных, хоть и не слишком доверчивых людей. Из артезианских глубин во мне вдруг забились добрые чувства, и я произнес небольшой спич на своем варварском французском языке.

Он начинался так:

— Messy dam. Je vous porte un cher souvenir de la belle France — en particulier du Departement de Charente¹.

Они опешили, но явно заинтересовались. Потом Джон, их вожак, медленно перевел мой спич на грамматически правильный английский, а с него обратно на канадско-французский диалект.

— Шаранта? — переспросил он. — Почему Шаранта?

Я нагнулся, открыл шкафчик под раковиной и достал оттуда бутылку очень старого, почтенного коньяка, взято-

¹ Господа и дамы! Прошу вас принять дорогой дар прекрасной Франции — в частности, департамента Шаранты (франц.).

го в дорогу на случай свадеб, обмороживаний и сердечных приступов. Джон с благоговейным видом углубился в изучение ярлыка, точно набожный христианин, готовящийся приобщиться святых тайн. И в его голосе тоже слышался священный трепет.

— Господи помилуй! — сказал он. — Как же я забыл! Ведь Шаранта — это там, где Коньяк!

Потом он прочел на этикетке год, якобы соответствующий появлению на свет содержимого этой бутылки, и вполголоса повторил свое «господи помилуй».

Бутылка была передана патриарху, который сидел в уголке, и старик так расплылся в улыбке, что я впервые заметил нехватку у него передних зубов. Зять заурчал, точно разомлевший кот, а беременные дамы пустились щебетать, точно *les alouettes*¹, славящие солнце. Я вручил Джону штопор, а сам стал подавать гостям свои хрустальные бокалы, то есть три пластмассовые кофейные чашки, баночку из-под варенья, бритвенную кружку и несколько широкогорлых бутылочек из-под лекарств. Содержимое последних я высыпал на блюдо, а сами бутылочки прополоскал водой из-под крана, чтобы от них не пахло аптекой. Коньяк оказался очень, очень хорошим, и после первых отрывистых «*Santé*», после первого глотка с причмокиванием за нашим столом родилось чувство, что Все Люди Братья (сестры тоже сюда входят), и это чувство все росло и росло и наконец целиком заполнило Росинанта.

Повторить они отказались, но я настоял. По третьей выпили на том основании, что оставлять-то, собственно, нечего. И с последними разлитыми поровну каплями Росинанта согрело чарами того всепобеждающего человеческого тепла, которое дарует благословение любому дому, а в данном случае грузовику. Девять человек собрались у моего стола, и эти девять частиц составляли единое целое, как едины со мной мои руки и ноги, которые хоть и сами по себе, но от меня неотделимы. Росинанта озарило этим светом, и отблеск его не угасает в нем и поныне.

Такое не может длиться долго, да это и не нужно. Патриарх подал незаметный мне знак. Мои гости, притиснутые друг к другу, с трудом выбрались из-за стола, и прощание, как и полагается, было кратким и несколько чопорным. Все гурьбой вышли в ночь и отправились восвояси при свете

¹ Жаворонки (франц.).

² Здесь: «За ваше здоровье!» (франц.)

жестяного керосинового фонаря, который нес их вожак Джон. Они шагали молча попеременно с сонными, спотыкающимися детьми, и больше я их не увидел. Но они мне полюбились.

Мне не захотелось раскладывать кровать, так как утром надо было встать пораньше. Я прилег на диванчике у стола и заснул, но ненадолго, потому что в серых предрассветных сумерках Чарли уставился мне в лицо и сказал «фтт». Пока на плите грелся кофе, я написал несколько слов на куске картона и вставил его в горлышко пустой коньячной бутылки. Потом, проезжая мимо спящего лагеря канадцев, остановил машину и поставил бутылку так, чтобы она сразу бросилась им в глаза. На куске картона было написано: «Enfant de France. Mort pour la Patrie»¹.

Я старался вести машину как можно спокойнее, потому что на тот день у меня было намечено проехать немного на запад, а потом свернуть на шоссе, что тянется к югу через весь штат Мэн. Бывают в жизни минуты, которые человек хранит, как сокровище, до конца дней своих, и эти минуты выступают четко, словно освещенные огнем, среди других воспоминаний, скопившихся за долгие годы. В то утро я чувствовал, что мне очень повезло.

В таком путешествии, как мое, столько всего видишь, о стольком думаешь, что если бы события и собственные мысли заносить на бумагу без всякого отбора, они начали бы пучиться и бурлить, как итальянский суп минестроне, поставленный на небольшой огонь. Есть люди — любители дорожных карт, и нет для них большей радости, чем отдавать все свое внимание листам ярко раскрашенной бумаги, а яркости того, что проносится мимо, они не замечают. Я слышал рассказы таких путешественников: номер каждого шоссе они помнят наизусть, длину маршрута подсчитывают с точностью до мили, все местечки, которые надо посетить, посещают. К другому роду путешественников относятся те, кому необходимо ежеминутно определять по карте свое местонахождение, точно перекрест красных и черных линий, пунктиры, извивающаяся голубизна озер и темные наплывы краски — там, где горы, — внушают им чувство безопасности. У меня все по-другому. Я как появился на свет божий, так сразу и потерялся и не люблю, когда меня находят, а всякие условные знаки, определяющие континенты и государства, ничего не дают моему воображе-

¹ Дитя Франции. Умерло за Родину (франц.).

нию. Кроме того, сеть дорог у нас так часто меняется — где проложат новую трассу, где расширят старую, а другую и вовсе забросят, — что дорожные карты приходится покупать чуть не ежедневно, как газеты. Но поскольку мне известен фанатизм этих картолюбков, могу сообщить им, что в северные районы штата Мэн я ехал параллельно или более или менее параллельно федеральному шоссе № 1, через Хоултон, Марс-Хилл, Преск-Айл, Карибу, Ван-Бурен, потом повернул на запад, все еще держась номера первого, мимо Мадаваски, Аппер-Френчвилла и Форт-Кента, а оттуда взял курс прямо на юг по местному шоссе № 11, мимо озера Игл, городов Уинтервилл, Портидж, Скво-Пен, Масардис, Ноулс-Корнер, Паттен, Шерман, Грайндстоун и наконец попал в Миллинокет.

Я могу сообщить об этом, потому что передо мной лежит путеводитель, но то, что запомнилось мне, не имеет никакого отношения к номерам, и к цветным линиям, и ко всяким закорючкам на карте. Пусть этот маршрут послужит чем-то вроде взятки картолюбам. Обращаться к такому методу в дальнейшем я не собираюсь. А запомнились мне деревья вдоль длинных дорог, все в иное, фермы и домишки, приготовившиеся выстоять суровую зиму, запомнилась односложная, небогатая интонациями речь обитателей Мэна, услышанная в магазинах у дорожных перекрестков, куда я заезжал пополнить свои запасы. Запомнились олени, которые выбегали на шоссе, легко перебирая копытцами, и улепетывали от Росинанта, подскакивая, точно гуттаперчевые мячики, запомнились грохочущие грузовики с лесом. И никак мне не забыть того, что этот огромный край когда-то был гораздо больше обжит, а теперь заброшен, отдан надвигающимся на него лесам, зверью, лагерям лесорубов и стуже. Большие города становятся все больше, городишки уменьшаются. Деревенской лавке, чем бы в ней ни торговали — бакалейным, скобяным товаром, одеждой или всякой всячиной, — не устоять перед торговыми центрами и крупными фирмами с цепью торговых точек. Деревенская лавка с непременными бочками галет, о которой у нас сохранилось такое нежное, щемящее сердце воспоминание, лавка, куда местные умы — носители национальных черт нашего характера — приходят обменяться мыслями и мнениями, быстро исчезает с лица земли. Семьи — прежние твердыни, способные выдержать осаду ветров и непогоды, напасти морозов и засухи и наступление вражеских полчищ вредителей, — теперь норовят прильнуть к груди больших городов.

На проявление отваги и любви современного американца вдохновляют забитые машинами улицы, небеса, прокопченные смогом и задыхающиеся от удушливых газов из заводских труб, скрежет шин по асфальту и дома, построенные впритык один к другому. А маленькие города тем временем чахнут и умирают. И это, как я убедился, относится равно и к Техасу и к Мэну. Кларендон сдается на милость Амарильо, а у Стейсвилла в штате Мэн высасывает кровь Миллинокет, где пилят лес, где не продохнешь от всяческих химикалий и где реки отравлены, забиты древесиной, а улицы кишат оживленным, вечно спешащим людом. Это говорится не в укор, просто я делюсь своими впечатлениями. И мне думается, что, подобно маятнику, который неизбежно качается в обратную сторону, эти непомерно раздувшиеся города в конце концов лопнут и, исторгнув детищ из своего чрева, снова разбросают их по лесам и полям. Подспорьем моему пророчеству да послужит уже приметная тяга богачей вон из города. А куда первым идет богач, туда же следом за ним попадают или стараются попасть бедняки.

Несколько лет назад я купил в магазине «Аберкромби энд Фитч» автомобильную сирену в виде пастушьего рожка, на котором при помощи специального приспособления можно было воспроизводить почти всю гамму чувств крупного рогатого скота, начиная с нежного мычания романтически настроенной телки и кончая утробным ревом молодого быка, томящегося в плену бычьих страстей. Я приспособил эту штуку к Росинанту, и она действовала неотразимо. При первых же ее звуках рогатая скотина, находящаяся в пределах слышимости, поднимает голову от травы и двигается на этот призыв.

В серебристом холодке мэнского полудня, когда мой Росинант ковылял и тарахтел по изрытой колеями лесной дороге, на траверзе у нас появились четыре величественно ступавших лосихи. При моем приближении они перешли на приглушенно-тяжелую рысь. Я машинально нажал на рычажок своей сирены, и леса огласились ревом, напоминающим рев миурского быка, когда он напружит все тело, готовясь ринуться на легкий, как бабочка, взлет первой вероники. Лосиные дамы, почти скрывшиеся в лесу, услышали этот звук, остановились, повернули назад и, набирая скорость, помчались прямо на меня, явно пронзенные стрелами амура — все четыре, каждая весом свыше тысячи фунтов! И при всем моем уважительном отношении к любви во всех ее проявлениях я нажал на акселератор и дал

деру от них. Мне вспомнился рассказ нашего великолепно-го Фреда Аллена. Героем его был житель Мэна, вернувшийся с охоты на лосей.

«Сел я на поваленное дерево, подудел в рожок, сижу и жду,—говорил он.—И вдруг чувствую, облепило мне голову и шею будто теплым ковриком, какие бывают в ваннах. И что же вы думаете, сэр! Это лосиха меня ли-зала, и глаза у нее горели страстью.

— Вы ее пристрелили?

— Нет, сэр. Я оттуда быстро убрался, но с тех пор все думаю: бродит где-то в штате Мэн лосиха с разбитым сердцем».

Западная граница Мэна такая же длинная, как и восточная, может, даже еще длиннее. Мне бы следовало заехать в Бакстерский национальный парк, и я мог туда заехать, но не заехал. И так сколько времени ушло, а тут еще похолодало, и мне все мерещились то немцы под Сталинградом, то Наполеон на подступах к Москве. И я не мешкая отступил на Браунвилл, Майло, Довер-Фокскрофт, Гилфорд, Бингем, Скаухиган, Мексико, а от Рамфорда свернул на шоссе, которым не так давно поднимался в Белые горы. Может, это было слабостью с моей стороны, но мне хотелось поскорее продвинуться вперед. Реки здесь от берега до берега на целые мили были забиты сплавным лесом, дожидавшимся очереди у лесобойни, чтобы пожертвовать свои древесные сердца оплотам нашей цивилизации — таким, как журнал «Тайм» и газета «Нью-Йорк дейли ньюс», только бы они продолжали жить и спасали нас от невежества. Заводские поселки, при всем моем уважении к ним, кишат здесь, как черви. Выезжаешь из сельской тишины — и завывающий ураган автострады подхватывает тебя и играет тобой, как хочет. Некоторое время бьешься вслепую, прокладываешь путь в сумасшедшей толкучке и вихре мчащегося металла, и вдруг все это исчезает, и ты снова в безмятежной сельской тишине. И никакого перехода от одного к другому, никакой постепенности. Загадка — но в этой загадке есть своя прелесть.

С тех пор как я тут проезжал, зеленый убор лесов по-обтрепался, стал совсем другим. Листья падали, темными облачками клубясь по земле, а сосны по горным склонам стояли все в снегу. Я гнал машину вперед и вперед, к величайшему негодованию Чарли. Он уже не раз говорил мне «фтт», но я будто не слышал его и катил все дальше, пересекая торчащий вверх перст Нью-Гэмпшира. Мне хотелось принять ванну, лечь в чистую постель, выпить

и хоть немного пообщаться с людьми, и все это я рассчитывал найти на реке Коннектикут. Странное дело! Когда ставишь перед собой какую-то цель, то продолжаешь стремиться к ней часто вопреки собственным удобствам и даже собственному желанию. Дорога оказалась гораздо длиннее, чем мне думалось, и я очень устал. Годы мои напоминали о себе ломотой в плечах, но передо мной была цель — река Коннектикут, и я будто не замечал усталости, что было невероятно глупо. В нужное мне место в Нью-Гэмпшире, недалеко от Ланкастера, я попал к вечеру. Река здесь была широкая и красивая, с высокими деревьями по берегам. И почти у самой воды меня ждало то, к чему я так стремился последние часы, — ряд небольших беленьких домиков на зеленой лужайке, контора и закусочная под одной крышей и вывеска у автострады со словами, исполненными гостеприимства: «Открыто» и «Есть Свободные Номера». Я свел Росинанта с шоссе и, распахнув дверцу, выпустил Чарли из кабины.

В окнах конторы и закусочной, как в зеркале, отражалось закатное небо. Когда я отворил дверь и вошел туда, все тело у меня ныло после долгого переезда. В помещении не было ни души. На столе лежала регистрационная книга, вдоль стойки стояло несколько высоких табуреток, пирожки и пирожные были прикрыты пластмассовыми колпаками; гудел холодильник, в раковине из нержавеющей стали, в мыльной воде, лежала горка грязной посуды, из крана на нее медленно капало.

Я затрезвонил в колокольчик, стоявший на столе, потом крикнул: «Есть тут кто-нибудь?» Ни ответа, ни привета. Я присел на табуретку в ожидании хозяев. На доске висели ключи с номерами от маленьких беленьких домиков. Дневной свет убывал, и в закусочной становилось темно. Я вышел наружу забрать Чарли и удостовериться, что на щитке у дороги действительно было написано «Открыто» и «Есть Свободные Номера». К этому времени совсем стемнело. Я осветил ручным фонариком всю контору в поисках записки: «Вернусь через десять минут», но ничего такого не обнаружил. У меня появилось странное чувство, будто я сую нос куда не следует; мне здесь явно было не место. Тогда я снова вышел, отвел Росинанта от конторы, накормил Чарли, вскипятил кофе и приготовился ждать.

Казалось, что могло быть проще — взял ключ, оставил на столе записку и отпер какой-нибудь домик. Нет, так не годится. Я не решился на это. По шоссе и по мосту через реку проехало несколько машин, но к домикам ни одна из

них не свернула. Окна конторы и закуской загорались в свете приближающихся фар и снова чернели. Я мечтал легко поужинать и замертво свалиться в постель. А теперь, соорудив собственное ложе, почувствовал, что и есть-то расхотелось, и лег. Но сон не приходил ко мне. Я прислушивался, не вернется ли кто из хозяев. Потом зажег газовую лампу и взялся за книгу, но так и не мог сосредоточиться, потому что все слушал. Наконец задремал, проснулся в темноте, выглянул наружу — никого и ничего. Сон у меня — сколько его осталось до утра — был беспокойный и прерывистый.

На рассвете я поднялся и сотворил себе обильный, обстоятельный, отнявший у меня массу времени завтрак. Взошло солнце и сразу отыскало окна. Я прогулялся к реке за компанию с Чарли, пришел обратно, успел даже побриться и обтереться губкой, став в бадейку. Солнце было уже высоко. Я подошел к конторе и отворил дверь. Холодильник гудел, в остывшую мыльную воду в раковине капало из крана. Недавно народившаяся муха с обвислыми крылышками в ярости ползала по пластмассовому колпаку, под которым лежали пирожки. В половине десятого я уехал, а в конторе так никто и не появился, во всем мотеле не было ни звука, ни движения. Щитки у дороги по-прежнему сообщали «Открыто» и «Есть Свободные Номера». Я переехал на тот берег по железному мосту, прогремывая по его рифленным стальным плитам. Безлюдье этого мотеля как-то встревожило меня и, кстати говоря, тревожит и до сих пор.

Во время моих разъездов бок о бок со мной часто путешествовали сомнения. Меня всегда восхищали те журналисты, которые нагрянут в какое-нибудь место, поговорят с кем надо о том, о чем надо, подберут несколько типичных высказываний на злободневные темы, а потом напишут гладенький отчет о своей поездке, похожий на дорожную карту. Такая техника вызывает во мне зависть, но в то же время и сомнение, можно ли с ее помощью отразить реальность. Реальностей много, слишком много. Написанное здесь будет сохранять верность оригиналу лишь до тех пор, пока кто-нибудь другой не проедет этими же местами и не перестроит мир на свой лад. Так и в литературе: литературный критик, хочет он того или не хочет, подгоняет жертву, на которую падает его взгляд, под собственный рост и размер.

И в этой книге я не собираюсь обманывать самого себя, будто имею дело с постоянными величинами. Много лет

назад мне пришлось побывать в старинном городе Праге. В одно время с нашим известным журналистом Джозефом Олсопом, который славится, и вполне заслуженно, своими очерками и корреспонденциями. Он беседовал с хорошо осведомленными людьми — должностными лицами, послами, он читал разные материалы, даже то, что петитом, и всякую цифирь, тогда как я со свойственным мне разгильдяйством шатался по городу в компании актеров, цыган, бродяг. В Америку мы с Джо летели одним самолетом, и дорогой он рассказывал мне о Праге, но его Прага не имела ничего общего с той, которую узнал и услышал я. Это было нечто совсем другое. Мы с ним оба люди честные, не лгуны, оба наделены наблюдательностью, с какой меркой к нам ни подходи, а привезли домой каждый свой город, свою правду. Вот почему я не поручусь вам, что здесь будет рассказано про ту Америку, какую найдете вы. В ней много всего можно увидеть, но в утренние часы нашим глазам открывается совсем иной мир, чем днем, а уж в уставших к вечеру глазах и подавно отражается только усталый вечерний мир.

В воскресенье, в последний мой день в Новой Англии — дело было в одном из городов штата Вермонт — я побрился, надел парадный костюм, начистил башмаки, скорчил ханжескую мину и отправился помолиться Господу Богу. Несколько церквей я отверг, уж не помню почему, но, увидев реформатскую, свернул в ближайший переулок, поставил там Росинанта, чтобы он не бросался в глаза, проинструктировал Чарли относительно охраны нашего пикапа и размеренными, полными достоинства шагами проследовал к церкви, сооруженной из ослепительно-белого теса. Место мне нашлось на задней скамье этого сверкающего чистотой, надраенного храма Божия. Молитвы, читавшиеся там, били в самую суть дела, обращая внимание Всевышнего на некоторые слабости и не совсем богоугодные склонности, которые, как мне известно, водились за мной, а потому, полагаю, не были чужды и остальным молящимся.

Богослужение породило веселие в моем сердце и, надеюсь, также и в душе. С таким подходом к натуре человеческой мне уже давно не приходилось сталкиваться. У нас теперь принято, во всяком случае в больших городах, на слово верить священнослужителям, знакомым с психиатрией, будто грехи наши на самом деле вовсе не грехи, а результат случайного стечения обстоятельств, возникающих по воле сил, кои вне нашей власти. В этой церкви подоб-

ной белибердой не занимались. Священник, человек железный, со взглядом тверже стали и голосом, въедливым, как пневматическая дрель, начал службу с молитвы, доказывая ею, что все мы порядочная шушера. И он был прав. С первых же дней жизни мы не Бог весть какие сокровища, а уж чем дальше, тем все больше и больше катимся под уклон по причине собственной суетности. Смягчив таким образом наши ожесточенные души, пастырь произнес проповедь, блистательную проповедь, из которой так и вымахивали языки адского пламени в клубах серы. Доказав, что все мы, а может быть, только я один, ни черта не стоим, он хладнокровно и уверенно нарисовал, что нас ждет впереди, если мы не перестроимся самым коренным образом. Впрочем, особых надежд на это у него не было. Об аде он говорил со знанием дела, и это был не тот розовенький адик, которым довольствуются наши мягкотелые современники, а хорошо отапливаемая, добела раскаленная преисподняя, где котлы шуруют крупные специалисты. Его преподобие оперировал близкими нам понятиями: топят там жарко — антрацитом, тяга прекрасная, а у мартенов, вкладывая всю душу в свою работу, трудится большой штат чертей, и над кем трудится? Надо мной! Я почувствовал себя просто молодцом. За последнее время Господь Бог перешел с нами на короткую ногу, набиваясь в друзья-приятели, а при таких отношениях возникает чувство пустоты, как у мальчишки, с которым отец затеял игру в мячик. Но этот вермонтский бог принимал меня всерьез и не жалел сил, чтобы задать мне жару. Он выставил мои прегрешения в новом свете. До сих пор они были мелкие, убогие, гаденькие — такие, что чем скорее их забудешь, тем лучше, а этот служитель божий придал им размах, красочность и достоинство. За последние годы я стал не очень высокого мнения о собственной персоне, но если мои грехи выросли до таких масштабов, значит, для меня еще не все потеряно. Оказывается, я не какой-то там нашкодивший мальчуган, а грешник высшего класса, и мне за это всыпят по первое число.

Я так взыграл духом, что положил на тарелку целых пять долларов, а потом у выхода из церкви горячо пожал руку пастырю и тем из прихожан, кому успел. Сладостное чувство порочности не покидало меня до вторника. Я даже подумывал, не отлупить ли мне Чарли, чтобы ему тоже стало приятно, ибо греховности в Чарли только немногим меньше, чем во мне. В дальнейших своих переездах с места на место я что ни воскресенье, то обязательно посещал



«ЗИМА ТРЕВОГИ НАШЕЙ»



«ЗИМА ТРЕВОГИ НАШЕЙ»

церковь, выбирая каждый раз другое вероисповедание, но пастыря той, вермонтской старомодной закалки нигде больше не встречал. Религии, которую выковал он вместо прежней жвачки, хватит надолго.

В штат Нью-Йорк я въехал через Раузес-Пойнт и дальше старался держаться поближе к озеру Онтарио, потому что у меня было намечено посмотреть Ниагарский водопад, которого я никогда не видал, оттуда проехать по Канаде от Гамильтона до Виндзора, так чтобы озеро Эри все время находилось к югу от моего маршрута, и напоследок вынырнуть у Детройта, совершив таким образом небольшую победу над географией. Все мы, конечно, знаем, что у наших штатов у каждого свое лицо, чем они весьма гордятся. Не довольствуясь названиями, кои им полагаются, они обзаводятся еще и описательными прозвищами — Имперский штат, Садовый штат, Гранитный штат — и носят эти прозвища с такой гордостью, что их не заподозришь в недостатке самоуважения. Но теперь я впервые заметил, как сказывается индивидуальность каждого штата в языке его прозы, что особенно видно на дорожных указателях. Пересекаешь границу и сразу убеждаешься: совсем другой стиль. В штатах Новой Англии придорожные щиты поучают путешественников сухо, сдержанно, будто сквозь зубы, не тратя лишних слов и экономя буквы. Штат Нью-Йорк — Имперский — непрерывно орет на вас: «Стоп! Пошел! Держи влево! Держи вправо!» Через каждые десять футов новое имперское повеление. В Огайо надписи более благодушны. Там указания дают в тоне дружеского совета. В других штатах придерживаются такого велеречивого стиля, что хоть кого угодно собьют с толку. Кое-где вам заранее рассказывают, что вас ждет впереди в смысле дороги; в других штатах предпочитают, чтобы вы сами это выяснили.

Я жаден до всякого рода объявлений и надписей, и, на мой взгляд, блистательных вершин и лирических красот проза того или иного штата достигает на мемориальных досках и вывесках. Я установил, если не к вашему, то к своему собственному удовлетворению, что чем скромнее у штата прошлое и чем меньше у него на счету событий, в свое время потрясавших мир, тем больше в нем мемориальных досок и перечислений всяческих достопримечательностей. На Западе похваляются даже полузабытыми убийствами и налетами на банки. По принципу «чем мы хуже других» многие города чванливо вещают о своих знаменитых сынах, и путешественники прочитывают на памят-

ных досках и плакатах, протянутых поперек дороги: «Здесь родился Элвис Пресли» (или Коул Портер, или Алан П. Хаггинс). Это все, конечно, не ново. По-моему, еще маленькие города Древней Греции яростно спорили между собой, который из них родина Гомера. На моей памяти разгневанные граждане того города, где родился Синклер Льюис, требовали к себе этого «красного» после выхода в свет «Главной улицы», намереваясь вывалить его в смоле и в перьях. А ныне Соук-Сентр похвастается тем, что подарил миру такого писателя. Мы, как нация, жаждем обзавестись прошлым не меньше, чем Англия в то время, когда Джеффри Монмаутский состряпал свою «Историю британских королей», часть которых он просто выдумал, идя навстречу растущему спросу. И эта жажда иметь почтенное прошлое живет не только в штатах и отдельных общинах, но и в каждом отдельном американце. Специалисты по генеалогии до потери сознания просеивают мякину истории в поисках хоть зернышка чьей-то славы. Не так давно было доказано, будто Дуайт Д. Эйзенхауэр — потомок английского королевского рода. Но такое доказательство, если оно необходимо, лишний раз подтверждает, что все происходят от всех. По воспоминаниям моего деда, на месте городишки, где я родился, когда-то стояла среди болот кузница, а теперь, гордясь его блистательным прошлым, там устраивают ежегодные празднества в честь испанских сеньоров и питавшихся одними розовыми лепестками сеньорит. И эти сеньоры и сеньориты вытеснили из людской памяти маленькое жалкое племя индейцев, питавшихся кузнечиками и гусеницами, — тех, кто, собственно, и были тамошними первыми поселенцами.

Все эти факты очень интересны, но из-за них берешь под сомнение способность исторической науки отражать действительность. Такие мысли приходили мне в голову, когда я читал везде и всюду мемориальные доски и надписи исторического характера, — читал и думал про себя: вот так мифы вытесняют то, что было вправду.

Вот вам пример, хоть и весьма бесхитростный, того, как рождается миф. Приехав погостить в свой родной город, я разговаривал с одним дряхлым стариком, который знал меня еще ребенком. У него в памяти сохранилась ясная картина, как в одно зимнее утро мимо их дома брел весь синий и дрожащий от холода мальчуган — то есть я, — и плохонькая курточка была заколота у меня на тощей груди громадными булавками с лошадиной попоны. Эта история, сама по себе незначительная, показывает, откуда

берется материал, из которого потом возникает миф: бедное, страждущее дитя в дальнейшей своей жизни вознеслось на вершины славы — разумеется, относительной. И хоть и не помню этого случая, но знаю наверняка, что так быть не могло. Моя мать отличалась страстью к пришиванию пуговиц. Оторванная пуговица — это считалось не только неряшливостью, но и преступлением. Если б я заколол куртку булавками с лошадиной попоны, моя мать выпорола бы меня. Того, о чем рассказывал старый джентльмен, просто не могло быть, но этот рассказ так полюбился ему самому, что мне не удалось бы разубедить его, да я и не пробовал. Раз моему родному городу хочется видеть меня в курточке, заколотой булавками с лошадиной попоны, этого мифа не опровергнешь, особенно если будешь ссылаться на факты.

В штате Нью-Йорк — в Имперском штате, как выразились бы сочинители дорожных надписей, — хлестал дождь, холодный, безжалостный дождь. Но когда сверху так льет, стоит ли ехать к Ниагарскому водопаду? Меня же как раз угораздило начисто заплутаться на улицах маленького, но бесконечного городка, кажется, недалеко от Медины. Остановив Росинанта у обочины тротуара, я взялся за свой путеводитель. Но, чтобы найти правильный путь куда-то, надо знать, где ты находишься сейчас, а я понятия об этом не имел. Окна кабины у меня были наглухо закрыты, и их застило дождевыми потоками. По радио негромко играла музыка. Вдруг в окно мне постучали, дверца распахнулась настежь, и на сиденье рядом со мной протиснулся какой-то человек. Лицо у него было красное, дыхание спиртуозное; брюки держались на красных помочах, надетых поверх серой нижней рубашки с длинными рукавами.

— Выключите эту мерзость, — сказал он и сам выключил приемник. — Моя дочь увидела вас в окно, — продолжал он. — Решила: наверно, что-нибудь случилось. — Он посмотрел на карту у меня на коленях. — А это бросьте. Ну-с, так куда вам надо?

Не знаю почему, но ответить правдиво на такой вопрос человек не способен. А правда заключалась в том, что я выбирал дороги поспокойнее и свернул с магистрали № 104, так как там было чересчур уж большое движение и машины обдавали ветровое стекло Росинанта потоками воды. Мне надо было к Ниагаре. Так почему же не признаться в этом? Я взглянул на карту и сказал:

— Хочу попасть в Эри, штат Пенсильвания.

— Отлично, — сказал он. — Карты свои выбросьте.

Значит, поедете в обратную сторону, минуете два светофора и выедете на Эгг-стрит. По ней возьмете налево, и ярдов через двести будет поворот направо. Дальше улица все время петляет, и там увидите эстакаду, но на нее въезжать не надо. От эстакады налево улица пойдет дугой — вот так. Видите? Вот так.— Его рука описала кривую.— В том месте, где эта дуга выровняется, будет развилка. Три дороги. На углу той, что идет влево, высокий кирпичный дом, так вы туда не ездите, а поезжайте вправо. Ну, все запомнили? Можно дальше?

— А что тут не запомнить? — сказал я.— Проще простого.

— Ну, повторите. Не то заедете невесть куда.

От дуги я его уже не слушал.

— Знаете что, расскажите-ка мне еще раз,— попросил я.

— Так я и думал. Поедете в обратную сторону, минуете два светофора. По Эгг-стрит налево, а через двести ярдов крутой поворот направо. По той улице, что все время петляет, доедете до виадука, но на него не поднимайтесь.

— Ну, теперь мне все ясно,— быстро проговорил я.— Большое вам спасибо.

— Вот тебе на! — сказал он.— Я вас еще из города не успел выпроводить.

Из города он меня в конце концов выпроводил, и если б я мог запомнить его объяснения да еще последовать им, то по сравнению с этим путем Критский лабиринт показался бы мне прямым проспектом. Выполнив свой долг, приняв мою благодарность, он вылез из машины и громко хлопнул дверцей, но вечное мое малодушие (а что обо мне подумают?) вынудило меня все же поехать в обратную сторону, так как я знал, что этот человек следит за мной из окна. Я проехал два квартала и кое-как выбрался на шоссе № 104, уже не разбираясь, большое там движение или нет.

Ниагарский водопад очень мил. Похоже на сильно увеличенную рекламу на Таймс-сквер. Я очень доволен, что побывал там, так как отныне на вопрос: «Видели ли вы Ниагарский водопад?» — смогу ответить «да» и впервые в жизни не покривлю душой.

Я сказал своему советчику, будто еду в город Эри, штат Пенсильвания, и действительно попал туда, хотя

у меня этого и в мыслях не было. По моему плану мне предстояло пересечь провинцию Онтарио в самом узком ее месте, миновав не только Эри, но и Кливленд, и Толдо.

На основании долгого опыта я пришел к выводу, что мне люб всякий народ и ненавистно всякое правительство, и нигде мой природный анархизм не дает себя знать с такой силой, как на границах между государствами, когда приходится сталкиваться с добросовестными и расторопными чиновниками, которые по долгу службы ведают иммиграционными и таможенными делами. Контрабандой я в жизни своей не занимался. Почему же тогда близость таможни всякий раз рождает во мне какое-то тревожное чувство вины? Я проехал по высокому мосту, уплатив пошлину за проезд, преодолел нейтральную зону и подкатил к тому месту, где полосато-звездное знамя бок о бок соседствует с государственным флагом Соединенного Королевства. Канадцы были очень любезны. Поинтересовались, куда я еду и надолго ли, осмотрели Росинанта весьма поверхностно и наконец занялись Чарли.

— А свидетельство о прививке против бешенства у вас есть?

— Нет, нету. Видите ли, мой пес старый. Прививку ему, конечно, делали, но очень давно.

К нам подошел еще один таможенник.

— Тогда мы не советуем вам переезжать с ним через границу.

— Но я проеду Канаду только самым краешком и снова вернусь в Соединенные Штаты.

— Мы все прекрасно понимаем,— ласково убеждали они меня.— В Канаду вы со своей собакой проедете, а обратно ее не впустят.

— Но сейчас-то я нахожусь на американской территории и прививки с меня никто не требует.

— Потребуют, если ваш пес переедет границу и захочет попасть обратно.

— Ну хорошо. А где ему можно сделать прививку?

Этого они не знали. Мне предстояло повернуть назад по меньшей мере миль на двадцать, разыскать ветеринара, сделать Чарли прививку и возвратиться обратно. Заездом в Канаду я рассчитывал сберечь хоть немного времени, а такой поворот событий не только съедал сбереженные часы, но и хватал лишку.

— Поймите, пожалуйста, мы тут совершенно ни при чем, это постановление вашего правительства.

Вот, должно быть, почему я ненавижу власти — все, какие есть. Эти ссылки на постановления и на примечания к ним мелким шрифтом, за которые цепляются такие же мелкие людишки! И бороться не с чем, нет такой стены, по которой можно в отчаянии лупить кулаками. Я всецело одобряю прививки, уверен, что их надо проводить в обязательном порядке: бешенство — страшная вещь. Но в те минуты мне было ненавистно это правило, ненавистна всякая власть, диктующая нам разные постановления и законы. В данном случае важно было не то, сделана или не сделана прививка, а справка о ней. И так во всем: для власти клочок бумаги превышает фактов. Канадские таможенники оказались такими милыми людьми, я чувствовал их дружелюбие и готовность помочь. В те часы у них было затишье. Они напоили меня чаем, а моего пса угостили печеньем. Им, вероятно, и в самом деле было жалко, что мне придется ехать в Эри за какой-то бумажонкой. И я повернул вспять и проследовал к полосато-звездному знамени и к другому правительству. При выезде меня никто не остановил, но теперь шлагбаум был опущен.

— Вы американский гражданин?

— Да, сэр, вот мой паспорт.

— Имеете что предъявить?

— Я не переезжал границу.

— Справка на собаку о прививке против бешенства у вас есть?

— Он тоже не переезжал границу.

— Но вы едете из Канады?

— Я не был в Канаде.

В устремленных на меня глазах появился стальной отблеск, подозрение сдвинуло брови над ними в одну линию. Дело, видно, шло к тому, что времени у меня уйдет больше, чем только на поездку в город Эри.

— Пройдемте в помещение.

Этот приказ подействовал на меня, как стук в дверь, когда ждали гестапо. Гнев, паника и чувство вины — независимо от того, штрафовался ты в чем-нибудь или нет. Голос у меня стал скрипучий от благородного негодования, кое неминуемо настраивает оппонента на подозрительный лад.

— Будьте любезны пройти в помещение.

— Говорю вам, я не был в Канаде. Если б вы понаблюдали за мной, вы увидели бы, что я повернул обратно от границы.

— Сюда, пожалуйста, сэр.— Потом в телефонную трубку: — Нью-йоркский номерной знак. Такой-то и такой-то. Да. Пикап, с крытым кузовом. Да... собака.— И в мою сторону: — Какой породы ваша собака?

— Пудель.

— Пудель... Пудель, говорю. Бурый.

— Голубой,— сказал я.

— Бурый. О'кэй. Спасибо.

Хочется думать, что нотки сострадания в его голосе — вот, мол, святая простота! — мне только почудились.

— Они говорят, что вы не переезжали границу.

— То же самое говорил и я.

— Разрешите ваш паспорт.

— Зачем? Я же не выезжал из страны. И не собираюсь выезжать.

Тем не менее паспорт был подан. Он перелистал его, задержавшись на въездных и выездных визах, оставшихся от прежних моих путешествий. Внимательно рассмотрел мою фотографию, развернул желтый листок справки об оспопрививании, приколотый сзади к обложке. В самом низу последней страницы увидел полустертую карандашную запись — какие-то буквы и цифры.

— А это что такое?

— Не знаю. Дайте взгляну. Ах, это! Номер телефона.

— Почему он записан у вас в паспорте?

— Наверно, ничего другого под рукой не оказалось. Я даже не помню, чей это номер.

Теперь я был в полной его власти, и он знал это.

— Разве вам неизвестно, что мараить паспорт запрещено законом?

— Я сотру.

— На паспортах никаких записей делать не разрешается. Не положено.

— Я больше не буду. Обещаю вам.

И мне захотелось пообещать ему, что я не буду ни лгать, ни красть, ни водиться с распутницами, не пожелаю жены ближнего своего и так далее, и тому подобное. Он закрыл мой паспорт и вернул его мне. Не сомневаюсь, что, наткнувшись на этот телефонный номер, он почувствовал облегчение. А то каково бы ему было — столько приложить трудов и не найти, к чему придраться, да еще в такой час, когда на границе затишье!

— Благодарю вас, сэр,— сказал я.— Теперь можно ехать?

Он милостиво махнул рукой!

— Езжайте.

И вот почему мне пришлось отправиться в Эри, штат Пенсильвания — все по милости этого Чарли. Я проехал высокий стальной мост и остановился уплатить пошлину. Караульный высунулся из окна.

— Трогайте! — крикнул он. — Угощаем.

— Не понимаю.

— Я видел, как вы туда недавно проехали. Собаку вашу тоже видел. И знал, что вы вернетесь.

— А что бы вам меня предупредить?

— Да ведь говоришь — не верят. Трогайте. В один конец пропускаем бесплатно.

Вот что значит иметь дело не с правительством, а с человеком. Правительство же так вас затуркает, так принижит, что вам придется немало поработать над восстановлением чувства собственного достоинства. Мы с Чарли остановились в тот вечер в роскошнейшем мотеле, в таком, что по карману только богачам, в чертоге пышном, где «золото и серебро, и слоновая кость, и обезьяны, и павлины», да еще и ресторан с подачей в номера. Я потребовал льду и содовой воды, разбавил содовой шотландское виски и повторил. Потом вызвал в номер официанта, заказал себе суп, бифштекс, для Чарли фунт сырого фарша и чаевых дал сверх всякой меры. А прежде чем уснуть, придумал много всего, что следовало сказать тому чинуше на границе, и некоторые мои реплики были просто потрясающие по находчивости и прямо-таки резали без ножа.

С самого начала своего путешествия я избегал широких, рассчитанных на большую скорость движения гидродинамических лент, которые именуются автострадами или сверхскоростными магистралями. Впрочем, в разных штатах их называют по-разному. Но я слишком задержался в Новой Англии, зима набирала темп, и мне все казалось, что я обязательно застряну в снегах где-нибудь в Северной Дакоте. В конце концов пришлось выбраться на федеральное шоссе № 90 — широченную, похожую на глубокий разрез, сверхскоростную магистраль с многорядным движением, по которой наша страна перевозит свои грузы.

Росинант быстро катил по ней. Минимальная скорость на этой магистрали была значительно выше тех, которых я до сих пор придерживался. Мы въехали в ветер, ударивший нас с правого борта, и я сразу ощутил крепкие, подчас сокрушительные удары вихря, с моей же помощью

и возникающего. Он с пронзительным свистом огибал углы кузова Росинанта. Вдоль дороги мелькал окрик за окриком: «Без остановки! Не останавливаться! Сохранять скорость движения!» Грузовики длиной с товарный вагон, оглушительно рыча, проносились мимо, рождая ветер силы кулачного удара.

Эти гигантские трассы великолепно приспособлены для доставки грузов, но не для обозревания окрестностей. Вы прикованы к рулю, а ваши глаза — к впереди идущей машине и к зеркалу заднего вида, отражающему сзади идущую, и к боковому, где того и гляди покажется легковая или грузовик, и в то же время вам надо замечать все дорожные знаки, чтобы (упаси боже!) не прозевать какого-нибудь запрета или указания. Ни киосков с продажей фруктовых соков, ни лавочек, торгующих всякой стариной, или одеждой, или сельскохозяйственными продуктами. Когда мы протянем такие магистрали по всей стране, что сделать необходимо и что, конечно, со временем будет сделано, тогда люди смогут проехать от Нью-Йорка до Калифорнии, ничегошеньки вокруг себя не увидев.

Через определенные промежутки на этих магистралях попадаются станции, где можно отдохнуть, отвлечься от дороги, и там есть всякая снедь, горячие блюда, бензин и масло, почтовые открытки, столики под открытым небом, свежеевыкрашенные мусорные баки и уборные такой девственной чистоты и так пропитанные всякими благовонными дезодорантами и дезинфицирующими средствами, что после визита туда чувство обоняния возвращается к человеку не сразу. Эти дезодоранты не совсем правильно названы, ибо они заменяют один запах другим, и замена должна быть гораздо сильнее и въедливее того, что она одолевает. Я слишком давно не уделял внимания своей стране. И за то время, пока мы с ней были в разлуке, цивилизация шагнула далеко вперед. Раньше, помню, опустив монету в автомат, вы получали жевательную резинку или шоколадку, но теперь в этих роскошных придорожных заведениях стоят целые агрегаты, которые за монеты разного достоинства сами торгуют пакетиками с расческой и пилкой для ногтей, носовыми платками, лаком для волос и прочей косметикой, аптечками для оказания первой помощи, кое-какими патентованными медикаментами вроде аспирина, слабительных и тонизирующих средств. Эти агрегаты буквально завораживали меня. Допустим, вам захотелось утолить жажду; вы выбираете свое излюбленное — сангрейп или кока-колу, нажимаете кнопку, суετε

монету в щель и делаете шаг назад. В круглое гнездышко сверху опускается бумажный стаканчик, и, не достигая краев ровно на четверть дюйма, в него вливается струя холодного, освежающего стопроцентно синтетического напитка. Кофейные автоматы еще интереснее, потому что лишь только горячая черная жидкость иссякнет, в стакан прыснет струйка молока и рядом ляжет сахар в бумажной обертке. Но полное торжество техники — это суповой автомат. Вам предлагают на выбор десять разных супов — гороховый, куриную лапшу, овощной с мясом. Опускайте монету. В нутре этого великана начинает что-то рокотать, вспыхивает надпись: «Подогревается». Через минуту начинает мигать красная лампочка, и мигает она до тех пор, пока вы не отворите маленькую дверцу и не возьмете бумажный стакан с обжигающе горячим супом.

Это вершина своего рода цивилизации. Рестораны с полукругами стоек и табуретками, крытыми под кожу, ослепляют чистотой, как уборные, и, кстати, на них и смахивают. Все, что можно изловить и полонить, запечатано в прозрачный целлофан. Еда подается прямо с пылу с жару, безукоризненно чистая и безвкусная, не тронутая руками человека. Я с тоской вспоминал некоторые блюда в Италии и Франции, в приготовлении которых участвовала не одна пара человеческих рук.

Эти станции, где можно отдохнуть, поесть и заправить машину, очень хорошо содержатся — всюду зеленые газоны, цветы. Со стороны фасада, ближе к дороге, стоянка для легковых машин и шеренги бензиновых колонок. Грузовики — трансконтинентальные громадины с прицепами — заезжают сзади, и там их и обслуживают. Поскольку по техническим данным Росинант подходил под определение грузовика, его место тоже было сзади, и у меня вскоре завелись знакомства с тамошней публикой. Водители грузовых машин дальнего следования — особое племя, не соприкасающееся с жизнью, которая его окружает. Их жены и дети живут в городах и поселках, а сами они пересекают страну из конца в конец, доставляя к месту назначения всяческие продукты, товары, машины. Эти люди держатся особняком, своей компанией, говорят на своем, шоферском языке. И хотя мой пикап был скорлупкой среди мастодонтов транспорта, их водители благоволили ко мне и помогали, чем могли.

Я узнал, что в парках для грузовиков есть душевые с мылом и полотенцами, что при желании машину можно оставить на стоянке, а самому ночевать под крышей. Шо-

феры почти не общались с населением, но, будучи большими любителями радио, могли рассказать обо всем, что делается у нас в стране и в повседневной жизни, и в политике. Эти станции с закусочными и бензоколонками находятся в ведении штатоз, но на других автострадах есть и частновладельческие, где шофер грузовика может получить скидку на горючее, на койку и душ и посидеть и потрепаться на досуге. Но если б моими собеседниками оказались только эти люди, которые были связаны между собой профессионально, вели обособленный образ жизни и с посторонними не водились, я, пожалуй, проехал бы всю страну, даже не поговорив ни с кем из коренных ее жителей. Ибо шоферы грузовиков курсируют по самой поверхности нашей страны, не имея с ней более глубокой связи. Разумеется, в тех городах, где живут их семьи, есть у них и корни — клубы, дансинги, любовные дела и убийства.

Водители грузовиков мне понравились, но я вообще питаю симпатию ко всякого рода специалистам. Прислушиваясь к их разговорам о покрышках, рессорах, перегрузке, я обогащал свой словарь языком больших автострад. У тех, кто водит машины дальнего следования, всегда есть знакомые среди персонала заправочных станций — механики, официантки за стойкой, сталкиваются они там и с шоферами встречных грузовиков, идущих тем же рейсом. Чашка кофе — вот великий символ дорожного братства. Я сам не раз ловил себя на том, что мне нужен не столько горячий кофе, сколько отдых, отвлечение от бесконечно разматывающегося перед глазами дорожного полотна. Вести грузовик за тысячи миль — дело нелегкое, тут требуется и физическая сила, и выдержка, и сосредоточенность, хотя электроустройство и пневматические тормоза, облегчающие управление, во многом упрощают работу шофера. Интересно было бы выяснить (а при современной измерительной технике сделать это нетрудно), какое количество энергии в футо-фунтах затрачивается на вождение грузовика при шестичасовом рабочем дне. Когда мы с моим другом Эдом Риккетсом занимались ловлей всякой морской живности и ворочали камни в поисках ее, нам как-то пришло в голову подсчитать, сколько в среднем мы поднимали тяжестей за один день. Камни были не такие уж большие — от трех до пятидесяти фунтов. И выяснилось, что в дни богатого улова, когда особой затраты и не чувствовалось, каждый из нас поднимал от четырех до десяти тонн камня. Почти незаметные движения рук при по-

вороте руля — в среднем на каждое падало по фунту, различные по силе нажатия ногой на педаль акселератора — на каждое, пожалуй, не более полуфунта. Но каков будет итог за шесть часов! Кроме того, не забывайте мускулатуру шеи и плеч, которая, хоть и без участия сознания, все же непрерывно напряжена на случай всяких неожиданностей; взгляд, то и дело перебегающий с дороги к зеркалу заднего вида; тысячи решений, принимаемых в таких глубинах, что мысль даже не успевает учесть их. Расход энергии, нервной и мышечной, огромен. И поэтому те минуты, что проводишь за чашкой кофе, — это отдых во всех смыслах.

Мне часто приходилось сидеть с шоферами грузовиков за одним столом, прислушиваться к их разговорам и время от времени самому задавать кое-какие вопросы. И вскоре я понял, что знания страны, по которой они колесят, от них ждать нечего. Шоферы грузовых машин соприкасаются со своей страной только на заправочных станциях. И мне стало ясно: да ведь они похожи на моряков! Помню, в первое мое плавание меня поразило, что люди, которые где только ни побывали, какой только экзотики, каких чудес ни коснулись в чужеземных портах, так и не проникли в этот мир дальше его порога. Некоторые шоферы, работающие на дальних рейсах, ездили парами и менялись за рулем. Свободный спал или читал какую-нибудь книжонку. В пути интересы у них были общие: как себя ведет мотор, какая стоит погода и не выйти бы из графика. Кто постоянно курсировал взад и вперед, кто ездил только в разовые рейсы. Это целый жизненный уклад, чуждый людям, осевшим вдоль путей следования больших грузовых машин. Я не так уж много узнал об этих шоферах, но и этого было вполне достаточно, чтобы захотелось узнать о них побольше.

Когда водишь машину долгие годы, вот как я, почти все реакции становятся автоматическими. Все делается само собой. Техника вождения в большей своей части залегает в глубинах подсознательного. А поскольку это так, сознание наше может свободно предаваться размышлениям. О чем же люди думают, сидя за рулем? Когда путь короткий, вероятно, о тех, к кому едут, или о том, что было там, откуда они уехали. Но если дорога дальняя, какой тут открывается простор для мечтаний и — Господи, помилуй нас грешных! — даже для мыслей. Про другого никогда не узнаешь, как он себя проявляет в этой области. А что касается меня, то я обдумывал строительство

домов, которые мне никогда не построить, разбивал сады, которым никогда не цвести, изобретал способ выкачивания ила и разложившихся раковин со дна нашей бухточки в Сэг-Харборе, обессоливания его и доставки на наш участок, чтобы почва там была тучная, плодородная. Не знаю, осуществятся ли когда-нибудь эти планы, но, сидя за рулем, я разрабатывал их самым подробным образом, вплоть до устройства насоса и бункеров для обработки ила, и придумывал, как брать пробы на соленость. Сидя за рулем, я сооружал мысленно капканы для ловли черепах, сочинял длинные, обстоятельные письма, которые никогда не будут написаны, не то что отосланы. Если по радио передавали музыку, она наводила меня на воспоминания о местах и людях, они оживали передо мной, точно на подмостках, и я видел все как было и мог повторить слово в слово все, что тогда говорилось. Мое воображение создавало новые сценки, не менее законченные и убедительные,—сценки, которым никогда не бывать. Я сочинял в уме рассказы, посмеивался, когда выходило смешно, огорчался или радовался, принимая близко к сердцу и то, что в них происходило, и то, как они у меня складывались.

О других могу только догадываться: одинокий человек, вероятно, населяет свои мечты друзьями; кому не повезло в любви, окружает себя милыми, любящими женщинами, а по мечтам бездетного водителя карабкаются ребятки. Что же сказать о раздолье для всяких покаянных мыслей? Ах, если бы я сделал то-то и то-то или не говорил того-то и того-то, ведь не свалились бы на меня эти беды! Обнаружив в самом себе такие задатки, я вправе подозревать их и в других, но ручаться не буду, ибо в этом тебе никто не признается. И вот почему в своем путешествии, предпринятом ради наблюдений, я по мере возможности старался держаться второстепенных дорог, где столько всего видишь, слышишь и чувствуешь, и избегал больших, широких автомагистралей, наводящих человека на мечтательный лад. Я ехал по широкой, однообразной трассе, именуемой федеральным шоссе № 90, которое ведет к Мэдисону, штат Огайо; минуя Буффало и Эри, свернул на федеральное шоссе № 20, такое же широкое и требующее такой же быстрой езды, и через Кливленд и Толидо въехал в Мичиган.

На трассах, вытекающих из крупных индустриальных центров, мне попадалось много передвижных домов (так называемых мобилей) на буксирах у специально приспособ-

ленных для их перегона грузовых машин, и так как эти передвижные дома послужили мне материалом для кое-каких обобщений, давайте сейчас о них и поговорим. С первых же дней своего путешествия я обратил внимание на это новшество в нашем подлунном мире, на огромное количество таких домов, и поскольку они получают у нас все большее распространение, мне следует заняться ими и, может быть, даже использовать их для кое-каких умозаключений. Это не прицепы, которые тянутся за вашим же собственным автомобилем, а сверкающие полировкой жилища длиной с пульмановский вагон. В начале пути я видел только выставочные площадки, где их можно было купить или обменять, но потом мне стали попадаться целые парки, в которых мобили оседают, но не навсегда. В Мэне я приохотился ночевать в таких парках и разговаривал с управляющими и обитателями этих жилищ нового типа, ибо чаще всего они селятся однородными группами.

Передвижные дома построены превосходно — облицовка у них алюминиевая, стены двойные, а некоторые даже обшиты фанерой из твердых древесных пород. Есть громадины — футов сорока в длину, от двух до пяти комнат, с установками для кондиционирования воздуха, уборными, ванными и, разумеется, с телевизорами. Парки, в которых они ведут оседлый образ жизни, иногда бывают красиво спланированы — много зелени, цветов — и всегда полностью оборудованы. Я разговаривал с управляющими таких парков-стоянок, и они все были энтузиасты своего дела. Мобиль ввозят в парк, водружают на блоки, подводят под него резиновую канализационную трубу, присоединяют водопровод и электричество, ставят телевизионную антенну, и семья водворяется на свое новое местожительство. Мне говорили, что, по данным за прошлый год, на каждые четыре дома, строящиеся в Америке, приходится один мобиль. В парках с них берут небольшую плату за участок, воду и электричество. Почти в каждом мобиле телефон, причем установка аппарата чрезвычайно проста: воткнул штепсель в розетку — и подключился. В некоторых парках есть свои продуктовые магазины, а нет, так можно съездить в ближайший торговый центр — они разбросаны повсюду. Нехватка места для автомобильных стоянок в городах заставляет эти большие универмаги выбираться в сельские местности, где им, кстати, не приходится платить городские налоги. Это относится и к паркам мобилей. Тот факт, что эти дома можно перемещать, не значит, что они постоянно в разъездах. Зачастую их владельцы живут по

нескольку лет на одном месте, разбивают сады, огораживают их невысокими стенами из шлакоблоков, обзаводятся парусиновыми тентами и садовой мебелью. Для меня был внове весь этот жизненный уклад. Такие дома вообще не дешевы, а те, что пороскошнее, стоят очень больших денег. Из дорогих я видел и по двадцать тысяч долларов, там были все те бесчисленные удобства, с которыми мы так свыклись,—электрические мойки для посуды, стиральные машины и сушилки, холодильники и морозилки.

Тамошние обитатели не только разрешали осматривать свои жилища, но с превеликой охотой и с гордостью показывали их. Комнаты в мобилях хоть и небольшие, но хорошо спланированные. Все, что можно убрать в стены, встроено. Широкие окна — кое-где их даже называют панорамными —скрадывают впечатление замкнутого пространства; спальни вместительные, кровати широкие, а уж сколько всего можно уложить и спрятать на антресолях и в чуланчиках — уму непостижимо. Я убеждался, что наш быт претерпевает революцию и она заметно набирает темп. Почему семья предпочитает жить в мобиле? Да потому, что такое жилье удобно, все в нем под рукой, и его легче содержать в порядке, легче отапливать.

В Мэне я услышал:

— Надоело мне жить в холодном сарае, где ветер свищет во все дыры, надоела эта мука — и такой налог вноси и эдакий. Здесь тепло, уютно, а летом в комнатах прохлада, потому что кондиционированный воздух.

— Примерно какие доходы у тех, кто покупает эти мобили?

— Да разные. Большей частью в пределах от десяти до двадцати тысяч долларов.

— Чем вы объясняете увеличение спроса на них? Может быть, неуверенностью в постоянном заработке?

— Да, пожалуй, не без этого. Кто знает, что нас ждет завтра? Здесь живут механики, инженеры, архитекторы, бухгалтеры, кое-где даже врача можно встретить и дантиста. Если завод или фабрика закроется, вы не сядете на мель со своей недвижимостью, которую не продашь. Предположим, у человека есть работа и он покупает дом, а на предприятии вдруг сокращение производства. Дом совершенно обесценивается. А если семья живет в мобиле, он подряжает грузовик, снимается с места — ему и горя мало. Переезжать им, может, никогда не придется, но одно сознание, что это возможно, само по себе успокаивает.

— На каких условиях они продаются?

— В рассрочку, как машины. Все равно что за квартиру платить.

И тут я понял стимул, властвующий чуть ли не во всех областях жизни в нашей стране. Модели этих передвижных домов ежегодно совершенствуются. Если дела у вас идут хорошо, вы обмениваете свой дом на новую модель, точно так же как поступают с автомобилями те, кому такая практика по средствам. Это придает вам весу в обществе. Цена, по которой принимают старые передвижные дома, выше той, что установлена для легковых машин, так как они пользуются большим спросом. И дорогую когда-то модель через несколько лет может купить семья с меньшим достатком. Такое жилище не требует частого ремонта, не требует покраски, потому что корпус у него большей частью алюминиевый. Кроме того, оно не подвержено колебаниям цен.

— А как же со школами?

Школьный автобус сажает детей у самого парка и потом привозит обратно. Глава семьи ездит на работу на легкой машине, а вечером она везет все семейство в кино, и, не вылезая из нее, они смотрят фильмы под открытым небом. Жизнь здесь, на свежем воздухе, полезна для здоровья. Платежи, правда, немалые и обрастают процентами, но они не выше тех, что приходилось вносить за городскую квартиру, которую домохозяин и топить скупится, если с ним не повоюешь. А где еще вы найдете такое удобное помещение на первом этаже и чтобы стоянка для машины была у самого входа? Где еще ребятам можно завести собаку? Действительно, собаки были чуть ли не в каждом мобиле, к величайшему восторгу Чарли. Я дважды получал приглашения к обеду в такие дома и несколько раз смотрел в них футбол по телевизору. Управляющий одного парка говорил мне, что при подыскании и покупке места для стоянок едва ли не первейшая забота — это хорошие условия приема телевизионных передач. Поскольку мне не требовалось никаких удобств — ни канализации, ни водопровода, ни электричества — за ночь с меня брали всего один доллар.

Этот кочевой люд вовсе не стремится к постоянству — вот что больше всего бросалось в глаза в таких парках. Мобили покупают не для потомства, а лишь на то время, пока не выпустят сходную по цене новую модель. Парки отнюдь не единственное пристанище для таких домов. Сотни их располагаются около ферм, а почему — это мне тоже растолковали. Было время, когда по случаю женитьбы сы-

на, появления в семье невестки, а потом и внуков к дому добавляли крыло или хотя бы небольшую пристройку. Теперь же чаще всего это заменяет мобиль. Фермер, у которого я покупал яйца и бекон домашнего копчения, поведал мне, в чем тут преимущество. Обе семьи живут обособленно, о чем раньше и думать не приходилось. Стариков не раздражает плач младенцев. Проблема свекрови теряет свою остроту, потому что невестка живет отдельно, чего прежде никогда не бывало, и у нее есть свое собственное жилье — место, где можно строить новую семью. Если молодые уезжают — а ведь чуть ли не все американцы то и дело ездят с места на место или мечтают уехать, — после них в родительском доме не остается пустующих и, следовательно, никому не нужных комнат. Отцам и детям стало легче ладить между собой. Сын приходит к родителям как гость, а родители — гости у него в доме.

Среди владельцев мобилей попадаются и одиночки, и с ними я тоже разговаривал. Проезжая по шоссе, видишь где-нибудь высоко на пригорке передвижной дом, поставленный с таким расчетом, чтобы из его окон открывался широкий вид. Другие прячутся под деревьями на берегу реки или озера. Одиночки берут в аренду крохотные участки. Им нужно только место, где поставить свое жилище, и право прохода к нему. На таких участках иногда видишь вырытый колодец, выгребную яму и маленький садик, но воду большей частью завозят сюда в баках из-под технического масла вместимостью в пятьдесят галлонов. Кое-кто из одиночек, проявляя немалую изобретательность, поднимает цистерну с водой выше уровня, на котором стоит дом, и подводит к нему пластмассовую трубку, чтобы вода шла сверху самотеком.

Одна из тех трапез, которые я разделял с хозяевами мобилей, была приготовлена в ослепительно чистой кухне, выложенной сверху донизу пластиковой плиткой, с раковинами из нержавеющей стали, с плитой и духовкой, вмонтированными заподлицо со стеной. Горючим служил бутан или какой-нибудь другой газ в баллонах, которые продаются повсюду. Мы обедали в нише с панелями под красное дерево. Не припомню другого такого вкусного и уютного обеда. Моим вкладом была бутылка виски, и, пообедав, мы уселись в удобные глубокие кресла с сиденьями из пенопласта. Мои хозяева были очень довольны тем, как им удалось устроиться здесь, у них и в мыслях не было возвращаться к прежнему образу жизни. Глава семьи служил механиком в гараже мили за четыре от дома и хорошо за-

рабатывал. Двое детей каждое утро выходили на шоссе, где их забирал желтый школьный автобус.

Потягивая после обеда виски с содовой, прислушиваясь к плеску воды в электрической мойке на кухне, я поднял вопрос, который последнее время не выходил у меня из головы. Люди эти были хорошие, неглупые, вдумчивые. Я сказал:

— Мы с малолетства уходим корнями в ту или иную почву, в ту или иную среду. Корни — это чуть ли не самое дорогое для человека.

Как они относятся к тому, что их дети растут без корней? Хорошо это или плохо? Не придется ли им когда-нибудь пожалеть об этом?

Ответил мне глава семьи — красивый блондин с темными глазами.

— У многих ли сейчас есть то, о чем вы говорите? Какие могут быть корни, когда живешь в квартире на двенадцатом этаже? Какие могут быть корни в районах новых застроек, где сотни и тысячи почти одинаковых маленьких домиков? Мой отец приехал из Италии, — говорил он. — Вырос в Тоскане, в том самом доме, где его предки жили, может, тысячу лет. Вот вам корни — ни водопровода, ни канализации, а топливо — древесный уголь или виноградный сушняк. Комнат в доме было всего две — кухня и спальня, и валялись они там вповалку — дед, отец и все ребятишки. Негде ни почитать, ни побыть одному, и так всю жизнь. Что же, это лучше, по-вашему? Дать бы моему старику возможность выбора — порубил бы он свои корни и стал бы жить, как мы живем. — Он повел обеими руками, показывая свою уютную комнату. — По правде говоря, отец так и сделал: корни обрубил и уехал в Америку. А в Америке поселился в Нью-Йорке — однокомнатная квартира, ни лифта, ни центрального отопления, ни горячей воды. Там я и родился и провел детство на улице, а потом отец нашел работу на виноградниках в северной части штата Нью-Йорк. Он ведь у меня был виноградарь, кроме этого, пожалуй, ничего и не умел толком. А возьмите мою жену. Она ирландка. У ее родни тоже были корни.

— В торфяном болоте, — сказала его жена. — А ели одну картошку.

Она с нежностью посмотрела в открытую дверь на свою красивую кухню.

— А вам не хочется чего-то более постоянного в жизни?

— У кого оно есть, это постоянное? Фабрика закрылась — двинулся дальше. Времена стали лучше, где-то можно устроиться — туда и подался. А с корнями сиди сиднем и лязгай зубами от голода. Про первых пионеров что написано в книжках по истории? Эти мохом не обрастали. Поднял целину, участок продал — и в путь-дорогу. Я читал про Линкольна, как его родичи приехали в Иллинойс на плоту. Несколько бочонков самогонного виски — вот и весь их капитал. А много ли в Америке ребят, которые остаются жить в родных местах? Как подрастут, так и уезжают при первой же возможности.

— Я вижу, вы немало над этим думали.

— А тут и думать нечего. Как есть, так и есть. У меня хорошее ремесло. Пока бегает по свету автомобиль, я без работы не останусь. Если гараж прогорит, уеду в другое место и там устроюсь. Здесь мне до него три минуты езды. А вы хотите, чтобы я мотался за двадцать миль, лишь бы у меня были корни.

Позднее они показали мне журналы, рассчитанные исключительно на читателей, живущих в мобилях, — там были рассказы, стихи на эту тему и всякие советы. Как лучше наладить свою передвижную жизнь. Как починить водопроводный кран. Как выбрать место для стоянки — одни предпочитают в тени, другие на солнце. В этих журналах рекламировались разные хозяйственные приспособления, всякие чудесные штучки, облегчающие стряпню, уборку, стирку; рекламировались предметы обстановки, кровати — большие и детские. На фото во всю страницу сверкали алюминием новые модели передвижных домов, один другого роскошнее.

— Таких сейчас тысячи, — сказал мой собеседник, — а будут миллионы.

— Джо у нас фантазер, — сказала его жена. — Вечно он что-то замышляет. Расскажи, Джо, о чем ты мечтаешь.

— Может, ему вовсе не интересно.

— Наоборот, очень интересно.

— Зря она называет меня фантазером. Это все вполне доступно, и я своего скоро добьюсь. Нужен небольшой капитал, но все затраты со временем окупятся. Я сейчас все езжу на распродажи, смотрю, не найдется ли какой-нибудь старый мобиль по сходной цене. Нутро у него долой — и оборудую под ремонтную мастерскую. Инструментов у меня почти полный набор, осталось еще запасти впрок всякую мелочь — дворники, вентиляторные ремни, поршневые кольца, свечи, шины и тому подобное. Вы еще то уч-

тите, что такие парки, как наш, день ото дня разрастаются. У некоторых здесь по две легковые машины. Вот я и думаю арендовать где-нибудь поближе участок в сотню футов и открыть свое дело. В машине какая она ни на есть, всегда что-нибудь ломается, это уж будьте спокойны! И всегда ей нужен ремонт. Дом у меня, вот этот самый, будет рядом с мастерской. Проведу звонок, и по вызову, пожалуйста, хоть круглые сутки.

— Здорово придумано,— сказал я. И это на самом деле было здорово.

— А что лучше всего? — продолжал Джо.— Допустим, тут застопорило, снялся с места и махнул туда, где с работой полегче.

Его жена сказала:

— У Джо на бумаге уже все размечено, всякому инструменту свое место — где будут лежать гаечные ключи, где сверла и даже электросварочный агрегат. Джо замечательный сварщик.

Я сказал:

— Беру свои слова обратно, Джо. В тавоте ваши корни не засохнут.

— А вы говорите! Я, знаете, даже вот о чем думал: когда ребята подрастут, мы будем уезжать зимой на юг, а летом на север. Дорога-то окупится, потому что мастерская на ходу.

— У Джо золотые руки,— сказал его жена.— В гараже у него постоянная клиентура. Некоторые приезжают за пятьдесят миль, лишь бы попасть к нему, потому что он мастер своего дела.

— Я правда хороший механик,— сказал Джо.

Ведя машину по большой автостраде на подступах к Толидо, я разговорился с Чарли о корнях. Он слушал, но помалкивал. В своих рассуждениях на эту тему, уже принявших шаблонную форму, мы упускаем из виду два обстоятельства. Может же быть, что американцы, как люди беспокойные, непоседливые, никогда не удовлетворяются своим местопребыванием, если они не сами его выбрали? Пионеры, иммигранты, заселившие наш континент, были из самых беспокойных в Европе. А те, кто пустил в Старом Свете глубокие корни, как сидели дома, так и до сих пор сидят. Но мы, все до единого, если не считать негров, которых привезли к нам в рабство, происходим от своевольных, от беспокойных людей, от тех, кому не сидится дома. Было бы странно, если бы мы не унаследовали от них эту непоседливость. И наследство вот оно, налицо.

Но это упрощенный подход к делу. Что же такое корни и давно ли мы обзавелись ими? Если род человеческий существует несколько миллионов лет, какова его история? Наши далекие предки шли за дичью, подавались на новые места следом за своим пропитанием, убегали от сурового климата, от надвигающихся льдов, от смены стужи и зноя. Миновали тысячелетия, им же несть числа, а люди приручили некоторых животных и стали жить бок о бок со своим пропитанием. Теперь в силу необходимости им приходилось подаваться в те места, где был подножный корм для их скота. И лишь тогда, когда в обиход человека вошло хлебопашество — а если вести счет на века, это произошло не так уж давно, — клочок земли приобрел для него ценность и смысл, как нечто постоянное. Но земля — ценность материальная, а материальные ценности обычно сосредоточиваются в руках немногих. И вот кое-кому земля понадобилась как собственность, а следовательно, понадобился и подневольный труд, потому что ее надо было обрабатывать. Корни уходили в землю, которой человек владел, в нечто материальное, недвижимое. Если ставить вопрос так, то мы, люди, — существа непоседливые, а корни наши ушли в почву совсем недавно и еще не успели как следует разветвиться. Может быть, мы преувеличиваем значение корней для нашей психики? Может быть, непреодолимая тяга вдаль — это отзвук первобытной глубокой потребности, желания, жажды пуститься куда-нибудь туда, где нас нет?

Чарли слушал мои рассуждения молча. И вообще он стал черт знает на кого похож. Я обещал расчесывать его, стричь и следить, чтобы он у меня всегда был красавчик, и не сдержал слова, данного самому же себе. Шерсть у Чарли свалялась, стала грязная. Пудели, как и овцы, не линяют. По вечерам, когда я, исполнившись добродетели, собирался заняться его внешностью, каждый раз находились какие-то другие дела. Кроме того, у Чарли вдруг обнаружилась сильнейшая аллергия, о чем мы раньше и не подозревали. Как-то раз я заночевал в парке для грузовиков, на которых перевозят скот. Эти огромные машины там же и чистят, и потому вокруг парка возвышалась гора навоза и тучами вились мухи. Хотя на окнах у Росинанта были сетки, мириады мух все-таки проникли в него, забились в щели и не желали оттуда вылезать. Я впервые за всю дорогу воспользовался дезинсекционным распылителем и тщательно все опрыскал, и после этого Чарли стал так чихать, что в конце концов мне пришлось вынести его

из машины на руках. К утру Росинант был полон сонных мух, я опять все опрыскал, и приступ у Чарли повторился. С тех пор после каждого посещения крылатых гостей Чарли изгонялся наружу, а после расправы с ними машина проветривалась. Я ни у кого больше не наблюдал такой жестокой аллергии.

Мне давно не приходилось бывать на Среднем Западе, и теперь я ехал по дорогам Огайо, Мичигана и Иллинойса, обуреваемый множеством впечатлений. Первое из них — это огромный прирост населения. Деревушки превратились в городки, а городки разрослись в большие города. Дороги кишели машинами всех видов, городские улицы были так многолюдны, что все внимание уходило на то, чтобы на кого-нибудь не наехать и чтобы на тебя не наехали. Далее, меня поразила энергия, бьющая ключом, и соприкосновение с ней воспринималось как удар электрическим током. Жизненная сила — на что бы она ни была направлена, на хорошее или на дурное, — клочкотала повсюду. Ни на секунду не позволю себе заподозрить тех, с кем я встречался и разговаривал в Новой Англии, в неучтивости или в недружелюбии, но отвечали они немногословно и всегда ждали первых шагов от незнакомца. И почти сразу, лишь только я переехал границу Огайо, люди стали приветливее, проще в обращении. Официантка в придорожном баре сказала «с добрым утром», не дав мне первому с ней поздороваться, принялась обсуждать со мной меню моего завтрака, как будто оно живо интересовало ее, с увлечением беседовала на тему о погоде и даже сообщила кое-что о себе без всякого зондирования с моей стороны. Незнакомые люди вступали в разговор, не опасаясь друг друга. Я уже успел забыть, как богаты и красивы эти места, как плодородна здешняя почва, — забыл огромные деревья, озерный край Мичигана, прекрасный, как статная, хорошо одетая и сверкающая драгоценностями женщина. Земля здесь, в самом сердце страны, была щедра и приветлива, и мне казалось, что здешние люди переняли от нее эти черты характера.

Одна из целей, с которой я пустился путешествовать на сей раз, заключалась в том, чтобы вслушиваться в людскую речь, подмечать ее ритмы, обертоны, выговор, ударения. Ибо речь людская — это нечто гораздо большее, чем составляющие ее слова и фразы. Я слушал где только мог. И мне казалось, что местным говорам приходит конец — они еще не исчезли, но исчезают. Сорок лет радио и двадцать лет телевидения, видимо, сделали свое дело. Происхо-

дит медленный, но неуклонный процесс уничтожения локальности речи при помощи средств связи. Было время, когда я мог почти безошибочно определить по говору, откуда человек родом. Теперь это становится все труднее и труднее, а скоро — в предвидимом будущем — станет и вовсе невозможно. Редкий дом сейчас, редкое строение не оснащено гребнем, который прочесывает своими зубьями эфир. Язык радио и телевидения принимает стандартные формы, и мы, пожалуй, никогда и не говорили так чисто и правильно. Наша речь скоро станет повсеместно одинаковой, как и наш хлеб, который замешивают, пекут, упаковывают и продают застрахованным от всяких случайностей и чьей-то оплошности, и он повсеместно хорош и повсеместно безвкусен.

Я люблю слово, люблю бесконечные возможности, заложенные в нем, и меня печалит эта неизбежность. Ибо вслед за местным выговором умрут и местные темпы речи. Исчезнет из языка идиоматичность, образность, которые так обогащают его и, свидетельствуя о времени и месте их зарождения, придают ему такую поэтичность. А взамен мы получим общенациональный язык, расфасованный и упакованный, стандартный и безвкусный. Местные особенности речи еще не стерлись, но постепенно стираются. За те годы, что я не вслушивался в свою страну, в ней произошли огромные изменения в этой области. Двигаясь на запад по северным дорогам, я ни разу не услышал настоящего местного говора, пока не добрался до Монтаны. И это одна из причин, почему я снова влюбился в штат Монтана. Западное побережье перешло к стандартному английскому языку. Юго-запад еще хватается за областную речь, но хватка его слабеет. Самый Юг, конечно, только силой удерживает при себе свой говор наряду с кое-какими другими милыми его сердцу анахронизмами, но в конце концов ни одна часть нашей страны не устоит перед автострадами, высоковольтной линией и общенациональным телевидением. То, что я оплакиваю, может, и не стоит спасать, но тем не менее расставаться с ним горько.

Хотя мне претит конвейерное производство нашей пищи, наших песен, нашего языка и, в конечном счете, наших душ, я знаю, что в прежние времена редко в каком доме пекли хороший хлеб. Стряпня моей матери была, за редкими исключениями, весьма посредственной, хваленое наше непастеризованное молоко, в которое попадали всего лишь мухи и частички навоза, кишело бактериями, в здоровой жизни добрых старых времен мало ли было болезней

и скоропостижных смертей от неизвестных причин, а тот самый благозвучный местный говор, который я оплакиваю, приходился родным чадом неграмотности и невежеству. Человек — это маленький мостик, переброшенный во времени, и, старея, он начинает выказывать недовольство всякими переменами, особенно переменами к лучшему. Но ведь верно же, что недоедание мы обменяли на тучность, а для жизни опасно и то и другое. Перемены идут на нас развернутым строем. Мы — за себя-то, во всяком случае, ручаюсь — и представить не можем, как люди будут жить, какое направление примет их мысль через сто и даже через пятьдесят лет. Может быть, вершин мудрости я достигаю в те минуты, когда знаю, что я ничего не знаю. Жалко тех, кто попусту тратит силы, стараясь удержать жизнь от нашествия нового, ибо горечь потерь им обеспечена, а радость побед — едва ли.

Когда я проезжал через такие огромные скопища индустрии, как Янгстаун, Кливленд, Акрон, Толидо, Понтиак, Флинт, а позднее Саут-Бенд и Гэри, мои глаза и мой мозг не справлялись с этим ошеломляющим зрелищем — с фантастическим размахом и мощью промышленного производства, со сложностью его, которая кажется хаотичной, но на самом деле далека от хаоса, как небо от земли. Вот точно так разглядываешь муравейник и не можешь понять, куда, зачем, почему так торопятся и бегают обитающие в нем существа. Больше всего меня радовало в те дни, что с шумной автострады можно было выезжать на какую-нибудь обсаженную деревьями, тихую сельскую дорогу вдоль разгороженных участков земли, где бродят коровы, и останавливать Росинанта на берегу какого-нибудь озера с чистой, прозрачной водой, и видеть высоко в небе косяки диких гусей и уток, держащих путь на юг. Чарли с его любознательным и тонко во всем разбирающимся носом мог читать там собачью литературу на кустиках и стволах деревьев и оставлять рядом свои собственные послания — может статься, не менее значительные в бесконечном ходе времен, чем вот эти каракули, которые мое перо выводит на тленной бумаге. И там, в лесной глуши, когда ветер перебирал ветки деревьев и морщил зеркало воды, я стряпал невероятные обеды в моих алюминиевых кастрюлях разового употребления, варил кофе такой густоты и крепости, что в нем не утонул бы и гвоздь, и, сидя на задней приступке моего домика, наконец-то мог подумать и навести порядок в мыслях, так и кишевших у меня в голове после всего увиденного и услышанного.

Сейчас я вам скажу, на что это было похоже. Сходите в галерею Уффици во Флоренции или в парижский Лувр, и тамошние сокровища настолько ошеломят вас своим количеством и величием, что вы уйдете подавленный, с таким чувством, будто у вас несварение желудка. А потом, наедине с самим собой, вы начнете вспоминать, и полотна распределятся в ваших воспоминаниях: одни отвергнет ваш вкус, а может быть, ваша ограниченность, зато другие выступят перед вами ярко и четко. Вот тогда вернитесь туда и посмотрите что-нибудь одно, не внимая зовам, несущимся со всех сторон. Разобравшись в сумятице первых впечатлений, я могу пойти в музей Прадо в Мадриде, миновать тысячи картин, требующих моего внимания, и навестить друга: небольшого Эль Греко — «San Pablo con un Libro»¹. Святой Павел только что закрыл книгу. Пальцем он заложил страницу, на которой остановился, и на потрясенном лице его жажда постигнуть премудрость, заключенную в уже закрытой книге. Может быть, постижение и приходит только спустя некоторое время? Много лет назад, когда я работал в лесу, про лесорубов говорили, будто в публичном доме они только и толкуют, что о лесе, а в лесу — о публичном доме. Так и я пробираюсь сквозь грохот промышленных центров, раскинувшихся по всему Среднему Западу, сидя один-одинешек на берегу озера в северной части Мичигана.

И вот когда я сидел там в лесной тиши, на дороге остановился джип, и мой верный Чарли бросил свое занятие и взревел басом. Из джипа вылез молодой человек в сапогах, вельветовых брюках и куртке в красно-черную клетку. Он не спеша подошел ко мне и заговорил резким, неприязненным голосом, как это всегда бывает, когда человеку не очень-то по душе его обязанности.

— Вы разве не видели, что въезд воспрещен? Это частное владение.

В обычной обстановке такой тон высек бы из меня искру. Я ответил бы безобразной вспышкой ярости, дав моему противнику возможность со вкусом и с сознанием собственной правоты показать мне дорожку отсюда. Между нами могло даже дойти до ругани и чуть не до драки. Это было бы вполне естественно, но в окрестной тишине и приволье я как-то не сразу нашелся, и момент для отпора был упущен. Я сказал:

¹ Святой Павел с книгой (исп.).

— Я так и думал, что это частное владение, и как раз собирался отыскать кого-нибудь из хозяев и попросить разрешения отдохнуть здесь, хотя бы за плату.

— Хозяин не пускает сюда посторонних. Они вечно накидают тут бумажек, а то и костер разведут.

— Трудно его винить. Я сам знаю, как люди могут на-свинячить.

— Вон дощечка на дереве. Нарушение границ участка, стоянка, охота, рыбная ловля воспрещаются.

— Да,— сказал я.— Видать, дело нешуточное. Вам вменяется в обязанность выкинуть меня отсюда? Что ж, выкидывайте. Уйду безропотно. Но я только что вскипятил кофе. Как вы думаете, ваш хозяин не будет возражать, если я его тут и выпью? И вас угощу? После чашки кофе вы меня и вовсе взащей вытолкаете.

Молодой человек ухмыльнулся.

— А что в самом деле! — сказал он.— Костров вы не разводите, мусора не набросали.

— Я хуже преступление совершил. Пытаюсь подкупить вас чашкой кофе. Мало того, предлагаю добавить в кофе ложечку «Старого деда».

Тут он рассмеялся.

— А в самом деле! Дайте только машину уберу с дороги.

И дальше все пошло совсем по-другому. Он сидел, скрестив ноги, на усыпанной хвоей земле и потягивал кофе. Чарли подошел понюхать его и позволил дотронуться до себя, а с ним это не часто случается. Он не разрешает посторонним таких вольностей и увиливает от них, как может. Но пальцы этого молодого человека отыскали одно местечко у Чарли за ухом — а пес обожает, когда ему там чешут,— и Чарли, испустив блаженный вздох, сел рядом с ним.

— Вы охотитесь? Я видел, у вас ружья в машине.

— Нет, я здесь проездом. Знаете, как бывает — устанешь за рулем, попадется подходящее местечко, ну и нет сил проехать мимо.

— Да,— сказал он.— Это мне понятно. А машина у вас хорошая.

— Мне она нравится, и Чарли тоже ее одобряет.

— Чарли? Первый раз слышу, чтобы собаку так звали. Эй ты, Чарли!

— Я бы не хотел, чтобы из-за меня у вас были неприятности с хозяином. Пожалуй, мне пора сматываться отсюда ко всем чертям.

— А-а, подумаешь! — сказал он. — Хозяин сейчас в отъезде. За него здесь я. Вы ничего плохого не делаете.

— Нарушаю границы владений.

— Знаете, недавно какой случай был? Расположился тут один тип — видно, псих. Я подъехал, хотел его выпроводить, а он, знаете, что понес? Говорит: «Нарушение границ не преступление, и оно ненаказуемо». Это, говорит, «не в вашей юрисдикции». Он, наверно, псих был. Что за юрисдикция такая?

— Понятия не имею. Я не псих. Подогреть вам еще кофе? — сказал я. И подогрел его и так и эдак.

— Вкусно у вас получается, — сказал мой сотрапезник.

— Пока не стемнело, мне надо подыскать место для ночевки. Вы не знаете, тут поблизости разрешат сделать стоянку?

— Заезжайте вон за те сосны, с дороги вас никто не увидит.

— А как насчет юрисдикции?

— Н-да! Хотел бы я знать, что это за штука такая!

Он поехал вперед на своем джипе и помог мне отыскать ровное место в сосняке. А когда совсем стемнело, пришел посидеть в Росинанте, восхитился его удобствами, и мы с ним очень мило провели время, попивая виски и рассказывая друг другу всякие враки. Я показал ему разные хитроумные приманки и блесны, купленные у «Аберкромби энд Фитч», одну даже подарил и еще не пожалел несколько прочитанных романов, полных секса и садизма, и номер журнала «С ружьем и удочкой». Он в свою очередь предложил мне пожить здесь сколько захочется, сказал, что зайдет за мной завтра и мы с ним отправимся на рыбную ловлю, и я пообещал задержаться здесь хотя бы на день. Друзей заводить всегда приятно, а кроме того, мне хотелось подумать на досуге обо всем увиденном в пути — об огромных фабриках и заводах, о потоках их продукции и о спешке и гонке.

Хранитель озера был человек одинокий — тем более одинокий, что у него была жена. Он показал мне ее фотографию, засунутую в полиэтиленовый кармашек бумажника, — смазливая блондинка, которая, видимо, изо всех сил тянулась за красавицами с журнальных страниц, потребительница шампуня, кремов, лосьонов и всяких приспособлений для перманента на дому. Она, видите ли, задыхалась в этой глуши и мечтала о красивой жизни в Толидо или Саут-Бенде. Единственное, что скрашивало ее существование, это глянцевиные страницы журналов «Шарм»

и «Шик». Дело, ясно, кончится тем, что ее надутые губки доконают мужа. Он найдет работу в какой-нибудь лязгающей железом храmine прогресса, и они будут жить-поживать да добро наживать. Все это говорилось не прямо, а косвенно, обиняками. Она знала совершенно точно, что ей требуется, а он не знал, и неуголенность будет ныть в нем до конца его дней. Когда он уехал в своем джипе, я прожил за него мысленно всю уготованную ему жизнь, и на меня, как туман, надвинулась тоска. Этому человеку была нужна и его хорошенькая жена и что-то еще другое, а совместить несовместимое он не мог.

Чарли приснился такой страшный сон, что он разбудил меня. Ноги у него дергались, будто на бегу, и он отрывисто поскуливал. Ему, верно, снилось, что он гонится за огромным кроликом и никак его не догонит. А может быть, за ним самим кто-то гнался. Последнее предположение заставило меня протянуть руку и разбудить его, но от такого кошмара, видно, не легко было отделаться. Он что-то пробормотал себе под нос, пожаловался и, прежде чем снова отойти ко сну, выхлестал полплошки воды.

Озерный страж появился ко мне сразу после восхода солнца. Он принес с собой удочку, я достал свою и насадил на нее спиннинговую катушку, но чтобы привязать к леске ярко раскрашенную блесну, мне пришлось вооружиться очками. Блесна держится на прозрачном поводке в одну нить, и считается, что рыба такой поводок не разглядит, но я без очков его тоже не вижу.

Я сказал:

— А разрешения-то на рыбную ловлю у меня нет.

— Да что в самом деле! — сказал лесничий. — Мы, наверно, ничего и не поймает.

И он оказался прав — не поймали.

Мы ходили по берегу, забрасывали удочки, меняли место — словом, делали все от нас зависящее, чтобы заинтересовать окуней и щук. Мой спутник твердил:

— Она тут, рыбка, тут плавает, только бы наша весточка до нее дошла.

Но не дошла до нее наша весточка. Если рыбка действительно там плавала, то и поныне плавает. Увы! Уженье рыбы в большинстве случаев тем у меня и кончается, и все же это занятие мне очень по душе. Я человек не бог весть какой требовательный. У меня никогда не возникало желания изловить какое-нибудь чудище — символ рока и доказать свою мужскую доблесть в титанической схватке с огромной рыбиной. Но иной раз я бываю не прочь, чтобы

две-три рыбки размера моей сковородки пошли мне навстречу. В полдень я отказался от приглашения отобедать и познакомиться с женой моего нового приятеля. Я спешил к своей собственной жене, и мое нетерпение час от часу возрастало.

В прежние времена — не столь уж далекие, — уходя в море, человек исчезал из жизни на два, на три года, а то и навсегда. И когда переселенцы пускались в путь через весь континент в своих фургонах, их родным и близким, оставшимся дома, может, было и не суждено узнать что-нибудь о дальнейшей судьбе этих странников. Жизнь шла своим чередом, ставила перед людьми каждодневные задачи, вынуждала принимать те или иные решения. Еще на моей памяти телеграмма могла нести только одну весть — о покойнике в семье. А за жизнь одного поколения — срок не такой уж большой — телефон все это изменил. Если из моих беглых путевых заметок можно вывести, будто я порвал семейные узы, отрешившись от домашних радостей и печалей, от очередной провинности нашего старшего сына, от зуба, прорезавшегося у нашего младшего сына, от успехов и неудач в делах, — такой вывод будет ошибочен. Три раза в неделю я звонил в Нью-Йорк из какого-нибудь бара, универмага или из тесноты заправочных станций, заваленных крышками и разным инструментом, и восстанавливал свою личность во времени и пространстве. На три-четыре минуты ко мне возвращалось мое имя, возвращались мои обязанности, радости и горести, которые человек влачит за собой, точно комета свой хвост. Это был как бы прыжок из одного измерения в другое, беззвучный взрыв преодоленного звукового барьера — словом, очень странное ощущение, точно ныряешь в воду — стихию, известную тебе, но чуждую.

У нас с женой был уговор, что она прилетит в Чикаго, где я собирался сделать короткий перерыв в своем путешествии. За каких-нибудь два часа — во всяком случае, теоретически за два — ей предстояло пересечь тот сегмент земного шара, по поверхности которого я полз не первую неделю. Меня разбирало нетерпение, я уже больше не сворачивал с той большой, облагаемой сбором автострады, что пронизывает северную границу Индианы, не заехал ни в Элхарт, ни в Саут-Бенд, ни в Гэри. Какова дорога, такова и езда. Прямизна трассы, свист несущихся мимо машин, одинаковая скорость — все это действует гипнотически, и по мере того, как дорога раскручивается миля за милей, вами незаметно начинает овладевать изнеможение.

День и ночь сливаются воедино. Заходящее солнце — это не призыв и не приказ остановиться, ибо машины идут нескончаемым потоком.

Поздно вечером я свернул в зону отдыха, съел котлету за длинной стойкой закусочной, открытой круглые сутки, и прогулялся с Чарли по коротко подстриженному газону. Потом прилег на какой-нибудь час и проснулся задолго до рассвета. Я взял с собой в дорогу свои городские костюмы, рубашки и обувь, но чемодан для переправки всего этого из машины в гостиничный номер захватить забыл. Да, по правде говоря, в Росинанте ему бы и места не нашлось. В мусорном ящике под дуговым фонарем я нашел чистую коробку из гофрированного картона и упаковал туда свои наряды. Свежие белые рубашки были завернуты в дорожные карты, а коробка перевязана леской.

Зная за собой склонность впадать в панику среди рева машин и уличной давки, я выехал в Чикаго затемно. Мне надо было ехать прямо в отель «Амбассадор», где меня ждал заранее заказанный номер, но, верный себе, я захватил бог знает куда. Под конец мне пришла в голову гениальная мысль: нанять ночное такси в проводники. И, как выяснилось, я колесил совсем близко от гостиницы. Швейцар и коридорные, вероятно, нашли мой способ передвижения несколько необычным, но вида не подали. Костюм я вручил им на плечиках, башмаки были засунуты в задний карман охотничьей куртки, а рубашки аккуратно завернуты в дорожные карты Новой Англии. Росинанта мгновенно спровадили в гараж на хранение. Чарли пришлось отбыть в собачник, где мне тоже пообещали сохранить его, а кроме того, вымыть и подстричь по последней моде. Несмотря на свой почтенный возраст, Чарли до сих пор много о себе воображает и любит пофорсить, но когда ему стало ясно, что его бросают одного, да где — в Чикаго! — всю фанаберию с него как рукой сняло, и он возопил вне себя от ярости и отчаяния. Я зажал уши и удрал в отель.

По-моему, в «Амбассадоре» меня знают хорошо и не с плохой стороны, но что с них требовать, когда появляешься там в жеваном охотничьем костюме, с заросшей физиономией, слегка покрытый коростой дорожной грязи и оловянный после ночи, проведенной за рулем. Да, конечно, номер за мной, но освободится он только с двенадцати часов дня. Администрация отеля старательно разъяснила мне создавшееся положение. Я все понял и все простил. Но мое собственное положение было таково, что мне хотелось принять ванну и лечь в постель, поскольку же это

было невозможно, я сказал, что прикорну в кресле, вот здесь, в холле, и сосну, пока мой номер не освободится.

Портье (судя по его глазам) пришел в замешательство. Я и сам понимал, что не могу послужить к вящему украшению этих роскошных и дорогих чертогов. На сцене появился помощник главного администратора, вызванный, по-видимому, передачей мыслей на расстоянии, и втроем мы урегулировали вопрос. Как выяснилось, только что выписался один джентльмен, улетающий ранним самолетом. Его номер еще не успели убрать и подготовить к приему следующего постояльца, но мне предложили побыть там, пока не освободится мой. Таким образом, разумный и терпеливый подход к делу позволил разрешить все к общему удовлетворению — я дорвался до горячей ванны и постели, а администрация отеля избежала конфузного для нее зрелища в холле.

В номере как было при моем предшественнике, так все и осталось. Я сел в удобное кресло снять сапоги, уже успел стащить левый, и вдруг заметил нечто, потом еще и еще кое-что. Не прошло и минуты, как ванна и сон были забыты, и моими мыслями полностью завладел Одинокый Гарри.

Животное оставляет после себя на лежке смятую траву, следы, а то и помет, но человек, проведя одну ночь в комнате, запечатлевает в ней свой характер, свою биографию, свое недавнее прошлое, а иногда и свои планы и надежды на будущее. Больше того, личность человеческая, по-моему, пропитывает собой стены жилья, и они лишь постепенно расстаются с ней. Очень возможно, что этим объясняется появление призраков и прочие чудеса. Мои выводы могут быть ошибочны, но мой нюх вряд ли меня обманывает, и я умею распознавать человека по следам, которые он оставляет после себя. Кроме того, я люблю всюду совать свой нос и не стыжусь признаться в этом. Я не пройду мимо незанавешенного окна, не заглянув туда, не упущу случая прислушаться к разговору, который совершенно меня не касается. Такое свойство характера ничего не стоит оправдать и даже облагородить ссылкой на то, будто писатель должен интересоваться людьми, но я подозреваю, что меня просто одолевает любопытство.

Сидя в неприбранном гостиничном номере, я видел, как Одинокый Гарри начинает обретать форму и занимать место в пространстве. Человек, недавно выехавший из этой комнаты, угадывался по тем частичкам своей персоны, которые он оставил после себя. Конечно, даже Чарли с его

не столь уж совершенным носом вынюхал бы здесь гораздо больше. Но Чарли сидел в собачнике в ожидании стрижки. Как бы там ни было, Гарри для меня — существо вполне реальное, подобно любому из моих знакомых, даже реальнее многих из них. В нем нет никаких исключительных черт: напротив, он принадлежит к довольно многочисленной группе людей. Следовательно, его личность представляет собой интерес для каждого, кто изучает Америку. Но чтобы кое-кто из мужчин не встревожился, разрешите мне сказать, прежде чем я начну склеивать этого Гарри по кусочкам, что на самом деле зовут его по-другому. Он живет в Уэстпорте, штат Коннектикут. Этот факт установлен по меткам прачечной, отколотым с его рубашек. Обычно человек отдает рубашки в стирку по месту жительства. Подозреваю, впрочем, что на работу он ездит в Нью-Йорк. Поездка в Чикаго была посвящена в основном делам, но с присовокуплением кое-каких традиционных утех. Его фамилию я узнал потому, что он испещрил гостиничную почтовую бумагу своей подписью, каждый раз слегка меняя ее наклон. Из этого можно заключить, что он не очень-то уверен в твердости своего положения в деловом мире, и о том же самом говорили и некоторые другие признаки.

Гарри начал писать письмо жене, которое тоже очутилось в корзине для бумаг.

«Дорогая! У меня все о'кэй. Звонил твоей тетке, но там никто не ответил. Как жаль, что ты не со мной. Одному мне так одиноко в Чикаго. Ты забыла положить в чемодан мои запонки. Пришлось купить пару дешевых у «Маршал Филд». Пишу тебе в ожидании К. Е. Надеюсь, он принесет с собой конт...»

Хорошо, что «дорогая» не приехала к Гарри сюрпризом, чтобы ему не было так одиноко в Чикаго. В гости к нему пожаловал не К. Е. с контрактом. Она была брюнетка и употребляла очень бледную губную помаду — окурки сигарет в пепельнице и краешек стакана из-под виски с содовой. Они пили «Джек Дэниэл» — пустая бутылка, шесть бутылок из-под содовой и ведро с растаявшим льдом. Она была сильно надушена и на ночь не осталась — вторая подушка не смята, кроме того, отсутствие губной помады на косметических бумажных салфетках. Мне хочется думать, что ее звали Люсиль — сам не знаю почему. Может, потому, что ее и вправду так зовут. Она дамочка из нервных — курила его сигареты с мундштуком и фильтром, но выкуривала каждую не больше чем на

треть, хватала другую и не тушила их, как следует, а тыкала в пепельницу, мохрявя концы. На Люсиль была миниатюрная шляпка-менингитка — из тех, что прикалывают к волосам маленькими гребенками. Одна гребенка выпала из ее прически. Эта гребеночка и заколка, валявшиеся около кровати, подсказали мне, что Люсиль брюнетка. Не берусь судить, профессионалка она или нет, но опыта ей, видимо, не занимать стать. Чувствуется в Люсиль эдакая элегантная деловитость. Она не так уж много всего набросала в номере, как это могла бы сделать дилетантка. И не напилась. стакан ее был пуст, но от вазы с красными розами — администрация не щадит затрат — попахивало «Джеком Дэниэлом», что не пошло цветам на пользу.

Интересно, о чем же Люсиль и Гарри говорили? Может быть, она несколько скрасила его одиночество? Сомнительно! Оба они, по всей вероятности, делали то, что от них и ожидалось. Гарри не следовало бы столько пить. Желудок у него уже не тот — обертки от пилюль в корзине для бумаг. Работа у Гарри, видимо, нервная, что и сказывается на желудке. Бутылку он, судя по всему, прикончил уже после ухода Люсиль. А утром встал с головной болью — два станиолевых тюбика из-под таблеток «бромосельтерской» в ванной.

Три вещи не давали мне покоя при мысли об Одиноким Гарри. Первая: по-моему, встреча с Люсиль не принесла ему никакой радости. Вторая: он, видимо, на самом деле чувствует себя очень одиноко, и, может быть, это чувство уже приняло у него хроническую форму. И третья: он не сделал ничего такого, чего нельзя было предвидеть заранее, — не разбил ни стакана, ни зеркала, не буянил — словом, не оставил никаких следов того, что ему удалось испытать радость бытия. Я ковылял в одном сапоге по номеру, стараясь побольше всего разузнать о нем. Даже заглянул под кровать и в стенной шкаф. Хоть бы он галстук забыл! На грустные размышления навел меня Одиноким Гарри.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Чикаго — это пауза в моем путешествии, возврат к моей личности, к моему имени и положению счастливого супруга. Моя жена прилетела туда из Нью-Йорка на несколько дней. Такая перемена была мне как нельзя более приятна, я вернулся к своему привычному, проверенному образу жизни, но в литературном отношении дело несколько осложняется.

Чикаго нарушил непрерывность движения, которому я подчинялся. В жизни это допустимо, в литературе — нет. И я выпускаю Чикаго из своих записей, потому что он стоит где-то сбоку и нарушает перспективу. В путешествии эта остановка была приятной и благотворной для меня; в книге же она окажется инородным телом.

Когда время, отведенное на Чикаго, истекло и прощальные слова отзвучали, мне пришлось опять пройти через тоску одиночества, и это было не менее мучительно, чем в первый день. Видно, нет от нее другого лекарства, как побыть наедине с самим собой.

Чарли разрывался на части между гневом на меня за то, что я его бросил в Чикаго, радостью при виде Росинанта и откровенным бахвальством своей внешностью. Таков наш Чарли, когда его подстригут, причешут, вымоют; он гордился собой не меньше мужчины, одевающегося у хорошего портного, или женщины, на которую только что навели красоту в косметическом кабинете, — ведь все они не сомневаются, что совершенно неотразимы. Расчесанные, стройные, как колонны, ножки Чарли были прекрасны, шапочка серебристо-голубого меха щегольски сидела у него на голове, а хвостом с помпоном на самом кончике он помахивал, как дирижер палочкой. Великолепие ровно подстриженных усов сообщало ему и внешнее и внутреннее сходство с французским бульвардье девятнадцатого века и, между прочим, скрывало его кривые передние зубы. Но я-то знаю, как он выглядит неухоженный. Однажды летом шерсть у Чарли свалялась, провоняла псиной, и

я остриг его наголо. И вот эти округлые башенки ног превратились в спицы — тонюсенькие и не очень-то прямые; под состриженной на брюхе шерстью оказался дряблый живот — примета преклонного возраста. Может быть, Чарли и отдавал себе отчет в своих подспудных несовершенствах, но по его виду этого нельзя было сказать. Если «судить по обхождению, каков есть человек», то каков есть пудель, можно судить по его поведению и стрижке. Чарли сидел в кабине Росинанта исполненный благородства, выпрямившись во весь рост, и давал мне понять, что мои надежды на прощение, может быть, и не беспочвенны, но мне придется его заслужить.

Все это было чистейшее притворство, и я прекрасно это понимал. Помню, когда наши сыновья были маленькие и проводили лето в лагере, мы как-то нанесли им очередной удар, именуемый родительским посещением. Подошло время прощаться, и одна мамаша сказала нам, что ей надо уйти как можно скорее, не то ее сын забьется в истерике. Мужественно сжав дрожащие губы, стараясь не выдать своих страданий, ничего перед собой не видя, она побежала прочь, чтобы не огорчать ребенка. А мальчишка проводил ее взглядом и с чувством огромного облегчения вернулся к своей компании и к своим делам, зная, что он тоже играл положенную ему роль. Я не сомневаюсь: ровно через пять минут после того, как мы с Чарли расстались, он нашел новых друзей и занялся устройством на новом месте. Но в одном я ему верил: он был непритворно рад, что мы снова пустились в путь, и первые несколько дней служил к вящему украшению моих странствий.

Иллинойс одарил нас чудесным осенним деньком — свежим, чистым. Мы быстро ехали на север, к Висконсину, среди прекрасных плодородных полей и могучих деревьев. Поместья, ухоженные, обнесенные белыми изгородями, тянулись одно за другим. Но вряд ли, думал я, такие участки могут окупать себя и содержать своих владельцев; скорее всего, на уход за ними идут средства со стороны. Было в них что-то общее с красивой женщиной, которой для поддержания красоты требуются заботы и опека целой безликой армии помощников. Но это обстоятельство не умаляет ее прелести для тех, кому по средствам обзавестись такой роскошью.

Бывает, и даже очень часто, что вам много чего порасскажут о каком-нибудь месте, и все это будет правильно,

и вы как бы освоите и узнаете его издали, а на самом деле оно так и останется нераскрытым для вас. Я никогда не бывал в Висконсине, но всю свою жизнь много о нем слышал и ел его сыры, некоторые сорта которых не уступают лучшим в мире. И уж, конечно, мне не раз попадались виды этого штата в книгах и журналах. Да кто их не знает! Почему же теперь для меня были полной неожиданностью красоты этих мест, чередование полей и холмов, лесных угодий и озер? По всей вероятности, Висконсин представлялся мне раньше необъятным, ровным пастбищем для коров по той простой причине, что количество молочной продукции, которую дает этот штат, огромно. Где еще пейзаж меняется на глазах с такой быстротой? Это было неожиданно для меня, и я восторгался всем, что видел. Не знаю, как там в другие времена года, возможно, что летом Висконсин изнывает и страждет от зноя, зимой стонет от гнетущей стужи, но в начале октября, когда я увидел его в первый и единственный раз, воздух там золотился от солнца, как сливочное масло, и был не вязкий, а свежий, прозрачный, так что принарядившиеся в иней деревья стояли каждое особняком, холмы не сливались в одну линию, а поднимались тоже каждый отдельно, каждый сам по себе. Свет пробивался сквозь толщу вещества, и я как бы видел все насквозь, проникал взглядом до самых глубин, а такое освещение мне приходилось наблюдать только в Греции. Теперь-то я вспомнил: мне рассказывали, что Висконсин очень красив, но эти рассказы все равно ни к чему меня не подготовили. День был волшебный. Земля исходила соками, зелень пастбищ ярко выделяла бродивших по ним откормленных коров и свиней, а на небольших фермерских участках виднелись кукурузные стебли, сложенные, как им и полагается, маленькими шатрами, и куда ни глянь — тыквы, тыквы, тыквы.

Я не знаю, устраивают ли в Висконсине сыроварные дегустационные фестивали, но мне, любителю всяческих сыров, кажется, что это просто необходимо. Сыр царил здесь повсюду — сыроваренные заводы, кооперативы по сбыту сыра, магазины и ларьки, торгующие сыром, может быть, даже и сырное мороженое было. Тут во что угодно поверишь, начитавшись реклам, расхваливающих конфеты «Швейцарский сыр». К сожалению, я не удосужился остановиться и купить на пробу несколько таких конфеток. Никто мне теперь не верит, что они существуют на самом деле, что это не моя выдумка.

В одном месте я увидел у шоссе большое предприятие — крупнейшую в мире торговлю морскими раковинами. И это в штате Висконсин, который не видал моря с докембрийского периода! Впрочем, Висконсин преподносит вам сюрпризы на каждом шагу. Мне расхваливали висконсинские долины, но разве я рассчитывал увидеть загадочную страну, изваянную в ледниковый период, — страну, где таинственно мерцают воды и скульптурные грани скал и где только два цвета — зеленый и черный. Если проснуться в этих местах, то, пожалуй, покажется, будто тебе приснилась другая планета, ибо все вокруг какое-то не наше, не земное или же будто чей-то резец оставил здесь память о тех временах, когда мир был гораздо моложе и совсем не такой, как сейчас. А по берегам здешних призрачных рек и озер лепилась дребедень наших дней — мотели, сосисочные, лавчонки, торгующие всякой дешевкой, рыночной мишурой, безвкусицей — всем тем, что так любят летние туристы. Сейчас, глядя на зиму, эти новообразования были закрыты, заколочены, но, даже открытые, они вряд ли способны нарушить прелесть висконсинских долин.

В тот вечер я сделал остановку на вершине холма, где была заправочная станция для грузовых машин особого назначения. Там отдыхали и соскребали с себя следы своего груза огромные платформы, на которых перевозят скот. Горы навоза, а над ними грибовидные тучи мух виднелись тут повсюду. Чарли расхаживал между ними, улыбаясь и самозабвенно потягивая носом, точно американская дама во французском парфюмерном салоне. Я не берусь осуждать его вкусы. Одному нравится одно, другому — другое. Ароматы здесь были крепкие и весьма земные, но не тошнотворные.

Когда совсем за вечерело, я прошел вместе с Чарли среди этих упоительных для него гор до гребня холма и глянул вниз в небольшую долину. Зрелище, открывшееся моему взору, ошеломило меня. Я решил, что, наверно, переусердствовал за рулем и усталость сказалась на моем зрении или же у меня совсем ум за разум зашел, ибо земля внизу, в темноте, двигалась, пульсировала и дышала. Там была не вода, а будто какая-то темная жидкость, по которой пробегала рябь. Я быстрыми шагами сошел с холма, чтобы поскорее рассеять это наваждение. Дно долины, точно ковром, было покрыто индюшками — миллионами индюшек, так тесно сгрудившихся, что из-за них не было видно земли. Я облегченно вздохнул. Ну конечно, это же

резервуар, наполненный в предвидении Дня благодарения¹.

Устраивать такую толчею к вечеру вполне в духе индюшек. Помню, в детстве у нас на ранчо индюшки обседали по вечерам кипарисы и устраивались там на ночлег, чтобы не попадаться диким кошкам и койотам, и, по моим наблюдениям, только это одно и свидетельствует о наличии у индюшек хоть какого-то интеллекта. Общение с ними не располагает в их пользу, потому что они существа пустоголовые и истеричные. Легко уязвимы, даже когда сбиваются в кучу, ибо паникуют от любого слуха. Подвержены всем болезням птичьего племени и изобрели еще кое-какие собственные. Относятся к маниакально-депрессивному типу — то кулдычат, потрясая багровыми сережками, распускают хвост, чертят крыльями землю в азарте любовного молодчества, а то вдруг празднуют труса и шалеют от ужаса. Трудно поверить, что у этой птицы может быть что-то общее с ее дикими, смысленными и сторожкими родичами. Здесь, в долине, индюшки клубились тысячами, застилая землю в ожидании того дня, когда им суждено лечь кверху лапками на блюдо в каждом американском доме.

С моей стороны, конечно, нехорошо, что я никогда не бывал в наших прекрасных городах-близнецах Сент-Поле и Миннеаполисе, но, к стыду моему, мне и до сих пор не удалось их повидать, хотя я был в них обоих. На приступах к Сент-Полу меня поглотил могучий прибой транспорта — волны пикапов, буруны ревуших грузовиков. Не знаю почему, но стоит только мне подробно разработать свой маршрут, и от него камня на камне не остается, а если я, сам того не ведая, качу бог знает куда, то в конце концов все обходится как нельзя лучше. Рано утром я занялся изучением карты и старательно прочертил по ней намеченный маршрут. Эта карта со следами моего дерзновенного замысла хранится у меня до сих пор: в Сент-Пол по шоссе № 10, потом, не торопясь, через Миссисипи. Из-за того, что лука Миссисипи изогнута здесь в форме латинской буквы «S», мне предстояло пересечь ее в трех местах. После столь приятной увеселительной прогулки я собирался свернуть в Золотую долину, привлеченный ее названием. Казалось бы, чего проще? И, наверно, это выполнимо, но только не для меня.

¹ Официальный праздник в память первых колонистов Массачусетса, отмечаемый в США в последний четверг ноября.

Началось с того, что Росинанта захлестнула волна транспорта, захлестнула и понесла, как поблескивающий обломок в фарватере бензовоза длиной с полквартала. Позади меня шел страшный механизированный цементовоз, вращающий на ходу своей огромной гаубицей. Справа — то, что, по моему разумению, было не чем иным, как атомной пушкой. Верный себе, я ударился в панику и сбился с пути. Точно обессиленный пловец, я кое-как выбрался вправо на тихую улочку, где был немедленно остановлен полицейским, который уведомил меня, что для грузовиков и прочей подобной же мрази здесь проезда нет, и швырнул Росинанта обратно в ненасытный поток.

Я ехал час, другой, третий, не в силах отвести глаза от теснящих меня мамонтов. Наверно, переезжал Миссисипи, но разве ее можно было увидеть? Так я и проглядел и Миссисипи, и Сент-Пол, и Миннеаполис. Единственное, что я видел, это реку грузовых машин; единственное, что я слышал, — рев моторов. Воздух, насыщенный выхлопными газами, жег мне легкие. На Чарли напала перхота, а я даже не мог протянуть руку и похлопать его по спине. Когда Росинант остановился на красный свет, выяснилось, что мы едем по Эвакуационной трассе. Я не сразу сообразил, что это значит. Голова у меня шла кругом. Я полностью потерял ориентацию. Но указатели «Эвакуационная трасса» продолжали сменять один другой. Ну конечно! Это же дорога, по которой будут спасаться от бомбы, которую еще никто не сбросил. Здесь, в самой середине Среднего Запада, дорога для беженцев — путь, начертанный страхом. Я мысленно представил себе, как все это будет, потому что мне приходилось видеть людей, спасающихся бегством: дороги, забитые намертво, и паника на краю нами же самими созданной бездны. Я вдруг вспомнил долину, где толклись индюшки, и подумал: хватило же у меня наглости обозвать ту птицу глупой. У нее даже есть преимущество перед нами. Она по крайней мере вкусная.

Мне понадобилось без малого четыре часа, чтобы проехать города-близнецы. По слухам, некоторые районы в них очень красивы. Золотую долину я так и не нашел. От Чарли проку было мало. Он не имел ничего общего с расой, которая способна создать нечто такое, от чего ей самой надо спасаться бегством. Ему не требуется улетать на луну от земного окаянства. Вынужденный сталкиваться с нашей дуростью, Чарли так ее и оценивает: дурость есть дурость.

За эти сумасшедшие часы я, вероятно, в какой-то момент еще раз переехал через реку, потому что теперь Ро-

синант опять мчался по федеральному шоссе № 10, которое вело по левобережью Миссисипи на север. Когда мы снова выехали на вольный воздух, я, совершенно измученный, остановил Росинанта у придорожного ресторана. Ресторан оказался немецкий, и в нем было все, что и должно быть в таком заведении: сосиски, колбасы, кислая капуста и ряд глянцевитых пивных кружек, висевших над стойкой без употребления. В этот час я был там единственным посетителем. Встретила меня официантка — отнюдь не Брунгильда, а нечто худощавое и темное лицом — не разберешь, то ли юное, чем-то опечаленное существо, то ли разбитная старушка. Я заказал Bratwurst¹ с кислой капустой и своими глазами видел, как повар сорвал целлофановый чехольчик с сардельки и бросил ее в кипяток. Пиво подали консервированное. Bratwurst была отвратительна, а капуста — издевательски водянистое месиво.

— Не знаю, может, вы посоветуете, как мне быть? — спросил я древне-юную официантку.

— А в чем дело?

— Да я, кажется, запутался.

— То есть как это запутался?

Повар просунулся в кухонное окошко и налег голыми локтями на раздаточный стол.

— Мне надо в Соук-Сентр, а я никак туда не доберусь.

— А едете вы откуда?

— Из Миннеаполиса.

— Так как же это вас занесло на левый берег?

— Наверно, я и в Миннеаполисе плутал.

Официантка посмотрела на повара.

— Он запутался в Миннеаполисе, — сказала она.

— В Миннеаполисе нельзя запутаться, — сказал повар. — Уж поверьте мне, я оттуда родом.

Официантка сказала:

— Я хоть сама из Сент-Клауда, но в Миннеаполисе не запутаюсь.

— Значит, у меня особые таланты в этой области. Но все-таки до Соук-Сентра мне добраться надо.

Повар сказал:

— Если он будет ехать по шоссе, то не запутается. Вы же на Пятдесят втором. Переедете через реку у Сент-Клауда и так и держитесь Пятдесят второго.

— Разве Соук-Сентр тоже на Пятдесят втором?

¹ Жареная колбаса (нем.).

— А где же еще? Вы, наверно, нездешний, если плутали в Миннеаполисе. Мне завяжи глаза, я там не заплутаюсь.

Я сказал несколько раздраженно:

— А в Олбани, а в Сан-Франциско?

— Я там сроду не был, но ручаюсь, что все равно плутать не буду.

— Я была в Дулуте,— сказала официантка.— А на Рождество поеду в Су-Фолс. У меня тетка там живет.

— Разве в Соук-Сентре у тебя никого нет? — спросил повар.

— Как нет — есть, да ведь это недалеко отсюда. А хочется подальше, вот как он говорит — Сан-Франциско. Брат у меня служит во флоте. Они сейчас в Сан-Диего. А у вас есть кто-нибудь в Соук-Сентре?

— Нет, просто хочу посмотреть город. Это родина Синклера Льюиса.

— А-а, да! Там есть такая вывеска. Туда многие ездят вот так же, посмотреть. А городу от этого прибыль.

— Он первый мне рассказал про эти места.

— Кто?

— Синклер Льюис.

— А-а, да! Вы с ним знакомы?

— Нет, только читал.

Еще секунда, и она бы спросила: «Что?» Но я пресек ее:

— Значит, переезд у Сент-Клауда и дальше по Пятдесят второму?

Повар сказал:

— По-моему, этот, как его... там больше не живет.

— Да, я знаю. Он умер.

— В самом деле?

Да, действительно, в Соук-Сентре была доска с надписью: «Здесь родился Синклер Льюис».

Я почему-то не стал задерживаться в этом городе и сразу свернул на шоссе № 71, к Уодене. Скоро совсем стемнело, а я все еще ехал и ехал, стараясь поскорее добраться до горда Детройт-Лейкса. Передо мной неотступно стояло лицо — худое, сморщенное, как яблоко, слишком долго пролежавшее в бочке, и на этом лице была печать одиночества, мучительной тоски одиночества.

Я был с ним не так уж близок, а в те дни, когда он шумел и слыл «красным», и вовсе его не знал. В послед-

ние годы жизни он несколько раз звонил мне, приезжая в Нью-Йорк, и мы с ним завтракали в «Алгонкине». Я называл его мистер Льюис и мысленно до сих пор так называю. Питть он уже не мог и от еды тоже не получал удовольствия, но глаза его то и дело поблескивали сталью.

Я прочел «Главную улицу» еще в школе и до сих пор помню, с какой яростью накинулись на эту книгу в его родных местах.

Навещал ли он их впоследствии?

Да, изредка, проездом. Хорош только тот писатель, которого нет в живых. Тогда он никого больше не всполошит, никого больше не разобидит. В последнюю нашу встречу мне показалось, будто он совсем ссохся. Он говорил тогда: «Что-то холодно. Все время знобит. Я уезжаю в Италию».

И уехал, и умер там, и не знаю, правда это или нет, но говорят, что умирал он в полном одиночестве. А теперь он пригодился своему родному городу. Привлекает туда туристов. Теперь он хороший писатель.

Если бы в Росинанте хватило места, я погрузил бы в него все сорок восемь «Путеводителей по штатам Северной Америки» издания WPA¹. У меня их полный комплект, а ведь некоторые тома — библиографическая редкость. Если не ошибаюсь, Северная Дакота напечатала только восемьсот экземпляров, а Южная — около пятисот. Эти сорок восемь томов представляют собой наиболее полный обзор Северо-Американских Соединенных Штатов, выпущенный под одной маркой, и с ним пока что нельзя сравнить никакое другое справочное издание. Его составителями в годы кризиса были лучшие писатели Америки, которые находились в кризисном положении даже более тяжком, чем какая-либо другая общественная прослойка — если только это возможно, — но в то же время сохраняли неугасимую в человеке инстинктивную потребность утолять голод. При поддержке WPA рабочие опирались в те годы на свои лопаты, писатели — на свои перья. Но эти путеводители вызывали ярость тех, кто стоял в оппозиции к мистеру Рузвельту. В результате некоторые штаты выпустили всего по несколько экземпляров, а потом матрицы уничтожили, о чем можно только пожалеть, так как эти справочники — кладезь систематизированных, документально обоснованных, изложенных хорошим языком сведений по геологии, истории и экономике нашей страны. Возьмем, на-

¹ Works Progress Administration — Управление промышленно-строительных работ общественного назначения.

пример, меня: будь при мне эти путеводители, я бы нашел в них город Детройт-Лейкс, штат Миннесота, и узнал бы, почему ему дали такое название и кто и когда его так окрестил. Поздно вечером я остановился на ночь неподалеку от Детройт-Лейкса, то же самое сделал и Чарли, но я знаю об этом городе не больше того, что известно ему.

На следующий день одно мое желание, которое я лелеял давным-давно, расцвело пышным цветом и принесло плоды.

Иной раз диву даешься — почему это место или город, где мы никогда не были, может возыметь такую власть над вашим воображением, что одно только название его звонком отдается у вас в ушах. Есть такой город и у меня. Это Фарго в Северной Дакоте. Может быть, впервые он привлек к себе мое внимание в связи с оружием системы «Уэлс-Фарго», но я интересуюсь им не только потому. Возьмите карту Соединенных Штатов, согните ее пополам, соединив правый край листа с левым, проведите ногтем по сгибу и в самой середине этой карты вы найдете город Фарго. Если карта дана на разворот, Фарго иногда застревает в глубине брошюровочной складки. Может быть, это не совсем научный метод определения центра нашей страны между ее восточной и западной границами, но ничего, сойдет и так. И еще Фарго в моем представлении — родной брат мифических краев нашей планеты: он сродни тем баснословным далям, о которых повествуют Геродот, Марко Поло и Мандевиль¹. Я с детства помню: если ударил холод, то самым холодным местом в Америке оказывался Фарго. Если на повестке дня стояла жара, газеты утверждали, что более сильного зноя, чем в Фарго, нет на всем континенте; а не зноя, так сильных дождей, или засухи, или снежных заносов. Во всяком случае, такое у меня создалось впечатление об этом городе. Но не менее десятка городов, а может быть, и несколько десятков наверняка ополчатся на меня и, вооружившись фактами и цифрами, будут доказывать, что погода у них в любое время года несравненно хуже, чем в Фарго. Заблаговременно прихожу к ним с повинной. Чтобы умерить их негодование, должен признаться в следующем: когда мой Росинант въехал в Мурхед, штат Миннесота, прогромыхал по мосту через Ред-Ривер и добрался до Фарго на противоположном бере-

¹ Вымышленный анонимным французским автором XIV века персонаж популярной книги «Путешествие сэра Джона Мандевилья», совершивший двадцатилетнее фантастическое путешествие по Центральной Азии, Китаю, Индии и Ближнему Востоку.

гу, был золотой осенний денек, улицы Фарго были так же забиты машинами и людьми, так же залеплены неоновой рекламой и так же деловито бурлили, как и в любом другом растущем городке с населением в сорок шесть тысяч человек. Тамошний пейзаж ничем не отличался от левобережья Миннесоты. Как и повсюду, я проехал этот городок, мало что замечая вокруг, кроме грузовика, идущего впереди, и «крайслера» в зеркале заднего вида. Тяжело, когда созданный тобой миф рушится у тебя на глазах. Неужели такая же судьба постигла бы и Самарканд, и Кайтай, и Чипангу¹ при ближайшем знакомстве с ними? Как только окраина Фарго — опоясывающий его круг покореженного металла и битого стекла — осталась позади и мы проехали Мэптон, я нашел хорошее местечко для отдыха на берегу Мэпл-Ривер, недалеко от Алисы. Какое прелестное название для городка — Алиса! В 1950 году в нем насчитывалось 162 жителя, а по данным последней переписи — 124. На этом разговор о бурном росте населения в городе Алисе можно закончить. Вдоль берега Мэпл-Ривер низко нависали над водой деревья — кажется, сикоморы, и там я принялся зализывать раны, нанесенные мне в области мифотворчества. И, к радости своей, обнаружил, что встреча с Фарго нисколько не поколебала моего представления о нем. Он остался для меня таким же, каким был прежде, — погребенным в снегах, спаленным жарой, засыпанным пылью. Счастливи доложить, что в поединке между действительностью и фантазией сила не всегда на стороне действительности.

Хотя было только около десяти часов утра, я приготовил себе роскошный обед, но из чего он состоял, сейчас уже не помню. А Чарли, еще сохранявший остатки красоты, которую навели на него в Чикаго, залез в реку и опять превратился в замарашку.

После уюта и человеческого тепла в Чикаго к одиночеству пришлось привыкать заново. На это требуется время. Но на берегу Мэпл-Ривер, неподалеку от Алисы, этот дар снова осенил меня. Чарли отпустил мне мои грехи, проявив при этом такое высокомерие, что тошно было смотреть, а теперь у него тоже нашлись кое-какие дела. Место для стоянки было выбрано удачно — у причальных мостков. Я вынес из Росинанта мусорное ведро (оно же — стиральная машина) и выполоскал в реке белье, два дня

¹ К а т а й, Ч и п а н г у — средневековые названия Китая и Японии.

проболтавшееся в мыльной воде. А когда поднялся легкий востерок, разостлал простыни на низких кустах для просушки. Что это были за кусты — не знаю, но листья их сильно пахли сандалом, а, по-моему, нет на свете ничего лучше надушенных простынь. Я взял лист желтой бумаги и занес туда свои мысли о сущности и природе одиночества. По естественному ходу событий таким заметкам следовало бы затеряться, как они у меня всегда теряются, но эти обнаружились долгое время спустя. В них была завернута бутылка томатного соуса — завернута и обмотана для верности резинкой. Запись первая: «Взаимосвязь между Временем и Одиночеством». Это течение мысли я помню. Если рядом с тобой человек, ты закреплен за определенным временем, и это время — настоящее, но когда к одиночеству притерпишься, то прошлое, настоящее и будущее текут рядом. Воспоминания, то, что происходит сейчас, предвидение будущих событий — все это охватывает тебя сразу.

Вторая запись так и останется нерасшифрованной под засохшим ручейком томатного соуса, но в третьей заложена сила электрического тока. Там написано: «Возврат к доминанте «Удовольствие — Боль», но это наблюдение относится к другим временам.

Много лет назад мне пришлось испытать, что значит жить в одиночестве. Два года, по восемь месяцев в году, я проводил один в горах Сьерра-Невада на озере Тахо. Я сторожил там одну летнюю дачу, когда к ней нельзя было пробраться из-за снежных заносов. Вот в ту пору у меня и накопились эти наблюдения. Я обнаружил, что круг моих реакций начинает постепенно сужаться. Я люблю насвистывать. Свист прекратился. Прекратились разговоры с собаками. Я чувствовал, как притупляется у меня острота восприятия, все стало ограничивать доминанта «Удовольствие — Боль». И тогда в голову мне пришла мысль, что тончайшие оттенки чувств, быстрота реакций — это результат человеческого общения, а без общения они имеют тенденцию к постепенному угасанию. Когда человеку нечего сказать, у него и слов нет. А если это повернуть? Когда у человека нет никого, кому он мог бы что-то сказать, то слова ему не надобны. Время от времени в печати появляются сообщения о детях, возвращенных животными — волками и другим зверьем. В таких случаях ребенок, как пишут, ходит на четвереньках, издает звуки, которые он перенял от своих приемных родителей, и, может быть, даже думает по-волчьи. Самобытность вырабатывается в нас только путем

подражания. Возьмем, например, Чарли. Всю свою жизнь, и во Франции и в Америке, он общался с существами образованными, начитанными, обходительными и разумно действующими. И в Чарли так же мало собачьего, как и кошачьего. Восприятие у него обостренное, тонкое, и он умеет читать в мыслях. Не берусь утверждать, будто Чарли читает мысли других собак, но за свои ручаюсь. Не успеет у меня возникнуть какой-нибудь план, как Чарли уже в курсе дела и, кроме того, ему сразу становится известна степень его причастности к моему плану. Тут и сомнений быть не может. Я слишком хорошо знаю этот взгляд, осуждающий и полный отчаяния, когда у меня только промелькнет мысль, что ему лучше остаться дома. Вот и все о трех рукописных строчках на запачканном листке, в который была завернута бутылка томатного соуса.

Чарли отправился вниз по речке, нашел пакеты с мусором и начал весьма дотошно обследовать их. Перевернул носом пустую консервную банку из-под фасоли, понюхал, но остался недоволен ею. Потом взял один пакет в зубы, осторожно потряхнул его, и оттуда посыпались новые сокровища — среди них скомканный лист плотной белой бумаги.

Я развернул этот комок и разгладил тянувшиеся по нему сердитые морщинки. Это была судебная повестка на имя Джека такого-то, уведомлявшая его, что, если он не уплатит просроченных алиментов, ему предъявят обвинение в неуважении к суду и привлекут за это к ответственности. Суд заседал в одном из восточных штатов, а здесь была Северная Дакота. Бедняга алиментщик, обретающийся в нетях. Зря только он оставляет после себя такие улики, ведь его, должно быть, разыскивают. Я щелкнул зажигалкой и спалил это вещественное доказательство, отдавая себе полный отчет в том, что становлюсь соучастником по делу о неуважении к суду. Боже правый! Каких только следов мы не оставляем после себя! Допустим, нашел бы кто-нибудь ту бутылку с томатным соусом и попытался бы составить представление обо мне по моим записям! Я помог Чарли разобраться в мусоре, но ничего письменного там больше не оказалось, одни только банки из-под консервированных продуктов. Кулинарными талантами этот человек, видимо, не отличался, сидел на одних консервах. Но, может, его бывшая жена тоже была из таких?

Время только-только перевалило за полдень, а я уже успел отдохнуть, мне было очень хорошо здесь, и о том, чтобы трогаться дальше, не хотелось и думать.

— Ну как, Чарли, заночуем?

Он внимательно посмотрел на меня и помахал хвостиком, точно профессор карандашом,— раз налево, раз направо и стоп посередке. Я сел на берегу, снял сапоги, носки и опустил ноги в воду, такую холодную, что она жгла, как огнем, покуда холод не проник глубже и ступни у меня не онемели. Моя мать считала, будто ледяные ножные ванны гонят кровь к голове и это способствует работе мозга.

— Подошло время для подведения итогов, старик,— проговорил я вслух,— а сие значит, что меня разморило от лени. Я пустился в это путешествие с тем, чтобы выяснить, какая она стала, наша Америка. Ну и как же, выясняется что-нибудь? Может быть, и выясняется, но что именно? Могу ли я вернуться домой с целым мешком всяких умозаключений, с охапкой разгаданных ребусов? Вряд ли. Хотя почему бы и нет? Когда я поеду в Европу и меня станут там расспрашивать про Америку, что я им скажу? Не знаю. Ну а ты, друг мой, что тебе дал твой метод исследования с помощью органа обоняния? — Хвост вправо и влево. По крайней мере не оставил вопрос открытым.— Как ты считаешь: Америка пахнет повсюду одинаково или в разных местах и запахи разные?

Чарли начал крутиться сначала в одну сторону, потом сделал восемь поворотов в другую и, наконец, улегся головой ко мне, так, чтобы я мог дотянуться до него, а носом уткнувшись в лапы. Процедура укладывания — для Чарли нелегкое дело. В щенячьем возрасте он попал под машину — в результате перелом бедра. Нога у него долго была в гипсе. И теперь, в зрелые годы, он мается, когда устанет. Побегает подольше — и начинает припадать на правую заднюю. И глядя, как он вытанцовывает, прежде чем улечься, мы иногда называем его «чарльстон», что, конечно, не делает нам чести. Если верить материнскому рецепту, то голова у меня действительно работала хорошо. Но ведь моя мать еще говорила: «Ноги холодные — сердце горячее». А это иной коленкор.

Я выбрал место для стоянки подальше от шоссе и от снующих машин, решив как следует отдохнуть и отчитаться перед самим собой. Моя поездка для меня — дело нешуточное. Я поборол в себе лень и пустился в дальнюю дорогу не ради нескольких забавных анекдотов. Мне надо было узнать, какая она стала, наша Америка. Но прибавляется ли у меня знаний о ней? Трудно сказать. Я поймал себя на том, что говорю вслух, обращаясь к Чарли. В теории он такие разговоры одобряет, а как доходит до дела, начинает клевать носом.

— Ну хоть для смеху давай попробуем произвести некоторые обобщения. Правда, мои сыновья именуют такое занятие мурой. Распределим материал по разделам и рубрикам. Возьмем еду, какую нам приходится есть в пути. Более чем вероятно, что в городах, которые мы проезжали без остановок, подхваченные общим потоком транспорта, имеются хорошие, первоклассные рестораны с такими изысканными меню—пальчики оближешь. Но в придорожных закусочных и барах блюда были чисто приготовленные, безвкусные, бесцветные и повсюду одни и те же. Создавалось впечатление, будто людям все равно, что есть, лишь бы не было ничего неожиданного. Это относится к любой трапезе, кроме завтраков, которые отменно хороши повсеместно, если вы твердо придерживаетесь одного меню: яичница с беконом и жареная картошка. В придорожных ресторанах меня ни разу не накормили ни по-настоящему хорошим обедом, ни по-настоящему плохим завтраком. Бекон и колбасы там были вкусные, в фабричной упаковке, яйца свежие, вернее, сохранившие свою свежесть с помощью холодильников, а холодильные установки получили у нас самое широкое распространение.

Я берусь даже утверждать, что придорожная Америка — это рай, поскольку дело касается завтраков. Впрочем, с одной оговоркой. Время от времени на автострадах мне попадались таблички, на которых было написано: «Домашняя Колбаса», или «Бэкон и Ветчина Домашнего Копчения» или «Яйца из-под курицы», и тогда я останавливался и запасался этими продуктами. А потом, собственноручно приготовив себе завтрак и вскипятив кофе, я сразу чувствовал разницу. Только что снесенное яйцо не имеет ничего общего с тем, что вынули из холодильника — белесым, от инкубаторной курицы. Домашняя колбаса бывала пахучая, сочная, со специями, а кофе собственной заварки цвета темного вина веселил мне душу. Итак, имею ли я право сказать, что представшая передо мной Америка возносит на первое место санитарию, жертвуя вкусовыми качествами пищи? И поскольку все рецепторы человеческого организма, включая и вкусовые, могут не только совершенствоваться, но и подвергаться травмам, не притупляются ли наши пищевые рефлексы и не потому ли все духовитое, терпкое и непривычное вызывает у нас подозрение, неприязнь и начисто отвергается?

— Теперь, Чарли, давай приглядимся к тому, что происходит в других областях. Возьмем книги, журналы и гаветы, которые были выставлены на продажу там, где мы

с тобой останавливались. Основной вид печатной продукции — это сборники комиксов. Местные газеты. Я покупал и читал их. Полные стеллажи дешевых книжек. Среди них, правда, попадались названия почтенных и великих творений, но основная масса чтива на все лады перепевает человекоубийства, садизм и секс. Газеты крупных центров отбрасывали от себя длинную тень — «Нью-Йорк таймса» хватало до Великих озер, «Чикаго трибюн» забирался даже в Северную Дакоту. Но тут, Чарли, предупреждаю тебя: будь осторожен и не очень-то увлекайся обобщениями. Если у нашего народа настолько атрофированы вкусовые луковицы, что он не только мирится с безвкусной пищей, но и предпочитает ее всякой другой, то что сказать об эмоциональной стороне его жизни? Или эмоциональная кормежка кажется ему пресной и он приперчивает ее садизмом и сексом, черпая и то и другое из дешевых книжонок? Неужели же у нас нет других приправ, кроме горчицы и кетчупа? Местные передачи мы слушали всюду, куда только ни попадали. И если не считать репортажа о футбольных матчах, то пища для души была повсеместно так же стандартна, так же расфасована и так же пресна, как и пища для тела.

Я потрогал Чарли ногой, чтобы он не заснул окончательно. Меня очень интересовали политические взгляды людей. Те, с кем я встречался в пути, не говорили о политике и как будто не хотели говорить — отчасти, пожалуй, из осторожности, отчасти потому, что такие темы их просто не интересовали. Во всяком случае, резких суждений я ни от кого не слышал. Хозяин одной лавки признался мне, что ему приходится делать бизнес с обеими сторонами и он не может позволить себе такой роскоши, как собственное мнение. Это был невеселый человек — владелец такой же невеселой маленькой лавчонки у перекрестка двух дорог, куда я заехал за коробкой собачьих галет и банкой трубочного табака. Такого человека и такую лавку можно увидеть в любой части Америки, но я говорю о том, что было в штате Миннесота. В глазах у моего собеседника мелькнула искорка, хоть и не очень веселая, но, судя по ней, он еще помнил те времена, когда чувство юмора не считалось чем-то противозаконным. И я решил рискнуть и сказал:

— Неужели же исчез наш былой задор в споре? Что-то не верится. Может, он повернут в другое русло? Может, вы знаете, сэр, в какое именно?

— Вас интересует, как люди душу отводят?

— Значит, все-таки отводят?

Я не ошибся насчет искорки — драгоценной смешливой искорки в глазах.

— Да как вам сказать, сэр,— отвечал он.— Кое-когда случаются убийства, а нет, так книжку про убийство можно прочитать. Ну а бейсбол — «Уорлд Сириз»! Пожалуйста, спорьте с пеной у рта, какая команда сильнее, «Янки» или «Пираты». Но есть еще кое-что получше бейсбола — русские.

— Тут страсти разгораются?

— Еще бы! Дня не проходит, чтобы на них всех собак не вешали.

Не знаю почему, он стал держаться свободнее, даже позволил себе легкий смешок, который можно было выдать за откашливание, если бы на моем лице выразилось недовольство.

Я спросил:

— А тут у вас кто-нибудь когда-нибудь знал русских? Теперь он окончательно растаял и засмеялся.

— Да нет, конечно. Поэтому они так и пригождаются на все случаи жизни. Ругайте русских сколько влезет, никто вас за это не осудит.

— Не потому ли, что мы с ними не делаем никакого бизнеса?

Он взял с прилавка нож для сыра, осторожно провёл по лезвию большим пальцем и положил его на место.

— Может, вы и правы. Черт возьми! Может, в самом деле так? Потому что мы не делаем с ними бизнеса!

— Значит, вы думаете, что мы пользуемся русскими по мере надобности, когда нет других отдушин?

— Я, сэр, ничего такого не думал, но теперь буду, конечно, думать. А помните, было время, когда всё валили на мистера Рузвельта? Мой сосед Энди Ларсен просто на стену лез — такой-сякой Рузвельт! — когда у него куры заболели крупом. Да, сэр! — Он оживлялся все больше и больше.— Этим русским нелегко приходится. Поссорился человек с женой и опять же клянет русских.

— Может быть, русские всем нужны? Даже в самой России. Только там их называют американцами!

Он отрезал ломоть сыра от целого круга и протянул его мне на лезвии ножа.

— Вот теперь будет над чем подумать. Хитро вы мне подсунули эти мысли.

— А по-моему, вы сами меня на них навели.

— Я?

— Да, когда сказали насчет бизнеса и собственных миссий.

— Может быть. А знаете, что я теперь сделаю? В следующий раз, как только Энди Ларсен опять начнет бушевать, я поинтересуюсь, не русские ли донимают его кур. Для Энди была большая потеря, когда мистер Рузвельт умер.

Я не берусь утверждать, что у нас очень уж много таких людей, как этот лавочник, который понимает что к чему. Может быть, их мало, а может, и много, но мысли свои они, вероятно, тоже хранят про себя, а вслух размышляют только о том, что не затрагивает бизнеса.

Чарли поднял голову и предостерегающе рывкнул, не потрудившись даже встать на ноги. Я услышал тарахтенье автомобильного мотора и, пытаясь подняться, обнаружил, что ноги у меня совсем онемели в холодной воде. Будто их и не было. Пока я растирал и массировал себе икры и в них начало больно покалывать, как иголками, чей-то старомодный «седан» с кургузым, похожим на черепаху прицепом прогромыхал к берегу и остановился ярдах в пятидесяти от Росинанта. Меня это вторжение в мое уединенное местечко рассердило, но Чарли возликовал. Грациозно семеня прямыми ножками, он отправился выяснять, что за человек приехал, и по обычаю всех собак и всех людей смотрел куда-то мимо интересующего его предмета. Если вам покажется, будто из Чарли тут делают посмешище, поинтересуйтесь, как я сам себя вел в ближайшие полчаса, а заодно взгляните и на моего соседа. Мы с ним оба степенно, не спеша занимались каждый своим делом, всячески избегая глазеть друг на друга, и в то же время поглядывали исподтишка, присматривались, оценивали. Я видел человека не молодого и не старого, легкого, свободного в движениях. На нем были серо-зеленые брюки и кожаная куртка, на голове — ковбойская шляпа, но с примятой тульей и пропущенным поверху ремешком, который придерживал поля, загнутые с боков и сходящиеся спереди наподобие козырька. Профиль у него был классический, а борода — это я даже издали углядел — переходила в бакенбарды и сливалась с шевелюрой. Моей собственной бороде дальше подбородка ходу нет.

Заметно похолодало. И, право, не знаю, то ли у меня голова озябла, то ли мне не хотелось разгуливать без головного убора в присутствии незнакомца, но я надел свою старую капитанку. Потом вскипятил кофе, сел на заднюю приступку Росинанта и стал с величайшим интересом по-

глядывать по сторонам — куда угодно, только не на моего соседа, а он подмел свой прицеп и плеснул мыльную воду из таза, подчеркнуто не замечая меня. Внимание Чарли было приковано к прицепу, откуда доносилось то рычание, то тьяканье.

Всем нам, видимо, дана способность одинаково ощущать время, когда дело касается требований этикета, ибо лишь только я решил заговорить с соседом и, собственно, почти встал с намерением двинуться к нему, как он сам ко мне направился. Ему, должно быть, тоже показалось, что период выжидания пора кончать. Походка у него была странная, что-то она мне напоминала, только я не мог понять, что именно. Обветшалое величие чувствовалось в облике этого человека. В рыцарские времена таким мог быть нищий, который потом оказывается королевским сыном. Когда незнакомец подошел поближе, я поднялся с моего железного крылечка и шагнул ему навстречу.

Он не помахал передо мной шляпой с перьями, но у меня осталось впечатление, что это было бы вполне в его духе, равно как и отдание воинской чести по всей форме.

— Приветствую вас,— сказал он.— Я вижу, и вам не чужды котурны?

Я, вероятно, раскрыл рот от неожиданности. Давненько мне не приходилось слышать это выражение.

— Да нет... нет.

Настала его очередь удивляться.

— Нет? Но, друг мой любезный, как же вы так сразу догадались, о чем вас спрашивают?

— Да, признаться, имел кое-какое отношение.

— Ага! Имели все-таки? Понятно. Мир кулис? Помощник режиссера, постановщик?

— Неудачник,— сказал я.— Не хотите ли чашку кофе?

— С восторгом.

Он не переставал играть. Как раз это мне и нравится в актерах — они редко выходят из роли.

Мой гость скользнул на диванчик за столом с такой грацией, какой мне не удалось достигнуть за все мое путешествие. Я подал две пластмассовые кружки и два таких же стакана, налил нам обоим кофе и поставил в пределах досягаемости бутылку виски. Мне показалось, что глаза у моего гостя затуманились, впрочем, не ручаюсь, может быть, это я сам пустил слезу.

— Неудачи,— сказал он.— Тот из нас не лицедей, кто не испытал их.

— Разрешите налить?

— Да, прошу. Нет, нет, воды не требуется.

Он освежил рот черным кофе и стал деликатно дегустировать виски, обегая глазами мое жилье.

— Хорошо у вас здесь, очень хорошо.

— Скажите мне, пожалуйста, почему вы решили, что я причастен к театру?

Он ответил на это сухим смешком.

— Проще простого, Ватсон. Я, знаете ли, играл в этой пьесе. Обе роли — Шерлока Холмса тоже. Так вот, сначала мне попался на глаза ваш пудель, а потом ваша борода. А когда я подошел поближе, то увидел, что на вас морская фуражка с британским гербом.

— И поэтому вы сразу заговорили с английским акцентом?

— Может быть, старина. Вполне может быть. У меня это как-то само собой получается. Иной раз даже не замечаешь.

Теперь, поданный крупным планом, он уже не казался мне молодым. В движениях — сама юность, а судя по коже лица и уголкам губ — пожилой, чтобы не сказать больше. И глаза — большая, темно-карея радужка в оправе чуть тронутого желтизной белка — подтверждали мою догадку.

— Ваше здоровье, — сказал я.

Мы опорожнили наши пластмассовые стаканы, запиле виски черным кофе, и я снова налил ему и себе.

— Если я не касаюсь чего-то слишком личного или тягостного для вас, скажите, что вы делали в театре? — спросил он.

— Написал несколько пьес.

— Они шли?

— Да. И провалились.

— Может быть, ваше имя мне знакомо?

— Вряд ли. Меня никто не знал.

Он вздохнул.

— Да, нелегкое у нас ремесло. Но если уж вас подцепит, так это надолго. Я еще у деда клюнул на эту удочку, а отец и вовсе меня подцепил.

— Они были актеры?

— Да. И мать, и бабушка.

— Ого! Вот это я понимаю! Семейное предприятие! А сейчас вы... — Я не сразу вспомнил, как это говорилось раньше. — Сейчас вы на отдыхе?

— Отнюдь нет. Играю.

— Бог ты мой! Да где, что играете?

— Везде, где только залучу к себе зрителей. В школах, в церквях, в клубах. Я несу людям культуру, устраиваю вечера чтения. Вы, наверно, слышите, как мой партнер там жалуется? Он у меня молодец. Помесь эрделя с койотом. Когда в ударе, так все аплодисменты достаются ему.

Этот человек определенно начинал мне нравиться.

— Вот не подозревал, что у нас еще существуют такие зрелища!

— Не везде и не всегда.

— И давно вы этим занимаетесь?

— До трех лет не хватает двух месяцев.

— И разъезжаете по всей стране?

— Да, я играю всюду, «где двое или трое собрались во имя мое». Я год сидел без работы — обивал пороги театральных агентств, слонялся от антрепренера к антрепренеру и жил на пособие. Заняться чем-нибудь другим? У меня такой проблемы не возникает. Это все, что я умею, все, что я когда-нибудь умел. Много лет назад группа актеров поселилась на острове Нантакет. Мой отец тоже купил там хороший участок и построил деревянный домишко. А я и участок и дом продал, купил вот этот свой выезд и с тех пор разъезжаю и очень доволен такой жизнью. Вряд ли мне захочется опять тянуть лямку в каком-нибудь театришке. Конечно, если бы дали роль... Да господи! Кто меня помнит, чтобы роли мне давать — хоть самые маленькие!

— Да, верно.

— Что и говорить, нелегкое у нас ремесло.

— Не сочтите мое любопытство назойливым, даже если это так и есть, но мне интересно, как вы организуете свои выступления? Как это все происходит? Как к вам относятся люди?

— Прекрасно относятся. Как я организую выступления? Да сам не знаю. Иногда приходится даже снимать зал и расклеивать афиши. А то бывает достаточно одного разговора с директором школы.

— Но ведь люди боятся цыган, бродяг и актеров.

— Да, сначала, пожалуй, побаиваются. Принимают меня за чудака, впрочем безобидного. Но я человек порядочный, за билеты дорого не прошу, и мало-помалу самый материал берет за живое. Видите ли, в чем дело, — я отношусь к своему материалу с большим уважением. И это решает все. Я не шарлатан, я актер — плохой ли, хороший, но актер.

Он покраснел от виски и горячности, с которой говорил, а может быть, и оттого, что привелось побеседо-

вать с человеком, в какой-то мере причастным к такого рода делам. Теперь я налил его стакан полнее, и мне было приятно смотреть, с каким удовольствием он пьет. Он сделал глоток и вздохнул.

— Не часто случается такое вкушать. Надеюсь, у вас не создалось впечатления, что я загребаю деньги лопатой? Иной раз приходится довольно туго.

— Рассказывайте дальше.

— На чем я остановился?

— Вы говорили, что уважаете свой материал и что вы актер.

— А, да. Еще вот что надо сказать. Знаете, когда наш брат актер забирается в так называемую глушь, он презирает тамошнюю деревенщину. Первое время со мной тоже так было, но когда я понял, что деревенщины вообще не существует, у меня все пошло на лад. Зрителей надо уважать. Они это чувствуют и как бы начинают работать заодно с тобой, а не против тебя. Когда их уважаешь, они все понимают — все, что им ни прочтешь.

— А каким материалом вы пользуетесь? Что у вас в репертуаре?

Мой гость посмотрел на свои руки, и я заметил, что они у него холеные и очень белые, как будто он всегда носит перчатки.

— Надеюсь, вы не примете меня за плагиатора, — сказал он. — Я большой поклонник сэра Джона Гилгуда¹. Я слышал его композицию из Шекспира — «Век человеческий», потом купил пластинку и долго ее изучал. Как он владеет словом, интонацией, тембрами голоса!

— И вы используете его материал?

— Да, но это не кража. Я рассказываю, что слышал сэра Джона и что меня это чтение поразило, а потом говорю: «Теперь я сам почитаю, и, может быть, это даст вам какое-то представление о нем».

— Умно.

— Такой прием очень мне помогает, потому что мое исполнение как бы подкрепляется чужим авторитетом, а Шекспир говорит сам за себя. И я не только не обкрадываю сэра Джона, а, наоборот, прославляю его.

— Как вас принимают?

— Да знаете, я, верно, успел освоиться с ролью, потому что читаю и вижу: мои слова доходят, обо мне уже ни-

¹ Современный английский актер, один из лучших исполнителей шекспировских ролей.

кто не думает, взгляд у людей как бы обращается внутрь, и я перестаю казаться им чужаком. Ну... что вы скажете?

— Скажу, что Гилгуду, вероятно, было бы приятно знать это.

— Да я ведь писал ему, рассказал, что я делаю с его композицией и как я это делаю. Длинное письмо получилось.

Он достал из заднего кармана пухлый бумажник, вынул из него аккуратно сложенную серебряную бумажку, развернул ее и аккуратно, двумя пальцами извлек оттуда небольшой лист почтовой бумаги с фамилией отправителя, тисненной в самом верху страницы. Текст был машинописный. Я прочел:

«Уважаемый... Благодарю вас за ваше милое и интересное письмо. Я не был бы актером, если бы не почувствовал, с какой искренностью вы льстите мне своей работой. Желаю вам всяческой удачи и да благословит вас Бог.

Джон Гилгуд».

Я вздохнул, глядя, как пальцы моего гостя благоговейно сложили это письмо, снова облекли его в станиолевую броню и спрятали в бумажник.

— Я этим не козыряю, когда хлопочу о помещении для своих спектаклей,— сказал он.— Даже подумать не могу, чтобы козырнуть.

И я ему верю.

Он покрутил своим пластмассовым стаканом и посмотрел на остатки виски — жест, которым иной раз стараются привлечь внимание хозяина к пустой посуде. Я взялся за бутылку.

— Нет,— сказал он.— Хватит. Я давно усвоил, что в актерской технике самое важное, самое ценное — это научиться выполнять ремарку «уходит».

— Но мне хотелось бы еще кое о чем вас расспросить.

— Тем более пора.— Он потянул последние капли из стакана.— Вопрос за вопросом, а ты — раз-два и ушел за кулисы. Благодарю вас, всего хорошего.

Я смотрел, как он легкой походкой идет к своему прицепу, и, чувствуя, что есть один вопрос, который наверняка не даст мне покоя, крикнул ему вслед:

— Одну минутку! — Он остановился и посмотрел на меня.— А что делает пес?

— Да так, ерунду — несколько трюков,— сказал он.— Для облегчения программы. Выпускаю его, когда интерес падает.— И зашагал дальше к своему жилью.

Значит, не умерла еще эта профессия — а ведь она древнее письменности и, пожалуй, уцелеет даже в те времена, когда печатное слово исчезнет навеки. И все стерильные чудеса кино и телевидения и радио не смогут сменить ее с лица земли, не смогут заменить собой непосредственного общения живого человека с живой аудиторией. Но как он существует, этот человек? Есть ли у него друзья? Какова та сторона его жизни, что скрыта от посторонних? Да, он был прав. Уйма вопросов возникает после его ухода за кулисы!

Вечер был полон мрачных предзнаменований. Скорбное небо покropило нас дождиком, а к ночи грозно налилось свинцом. Поднялся ветер — не тот, знакомый, побережный, что прядает по-заячьи, а могучий, как поток, не знающий преград на тысячи миль в любом направлении. В таком ветре, непривычном для меня, чувствовалось что-то таинственное, а потому не менее таинственны были и отклики, которые он во мне рождал. Рассуждая здраво, ветер был как ветер, и я сам приписывал ему некую странность. Но ведь то же самое можно сказать и о других, казалось бы, необъяснимых явлениях, с которыми нам приходится сталкиваться в жизни. Мне доподлинно известно, что люди утаивают многое из своего жизненного опыта, боясь, как бы их не подняли на смех. Мало ли кому случалось видеть, слышать или ощущать нечто настолько из ряда вон выходящее, что память мгновенно отбрасывала это прочь, подобно тому как заматают мусор под ковер — лишь бы с глаз долой.

Что касается меня, то я стараюсь не отгораживаться от непонятного и необъяснимого, хотя в наше время, когда все всего боятся, это нелегко. Сейчас, находясь в Северной Дакоте, я вдруг не пожелал трогаться с места, и мое нежелание почти граничило со страхом. А Чарли, напротив, стремился в путь и такое вытворял, что его пришлось урезонивать.

— Слушай, пес. Ехать нельзя, у меня дурные предчувствия. Они как веление свыше. Если я не посчитаюсь с ними и мы поедem и нас занесет снегом, тогда вывод ясен: не внял предостережению. Если же мы останемcя и начнется снежная буря, тогда я уверую, что у меня пророчества на прямом проводе.

Чарли чихнул и нервно прошелся взад и вперед.

— Хорошо, топ песик, станем на твою точку зрения. Тебе приспичило ехать дальше. Предположим, мы поехали и ночью вот на этом самом месте, где мы стоим, рухнет дерево. Значит, не я, а ты пользуешься благоволением богов. А такое вполне возможно. Могу рассказать тебе много всяких историй о преданных животных, которые спасали своих хозяев. Но я сильно подозреваю, что ты просто здесь соскучился, и потакать тебе не собираюсь.

Чарли устремил на меня совершенно бесстыжие глаза. Да, он у нас не романтик и не мистик.

— Я понимаю, что ты хочешь сказать. Если мы уедем отсюда, а дерево не рухнет, или заночуем, а снежная буря не разыграется,— что тогда? Тогда вот что: весь этот эпизод будет предан забвению и ничей пророческий дар не пострадает. Я голосую за то, чтобы остаться. Ты — за отъезд. Но поскольку я ближе к вершинам творения, а также считаюсь начальником этой экспедиции, решающее слово остается за мной.

Мы заночевали там, и снежная буря не разыгралась, деревья не падали, так что спор наш был забыт, и если мистические ощущения снова нахлынут на нас, их ждет открытый путь. А ранним утром, ясным, без единого облачка и прозрачным до телескопических высот, мы прогулялись по звонко похрустывающему под ногами толстому ковру белого инея и вскоре пустились в путь. В прицепном храме искусств было темно, но, когда Росинант проезжал мимо него к шоссе, собака залаяла.

Мне, наверно, рассказывали про берега Миссури у города Бисмарка, в Северной Дакоте, или я где-то читал о них. Так или иначе, внимание мое на этом не задержалось. И я был поражен тем, что увидел. Вот где должен бы проходить продольный сгиб карты Соединенных Штатов. Вот где Восток вплотную примыкает к Западу. На левом берегу, у Бисмарка, пейзаж, трава, запахи — все как в восточных штатах. А через реку, у Мэндана, самый настоящий Запад — бурая трава, небольшие обнажения породы в береговых подмывах. Право- и левобережье вполне могли бы отстоять на тысячу миль одно от другого. Такой же неожиданностью, как берега Миссури у Бисмарка, были для меня и Плохие земли. Они заслуживают свое название. Здесь будто набедокурил озорной ребенок. Только падшие ангелы могли бы создать назло небесам такую пустыню — сухую, колючую и полную опасностей, а на мой взгляд, и дурных предзнаменований. От нее так и веяло неприязнью к человеку и нежеланием пускать его в свои преде-

лы. Но человек есть человек, и, будучи тоже человеческой породы, я свернул с шоссе и, робея и чувствуя себя здесь незванным гостем, повел Росинанта между высокими плоскими холмами. Сланцеватая глина терзала покрышки Росинанта и то и дело исторгала крики ужаса у его страдающих от перегрузки рессор. Какое чудное было бы здесь обиталище для троглодитов, а еще того лучше — для троллей. И ведь вот что любопытно: я чувствовал себя нежеланным в этих местах, и сейчас у меня у самого нет желания писать о них.

Проехав несколько миль, я увидел человека, который стоял, привалившись к изгороди из двух рядов колючей проволоки, укрепленной не на столбиках, а в развилках кривых веток, воткнутых в землю. Он был в темной шляпе, в долгополой куртке и джинсах, бледно-голубых от многократной стирки и совсем уже выцветших на коленях. Губы у него были в чешуйках, точно змеиная кожа, светлые глаза, казалось, остекленели от слепящего солнца. У изгороди, рядом с ним, торчала винтовка, а на земле виднелась небольшая кучка меха и перьев — подстреленные кролики и мелкая птица. Я остановился поговорить с этим человеком, увидел, как его глаза метнулись по моему Росинанту, сразу все в нем подметили и снова ушли в глазницы. И я вдруг запнулся, не зная, с чего начать разговор. Такие зачины, как «Зима, видно, будет ранняя» или «Есть здесь хорошие места для рыбной ловли?» — казались неуместными. И мы с ним просто хмуро глядели друг на друга.

— Добрый день.

— Да, сэр? — сказал он.

— Где бы мне тут купить яиц?

— Поблизости негде, разве только доедете до Галвы или до Бича.

— А я настроился так, чтобы из-под домашней курочки.

— Яичный порошок, — сказал он. — Моя миссис яичный порошок покупает.

— Давно здесь живете?

— Угу.

Я ждал: вот он задаст мне какой-нибудь вопрос или сам что-нибудь скажет, и можно будет продолжить разговор. Но он молчал. И поскольку молчание затягивалось, найти подходящую тему становилось все труднее. Тем не менее я решился еще на одну попытку.

— Сильные холода у вас зимой?

— Бывает.

— Вы, я вижу, из говорливых.

Он усмехнулся.

— Моя миссис тоже такого мнения.

— Прощайте,— сказал я, дал газ и поехал дальше и, глядя в зеркало заднего вида, что-то не заметил, чтобы он смотрел мне вслед. Может быть, это не типичный обитатель Плохих земель, но я ведь и видел-то всего двоих-троих.

Проехав еще немного, я остановился у небольшого домика, по виду — казарменного барака, из тех, что отдельными секциями распродавались после войны. Он был выкрашен в белую краску с желтой каемочкой, и при нем имелся умирающий садик — несколько жалких кустиков прихваченной морозом герани и хризантем, похожих на желтые и красновато-коричневые пуговицы. Я шел по дорожке, чувствуя, что за мной наблюдают из-за белой занавески. На мой стук в дверях появилась старушка. Я попросил напиток, она вынесла мне воды и заговорила меня насмерть. Ей, видно, неистово, неудержимо хотелось говорить, и она начала рассказывать мне о своей родне, о знакомых и о том, что никак не приживется на новом месте. Она была нездешняя, и все ей тут казалось чужим. У нее на родине — молочные реки и кисельные берега, словом, тоже не без золота и слоновой кости, обезьян и павлинов. Голос ее не умолкал ни на минуту, точно она страшилась тишины, которая наступит после моего ухода. Я слушал, слушал и вдруг подумал, что ей просто боязно здесь, да не ей одной, а и мне тоже. И я меньше всего хотел, чтобы меня застала ночь в этих местах.

Я ударился в бегство, стараясь поскорее оставить позади этот жуткий пейзаж. Но наступил вечер и изменил все. В пологих лучах солнца страшные, точно обугленные холмы, овраги, лощины, сухие речные русла, гранитная лепка скал вдруг расцвелись желтыми и тепло-коричневыми тонами и сотней оттенков красного и серебристо-серого с угольной чернотой прожилок. Это было так красиво, что я остановил машину возле зарослей можжевельника и покореженных ветром карликовых кедров и, остановившись, увяз, утонул взглядом в богатстве красок, в сияющей чистоте воздуха. Ломаная линия гор четко темнела на закатном небе, а там, где лучам заходящего солнца ничто не мешало стлаться вкось, к востоку, краски прямо-таки бушевали в этом странном пейзаже. И ночь пришла не только не страшная, но полная такой прелести, что не передать сло-

вами, ибо звезды были совсем близко и небо даже без луны все серебрилось от их сияния. Ночной воздух острым холодком обжигал ноздри. Я собрал сухих веток и разжег небольшой костер, единственно ради удовольствия вдохнуть запах горящего кедра и послушать, как сучья будут яростно трещать на огне. Костер возвел надо мной желтый купол света, а где-то неподалеку охотилась сова и слышалось тьяканье койотов — не вой, а тьяканье, похожее на отрывистое похохатывание. Это было одно из немногих известных мне мест, где ночь добрее к человеку, чем день. И я вполне понимаю, что людей может тянуть назад на эти Плохие земли.

Перед сном я разложил на кровати свою карту — дорожную карту, всю в следах Чарлиных лап. От того места, где мы сделали остановку, было недалеко до Бича, там кончалась Северная Дакота. А дальше начинался штат Монтана, где я никогда не бывал. Ночью так похолодало, что мне пришлось надеть вместо пижамы термоизоляционное белье, а когда Чарли сделал все свои дела, и получил свои галеты, и выпил свою обычную порцию воды — целый галлон, — и наконец свернулся клубком на своем месте у меня под кроватью, я откопал в шкафчике запасное одеяло и накрыл его с головой — только самый кончик носа оставил снаружи, и он вздохнул, дрыгнул ногами и протяжно застонал от полноты чувств. А я подумал, что очередной мой якобы бесспорный вывод перечеркнуло новое умозаключение. Ночью Плохие земли превратились в земли Добрые. Вот так-то. А чем это объяснить — я и сам не знаю.

На следующем этапе моего путешествия у меня завязался роман. Я влюбился в Монтану. Другие штаты я уважаю, восхищаюсь ими, признаю их достоинства и даже чувствую привязанность к некоторым из них, но Монтану я люблю, а влюбленному бывает трудно разобраться в своих эмоциях. В те времена, когда я млеял от восторга, купаясь в голубом мареве, которое излучала Владычица Души Моей, отец однажды поинтересовался, чем она меня пленила, и мне показалось, что он просто не в своем уме, если сам этого не видит. Теперь-то я, конечно, знаю, что волосы у той девчонки были мышинного цвета, нос конопатый, коленки в болячках, голос, как у летучей мыши, а нежности в душе не больше, чем у варака. Но в те дни она озаряла светом и меня и все вокруг. Монтана — это

мощный всплеск величия. Она грандиозна, но не подавляет. Земля ее щедра на травы и краски. А горы! Вот такие я бы и сотворил, если б среди прочих дел мне пришлось заняться и горами. На мой взгляд, Монтана — это почти то же самое, что Техас в воображении маленького мальчика, который наслушался рассказов о нем от техасцев. Здесь я впервые услышал областной говор, не испытывавший на себе влияния телевизора, — говор медлительный, полный теплых интонаций. Мне казалось, что лихорадочной суеты Америки в Монтане нет. Здесь, по-моему, не страшатся призраков — я имею в виду тех, что преследуют воображение членов общества Джона Бэрча¹. Спокойствие этих гор и зеленых предгорий передалось и людям. Когда я проезжал через этот штат, начался охотничий сезон. У охотников, с которыми мне приходилось говорить, совсем не чувствовалось тяги к смертоубийству ради смертоубийства, они просто шли пострелять чего-нибудь съестного. Может быть, и тут во мне говорит любовь, но, на мой взгляд, города Монтаны — это не потревоженные улы, а места, предназначенные для жизни. У обитателей их хватает времени на то, чтобы, оторвавшись от своих деловых забот, отдать дань уходящему искусству добрососедских отношений.

Я поймал себя на том, что проезжаю через здешние города без всякой спешки и вовсе не стараюсь поскорее оставить их позади. Я даже задерживался то в одном, то в другом под тем предлогом, что надо сделать кое-какие покупки. В Биллингсе я купил шляпу, в Ливингстоне — куртку, в Бьютте — винтовку, по сути дела ненужную мне — «ремингтон» со скользящим затвором, подержанный, но в прекрасном состоянии. Нашелся и оптический прицел, без которого уже невозможно было обойтись, и его поставили в моем присутствии, а я, пока ждал, перезнакомился и с продавцами и с покупателями, которые туда заходили. Винтовку мы зажали в тиски, затвор из нее вынули и выверили нулевую установку по дымовой трубе за три квартала от магазина. Когда я потом стрелял из этой винтовки, менять установку прицела не понадобилось. На покупку у меня ушло почти все утро, главным образом потому, что очень уж не хотелось уезжать из Бьютта. Но любовь, как убеждаешься всякий раз, косноязычна. Монтана меня околдовала. Монтана — это величавость и теплота. Если б

¹ Одна из наиболее реакционных организаций США, ставящая своей целью борьбу с коммунизмом.

у нее было морское побережье или если бы я мог жить вдали от моря, я бы немедленно туда переехал и подал бы прошение о разрешении на поселение там. Из всех штатов этот самый мне дорогой и самый любимый.

У Кастера мы сделали крюк в сторону, чтобы засвидетельствовать свое почтение генералу Кастеру и Сидящему Быку на поле битвы у Литл-Биг-Хорна¹. Вряд ли найдется хоть один американец, у которого не сохранилась бы в памяти картина Фредерика Ремингтона, где изображен последний оборонительный бой Седьмого кавалерийского полка. Я обнажил голову, отдавая дань мужеству этих людей, а Чарли почтил их по-своему, но тоже с большим уважением.

Вся восточная часть Монтаны и западная обеих Дакот запечатлелись в наших воспоминаниях как страна индейцев, и воспоминания эти не столь уж давние. Несколько лет назад по соседству со мной жил Чарльз Эрскин Скотт Вуд, автор «Бесед на Небесах». Я знал его уже дряхлым стариком, но в молодости, сразу после окончания военной академии, он был прикомандирован в чине лейтенанта к генералу Майлзу и участвовал в сражениях против индейского вождя Джозефа. Он очень хорошо помнил эту кампанию, и она оставила у него очень грустную память по себе. Он говорил, что отступление Джозефа — одно из самых славных в истории. Вождь Джозеф уводил племя незперсе с женщинами, детьми, с собаками и всем домашним скарбом за тысячу миль под ожесточенным обстрелом, пытаясь пробраться в Канаду. Каждый шаг давался им с боем, а силы в этом бою были несоизмеримые. Кончилось тем, что кавалерийские части под командованием генерала Майлза окружили отступающих и большую часть уничтожили. По словам Вуда, это был самый тяжкий долг, который ему пришлось выполнить, и у него навсегда сохранилось уважение к боевому духу индейцев племени незперсе.

— Если бы они были одни, без семей, мы бы их не догнали,— рассказывал он.— А при равных силах и равном вооружении нам с ними никогда бы не справиться. Это были люди,— говорил он.— Настоящие люди.

¹ Место, где в 1876 году вождь индейского племени сиу Сидящий Бык нанес поражение американскому генералу Кастеру. После одержанной победы индейцы подверглись еще большему преследованию и разгрому, а остатки их были загнаны в резервации.

Должен признаться, что мое отношение к национальным паркам страдает некоторой небрежностью. Во многих я вообще не бывал. Может быть, потому, что обычно они заключают в своих пределах только уникальное, сногсшибательное, поражающее глаз — самый большой водопад, самое глубокое ущелье, самый высокий утес, самое грандиозное произведение человека или природы. По-моему, хорошая фотография Брэди интереснее монументальных скульптур Маунт-Рашмора. Мы же почему-то прославляем в заповедниках всякие курьёзы и уродства нашей страны и нашей цивилизации. По Йеллоустонскому национальному парку можно судить об Америке не больше, чем по Стране Диснея¹.

Такова моя точка зрения на этот вопрос, и я сам не знаю, что меня заставило пересечь границу Вайоминга и круто свернуть на юг к Йеллоустону. Скорее всего, страх перед ближними моими. Мне слышались их голоса: «Ка-ак! Вы были недалеко от Йеллоустона и не заехали туда? Безумец!» А может быть, виной тому свойственное нам, американцам, отношение к путешествиям? У нас разъезжают туда-сюда не столько ради желания повидать мир, сколько для того, чтобы потом рассказывать о своих поездках. Но каковы бы ни были причины, приведшие меня в Йеллоустон, я не жалею об этом, ибо иначе мне никогда бы не узнать о Чарли того, что я знаю о нем теперь.

Приятный молодой человек — служитель Национального парка отметил меня при въезде, а потом сказал:

— А как с собакой? Разрешается, только если на поводке.

— Почему? — спросил я.

— А медведи-то!

— Сэр! — сказал я. — Это пес единственный в своем роде. Зубы и клыки ему без всякой надобности. Он уважает право кошек быть кошками, хотя и не питает к ним особой симпатии. Ему проще свернуть с дороги, чем потревожить какую-нибудь суровую гусеницу. Больше всего на свете он боится, как бы ему не показали кролика и не предложили погнаться за ним. Мой Чарли — мирная, тихая собака. Самая большая опасность, которая грозит вашим медведям, это щелчок по их самолюбию, потому что Чарли не уделит им ни малейшего внимания.

Молодой человек рассмеялся.

¹ Созданный популярным американским художником-мультипликатором Уолтом Диснеем парк «Диснейленд» демонстрирует ряд сказочных и псевдоисторических аттракционов.

— За медведей я не очень беспокоюсь, — сказал он. — Но они у нас почему-то проявляют нетерпимость к собакам. Какой-нибудь один может выразить вашему Чарли свою антипатию таким образом: размахнется — бац! — и нет собачки.

— Я запру его в кузове, сэр. Верьте моему слову, Чарли воды не замутит в медвежьем царстве, и я, как старый их поклонник, за себя тоже ручаюсь.

— Мое дело предупредить, — сказал он. — У вашей собаки намерения, наверно, самые лучшие, я в этом не сомневаюсь. Но у наших медведей они, наоборот, наихудшие. Не оставляйте на виду ничего съестного. Они не только воруют, но и весьма критически относятся к тем, кто берется исправлять их дурные наклонности. Короче говоря, не полагайтесь на умильное выражение этих мордашек, не то солоно придется. И не пускайте собаку бегать на воле. Медведи уговоров не слушают.

Мы въехали в эту волшебную страну, где властвует спятившая с ума природа, а что касается дальнейшего, то вам придется принять мои слова на веру. Подтвердить их я смог бы, только раздобыв какого-нибудь медведя.

Не проехали мы от ворот и мили, как я увидел недалеко от дороги медведя, который заковылял наперерез Росинанту, точно собираясь задержать меня силой оружия. И в эту секунду Чарли будто подменили. Он взвизгнул от ярости. Губы у него вздернулись кверху, обнажив свирепые клыки, которые не так-то легко справляются с собачьей галетой. Он истошным голосом выкрикивал оскорбления по адресу медведя, услышав каковые тот взвился на дыбы и показался мне выше Росинанта. Я что было силы стал крутить ручки, поднимая стекла в кабине, потом быстро свернул влево, чуть не задев зверюгу, и припустил наутек, в то время как Чарли бесновался и буйствовал рядом со мной, расписывая во всех подробностях, что бы он сделал с этим медведем, если бы тот попался ему. Я просто в себя не мог прийти от удивления. Насколько мне было известно, Чарли медведей отроду не видел и всю свою жизнь проявлял величайшую терпимость ко всему живому. Помимо этого, Чарли — трус, закоренелый трус, ухитрившийся даже выработать особую технику сокрытия своей трусости. Но сейчас все его поведение говорило о том, что ему не терпится выскочить из машины и уложить на месте зверя, вес которого относился к его весу как тысяча к одному. Понять это трудно.

Немного дальше на нашем пути появились еще два медведя, и это дало двойной эффект. Чарли превратился в буйно помешанного. Он прыгал по мне, он сыпал ругательствами и выл, верещал и взвизгивал. Я и не подозревал, что моя собака умеет верещать. Где его этому научили? В медведях теперь недостатка не было, и дорога превратилась в кошмар. Впервые в жизни разумные доводы не действовали на Чарли, не подействовала и оплеуха. В кабине рядом со мной метался первобытный убийца, жаждущий крови своего врага, а до сих пор врагов у Чарли не было. На безмедвежьем отрезке дороги я отворил дверцу кабины, выволок Чарли за ошейник и запер его в кузове Росинанта. Но легче от этого не стало. Когда мы поровнялись с новыми медведями, он вскочил на стол и, пытаясь добраться до них, начал скрести когтями по оконному стеклу. Мне был слышен грохот консервных банок, которые он сшибал в припадке безумия. Медведи просто-напросто выпустили на волю мистера Хайда, затаившегося в моей благородной, как доктор Джекил, собаке¹. Чем это объяснить? Может быть, это явление атавизма — память о тех временах, когда в нем сидел волк? Я хорошо знаю своего Чарли. Время от времени с ним случается, что он пробует взять нас на пушку, но его притворство обычно бывает шито белыми нитками. А тут, клянусь, тут притворства не было. Я не сомневаюсь, что если бы Чарли выпустить, он схватился бы с каждым медведем, которые попадались нам навстречу, и нашел бы в этих схватках победу или смерть.

Нервы мои не выдержали такого страшного зрелища — будто ваш старый и всегда такой спокойной друг сошел с ума у вас на глазах. Никакие чудеса природы — ни суровые скалы и низвергающиеся водопады, ни горячие источники не могли завладеть моим вниманием, пока в Росинанте у меня творился ад крошечный. После пятой встречи с медведями я сдал позиции, развернулся на дороге и поехал вспять. Если бы мы заночевали в парке и медведей привлекли бы запахи моего ужина, не знаю, чем бы все это кончилось.

Парковый служитель отметил меня на выезде.

— Что-то вы быстро. А где собака?

— Заперта в кузове. Я приношу вам свои извинения.

¹ Персонажи «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда» английского писателя XIX века Роберта Льюиса Стивенсона.

Этот пес — убийца до мозга костей, а я этого и знать не знал. До сей поры инстинкты пробуждались в нем только при виде недожаренного бифштекса, и то самую малость.

— Да-а! — сказал сторож. — С ними это случается. Поэтому я вас и предупреждал. Охотничьи собаки — те правильно расценивают шансы, а я видел однажды, как от шпица только легкий дымок остался. Медведь, знаете ли, если он в форме, так подкинет собаку, точно свечку даст в теннисе.

Я быстро ехал той же дорогой, не решаясь сделать остановку, потому что меня преследовал страх, как бы не встретиться здесь с другими медведями — вольными, не из государственной коллекции. Ту ночь мы провели в уютном мотеле недалеко от Ливингстона. Пообедал я в ресторане, а потом сел в удобное кресло, налил виски в стакан, только что вымытые босые ноги поставил на ковер с красными розами и приступил к осмотру Чарли. Вид у него был какой-то ошалелый, взгляд отсутствующий — чувствовалось, что он опустошен полностью, за счет сильных переживаний, конечно. Его можно было сравнить с пьяницей после длительного, тяжелого запоя — какой-то поникший, вялый, измочаленный. Он не притронулся к еде, отказался от вечерней прогулки и, когда мы вошли в номер, рухнул на пол и заснул. Ночью меня разбудило поскуливание, таяканье, я зажег свет и увидел, что он дрыгает ногами, как на бегу, дергается всем телом — а глаза широко открыты. Наверно, ему что-то примедведилось. Я растолкал его, дал напиться. На этот раз он заснул и проспал до утра, не шелохнувшись. Утром вид у него был все еще усталый. А мы почему-то считаем, будто мысли и ощущения животных — это нечто совсем простое.

В детстве, когда я слышал или читал о Великом перевале, меня буквально потрясало величественное звучание этих слов, настолько точно оно соответствовало моему представлению о гранитном стеновом хребте континента. Мне рисовались бастионы, вздымающиеся под облака, нечто вроде Великой Китайской стены, созданной самой природой. Скалистые горы — это нечто такое большое, протяженное, значительное, что им нет нужды бить на эффект. В Монтане, куда я вернулся, подъем идет постепенно, и если б не яркая табличка у шоссе, мне бы нипочем не догадаться, что вот это и есть то самое место. Перевал оказался совсем не так высок. Я уже проехал его, но, уви-

дев табличку, остановился, дал задний ход, вышел из машины и стал над этим каменистым выступом, широко расставив ноги. И когда я стоял так, лицом к югу, меня вдруг осенила странная мысль, что дождевики, падающие на мой правый сапог, попадут в Тихий океан, а те, что на левый, преодолеют бессчетное количество миль и в конце концов доберутся до Атлантики. Место это было не столь уж внушительно, чтобы служить основой для такого потрясающего умозаключения.

Очутившись среди этих высокогорных хребтов, невозможно не вспомнить первых людей, которые переваливали через них — путешественников-французов, членов экспедиции Льюиса и Кларка. В самолете мы покрываем это пространство за пять часов, в машине, если ехать быстро, — за неделю, а с прохладцей, вот как я, — за месяц-полтора. Но Льюис и Кларк вышли со своей партией из Сент-Луиса в 1804 году, а вернулись туда в 1806. И тем из нас, кто склонен гордиться своим мужеством, не мешает вспомнить, что за два с половиной года, понадобившиеся этим людям, чтобы пройти по диким, неисследованным местам до берегов Тихого океана и обратно, только один человек у них умер и один сбежал. А мы расклеиваемся, если нам не доставят молоко вовремя, и чуть ли не умираем от разрыва сердца, стоит лифтерам объявить забастовку. Какие мысли рождались у этих людей, когда перед ними развертывался совершенно иной мир? Или они проникали в него так медленно, что сила впечатления терялась? Неужели масштабы открытия не поражали их самих? Трудно в это поверить! Во всяком случае, отчет об экспедиции, представленный ими правительству, — документ волнующий, и написан он людьми взволнованными. Они не растерялись. Они сумели разобраться в том, что нашли.

Я пересекал торчащий вверх палец штата Айдахо и ехал в горах, среди отвесных скал, поросших соснами и засыпанных глубокими наносами снега. Приемник мой замолчал — вышел из строя, как мне сначала показалось, но потом я понял, что высокие горные кряжи преграждают путь радиоволнам. Пошел снег, вернее, снежок, веселый, легкий, — счастье не оставляло меня. Воздух по эту сторону Великого перевала был мягче, и мне припомнилось, будто я читал где-то, что воздушные волны, нагретые Курисио, проникают далеко в глубь континента. Подлесок здесь стоял густой и ярко-зеленый, и со всех сторон слышался шум воды. Дороги были безлюдные, только изредка встре-

чались компании охотников в красных кепи и желтых куртках, иной раз с лосем или оленем, распластанным на крыше машины. Хоть и не часто, но попадались и горные хижины, врезанные в крутые склоны.

Мне приходилось то и дело останавливаться из-за Чарли. Мой Чарли испытывал все увеличивающиеся трудности при опорожнении мочевого пузыря, излагая же этот печальный факт попросту, он не мог делать пипи. Иногда это сопровождалось болями, а уж о смущении и говорить нечего. Вы только представьте себе эту собаку — ее *élan*¹, ее безукоризненные манеры, *bon ton*², наконец, свойственное ей благородство осанки. Он страдал не только физически, но и морально. Я останавливал машину и пускал его погулять, а сам из сострадания поворачивался к нему спиной. У него уходило на это очень много времени. Случись такая вещь с человеческим существом мужского пола, я заподозрил бы тут простатит. Чарли — пожилой господин французских кровей. Французы признаются только в двух недугах — вот в этом и в заболевании печени.

Итак, поджидая Чарли и делая вид, будто меня интересуют цветочки и ручейки, я обдумывал свое путешествие и старался создать из него нечто целое, а не просто ряд отдельных дорожных эпизодов. Посмотрим, не было ли с моей стороны каких-нибудь ошибок? Так ли все идет, как было задумано? Перед отъездом многие мои друзья поучали, натаскивали, наставляли и нашпиговывали меня, кто как мог. Один из них был известный, в высшей степени уважаемый публицист. Ему пришлось сопровождать кандидатов в президенты в их разъездах по Америке, и когда я с ним встретился вскоре после этого, настроение у него было неважное, ибо он любит свою страну и, любя ее, чувствует, что в ней что-то неладно. Добавлю еще: человек этот абсолютно честный.

Он говорил мне с горечью:

— Если вам попадется во время вашего путешествия какой-нибудь смельчак, засекуте это место. Я съезжу туда познакомиться с ним. Мне что-то ничего, кроме трусости и приспособленчества, не встречалось. Когда-то нашу страну населяли гиганты. Куда они подевались? Нельзя же защищать нацию силами директоров акционерных обществ. Тут нужны мужи доблести. Где они?

¹ Здесь: аристократичность (франц.).

² Хороший тон (франц.).

— Где-нибудь, наверно, есть,— сказал я.

— Ну так попытайтесь откопать их парочку-другую. В них теперь большая нужда. Клянусь вам, у меня создалось такое впечатление, будто в нашей стране мужество есть только у негров. И заметьте, пожалуйста,— продолжал он,— я не собираюсь отказывать им в праве на героизм, но нельзя же, черт побери, чтобы они захватили монополию на него в свои руки! Отыщите мне десять полноценных американцев-белых, которые не боятся иметь собственные убеждения, идеи или взгляды, идущие вразрез с общепринятыми, и тогда я успокоюсь: костяк постоянной армии у нас есть.

То, что его явно тревожило это обстоятельство, произвело на меня сильное впечатление, и в дороге я все присматривался к людям, вслушивался в разговоры. И действительно, не часто при мне кто-нибудь отстаивал свои убеждения. Я видел только две настоящие драки, когда кулаками совали вдохновенно, но неумело, и обе они были из-за женщин.

Чарли вернулся с извинениями, что на это потребуется еще некоторое время. Я бы с радостью помог ему, но он предпочел остаться один. И тогда я стал вспоминать дальнейший разговор с моим другом.

— Было у нас раньше нечто, было некое достояние, которым мы очень дорожили. Называлось это Народ. Выясните, куда он подевался. Я не о тех, рекламных — открытый взгляд, зубы, как жемчуг, шевелюра — восторг, не о тех, кто лопни, а чтобы машина новейшей модели, и не о тех, кому успех достается ценой инфаркта. Может быть, Народа с большой буквы и не существует, но если он есть, то о нем и говорила Декларация независимости, о нем и говорил Авраам Линкольн. Впрочем, если порыться в памяти, так людей из Народа я знавал — правда, не очень много. Но ведь было бы глупее глупого, когда бы в конституции говорилось о молодом человеке, жизнь которого вертится вокруг секса, спорта и спиртного.

Помню, я возразил ему:

— Может быть, под словом «Народ» всегда подразумеваются те, кто жил за поколение до нас?

Чарли вернулся какой-то одеревенелый. В Росинанта его пришлось подсаживать. Мы двинулись дальше в горы. Легкий, сухой снежок сеял на дорогу, точно белая пыль; вечер, как мне показалось, наступал в этих местах быстрее. Я остановился на заправку у небольшой группы домишек сборной конструкции, похожих на квадратные ящики, каж-

дый с крылечком, с одной дверью и одним окном, но без малейшего намека на палисадник или песчаные дорожки. Маленькая лавочка позади бензоколонок (она же мастерская и закусочная) была самая невзрачная из всех, какие мне только приходилось видеть. Стандартные голубые плакаты на стене — все в мушиных автографах, скопившихся не за одно лето. «Таковыми пирогами утрем нос старенькой маме». «Мы не заглядываем вам в рот, а вы не заглядывайте к нам на кухню». «Без отпечатков пальцев банковские чеки недействительны». Шуточки солидной давности. Здесь еду в целлофан вряд ли укутывают.

К бензоколонке никто не явился, и я заглянул в закусочную. В задней комнате — там, вероятно, была кухня — шла ссора. Низкий мужской голос и тенорок перебивали один другой. Я крикнул: «Есть кто дома?» — и голоса смолкли. В дверях появился здоровенный дядя с сердитой, еще не остывшей от перепалки физиономией.

— Что вам?

— Заправиться. А если есть свободный домик, я бы заночевал.

— Выбирайте любой. Тут ни души нет.

— Помыться можно?

— Принесу ведро горячей воды. Зимой цена за сутки два доллара.

— Хорошо. А поесть дадите?

— Ветчина с фасолью, мороженое.

— Ладно. Я с собакой.

— Дело ваше. Домики не заперты. Выбирайте любой. Если что понадобится — крикнете.

Те, кто обставлял эти домики, не пожалели трудов, чтобы сделать их как можно безобразнее и лишить всякого уюта. Матрас на кровати был комкастый, стены грязно-желтые, занавески замызганные, как нижняя юбка у неряхи. В непроветренной комнате стоял смешанный запах мышей и сырости, плесени и застарелой, залежавшейся пыли, но простыни были чистые, а небольшого сквознячка оказалось достаточно, чтобы изгнать из нее память о прежних обитателях. С потолка свешивалась электрическая лампочка без абажура; отапливалась комната керосиновой печкой.

В дверь постучали, и я впустил молодого человека лет двадцати, в серых фланелевых брюках, белых полуботинках с коричневыми союзками и яркой спортивной куртке со значком Споканской средней школы; шея повязана шарфом в мелкую крапинку. Его темная, поблескивающая на свету шевелюра была чудом искусства — со лба волосы

вачесаны назад, а от ушей к макушке уложены наперекрест двумя длинными прядями. После того людоеда за стойкой этот юноша потряс меня своим видом.

— Вот вам горячая вода,— сказал он, и я узнал голос одного из спорщиков.

Дверь на улицу оставалась у меня открытой. Мне было видно, как глаза его скользнули по Росинанту, задержались на табличке с номерным знаком.

— Вы правда из Нью-Йорка?

— Правда.

— Вот бы где побывать!

— А оттуда все рвутся сюда.

— Зачем? Что здесь делать? Гнить заживо?

— Если придет охота сгнить, так это везде можно.

— Здесь никуда не продвинешься — вот я о чем.

— А куда вам продвигаться?

— Да ведь у нас тут ни театра, ни концертов, не с кем... поговорить не с кем. Последние номера журналов и то не достанешь, только по подписке.

— Значит, вы читаете «Нью-Йоркер»?

— Откуда вы догадались? Я на него подписываюсь.

— И на «Тайм» тоже?

— Конечно.

— Можете никуда не ездить.

— Не понимаю.

— У вас весь мир как на ладони. Новости моды, искусства, науки — все тут, у крылечка. А уедете — и вовсе с толку собьетесь.

— Самому хочется все повидать,— сказал он. Честное слово, так и сказал!

— Это ваш отец?

— Да, но я в доме будто пасынок какой-то. Ему что надо? Половить рыбу, сходить на охоту да выпить.

— А вам?

— Я хочу добиться чего-нибудь в жизни. Мне двадцать лет. Ведь надо о будущем подумать. Вот уже опять орет. Слова не скажет без крика. Вы с нами будете есть?

— Да, конечно.

Я не спеша помылся в заскорузлом от накипи оцинкованном ведре. На секунду у меня мелькнула мысль, а не пустить ли мне этому юнцу пыль в глаза нью-йоркским костюмом, но я отставил ее и удовлетворился чистыми спортивными брюками и трикотажной рубашкой.

Здоровенный дядя — хозяин этого заведения — стоял за стойкой, красный, как спелая малина. Когда я вошел, нижняя челюсть у него так и выпятилась вперед.

— Мало мне тут с ним мороки, надо еще, чтобы вы из Нью-Йорка пожаловали.

— Разве это плохо?

— Для меня плохо. Только я успел утихомирить своего мальчика, а вы ему как шилом в зад.

— Я Нью-Йорк не расхваливал.

— Да, но вы сами оттуда, и он у меня опять взбеленился. А-а, пропади ты пропадом! Все равно от него здесь толку мало. Пойдемте, там у нас и поедите.

«Там у них» была кухня, кладовая, чулан, столовая и, судя по койке, застланной армейским одеялом, — спальня. В высокой, готической формы дровяной печке потрескивало и шипело. Обедать нам предстояло за квадратным столом; на нем лежала белая клеенка вся в порезах. Взвинченный ссорой, юноша раскладывал по мискам klokkuchую фасоль со шпигом.

— А нельзя ли разжиться у вас лампой для чтения?

— Э-э! Ведь я движок на ночь выключаю. Придется дать керосиновую. Садитесь. У меня там еще ветчина в духовке.

Хмурый юноша с безучастным видом подал на стол миски с фасолью.

Краснолицый опять заговорил:

— Я думал, кончит он среднюю школу и хватит с него. Да нет, где там! Он, видите ли, не такой, наш Робби! Ему вечерние курсы понадобились. Представляете? Не школьные, а за плату. Где только он такие деньги достал, не знаю.

— С запросами юноша.

— Кой черт с запросами! Вы лучше поинтересуйтесь, на кого там учат, на этих курсах. На парикмахера. Не бритье-стрижка, а дамские прически. Может, теперь вам ясно, из-за чего я беспокоюсь?

Робби повернулся к нам. Тонкий нож, которым он резал ветчину, застыл у него в правой руке. Он уставился мне в лицо, видимо ожидая, что я скорчу презрительную гримасу.

Я попытался принять вид строгий, проникновенный, но в то же время уклончивый. Я пощипал бороду, что, как утверждают, свидетельствует о глубокомыслии.

— Тут что ни скажешь, все равно один из вас на меня набросится. Я между двух огней.

Папаша вздохнул всей грудью и медленно перевел дух.

— Правильно, черт подери,— сказал он и хмыкнул, и напряженная атмосфера на кухне разрядилась.

Робби поставил тарелки с ветчиной на стол и улыбнулся мне — по-моему, благодарной улыбкой.

— Ну вот, теперь, когда шерсть у нас на загривках улеглась, скажите, как вы относитесь к этим парикмахерским и косметическим делам? — спросил папаша.

— Вряд ли вам мое отношение понравится.

— Пока не сказали, откуда мне знать, понравится или не понравится.

— Ладно. Только дайте я сначала поем, а то, может, придется ноги отсюда уносить.

Я покончил с фасолью и дошел до половины своей порции ветчины, прежде чем ответил ему.

— Ну-с, вот,— сказал я.— Вы затронули тему, над которой я часто думаю. У меня довольно много знакомых женщин и девушек — всех возрастов, всех типов, всех обликов. Они все разные, и двух похожих не найдется, но одно их роднит — дамский мастер. В любой общественной группировке самое влиятельное лицо — дамский мастер. Это мое твердое убеждение.

— Шутки шутите.

— Нет, не шучу. Я этот вопрос изучил со всех сторон. Когда женщины идут в парикмахерскую — а они все там бывают, кому это по карману,— с ними что-то делается. Они отходят душой, успокаиваются. Им не надо там притворяться, строить из себя кого-то. Дамский мастер знает, какая у них кожа под слоем пудры, сколько каждой лет, от него не утаишь пластическую операцию на лице. И поэтому женщины рассказывают парикмахеру такое, в чем они не посмели бы признаться священнику, и с полной откровенностью обсуждают с ним некоторые обстоятельства, которые не прочь скрыть даже от врача.

— Быть того не может!

— Может. Говорю вам, я этот вопрос изучаю. Женщина отдает в руки дамского мастера свою тайную жизнь, и он завоевывает такой авторитет, что куда там другим мужчинам. Мне приходилось слышать, как на мнения парикмахеров в вопросах искусства, литературы, политики, экономики, ухода за детьми, а также и в вопросах морали ссылались как на нечто непререкаемое.

— Вы, наверно, перебарщиваете, но я вам верю.

— Да нет, кроме шуток. Умный, вдумчивый, деятель-

ный парикмахер обладает властью, которая кажется не постижимой большинству мужчин.

— Господи, твоя воля! Робби, слышишь? Ты знал об этом?

— Кое-что знал. По той специальности, которую я выбрал, мы и психологию проходили.

— Вот уж не думал! — сказал папаша. — Слушайте, а не выпить ли нам по маленькой?

— Нет, спасибо, сегодня не могу. У меня собака заболела. Завтра хочу встать пораньше и поеду на поиски ветеринара.

— Знаете что? Робби пристроит вам какую-нибудь лампочку для чтения. А движок я не стану выключать. Завтракать утром будете?

— Нет, вряд ли. Я рано выеду.

Когда я вернулся в домик после тщетных попыток облегчить Чарли его муки, Робби привязывал лампочку на длинном шнуре к изголовью моего унылого железного ложа.

Он сказал вполголоса:

— Я, мистер, не знаю, верите ли вы сами в то, что говорили, но меня вы поддержали здорово.

— Да, пожалуй, в основном все правильно. Но в таком случае на вас ляжет большая ответственность. А, Робби?

— Безусловно, — проникновенным голосом ответил он.

Ночь выдалась беспокойная. Я снял домик, далеко не такой удобный, как тот, что возил с собой, а водворившись здесь, вмешался не в свое дело. И хотя обычно люди следуют чужим советам только в том случае, если и без них собирались так поступить, не исключена была возможность, что мои дифирамбы куаферам породят нечто чудовищное.

Глубокой ночью Чарли разбудил меня тихоньким, виноватым поскуливанием, а так как скулить не в его привычках, я сразу встал с постели. Чарли мучился, брюхо у него раздуло, нос и уши были горячие. Я вывел его и сам пошел с ним, но ему так и не удалось облегчиться.

Как мне хотелось хоть немножко смыслить в ветеринарной науке! Когда животное болеет, чувствуешь себя совершенно беспомощным. Оно не может рассказать о своих ощущениях, но, с другой стороны, и лгать не умеет и не будет нагромождать симптомы болезни или предаваться утехам ипохондрии. Я не собираюсь утверждать, что им вовсе не свойственно притворство. Даже Чарли, честнейший пес, и тот иной раз начинает припадать на одну ногу,

когда ему вдруг покажется, будто его обидели. Написал бы кто-нибудь хороший, полный справочник по лечению собак! Я бы сам за это взялся, да знаний у меня нет.

Чарли было очень плохо, и ему неминуемо должно было стать еще хуже, если не снизить все увеличивающееся давление на стенки мочевого пузыря. Это можно было бы сделать катетером, да разве найдешь катетер здесь, в горах, среди ночи? У меня был гибкий шланг для отсоса бензина, но он не подходил по диаметру. Потом я вспомнил, что будто бы давление в мочевом пузыре вызывает мышечное напряжение, а оно в свою очередь увеличивает давление и т. д. и т. п. Значит, прежде всего следовало ослабить напряжение мышц. Моя аптечка не была рассчитана на общую практику, но в ней нашелся флакон снотворного «секонал» по полтора грана на прием. Какую же дозу ему дать? Вот тут-то домашний лечебник и пригодился бы. Я открыл одну капсулу, половину порошка отсыпал, капсулу опять закрыл и сунул Чарли под самый корень языка, чтобы он не вытолкнул ее. Потом задрал ему голову и стал поглаживать горло, пропуская лекарство вниз по пищеводу. Потом взвалил его на кровать и тепло укрыл. Прошел час. Чарли вел себя по-прежнему. Тогда я открыл вторую капсулу и дал ему еще полпорошка. Мне кажется, что по весу Чарли полтора грана — доза порядочная, но у него, видимо, была невосприимчивость к медикаментам. Он не поддавался снотворному еще минут сорок пять, а потом стал дышать реже и уснул. Я, наверно, тоже задремал. И вдруг слышу: Чарли повалился на пол. Очумелый от порошка, он не устоял на ногах, но поднялся, опять споткнулся и опять встал. Я отворил дверь и выпустил его. Мой способ лечения подействовал, но каким образом в организме не такой уж крупной собаки могло скопиться столько жидкости — это я отказываюсь понимать. Чарли кое-как влез в машину, рухнул на коврик и заснул мгновенно таким глубоким сном, что я забеспокоился, не слишком ли велика была доза снотворного. Но температура у него упала, дыхание выровнялось, сердце билось ритмично, в полную силу. Я плохо спал и, проснувшись на рассвете, увидел, что Чарли лежит в той же позе. Я разбудил его, он меня признал, хоть и не сразу, и отнесся ко мне благосклонно. Улыбнулся, зевнул и опять уснул крепким сном.

Я перенес его в кабину и сломя голову помчал в Спокан. По каким местам мы ехали — ничего не помню. На окраине Спокана я отыскал в телефонной книжке адрес

ветеринара, узнал, как туда проехать, и с Чарли на руках ворвался к нему в приемную, требуя незамедлительной помощи. Фамилию врача называть не стану, но такой ветеринар — это лишний довод в пользу издания хорошего домашнего справочника по собачьим болезням. То ли он был дряхлый старик, то ли искушал судьбу, но кто я такой, чтобы приписывать его состояние похмелью? Дрожащая рука приподняла губу Чарли, потом оттянула кверху веко и отпустила его.

— Что с ним? — совершенно равнодушным тоном спросил он.

— Я за этим к вам и приехал — сам хочу узнать.

— Будто в дурмане. Старый. Может, с ним удар?

— У него растяжение мочевого пузыря. А одурманен он секоналом. Я дал ему полтора грана.

— Зачем?

— Чтобы ослабить мышечное напряжение.

— Вот и ослабили.

— Может, такая доза слишком велика?

— Не знаю.

— Ну а вы сколько бы дали?

— Я бы совсем не давал.

— Начнем с самого начала: что с ним?

— Вероятно, простуда.

— А это может вызвать такие явления в пузыре?

— Если его застудить, сэр, то может.

— Слушайте, я сейчас в разъездах. Мне бы хотелось установить более точный диагноз.

Он хрюкнул.

— Вы поймите. Собака старая. Что делать? У старых собак всегда какие-нибудь немощи.

После бессонной ночи я был кусачий.

— У старых людей тоже, — сказал я ему. — Но это не мешает им что-то делать по этому поводу.

И на сей раз, кажется, его проняло.

— Надо промыть ему почки. Сейчас дам что-нибудь, — сказал он. — Это простудное.

Я взял у него какие-то маленькие пилюльки, заплатил за визит и вышел. Дело было не в том, любит или не любит этот ветеринар животных. По-моему, он самого себя не любил, а в таких случаях человек обычно ищет, на кого бы излить свою неприязнь. Иначе выход у него только один: признаться, что относишься к себе с презрением.

С другой стороны, я никому не уступаю в ненависти к таким, с позволения сказать, собачникам, которые гро-

моздят одно на другое все свои поражения на жизненном пути и нагружают ими собаку. Такие люди сюсюкают со взрослыми, умными животными, навязывают им собственные сантименты и под конец превращают их в свое alter ego¹. Из ложно направленной любви эти люди способны, по-моему, подвергать животных длительным мукам, отказывая им в удовлетворении их потребностей и естественных желаний, и в конце концов собака, если она слабохарактерная, не выдерживает и превращается в заплывшее жиром, одетое в собачью шкуру, астматическое скопище неврозов.

Когда чужие начинают сюсюкать с Чарли, он сторонится их. Ибо Чарли не человек, а собака, и это его вполне устраивает. Чарли понимает, что в своем роде он существо первостатейное, и ему вовсе не хочется быть второсортным человечешкой. Когда проспиртованный ветеринар коснулся Чарли нетвердой, неумелой рукой, я уловил затуманенное презрение в глазах моего пса и подумал: он видит этого человека насквозь; ветеринар, вероятно, тоже догадывался, что Чарли его понимает. И, может быть, в этом-то и было все несчастье. Как, наверно, тяжело чувствовать, что твои пациенты не верят тебе.

Когда я проехал Спокан, опасность раннего снегопада миновала. Воздух тут был совсем другой — его подсластило сильное дыхание Тихого океана. На дорогу из Чикаго до Скалистых гор времени у меня фактически ушло мало, но ошеломляющие масштабы и разнообразие этих мест, множество дорожных эпизодов и встреч невероятно растянули его. Ибо не правы те, кто утверждает, будто интересно проведенное время летит быстро. Как раз наоборот: истинную временную протяженность можно воссоздать в памяти, измеряя ее веками событий. Отсутствие их словно сплюсчивает часы и дни.

Тихий — это мой родной океан. Он первый, который я увидел в своей жизни, я вырос на его берегу, собирал морскую фауну на его отмелях. Мне знакомы его причуды, его цвет, его нрав. И вот теперь я уловил дыхание Тихого океана еще в глубине материка. Когда возвращаешься домой из дальнего плавания, запахи земли приветствуют тебя издали. В равной степени это относится и к морю, когда подолгу бываешь на сухопутье. Я будто слышал аромат прибрежных скал, и водорослей, и взволнованного кипения прибоя, и терпкость йода, и проступающий сквозь

¹ Второе я (лат.).

все это известковый дух вымытых и перемолотых волной раковин. Эти еле уловимые, но хранимые памятью запахи подкрадываются незаметно, и сначала даже не отдаешь себе отчета, что слышишь их, только чувствуешь, как тебя вдруг электрическим током пронизывает буйная радость. И я мчался по дорогам штата Вашингтон, точно кочующий лемминг, стремясь поскорее попасть к морю.

Мне очень хорошо запомнилась прелесть и пышность восточной части штата Вашингтон и величавая река Колумбия, прославившая Льюиса и Кларка. И хотя теперь на ней были плотины и высоковольтные передачи, все же она не очень изменилась по сравнению с той, какую я помнил. Перемены, уму непостижимые, начали обозначаться только на подступах к Сиэтлу.

Мне, разумеется, приходилось читать о колоссальном росте населения на Западном побережье, но для большинства людей Западное побережье — это Калифорния. Туда валят валом, количество жителей в городах увеличивается там вдвое, втрое, власти предержавшие стонут под бременем расходов на благоустройство и забот о неимущих переселенцах. Все это я увидел впервые в штате Вашингтон. Я помнил прежний Сиэтл — небольшой городок, расположившийся на холмах возле несравненной по удобству стоянки для судов; небольшой, но просторный, весь в садах, в зелени деревьев и застроенный так, что его улицы вписывались в окружающий пейзаж. Теперь там все по-другому. Вершины холмов сбиты, чтобы современным кроликам было удобнее сновать по ровному крольчатнику. Автомагистрали с восьмирядным движением, точно глетчеры, проутюжили встревоженную землю. Этот Сиэтл не имел ничего общего с тем, который я помнил. Напряженность уличного движения показалась мне смертоубийственной. На окраине этого когда-то хорошо знакомого мне города я совершенно заплутался. Вдоль сельских дорог, где раньше было полным-полно ягод, теперь тянулись высокие проволочные изгороди и заводские корпуса длиной в милю, и над ними стлался желтый дым прогресса, стойко отражающий попытки морского ветра разогнать его клубы.

Из моих слов можно заключить, будто я скорблю о прежних временах — занятие самое что ни на есть стариковское — или же противлюсь переменам, а сетование на них — ходячая монета богачей и дураков. Это отнюдь не так. Теперешний Сиэтл не то что изменился на моей памяти. Он просто совсем другой, новый. Если б меня водворили туда, не сказав, что это Сиэтл, я сам нипочем бы не

догадался. Стремительный рост всюду и везде — так растут злокачественные опухоли. Бульдозеры скатывали зеленый лесной ковер, а оставшийся после повала хлам сгребали в кучи для сжигания. Белые щиты сорванной опалубки лежали у серых бетонных стен. И почему это прогресс так похож на разрушение?

На следующий день я сходил в старый порт Сиэтла, туда, где на подносах с белой стружкой изо льда так красиво покоятся крабы, креветки и всякая рыба; где до блеска отмытые овощи выложены на лотках узорами. В киосках вдоль берега я пил сок венерок, ел крабов под острым соусом. Тут перемены были не так уж заметны — немножко все облезло, стало поплосше, чем двадцать лет назад. И далее последует обобщение относительно роста американских городов, которое, по-моему, подтвердят и другие известные мне города. Когда город начинает раздаваться, расти вширь от окраин, центр его, составлявший раньше его славу, бросают, если можно так выразиться, на произвол времени. И вот стены домов начинают темнеть, уже чувствуется здесь запустение; по мере того как арендная плата падает, в эти кварталы переселяются люди менее состоятельные, и на месте процветающих когда-то фирм заводится мелкая торговля. Центральные кварталы все еще слишком добротны, чтобы их обрekli на снос, но в то же время уж очень несовременны — они больше никого не привлекают. Кроме того, людская энергия уже устремилась к новым начинаниям — к строительству крупных торговых центров за городской чертой, к кинотеатрам на открытом воздухе, к новым жилым кварталам с широкими газонами и оштукатуренными зданиями школ, где наши детки утверждают в своем невежестве. В районе старого порта, тесного, закопченного, с булыжной мостовой, воцаряется безлюдье, нарушаемое по ночам отребьями рода человеческого, смутными тенями, которые только и знают, что искать забвения с помощью сивухи. Почти в каждом знакомом мне городе есть такие затухающие очаги насилия и отчаяния, где ночь вбирает в себя яркость уличных фонарей и где полицейские появляются только попарно. А потом, быть может, город вернется сюда в один прекрасный день, сквырнет эту болячку и воздвигнет какой-нибудь монумент своему славному прошлому.

После остановки и отдыха в Сиэтле Чарли полегчало. И в голову мне закралось подозрение: не потому ли он заболел, что в его годы постоянная вибрация машины служит во вред?

Как и следовало ожидать, лишь только мы выехали на прекрасное Западное побережье, ритм моего путешествия изменился. Каждый вечер я заезжал на автомобильные стоянки — великолепно оборудованные места отдыха, во множестве появившиеся здесь за последние годы. И вот тут-то я и столкнулся с некоей тенденцией на Западе, подчиняться которой мне, пожалуй, уже не по возрасту. Речь идет о самообслуживании. За завтраком на столе у вас стоит тостер. Поджаривайте хлеб сами. Когда я заехал в одну из таких обителей уюта и всяческих удобств, меня там зарегистрировали, провели в прекрасный номер, плату за который, разумеется, взяли вперед, и на том мои отношения с тамошней администрацией кончились. Ни официантов, ни коридорных. Горничные появлялись и исчезали незаметно. Если мне требовался лед — пожалуйста, у двери конторы стоит морозильный аппарат. Я сам доставал его оттуда, сам брал газеты. Все было удобно, все под рукой... и ты один-одинешенек. Я купался в роскоши. Приезжали и уезжали другие постояльцы, но их не было слышно. Если встретишься с кем-нибудь и скажешь «добрый вечер», на тебя бросят несколько растерянный взгляд, а потом ответят «добрый вечер». И казалось, что эти люди смотрят, где в тебе щель, куда надо опустить монету.

Однажды в дождливый воскресный день, было это в Орегоне, отважный Росинант потребовал от меня внимания. Упоминая здесь о моем верном экипаже, я обычно ограничивался несколько казенными комплиментами по его адресу. А разве не всегда так бывает? Мы ценим добродетель, но в обсуждение ее вдаваться не любим. Честный бухгалтер, верная жена, серьезный ученый интересуют нас несравненно меньше, чем растратчик, бродяжка, шарлатан. Если я несколько неглижировал Росинантом в своих рассказах, то лишь потому, что он вел себя идеально. Впрочем, на техническое обслуживание моего пикапа такое мое отношение к нему не распространялось. Я аккуратнейшим образом добавлял и менял масло, вовремя проводил смазку. Терпеть не могу, когда с мотором обращаются дурно, не заботятся о нем или заставляют его работать с перегрузкой.

Росинант отвечал на мое доброе обхождение, как ему и положено, мурлыканьем мотора и безотказной службой. Только в одном я проявил легкомыслие, а может быть, просто переусердствовал. Слишком много я всего с собой возил — слишком много провианта, слишком много книг, а инструмента хватило бы на то, чтобы собрать под-

водную лодку. Если по дороге попадалась хорошая на вкус вода, я наливал полный бак, а тридцать галлонов воды весят триста фунтов. Запасной баллон с бутаном, взятый на всякий пожарный случай, потянет все семьдесят пять. Рессоры у моего Росинанта глубоко прогнулись, хотя на вид были вполне надежные, а по плохим дорогам я вел его медленно, плавно. Но своей готовностью служить мне он добился только одного: отношение к нему выработалось у меня как к честному бухгалтеру, как к верной жене, то есть недостаточно внимательное. И вот в один дождливый воскресный день в Орегоне, когда Росинант хлюпал по густой жиже, которой не предвиделось конца, правая задняя шина у него лопнула, громко при этом чавкнув. Я знавал вредные машины, у меня самого были такие подлюги, которые могли бы сотворить нечто подобное просто на зло хозяину, но Росинант!

Чему быть, того не миновать, думал я; летит мяч не вскачь, а поспевает. Но на сей раз мяч летел по жидкой грязи глубиной в восемь дюймов, и в эту жижу было погружено запасное колесо, укрепленное под рамой. Все нужные инструменты лежали под полом Росинанта, там, где стоял стол, так что мне пришлось разгрузить всю свою поклажу. Новенький, не бывший в употреблении домкрат, сверкающий фабричной краской, не слушался меня, разворачивался туго и вообще оказался недостаточной грузоподъемности. Я лег на живот и полез, то есть поплыл под машину, стараясь держать ноздри над водой. Рукоятка домкрата была скользкая от маслянистой жижи. Катышки грязи образовались у меня в бороде. Я лежал, тяжело дыша, как подбитая утка, и ругался сквозь зубы, подводя домкрат под ось на ощупь, потому что она была вся под водой. Потом, пуская пузыри, кряхтя от сверхчеловеческой натуги, чувствуя, что глаза у меня вылезают из орбит, я поднял домкратом эту огромную тяжесть. Мускулы мои, казалось, рвутся в клочья, отделяясь от костей. Фактически времени на смену колеса ушло не больше часа. Я был неузнаваем под наслоениями рыжей грязи. Руки были все в порезах, в крови. Я вкатил лопнувшую шину на пригорок и осмотрел ее. Боковую часть всю вырвало. Тогда я обследовал левое заднее колесо и к ужасу своему увидел на крышке большое вздутие сбоку и повыше еще одно. Не осталось сомнений, что она тоже не долго продержится, а день был воскресный, день был дождливый, и мы были в Орегоне. Если лопнет вторая шина, мы засядем на размытой, пустынной дороге и нам не останется ничего дру-

гого, как обливаться слезами и ждать своего смертного часа. И, может быть, какие-нибудь добрые птички укроют листьями наши тела. Я содрал с себя слой грязи вместе с одеждой и вырядился во все чистое, ставшее грязным в процессе переодевания.

К какой другой машине относились с таким подобо-страстием, как я к Росинанту, когда мы медленно двинулись дальше! Малейшая неровность дороги болью отдавалась у меня во всем теле. Мы ползли со скоростью пять миль в час, не быстрее. И тут вступил в силу древний закон, согласно которому города — если они вам вдруг понадобятся — будут находиться на большом расстоянии один от другого. Но мне был нужен не только город. Мне требовались две новые шины на задние колеса. Те, кто конструировал мой пикап, не могли предвидеть, что я так его нагружу.

По прошествии сорока мучительных лет в размокшей пустыне, где не было ни облака днем, ни огненного столпа ночью, которые указывали бы нам путь, мы въехали в маленький, залитый дождем, примолкший городишко. Названия его я не припомню, потому что и тогда не знал. Все там было заперто — все, за исключением одной маленькой заправочной станции. Хозяином ее оказался великан со шрамом на лице и с бельмом. Будь он лошадью, я бы такую не стал покупать. Кроме того, он был немногословен.

— Плохо дело, — услышал я.

— Эка удивили! Есть у вас шины в продаже?

— Вашего размера нет. За такими надо посылать в Портленд. Завтра созвонюсь, послезавтра, может, получу.

— А здесь в городе еще где-нибудь нельзя достать?

— Есть два магазина. Оба закрыты. И такой размер вряд ли там найдется. Вам нужны большие.

Он поскреб в бороде, долго присматривался к вздутиям на левой задней крышке и ковырнул их указательным пальцем, корявым, как напильник. Потом вернулся в свою маленькую контору, сгреб в сторону ворох тормозных накладок, вентиляторных ремней и каталогов и из-под всего этого извлек телефонный аппарат. И если обещает когда-нибудь моя вера в святость — основу основ природы человеческой, — я вспомню этого механика со зверским ликом.

Он позвонил в три места, прежде чем ему ответили: да, есть одна шина подходящего размера, но хозяин со-

брался на свадьбу и никак не может доставить заказ. Еще три звонка — и возникает слух о второй шине где-то за восемь миль от города. Дождь не утихал. Телефонные розыски длились бесконечно, потому что от одного звонка до другого у станции скапливалась вереница машин, требующих масла и бензина, а отпускалось все это с величайшей медлительностью.

Наконец одним из звонков подняли с постели шурина. У него была ферма неподалеку. Выезжать в дождь ему не хотелось, но мой святой со зверским ликом, видимо, знал, как на него воздействовать. Шурин съездил в те два места, на большом расстоянии одно от другого, где были такие шины, нашел две и привез их. Не прошло и четырех часов, как мы были полностью снаряжены и могли катить по дороге на новых шинах — на таких, какие с самого начала следовало поставить моему пикапу. Мне хотелось пасть на колени в самую грязь и целовать руки моему спасителю, но вместо этого я по-царски вознаградил его.

— Это вы напрасно, — сказал он. — И вот что запомните. Теперь шины у вас большего размера. И это отразится на показателях спидометра. Стрелка будет указывать меньшую скорость, чем на самом деле, и если вы нарветесь на какого-нибудь дотошного полицейского, он вас задержит.

Преисполненный чувства смиренной благодарности, я едва мог вымолвить слово. Это случилось в штате Орегон, в дождливый воскресный день, и я надеюсь, что зверского вида хозяин тамошней заправочной станции проживет на свете тысячу лет и населит землю своими отпрысками.

Не подлежало сомнению, что у Чарли скапливался огромный опыт по части деревьев, и мой пес на глазах становился крупным специалистом в этой области. Он, вероятно, смог бы получить место консультанта в институте растениеводства. Но сведения о мамонтовых деревьях — гигантских секвойях — я решил до поры до времени не сообщать ему. Мне казалось, что пудель с Лонг-Айленда, удостоившийся чести засвидетельствовать свое почтение *Sequoia sempervirens*, или *Sequoia gigantea*¹, попадет в какую-то особую собачью категорию, пожалуй, даже станет чем-то вроде того самого рыцаря Галахада, который сподобился узреть святой Грааль². Голова кружилась при одной

¹ Секвойя вечнозеленая, или Секвойя гигантская (лат.).

² «Чаша благодати», о которой повествуется в целом ряде средневековых сказаний.

мысли об этом. Испытав такое, он может мистическим образом перенестись в другую сферу существования, в другое измерение, подобно тому как сами секвойи кажутся нам чем-то существующим вне нашего времени, вне привычных нам понятий. Чего доброго, еще рехнется пес. Такое опасение приходило мне в голову. Но, с другой стороны, как бы он не превратился в невыносимого хвастунишку. От пса с таким багажом могут отвернуться и собаки и люди.

На того, кто хоть раз видел мамонтовые деревья, эти исполины накладывают свой отпечаток, и память о них не стирается всю жизнь. Дать хорошую зарисовку или фотографию секвойи еще никому не удавалось. Чувство, которое они рожают в вас, трудно передать другому. Благоговейная тишина — вот их ореол. Они потрясают не только своей немыслимой высотой и не только цветом коры, будто плывущим и меняющимся у вас на глазах. Нет, секвойи просто не такие, как все известные нам деревья, они посланцы иных времен. Им ведома тайна папоротников, ставших углем миллион лет назад, в каменноугольный период. У них свой свет, своя тень. Люди самые суетные, самые легковесные и развязные видят в мамонтовых деревьях диво-дивное и проникаются почтением к ним. Почтение — лучшего слова не подберешь. Так и хочется склонить голову перед повелителями, власть коих непререкаема. Я знаю этих исполинов с раннего детства, жил среди них, разбивал палатки, спал возле их теплых могучих стволов, но даже самое близкое знакомство не вызывает пренебрежения к ним. В этом я ручаюсь не только за себя, но и за других.

Много лет назад в наших местах под Монтереем появился новый, никому не известный человек. Деньги и то, как их добывают, видимо, притупили и атрофировали в нем способность что-либо чувствовать. Он купил рощу вечнозеленых секвой в глубокой лощине, недалеко от побережья, а затем на правах владельца срубил их и продал, а следы бойни так и оставил на земле. Возмущение и немая ярость охватили весь наш город. Это было не только убийство, это было святотатство. Мы смотрели на чужака с отвращением, и он так и прожил среди нас, клейменный до конца дней своих.

Разумеется, реликтовых рощ свели немало, но многие из этих величественных монументов стоят и будут стоять по причине весьма уважительной и любопытной. Управление штатов и правительственные органы не могут приобретать и брать под свою защиту эти священные деревья.

А посему их покупают и сохраняют для будущего клубы, организации, даже отдельные лица. Я не знаю других случаев, где применялась бы подобная практика. Таково влияние секвойи на человеческие умы. Но как оно скажется на Чарли?

На подступах к обители мамонтовых деревьев в южной части Орегона я перевел Чарли в домик Росинанта и держал его там, почти как в мешке. Несколько реликтовых рощ мы проехали не останавливаясь, ибо они были не совсем то, что нужно, и вдруг на ровной лужайке передо мной возник стоявший особняком дед в триста футов вышиной, а в объёме с небольшой многоквартирный дом. Его плоские лапы с яркой зеленой хвоей начинались футов на полтора от земли. А под этой зеленой вздымалась прямая, чуть конусообразная колонна, переливающаяся из красного в пурпур, из пурпура в синеву. Ее благородная вершина была расщеплена молнией в грозу, бушевавшую здесь в незапамятные времена. Съехав с дороги, я остановился футах в пятидесяти от этого богоподобного существа, и мне пришлось задрать голову вверх и направить взгляд по вертикали, чтобы увидеть его ветки. Наконец-то она настала, эта долгожданная минута! Я отворил заднюю дверцу Росинанта, выпустил Чарли и не проронил ни слова, ибо на глазах у меня вот-вот могла сбыться собачья мечта об эмпиреях.

Чарли повел носом по сторонам и потрянул ошейником. Потом ленивой походочкой направился к какой-то сорной травинке, вошел в контакт с тоненьким деревцем, спустился к ручью, испил воды и огляделся вокруг — чем бы еще заняться?

— Чарли! — крикнул я. — Смотри! — И показал на деда.

Чарли помахал хвостом и сделал еще несколько глотков. Я сказал:

— Ну, понятно! Разве догадаешься, что это дерево? Ведь головы-то он не поднял и веток не видит.

Я подошел к Чарли и задрал ему морду вверх.

— Смотри, Чарли! Это всем деревьям дерево. Конiec твоим поискам Грааля!

Он принялся чихать, как это всегда бывает с собаками, если нос у них слишком высоко поднят. Меня обуяла ярость и лютая ненависть вот к таким, кто ничего не умеет ценить, кто по своему невежеству губит давно взлелеянный тобою план! Я подтащил Чарли к секвойе и потер его

носом о ствол. Он холодно посмотрел мне в глаза, простил меня и не спеша отправился к орешине.

— Если он это мне назло или вздумал шутить,— сказал я самому себе,— убью его на месте. Нет, пока не проверю — не успокоюсь.

Я раскрыл перочинный нож, подошел к ручью и срезал с молоденькой ивы небольшую веточку с развилкой, всю опущенную листьями. Верх рогатки я очистил, а конец заострил, потом подошел с этой веткой к безмятежно спокойному деду титанов и воткнул ее в землю, так чтобы зелень листвы четко выделялась на шершавой коре ствола. Вслед за этим я свистнул, и Чарли довольно любезно отозвался на мой зов. Я намеренно не смотрел на него. Послonyaвшись минуту-другую, он вдруг, к удивлению своему, увидел ивовый кустик, деликатно понюхал свежеподрезанные прутики, примерился с одной, с другой стороны и, установив нужный угол прицела и траекторию, дал очередь.

Целых двое суток я провел вблизи мамонтовых деревьев и за все это время не видел ни экскурсантов, ни громко тараторящих компаний с фотоаппаратами. Нас окружало кафедральное безмолвие — может быть потому, что толстая мягкая кора секвой поглощает звуки и создает тишину. Стволы этих исполинов вздымаются прямо в зенит; горизонта здесь не видно. Рассвет наступает рано и так и остается рассветом, пока солнце не подыметя совсем высоко. Тогда зеленые, похожие на папоротник лапы — там, в вышине — процеживают сквозь хвою его лучи и раскидывают их золотисто-зелеными пучками стрел, вернее, полосками света и тени. Когда солнце пройдет зенит, день здесь уже на склоне, и вскоре наступает вечер с шорохом сумерек, не менее долгих, чем утро.

Таким образом, время и привычное нам деление дня в реликтовой роще совсем другие. Для меня рассвет и вечерние сумерки — пора покоя, а здесь, среди мамонтовых деревьев, покой нерушим и в дневные часы. Птицы перепархивают с места на место в сумеречном свете или вспыхивают искрами, попадая в солнечные полосы, но все это почти беззвучно. Под ногами подстилка из хвои, устилающей землю уже две тысячи лет. На таком толстом ковре шагов не слышно. Уединенность и все далеко-далеко от тебя — но что именно? Мне с раннего детства знакомо ощущение, будто там, где стоят секвойи, происходит нечто

такое, чему я совсем сторонний. И если даже в первые минуты это ощущение не вспомнилось, вернуться ему было недолго.

Ночью тьма здесь сгущается до черноты, только в вышине, над самой головой, что-то сереет да изредка блеснет звезда. Но чернота ночная дышит, ибо эти великаны, подчиняющие себе день и обитающие в ночи,— живые существа, их присутствие ощущаешь ежеминутно; может быть, где-то в недрах у них таится сознание, и, может быть, они способны чувствовать и даже передавать свои чувства вовне. Я всю жизнь соприкасался с этими существами. (Как ни странно, слово «деревья» совсем не подходит к ним.) Я принимаю секвойи, их мощь и древность, как нечто должное, потому что жизнь издавна свела меня с ними. Но людям, лишенным моего жизненного опыта, становится не по себе в рощах секвой, им кажется, будто они окружены, заперты здесь, их гнетет ощущение какой-то опасности. Пугает не только величина, но и отчужденность этих исполинов. А что же тут удивительного? Ведь секвойи — последние уцелевшие представители того племени, что благоденствовало на четырех континентах в верхнюю эпоху юрского периода по геологическому летосчислению. Окаменелая древесина этих патриархов относится еще к меловому периоду, а во времена эоцена и миоцена они росли и в Англии, и на европейском континенте, и в Америке. А потом ледники тронулись с мест и безвозвратно стерли титанов с лица планеты. Остались они, считанные, вот только здесь, как подавляющие своим величием свидетельства того, чем был мир в давние времена. Может статься, нам неприятны напоминания, что мы еще совсем молодые и незрелые и живем в мире, который был стар в пору нашего появления в нем. А может, ум человеческий восстает против бесспорной истины, что мир будет жить и той же величавой поступью шествовать по своему пути, когда и следов наших здесь не останется?

Мне трудно писать о своих родных местах — о северной Калифорнии. Казалось бы, что может быть проще, ведь я знал эту полоску суши, вдающуюся в Тихий океан, лучше, чем какое-либо другое место на всем земном шаре. Но для меня в понятии «родина» нет единства, оно состоит из множества слоев, и, положенные один поверх другого, они сливаются в расплывчатое пятно. То, что там сейчас, перекрывают воспоминания о том, как там было рань-

ше, а на это ложится моя жизнь тех лет, и под конец клубок запутывается и о сколько-нибудь объективном подходе почти не приходится думать. Вот на месте этой четырехрядной бетонированной автострады со стремительно летящими по ней машинами я помню извилистую, узкую дорогу в горах, по которой упряжки степенных мулов таскали дроги с лесом. Они возвещали о своем приближении тоненьким, мелодичным перезвоном колокольчиков, привязанных к хомутным клешням. Салинас был маленький-премаленький городок: мелочная лавка под высоким деревом, кузница, а перед ней скамейка, на которой можно было сидеть и слушать стук молота по наковальне. Теперь тут на милую в округности расползлись небольшие одинаковые домишки — тем более одинаковые, что всех их роднит желание хоть чем-нибудь отличаться друг от друга. А вон на том холме была дубовая роща, зелень которой казалась совсем темной по сравнению с высохшей травой, и лунными ночами оттуда доносилось завывание койотов. Вершину этого холма срыли под радиорелейную телевизионную вышку, она вымахнула высоко в небо и передает мельтешащее изображение в тысячи крохотных домишек, которые, как тли, сползли к автомобильным магистралям.

Самая обычная воркотня, не правда ли? Я ведь никогда не восставал против перемен, даже если их величали прогрессом, но теперь мне было неприятно, что в местах, которые я считал своими, полным-полно всяких пришельцев и они развели там шум, грохот и, разумеется, навалили горы мусора, кольцом окружающие города. А этим чужакам в свою очередь будут неприятны новые поселенцы. Я помню, как в нас, в ребятах, проявлялась свойственная человеку неприязнь к чужакам. И мы, здешние уроженцы, и наши родители почему-то заносились перед новоселами, варварами, *forestieri*¹, а они, нездешние, враждовали с нами и даже сочинили про нас непочтительные стишки:

Здесь первый житель был горняк,
За ним явилась шлюха.
И знатный род их не иссяк,
Он славен силой духа.

Мы в свое время вызывали ярость у испано-мексиканцев, а те — у индейцев. И, может быть, здесь разгадка, почему людям становится так неуютно возле секвой. Эти аборигены были уже совсем взрослыми деревьями в ту

¹ Чужестранцами (итал.).

пору, когда на Голгофе совершилось политическое убийство. А когда Цезарь, спасая Римскую республику, привел ее в упадок, они были еще только среднего возраста. Для секвой все мы чужаки, все мы варвары.

Иной раз общую картину перемен искажают перемены, происшедшие в нас самих. Комната, которая казалась нам раньше такой просторной, будто съежилась, гора превратилась в холм. Но на сей раз таких иллюзий у меня не было. Я помню мой родной Салинас, когда он с гордостью насчитывал целых четыре тысячи жителей. Теперь в нем восемьдесят тысяч, и он очертя голову в возрастающей прогрессии набирает темп: через три года сто тысяч, а через десять лет, может быть, все двести, и конца этому не видно. Даже любители больших чисел и поклонники грандиозных масштабов начинают тревожиться и мало-помалу осознают, что предел насыщения когда-нибудь наступит и прогресс превратится в прогрессию, ведущую ко всеобщему удушению. А как решить эту задачу — еще никто не знает. Ведь нельзя запретить людям рождаться на свет божий — во всяком случае, пока еще нельзя.

Я уже говорил о появлении в нашем обиходе передвижных домов-мобилей и о некоторых преимуществах, которыми пользуются их владельцы. Мне казалось, что таких жилищ очень много у нас на Востоке и на Среднем Западе, но в Калифорнии их как сельдей в бочке. Парки мобилей встречаешь повсюду — они вползают на склоны холмов, скатываются к речным руслам. И в связи с ними возникает новая проблема. Владельцы мобилей пользуются на стоянке всеми местными удобствами, а также медицинским обслуживанием, школами, охраной полиции, правом на пособие нуждающимся, и пока что налогов за это с них не взимают. На все виды местного благоустройства идут отчисления с налога на недвижимость, от которого мобили освобождены. Правда, собственники автотранспорта облагаются определенным сбором, но эти суммы поступают в распоряжение окружных и городских органов только на ремонт и расширение сети дорог. Таким образом, владельцам недвижимой собственности приходится содержать рой иждивенцев, и им это становится не по нутру. Но наша налоговая система и наше отношение к ней складывались издавна. Нам претит мысль о возможности взимания подушной подати, о налогах на то или иное бытовое обслуживание. Понятие недвижимости как источника и символа богатства глубоко укоренилось в нашем сознании. А теперь огромное количество людей нашло способ обходиться без

нее. Им можно было бы поаплодировать, ибо в общем-то ловкачи, увертывающиеся от налоговых платежей, восхищают нас, но такое раскрепощение все более тяжким бременем ложится на чужие плечи. В самом ближайшем времени — теперь это уже ясно — нам придется выработать совершенно новую налоговую систему, иначе все тяготы, падающие на недвижимость, будут настолько обременительны, что никто не сможет позволить себе такую роскошь, ибо из верного источника дохода собственность превратится в сущее наказание, и этот парадокс украсит собой вершину пирамиды всех прочих парадоксов нашей жизни. В прежние времена на перемены нас вынуждали идти превратности климата, бедствия, эпидемии. Ныне над нами тяготеет биологическое преуспевание рода человеческого. Мы одолели всех своих врагов, кроме самих себя.

В молодости я хорошо знал Сан-Франциско; будучи начинающим писателем, ютился на его чердаках, в то время как другие подвизались в Париже в качестве пропащего поколения. В Сан-Франциско я оперился, я лазил по его холмам, спал в его парках, работал в его доках, маршировал и горланил в его бунтарских шеренгах. В какой-то степени он принадлежал мне, пожалуй, не меньше, чем я ему.

В честь меня Сан-Франциско показал себя в тот день во всей красе. Я увидел его через залив, с магистрали, которая, минуя Сосолито, вбегает прямо на мост Золотых ворот. Вечернее солнце позолотило и высветило его, и он стоял передо мной на холмах — величественный град, какой может привидеться только в радужном сне. Город, раскинувшийся на холмах, много выигрывает по сравнению с равнинными городами. Нью-Йорк сам громоздит у себя холмы, вздымая ввысь свои небоскребы, но мой бело-золотой акрополь, поднимающийся волна за волной в голубизну тихоокеанского неба, — это было нечто волшебное, это была писаная картина, на которой изображался средневековый итальянский город, какого и существовать не могло. Я остановился на автомобильной стоянке полюбоваться им и ведущим к нему ожерельем моста над входом в пролив. По зеленым холмам — тем, что повыше, с южной стороны, — влачился вечерний туман, точно отара овец, возвращающихся в овчарни золотого города. Никогда я не видел его таким прекрасным. В детстве всякий раз, как мы собирались в Сан-Франциско, меня так распирало от волнения, что несколько ночей до поездки я не спал. Сан-Франциско навсегда оставляет на тебе свою печать.

Наконец я проехал по огромной арке, подвешенной на тросах, и очутился в так хорошо знакомом мне городе.

Он был все такой же — уверенный в себе, настолько уверенный, что ему ничего не стоило и приласкать человека. Он благоволил ко мне в те дни, когда я был беден, и не возражал против моей временной платежеспособности. Я мог бы оставаться здесь до бесконечности, но мне надо было в Монтерей — отправить оттуда мой избирательный бюллетень.

В дни моей молодости в округе Монтерей, на сто километров южнее Сан-Франциско, все были республиканцами. У нас в семье все тоже были республиканцы. Я, наверно, так и остался бы приверженцем республиканской партии, если бы не уехал оттуда. К демократам меня толкнул президент Гардинг, а президент Гувер утвердил меня там. Я вдаюсь в свою личную политическую историю только потому, что мой опыт в этой области вряд ли уникален.

Я приехал в Монтерей, и сражения начались сразу. Мои сестры все еще республиканки. Из всех войн гражданские междоусобицы бывают самыми жестокими, а уж что касается споров о политике, то в семьях они приобретают особенно яростный и неистовый характер. С посторонними я могу говорить на политические темы хладнокровно, проявляя аналитический подход к делу. С сестрами это было просто невыносимо. К концу каждого такого спора мы задыхались от ярости и чувствовали себя совершенно опустошенными. Компромиссов нам не удавалось достичь ни по одному пункту. Пощады никто из нас не просил и не давал.

Каждый вечер мы обещали:

— Будем хорошие, добрые, будем любить друг друга. О политике сегодня ни слова.

А через десять минут мы уже орали во все горло:

— Джон Кеннеди такой-сякой...

— Ах, вот оно что! Как же тогда вы терпите Дика Никсона?

— Спокойно, спокойно! Мы же разумные люди. Давайте вникнем в это как следует.

— Я уже вникла. Что ты скажешь об афере с шотландским виски?

— Ну, если уж выдвигать такие доводы, то что ты скажешь об афере в бакалейной лавке в Санта-Ана, красавица моя?

— Отец перевернулся бы в гробу, если бы услышал, что ты тут несешь.

— Отца вы, пожалуйста, не приплетайте. Он был бы теперь демократом.

— Нет, вы слышали что-нибудь подобное? Роберт Кеннеди скупает бюллетени мешками.

— Что же, по-твоему, республиканцы никогда не покупали голосов? Ох, не смеши меня!

И так без конца и все с таким же накалом. Мы выкапывали из-под земли устаревшее обычное оружие и оскорбления и швыряли ими друг в друга.

— Коммунистом заделался!

— А от тебя подозрительно отдает Чингисханом.

Это было ужасно. Услыхав такие наши разговоры, человек посторонний вызвал бы полицию, чтобы предотвратить кровопролитие. И мне кажется, мы были не единственные. В домашней обстановке нечто подобное творилось, наверно, по всей стране. Язык прилипал у всех к гортани только на людях.

Выходило так, будто я приехал на родину главным образом для того, чтобы ввязываться в политические драки, но в промежутках между ними мне все же удалось кое-где побывать. Состоялась трогательная встреча друзей в баре Джонни Гарсиа в Монтерее с потоками слез и объятиями, речами и нежными излияниями на росо¹ испанском языке времен моей юности. Среди присутствующих были индейцы, которых я помнил голопузыми ребятишками. Годы откатились вспять. Мы танцевали, не касаясь друг друга, заложив руки за спину. И пели гимн здешних мест:

Один молодой паренек
Соскучился жить одиноки.
И вот в город Фриско
К податливым киско
Спешит на свидание он.
Put a chingada cabrón².

Я не слышал этой песенки бог знает сколько лет. Все было как раньше. Годы попрятались по своим норкам. Это был прежний Монтерей, где на арену выпускали одновременно одичалого быка и медведя-гризли; это была прежняя обитель умильно-сентиментальной жестокости и мудрого простодушия, еще неведомого грязным умам, а следовательно, и не загаженного ими.

Мы сидели в баре, и Джонни Гарсиа смотрел на нас заплаканными испанскими глазами. Ворот рубашки у него был расстегнут, в вырезе виднелась золотая медалька на

¹ Здесь: бедном (исп.).

² Испанское ругательство.

цепочке. Он перегнулся через стойку и сказал тому, кто сидел ближе всех:

— Посмотри! Это у меня вот от него, от Хуанито. Много лет назад он привез ее мне из Мексики — *La Morena, la Virginita de Guadeloupe*¹. А вот здесь, — он повернул золотой овал, — здесь наши имена — его и мое.

Я сказал:

— Нацарапанные булавкой.

— Я ношу ее не снимая, — сказал Джонни.

Незнакомый мне пайсано², высокий, темнолицый, стал на нижнюю рейку и наклонился к Джонни Гарсиа.

— *Favor?*³ — спросил он, и Джонни не глядя протянул ему свою медаль. Пайсано поцеловал ее, сказал «*gracias*»⁴ и быстро вышел из бара, толкнув перед собой обе створки двери.

Джонни задышал всей грудью от волнения, глаза у него увлажнились.

— Хуанито, — сказал он, — вернись домой! Вернись к своим друзьям! Мы любим тебя. Ты нам нужен. Твое место здесь, *compadre*⁵, нельзя, чтобы оно пустовало.

Должен признаться, что бывлые чувства и позывы к красноречию подкатывали мне к горлу, а ведь в жилах моих нет ни капли испанской крови.

— *Cunado mio*⁶, — сказал я с грустью, — я живу теперь в Нью-Йорке.

— Нью-Йорк мне не нравится, — сказал Джонни.

— Ты же там никогда не был.

— Да. Потому он мне и не нравится. Тебе надо вернуться сюда, в свои родные места.

Я здорово выпил и (представьте себе!) неожиданно для самого себя разразился речью. Слова, долгие годы не бывшие в употреблении, вдруг посыпались из меня, как горох.

— Да обретет уши сердце твое, мой дядя и друг мой. Мы уже не прежние жеребятки — ни ты, ни я. Время решило кое-какие наши проблемы.

— Молчать! — сказал он. — Я не желаю этого слушать. Это неправда. Ты все так же любишь вино, и ты все так же любишь девочек. Что изменилось? Я же знаю тебя.

— Жил на свете один большой человек, по имени То-

¹ Богоматерь непорочная из Гваделупы (исп.).

² Потомок испанцев, индейцев и мексиканцев.

³ Здесь: можно? (исп.).

⁴ Спасибо (исп.).

⁵ Приятель (исп.).

⁶ Друг мой (исп.).

мас Вулф¹, и он написал книгу, которая называется «Домой возврата нет». И это верно.

— Ложь! — сказал Джонни. — Ведь здесь твоя колыбель, твой дом. — Он вдруг ударил по стойке бейсбольной битой, которую всегда держал наготове для наведения порядка в баре. — Свершатся сроки — может быть, через сто лет, — и здесь ты должен обрести свою могилу. — Бита выпала у него из рук, и он зарыдал, представив себе мою неизбежную кончину. Меня самого прошибло слезой при мысли об этом.

Я посмотрел на свой пустой стакан.

— Ох, Боже мой! — сказал Джонни. — Ох, прости меня! — И он налил нам всем.

Шеренга вдоль стойки смолкла, на темных лицах было написано учтивое безразличие.

— За твое возвращение домой, comrade, — сказал Джонни. — Черт тебя подери, Иоанн Креститель! Уж очень ты налегаешь на даровую закуску!

— Conejo de mi Alma², — сказал я. — Выслушай меня.

Высокий темный пайсано снова вошел в бар, перегнулся через стойку, поцеловал медаль Джонни и вышел.

Я сказал с раздражением:

— В былые времена человека выслушивали до конца. Что тут, по билетам говорят? Заказ надо заранее сделать, чтобы рассказать хоть что-нибудь?

Джонни повернулся лицом к затихшему бару.

— Молчать! — свирепо крикнул он и взялся за свою дубинку.

— Я скажу тебе чистую правду, зять мой. Выйдешь на улицу — иностранцы, чужаки. Тьма-тьмущая! Взглянешь на холмы — понастроили там каких-то голубятен. Сегодня утром я прошел всю Альварадо-стрит и вернулся обратно по Калле Принсипаль и навстречу мне попадались одни чужаки. А днем я запутался у ворот святого Петра. Я пошел через парк к Полям любви, что позади дома Джо Дакворта. Теперь там автомобильное кладбище. Огни светофоров бьют меня по нервам. Здешние полицейские — и те чужаки, иностранцы. Я пошел в долину Кармел, где мы когда-то палили из ружей на все четыре стороны. А теперь там и шарика по траве не пустишь без того, чтобы не угодить в иностранца. Ты ведь знаешь, Джонни, я не злобствую на людей. Но это же богачи! Герань у них ра-

¹ Известный американский писатель (1900—1938).

² Зайчик души моей (исп.).

стет в огромных горшках. Там, где раньше нас поджидали раки и лягушки, они понаделали плавательных бассейнов. Нет, мой козлоногий друг! Если это мой дом, неужели я бы здесь запутался? Если это мой дом, неужели я мог бы пройти по улице, не услышав ни словечка приветия?

Джонни слушал меня, непринужденно навалившись грудью на стойку.

— Но здесь, Хуанито, все по-прежнему. Мы чужих не пускаем.

Я обежал глазами лица у стойки.

— Да, здесь лучше. Но могу ли я всю жизнь сидеть на табуретке в баре? Нечего нам дурачить самих себя. То, что мы знали когда-то, умерло, и, может, большая часть нас самих тоже умерла. А сейчас там, снаружи, все новое и, может быть, хорошее, но мы ничего этого не знаем.

Джонни сжал виски ладонями, и глаза у него налились кровью.

— Где великие люди? Скажи, где Вилли Трип?

— Умер,— глухо проговорил Джонни.

— Где Пилон, мисс Грег, Пом-Пом, Стиви Филд?

— Умер, умерла, умерли,— вторил он мне.

— Где Эд Риккетс, Уайти номер первый и Уайти номер второй, где Солнышко, Энкл Варни, Хесус Мария Коркоран, Джо, Куцый, Флора Вуд и та девушка, что собирала пауков в шляпу?

— Умерли, все умерли,— сказал Джонни.— Привидения обступили нас гурьбой.

— Нет, настоящие привидения — это мы, а не они.

Высокий, темнолицый подошел к стойке, и Джонни, не дожидаясь его просьбы, сам протянул ему медальку.

Джонни повернулся и на широко расставленных ногах подошел к зеркалу позади стойки. Минуту он внимательно разглядывал свое лицо, потом взял бутылку, раскупорил ее, понюхал пробку, попробовал на язык. Потом посмотрел на свои ногти. У стойки беспокойно зашевелились, спины сгорбились, нога на ногу уже никто не сидел.

Ну, берегись, сказал я самому себе. Джонни вернулся к стойке и бережно поставил бутылку между нами. Глаза у него были широко открыты, взгляд — затуманенный.

Он покачал головой.

— Ты, видно, нас больше не любишь. Мы, видно, тебе не ровня.

Его пальцы медленно поигрывали по невидимой клавиатуре стойки.

На секунду мною овладел соблазн. Мне уже слышались звуки труб и звон мечей. Да где там! Стар я для таких дел. В два шага я очутился у двери. Оглянулся.

— Почему он целует твою медаль?

— На счастье. Ставки делает.

— Ну ладно, Джонни. До завтра.

Двустворчатая дверь захлопнулась за мной. Я вышел на Альварадо-стрит, захлестнутую неоновой рекламой, и вокруг меня были одни чужаки.

Расстроившись от тоски по прошлому, я сослужил плохую службу полуострову Монтерей. На самом же деле это прекрасное место — чистое, ухоженное и устремленное вперед. Побережье, когда-то замусоренное гниющими рыбьими внутренностями, кишевшее мухами, содержится в порядке. Консервных заводов, распространявших невыносимое зловоние, теперь там нет и в помине; их место заняли рестораны, антикварные лавки и тому подобные заведения. Теперь здесь ловят не сардину, а туристов, и эта живность вряд ли когда-нибудь переведется. А район Кармел, который основали жившие впроголодь писатели и непризнанные художники, теперь стал резиденцией состоятельных людей и дельцов, ушедших на покой. Если бы основатели Кармела вернулись в свое прежнее обиталище, жить там им было бы не по средствам. Впрочем, до этого бы и не дошло. Они бы не замедлили вызвать подозрение у властей и мигом вылетели за городскую черту.

Моя родина изменилась, а уехав оттуда, я менялся не вместе с ней. В моей памяти она оставалась прежней, и ее теперешний облик раздражал и сбивал меня с толку.

То, о чем я сейчас расскажу, вероятно, приходилось испытывать многим в нашей стране, где люди постоянно кочуют с места на место и возвращаются к родным пенатам. Я навестил своих старых уважаемых друзей. Мне показалось, что залысины у них несколько больше, чем у меня. Встреча была восторженная. Воспоминания захлестнули нас. Мы извлекли на свет божий старые наши грехи и старые победы и смахнули с них пыль. И вдруг я почувствовал, как внимание мое отклоняется куда-то в сторону, взглянул на своего старинного друга и вижу — он тоже отвлекся. Да, то, что услышал от меня Джонни Гарсиа, была истинная правда — призраком сделался я сам. Мой город повзрослел и изменился, и вместе с ним повзрослел и менялся мой старый приятель. Монтерей стал

для меня совсем другим, а я был совсем другой на взгляд моего приятеля, и что-то сместилось в его представлении обо мне, что-то подпортило память о нашем прошлом. Уехав из этих мест, я умер для них, следовательно, застыл в неподвижности, пребывал неизменным. Мой приезд вызвал у друзей только смятение и чувство неловкости. Они не могли признаться в этом, но им хотелось, чтобы я уехал и занял подобающее мне место в рисунке их воспоминаний, и по той же самой причине потянуло прочь отсюда и меня. Прав был Том Вулф. Домой возврата нет, ибо нет самого дома, он существует лишь в твоей засыпанной нафталином памяти.

Мой отъезд был похож на бегство. Но прежде чем повернуться спиной к своей родине, я совершил один традиционный сентиментальный поступок. Я подъехал к пику Фримонт — самой высокой точке здешних мест на много миль в окружности. Преодолев последнее нагромождение острых камней, я взобрался на самую его вершину. Среди этих темных гранитных глыб генерал Фримонт выдержал натиск мексиканских отрядов и разбил их наголову¹. Когда я был мальчишкой, мы иногда находили тут пушечные ядра и ржавые штыки. На виду у этого одинокого каменистого пика прошло все мое детство и моя юность; к югу от него, без малого на сто миль, тянется широкая долина, а город Салинас, где я родился, теперь, точно бурьян, подползал к подножию холмов. На западе благодушно круглилась Торо — вершина соседней гряды, а севернее голубым блюдом сверкал Монтерейский залив. Я чувствовал, и слышал, и вдыхал ветер, что летел сюда из нашей длинной долины. Пахло дикими травами с далеких холмов.

Я вспомнил, как в ту пору юности, когда нас особенно сильно тревожат мысли о смерти, мне хотелось, чтобы меня похоронили на этой горной вершине, откуда я и с закрытыми очами мог бы видеть все то, что знал и любил, ибо в те дни мой мир не выходил за цепь здешних гор. Как осаждали меня тогда мысли о моем погребении! Но не странно ли (хотя, может быть, это к лучшему?): когда сроки наши подходят и смерть становится реальностью, а не пышным зрелищем, интерес к похоронным делам у нас падает. Здесь, на этой высокой скале, мифы моего прошлого выровнялись. Обследовав окрестности, Чарли сидел у моих ног, и его бахромчатые уши трепыхались, точно белье на веревке. Нос, влажный от любопытства, вби-

¹ В войне 1846—1848 гг. между США и Мексикой.

рал принесенный ветром букет запахов со ста миль в окружности.

— Ты этого не знаешь, дорогой мой Чарли, а ведь вон там внизу, в той маленькой ложбинке, я удил форель вместе с твоим тезкой, а моим дядюшкой Чарли. А вон там — смотри, куда я показываю, — моя мать подстрелила дикую кошку. В сорока милях отсюда, если смотреть прямо-прямо, было наше ранчо, которое и прокормить нас не могло. А вон там, где темнеет какое-то углубление — видишь? Это узенькое ущелье с чудесной прозрачной речушкой. По ее берегам в зарослях диких азалий стоят могучие дубы. И на одном из этих дубов мой отец выжег каленым железом свое имя рядом с именем девушки, которую он любил. За долгие годы, прошедшие с тех пор, кора покрыла их имена новым наростом. А совсем недавно один человек срубил тот дуб на дрова и, вогнав клин в чурбан, вдруг увидел имя моего отца. Он прислал мне этот кусок коры. Весной, когда всю долину ковром устилают голубые люпины и она похожа на море из цветов, там такое благоухание, Чарли, такое благоухание, как в раю!

Я еще раз посмотрел на юг, на запад и на север, стараясь запечатлеть все это в глазах, и потом мы уехали прочь от незыблемого, неизменного прошлого, где моя мать вечно целится в дикую кошку, а мой отец выжигает на дубе свое имя рядом с именем той, кого он любил.

Как мне было бы приятно, если бы я мог сказать о своем путешествии с Чарли: «Я поехал на поиски правды о моей стране, и я нашел ее». И тогда дальнейшее было бы проще простого: изложил на бумаге свои открытия и отвалился на спинку стула со сладостным чувством, что ты познал истину и поведал ее читателям. Если бы это было так легко! Но непосредственные ощущения и мысли у меня в голове копошились, будто черви в банке. Давным-давно, собирая и классифицируя морскую фауну, я пришел к выводу, что между моими находками и моим настроением в те минуты существовала тесная связь. Внешний мир совсем не такой уж внешний, как нам кажется.

Эта гигантская страна, это могущественнейшее государство, этот зародыш будущего, оказывается, не что иное, как макрокосм по отношению к микрокосму — ко мне. Если бы англичанин, или француз, или итальянец проехали по моим следам, увидели и слышали то, что видел и слышал я, впечатления, накопленные каждым, отличались бы не

только от моих, но и между собой не имели бы ничего общего. Если же американцы, читая мои заметки, найдут их правдивыми, это будет значить только то, что мы едины в своем американизме.

С момента старта и до самого финиша я не встретил в поездке ни одного человека, который показался бы мне чужим. Если б такие попадались, в рассказах о них было бы легче соблюдать полную объективность. Но это моя страна, мой народ. Когда находилось что-нибудь такое, что следовало покритиковать и осудить, сходные недостатки обнаруживались и у меня. Если бы мне понадобилось вместить свои мысли в одно тщательно продуманное обобщение, я сформулировал бы его следующим образом: несмотря на громадность наших географических пространств, несмотря на характерные особенности каждого отдельного района Америки, несмотря на то, что в ней перемешались представители всех этнических групп, — мы единая нация, мы новое племя. Каждый американец прежде всего американец, а уж потом среди них можно различать южан, северян, жителей западных и восточных штатов. И дети и внуки англичан, ирландцев, итальянцев, евреев, немцев, поляков по сути своей прежде всего американцы. Это говорится не в порыве патриотического восторга, а в результате скрупулезного наблюдения. У калифорнийских китайцев, бостонских ирландцев, висконсинских немцев и алабамских негров — да, негров! — общих черт больше, чем различий. И самое поразительное здесь заключается в том, как мало времени понадобилось на это. Ведь никто не станет оспаривать факт, что между американцами любой части нашей страны, любого происхождения больше сходства, чем между валлийцем и англичанином, ланкаширцем и лондонским кокни, а если хотите, даже между жителями равнинных и горных областей Шотландии. И разве не удивительно, что такое слияние произошло за неполных двести лет, а главным образом за последние полвека. Тип американца существует — это неоспоримо и легко доказуемо.

К тому времени, когда мне надо было пускаться в обратный путь, я уже убедился, что всего не увидишь. На моей чувствительной фотопластинке трудно было что-нибудь разобрать. Я решил побывать еще в двух районах — заглянуть в Техас и взять пробу с глубинного Юга и на том поставить точку. Из прочитанного за последнее время у меня создалось впечатление, что Техас становится некоей обособленной силой, а у Юга происходят сейчас родовые схватки, причем еще неизвестно, что он произведет на

свет. И так тяжелы эти роды, казалось мне, что о будущем ребенке и думать забыли.

Мое путешествие стало похоже на обильную трапезу из многих блюд, предложенную изголодавшемуся человеку. Сначала он набрасывается на все подряд, но потом начинает пропускать некоторые кушанья, чтобы не лишиться аппетита и не притупить чувствительности вкусовых луковиц.

Я поспешил вывести Росинанта из Калифорнии самой короткой дорогой, хорошо знакомой мне еще с 1930 года. Из Салинаса в Лос-Банос, Фресно и Бейкерсфилд, потом через перевал и в пустыню Мохаве, даже в это время года сожженную и сжигающую все дотла. Она вздымала в отдалении свои холмы, похожие на кучи угля, а жадное солнце словно высосало все соки из ее потрескавшейся почвы. Ехать по Мохаве теперь совсем не тяжело — шоссе, позволяющее развивать большую скорость, надежная, удобная машина, стоянки, где можно отдохнуть в тени, под навесом, заправочные станции, рекламирующие свои холодильники. А ведь было время, когда мы приближались к ней с молитвой, вслушиваясь в натужную работу старых моторов, глядя, как из радиаторов бьют струи пара. И когда машина застревала у обочины дороги, плохо было ее дело, если никто не останавливался помочь. Сколько раз мне ни приходилось проезжать по Мохаве, я всегда делил мысленно дорожные муки с теми, кто в былые годы пешком, целыми семьями брели по этому земному аду, оставляя позади павших лошадей и коров, белые скелеты которых и по сию пору отмечают путь первых переселенцев.

Мохаве — пустыня огромная и страшная. Природа здесь, должно быть, решила испытать человека, хватит ли у него выносливости и упорства, чтобы заслужить право ступить в Калифорнию. В струящемся сухом зное возникают миражи — на плоской равнине видится вода. И с какой бы скоростью ни ехать, холмы у линии горизонта все время будут убегать от тебя. Чарли, известный водопивец, дышал, как астматик, содрогаясь всем телом, язык у него свешивался из пасти плоским листиком дюймов восемь в длину, и с него капала слюна. Я съехал с шоссе в небольшую лошину, чтобы дать ему напиться, но сначала окатил его водой из своего тридцатигаллонного бака и сам плеснул себе на голову, на плечи и на грудь. Воздух там до того сухой, что, когда вода начинает испаряться, тебя сразу охватывает озноб.

Я достал из холодильника жестянку пива, открыл ее и сел, глядя из полутьмы своего домика на замучен-

ную солнцем равнину с торчащими кое-где кустиками полыни.

Ярдах в пятидесяти от Росинанта, наблюдая за мной, стояли два койота в рыжеватых шубках, почти одного цвета с песком и солнцем. Я знал, что достаточно одного моего резкого или подозрительного движения, и они превратятся в невидимок. Медленно и как бы невзначай я снял со стены над кроватью свою новую винтовку со злобным скоростным дальнобойным жалом. Еще медленнее поднял ее к плечу. Слепящий свет, должно быть, не позволял койотам разглядеть меня в темноте Росинанта. У моей винтовки был дивный оптический прицел с широким полем зрения. Койоты не двинулись с места.

Я поймал эту парочку в поле зрения прицела, и окуляр придвинул их ко мне совсем близко. Языки у обоих были высунуты, и от этого казалось, будто они насмешливо скалят зубы. Упитанные, не какие-нибудь заморыши, мех пушистый, рыжеватый, с черной щетиной на загривке. В окуляр были ясно видны их маленькие лимонно-желтые глазки. Я навел перекрестье на грудь того, который стоял справа, и спустил предохранитель. Потом поставил локти на стол для опоры. Перекрестье по-прежнему было наведено на грудь зверя. И в эту минуту койот сел и, как собака, правой задней лапой стал скрести себе правый бок.

Моему пальцу не хотелось касаться спускового крючка. Я, наверно, здорово состарился и потратил все то, что было усвоено с молодых ногтей. Ведь это гадины. Они крадут кур. По их милости редуют ряды перепелов и другой дичи. Койотов надо убивать. Они наши враги. Первым выстрелом я уложу того, который сидит, другой тут же метнется наутек. Но мне ничего не стоит ухлопать и этого, пустив ему пулю вдогонку, потому что я меткий стрелок.

И все-таки я не стрелял. Выучка мне говорила: «Пли!», а годы возражали: «Тут на тридцать миль в окружности нет ни одной курицы, а если есть, так они не твои. И перепелок тоже в знойной пустыне не водится. Нет, эти молодчики в форме, потому что они питаются кенгуровыми крысами и зайцами, следовательно, вредители и хищники пожирают друг друга. Стоит ли мне вмешиваться не в свое дело?»

«Убей! — говорила выучка. — Их все убивают. Это на благо общества». Мой палец потянулся к спусковому крючку. Перекрестье приходилось на уровне груди койота, как раз под дергающимся языком. Я представил себе

всплеск и визг яростной стали, метания, корчи до последнего удара взорванного сердца, а потом, вскоре, тень стервятника и за ней вторую. К этому времени я уже выеду из пустыни и буду далеко отсюда, по ту сторону реки Колорадо. А у куста полыни останутся дочиста обклеванные кости, голый, безглазый череп, черное пятно запекшейся крови и несколько клочьев золотисто-рыжего меха.

Я, наверно, слишком обленился на старости лет и уже не могу быть полезным членом общества. Второй койот стоял боком к дулу моей винтовки. Я навел перекрестье на его плечо. Из такого оружия и на такой дистанции промахнуться было просто невозможно. Оба зверя принадлежали мне. Их жизнь была в моей власти. Я поднял предохранитель и положил винтовку на стол. Без оптического прицела ощущение непосредственной близости к койотам исчезло. Раскаленный, слепящий воздух зыбко мерцал вдали.

И вдруг мне вспомнился рассказ, услышанный давным-давно, и я надеюсь, что это не выдумка. В Китае, говорили мне, существовал неписанный закон, по которому человек, спасший другого человека, отвечал за его жизнь до самого ее конца. Ибо, вмешавшись в решение судьбы, спаситель уже не мог уйти от легшей на него ответственности за это. И мне всегда казалось, что такой закон совершенно разумен.

Теперь на моей ответственности, хотя бы условно, лежала жизнь двух молодых и здоровых койотов. В тончайшем переплетении всяческих взаимосвязей мы трое были теперь сопряжены друг с другом на веки вечные. Я открыл две банки собачьих консервов и оставил их там в подтверждение принятого на себя обета.

Мне часто приходилось проезжать по нашему Юго-Западу, а еще чаще я летал над этими огромными таинственными пространствами, которые казнит солнце. Эта пустыня загадочна, в ней словно что-то притаилось и ждет. Она кажется безжизненной, ей будто и неведомо такое паразитирующее существо, как человек, но это не совсем верно. Проезжайте по следам колес, которые виднеются на песке и камнях, и они приведут вас к жилью, забившемуся в какое-нибудь защищенное от солнца место с кучкой деревьев, протянувших корни к глубинной воде, с полоской тощей кукурузы, грядкой тыкв и лентами вяленого мяса, болтающимися на веревке. Есть в здешних местах людское племя — пустынники, но они не то что хоронят себя здесь, а бегут сюда от суеты мирской.

По ночам в этом воздухе, лишенном влаги, звезды спускаются совсем низко — еще немного, и коснешься их пальцами. Во времена раннего христианства в такую пустыню уходили отшельники и жили там, проникая чистой, незамутненной мыслью в тайны бесконечного. Возвышенные идеи о цельности и величии всего строя мироздания, видимо, всегда рождались в пустынях. Неторопливый счет звезд, наблюдение за их ходом в небесах пришли к нам тоже из таких вот пустынных мест. Я знал людей, которых уводило в пустыню тихое, упорное пристрастие к ней и неприятие бесконечного мира, где нет недостатка в воде. Такие люди не меняются с бурным течением времени, они умирают, уступая место другим точно таким же.

И всегда пустыня таит какие-то секреты, всегда она рождает всяческие толки о потайных местах среди горных круч, где ютятся племена, уцелевшие от прошлых эпох и только ждущие часа, когда им снова удастся выйти на жизненный простор. Этим родовым общинам отводится роль хранителей сокровищ, спасенных от полчищ завоевателей; там и золотые украшения какого-нибудь Монте-сумы¹ незапамятных времен, и копи, такие богатые, что стоит лишь обнаружить их, и это изменит судьбы мира. Если к тайникам пробирается пришелец из чужих краев, его убивают или же так запрячут, что он навсегда сгинет с глаз людских. Сказки эти строятся все по одному неизменному образцу, которого не сокрушить даже вопросом: «Если возврата оттуда нет, как же узнают, что есть такие места?» — «Такие места есть, можете не сомневаться, но если вы их найдете, то вас самого уже никогда не найдут».

Есть еще одно предание, цельное, как монолит, неизменное во всех перипетиях. Двое компаньонов-золотоискателей нападают на сверхъестественно богатую жилу — то ли золотую, то ли алмазную, то ли рубиновую. Они набирают образцов, сколько могут унести, а место стараются запомнить по разным приметам вокруг него. По пути в большой мир один из них погибает от жажды и истощения, но второй бредет дальше, постепенно освобождаясь от своих сокровищ, нести которые ему уже не под силу. Наконец он доползает до какого-то жилья, или же его находят другие изыскатели. Вид камешков приводит их в великое волнение. По одному варианту уцелевший золо-

¹ Верховный правитель населявших древнюю Мексику ацтеков; по преданиям, обладал несметными богатствами.

тоискатель умирает, объяснив своим спасителям, как найти копи. По другому — его выхаживают, и силы возвращаются к нему. Далее на поиски сокровищ идет хорошо снаряженная партия и ничего там не находит. Такой конец неизменен — ищут и не находят. Я много раз слышал эту историю, и конец ее был всегда один и тот же. Пустыня создает питательную среду для мифов, хотя корнями своими они, по-видимому, где-то уходят в действительность.

Но есть в пустыне и подлинные тайны. В войне, объявленной солнцем и засухой всему живому, жизнь владеет тайнами, позволяющими ей уцелеть. Жизнь на любой ее ступени должна получать влагу, иначе она исчезнет. И в высшей степени интересны, по-моему, те ухищрения, на которые идут организмы, чтобы обмануть убийственные лучи всепобеждающего солнца. Измученная земля кажется покоренной и мертвой, но это только кажется. Огромное, наделенное изобретательностью сообщество живой материи сохраняет жизнь, прикидываясь, будто оно проиграло битву. Пыльная, серая полынь надевает маслянистую броню, чтобы сохранить под ней свои скромные запасы влаги. Некоторые растения упиваются водой во время редко выпадающих здесь дождей и берегут ее впрок. Животные обзаводятся гладкой, жесткой кожей или наружным скелетом, чтобы избежать иссыхания. И каждое живое существо выработало технику поисков или создания вокруг себя тени. Маленькие пресмыкающиеся и грызуны прячутся в норах, зарываются в землю или ютятся в тени обнаженных пластов породы. Двигутся в пустыне медленно, сберегая силы, и мало кто из живых существ может долго бросать вызов солнцу. Гремучей змее достаточно пролежать час на солнцепеке — и она околеет. Некоторые виды насекомых, из самых находчивых, изобрели собственную охлаждающую систему. Животные, которым надо пить, получают влагу из вторых рук — заяц слизывает ее с листа, койот утоляет жажду заячьей кровью.

Искать живые существа в пустыне среди дня бесполезно, но когда солнце уходит и ночь дает на то согласие, жизнь здесь пробуждается и начинает плести свой сложный узор. Тогда выходят на волю и преследуемые, и преследователи, и преследователи преследователей. И ночь наполняется жужжанием, и лаем, и воем.

В поздний период истории нашей планеты, когда из равновесия химических элементов и благоприятствующих температур волею случая возникло то невероятное, что называется жизнью, зачатки ее, количественно и качественно

непостижимо. малые и хрупкие, смешались в реторте времени, и из этого смешения родилось нечто новое — нечто слабенькое, беспомощное и беззащитное в жестоком мире небытия. Затем в организмах начали возникать изменения, вариации, и мало-помалу один вид становился отличным от прочих. Но любой форме жизни присуще некое качество, может быть, самое важное из всех — это способность выживания. Нет ни единого существа, которое было бы лишено такого дара, ибо жизнь не может продолжаться без этой магической формулы. Разумеется, каждому виду приходилось вырабатывать свой собственный механизм, способствующий выживанию, но некоторым видам это не удалось, и они погибли, зато другие населили землю. Первые затеплившиеся огоньки жизни ничего не стоило потушить, и другого случая для ее зарождения могло и не представиться, но поскольку жизнь появилась на нашей планете, основное ее качество, первейшая ее обязанность, задача и цель — продолжать существование. И жизнь живет и будет жить до тех пор, покуда какая-нибудь другая случайность не уничтожит ее. А пустыня, иссушенная, исхлестанная солнцем пустыня — это хорошая школа, где можно наблюдать изощренную и бесконечно разнообразную технику выживания в безжалостной, враждебной среде. Жизнь не в силах была изменить солнце или дать воду пустыне, и вот ей пришлось измениться самой.

Никому не милая обитель — пустыня может стать последним оплотом бытия в его борьбе с небытием. Ибо в местах плодородных, богатых влагой и всем желанным, жизнь ставит на карту саму себя и, окончательно запутавшись, вступает в союз с враждебной ей антижизнью. И то, чего не удалось разрушить сжигающим, иссушающим, леденящим, источающим яд силам антижизни, может погибнуть, исчезнуть с лица земли, как только изменит живому организму стремление выжить. Если самый подвижный из всех видов — человек — будет бороться за существование так, как всегда боролся, он может уничтожить не только самого себя, но и все живое. И если такое произойдет, то никому не милая, суровая мать-пустыня сможет заново выпестовать жизнь на земле, потому что обитатели пустынь проходят хорошую выучку и хорошо оснащены для борьбы с запустением и бесприютностью. Даже наш злополучный род людской может снова возникнуть в пустыне. Отважный одиночка и его прокалившаяся на солнце жена, льнущие к спасительному клочку тени в бесплодной пустыне, их соратники — койоты, зайцы,

рогатые жабы, гремучие змеи, а вместе с ними воинство облаченных в панцири насекомых — все эти вышколенные, испытанные в борьбе существа могут стать последней надеждой, последним оплотом жизни в ее борьбе с небытием. Пустыне не впервые творить чудеса.

Где-то раньше я говорил о некоторых особенностях, которые сразу чувствуешь при переезде из одного штата в другой, — о разнице в языке, в стиле прозы на плакатах и дорожных указателях и о разнице в дозволенной скорости езды. Своими правами, гарантированными им конституцией, штаты пользуются с превеликим рвением и егоргом. Калифорния подвергает осмотру все машины, выискивая, нет ли в них овощей и фруктов, которые могут занести вредителей и болезни растений, и свято соблюдает правила, существующие на этот счет.

Несколько лет назад я познакомился с одним жизнерадостным и весьма предприимчивым семейством из Айдахо. Задумав навестить родственников в Калифорнии, они насыпали полный грузовик картофеля и торговали им по дороге, чтобы хоть отчасти окупить путевые расходы. На подступах к Калифорнии больше половины товара было продано, но у самой границы их остановили, и картошка пропуска на въезд не получила. Бросать ее им было не по карману, и тогда эта неунывающая семейка расположилась биваком прямо на пограничной линии и пустила свою картошку и в котелок, и на продажу, и в обмен. К концу второй недели грузовик опустел. Мои знакомые беспрепятственно миновали проверочный пункт и покатали дальше.

Разобщенность наших штатов, язвительно поименованная кем-то «балканизацией», создает много трудностей. Редко бывает, чтобы в двух разных штатах взимали одинаковый налог на бензин, а суммы эти входят основной частью в бюджет организаций, ведающих строительством и эксплуатацией дорог. Гигантские грузовики дальнего следования своим весом и быстротой движения удорожают стоимость ремонта автомагистралей. Вот почему в каждом штате имеются специальные пункты для взвешивания проходящих машин и сбора налогов на их грузы по установленному тарифу. А если есть разница в налогах на горючее, то на границе проверяют емкость баков и опять же заставляют платить. На дощечках написано: «Грузовые машины — стоп!» Будучи грузовиком, я тоже останавли-

вался, но взмахом руки меня тут же сгоняли с весовой платформы. Не за такими, как мы, здесь охотились. Впрочем, иногда я задерживался на проверочных пунктах и заводил разговор с инспекторами, если они были не очень заняты. И тут, кстати, мне хочется коснуться вопроса о милиции на местах. Подобно большинству американцев, я не питаю симпатии к нашим городским «фараонам», а постоянные расследования дел о их взяточничестве, жестоком обращении и пестрый список прочих беззаконий и вовсе не располагают меня в их пользу. Однако моя враждебность не простирается на милицейские части штатов, имеющиеся теперь почти повсеместно. Набирая в милицию интеллигентных, образованных людей, выплачивая им приличное жалованье, ставя их вне зависимости от нажима политических заправил, многие штаты смогли с помощью таких простых способов создать отборные части, контингент которых умеет блюсти достоинство и гордится своей работой. Может быть, в городах у нас тоже сочтут когда-нибудь нужным провести кое-какие реформы в полиции по образцу милицейских частей штатов. Но это удастся сделать только тогда, когда политические организации будут лишены права карать и миловать.

По ту сторону реки Колорадо, если смотреть из Нидлса, виднелись вздымающиеся в небо темные зубцы аризонских скал, а за ними начиналась огромная пологая равнина, которая восходит все к тому же становому хребту континента. Я хорошо знаю этот путь, так как много раз ездил им. Кингмен, Эш-Форк, Флагстаф с горной вершиной вдали, потом Уинслоу, Холбрук, Сендерс. Вниз, под уклон, и снова подъем, и вот Аризона остается позади. Города здесь несколько разрослись по сравнению с тем, какими я их помнил, освещение на улицах теперь ярче, придорожные мотели стали больше и роскошнее.

Я пересек границу Нью-Мексико, ночью промчался мимо Галлапа, а остановку сделал на перевале, и надо сказать, что здесь он выглядит куда эффектнее, чем на Севере. Ночь была холодная, сухая, звезды сияли как хрустальные. Я заехал в небольшую ложбину, чтобы укрыться от ветра, и остановил Росинанта у наваленных горой битых бутылок. Их были тысячи и тысячи — из-под виски, из-под джина. Почему они там оказались — понятия не имсю.

И вот, сидя в кабине, я очутился лицом к лицу с фактом, от которого все пытался увильнуть. Я гнал себя по этим дорогам, отсчитывая милю за милей, потому что уже

ничего не видел и ничего не слышал. Способность воспринимать что-либо была исчерпана, или же, уподобившись обжорам, которые и насытившись продолжают набивать брюхо, я не мог усваивать то, что открывалось моим глазам. Каждый новый холм казался мне двойником предыдущего. Точно так же получилось у меня и в мадридском Прадо, после того как я посмотрел сотню полотен: чувствуешь, что сыт по горло и при всем желании ничего больше не можешь увидеть.

Хорошо бы теперь найти какое-нибудь укромное местечко на берегу ручейка, отдохнуть там и несколько воспрянуть духом. Чарли, сидевший рядом со мной в темноте кабины, чуть слышным поскуливанием доложил мне о своих надобностях. Даже Чарли был забыт! Я выпустил его, и он медленно побрел к горе бутылок, принюхался к ним и повернул в другую сторону.

Ночь была холодная, такая холодная, что меня пробрала дрожь, и я включил свет и зажег газ в своем домике, чтобы прогреть его. Беспорядок там был полный. Постель не застлана, в раковине грязная посуда, оставшаяся после завтрака. Я сел на кровать и вперил взор в серое уныние, расстилавшееся передо мной. Откуда я взял, что смогу познать свою страну? За последние сто миль мне и с людьми-то не хотелось сталкиваться. И когда волей-неволей приходилось заезжать на заправочные станции за горючим, объяснялся я там односложно и не замечал того, что делается вокруг. Глаза и мозг здорово подвели меня. Я сам себя дурачу, воображая, будто такая поездка необходима и даже поучительна. Конечно, лекарство от всех этих мыслей было у меня под рукой. Не вставая с кровати, я дотянулся до бутылки виски, налил себе полстакана, понюхал и слил все обратно. Нет, этим не вылечишься.

Чарли все еще не было. Я отворил дверь и свистнул, но отклика на мой свист не последовало. Это привело меня в чувство. Я схватил электрический фонарь и уткнул его пронзающий луч в темноту ложбины. Ярдах в пятидесяти от меня сверкнули два глаза. Я подбежал туда и увидел, что Чарли стоит, вперив взор в пространство, точь-в-точь как я сам вперял несколько минут назад.

— Чарли, что с тобой? Ты плохо себя чувствуешь?

Хвостик медленно транслировал мне его ответы:

— Да нет, как будто ничего.

— Я тебя звал, почему ты не откликнулся?

— Я не слышал.

— Куда ты смотришь?

— Не знаю. Так... никуда.

— Что же, тебе и ужинать не хочется?

— Да я не проголодался. Но если это надо для формы... что ж, можно и притвориться.

Вернувшись в домик, он плюхнулся на пол и положил морду на передние лапы.

— Залезай на кровать, Чарли. Будем кукситься вместе.

Он повиновался, но особенного восторга по этому поводу не выказал. Я запустил пальцы в его чубчик и почесал ему за ушами, где он больше всего любит.

— Ну как?

Он передвинул голову.

— Чуть левее. Фтт. Да. Здесь.

— Никчемные мы с тобой путешественники. Чуть из дому, и уже захандрили. Первый белый человек, который был в этих местах... его, кажется, звали Нарва́эс... Если не вру, на такую прогулочку ему понадобилось шесть лет. Ну-ка, подвинься. Сейчас проверим. Э-э, нет, все восемь — с 1528 по 1536. И сам Нарваэс сюда не добрался. Но четверо из его партии все-таки дошли. Интересно, на них хандра тоже нападала? Кишка у нас тонка, Чарли. Может, нам выкинуть что-нибудь такое-эдакое? Когда твой день рождения?

— Не знаю. Может, как у лошадей — первого января?

— А не сегодня?

— Кто знает!

— Хочешь, я испеку тебе пирог? Придется блинчатый, потому что у меня есть коробка с готовой смесью. И побольше сиропу, а сверху воткнем свечу.

Чарли проявил некоторый интерес к моим манипуляциям. Его глупейший хвостик вел со мной деликатную беседу.

— Пекет пирог собаке, а когда собакино рождение, думаете, знает, вот увидят и скажут, совсем спятил.

— Если твой хвост не в ладах с интеллигентной речью, тогда слава богу, что ты не умеешь говорить.

Пирог получился вполне приличный — в четыре слоя, пропитанный кленовым сиропом, а сверху огарочек. Пока Чарли ел и лизал сироп, я выпил за его здоровье неразбавленного виски. И после этого нам обоим полегчало. Но Нарваэс оставался Нарваэсом — восемь лет! Были же люди в прошлые времена!

Чарли слизнул сироп с усов.

— Почему ты скис?

— Разучился видеть, Чарли. А когда такое случается, то боишься: уж не навсегда ли?

Чарли встал и потянулся всем телом — сначала носовой частью, потом кормовой.

— Пойдем, что ли, прогуляемся вверх по тропинке, — предложил он. — Может, опять все будешь видеть.

Мы осмотрели кучу битых бутылок из-под спиртного и стали взбираться на холм. Наши легкие возвращали холодный, сухой воздух струйками пара. Какой-то зверь, видимо большой, прыжками удирал от нас вверх по каменистому склону, а может, зверь был маленький, но лавину пустил вниз большую.

— Ну, что говорит твой нос? Кто это?

— Какой-то неизвестный. Пованивает мускусом. В погоню за ним я, во всяком случае, не собираюсь.

Ночь была такая темная, что ее всю прокалывали огненные точки. На крутом каменистом откосе мой фонарь нашел ответную вспышку. Я вскарабкался туда, скользя и оступаясь, потерял эту блестку и снова нашел — свежий на изломе сколок породы, а внутри вкраплена слюда. Не бог весть какое сокровище, но все-таки приятно. Я сунул камень в карман, и мы пошли спать.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Приступая к этому повествованию, я знал, что рано или поздно мне надо будет заняться Техасом, и меня пугала такая перспектива. Как космонавт не может миновать Млечный Путь, так и я не мог бы объехать Техас стороной. Огромная Ручка Сковороды¹ просунулась далеко на север, а остальная часть этой «сковородки» жметя к Рио-Гранде. Уж если заехал в Техас, так не скоро оттуда выберешься, а некоторые и вовсе там застревают.

Скажу с самого начала, что, если бы мне и хотелось проехать мимо Техаса, из этой затеи все равно ничего бы не вышло, так как этому штату я обязан и женой, и тещей, и дядя мой там живет, и тетка, и всяких двоюродных тоже хватает — словом, полна коробочка. И даже территориальная отдаленность от Техаса дела не спасает, ибо Техас так и шествует сквозь наш нью-йоркский дом и сквозь наш рыбачий коттедж в Сэг-Харборе, а когда у нас была квартира в Париже, мы и там его видели. Техас может возникнуть в любой точке земного шара, и тогда дело доходит до смешного. Однажды, познакомившись во Флоренции с прелестной юной итальянкой из титулованной семьи, я сказал ее отцу: «По-моему, в вашей дочке нет ничего итальянского. Как ни странно, она похожа на американскую индианку». На что отец ответил: «И не удивительно. Ее дед был женат в Техасе на индианке племени чероки».

Писатели, поднимающие проблему Техаса в своих книгах, увязают в общих местах, и в этом смысле я не составляю исключения. Техас — это общая направленность ума. Техас — это одержимость. И самое главное: Техас — нация, в полном смысле этого слова. Вот вам пачка общих мест для начала. Выехав из своего Техаса, техасец превращается в иностранца. Моя жена причисляет себя к тем уроженцам Техаса, кому удалось вырваться из-под его

¹ Прозвище северной части Техаса между штатами Оклахомой и Нью-Мексико.

власти, хотя это верно лишь наполовину. От южного акцента она избавилась, но стоит ей заговорить с техасцем, как он снова слышится. До ее происхождения и докапываться не надо — оно тут, почти на поверхности.

Я изучал проблему Техаса всесторонне и в течение многих лет. И каждый из моих выводов неизбежно вступал в противоречие с другим. Вне своего штата техасцы, как мне кажется, немного робеют и проявляют чрезмерную обидчивость, а это приводит к хвастовству, заносчивости и шумным проявлениям самодовольства — то есть к тем защитным мерам, к которым прибегают застенчивые дети. У себя дома они совсем другие. Те, кого я знаю, очень любезны, дружелюбны, великодушны и сдержанны. В Нью-Йорке же мы только и слышим их разглагольствования о дорогой их сердцу уникальности Техаса. Техас — единственный штат, который вошел в состав США по соглашению, заключенному в 1845 году. Право выхода по собственной воле за ним сохраняется. Техасцы столько раз грозили нам этим, что я организовал общество энтузиастов и назвал его «Американские друзья самоопределения Техаса». Такие шутки действуют на них отрезвляюще. Они хотят сохранять за собой право на отделение, но подсказывать им это строго возбраняется.

Подобно большинству страстных патриотов, техасцы наделили свою родину историей, основанной на фактах, хотя фактами не ограничивающейся. Предания говорят о первых поселенцах как о людях выносливых, жизнеспособных, но этими качествами их характеристика не исчерпывается. Кое-кому известно и другое: в те славные годы, когда Виргиния была колонией, самые тяжкие преступления карались там смертью, изгнанием в Техас и тюрьмой — именно в такой последовательности. И кое-кто из сосланных туда, наверно, оставил после себя потомство.

Но, с другой стороны, героическая до последней капли крови оборона форта Аламо от полчищ мексиканского генерала Санта-Аны — это факт. Отважные техасцы действительно вырвали свободу у Мексики, а свобода и воля — священные слова. Однако чтобы ознакомиться с непредвзятой оценкой того, что техасцы называли тиранией, поднявшей их на восстание, надо обратиться к европейским источникам того времени. Незаинтересованные наблюдатели считают, что нажим велся с двух сторон. Техасцы не желали платить налоги — это первое. Второе: Мексика отменила рабство в 1829 году, и поскольку Техас входил в Мексику, от него требовали, чтобы он тоже освободил

своих рабов. Разумеется, были и другие причины для восстания, но эти две больше всего бросаются в глаза европейцам, тогда как у нас в стране о них помалкивают.

Я охарактеризовал Техас как общую направленность ума, но такой характеристики, пожалуй, недостаточно. Техас — мистика, переходящая в религиозный накал чувств. Это подтверждается тем обстоятельством, что люди или страстно любят его, или так же страстно ненавидят, и, как бывает со всякой религией, мало кто решается вникать в ее суть, из страха потерять почву под ногами, запутавшись в загадках и противоречиях, из которых она состоит. Взгляды и оценки, сделанные с других позиций, могут мгновенно перечеркнуть любой из моих выводов. Но вряд ли кто возьмется оспаривать мой тезис, что Техас нечто единое. Несмотря на необъятность его территории, разницу в природных условиях и климате между отдельными районами, несмотря на его внутренние препирательства, грызню и раздоры, Техас силен своей спайкой, и в этом с ним вряд ли может поспорить какая-нибудь другая часть Америки. Богачи, бедняки, те, кто живет на Севере, и те, кто живет у Мексиканского залива, горожане, фермеры — все они одержимы Техасом, для всех для них Техас нечто свое, кровное, досконально изученное. Несколько лет назад наша писательница Эдна Фербер написала роман, в котором вывела очень небольшую группу очень богатых техасцев. Насколько я могу судить, она не погрешила против истины в этом романе, но весь тон его был несколько уничижительный. И как только книга вышла, на нее ополчились техасцы всех классов, всех состояний и всех общественных группировок. Замахнуться на какого-нибудь одного жителя Техаса — значит навлечь на себя огонь из всех орудий. С другой стороны, так называемые техасские анекдоты — это нечто всеми уважаемое, любимое, и сочиняют их большей частью в самом Техасе.

Родством с первыми поселенцами-скотоводами техасцы дорожат не меньше, чем англичане — капелькой норманской крови, текущей в их жилах. И хотя многие тамошние семьи действительно потомки земельных арендаторов, мало чем отличающихся от современных *brascos*¹, все они спят и видят длиннорогих бычков и пастбища, простирающиеся без изгородей до самого горизонта. Когда человек сколачивает большое состояние на нефти или на госу-

¹ Батраков (исп.).

дарственных поставках, на химическом производстве или оптовой торговле бакалейными товарами, первое, что он делает, это покупает ранчо — самое большое по его деньгам — и обзаводится крупным рогатым скотом. Если у кандидата на какой-нибудь государственный пост нет собственного ранчо, у него, говорят, мало шансов на победу. Землевладельческие традиции глубоко укоренились в психике техасцев. Бизнесмены носят сапожки на каблуке, не знаящие, что такое стремя, а богачи, которые живут в собственных особняках в Париже и каждый охотничий сезон ездят в Шотландию стрелять куропаток, любят выставляться эдакими сельскими пареньками. Такое позерство легко было бы высмеять, если бы не знать, насколько оно помогает им быть ближе к земле с ее мощью и простотой. Они понимают инстинктивно, что земля — источник не только богатства, но и жизненной энергии. А энергия техасцев безгранична и обладает взрывной силой. Удачливый коммерсант, который обзавелся традиционным ранчо, не бросает его на управляющего — я говорю о тех, кого знаю. Он прилагает к нему руки, по-хозяйски заботится о своем скоте, пополняет стадо. Энергия, бушующая в этом климате, жарком до умопомрачения, сама по себе умопомрачительна. А по тамошним традициям от тяжелой работы не отлынивают, какое бы у человека ни было состояние, большое или совсем никакого.

Поразительная вещь — сила тенденций, закрепившихся в том или ином обществе. Среди прочих отличительных свойств Техаса отметим его воинственность. Техасцы так и кишат в армии США и сплошь и рядом играют в ней доминирующую роль. Даже излюбленные там эффектные виды спорта приняли военизированный характер. Где еще увидишь такие мощные духовые оркестры и столько марширующих шеренг, во главе которых, покручивая блестящими дирижерскими палочками, вышагивают костюмированные девицы? Над межзональными футбольными матчами реет и воинская слава побед и горечь поражений, а когда техасские футболисты играют с командой из другого штата, они выходят на поле с развевающимися знаменами.

Я все время возвращаюсь к разговору об энергии, пульсирующей в Техасе, потому что уж очень явственно она дает себя знать. По-моему, ее можно поставить в один ряд с напором динамизма, который в прежние века увлекал целые народы на кочевье и захват чужих земель. Почва в Техасе очень плодородна. Я почти уверен, что, не

будь этого, неумная энергия Техаса переклестнула бы через его границы и двинулась на завоевание новых земель. Такая уверенность в какой-то степени подтверждается подвижностью техасского капитала. Но теперь — во всяком случае, так было по сей день — завоевывать идут не столько войска, сколько акционеры. Наступление техасского капитала ощущается и у нефтяных вышек в пустынях Ближнего Востока и на новых месторождениях в Южной Америке. Есть и другие новые острова, куда забирается победитель-капитал: это фабрики Среднего Запада, заводы пищевых концентратов, станкостроительные и целлюлозные предприятия. К своим завоеваниям, вполне законным в двадцатом веке, Техас присовокупляет и крупные издательства. Я не вывожу никакой морали из своих наблюдений, никого не предостерегаю. Энергии необходим выход, и она всегда его отыщет.

Так было во все эпохи: лишь только богатые, энергичные и преуспевающие нации налаживали свои дела в мире, их сразу охватывала тяга к искусству, культуре и даже к учености и красоте. Техасские города растут ввысь и вширь. Колледжи его завалены дарами и пожертвованиями. Что ни день, повсюду возникают новые театры, симфонические оркестры. Эти бурные, все на своем пути сметающие волны энергии и увлеченности, естественно, несут с собой и неудачи, и просчеты, и даже погрешности против здравого смысла и хорошего вкуса. А ничего не производящая братия критиканов тут же начинает всем этим ужасаться, все осуждать, высмеивать, обливать презрением. На мой же взгляд, важен самый факт, что такими делами кто-то занимается. Конечно, ошибки, причем грубейшие, будут следовать одна за другой, но мы знаем из истории, что художников всегда тянет в те места, где их ждет радушный прием и хорошее отношение.

По своим масштабам и всему своему строю жизни Техас наталкивает на обобщения, а обобщения эти, как правило, приводят к парадоксам: «сельский паренек» ходит на симфонические концерты, хозяин ранчо в сапогах и выцветших джинсах покупает у антикваров китайские нефритовые статуэтки.

С политической точки зрения Техас тоже не менее парадоксален. По традициям и сентиментальным воспоминаниям о прошлом он Старый Южанин-Демократ, однако это не мешает ему голосовать на всеамериканских выборах за консервативных республиканцев, а в городские и окружные органы власти выдвигать либералов. Мое вступитель-

ное утверждение остается в силе: какие выводы ни сделаешь относительно Техаса, все они могут оказаться в противоречии один с другим.

Почти со всеми краями земного шара можно ознакомиться, уточнив их широту и долготу, изучив химию их земли, неба и воды, определив их флору и фауну,— и на том поставить точку. А есть края, где на первый план выступают легенды, мифы, предвзятости, любовь, пристрастия или предубеждения, и это настолько искажает картину, что вместо трезвой, объективной оценки погружаешься в какую-то путаницу суждений, отливающих всеми цветами радуги. Такова Греция, и таковы те места Англии, где странствовал король Артур¹. И таким краям свойственна одна особенность: они требуют личного, субъективного отношения к себе. И в первую очередь это относится к Техасу.

Я проехал большую часть Техаса и убедился, что климат в нем неоднороден и что в его пределах столько разных ландшафтов, рельефов, структур почвы, сколько их наберется во всем мире, если исключить Арктику, хотя ледяное дыхание могучего северного ветра иной раз достигает и сюда. Суровые, уходящие к горизонту равнины «сковородной ручки» совсем не под стать невысоким лесистым склонам и чистым ручейкам в горах Дэвиса. Богатые цитрусовые сады в долине Рио-Гранде не имеют ничего общего с пастбищами южных районов Техаса. Горячий, влажный воздух побережья не сравнишь с хрустальным холодком в северо-западной части штата. А город Остин, который стоит на холмах, среди озер, находится будто на другом конце света от Далласа.

Всем этим я стараюсь доказать, что в Техасе нет единства — ни географического, ни физического. Он един духом своим. Но это чувство единства живет не только в умах техасцев. Слово «Техас» звучит символично для всех на свете. Спору нет, легенда о техасском своеобразии часто создается искусственно, не всегда соответствует действительности и сплошь и рядом морочит нас романтикой, но это нисколько не умаляет его значения как символа.

Все мои домыслы о природе понятия «Техас» приведены здесь в качестве предисловия к нашим с Чарли разъездам по этому штату. Мне вскоре же стало ясно, насколько сильно этот отрезок пути будет отличаться от всего

¹ Король бриттов (V—VI вв.); герой многочисленных средневековых легенд.

нашего путешествия. Во-первых, потому, что я хорошо знаю эти места; во-вторых, у меня там много знакомых и родственников со стороны жены, а последнее обстоятельство исключает объективность суждений, ибо нигде в мире гостеприимство не проявляется с таким пылом, как в Техасе.

Но прежде чем оказаться во власти этого приятнейшего, хоть подчас и утомительного свойства человеческой натуры, я мог еще три дня пользоваться полной безвестностью в отличном мотеле в самом центре Амарильо. Когда мы ехали по гравийной дороге, промчавшаяся мимо машина обдала нас галькой, разбила большое переднее окно Росинанта, и теперь его надо было заново застеклить. Хуже того — Чарли опять у меня расхворался. На этот раз ему было совсем плохо, и он сильно мучился. Я вспомнил того жалкого невежду в Спокане, которому на все было наплевать. И еще я вспомнил, какой взгляд бросил на него Чарли — взгляд недоуменный, обиженный и полный презрения.

Врач, которого я вызвал в Амарильо, оказался совсем молодым. Машина у него была недорогая, с откидным верхом. Он наклонился над Чарли.

— Что с ним такое?

Я объяснил. Тогда руки молодого ветеринара — опытные, все понимающие руки — коснулись раздутого брюшка и ног Чарли. Чарли шумно вздохнул, его хвост приподнялся, приветливо задрожал на весу и снова лег на пол. Чарли уверовал в этого человека целиком и полностью. Мне и раньше приходилось наблюдать такое мгновенное возникновение контактов между животным и человеком, и должен сказать, что это весьма приятное зрелище.

Сильные пальцы продолжали ощупывать, обследовать, и наконец ветеринар выпрямился.

— С каждым старичком такое может случиться, — сказал он.

— Это то самое, что я подозреваю?

— Да. Воспаление предстательной железы.

— Вы возьметесь его вылечить?

— Конечно. Прежде всего надо ослабить мышечное напряжение, а потом будем лечить. Вы оставите его у меня дня на четыре?

— Какой может быть разговор? Если надо, так оставляю.

Он взял Чарли на руки, вынес его и положил на переднее сиденье своей машины, и хвостик с кисточкой на

конце забарабанил по кожаной обивке. Чарли был доволен и спокоен, я тоже. Вот почему мне пришлось некоторое время околачиваться в Амарильо. И чтобы покончить с этим эпизодом, добавлю, что через четыре дня я забрал Чарли от ветеринара совершенно здоровым. Ветеринар дал мне пилюли, которые Чарли надо было время от времени принимать в дороге, чтобы приступы не повторялись. Да-а! Что может быть лучше хорошего человека!

Я не собираюсь особенно долго распространяться о Техасе. После развенчания Голливуда занимаемое Калифорнией первое место отошло к штату Одинокой Звезды¹, и теперь его интервьюируют, его обследуют, им интересуются. Но какой бы отчет ни составлять о Техасе, он будет неполон без описаний техасских парадных приемов и показа тамошних богачей, которые проматывают свои миллионы на безвкусное и безудержное бахвальство. Моя жена приехала ко мне в Техас из Нью-Йорка, и нас пригласили провести День благодарения на техасском ранчо. Хозяин его — наш хороший знакомый, и, когда он приезжает в Нью-Йорк, мы тоже устраиваем парадные приемы в его честь. Называть его здесь я не стану, пусть читатели сами догадываются, кто это такой, как им положено по традиции. Думаю, что человек он богатый, хотя я его об этом не расспрашивал. Мы приехали днем накануне праздника, как нас и просили, и увидели великолепное ранчо, где было все — и водоемы, и рощи, и пастбища. Бульдозеры нагородили там повсюду земляные дамбы для задержания воды, и в самом центре поместья тянулась цепочка небольших животворящих озерков. В густых травах низин паслись кровные герефорды, и когда мы проезжали мимо в облаках пыли, они только взглядывали на нас. Велико ли это ранчо — не знаю, не спрашивал.

Дом, кирпичный, одноэтажный, стоял в тополевой рощице на пригорке, у подножия которого запруженная речушка образовала небольшой водоем. По темному зеркалу воды то и дело пробегала рябь — это резвилась запущенная туда форель. Дом был комфортабельный: три спальни, при каждой своя ванная комната с ванной и душем. Гостиная — она же и столовая с камином в дальнем конце — была обшита мореной сосной; у ее боковой стены за стеклом стояли ружья. В открытую дверь на кухне я увидел

¹ Штат Техас, на гербе которого изображена звезда.

весь штат прислуги — солидных размеров темнолицую матрону и смешливую девицу. Наш хозяин встретил нас и помог внести чемоданы в дом.

Развлекательные мероприятия начались сразу. После ванны нам предложили шотландского виски с содовой, и мы выпили его с жадностью. Затем нас повели осматривать амбар через дорогу от дома и собачник, где сидели три пойнтера, один из них какой-то хворый. Оттуда все проследовали к загону и наблюдали, как хозяйская дочка объезжает весьма понятливого жеребчика, по имени Крутозад. Потом нам показали две новые запруды, за которыми медленно прибывала вода, и у поилок, расположенных в разных местах ранчо, мы пообщались с только что приобретенным небольшим пополнением стада. Такое бурное времяпрепровождение совершенно нас утомило, и мы ушли в дом немного вздремнуть.

К нашему пробуждению с соседнего ранчо приехали друзья хозяев, они привезли с собой большую кастрюлю тушеной говядины с фасолью под острым соусом, приготовленной по старинному домашнему рецепту, и должен сказать, что более вкусного мяса по-чилийски я в жизни своей не едал. Потом начали съезжаться другие богачи, маскирующие свой имущественный статус выцветшими джинсами и сапогами для верховой езды. Опять подали виски, завязалась оживленная, то и дело прерываемая взрывами смеха беседа об охоте, лошадиных скачках и о всяких скотоводческих делах. Я устроился на диванчике у подоконника и, глядя в вечерние сумерки за окном, видел, как дикие индюшки сходятся на ночлег к тополям. Они неуклюже взлетали на ветки, рассаживались там кто где и вдруг как бы сливались с деревьями, и будто нет их. Я насчитал штук тридцать таких ночлежников.

Когда совсем стемнело, оконное стекло превратилось в зеркало, и я мог незаметно наблюдать за моим хозяином и его гостями. Они сидели в этой небольшой, обшитой панелями комнате кто в креслах, кто в качалке, три дамы — на диване. И изощренность всей этой показухи тогда особенно бросилась мне в глаза. Одна из женщин вязала свитер, другая решала кроссворд, постукивая по зубам резинкой на кончике желтого карандаша. Мужчины вели неторопливую беседу о травах, о воде и о том, что имярек купил в Англии призового быка и на самолете доставил его домой. На них были голубые джинсы, совершенно выцветшие и побелевшие по швам, какими вещи становятся только после частой стирки.

Но внимание к деталям на том не кончилось. Сапоги у всех были потертые изнутри и будто облезлые от солевого лошадиного пота, каблуки стоптанные. В расстегнутых воротах рубашек виднелась темно-красная линия загара на шее, а один из гостей, себя не пожалев, сломал указательный палец, и теперь на этом пальце у него был лубок, а поверх лубка намотана полоска лайковой кожи, отрезанная от перчатки. Наш хозяин не счел за труд собственноручно обслуживать своих гостей у некоего подобия бара, где стояли две бутылки виски, кварталы содовой, тазик со льдом и ящик лимонада.

Деньгами тут так и разило. Хозяйская дочь, например, сидела на полу, чистила охотничье ружье и весьма непринужденно, не боясь непристойностей, рассказывала, как ее жеребец Крутозад перемахнул через высокую калитку загона и нанес визит одной кобыле в соседнем округе. Она считала себя вправе претендовать на жеребенка, учитывая родословную ее Крутозада. Это подтверждало все, что мы слышали о легендарных тexasских миллионерах.

Мне вспомнилось, как я красил однажды комнату в домике, который мой отец построил в Пасифик-Гроув еще до моего рождения. Рядом со мной работал нанятый подручный, и, поскольку у нас с ним не было опыта в малярном деле, оба мы порядком перемазались. Посреди работы стало ясно, что материала нам не хватит. Я сказал:

— Билл, сбегай к Холмену, возьми у него полгаллона краски и кварту растворителя.

— Тогда помыться надо и переодеться,— сказал он.

— Еще чего! Сойдет и так.

— Нет, не сойдет.

— Это еще почему? А я бы и так сбегал.

И тогда он изрек мудрую и навсегда запомнившуюся мне сентенцию:

— Надо быть богачом, чтобы ходить в такой трапезе.

Это не смешно. Это верно. И это всецело относилось к тому, как нас принимали в Техасе. Какими же несметными богатствами надо обладать, чтобы позволить себе столь скромный образ жизни!

Мы с женой отправились погулять, обошли небольшой пруд с форелью, поднялись на горку. Было прохладно, и ветер дул с севера по-зимнему. Нам хотелось послушать лягушек, а они, видно, уже закопались в тину, на зиму глядя. Но вместе с ветром до нас донесся вой койота, и мы слышали, как где-то мычала корова, тоскуя по не-

давно отнятому у нее детенышу. Пойнтеры подбежали к проволочной сетке собачника, чихая от восторга и извиваясь всем телом, точно игривые змеи, и даже тот, хворый, вылез из своей конуры и удостоил нас кривой улыбкой. Потом мы постояли в высоких воротах огромного амбара, вдыхая сладостный аромат люцерны и хлебный дух ячменного солода. Лошади зафыркали при виде нас и стали тереться головой о перекладины загона, а Крутозад лягнул одного своего дружка мерина, просто так, чтобы попрактиковаться лишний раз. В тот вечер летали совы, уханьем вспугивая добычу, и где-то вдали ритмично покрикивал козодой. Как мне хотелось, чтобы наш Чарли-Дарли-Куцый-Хвост был сейчас с нами. Такой вечерок пришелся бы ему по вкусу. Но он лечил свою представительную в Амарильо и, должно быть, спал под действием снотворного. Студеный северный ветер трепал голые тополя ветки. Я понял, что зима, которая все время тащилась за мной по пятам, наконец-то настигла меня. Где-то в нашем недавнем зоологическом прошлом (в моем-то во всяком случае) зимняя спячка была, вероятно, неизбежным фактором существования. Иначе почему это от холодного ночного воздуха меня так клонит ко сну? Всегда клонило, а в тот вечер особенно, и мы вернулись в дом, где тени прошлого уже разошлись на покой, и тоже легли спать.

Проснулся я рано. Мне еще с вечера запомнилось, что снаружи, у оконной сетки, стоят две удочки для ловли форелей. Скользя по заиндеветавшей траве, я спустился к темному пруду. На леске была готовая наживка — большая черная муха, правда несколько потрепанная, но все еще мохнатенькая. И как только она коснулась воды, вокруг нее все закипело, забурлило. Я вытащил десятидюймовую радужную форель, с размаху шлепнул ее на траву и оглушил ударом по голове. Всего я закидывал удочку четыре раза и поймал четырех форелей. Тут же на берегу я их выпотрошил, а кишочки бросил в воду — пусть их дружки полакомятся.

На кухне повариха угостила меня кофе, и я сел с чашкой в оконной нише, а она тем временем обваляла моих рыбок в кукурузной муке, поджарила их на беконном сале и подала мне прикрытыми сверху ломтиками бекона, такого хрусткого, что он буквально таял у меня во рту. Давно уже я не ел такой форели — пять минут от воды до сковородки. Рыбку деликатно берешь пальцами за голову и за хвост и обкусываешь с хребтинки, а напоследок

съедаешь и самый хвостик, хрустящий, точно жареный картофель. Холодным утром у кофе совсем особый вкус, и третья чашка так же хороша, как и первая. Я бы еще долго проторчал там, на кухне, беседуя с прислугой о том о сем, вернее, ни о чем, но повариха выставила меня, потому что ей надо было фаршировать двух индеек к кутежу по случаю Дня благодарения.

В полдень, когда солнце стало пригревать, мы пошли поохотиться на перепелов, и я вооружился своей старенькой винтовкой с отшлифованным до блеска прикладом и нарезным стволом, которая путешествовала со мной в Росинанте. Купил я эту винтовку по случаю пятнадцать лет назад, она и тогда была не бог весть какое сокровище, а с тех пор и вовсе не похорошела. Но, по-моему, шансы у нас с ней были равные. Если я не промажу, она свое дело сделает. Впрочем, перед самым выходом я с воодушевлением посмотрел сквозь стеклянную дверцу на двустволку «луиджи-франчи» с великолепным затвором и сразу почувствовал зависть. Резьба на ней отливала жемчужной дымкой, как на дамасском клинке, ложе примыкало к затвору, а затвор к стволам, точно они произросли все вместе из какого-то волшебного семечка. Я уверен, что если бы наш хозяин перехватил мой завистливый взгляд, он одолжил бы мне эту красавицу, но просить его я не стал. А вдруг споткнешься и упадешь, или уронишь ее, или стукнешь этими дивными стволами о камень? Нет, это все равно что идти с коронными драгоценностями по заминированному полю. Моим стареньким ружьем особенно не похвалишься, но по крайней мере все, что могло с ним случиться, уже случилось, и теперь за него можно не беспокоиться.

Всю последнюю неделю наш хозяин выслеживал, где перепела собираются стайками. Мы растянулись цепочкой и двинулись сквозь кустарник и заросли травы, спустились к ручью, перешли его вброд, снова поднялись, а впереди нас работали пойнтеры, упругие, как пружинная сталь, причем всем им, а заодно и нам, давала фору старая разжиревшая сука с огнем в глазах, по кличке Герцогиня. Перепелиные следы виднелись всюду — и в пыли, и на песке, и в тине у воды, перепелиная подпушка попадалась на сухих кисточках полыни. Мы шли мило за милей, медленно, держа ружья наготове, чтобы сразу палить на шорох перепелиных крыльев. И за все это время не увидели ни одного перепела. И собаки не увидели и не учуяли ни одного перепела. Мы рассказывали друг другу разные

были и небылицы о перепелиной охоте, но толку от этого было мало. Перепела сгнули, прямо-таки сгнули. Я не бог весть какой стрелок, но рядом со мной шли настоящие охотники, собаки были на высоте, натасканные, горячие, работающие. Нет и нет дичи! Но всякая охота тем и хороша — даже если ни пуха, ни пера, все равно не каешься, что пошел.

Наш хозяин думал, что у меня сердце разрывается на части. Он сказал:

— Слушайте. Пойдите сегодня после обеда с другой вашей винтовкой и подстрелите себе дикую индюшку.

— А сколько их у вас? — спросил я.

— Два года назад я завез сюда тридцать штук. А теперь, наверно, около восьмидесяти.

— Они летали вчера около дома, и я насчитал штук тридцать.

— Таких стай еще две, — сказал он.

Индюшка была мне не нужна. Что я буду с ней делать в Росинанте? Я сказал:

— Подождем еще годик. Расплодятся до сотни, я приеду, вот тогда и поохотимся.

Мы вернулись домой, приняли душ, побрились и по случаю Дня благодарения надели белые рубашки с галстуками и пиджаки. Кутеж начался точно по расписанию — в два часа. На подробностях задерживаться не стоит, чтобы не шокировать читателей, а кроме того, я совсем не вижу необходимости выставлять на посмешище этих людей. После двух хороших порций виски подали подрумяненных и будто глазированных индеек. Разрезал их сам хозяин, а мы разложили куски по тарелкам. Прочли молитву, выпили за здоровье всех присутствующих и наелись до умопомрачения. Затем, подобно римлянам времен упадка, пировавшим у Петрония, отправились прогуляться, а потом спать, что было необходимо и неизбежно. Вот так мы кутили в День благодарения в Техасе.

Я, конечно, не думаю, что техасцы проводят так все свои дни. Это просто немыслимо. А ведь нечто подобное происходит, когда они приезжают к нам в Нью-Йорк. Им, конечно, хочется повидать разные театральные зрелища и побывать в ночных клубах. И через несколько дней, проведенных в подобных развлечениях, они говорят: «Не понимаем! Как можно вести такой образ жизни!». На что следует ответ: «А мы и не ведем. И не будем вести, когда вы уедете».

И вот, после того как я выставил на всеобщее обозрение упаднические повадки богатых техасцев из числа моих знакомых, у меня полегчало на душе. Но я, конечно, и думать не думаю, что они каждый день едят жареных индеек и мясо по-чилийски.

Составляя в основных чертах план своего путешествия, я включил в него некоторые вопросы, на которые требовалось получить точные ответы. По-моему, они были вполне разрешимы. Собственно, все их можно было объединить одним-единственным вопросом: «Что собой представляют современные американцы?»

В Европе все берутся описывать теперешних американцев и любят это занятие. Их особенности доподлинно известны каждому. И у нас такая игра тоже в большом ходу. Сколько раз мне приходилось слышать, как мои соотечественники, совершив трехнедельный тур по Европе, с полной уверенностью в безошибочности своих суждений характеризуют французов, англичан, итальянцев, немцев, а уж русских-то и подавно. Я в своих разъездах быстро научился отличать отдельного американца от американцев вообще. Они так далеко отстоят друг от друга, что их можно счесть полной противоположностью. Мне часто приходилось слышать, как европейцы отзывались об американцах с враждебностью и презрением, а потом утешали меня: «Вы, конечно, не в счет. Мы говорим о тех, о других». Если убрать из этих высказываний все лишнее, то останется вот что: американцы, англичане — это безлика, неведомая нам масса, но отдельный француз или итальянец — твой хороший знакомый, твой друг. У него нет тех черт характера, к которым ты, по невежеству своему, питаешь ненависть.

Я всегда расценивал это как своего рода семантическую ловушку, но, поездив по стране, усомнился в своей оценке. Отдельные американцы — те, с кем я встречался и с кем говорил, действительно обладали каждый своей индивидуальностью, каждый чем-то отличался от всех прочих, но постепенно мне становилось ясно, что американцы как тип существуют, что им свойственны общие черты характера независимо от их местожительства, от их социального и экономического статуса, от их образования, религиозных и политических убеждений. Но если действительно существует обобщенный образ американца и в основе его лежит правда, а не отражение чьих-то враждеб-

ных чувств и предвзятостей, то каков он, этот образ? Что он собой представляет? Из чего состоит? Если одна и та же песня, одна и та же шутка, одно и то же поветрие моды мгновенно облетают все уголки нашей страны, значит, в чем-то американцы сходны между собой. А тот факт, что та же самая шутка, та же самая мода не имеет успеха ни во Франции, ни в Англии, ни в Италии, только подтверждает этот вывод. Но чем больше я думал над обобщенным образом американца, тем сильнее брало меня сомнение. Уж слишком много возникало тут всяческих парадоксальностей, а я по опыту знаю, что если парадоксы пойдут выскакивать один за другим, следовательно, какие-то величины в уравнении отсутствуют.

Я проехал целую галактику штатов, таких разных, своеобразных, повидал мириады, сонмы людей, а дальше на моем пути лежал наш Юг, который мне предстояло увидеть и услышать. Это было страшно, но неизбежно. Стдания, жестокость не обладают для меня притягательной силой. Я не смотрю на несчастные случаи, если ничем не могу помочь, не глазею на уличные драки ради сильных ощущений. Встреча с Югом пугала меня. Я знал, что там будет все: стдания, и растерянность, и маниакальный психоз — результат смятения и страха. А поскольку Юг — это часть тела нашей нации, его стдания отдаются во всей Америке.

Мне, как и каждому из нас, была известна близкая к истине, но не исчерпывающая формулировка проблемы Юга: первородный грех отцов падает на детей последующих поколений. У меня есть друзья на Юге и среди негров и среди белых, многие из них — люди высокого ума и высоких моральных качеств, но сколько раз бывало, что лишь только речь у нас зайдет даже не о самой этой проблеме, а о чем-нибудь отдаленно касающемся ее, друзья мои уходили в ту зону опыта, куда, как я видел и чувствовал, мне доступа нет.

Может быть, из всех так называемых северян я больше чем кто-либо лишен возможности постичь эту трагедию — не потому, что у меня, у белого, не было опыта в общении с неграми, а именно вследствие того особого опыта, который дала мне жизнь.

В Салинасе, в Калифорнии, где я родился, рос и ходил в школу, набираясь впечатлений, которые и создали меня таким, какой я есть, жила всего одна негритянская семья, по фамилии Купер. Муж и жена появились в нашем городе еще до моего рождения, и у них было трое сыно-

вей — один чуть постарше меня, второй моих лет, а третий на год младше, так что и в начальной и средней школе один Купер всегда учился классом выше, один со мной и один классом ниже. Короче говоря, Куперы захватывали меня в клещи. Отец семейства, которого все звали «мистер Купер», держал небольшой извоз, вел дела умело и хорошо зарабатывал. У его жены, женщины сердечной, ласковой, всегда находились для нас имбирные пряники, стоило только потормозить ее как следует.

Если в Салинасе и были расовые предрассудки, то я о них понятия не имел. Куперов все уважали, а в их самоуважении не чувствовалось никакой нарочитости. Старший сын, Улисс, рослый, спокойный юноша, был одним из лучших прыгунов, каких только знал наш город. Помню грациозность движений его поджарого тела в спортивном костюме, помню, как я завидовал идеальному расчету и безошибочности его прыжка с шестом. Он умер за год до окончания средней школы. Меня в числе других выбрали нести его гроб, и, признаюсь, я, грешный, возгордился оказанной мне честью. Средний сын, Игнейшиус, мой одноклассник, не внушал мне особых симпатий, как я теперь понимаю, ибо он был первый ученик в классе. По арифметике, а в дальнейшем и по математике Игнейшиус Купер был сильнее всех, а по латыни шел первым без всяких шпаргалок. Кто же таких любит в школе? Меньшой Купер — самый младший в семье — так и сиял улыбками. Странно, что я не помню, как его звали. Он с молодых ногтей увлекался музыкой, а когда я его видел в последний раз, уже сочинял сам, и его вещи показались мне, не такому уж невежде в музыке, очень смелыми, самобытными и красивыми. Но дело не в одаренности этих ребят, а в том, что я дружил с ними.

Так вот, это были единственные негры, которых я знал в годы моего детства, проведенного на одном месте, точно на мушиной липучке, и судите сами, как мало я был подготовлен к вступлению в большой мир. Когда мне пришлось услышать, например, что негры низшая раса, я расценил это утверждение как результат плохой осведомленности. Когда мне пришлось услышать, что негры грязнули, я вспомнил сверкавшую чистотой кухню миссис Купер. Бездельники? Стук лошадиных копыт и скрип колес подводы мистера Купера, доносившиеся с улицы, будили нас чуть свет. Нечестные? Мистер Купер был один из весьма немногих граждан Салинаса, которые платили по счетам не позднее пятнадцатого числа каждого месяца.

Но было в Куперах, как я теперь понимаю, еще нечто такое, что выделяло их среди других негров, с которыми мне приходилось сталкиваться в дальнейшем. Их никто не обижал и не оскорблял, и потому им не было нужды обороняться и держать кулаки наготове. Их чувство собственного достоинства никто не ущемлял, и потому им не надо было проявлять заносчивость, а так как куперовских мальчиков никто не называл существами низшей расы, они могли расти и развиваться умственно в полную меру своих способностей.

Вот чем ограничивалось мое знакомство с негритянской проблемой до тех пор, пока я не стал взрослым, пожалуй, слишком взрослым для того, чтобы ломать негибкие навыки детских лет. О, с тех пор мне многое пришлось повидать — повидать и почувствовать, насколько сокрушительны волны насилия, безнадежности и смятения. Мне пришлось повидать негритянских детей, действительно неспособных к учению, и большей частью это были те ребяташки, кому в самом нежном возрасте внушали, что они существа низшей расы. И при воспоминании о Куперах и о нашем отношении к ним во мне из всех эмоций, пожалуй, сильнее всего говорит чувство горечи, оттого что завеса страха и злобы отделяет нас — белых и негров — друг от друга. А сейчас меня позабавила вот такая мысль: если бы кто-нибудь из того, чуждого нам мира, кто-нибудь более смекалистый и более искушенный в житейских делах, спросил бы нас тогда в Салинасе: «А вы хотели бы, чтобы ваша сестра вышла замуж за какого-нибудь Купера?» — мы, наверно, покатались бы со смеху. Ибо нам, пожалуй, пришло бы в голову, что дружба дружбой, а жениться на наших сестрах Куперы, может, и сами не пожелают.

Вот и выходит, что я совершенно не способен примкнуть ни к той, ни к другой стороне в расовом конфликте. Правда, когда жестокость и сила ополчаются на слабого, меня охватывает бешенство, но так со мной бывает при столкновении между любым слабым и любым сильным.

Как расист я критики не выдерживаю, но и помимо этого мое пребывание на Юге вряд ли пришлось бы кому-нибудь по вкусу. Когда люди не имеют причин гордиться своими деяниями, они предпочитают обходиться без свидетелей. Да и вообще им кажется, что в свидетелях вся и беда.

В своих рассуждениях о Юге я здесь имел в виду главным образом те силы зла, которые развязала борьба

против сегрегации в таких ее формах, как посылка детей в школы для белых, требования негритянской молодежи, чтобы ей предоставили сомнительную привилегию ходить в рестораны, ездить в автобусах, пользоваться уборными наравне с белыми. Но меня больше всего интересуют школьные дела, так как я считаю, что язва, съедающая наше общество, исчезнет лишь тогда, когда у нас будут миллионы Куперов.

Не так давно один южанин, мой близкий друг, со страстью проповедовал мне теорию: «Права равные, но пользоваться ими врозь».

— Представь себе,— говорил он,— у нас в городе три новые негритянские школы, и они не только на одном уровне со школами для белых, они гораздо лучше! Казалось бы, на этом можно успокоиться. А уборные на автобусных станциях одинаковые что для них, что для нас. Ну что ты на это скажешь?

Я ответил:

— Может быть, всему виной неосведомленность? Поменяйтесь с ними школами и уборными, и тогда эта проблема сама собой разрешится. Как только им станет ясно, что ваши школы хуже, они поймут свои заблуждения.

И знаете, что он мне сказал на это? Он сказал:

— Ах ты бунтовщик, сукин ты сын!

Но это было сказано с улыбкой.

В самом конце 1960 года, пока я еще ехал по Техасу, со страниц газет не сходили фото и статьи, посвященные зачислению в одну новоорлеанскую школу двух маленьких негритянских девочек. За спиной у этих крохотных чернушек стояли величие Закона и власть Закона, который можно утвердить силой. Чаша весов и меч были на стороне детей, а путь им преграждали триста лет страха, злобы и боязни перемен в нашем меняющемся мире. Каждый день я видел в газетах снимки, на экранах телевизоров — кинорепортаж, и все об одном и том же. Этот сюжет прельщал газетчиков тем, что у здания школы по утрам собиралась компания дородных пожилых женщин (как это ни странно, именуемых в прессе «матерями»), которые встречали маленьких школьниц отборной руганью. Мало-помалу среди них выделилось несколько дамочек, настолько понаторевших в такого рода занятия, что их прозвали «заводилами», и на представления «заводил» ежедневно собиралась толпа, не жалевавшая им аплодисментов.

Эта странная драма казалась мне настолько неправдоподобной, что я решил сам посмотреть, что там происходит. Так нас обычно тянет поглазеть на какой-нибудь аттракцион, вроде теленка о пяти ногах или двухголового зародыша — словом, на всякое отклонение от нормы, и мы охотно платим деньги за это, может быть желая убедиться, что у нас-то самих ровно столько голов и ног, сколько человеку положено. От новоорлеанского спектакля я ждал развлечения, как от всякой курьезной аномалии, и вместе с тем ужасался, что такое может быть.

К этому времени зима, которая следовала за мной по пятам со дня моего отъезда из дому, вдруг подула сильным северным ветром. Пошел дождь со снегом, крупа, шоссе подмерзло, потемнело. Я забрал Чарли от хорошего ветеринара. Пес выглядел вдвое моложе своих лет, чувствовал себя прекрасно и в доказательство этого носился кругами, прыгал, катался по земле, хохотал и таял, полный радости бытия. Хорошо было, что он снова со мной, сидит такой пряменький рядом в кабине, смотрит сквозь стекло на развертывающуюся перед нами дорогу или свернется клубочком и спит, положив голову мне на колени, так что можно мять пальцами его смешные уши. Этот пес ухитряется спать невзирая на ласку, если соблюдаешь в ней благоразумие.

Теперь мы кончили бить баклуши, стали на колеса и покатали дальше. На обледенелом шоссе давать большую скорость было нельзя, но мы ехали, не щадя себя, почти не глядя на Техас, мелькавший по сторонам. А тянулся он мучительно долго — Суитутер, Баллинджер и Остин. Хьюстон мы объехали стороной. Останавливались за горючим, за чашкой кофе с куском пирога. На заправочных станциях Чарли получал еду, прогуливался. Ночь не задерживала нас, но когда глаза мне начинало жечь и ломить от напряжения, а плечи превращались в бугры боли, я сворачивал с шоссе на обгонный путь и забирался, как крот, в свою постель, но все равно и с закрытыми глазами видел перед собой извивающуюся дорогу. Поспать мне удавалось каких-нибудь два часа, а потом снова в студеную ночь и снова гнать все дальше и дальше. Вода в придорожных канавах была замерзшая, а встречные пешеходы накручивали на головы шарфы и высоко поднимали воротники свитеров, чтобы не отморозить уши.

Раньше, бывало, я приезжал в Бомонт, обливаясь потом, и вождественно мечтал о льде и кондиционированном

воздухе. На этот раз Бомонт, несмотря на сверкание неоновых реклам, был весь какой-то скрюченный от холода. Я проехал его вечером, вернее, далеко за полночь. Человек, который посиневшими пальцами наливал мне бензину в бак, посмотрел на Чарли и сказал:

— Эх, да это собака! А я думал, у вас там черномордый сидит.— И радостно захохотал.

Это было только начало. Потом то же самое мне пришлось услышать по меньшей мере раз двадцать. «Я думал, у вас там черномордый сидит».

Такая шутка была для меня внове и не теряла своей свежести от повторения. И хоть бы раз «негр» или даже «негритос» — нет! только так: «черномордый». Этому слову, как заклинанию, придавался чрезвычайный смысл, за него цеплялись, будто оно могло сохранить какое-то сооружение от обвала.

А потом я въехал в Луизиану и в темноте прокатил мимо Лейк-Чарльза, но огни моих фар по-прежнему поблескивали на льду и высвечивали иней, а люди — те, что всегда тянутся по ночам вдоль дорог, — были до глаз закутаны во все теплое. Я с ходу взял Лафайетт и Моргансити и на рассвете въехал в Хуму — по воспоминаниям одно из самых приятных для меня мест на всем земном шаре. Там живет мой старый друг доктор Сент-Мартин — милейший, ученейший человек, француз родом из Новой Шотландии, который принимает младенцев и лечит расстройство желудка у всех своих земляков на несколько миль в округности. По-моему, он знает этих выходцев из Канады так, как никто другой. Но сейчас я вспомнил с грустью иные таланты доктора Сент-Мартина. Он умеет делать самый лучший в мире и самый тонкий по вкусу коктейль мартини, и процесс приготовления этого напитка граничит с волшебством. Я знаю из докторского рецепта только то, что лед должен быть из дистиллированной воды, и для верности доктор дистиллирует ее собственноручно. Я едал дикуую утку у него за столом — сначала два мартини Сент-Мартина, потом крылышко дикой утки, а к ней бургундское, которое так бережно льют из бутылки, точно принимают младенца на свет божий, и все это в полутьме дома, где ставни закрыли на рассвете, чтобы комнаты подольше хранили ночную прохладу. Я помню, как за этим столом, где серебро отсвечивает мягко, тускло, будто олово, поднимался бокал со священной кровью виноградной лозы и ножку его ласкали сильные пальцы доктора — пальцы художника, и у меня до сих пор стоит

в ушах милый тост и радушное приветствие на певучем языке Новой Шотландии, который раньше был французским, а теперь стал самим собой. Эта картина заслонила мне запотевшее ветровое стекло, и если бы на улицах Хумы было сильное движение, такой водитель за рулем представлял бы собой опасность. Но над городом занимался палевый морозный рассвет, и я знал, что стоит мне заехать к доктору, только чтобы засвидетельствовать свое почтение, волю мою и твердость принятых мною решений унесут прочь те соблазны, которые выставит на стол доктор Сент-Мартин, и мы с ним будем толковать о вечных материях и этот день и весь следующий, с утра и до вечера. Поэтому я ограничился поклоном в том направлении, где живет мой друг, и рванул дальше, к Новому Орлеану, так как мне хотелось поспеть к спектаклю при участии «заводил».

Даже я знаю, что туда, где беспокойно, не рекомендуется соваться с машиной, особенно с такой, как мой Росинант с его нью-йоркским номерным знаком. Только накануне там поколотили одного репортера, а фотокамеру его разбили вдребезги, ибо даже самые политически активные наши граждане не стремятся предавать огласке и сохранять для потомства исторические моменты своей жизни.

Я выбрал стоянку на окраине Нового Орлеана. К окошечку кабины подошел механик гаража.

— Вот так история, доложу я вам! Я думал, у вас черномордый сидит. А это собака! Вижу, мурло темное, ну, думаю, это черномордый.

— Когда он чистый, лицо у него серо-голубое,— холодно проговорил я.

— А они тоже бывают серо-голубые, только не от чистоты. Ах, из Нью-Йорка!

Мне почудилось, что холод эдаким утренним ветерком проступил в его голосе.

— Проездом,— сказал я.— Машину поставлю часа на два. Такси мне не вызовете?

— Поспорим? Об заклад бьюсь, что вы собираетесь посмотреть на наших заводил.

— Правильно.

— Ну что ж, будем надеяться, вы не из газеты из какой-нибудь и смутьянить тут не станете.

— Просто хочу посмотреть.

— Н-да, доложу я вам! Посмотреть есть на что. Наши заводилы кое-чего стоят. Как начнут, так, доложу я вам, больше нигде такого не услышишь.

Я запер Чарли в кузове, предварительно удостоив механика экскурсией по всему Росинанту, стаканом виски и долларом.

— Только будьте осторожнее, когда я уйду. Не открывайте дверцу,— сказал я.— Чарли очень серьезно относится к своим обязанностям. Не остаться бы вам без руки.

Это была наглая ложь, но механик сказал:

— Слушаю, сэр. Не беспокойтесь, я с чужими собаками не балуюсь.

Шофер такси, болезненно желтый, весь какой-то сморщенный от мороза, точно мелкий горошек, сказал мне:

— Я туда ближе чем на два квартала не подвезу. Не желаю, чтобы мою машину изуродовали.

— Разве ожидается что-нибудь?

— Ожидается или нет — не знаю. Все может быть.

— Когда там самый разгар?

Он посмотрел на часы.

— Сегодня, правда, холодно, а так они чуть свет там собираются. Сейчас без четверти. В самый раз попадешь. Если только они холода не побоятся.

В целях маскировки я надел старую синюю куртку и свою английскую капитанку, рассчитывая, что как в ресторане никто не приглядывается к лакеям, так и в портовом городе на моряка особенного внимания не обратят. Там, где моряку положено шататься, он безлик, и в обдуманном образе действий его не заподозришь: самое большее — напьется или угодит куда следует за драку. Таково, во всяком случае, общепринятое мнение относительно моряков. Я это дело проверил на себе. Что может случиться? Самое худшее — услышишь вдруг начальственно-ласковый голос: «А почему вы не на судне, матрос? Заберут в каталажку, застрянете на берегу. Что хорошего-то, а, матрос?» И через пять минут этот блюститель вас и не узнает. Единорог и лев у меня на околыше только увеличивали мою анонимность. Но тех, кто захочет проверить эту теорию на практике, предупреждаю: такие фортели можно проделывать только в портовых городах.

— Ты откуда? — спросил шофер совершенно без всякого интереса.

— Из Ливерпуля.

— А, цинготник! Ну, это еще ничего. Вся смута от нью-йоркских евреев идет, пропади они пропадом.

У меня вдруг появился акцент, хоть и английский, но не имеющий никакого отношения к Ливерпулю.

— Что? Евреи? Какая же от них смута?

— Мы, друг любезный, сами знаем, как с этим управляться. Все довольны, везде мир и лад. Да я даже люблю черномордых. А нью-йоркские евреи, будь они прокляты, приезжают сюда и мутят их. Сидели бы у себя в Нью-Йорке, и ничего бы такого не было. В расход их надо выводить.

— То есть линчевать?

— Вот именно.

Он высадил меня на углу, и дальше я пошел пешком.

— Ты близко-то не лезь,— крикнул он мне вслед.— Издали тоже потеха, а соваться в самую гущу нечего.

— ...спасибо,— сказал я, убив в зародыше слово «большое», невольно просившееся на язык.

Подходя к школе, я очутился в людском потоке — все белые и все идут туда же, куда и я. Люди шагали деловито, точно на пожар, который уже давно занялся, на ходу похлопывали руками по бедрам или совали их за борт куртки, и у многих под шляпами были повязаны шарфы, закрывающие уши.

Через улицу напротив школы стояли деревянные загородки, чтобы сдерживать толпу, и полицейские прохаживались перед ними взад и вперед, не обращая внимания на шуточки, которые отпускались по их адресу. У дверей школы никого не было, однако вдоль тротуара, ближе к мостовой, на равном расстоянии друг от друга торчали федеральные приставы в штатском, но с повязками на рукавах для опознания. Револьверы, упрятанные благопристойности ради с глаз долой, оттопыривали им пиджаки, а глаза их нервно шныряли по сторонам, изучая лица в толпе. Мне показалось, что меня они тоже обшарили, проверяя, завсегда-та я или нет, и, вероятно, сочли чем-то не заслуживающим внимания.

Где стоят «заводилы», я догадался по тому, куда напирала толпа, стараясь подойти к ним поближе. Место у них было, видимо, облюбованное, постоянное — у деревянных загоронок, как раз напротив школьной двери, и там же поблизости полицейские топтались кучкой на тротуаре и похлопывали рука об руку в непривычных для них перчатках.

Меня вдруг сильно толкнули, и я услышал крики:

— Идет, идет! Пропустите ее... Назад давайте, назад. Пропустите ее. Где же ты была? Опаздываешь в школу. Где ты была, Нелли?

Звали ее как-то по-другому. Настоящее имя я забыл. Она протискивалась сквозь тесноту толпы совсем близко

от меня, и я успел рассмотреть, что на ней было пальто из нейлона под мех, в ушах — золотые серьги. Роста она была невысокого, но полная, с большим бюстом. Так лет под пятьдесят. Пудра лежала у нее на лице таким густым слоем, что по контрасту двойной подбородок казался совсем темным.

Женщина свирепо улыбалась и прокладывала себе путь сквозь бурлящую толпу, держа высоко над головой — чтобы не измять — пачку газетных вырезок. Рука с вырезками была левая, я посмотрел, есть ли на ней обручальное кольцо, и такового не обнаружил.

Я было пристроился следом за этой женщиной, рассчитывая, что меня понесет в ее кильватере, но началась давка, да к тому же мне было сказано предостерегающим тоном:

— Тише, моряк, тише. Думаешь, одному тебе хочется послушать?

Нелли встретили приветственными криками. Сколько их тут собралось, этих «заводил», я не знаю. Между ними и напиравшей сзади толпой демаркационной линии не было. Я только видел, что несколько женщин передают друг другу газетные вырезки и читают их вслух, подвывая от восторга.

Потом в толпе почувствовалось беспокойство, как в зрительном зале, когда вовремя не поднимают занавес. Мужчины, стоявшие вокруг меня, стали поглядывать на часы. Я тоже сверился со своими. До девяти не хватало трех минут.

Спектакль начался без задержки. Вой сирен. Полицейские на мотоциклах. Потом у школьного подъезда остановились два огромных черных автомобиля, набитые здоровенными мужчинами в светлых фетровых шляпах. В толпе будто перестали дышать. Здоровенные маршалы¹ вылезли из машин — четверо из каждой, и откуда-то из недр переднего автомобиля извлекли малюсенькую негритянскую девочку в белоснежном накрахмаленном платье и в новых белых туфельках, таких маленьких, что ступни ее казались почти круглыми. Белоснежное платье резко подчеркивало черноту лица и тоненьких ног малышки.

Здоровенные маршалы поставили ее на тротуар, и сразу по ту сторону деревянной загородки закричали, заулюлюкали. Маленькая девочка не смотрела на воющую тол-

¹ Государственные чиновники, назначаемые в некоторых американских городах для выполнения административных и судебных функций.

пу, но сбоку мне было видно, что белки у нее выступили из орбит, как у испуганного олененка. Маршалы повернули девочку кругом, точно куклу, и странная процессия двинулась по широкому тротуару к зданию школы — здоровенные маршалы и между ними ребенок, казавшийся совсем лилипутом от такого соседства. Малышка шла, шла и вдруг ни с того ни с сего подскочила, и, по-моему, я понял, в чем тут было дело. За всю свою жизнь эта девочка, вероятно, и десяти шагов не сделала без того, чтобы не подпрыгнуть, но сейчас первый же ее прыжок оборвался, словно под какой-то навалившейся на нее тяжестью, и маленькие круглые туфельки перешли на размеренный шаг, нехотя ступая между рослыми конвоирами. Процессия медленно поднялась по ступенькам и скрылась за школьными дверями.

В газетах писали, что издевательские выкрики и шуточки на этих спектаклях жестоки, а порой и непристойны, и так оно и оказалось, но главное было еще впереди. Толпа ждала, когда появится белый, осмелившийся отдать своего белого ребенка в эту школу. Наконец белый появился на тротуаре, охраняемом полицией, — высокий, в светло-сером костюме, и он вел за руку своего перепуганного сына. Отец был весь напряжен, как стальная пружина, натянутая до предела; лицо мрачное, серое, глаза смотрят вниз, под ноги, на скулах четко проступающие желваки. Человек, которому страшно, человек, который только усилием воли сдерживает свой страх, как искусный всадник, принуждающий пугливую лошадь к повиновению.

Послышался чей-то пронзительный, скрипучий голос. Кричали не хором. Женщины солировали по очереди, и после каждого такого соло толпа разражалась ревом, воем и одобрительным свистом. Затем они и пришли сюда, вот это им и хотелось видеть и слышать.

Ни одна из газет не приводила слов, которые выкрикивали женщины. Говорилось только, что они не совсем скромные, кое-где их даже называли непристойными. В телевизионных передачах этих «спектаклей» звуковую дорожку приглушали или же делали врезку из шума толпы. Но теперь я сам слышал эти слова, мерзкие, похабные — слова-выродки. За долгие годы моей жизни, отнюдь не изнеженной, я порядочно наслушался и насмотрелся блевотины, которую изрыгают дьяволы во образе человеческом. Почему же эти вопли так потрясли меня и вызвали во мне чувство гнетущей горечи?

Когда такие слова написаны, они грязны, они обдуманно, намеренно непристойны. Но здесь оказалось нечто худшее, чем грязь, это был страшный шабаш ведьм. Вспышек исступленной злобы, безудержной ярости я здесь не слышал.

Может быть, это и вызвало во мне томящее чувство тошноты. Не было тут ни определенного плана действий, ни какого-нибудь принципа — дурного или хорошего. Толстые бабы в маленьких шляпках и с газетными вырезками в руках всеми силами старались привлечь внимание к себе. Они хотели, чтобы ими восхищались. Они отвечали на аплодисменты блаженными улыбочками, почти невинными в своем простодушном торжестве. Бессмысленная, чисто ребяческая в своем эгоизме жестокость — вот что тут главенствовало, и это оголтелое скотство еще больше надрывало мне сердце. Это были не матери и даже не женщины, а одержимые актеры, играющие перед одержимыми зрителями.

Люди за деревянной загородкой ревели, кричали «гип-гип-ура!» и на радостях угощали друг друга тумачами. Нервничающие полицейские прохаживались взад и вперед, следя, как бы загородку не повалили. Их плотно сжатые губы то и дело расползались в улыбке, но они тут же сгоняли ее с лица. На противоположной стороне улицы неподвижно стояли маршалы правительства Соединенных Штатов Америки. Ноги человека в сером костюме вдруг заторопились, но он сдержал их усилием воли и зашагал дальше, к дверям школы.

Толпа замолчала; наступила очередь следующей солистки. Голос у этой был по-бычьему низкий, зычный, со взлетами на концах фраз, как у балаганного зазывалы. Вряд ли стоит приводить здесь ее словеса. Набор их был тот же самый, разница заключалась только в ритме речи и тембре голоса. Каждому, кто был когда-нибудь хоть мало-мальски причастен к театру, стало бы ясно, что эти речи весьма далеки от импровизации. Их составляют заранее, заучивают наизусть и тщательно репетируют. Это было театрализованное зрелище. Я следил за сосредоточенными лицами в толпе — так слушают только в театре. И аплодисментами здесь награждали за исполнение ролей.

Меня всего передергивало от томительного чувства тошноты, но я не позволял недомоганию ослепить себя, потому что было бы обидно попусту проделать такой длинный путь. И вдруг меня осенило: нет, тут что-то неладно, есть тут какой-то перекося, какая-то диспропорция.

Я знал Новый Орлеан, в этом городе у меня были давнишние друзья — люди мыслящие, сердечные, выросшие в добрых традициях. Я вспомнил гиганта Лайла Сэксона, вспомнил его негромкий смех. А сколько дней я провел с Руарком Брэдфордом, с тем, кто взял у Луизианы ее краски и звуки и сотворил Зеленые пастбища и Господа Бога, который ведет нас туда¹. Я стал искать похожие лица в толпе и не нашел ни одного. Те, что были здесь, мне тоже известны. Они воют, одержимые жаждой крови, на матчах по боксу, доходят до оргазма, когда бык поднимает матодора на рога, похотливо глазеют на автомобильную катастрофу, тупо выстаивают длинную очередь, лишь бы посмотреть на чьи-то муки, чью-то агонию. Но где же другие — те, кто с гордостью сказал бы: «Мы такие же, как этот человек в сером костюме»? Где же те, чьи руки рывком протянулись бы к испуганной черной девчурке?

Я не знаю, где они. Может быть, им, не меньше чем мне, мучительно чувствовать свою беспомощность? Как бы там ни было, но мир по их вине получит ложное представление о Новом Орлеане. Толпа теперь, должно быть, разбежится по домам смотреть самих себя по телевизору, и то, что они увидят на экранах, обойдет весь свет, а другой Новый Орлеан, который, как я знаю, существует, не скажет ни слова в свою защиту.

Спектакль окончился, и людская речка стала растекаться по улицам. Второй сеанс начнется, когда в школе прозвонит звонок с последнего урока и черная малышка снова предстанет перед своими хулителями. Я был в Новом Орлеане, городе, славном своими ресторанами. Я знаю их все, и во многих из них знают меня. Но появиться сейчас в «Галлатуаре» и заказать там омлет и шампанское было бы так же невозможно, как плясать на чьей-нибудь могиле. Одного того, что описываешь все это, вполне достаточно, чтобы снова почувствовать отчаянную, томительную тошноту. Я не собираюсь кого-нибудь позабавить своими описаниями. Меня самого это, во всяком случае, нисколько не забавляет.

Я купил дешевый сэндвич и выехал за город. Вскоре нашлось славное местечко, где можно было сидеть, жевать и, как того требовала моя душа, задумавшись, смотреть

¹ Р. Брэдфорд — современный американский писатель, автор книги рассказов «Старый Адам и его дети», по которой был поставлен спектакль «Зеленые пастбища».

на темного, медленно и величаво катящего свои волны Отца Вод¹. Чарли не захотел бегать и сел рядом со мной, плечом к моему колену, а так бывает, только когда я болею. Значит, мне и в самом деле нездоровилось от тоски.

Я совсем потерял счет времени, но вскоре после того, как солнце стало клониться к закату, на дороге появился какой-то человек, и мы с ним поздоровались. Он был хорошо одет, далеко не молод. Лицо — какие писал Эль Греко, со взвеянными ветром тонкими седыми волосами и полоской седых усов.

Я пригласил его посидеть со мной, он согласился. Тогда я пошел в свой домик, поставил кофейник на огонь и, вспомнив, какой кофе любил Руарк Брэдфорд, удвоил заварку: две столовые ложки верхом на каждую чашку и еще две верхом на кофейник. Потом разбил яйцо, желток отделил, а белок вместе со скорлупой пустил в кофейник, ибо это лучший способ придать блеск кофе, чтобы оно отсвечивало в струе. Было холодно, и ночь близилась холодная, так что мое варево, переходя все стадии от холодной воды до крутого кипятка, распространяло вокруг приятный запах, успешно соревнующийся со всеми прочими приятными запахами, какие только есть на свете.

Мой гость сидел такой довольный и грел руки о пластмассовую чашку.

— Судя по номерному знаку, вы нездешний,— сказал он.— Кто же вас научил варить кофе?

— Эту науку мне преподали давным-давно. В то время были на земле исполины,— ответил я.— Но по их рецепту зерна должны быть поджаристее, и еще не мешало бы чуточку цикория для пикантности.

— Да-а, все знаете,— сказал он.— Выходит, вы все-таки здешний. И диаволо сможете приготовить?

— Для гостей — пожалуйста. А вы сам новоорлеанец?

— У меня в роду несколько поколений новоорлеанцев. Но ручаться я могу только за тех, что на кладбище Сен-Луис под рубрикой «Здесь покоится...».

— Так, понятно. Значит, вы вот из каких — из коренных. Очень рад, что мы с вами встретились. Сен-Луис я знаю, когда-то даже коллекционировал тамошние элифании.

— Вот как, сэр! Тогда вы должны помнить ту — курьезную.

— Если это та самая, то я ее даже пытался выучить

¹ Так называют американцы реку Миссисипи.

наизусть. Начинается она... «Увы, увы! Ты наповал на небо...»

— Совершенно верно. Роберт Джон Крессуэл, скончался в 1845 году в возрасте 26 лет.

— Эх, жалко, забыл, как дальше.

— Клочок бумаги у вас найдется? Записывайте.

И когда я положил блокнот на колени, он сказал:

— «Увы увы ты наповал на небо вкусивши гадостей земных и водно часье ввысь воск парил от всех своих нуждежд а нам свою болонку пре под нос мол ах тяжка ты дуля в земной удоли смертного».

— Изумительно! — сказал я. — Такое мог сочинить Льюис Кэрролл¹. Я почти все понимаю.

— Это всем понятно. Вы путешествуете не по делам, а ради удовольствия?

— Так мне казалось до сегодняшнего дня. Я видел ваших «заводил».

— А-а,— сказал он, и какая-то тяжесть и тьма придавили его.

— Что же будет?

— Не знаю. Просто не знаю. Не решаюсь даже думать об этом. И почему мне надо об этом думать? Я старик. Пусть другие этим займутся.

— А конечная цель все-таки будет достигнута?

— Да, безусловно. Но средства, средства, которые к ней ведут! Впрочем, вы северянин. Вас это не касается.

— По-моему, это нас всех касается. Не суживайте проблему. Я налью вам еще чашку, и мы поговорим. Хорошо? У меня твердой позиции в этом вопросе нет. Вот я и хочу послушать.

— Ничего нового вы не услышите,— сказал он. — Эта проблема меняется в зависимости от того, кто вы, и откуда вы, и что вы чувствуете. Не думаете, а именно чувствуете. Вам не понравилось то, что вы видели?

— А вам нравится?

— Может быть, даже еще меньше, так как я знаю тяжкое прошлое этой проблемы и предвижу ее зловонное будущее. Простите за грубое слово, сэр, но другого не подберешь.

— Негры хотят стать людьми. Вы против этого?

— Что вы, сэр! Боже избави! Но для того, чтобы стать людьми, им придется воевать с теми, кому этого недостаточно.

¹ Английский математик и писатель (1832—1898), автор популярной сказки «Алиса в стране чудес» и др.

— Другими словами, негры малым не удовольствуются?

— Неужели вы бы удовольствовались на их месте? А кто удовольствуется?

— Вы бы хотели, чтобы они стали людьми?

— Да. Но понять это мне будет трудно. У меня слишком многие «здесь покоятся». Как бы вам объяснить? Ну, вот, допустим, ваша собака... она, кажется, очень умная.

— Да, очень.

— Допустим, ваш пес умеет говорить и стоять на задних лапах. Допустим, он и во всех прочих смыслах молодчина. И, может быть, вы пригласите его к обеду... Но увидеть в нем представителя людского племени... это как?

— То есть, что я скажу, если моя сестра выйдет за него замуж?

Он засмеялся.

— Я только стараюсь вам втолковать, насколько трудно человеку изменить свое отношение к вещам. И поверьте, неграм будет так же трудно смотреть по-другому на нас, как и нам на них. Да это не ново. Это дело давнее.

— Как бы там ни было, а такие темы лишают нашу беседу удовольствия, будто сливки с нее снимают.

— Совершенно справедливо, сэр. Я, вероятно, представляю собой то, что у вас именуется *мыслящим* южанином. Как видите, оскорбление я принимаю за комплимент. Так вот, мне, пребывающему в качестве такого новоиспеченного гибрида, видно на века вперед. В Африке и в Азии это уже начинается.

— Что — поглощение? Негры как таковые исчезнут?

— Если они превзойдут нас количеством, то исчезнем мы, а вернее всего, вместо них и вместо нас возникнет нечто новое.

— А тем временем?

— Вот это меня и страшит, сэр,— что будет тем временем. Древние отдавали любовь и войну в руки богов, близких друг другу. И это не случайно, сэр. Это говорит о глубоко знании человеческой натуры.

— Вы рассуждаете здраво.

— Те, кого вы сегодня видели, вовсе не рассуждают. Они, чего доброго, приведут одного из богов в состояние боевой готовности.

— Значит, вы думаете, что миром тут не кончится?

— Я не знаю! — воскликнул он. — И это хуже всего. Я просто ничего не знаю. Иной раз мне хочется поскорее воспользоваться своим законным правом на титул «здесь покоится...».

— Давайте поедem дальше вместе. Вы тоже путешествуете?

— Нет. У меня здесь небольшой участок, вон за той рощицей. Я частенько сюда наезжаю и живу подолгу. Все больше почитываю — стариков. Смотрю, люблюсь... тоже разной стариной. Таков мой способ бегства от вопросов, которые меня страшат.

— Все мы в некоторой степени от чего-нибудь убегаем. Он улыбнулся.

— Хозяйство у меня ведут двое негров — муж и жена, такие же старики, как и я. И иногда по вечерам мы все забываем. Они перестают завидовать мне, а я забываю, что могу вызывать зависть. И тогда мы — всего лишь три славных... существа. Живем друг подле друга и нюхаем цветочки.

— Существа, — повторил я. — Интересно... Не человек и скотина, не черные и белые, а славные существа. Моя жена рассказывала мне про одного древнего старичка, который жаловался: «В прежние времена у негров души не было. Оно и лучше и проще. А теперь совсем с толку собьешься».

— Вполне вероятно, хотя я таких времен не помню. По-моему, эту унаследованную нами вину мы можем разрезать на части, как именинный пирог, пусть всем достанется поровну, — сказал он и замолчал. Если бы не седые усы, вылитый «Святой Павел» Эль Греко с книгой в руках. — Мои предки, конечно, были рабовладельцами, но заши, наверно, ловили рабов и продавали их нам.

— Я из пуританского племени, а на них это очень похоже.

— Если силой принудить живое существо жить и работать, как скотина, надо и думать о нем, как о скотине, иначе, представив себя на его месте, вы просто сойдете с ума. Определите ему полочку в вашем сознании и тогда можете за свои чувства не беспокоиться. — Он перевел взгляд к реке, и на ветру его белые волосы встали дымком над головой. — Если в вашем сердце есть хоть капля добродетелей человеческих — отваги и способности гнаться, — тогда опасный зверь будет страшить вас и вам суждено всегда жить в страхе, потому что сердце ваше наделено еще умом, находчивостью и умением скрывать то и другое до поры до времени. Тогда вам остается только одно: подавить в негре эти человеческие добродетели и превратить его в покорную скотину. А если вы с колыбели внушите своему ребенку, что негр — скотина, он не будет мучиться вашими сомнениями.

— Мне говорили, будто в прежние времена добрый негр пел, плясал и был всем доволен.

— Да. А еще он бегал от своих хозяев. И довольно часто, судя по специальным законам о побегах.

— Вы не похожи на южанина. У нас на Севере представляют их несколько иначе.

— Может быть, и не похож. Но я не один такой.— Он встал и отряхнул брюки кончиками пальцев.— Да... не один. Ну а теперь я пойду к моим славным существам.

— Я не спросил вашего имени и сам не назвался.

— Здесь Покоится,— сказал он.— Мсье Здесь Покоится — семья у нас большая, фамилия самая распространенная.

Когда он ушел, что-то сладостное прильнуло ко мне, как музыка, если только музыка может ласкать кожу холодком.

Для меня этот день стал чем-то большим, чем просто день, и он не выдержал бы сравнения ни с какими другими днями моей жизни. Я чувствовал, что дальше ехать не следует, так как прошлую ночь спать мне пришлось мало. Я очень устал, но иной раз усталость может и посоветовать что-то и заставить действовать. Меня она заставила налить полный бак горючего и посоветовала остановиться и посадить в машину старого негра, который, тяжело волоча ноги, брел по кромке травы вдоль бетонированного шоссе. Он согласился неохотно, словно только потому, что не нашел в себе сил отказаться. Одежда на нем была мятая, поношенная, рабочая куртка засалилась от долгой носки. Его темное, кофейного цвета лицо бороздил перекрест тысячи мелких морщин, ободки нижних век были красные, как у ищейки. Он сложил на коленях руки, бугристые, узловатые, точно сучья вишневого дерева, и слился со спинкой сиденья, как бы вобрав в себя контуры тела, чтобы занимать поменьше места.

Он ни разу не посмотрел на меня. Ни на меня, ни по сторонам. Но спросил сразу же:

— Не укусит, капитан-сэр?

— Нет. Он добрый.

После долгого молчания я спросил:

— Как живется-то?

— Хорошо, очень хорошо, капитан-сэр.

— Ну а что вы скажете обо всех этих делах?

Он молчал.

— Я про школы, про сидячие забастовки.

— Я ничего не знаю, капитан-сэр.

— На ферме работаете?

— Да. Сбор хлопка, сэр.

— Ну и как, на жизнь хватает?

— Я живу хорошо, капитан-сэр.

Некоторое время мы ехали молча. Дорога шла берегом; тропическая трава и деревья были жухлые и печальные после свирепых заморозков. И я сказал, обращаясь больше к самому себе, чем к нему:

— В конце концов почему вы должны доверять мне? Вопрос — это западня, ответил — и угодил в нее ногой.

Мне вспомнился один случай — дело было в Нью-Йорке, и я вдруг решил рассказать ему об этом, но тут же раздумал, потому что увидел уголком глаза, как он отстранился от меня и прижался к дверце кабины. Однако воспоминание не хотело уходить.

Я жил тогда в маленьком кирпичном домике в Манхэттене и, будучи временно платежеспособным, держал слугу-негра. Через улицу, на углу, был бар и ресторан. Однажды зимой, в сумерках, я стоял у окна, глядя на улицу, и вдруг увидел, как из бара вышла пьяная женщина, поскользнулась на обледенелом тротуаре и упала навзничь. Она попыталась подняться, но снова упала и так и осталась лежать, пьяно выкрикивая что-то. В эту минуту негр, который служил у меня, показался из-за угла, увидел пьяную и, стараясь держаться от нее как можно дальше, тут же перебежал на другую сторону.

Когда он вошел ко мне, я сказал:

— Я видел, как ты смылся. А почему бы не помочь женщине?

— Да ведь она пьяная, сэр, а я негр. Если бы я только дотронулся до нее, начался бы крик — насилуют! Соберется толпа, и кто мне поверит?

— Быстро должна голова работать, чтобы так сразу смыться.

— Да нет, сэр,— сказал он.— Я уже давно эту науку прохожу — как быть негром.

И вот теперь, сидя в своем Росинанте, я, дурак-дураком, пытаюсь разрушить то, что было выработано всей жизнью.

— Больше ни о чем вас не буду спрашивать,— сказал я. Но он беспокойно заерзал на сиденье.

— Будьте любезны, капитан, высадите меня. Я тут неподалеку живу.

Я ссадил его и увидел в зеркало, что он снова побрел

вдоль шоссе. Жил он, конечно, совсем не в этих местах, но идти пешком было безопаснее, чем ехать со мной.

Усталость сморила меня, и я остановился в уютном мотеле. Кровати там были хорошие, но уснуть я так и не мог. Перед моими глазами мелькали физиономии «заводил» и человек в сером костюме, но чаще всего появлялся старик, отсеивший от меня как можно дальше, точно боясь заразиться, — а может, я и в самом деле был заразный. Я приехал сюда, чтобы узнать, что здесь происходит. И что же я узнал? За все эти дни была ли хоть одна минута, свободная от напряженности, от груза беспощадного страха? Я, как новичок в здешних местах, конечно, чувствовал все это острее, но и напряженность и страх были — не со мной же они сюда приехали. Все здесь, и белые и черные, жили в этом и этим дышали — все до одного, все возрасты, все профессии, все классы. Им некуда было деваться от того, что стало неизбежностью их жизни. И это повышало давление в котле до предела. Неужели же ничто не отвратит взрыва?

Я очень плохо представляю себе всю картину в целом. Во время второй мировой войны мне не так уж много пришлось всего повидать — одну десантную операцию из ста, несколько разрозненных боевых эпизодов, несколько тысяч убитых, когда их насчитывались миллионы. Но все же и увиденного и прочувствованного оказалось вполне достаточно, и я убедился, что война не осталась для меня незнакомкой. Так и здесь — какой-нибудь незначительный случай, две-три встречи... но дыхание страха чувствуешь повсюду. Мне хотелось уйти от всего этого. Позиция труса? Может быть. А еще трусливее отрицать свою трусость. Но ведь люди живут здесь. Для них такой образ жизни неизменен, другого они не знали и конца ему не ждут. Ист-эндские дети в Лондоне теряли сон, когда бомбежка прекращалась, нарушая привычный для них порядок вещей.

Я вертелся в постели с боку на бок, и под конец Чарли потерял терпение и несколько раз сердито сказал мне «фтт». Но у Чарли нет наших проблем. Он не той породы, которая настолько умна, что способна расщепить атом, но не способна жить в мире с себе подобными. Чарли даже не знает, что такое раса, и его совершенно не волнует вопрос о замужестве его сестер. Как раз наоборот. Однажды Чарли влюбился в таксу — роман с расовой точки зрения предосудительный, с физической — нелепый и с технической — немыслимый. Но Чарли презрел все это. Он любил пылко и не сдавал позиций. Трудно было бы объяснить

собаке те добрые, высокоморальные побуждения, повинуюсь которым тысячи человеческих существ сошлись в одно место, чтобы предать анафеме одного крохотного человечка. Мне случилось ловить во взгляде собак мимолетное недоуменное презрение, и я убежден, что, по сути-то дела, они считают людей психами.

На следующий день не я выбрал своего первого пассажира. Он сам ко мне напросился. Он сидел на табуретке рядом со мной и ел котлету, близнеца которой я держал на вилке. Ему было лет тридцать—тридцать пять. Высокий, худощавый, приятной внешности. Волосы длинные, гладкие, почти пепельного цвета, и он, видимо, гордился ими, так как, сам того не замечая, то и дело причесывал их карманным гребешком. Его костюм из легкой серой материи был по-дорожному помят и не отличался чистотой, пальто он держал переброшенным через плечо. Узел галстука неярких разводов был сдвинут у него вниз, что позволило открыть ворот белой рубашки. Такого чисто южного выговора я еще ни у кого не слышал. Он поинтересовался, куда я еду, и, узнав, что мне в сторону Джексона и Монтгомери, попросился со мной. При виде Чарли он решил, что у меня в машине сидит «черномордый». Эта фраза стала уже стереотипной.

Мы удобно устроились в кабине. Он провел по волосам гребешком и похвалил моего Росинанта.

— Я сразу догадался,— сообщил он мне,— что вы с Севера.

— У вас тонкий слух.— Казалось бы, мой ответ звучал иронически.

— Да, я человек бывалый,— подтвердил он.

Вероятно, в том, что произошло, мне надо винить самого себя. Если бы я держал язык за зубами, то, может, узнал бы что-нибудь интересное. Но бессонная ночь, затянувшееся путешествие и мое нервное состояние сделали свое дело. Кроме того, близилось Рождество, и я задумывался о доме чаще, чем это было мне полезно.

Мы выяснили, что я путешествую ради собственного удовольствия, а он — в поисках работы.

— Вы с низовья едете,— сказал он.— Видели, что творится в Новом Орлеане?

— Да, видел.

— Ну, молодчины! Особенно эта Нелли. Вот дает жизни!

— Да.

— Просто сердце радуется, на них глядя. Есть, значит, люди, которые выполняют свой долг.

Вот тут-то я и не выдержал. Мне бы хмыкнуть, и пусть он вкладывает в мое хмыканье любой смысл. Но коварный червячок злобы вдруг зашевелился у меня где-то в самом нутре.

— По-вашему, они делают это из чувства долга?

— А как же? И дай им бог здоровья! Должен же кто-то гнать этих черномордых поганцев из наших школ.— Готовность к самопожертвованию, подвигнувшая «заводил» на столь высокие деяния, переполнила его восторгом.— Приходит такое время, когда человеку надо сесть и как следует обо всем подумать, и вот подумаешь-подумаешь и решишь отдать жизнь за свои убеждения.

— И вы на это решились?

— Да. И не я один, таких много.

— Каковы же ваши убеждения?

— Не допущу, чтобы мои дети ходили в одну школу с черномордыми. Да, сэр. Жизни своей не пожалею, но сначала уложу десяток-другой этих поганцев.

— Сколько же у вас детей?

Он круто повернулся ко мне.

— Детей у меня пока нет, но будут, и не пойдут они в одну школу с черномордыми.

— А жизнь вы отдадите до или после того, как у вас заведутся дети?

Мне приходилось смотреть вперед, на дорогу, и я только краем глаза увидел его физиономию — выражение у нее, прямо скажу, было пренеприятное.

— А вы, видно, за черных! Так и следовало ожидать. Смутьяны! Приезжают сюда и учат нас жить. Нет, мистер, этот номерок вам не пройдет! Мы за коммунистами, за негритянскими заступничками, глядим в оба.

— Я просто нарисовал себе мысленно картину, как вы отважно жертвуете жизнью.

— Прав я был! Вы за черных горой.

— Нет, я не за черных и не за белых, если среди белых попадаются такие вот благородные дамочки, как ваши заводилы.

Он почти вплотную приблизил ко мне свое лицо.

— Хотите знать, что я о вас думаю?

— Нет. Этих словечек мы вчера от Нелли наслушались.— Я притормозил и свел Росинанта с шоссе.

Он опешил.

— Почему вы остановились?

— Вылезайте,— сказал я.

— Что вам, приспичило, что ли?

— Да, приспичило. Избавиться от вас. Вылезайте.

— Силой заставите?

Я сунул руку между дверцей и сиденьем, где у меня ничего не было.

— Ладно, ладно,— сказал он и вылез, да так хлопнул дверцей, что Чарли взвыл от возмущения.

Я тут же дал газ, но услышал сзади его крики и в зеркале увидел перекошенное ненавистью лицо и брызжущий слюной рот. Он орал: «Ты за черных! За черных!» — орал, пока мне его было видно и еще после. Бог знает сколько времени. Правда, я сам его довел, но что с собой поделаешь! Когда начнут вербовать миротворцев, меня пусть обходят стороной — от таких, как я, проку будет мало.

Между Джексоном и Монтгомери я подвез еще одного пассажира. Это был молодой студент-негр с резкими чертами лица, переполненный, как мне показалось, каким-то яростным нетерпением. В боковом кармане у него торчали три авторучки, внутренний оттопыривался, набитый бумагами. Я узнал, что он студент, от него самого. Он держался настороженно. Однако номерной знак и мое произношение подействовали на него успокаивающе, насколько он вообще мог пребывать в покое.

Мы заговорили о сидячих забастовках. Он участвовал и в них и в бойкоте автобусов. Я рассказал ему о том, что видел в Новом Орлеане. Он там бывал. То, что меня так поразило, для него не было неожиданностью.

Наконец мы заговорили о Мартине Лютере Кинге¹ и его проповеди пассивного, но неослабного сопротивления.

— Это слишком долго,— сказал он.— Сколько времени даром уйдет!

— Но улучшения есть, улучшения происходят непрерывно. Ганди доказывал, что только это оружие и может принести победу в борьбе с насилием.

— Знаю, знаю. Все это я учил. Успехи у нас по капле, а время идет и идет. Я хочу, чтобы было скорее, мне нужно действие... сейчас, сию минуту.

— Так можно загубить все.

— Я успею состариться, прежде чем стану человеком. Так и умереть успеешь.

¹ Американский проповедник-негр, последователь идей индийского политического деятеля Ганди, в 1968 году убит расистами.

— Это верно. Ганди умер. А много таких, как вы,— которые хотят действовать?

— Да. Такие есть... есть кое-кто, а сколько — не берусь сказать.

Мы тогда о многом переговорили. Этот человек знал, что ему нужно, он был горячий, напряженный, и его ярость вырывалась наружу, только тронь. Но когда я ссадил его в Монтгомери, он вдруг сунул голову в кабину моего Росинанта и засмеялся.

— Мне стыдно,— сказал он.— Нельзя же быть таким эгоистом. Но я хочу это увидеть... Живой, а не мертвый. Здесь, у нас! При жизни хочу! И поскорее! — Он круто повернулся, вытер глаза ладонью и быстро зашагал прочь.

У нас высказывается и печатается столько всяких мнений и суждений — и во время выборов и путем опроса наших граждан,— что иной раз и в газете не сразу разберешь, где желаемое, а где факты. Так вот, учитывая все это, я хочу, чтобы меня поняли правильно. Я не собирался показывать здесь и, по-моему, не показал ничего такого, что можно было бы счесть поперечным разрезом нашего Юга. Следовательно, у читателей нет повода сказать: «Он думает, будто дал подлинную картину жизни в Южных штатах». Нет, этого я не думаю. Здесь записано то, что говорили мне два-три человека и что я видел сам. Типичны ли мои собеседники и можно ли из всего этого сделать какие-нибудь выводы, я не знаю. Мне ясно другое: в тех местах тревожно, и людям там приходится нелегко. И еще мне ясно, что разрешение этого вопроса дастся не сразу и не просто. Я повторяю следом за мсье Здесь Покоится: дело не в цели, дело в том, как отчаянно трудно выбрать средства, которые к этой цели ведут.

В начале своего повествования я пытался разобраться в природе путешествий как таковых и говорил, что каждое из них — это вещь в себе, каждое неповторимо индивидуально и что двух одинаковых не бывает. Я размышлял по этому поводу с оттенком изумления, пораженный той силой, с какой проявляется индивидуальность путешествий, и под конец пришел к следующему выводу: не люди командуют путешествиями, а путешествия — людьми.

Впрочем, вопроса о жизнеспособности наших странствий я не касался. Это величина переменная, и определить ее заранее, пожалуй, невозможно. Разве нам не известны случаи, когда поездка лишалась души и умирала

прежде, чем путник успевал вернуться домой? И наоборот: многие путешествия живут и продолжают жить после того, как движение во времени и в пространстве закончилось.

Я помню одного человека в Салинасе, который в пожилые годы съездил в Гонолулу и обратно, и эта поездка длилась до конца дней его. Мы видели, как он сидит у себя на веранде и, прищурив, полузакрыв глаза, покачиваясь в качалке, все едет и едет в Гонолулу.

Моя собственная поездка началась задолго до отъезда и кончилась до того, как я вернулся домой. И я точно знаю, когда и где это случилось. Недалеко от Абингдона в штате Виргиния, в той его части, которая зовется Собачья Ляжка, в ветреный день, в четыре часа пополудни, без всякого предупреждения, не попрощавшись, не сделав мне ручкой, мое путешествие исчезло и бросило меня на произвол судьбы далеко от дома. Я звал его, пытался догнать — глупая, безнадежная затея, ибо оно кончилось решительно и бесповоротно.

Дорога превратилась в нескончаемую бетонную ленту, деревья сливались в зеленое пятно, холмы стали препятствием, люди — просто-напросто движущимися фигурками с головой, но без лица. Чем бы меня ни кормили в пути, мне все казалось, что я хлебаю суп, даже когда его действительно приходилось хлебать. Постель в Росинанте так и стояла незастеленная. Я забирался в нее когда придется и спал, не соблюдая никакого режима. Газовую плитку не зажигал. Хлеб валялся у меня в шкафу, покрываясь плесенью. Миля за милей катились подо мной неопознанные, ненужные мне.

Я знал, что было холодно, но не чувствовал этого, я знал, что места, по которым мы проезжали, должны быть прекрасны, но не видел их. Я вслепую, эдаким бульдозером проутюжил Западную Виргинию, ворвался в Пенсильванию и втиснул Росинанта в большую, широкую автомагистраль. Ночь, день, расстояния — ничего этого для меня не существовало. Я, наверно, останавливался, чтобы залить бак бензином, выгулять и покормить Чарли, поесть, поговорить по телефону, но память моя ничего этого не сохранила.

Странное дело! До Абингдона в штате Виргиния я могу крутить свою поездку, точно киноленту, в обратном направлении. Почти все помню: чуть не каждое лицо, дерево, каждый пригорок, цвета, и звуки, и голоса, и разные дорожные сценки, будто они заново, по первому зову па-

ияти разыгрываются передо мной. После Абингдона — пустота.

Дорога превратилась в серый туннель, выключенный из времени, из событий, но в конце его маячило нечто светлое и нечто вполне реальное — моя дорогая жена, мой дом на моей улице, моя собственная кровать. Все было там, и я спешил туда изо всех сил. Росинант может припустить, когда нужно, но до сих пор я его особенно не гнал. Теперь он несеся вскачь, повинуюсь моей тяжелой, неумолимой ноге, и ветер только подвывал, натываясь на его углы.

Если вам кажется, будто я насочинял все это, то как вы объясните, что Чарли тоже знал, когда наше путешествие кончилось? Уж он-то отнюдь не фантазер, не раб настроений. Он спал, положив голову мне на колени, и с тех самых пор ни разу не посмотрел в окно, ни разу не сказал «фтт», ни разу не поднял меня ни свет ни заря. Свои естественные потребности он отправлял точно во сне, оставляя без внимания ряды мусорных урн. Если уж это не убедит вас в правдивости моих слов, тогда не знаю, каких еще доказательств нужно.

У Нью-Джерси мы свернули на другую автостраду. Нервная система у меня бездействовала, я не чувствовал усталости, пребывая в каком-то вакууме. Все увеличивающийся поток машин, мчавшихся к Нью-Йорку, подхватил меня и понес, и вдруг впереди — долгожданная утроба Голландского туннеля, только переехать на другую его сторону — и я дома.

Полицейский выудил меня из змеящейся ленты машин и пригвоздил к месту.

— С бутаном в туннель не разрешается, — сказал он.

— Начальник! Да ведь он у меня отключен!

— Все равно. Правило есть правило. В туннель с газом нельзя.

И тут я сразу сник от переутомления и превратился в кисель.

— Но мне надо скорее домой! — возопил я. — Как же я теперь домой попаду?

Полицейский отнесся ко мне по-доброму, проявив терпение. Может, у него тоже был где-нибудь родной дом.

— Поезжайте через мост Джорджа Вашингтона или паромом.

Начинался час пик, но мягкосердечный полицейский, очевидно, угадал во мне потенциального маньяка. Он задержал осатанелый бег машин, вывел меня из него и подроб-

нейшим образом объяснил, как ехать дальше. Подозреваю, что его так и подмывало сесть за руль и проехать со мной до самого дома.

И вот я каким-то чудом оказался на хобокенском пароме, а потом на противоположном берегу в южной части города, в ежедневном скопище загородных жителей, как всегда суматошных, мчащихся, не глядя по сторонам, и выскакивающих прямо из-под машин, не внемля никаким сигналам.

Эта часть Нью-Йорка превращается каждый вечер в некое подобие Памплоны перед боем быков. Я сделал правый поворот, потом еще один, вкатил против движения на улицу, по которой езда была односторонняя, выбрался оттуда задним ходом, застрял на перекрестке в людском водовороте. Потом вдруг круто свернул к тротуару, где стоянка запрещена, выключил мотор, откинулся на спинку сиденья и захохотал, да так, что остановиться не мог. Руки и плечи у меня заходили ходуном в трясучке.

В кабину ко мне заглянул почтенного вида полицейский с благообразной красноватой физиономией и морозно-голубыми глазами.

— Что с вами, любезный, выпили? — спросил он.

Я сказал:

— Начальник! Вот эта махина колесила у меня по всей стране — по горам, по долам и пустыням. И надо же: добрались мы наконец до города, где я живу, и заплутались!

Полицейский радостно улыбнулся.

— Подумаешь, какое дело! — сказал он. — Я сам прошлой субботой в Бруклине заплутался. Ну, говорите, куда вам?

И вот так-то странник вернулся домой.

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ СПРАВКА

«Зима тревоги нашей» — последний роман Стейнбека. Работая над ним в 1960 году, писатель изложил свою концепцию романа в письме Паскалю Ковичи: «...Роман — это крупное произведение художественной прозы, имеющее свою форму, свое направление, свой ритм и, конечно, свою цель. Плохой роман должен развлекать читателей, средний — воздействовать на их чувства, а лучший — озарять им путь. Не знаю, сумеет ли мой роман выполнить хотя бы одну из этих задач, но моя цель — озарять путь».

Роман вышел в свет в июне 1961 года. Он не похож ни на одно из предыдущих произведений писателя. Место действия его — не родная, близкая сердцу писателя Калифорния, а старинный, чинный и ухоженный городок Новой Англии. Да и герой романа — не традиционный стейнбековский персонаж — простой человек из народа, а отпрыск основателей городка, человек, неплохо устроенный даже по американским понятиям, одним словом, средний добропорядочный американец.

Стейнбека в эти годы беспокоил упадок нравов в стране, отсутствие достойной цели. Свои мысли он выражал в письмах добрым знакомым. «Бедлам в Вашингтоне можно сравнить только с римским туалетом для кошек. И дело не в том, что администрация слишком цинична. Я глубоко уверен, что ни на что лучшее они там просто не способны. А демократы, господа, демократы — делят шкуру неубитого медведя, нет у них ни мужества, ни идей, ни платформы. Мне бы следовало вернуться в Европу, а здесь пусть все пропадает пропадом».

И в своем романе Стейнбек откровенно показывает, как современный американский образ жизни действует на обычного добропорядочного буржуа, толкая его на путь предательства и преступления ради погони за богатством. Следует отметить, что Стейнбек не впервые обращается к этой теме. В мартовском номере популярного

журнала «Атлантик мансли» за 1956 год был опубликован его рассказ «Как господин Хоган ограбил банк». У героя рассказа и героя нового романа много общего. И тот, и другой работают продавцами в магазине, оба они трудолюбивые добропорядочные граждане, оба жаждут богатства. И один грабит банк, да так ловко, что никому и в голову не приходит заподозрить его в этом преступлении. А другой доносит на своего хозяина и предает друга. В результате и тот, и другой разбогатели.

Большая пресса, как обычно, оценила роман отрицательно. «Рецензии на книгу обескуражили меня,— признавался писатель.— Они всегда действуют обескураживающе, даже положительные, но на этот раз они слишком сильно подействовали на меня». Ободряли писателя лишь отзывы старых друзей, мнением которых он дорожил и кому верил. «Ваша книга мне понравилась, и я думаю, что это лучшая ваша работа за многие годы,— писал Стейнбеку по прочтении рукописи Ковичи.— Я читал ее с подлинным наслаждением и был рад, что вы снова вернулись к теме социальной справедливости и рассматриваете ее не с точки зрения бедности, а с точки зрения денег... В книге нет ни нотки надежды, да ее и не должно там быть. Она ниспровергает преклонение перед так называемой добродетелью, перед успехом, перед американским образом жизни. Мало писателей атаковали эти американские понятия с такой силой. В этом десятилетии никто, кроме вас, даже и не пытался сделать этого... Вы написали великую книгу, Джон, и да поможет вам Бог».

...В субботу 23 сентября 1960 года Стейнбек на грузовом автомобиле отправился в путешествие по Америке. В качестве компаньона он взял с собой пуделя Чарли. Он пересек всю страну с востока на запад — от штата Нью-Йорк до штата Вашингтон, проехал на юг по Калифорнии и вернулся домой через Аризону, Нью-Мексико, Техас, Луизиану, Миссисипи, Алабаму, Теннесси, Виргинию. В результате этой поездки появилась книга «Путешествие с Чарли в поисках Америки».

Нарисованная писателем картина Америки фрагментарна и неполна, как фрагментарно и неполно увиденное и услышанное им в дороге. Но из этих фрагментов, зарисовок, отрывочных наблюдений складывается мозаичная картина американской жизни на рубеже шестидесятых годов XX века. Путешественник замечает перемены от штата к штату, своими собственными ушами слышит, как «уничтожаются местные особенности речи при помощи средств связи», как повседневная речь людей теряет местный колорит, поэтичность, идиоматичность и превращается в «общенациональный язык, расфасованный и упакованный, стандартный и безвкусный».

Писателя беспокоит, что исчезают местные лавки, а вместе с ними и те места, куда собирались «обмениваться мыслями и мнениями... местные умы — носители национальных черт нашего характера». А в результате наступает конвейерное производство не только предметов обихода и пищи, но и «наших песен, нашего языка и в конечном счете наших душ». Так из наблюдений и размышлений путешественника перед читателем постепенно вырастает картина современной ему Америки, огромной страны, лишенной главного — достойной ее цели.

УКАЗАТЕЛЬ ПО ТОМАМ
произведений Джона Стейнбека,
включенных в 1—6 тт.
Собрания сочинений

Т о м 1

Золотая Чаша. Перевод И. Гуровой	53
Райские Пастбища. Перевод Е. Коротковой	229

Т о м 2

Квартал Тортилья-Флэт. Перевод И. Гуровой . . .	5
«И проиграли бой». Перевод И. Багрова	157
О мышах и людях. Перевод В. Хинкиса	407
Рыжий пони	
Подарок. Перевод Н. Волжиной	435
Великие горы. Перевод М. Загота	512
Общание. Перевод М. Загота	524
Вожак. Перевод М. Загота	541

Т о м 3

Гроздь гнева. Перевод Н. Волжиной	5
Консервный Ряд. Перевод М. Литвиновой	481

Т о м 4

Жемчужина. Перевод Н. Волжиной	5
Заблудившийся автобус. Перевод В. Голышева . .	77
Благостный четверг. Перевод Д. Псурцева . . .	293

Том 5

На восток от Эдсма. Перевод А. Михалева, О. Со- роки, Г. Злебина	5
---	---

Том 6

Зима тревоги нашей. Перевод Н. Волжиной и Е. Ка- лашниковой	5
Путешествие с Чарли в поисках Америки. Перевод Н. Волжиной	277

ПОПРАВКИ

В 4 томе Собрания сочинений Джона Стейнбека

Стр.	Строка	Напечатано	Следует читать
318	14 сверху	Джозеф-Мари	Джозеф-Мария
509	6 снизу	полемы	поэмы

СОДЕРЖАНИЕ

Зима тревоги нашей. Перевод Н. Волжиной и Е. Калашниковой	5
Путешествие с Чарли в поисках Америки. Перевод Н. Волжиной	277
Историко-литературная справка .	489
Указатель по томам произведений Джона Стейнбе- ка, включенных в 1—6 тт. Собрания сочинений	492

Джон СТЕЙНБЕК

Собрание сочинений
в шести томах

Том VI

Редактор тома
Ю. И. Жукова

Оформление художника
Ю. К. Бажанова

Технический редактор
В. Н. Веселовская

ИБ 1989

Сдано в набор 20.03.89. Подписано к печати 14.07.89.
Формат 84×108^{1/2}. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 26,46. Усл. кр.-отт. 27,30. Уч.-изд. л. 30,46.
Тираж 1 700 000 экз. (7-й завод: 1 400 001 - 1 700 000).
Заказ № 3197. Цена 3 руб. 50 коп.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва,
А-137, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства «Советская Сибирь»,
630048, г. Новосибирск, 48, ул. Семипровища-Данченко, 104.

Индекс 70655

